

# ЦИЦЕРОН



Матьяна  
Бобровникова



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation



Книга посвящена Марку Туллию Цицерону (106—43 до и. э.), одному из наиболее выдающихся людей в истории Античности. Его имя давно уже стало нарицательным. Гениальный оратор и писатель, чьи произведения послужили образцом для всех последующих поколений, мыслитель и философ, государственный деятель, он был еще и удивительным человеком, готовым пожертвовать всем, в том числе и собственной жизнью, ради блага Римской республики. Автор книги с огромной любовью пишет о своем герое, представляя его в первую очередь творцом, интеллигентом в наиболее полном и глубоком смысле этого слова — интеллигентом, которому выпало жить в дни тяжелейших общественных потрясений, революции и гражданской войны.

# ЖИЗНЬ<sup>®</sup> ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



ВЫПУСК

1219

(1019)

Автор выражает глубокую благодарность В. О. Бобровникову за огромную помощь в работе над книгой

- 
- [Бобровникова Татьяна Андреевна](#)

- [Пролог](#)
- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
- [ХРОНОЛОГИЯ\[132\]](#)
- [КРАТКИЙ СЛОВАРЬ РИМСКИХ ТЕРМИНОВ](#)
- [СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И СОКРАЩЕНИЙ](#)
- [ИЗДАНИЯ ИСТОЧНИКОВ](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)

- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)

- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [comments](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)

- [45](#)
  - [46](#)
  - [47](#)
  - [48](#)
  - [49](#)
  - [50](#)
  - [51](#)
  - [52](#)
  - [53](#)
  - [54](#)
  - [55](#)
  - [56](#)
  - [57](#)
  - [58](#)
  - [59](#)
  - [60](#)
  - [61](#)
  - [62](#)
  - [63](#)
  - [64](#)
  - [65](#)
  - [66](#)
  - [67](#)
  - [68](#)
  - [69](#)
  - [70](#)
  - [71](#)
  - [72](#)
  - [73](#)
  - [74](#)
  - [75](#)
-

**Бобровникова Татьяна Андреевна**

**ЦИЦЕРОН: ИНТЕЛЛИГЕНТ В ДНИ  
РЕВОЛЮЦИИ**

Латвияна Бобровникова

# ЦИЦЕРОН

ИНТЕЛЛИГЕНТ  
В ДНИ РЕВОЛЮЦИИ



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2006

---

*Памяти деда моего, московского адвоката  
Григория Георгиевича Баишакова*

## Пролог

# БОГ КРАСНОРЕЧИЯ

Мало найдется в истории Европы столь славных, столь любимых имен, как Цицерон. Именно *любимых*. Ибо на протяжении столетий его не только читали, ему не только подражали, им не только восхищались. Нет. Его любили, причем любили какой-то страстной, восторженной любовью, совершенно непохожей на чувства, которые обыкновенно испытывают перед великими мудрецами седой древности. Началось это восторженное обожание сразу после смерти Цицерона. При Августе его имя, имя последнего защитника Республики, было под запретом. Но запреты ничего не достигали. В самом доме Августа его внуки тайком читали Цицерона. А секретарь его приемного сына и наследника Тиберия открыто заявил, что Август совершил преступление, позволив умертвить гения, но имя Цицерона бессмертно и будет жить, пока живет мир (*Vell., II, 66*)<sup>[1]</sup>. Мэтр же красноречия Квинтилиан писал: «Он достиг такой славы, что имя Цицерона означает уже не человека, а само красноречие» (*X, 1, 112*). С этого времени римляне учились у Цицерона, подражали Цицерону, зачитывались Цицероном.

Новую жизнь Цицерон обрел в христианскую эпоху. Ранние христиане предали проклятию всю языческую мудрость. Тертуллиан провозгласил, что после Евангелия не нужны ни философия, ни наука. Но, отрекшись от всего, христиане не могли отречься от Цицерона. Об этом с болью говорит святой Иероним. «Я расскажу тебе повесть моего собственного несчастья. Решившись — это было уже давно — ради царства небесного оставить свой дом, родителей, сестру, родственников и, что еще труднее, отказаться от привычного более или менее вкусного стола... я тем не менее не мог лишиться своей библиотеки... И вот я, несчастный, стал поститься с тем, чтобы проведенный в посте день закончить — чтением Цицерона... Так-то мучил меня старинный змей. Но вот... лихорадка охватила вплоть до мозга костей мое истощенное тело и, не давая мне отдыха, с такой невероятной силой растерзала мои бедные члены, что они едва держались на костях. Стали готовиться к моим похоронам... Вдруг мне почудилось, что меня влекут к трибуналу Судьи; а было там столько свиты и такой блеск исходил от окружающих, что я пал ниц и не осмеливался даже

поднять глаз. Меня спросили, кто я; я отвечал, что — христианин. «Неправда, — сказал Председательствующий, — ты — цicerонианец, а не христианин; где твоё сокровище, там и сердце твоё». Тотчас же я замолчал и почувствовал удары, которыми он велел меня наказать... Наконец присутствующие припали к коленям Председательствующего и стали молить Его, чтобы Он снизошел к моей молодости и даровал грешному время покаяния». Иероним дал великую клятву, что никогда даже в руки не возьмет мирские книги, и был отпущен. К изумлению окружающих он очнулся и открыл глаза.

Но вскоре его собственный друг и соратник Руфин обрушился на него с пылкими обвинениями. Он говорил, что Иероним забыл свою клятву. Все его писания свидетельствуют, что он из рук не выпускает Цицерона. Нет, отвечал Иероним. Он верен клятве. Но ведь не может же он забыть все то, что прочел когда-то! «Или ты полагаешь, что мне следовало напиться воды из Леты?» И тут он неожиданно сам переходит в нападение. «Но откуда же у тебя это обилие слов, этот блеск мыслей?.. Ты сам втихомолку читаешь Цицерона!»<sup>[1]</sup>

Затем все изменилось. В глазах христиан Цицерон из врага превратился в лучшего друга, в наставника, чуть ли не в нового апостола. Лактанций провозгласил Цицерона христианином до Христа. Амвросий брал его сочинения, переписывал и только заменял примеры из римской истории примерами из Писания. Но самое поразительное свидетельство находим у Августина Блаженного, столпа западного христианства. Он говорит, что в юности был человеком суетным, очень далеким от религии. И вот он прочел Цицерона. «Книга эта... совершенно изменила мои наклонности, она дала моим молитвам направление к тебе, Господи» (*Conf.*, III, 4).

После падения Рима Западная Европа надолго погрузилась во тьму. Античность была забыта. В слабый свет исходил только от нескольких чудом сохранившихся фрагментов Цицерона. Но когда начался Ренессанс, прежде всего воскрес из пепла Цицерон. Ф. Ф. Зелинский говорит, что само «Возрождение было прежде всего возрождением Цицерона». Цицерона любили пламенно. Никто не сумел рассказать об этом ярче Петрарки. «Еще в годы детства, — пишет он, — когда другие восторгаются сказкой о Проспере... я пристрастился к Цицерону... Конечно, я в то время ничего не понимал, но сладость и звучность его речи так пленили меня, что все другое, что я читал или слышал, казалось мне чем-то хриплым и неблагозвучным». Когда мальчик подрос, отец отдал его учиться юриспруденции. Но сухая наука совсем не увлекала будущего поэта.

Вместо того чтобы изучать законы и составлять завещания, он дни и ночи запоем читал Цицерона. Конечно, занятия его шли из рук вон плохо. Об этом сообщили отцу. Однажды он нагрязнул нежданно, застал сына с Цицероном в руках и в гневе побросал все его книги в огонь. «Я плакал при этом зрелище, как будто меня самого собирались бросить в огонь», — вспоминает Петрарка. Отец сжалился над ним и выхватил из пламени маленькую книжку Цицерона<sup>[2]</sup>.

Когда Петрарка вырос, он окончательно забросил юриспруденцию. Страстная же любовь к Цицерону все росла и росла. «Тебе давно известно, — пишет он другу, — что из всех писателей всех народов и всех времен я больше всего... люблю Цицерона»<sup>[3]</sup>. «Ты — тот живой ключ, влагой которого мы орошаем свои поля; ты тот вождь, указаниям которого мы следуем», — писал он, обращаясь к самому римскому оратору<sup>[4]</sup>. Он жаждал прочесть все его творения. Увы! В его руках были всего лишь жалкие обрывки. Петрарка говорил, что это напоминало ему кровавую битву — одни погибли, другие пропали без вести, третьи искалечены. Порой на него находили отчаяние и бешенство и он слал проклятие предшествующим векам. «Когда я взываю к любому из прославленных имен, я воскрешаю в памяти преступления последующих темных веков. Как будто их собственное бесплодие не было само по себе достаточно постыдным, они позволили книгам, порожденным неусыпными трудами наших отцов (древних латинян. — Т. Б.) и плодам их гения исчезнуть бесследно! Эпоха, которая сама ничего не произвела, не утратилась промотать наследие отцов»<sup>[5]</sup>.

И вот Петрарка поставил перед собой цель отыскать всего Цицерона. И цели этой он отдал всю жизнь. Он облазил все города и городки Италии в поисках исчезнувших рукописей. Он побывал во Франции. Он писал в Германию. Куда бы он ни направлялся и как бы он ни спешил, стоило ему увидеть вдали монастырские стены, он забывал о цели своего пути, сворачивал с дороги и стучался у ворот. А там умолял монахов разрешить ему осмотреть книгохранилище и сделать копии. Если он узнавал, что у какого-нибудь собирателя или богатого вельможи есть большая коллекция рукописей, он немедленно писал ему льстивые письма и просил разрешить ему на них взглянуть. «Ходят слухи, что под вашим кровом хранится Цицерон и что у вас есть много редчайших произведений его гения... Если вы сочтете меня достойным, позвольте мне насладиться блаженством в присутствии такого гостя». Такие письма слал он в города Италии, Франции и Германии<sup>[6]</sup>.

И судьба вознаградила его за тяжкие труды. Он нашел много, очень много книг Цицерона. Но самое великое открытие сделал он в 1345 году в Вероне. В его руки попали письма Цицерона. Он немедленно известил об этом... самого Цицерона. Дело в том, что он привык обо всем рассказывать римскому оратору. «От Франциска другу Цицерону привет. С жадностью прочел я твои письма, которые долго и старательно искал, найдя их там, где менее всего думал. Я услышал твой голос, Марк Туллий... Где бы ты ни был, услышь ответ... который слагает тебе один из потомков, влюбленный в твое имя и твою славу... Писано в мире живых... в... Вероне, 16 июня 1345-й год после прихода Бога, которого ты не знал»<sup>{7}</sup>.

Книга была огромна, так огромна, что, упав, она разбила ногу Петрарки. Но поэт не жаловался. «Возлюбленный мой Цицерон ранил меня когда-то в сердце, теперь поразил в голень», — шутливо говорил он<sup>{8}</sup>. Но как ни велика была книга, Петрарка сам, никому не доверяя, любовно переписал ее от слова до слова.

Петрарка с его любовью к Цицерону не был одинок. Он сам рассказывает любопытный эпизод из своих путешествий. Заехал он раз в один городок. Собралась компания образованных людей, и, как всегда, разговор зашел, конечно, о Цицероне. Все оживились и наперебой пели ему дифирамбы.

Вдруг Петрарка, который только что прочел письма оратора, заявил, что этот сверхгений в жизни иногда ошибался и имел человеческие слабости. Все были ошеломлены таким диковинным мнением. И стали возражать, особенно один, самый пылкий поклонник Цицерона. Тогда Петрарка заметил, что у всех людей есть недостатки. Совершенен один лишь Бог. И шутливо спросил у собеседника, богом он считает Цицерона или человеком. «Богом», — мгновенно отвечал тот. Но тут же спохватился и поправился: «Богом красноречия». — «Но раз он был человеком, то мог ошибаться и ошибался», — сказал Петрарка. Тут собеседник с таким ужасом от него отшатнулся, что Петрарке пришлось прекратить разговор<sup>{9}</sup>.

Современники Петрарки действительно буквально молились на Цицерона. Папа Пий II во время Неаполитанской войны амнистировал жителей городка Арпино, ибо в их городе полторы тысячи лет назад родился Цицерон<sup>{10}</sup>. Гуманист Лонголий дал клятву в течение пяти лет не читать ничего, кроме Цицерона<sup>{11}</sup>. Придворный поэт Пульчи написал стихотворение на смерть правителя Флоренции Козимо Медичи. Он описывает, как душа покойного герцога возносится в рай и на небесах

встречает ее... Цицерон!<sup>{12}</sup>

Таковы были чувства Ренессанса. Лютер, отец Протестантства, с омерзением говорил об этой эпохе. Он предал анафеме и гуманистов, и всю языческую мудрость. Например Аристотеля он называл ослом и бездельником. Он сделал одно единственное исключение. Для Цицерона. Он говорит, что доказательства бытия Божия, приводимые Цицероном, глубоко его взволновали. Вообще «кто хочет познать настоящую философию, тот должен читать Цицерона». Он даже выражает горячую надежду, почти уверенность, что Цицерон будет прощен Господом и вознесен в Царство Небесное. Ту же надежду выражает второй основатель Протестантства Цвингли<sup>{13}</sup>.

В эпоху Просвещения восторги вокруг Античности несколько поутихли. Но Цицерон по-прежнему продолжал сохранять свое обаяние над умами. Вольтер был безжалостным насмешником, не имевшим, казалось, ничего святого. Но когда кто-то позволил себе посмеяться над Цицероном, философ пришел в великий гнев. В сердцах он воскликнул, что книги Цицерона — это лучшее, что создала когда-либо мудрость. «Пожалеет тех, которые не читают его; пожалеем еще более о тех, которые, читая его, не воздают ему справедливости!» А его ученик Фридрих Великий восклицал: «Никогда не было в мире другого Цицерона!» Монтескье же говорил: «Цицерон, на мой взгляд, один из величайших умов всех времен; что касается его души, то она всегда была прекрасна, когда не была слаба»<sup>{14}</sup>.

Невольно спрашиваешь себя: в чем же причина столь восторженной любви? Мир знал гениев больших, чем Цицерон. Платон и Аристотель, конечно, достойны большего восхищения. Иногда приходится слышать такое объяснение. Люди эпохи Ренессанса не были знакомы с греческой философией. Все, что они знали о ней, они вычитывали у Цицерона. Вот где кроется причина их любви к римлянину. Конечно, в этом есть доля истины. Но всего это соображение не объясняет. Не были неучами Иероним и Августин, а Цицерона они любили не менее страстно, чем современники Петрарки. Да и когда в Европе узнали Платона, им, конечно, восхищались, но никогда не любили таким удивительным образом, как Цицерона. Ведь Петрарка любил его *лично*, писал ему письма, рассказывал о своих успехах. Видимо, в Цицероне скрыто какое-то неотразимое обаяние, которое влекло к нему людей разных эпох — его современников и потомков, язычников и христиан, гуманистов и протестантов.

---

«Цицерон был великим человеком, достойным бессмертия, но, чтобы его описать, понадобился бы еще один Цицерон», — говорит римский историк Тит Ливий (*Sen. Pair. Sua.*, VI, 22). И все-таки все новые и новые дерзкие смельчаки пытаются описать жизнь этого удивительного человека. Эта книга — одна из таких попыток. Но Цицерон слишком огромная фигура. И каждый из нас видит только частичку целого. Поэтому у каждого свой Цицерон, как и свой Пушкин.

О Цицероне написаны горы литературы. О каждой его речи, о каждом диалоге, о каждом письме — буквально о каждой строчке — написаны томы и томы. Временами кажется, что об одном Цицероне написано больше, чем обо всем Риме. И это не удивительно. Цицерон — это целый мир. Он оставил много речей. Это не риторические тирады. Они построены как захватывающий роман. На наших глазах перекрещиваются судьбы десятков людей, мы узнаем историю целых семейств, иногда на протяжении нескольких поколений, перед нами в мельчайших подробностях встает жизнь маленького захолустного городка. Из официальной истории мы об этом не узнаем.

Цицерон писал философские сочинения. Но это не отвлеченные рассуждения. Они построены в виде бесед. Мы видим образованных римлян — изящных, гостеприимных, любезных. Вместе со своими гостями прогуливаются они по аллеям своих старинных парков и ведут интересные разговоры. Не будь Цицерона, мы просто не представляли бы себе, как держались римляне, как они говорили друг с другом, как шутили. Они оставались бы для нас безжизненными фигурами без лица, без движения, без речи.

Наконец, от Цицерона дошли письма. Это опять-таки нечто уникальное. В Риме, разумеется, не было средств массовой информации. Газеты начали выпускать, но они содержали имена кандидатов на должности, указы сената и постановления народного собрания. Между тем тысячи людей, которые находились на чужбине — в Египте, Греции, Малой Азии, — жаждали узнать, что происходит в столице. Все они требовали известий от Цицерона, ибо его рассказ получался самым ярким и остроумным. Одному Аттику он писал иногда по два письма в день! Цицерон был в переписке чуть ли не со всем Римом. Поэтому мы видим удивительную картину. Когда происходит важное событие, например гражданская война, мы читаем не холодное и степенное повествование

какого-нибудь ученого позднего времени. Нет. Нам наперебой рассказывают обо всем республиканцы, цезарианцы, помпеянцы, ученые юристы, легкомысленные повесы и дельцы. Римский историк Корнелий Непот заглянул однажды в письма Цицерона, тогда еще неизданные. Он был поражен. «Кто прочитал бы их, тот не очень нуждался бы в связной истории тех времен», — говорит он. Действительно. Для истории они драгоценны.

Но я пишу не историю эпохи, я пишу биографию Цицерона. Первая моя книга посвящена была Сципиону Африканскому. И я не раз горько сетовала, что время сохранило нам так мало. Мне казалось, что единая картина разбита, разорвана на мельчайшие куски и они раскиданы по свету. Большая часть этих лоскутков безвозвратно пропала. И вот мне надо по крупинкам, по крохам собирать эти осколки и постепенно приставлять один к другому, чтобы увидеть картину и попытаться заполнить зияющие пробелы. Пренебрегать нельзя было ничем. Каждая строчка — пусть даже из позднего автора — могла содержать хотя бы в искаженном виде потерянный лоскуток. Здесь же иная проблема. Трудность в изобилии. Передо мной океан.

О Цицероне в некоторые периоды известно больше, чем о Пушкине. Мы могли бы описать его жизнь буквально *по дням*. В таком-то часу он встал, говорил с таким-то на такие-то темы. Затем спустился на Форум и произнес речь — речь опять-таки до нас дошла! Вечером он занимался и ему пришли в голову такие-то мысли. Вдобавок множество писем Цицерона адресовано его лучшему другу Помпонию Аттику. Аттик был его *alter ego*. Цицерон ничего от него не скрывал, и письма к нему носят характер настоящего дневника. Мы узнаем все его сомнения, все колебания, все движения его души. Таким образом, можно составить целый том, где описана жизнь Цицерона день за днем, час за часом. Но такая книга вряд ли имеет смысл. Неспециалисту это будет скучно, а специалист скорее уж прочтет сами письма Цицерона. Итак, нужен выбор. Надо найти главную нить в жизни Цицерона. Где же она?

На русском языке есть две прекрасные книги о Цицероне — Гастона Буассье «Цицерон и его друзья» (перевод с французского) и С. Л. Утченко «Цицерон и его время». Буассье показывает нам друзей оратора, людей очень разных, и во взаимоотношениях с ними раскрывается характер Цицерона. Утченко показывает нам римскую политическую обстановку и римские партии, и во взаимоотношениях с ними и раскрывается Цицерон. Иными словами, в первой книге мы видим человека, во второй — политика. Я пошла по третьему пути. Цицерона действительно чаще всего

рисуют политиком. Но, на мой взгляд, в этом есть какое-то противоречие. В конце концов, авторы приходят обыкновенно к неутешительному выводу, что политиком Цицерон был плохим, уступал не только Цезарю или Помпею, но многим гораздо менее известным своим современникам. В результате получается образ мелкого неудачника. Но чудное дело. Этих современников, этих тонких политиков, которых ставят в пример Цицерону, знают сейчас только узкие специалисты. А в энциклопедическом словаре о таком человеке мы прочтем: «Мелкий политический деятель эпохи Цицерона».

Итак, у этого неудачного политика была целая эпоха! Пламенные поклонники Цицерона восхищались им, не зная римской политики. Видно, царство его было не от мира политики. Что же это было за царство?

Мне кажется, в жизни великого полководца важнее всего битвы. Говоря о Наполеоне, мы должны подробно описать его кампании. Иначе он превратится в жалкого человечка, нарисованного Толстым. Говоря о Сперанском или Солоне, надо прежде всего разобрать их законы. Говоря же об артисте, мы должны представить себе его на сцене. Мы должны знать, как трактовал Шаляпин Бориса Годунова или Демона — как он одевался, как гримировался, как держал себя. Словом, говоря о творце, надо сказать в первую очередь о его творчестве. Итак, кто же был Цицерон?

Он был писатель и оратор. Притом оратор — актер. Человек, который выступал в суде каждый день, иногда по два раза в день. Не спал ночи, готовя речи при свете лампы. Блистательно вел опрос свидетелей, разгадывал таинственные убийства, заставлял слушателей то смеяться, то плакать, то дрожать, как в лихорадке. Каждое его выступление было грандиозным спектаклем. А потом он умел записать все это с такой живостью, что позднейшие поколения испытывали почти такой же восторг, как слушатели. Когда же при диктатуре суд превратился в профанацию и Цицерон отказался в нем участвовать, он стал писать диалоги. И Европа много веков зачитывалась ими. Ясно, что он был гений, творец. И я считаю творчество главным в жизни моего героя.

Но, скажут мне, Цицерон был политик, даже консул. Верно. Но ведь Рубенс и Грибоедов были дипломатами, а Гофман — прекрасным юристом. И все-таки вся эта деятельность для нас бледнеет перед портретами Елены Фоур-мен, «Горем от ума» и «Котом Мурром». Мы забыли о дипломатических удачах Грибоедова, мы не думаем о юридических казусах, разгаданных Гофманом. Для нас они живут в своих творениях.

В этой книге как раз и сделана попытка ввести читателя в это царство Цицерона и показать творца.

И еще. Книга моя, повторяю, описывает не историю определенного периода, а человеческую жизнь. В жизни же мы редко сталкиваемся с имманентными законами и даже партиями, а в основном — с людьми. Поэтому и в моей книге читатель не найдет ни анализа политических партий, ни размышлений о причинах гибели римской Республики. Он встретит живых людей, которые окружали моего героя. И все-таки на одном термине мне придется остановиться.

Цицерон жил в страшное время. В ужасных муках погибала Республика и рождалось новое общество — Империя. То была эпоха перелома. Вслед за многими западными историками я называю этот перелом *революцией*. Я не могу настаивать на этом термине, ибо понятие «революция» не определено. Разные исторические школы вкладывают в него разный смысл. Если понимать под революцией резкую ломку всего прежнего государственного строя, всего привычного образа жизни, ломку, сопровождающуюся столкновением народных масс и долгими кровавыми гражданскими войнами, то это была революция. Действительно, при Империи изменилось все: государственный строй, общество, даже система ценностей. До этого римлянин выше всего ценил политическую свободу и гражданские права, смысл жизни видел в республиканской политической деятельности, а подчинение царю считал худшим из грехов. Сейчас же люди стали послушными государственными чиновниками. Изменился, таким образом, сам тип римлянина, как изменился тип француза после Великой революции 1789 года. Для меня важнее всего, что психологически эти события воспринимались современниками так, как воспринималась революция европейцами.

\*

В заключение я хочу сказать несколько слов о человеке, которому посвящена эта книга.

Григорий Георгиевич Башмаков родился в 1895 году. Он был учеником профессора П. И. Новгородцева, главы московской школы философии права. Он был в кружке Булгакова, Бердяева, где жива была память о Владимире Соловьеве. Григорий Георгиевич рассказывал мне много интереснейших историй о Бердяеве и особенно о Соловьеве со слов своих наставников. Так, он вспоминал, как к Вл. Соловьеву в последние дни жизни приходил черт. Г. Г. должен был остаться при кафедре и собирался заниматься философией. Но этому помешали события 1917 года. Все

друзья и наставники Г. Г. эмигрировали. Новгородцев предложил Башмакову ехать с ним, но тот отказался покинуть Россию. Он вынужден был уехать из столицы и только в 1932 году смог вернуться в Москву. Философию ему пришлось оставить, и он всецело посвятил себя адвокатуре. Все, кто слышал, как он вел дела, говорят, что это незабываемое впечатление. Считалось, что если преступник заручится поддержкой Башмакова, он спасен.

Г. Г. был исключительно образованным человеком. Мои друзья ходили к нему и говорили, что наконец видят настоящего русского интеллигента, о котором имели представление только из книг. Его любимыми авторами были Эсхил, Данте, Шекспир, Пушкин, Достоевский, Тютчев. Он даже толковал темные места из «Божественной комедии», «Новой жизни» и диалогов Данте. Но совершенно особую ни с чем не сравнимую любовь питал он к Цицерону. Его речи, его письма, его трактаты Г. Г. знал наизусть. Он считал Цицерона своим учителем в ораторском искусстве. Мало того. Он относился к нему как к лучшему, самому любимому другу. Его жизнь он изучил досконально. Все его неудачи он воспринимал совершенно как личные несчастья. Зато его успехами он гордился без меры. О смерти же дочери Цицерона он никогда не мог говорить без слез. Помню, когда я была маленькая, он рассказывал о гибели самого Цицерона. Голос его дрожал. Я была тогда уверена, что Цицерон — какой-то очень близкий его друг, может быть, брат, и погиб он в гражданскую войну (что он был «оратор Рима», я, конечно, знала, но это были для меня пустые звуки).

Г. Г. никогда не дерзнул бы, конечно, сравнивать свой талант с Цицероновским, но ему доставляло огромное удовольствие находить у себя отдельные черточки характера своего кумира. Мы все считали, что он чем-то действительно на него похож. Башмаков был человеком удивительной доброты и деликатности. Но была у него одна слабость. Из-за сущих пустяков он падал духом и отчаивался, как великий оратор Рима. Лучшим способом приободрить его в такие минуты было напомнить какой-нибудь случай из жизни Цицерона, какое-нибудь обрушившееся на него бедствие, например изгнание, которое он сумел превозмочь.

Я помню, как Г. Г. выступал в Доме ученых с докладом «Цицерон как оратор». Башмаков показывал, как он разгадывал преступления и как глубоко проник в психологию преступника. Закончил он словами:

— Неужели никто не напишет — не об этом Антонии, у которого не было мыслей! — а о нем, о Цицероне?!

Моя книга ни в коем случае не является ответом на этот призыв. Г. Г. думал, конечно, не об очередном научном труде, а о трагедии великого

писателя, о новом Шекспире. Но это верно — любовь и интерес к Цицерону пробудил во мне именно Григорий Георгиевич Башмаков.

## Глава I

# МОЛОДОСТЬ

*Я возмужал среди печальных бурь.*

*А. С. Пушкин*

### Детство

Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 года<sup>[2]</sup> в загородном доме своего отца близ маленького италийского городка Аргшнума. Он сам подробно описал это место. По его словам, то был прелестный уголок. Совсем рядом с домом катила свои воды река Лирис. Берега ее все заросли тенистой ольхой. Кругом царила полная тишина. Только весной и летом в кустах стоял немолчный гомон птиц, смешивающийся с шумом волн. В Лирис впадала маленькая речушка — Фибрен. Даже летом вода в ней была ледяная, как в горных потоках. У самого устья Фибрена был крохотный островок — не больше палестры, говорит Цицерон. На этом островке среди густых зарослей Цицерон любил сидеть с книгой в знойную полуденную пору (*Leg.*, II, 3–4; 6; 1, 14; 21; *Macrob. Sat.*, VI, 4, 8).

Усадьба на берегу реки была самая простая, вроде той, где жил легендарный Маний Курий, который сам варил себе репу в глиняном горшке. Однажды, когда Цицерон уже достиг зенита славы, он повел своего лучшего друга Аттика взглянуть на те места, где прошло его детство. Было лето. И Аттик был просто очарован открывшейся картиной. Ему понравились и река, и роща с древними дубами, и скромный деревенский домик, так гармонировавший с окружающей природой. Он тут же сказал, что теперь от души презирает великолепные виллы богачей с мраморными полами, искусственными реками и проливами с громкими названиями вроде «Нил» или «Еврип» (*Leg.*, II, 6).

Семья Цицерона была родом из Арпинума. Жители его еще во II веке получили римское гражданство. Отец происходил из старинного уважаемого местного рода. Он был человеком очень начитанным, образованным, но отличался столь слабым здоровьем, что не смог

заниматься общественной жизнью ни в Риме, ни в родном муниципии. В конце концов он оставил город и перебрался в свою сельскую усадьбу, где окружил себя любимыми книгами и с головой ушел в изучение наук (*Leg.*, II, 3). Здесь и родились оба его сына — старший Марк и младший Квинт. Жена его Гельвия славилась как «женщина хорошего происхождения и безупречной жизни» (*Plut. Cic.*, I). Очень домовитая, она все силы отдавала хозяйству, которым, видимо, пренебрегал погруженный в науки отец. Но умерла она очень рано, когда наш герой был совсем ребенком.

Жила семья просто и скромно, без всякой новомодной роскоши. В детстве Цицерон больше всего любил чтение. У отца была большая библиотека, и мальчик брал оттуда том за томом. Его всегда можно было видеть со свитком в руках на тенистом берегу Лириса, на острове или в дубовой роще. Он буквально бредил героями любимых книг и в своем воображении совершал вместе с ними необыкновенные подвиги. Он признавался впоследствии, что именно книги поселили в его душе чудесные мечты и честолюбивые стремления. С самой юности, говорит он, «книги убедили меня, что ни к чему в жизни не следует стремиться так страстно, как к славе... Все истязания, обрушивающиеся на наше тело, все опасности, грозящие нам смертью, мы должны считать пустяком рядом с этой целью... Ведь об этом говорят все книги, об этом говорят все мудрецы, об этом говорит вся древняя история... Сколько образов храбрейших героев оставили нам греческие и латинские писатели, и мы должны не просто смотреть на них, но им подражать. Я всегда имел эти образы перед глазами... и лепил свой ум и сердце, размышляя о людях прекрасных» (*Arch.*, 14).

Особенно пленяли мальчика стихи. К поэзии он, по словам Плутарха, обнаруживал «горячее влечение» (*Plut. Cic.*, 2). Еще в детстве он сам начал писать стихи. Мальчиком он сочинил небольшую поэму «Главк Понтийский». Герой ее, Главк, — это морское божество, чтимое моряками за свои предсказания.

Когда Цицерон подрос и стал ходить в школу, он прогремел на весь Арпинум как какое-то чудо природы. «Он так ярко заблистал своим природным даром и приобрел такую славу среди товарищей, что даже их отцы стали приходить на занятия, желая собственными глазами увидеть Цицерона». На улицах сверстники уступали ему дорогу, так что некоторые богатые и неотесанные родители обижались, видя, как их сыновья почтительно кланяются этому никому не известному мальчику (*Plut. Cic.*, 2).

Отцу прожужжали уши рассказами о феноменальных способностях

ребенка. И он решил, что грешно зарывать такой алмаз в глуши их провинциального городка. Семья стала часто приезжать в Рим и гостила там по многу месяцев. Когда же Марку исполнилось 15 лет, отец перевез обоих сыновей в Рим и поручил заботам прославленного юриста Сцеволы Авгура<sup>[15]</sup>.

### *В Риме*

Рим всегда и на всех производил неизгладимое впечатление. Его любили, его ненавидели, им восхищались, против него негодовали, но его не могли забыть и, раз вступив в его ворота, уже не могли оставить. Несколько десятилетий спустя из другого маленького италийского города Вероны в Рим приехал молодой поэт Катулл. Он прожил короткую бурную жизнь. По его словам, он приехал беспечным юношей, но судьба бросила его в черную пучину бедствий. Он утратил беззаботную веселость и жизнерадостность. Тогда он отправился навестить места своего детства. Его друг, обеспокоенный его долгим отсутствием, написал ему письмо, где звал его назад в столицу.

Пишешь ты мне: «Оставаться в Вероне позор для Катулла,  
Всякий, кто выше толпы сердцем и тонким умом,  
Там в одинокой постели ночами холодными стынет».  
В этом, дружок, не позор, — в этом несчастье мое.  
В Риме живу я, не здесь. В Риме мой кров и мой дом.  
Рим моя родина. Там и цветут мои годы и вянут.

*(CatuL, LXVIIF)*

То же произошло и с Цицероном. Когда он показывал Аттику тот тихий уголок, где прошло его детство, Аттик спросил: считает ли он, что у него две родины? Да, отвечал Цицерон. У него, как у всех жителей италийских муниципиев, две родины: одна — давшая ему жизнь община, другая — Рим.

— Но любовь заставляет признать первой ту, которая дала имя всему нашему государству. За нее мы должны умирать, ей должны отдать себя целиком, все, что у нас есть, мы должны посвятить ей (*Leg., II, 5*).

Действительно. Хотя Арпинум оставил в его душе нежные поэтические чувства, нужно сознаться, что в дальнейшем Цицерон его

почти не вспоминал. Редко говорит он об отце, никогда о школьных годах, о первых наставниках. Зато всегда, всю свою жизнь он возвращался мыслью к первым годам, проведенным в Риме, — к тому яркому безоблачному счастью, которое его сперва ослепило, и к той страшной трагедии, которой все завершилось. Эти воспоминания буквально врезаны были в его душу.

Итак, отныне сердце Цицерона было безвозвратно отдано Риму. Где бы он ни был — среди чудесных храмов Сицилии, на широких аллеях Академии или на берегу Родоса, он страстно тосковал по Риму. Его влекло туда как магнитом. Разумеется, молодой провинциал, попав впервые в Рим, был ослеплен и оглушен блеском и шумом столичной жизни. Здесь на каждом углу подстерегал соблазн. Молодые люди из крохотных городков приезжали кутить в столицу и с шиком спускали нажитые отцами деньги. Тот же Катулл рассказывает, что его ветреные друзья, у которых никогда никаких денег не было, буквально пропадали в Риме. Они могли исчезнуть бесследно на целый день — они с упоением бродили по городу, заглядывали в храм Юпитера Капитолийского, который напоминал музей — настолько он был полон приношений из разных стран, — прогуливались по прохладным портикам или огромному Цирку, долго изучали все книжные лавки и влюблялись в прохожих красавиц (*CatuL, LV*). Вероятно, и книжные лавки, и портики, и пестрая толпа на улицах интересовали нашего героя. Но подобно тому, как мелкие увлечения меркнут, когда явится настоящая любовь, так и все эти соблазны отступили для Цицерона на задний план перед одним — Форумом. Что же так влекло его на Форум?

Форум — маленькая площадь между Капитолийским и Палатинским холмами — был средоточием всей политической жизни Рима. Там стояла Курия, где обыкновенно заседал сенат. Там возвышались Ростры, с которых говорили римские ораторы. Там собирались народные собрания. Там заседали суды. Там разгорались жаркие споры, в которых решались судьбы мира. Суды особенно поражали наблюдателя.

Едва ли не ежедневно виднейшие граждане выступали против своих врагов с громкими судебными процессами. Это были настоящие поединки, развертывавшиеся на Форуме. Современному читателю трудно даже представить себе что-нибудь подобное. У нас к суду привлекают в основном преступников, защищают их адвокаты — профессиональные защитники, обвиняют прокуроры — платные обвинители, и, кроме некоторых исключительных случаев, такого рода разбирательства интересуют только ближайших родственников обвиняемого. В Риме все было совершенно иначе. Суд был родом дуэли. Человек привлекал к суду своего недруга или соперника, возбуждая против него какое-нибудь

громкое дело. Он и был обвинителем. Подсудимый либо защищался сам, либо прибегал к помощи своего более красноречивого друга. Посмотреть на это зрелище стекался весь Рим. И вот перед лицом всего народа враги скрещивали свои словесные шпаги. Обвинитель разбирал всю жизнь подсудимого с самого детства и порой совершенно не стеснялся в выражениях. Оба противника и не думали скрывать взаимной ненависти и прятать неприязнь под лицемерной маской объективности. Нет, они открыто пылали враждой, и это-то и придавало судебному поединку в глазах римлян особенную прелесть и остроту. Я говорила, что весь Рим стекался посмотреть на это захватывающее зрелище. В самом деле, что могло быть увлекательнее и драматичнее, чем вид этих двух противников, часто первых людей Республики, которые сходились в бою, обдавая друг друга целым фонтаном отточенных метких слов и мыслей. И народ, замирая, следил за этой битвой, зная, что она должна кончиться гражданской смертью одного из бойцов.

Вот несколько примеров подобного рода блестящих дуэлей. Известный оратор Целий Руф вызвал на суд некого Бестию. Бестия оправдался. Целий немедленно выдвинул против него новое обвинение, но тут его самого привлек к суду сын подсудимого. Какой напряженный поединок! И все это в течение нескольких месяцев! Бестия Младший прямо заявил на суде, что не затронь Целий его отца, он не сказал бы ему ни одного дурного слова (*Cic. Cael.*, 56). И защитник Целия ничуть не осуждает родичей Бестии и не пытается доказать судьям, что такой предубежденный обвинитель на суде не годится. Напротив. «Они, — говорит оратор, — выполняют свой долг, они защищают своих близких, они поступают так, как обычно поступают храбрые люди — оскорбленные, они страдают, разгневанные — негодуют, задетые за живое — сражаются» (*Ibid.*, 21).

Знаменитый оратор Красс начал свою карьеру с того, что в 20 лет привлек к суду соратника Гракхов Папирия Карбона. Обвинение было удачно. Зато потом, как впоследствии шутил Красс, ему пришлось всю жизнь быть честным человеком, так как за ним всюду, как тень, следовал сын осужденного, чтобы найти хоть какой-нибудь повод привлечь его к суду. А Лукулл, великий победитель Митридата, в ранней юности привлек к суду Сервилия, который в свое время опозорил судом его отца. По этому поводу Плутарх замечает: «Выступать с обвинениями, даже без особого к тому предлога, вообще считается у римлян делом отнюдь не бесславным, напротив, им очень нравится, когда молодые люди травят нарушителя закона, словно породистые щенки» (*Plut. Lucul.*, I). Грек Полибий также с изумлением отмечает эту черту римских нравов. «Молодежь проводила

время на Форуме, — пишет он, — занимаясь ведением дел в судах... Юноши входили в славу тем только, что вредили кому-нибудь из сограждан: так бывает обыкновенно при ведении судебных дел» (*Polyb. XXXII, 15, 8—10*).

Тут мы видим еще одну черту судебных поединков: это был не только способ свести личные счеты или устранить опасного соперника, но и показать свою ловкость и силу, обрушившись на именитого нарушителя закона. Поэтому в Риме считалось, что юноша должен начать свою карьеру, обвинив кого-нибудь перед судом. А для этого надо было не только блестяще владеть словом, не только обладать смелостью и находчивостью, но и ежедневно терпеливо и упорно собирать данные для своей обвинительной речи. «Надо отрешиться от всех наслаждений, оставить развлечения, любовные игры, шутки, пиры, чуть ли не от бесед с близкими надо отказаться... Разве Целий, избери он в жизни легкий путь, мог бы, будучи еще совсем молодым человеком, привлечь к суду консуляра?.. Разве стал бы он изо дня в день выступать на этом поприще?» (*Cic. Cael, 46—47*).

Жизнь обвинителя была не менее опасна, чем жизнь опытного дуэлянта. Ведь сам обиженный, его друзья и родичи будут мстить и каждую минуту он рискует потерять гражданские права. Вот как описывал его положение впоследствии Цицерон: «Изо дня в день выступать на этом поприще, навлекать на себя ненависть, привлекать к суду других, самому рисковать своими гражданскими правами и на глазах всего римского народа столько месяцев биться за гражданские права или славу» (*Ibid., 47*).

Итак, победа в судах давала славу. А для того чтобы побеждать на этом поприще, надо было научиться говорить. Но не только в суде требовалось римлянам красноречие. Оно вообще было необходимо им как воздух. В Риме, как во всяком свободном государстве, все основано было на умении убеждать. Чтобы быть выбранным на должность, надо было убедить избирателей; чтобы провести закон, надо было убедить народное собрание; чтобы влиять на политику, надо было убедить сенат. Даже полководец начинал битву с того, что произносил речь перед воинами. Красноречие решало все. И чем напряженнее становилась политическая борьба, чем яростнее споры, тем ярче расцветал пламенеющий цветок римского красноречия.

Если же мы представим себе, какие страсти бушевали на Форуме, как ораторы часами спорили, окруженные жадно слушавшей их толпой, как знатные люди обвиняли своих врагов, а те яростно защищались, мы начинаем понимать, что значило для римлянина красноречие. Тацит с тайной грустью описывает эту увлекательную, мятежную жизнь, которую

ему — увы! — не суждено было увидеть. «Непрерывные предложения новых законов и домогательства народного расположения... народные собрания и выступления на них магистратов, проводивших едва ли не всю ночь на трибунах... обвинения и предания суду именитых граждан» (*Tac. Dial.*, 36).

Среди всего этого неистовства Форума, который, по словам современников, шумел и бушевал, как разъяренное море, оратор чувствовал себя волшебником, чародеем. Он подобен был египетскому магу, по мановению жезла которого рев стихий утихал. Так утихала и ярость толпы, когда он поднимался на Ростры, и бурные ее волны замирали у его ног. Древние ораторы часто рисуют нам эту величественную и захватывающую картину. Оратор был в глазах сограждан едва ли не полубогом. Все взапуски ухаживали за этим чародеем. «Ораторов осаждали просившие о защите... не только соотечественники, но и чужеземцы, их боялись отправляющиеся в провинцию магистраты и обхаживали возвратившиеся оттуда... они направляли сенат и народ своим влиянием» (*Tac. Dial.*, 36). Да, оратор царил здесь, в «этом средоточии владычества и славы», как впоследствии назовет Форум Цицерон (*Cic. De or.*, I, 105).

Вот почему вся молодежь мечтала о подобной головокружительной славе. Но достичь ее казалось не легче, чем отыскать волшебное кольцо, дающее власть над духами. В Греции это было проще, а потому прозаичнее. Молодой человек, желавший научиться хорошо говорить, поступал в школу риториков, где изо дня в день писал сочинения о споре между Одиссеем и Аяксом или об Агамемноне, отдающем на заклятие родную дочь. Но в Риме все было совершенно по-другому. Здесь не было риторических школ. Римляне испытывали к ним глубокое, почти гадливое презрение. Прежде всего их невыносимо раздражали риторические темы. «На такую надуманную, оторванную от жизни тему... сочиняются декламации, — с возмущением пишет Тацит. — ...В школах ежедневно произносятся речи о наградах тираноубийцам... или о кровосмесительных связях матерей с сыновьями или о чем-нибудь в этом роде» (*Tac. Dial.*, 35). Римлянам было душно в такой школе, а когда кто-то открыл ее, Красс, лучший оратор Рима, бывший тогда цензором, закрыл ее, назвав «школой бесстыдства» (*Cic. De or.*, III, 94).

Надо сознаться, что римляне презирали и самих риториков. Чтобы это стало понятнее, я напомним сцену из совсем другой эпохи. Пушкин в «Египетских ночах» рисует нам поэта Чарского. Это дворянин, русский барин, который даже стыдится своего имени «сочинитель». Вдруг приходит к нему какой-то оборванного вида иностранец, которого можно было

принять «за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком». И вот это-то оборванец заявляет, что он тоже поэт, коллега Чарского, и просит его «помочь своему брату» и ввести его в дома своих покровителей.

Чарский оскорблен до глубины души.

«— Вы ошибаетесь, Signor, — прервал его Чарский. — ...Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа... У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава Богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец... поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, — поразили его. Он понял, что между надменным *dandy*, стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего».

Примерно так же выглядели греческие профессиональные риторы рядом с римскими ораторами. Эти греки напоминали дешевых торговцев знаниями. Они устраивали себе крикливую рекламу и зазывали клиентов, расхваливая свой товар, как купец на пороге своей лавочки (*Cic. De or., II, 28*). Они были льстивы и раболепны и искали влиятельных покровителей, подобно итальянцу-импровизатору. Римские ораторы не были профессионалами. То были римские аристократы, изящные и надменные. Их дома так же, как дом Чарского, были полны изысканных безделушек, статуй и бронзы. Они, как и русские поэты, не имели покровителей. Они сами покровительствовали царям и народам. Они поражали иноземцев гордым изяществом своих манер. Рассказывают, что когда один грек впервые увидел сенаторов, он воскликнул: «Это собрание царей!»

Естественно, их передергивало от сравнения с греческими собратьями. Когда молодые поклонники особенно пристали к одному знаменитому оратору, ему на минуту показалось, что они ставят его на одну доску с риторам. Кровь бросилась ему в лицо.

— Что это значит?! Вы хотите, чтобы я, как какой-нибудь грек, может быть, развитой, но досужий и болтливый, разглагольствовал бы перед вами на любую заданную тему, которую вы мне подкинете? Да разве я когда-нибудь, по-вашему, заботился или хотя бы думал о подобных пустяках? (*Cic. De or., I, 102*).

Итак, римская молодежь училась не у раторов, но «в самой гуще борьбы, среди пыли, среди крика, в лагере, на поле битвы» (*Cic. De or., I,*

157). Иными словами, школой им был Форум. И учились они сражаться «мечом, а не учебной палкой» (*Tac. Dial.*, 34). Они сразу знакомились с реальными делами и не думали о тираноубийцах и кровосмесителях. И вместо комнатной подготовки перед ними сразу открывалось широкое поприще реальной жизни (*Cic. De or.*, I, 157). Учителем своим юноша выбирал самого знаменитого оратора. Иногда он даже поселялся в его доме. Он неотступно следовал за своим кумиром, присутствовал при всех его выступлениях в суде, в народном собрании, жадно ловил каждое его слово (*Tac. Dial.*, 34).

Но никого из юношей судебные битвы не увлекали так, как нашего героя. Он дневал и ночевал на Форуме.

### Красс Оратор

Все ораторы в глазах юного Цицерона были какими-то высшими существами. В то время римское красноречие цвело особенно ярким цветом. Сколько было могучих, так непохожих друг на друга талантов! Горячий, колющий и злой Марций Филипп, изысканный и ученый Катул<sup>[3]</sup> и удивительный Антоний! Цицерон так описывает свои юношеские впечатления от его выступлений: «Его речь смелая, страстная, бурно звучащая, отовсюду укрепленная, неуязвимая, яркая, острая, тонкая» (*De or.*, III, 32). Он представлялся юноше могучим полководцем, который ведет в бой свои войска, а его доводы казались ему воинами, вооруженными вместо копий неотразимыми словами (*Brut.*, 138).

Но все эти кумиры меркли и тускнели в его глазах, когда на Ростры всходил Люций Красс Оратор. Он, говорил Цицерон, был первым оратором Рима, а после него не было ни второго, ни третьего (*Brut.*, 173). То был, по его словам, человек «сверхъестественного красноречия» (*De or.*, II, I). «Красса я считаю совершенством решительно недостижимым», — говорит он (*Brut.*, 143). Никто ни до, ни после не производил на него такого впечатления. Красс умел говорить то возвышенно, то насмешливо, то увлекательно и пышно, то кратко и логично. А что это был за необыкновенный актер! Он разыгрывал перед народным собранием целые сцены. Обсуждалось спорное завещание — и вот он воскрешал перед зрителями умершего отца и заставлял говорить. Дух покойного словно вселялся в оратора. Глаза его горели, в них светилась такая скорбь, что могло смягчиться каменное сердце (*De or.*, II, 167). Или он обвинял негодяя — его буквально била лихорадка от возмущения; он говорил об

оклеветанном человеке и плакал, плакал настоящими слезами (*De or.*, II, 189–190). Это было живое пламя, которое воспламеняло все и вся. Зрители, слушая его, дрожали от волнения (*De or.*, II, 167).

Одно из первых дел Красса, которое Цицерон увидал на Форуме, было дело Планка. Наш герой тогда только-только приехал в Рим. Ему было 15 лет. Красс был защитником. Обвинял же некий Брут. То был человек знатного рода, сын ученойшего юриста. Но он пошел не в отца. Он промотал все свое состояние и стал сутягой — профессиональным обвинителем. Ум у него был острый, язык подвешен хорошо, поэтому обвинителем он считался опасным — его не любили и боялись (*Brut.*, 130; *De off.*, II, 51). Красс и Брут сидели друг против друга на возвышении; Цицерон смотрел на них не отрываясь. Брут был сосредоточен и серьезен. Красс казался весел и беспечен. Он все время колол обвинителя все новыми насмешками. Как я уже говорила, Брут спустил все отцовское имущество. Недавно он дошел до того, что продал свои бани. И вот на эти-то бани Красс поминутно сводил разговор. Казалось, он поклялся уморить ими противника. Брут, например, заявил, что вина Планка очевидна, незачем и доказательства приводить.

— Тут и потеть не с чего, — неосторожно добавил он.

— Конечно, не с чего, — подхватил Красс, — ты же продал бани.

Брут окончательно взбесился (этого, кажется, и добивался Красс). Он решил отомстить. Он вызвал чтецов и велел им читать два отрывка из двух одновременных речей Красса. В одном оратор нападал на сенат, в другом восхвалял его. Этим он хотел показать, какой двуличный и лживый человек его противник. На самом деле Красс был прав — одно действие сената казалось ему разумным, другое он резко порицал. Но, вместо того чтобы начать оправдываться, он в свою очередь позвал чтецов и, пародируя Брута, дал им читать три отрывка из юридических сочинений ученого отца обвинителя.

Начало первой книги: «Случилось нам находиться в Привернском поместье...»

— Брут, твой отец свидетельствует, что оставил тебе Привернское поместье!

Начало второй книги: «Мы с сыном Марком были в Альбанском поместье...»

Начало третьей книги: «Мы с сыном Марком сидели как-то в Тибуртинском поместье...»

(Очевидно, старый Брут начинал свои сочинения довольно однообразно, на чем и основана была игра Красса.)

— Где же все эти поместья, Брут? Ведь отец письменно объявил народу, что оставил их тебе? А если бы ты был помоложе, он написал бы непременно четвертую книгу и письменно объявил так: «Однажды мы с сыном Марком мылись в бане...»<sup>[4]</sup>

В то время, когда Красс это говорил, внимание всех привлекло печальное шествие, медленно двигавшееся по Священной дороге. Хоронили старую Юнию, ближайшую родственницу Брута.

И тут Красс мгновенно преобразился. Куда девалась его веселая усмешка?! Он стремительно вскочил, сверкая глазами, и воскликнул:

— Ты сидишь, Брут?! Что должна покойница от тебя передать твоему отцу?.. Твоим предкам? Люцию Бруту, избавившему народ наш от царского гнета? Что сказать им о твоей жизни? О твоих делах, о твоей славе, о твоей доблести? Может быть, сказать, что ты приумножил отцовское наследство? Ах, это не дело благородного! Но хоть бы и так, тебе приумножать нечего: ты прокутил все. Или о том, что ты занимался гражданским правом, как занимался твой отец? Нет, скорее она скажет, как продал ты дом со всем, что в нем было движимого и недвижимого, не пожалев даже отцовского кресла! Или ты был занят военной службой? Да ты и лагеря-то никогда не видел! Или красноречием? Да у тебя его и в помине нет, а убогий твой голос и язык служат только гнуснейшему ремеслу ябедника! И ты еще смеешь смотреть на свет дневной? Глядеть в глаза тем, кто перед тобой? Появляться на Форуме? В Риме? Перед согражданами? Ты не трепещешь перед этой покойницей, перед этими самыми изображениями предков, которым ты не только не подражаешь, но даже поставить их нигде не можешь?

Цицерона больше всего поразила внезапная перемена в Крассе. «Боги бессмертные!.. Как это было неожиданно! Как внезапно!» — говорил он. Красс разыграл трагедию с таким же блеском, как до того комедию. «Вот каково было трагическое вдохновение Красса!» (*De or.*, II, 223–227).

Красс был великий выдумщик. Жил в то время некий Гай Меммий. Это был пламенный демократ и борец против аристократии. Красс его не жаловал и не мог говорить о нем без улыбки. Как-то оратор с самым серьезным видом рассказывал, что он, Красс, приехал в один провинциальный городок и, прогуливаясь по улицам, с удивлением увидел, что на всех стенах написаны пять букв — LLLMM. Заинтригованный этой загадочной надписью, он стал расспрашивать, что значат эти буквы. И ему объяснили, что Меммий недавно подрался из-за какой-то бабенки с неким Ларгом и очень доблестно покусал его. Буквы как раз и напоминают о подвиге смелого трибуна и означают: «Кусучий Меммий гложет локоть

Ларга»<sup>[5]</sup>.

— Анекдот остроумный, но выдуманый тобой с начала и до конца, — с улыбкой замечает по этому поводу Крассу его собеседник (*Cic. De or., II, 240*).

Замечательны были и его стычки с Домицием Агенобарбом. Это последнее имя означает Меднобородый. Дело в том, что в их роду было много ярко-рыжих людей. В 92 году этот Домиций был выбран цензором вместе с Крассом. Люди они были совершенно разные. Красс — мягкий, утонченный, насмешливый, артистичный; Домиций — мрачный, суровый, резкий, грубый, с зычным голосом (*Plin. N.H., XVII, 1, I*). Красса он терпеть не мог, а, быть может, ему завидовал.

— Неудивительно, что борода у него медная — говорил про него Красс, — ведь у него железная глотка и чугунный лоб (*Suet. Ner., 2, 2*).

Красс был несколько легкомыслен и изнежен. За это обрушился на него суровый коллега. Он долго громил Красса своей «железной» глоткой, но самое страшное припас на конец. Оказывается, в имении Красса был пруд, а в пруду жила мурена. Рыба была совсем ручная и, говорят, подплывала на голос Красса и ела у него из рук. Хозяин души в ней не чаял. А когда недавно она умерла, Красс велел ее похоронить (*sic!*) и при этом, говорят, плакал! Об этом-то очередном дурачестве Красса стало известно Домицию. Коллега метал на его голову громы и молнии.

— Глупец! — гремел Агенобарб. — Он плачет о сдохшей рыбе!

На все эти филиппики Красс смиренно отвечал, что все это правда: да, он не обладает завидной стойкостью коллеги, он действительно плакал о рыбе, а Агенобарб похоронил трех жен и не уронил ни слезинки (*Ael. Hist. an., VIII, 4*).

Публика хохотала. Вообще в этот день смеялись много. «Никогда никакая словесная схватка не вызывала более шумного одобрения», — вспоминает Цицерон, которому в то время было 14 лет (*Brut., 164*). «Домиций, — объяснял сам Красс, — был так важен, так непреклонен, что его возражения гораздо лучше было развеять шуткой, чем разбить силой» (*Cic. De or., II, 230*). Вообще в своих шутках Красс был изящен и утончен. Но иногда, рассказывает Цицерон, он увлекался настолько, что передразнивал голос и жесты противника, да так здорово, что весь Форум покатывался от смеху (*Cic. De or., II, 242*).

Разумеется, юный Цицерон в душе обожал Красса. Он казался ему недостижимой звездой, божеством, спустившимся на землю. А между тем приблизиться к этому божеству было легче, чем можно было думать.

Мы уже говорили, что в то время существовал обычай, чтобы молодой

человек выбирал себе наставника из самых уважаемых граждан. Наставник не давал своему питомцу уроков в собственном смысле слова, но, глядя на него, юноша учился жить. Таким наставником для Цицерона стал старый юрист Квинт Сцевола Авгур. Юный Цицерон учился у него праву (*Cic. Brut.*, 306). Этот старик произвел на него неизгладимое впечатление, и оратор оставил о нем яркие воспоминания. «Я всегда держу в памяти образ Квинта Сцеволы Авгура», — признавался он уже перед смертью (*Phil.*, VIII, 10). Сцевола, по его словам, «представлял собой удивительное соединение душевной силы с немощью тела» (*Rab. mai.*, 21). Он «был отягощен старостью, измучен болезнью, искалечен и расслаблен во всех членах» (*Ibid.*). Но он заставлял себя ежедневно вставать до света и шел в свой кабинет, чтобы бесплатно давать советы каждому желающему. Он первым приходил в Курию, и никто в трудное для Республики время не видел его в постели (*Phil.*, VIII, 10). Когда же Сатурнин с оружием в руках восстал против законов и консул призвал всех защитить Республику, первым пришел на его зов слабый, больной Сцевола, опираясь на копье (*Rab. mai.*, 21). Знал он феноменально много. В философии разбирался так, что греческие философы с ним консультировались (*Cic. De or.*, I, 75), а уж в юриспруденции он не имел себе равных. Его глубокие суждения, его короткие меткие высказывания поражали мальчика (*Cic. Amic.*, 1). И при этом в нем не было ни тени важности, надутости. Он всегда был так мягок, так вежлив (*Cic. De or.*, I, 35).

Цицерон необыкновенно привязался к своему учителю. «Пока я мог, я уже никогда ни на шаг не отходил от этого старика» (*Amic.*, 1). Ежедневно он приходил в полукруглую комнату, *экседру*, где Сцевола любил принимать своих друзей. Так вот, этот Сцевола был тестем Красса Оратора. Тесть по римским понятиям второй отец, и Красс всю жизнь любил и уважал старого юриста как отца, а тот в свою очередь обожал его и гордился им как сыном. Кроме того, выяснилось, что отец и дядя Цицерона тоже неплохо знакомы с Крассом. И вот в один прекрасный день юноша с трепетом душевным переступил порог своего кумира.

Этот великий человек держался удивительно просто и ласково. Цицерону всегда претили в людях суровость, мрачность и высокомерие. Более всего он ценил доброту, мягкость, остроумие и просвещение. «Трудно даже выразить, до какой степени ласковость и обходительность речи привлекает к себе сердца», — говорил он (*De off.*, II, 48). Эти свойства он называл *humanitas* — человечностью. Эту-то человечность он нашел в Крассе. А как он был тактичен и деликатен! Цицерон вспоминает, как, устав от шума столицы, Красс на несколько дней уехал в свое Тускуланское

имение. С собой он увез Сцеволу — отдохнуть и развеяться. На виллу приехал Антоний, тот самый великий оратор, который напоминал Цицерону полководца. Он был близкий друг Красса. Собралась и молодежь. Но все были мрачны, угрюмы и совершенно убиты последними политическими событиями в Риме. Ни приятной беседы, ни отдыха не получалось. Сам Красс был расстроен не меньше других, но он вспомнил свой долг хозяина и «повел себя так легко и сердечно», «был так весел и остроумен в шутках», что мрачное настроение гостей исчезло совершенно. Так что «день у них вышел как будто сенатский, а обед — тускуланский» (*Cic. De or.*, 1, 26–27),

Красс был человек вполне светский с самыми изящными манерами. Но свой острый ум он скрывал под внешностью, полной какого-то грациозного и очаровательного легкомыслия. Дурачество с муреной было вполне в его духе. Он любил тонкую роскошь и красивые безделушки (*Plin. N.H.*, XVII, I, 1; *Vai Max.*, IX, 1, 4), Спорт его не увлекал. Тщетно его приятель, обожавший игру в мяч, пытался затащить его на Марсово поле. Красс всегда с серьезным видом уверял, что у него нет никаких способностей, чтобы научиться этой игре (*Cic. De or.*, III, 88). Вставал он поздно. Его гости уже спускались в сад, а хозяин еще нежился в постели. Один человек, вспоминает Цицерон, спросил Красса, не побеспокоит ли он его, если зайдет к нему еще до рассвета.

— Нет, ты меня не побеспокоишь, — отвечает Красс.

— Значит, прикажешь тебя разбудить? — спрашивает обрадованный проситель.

— Да нет. Я же сказал, что ты меня не побеспокоишь, — спокойно отвечает Красс (*Cic. De or.*, II, 259–260).

Лев Толстой говорит, что какой-нибудь небольшой недостаток у привлекательной женщины воспринимается как некое особое, ей только свойственное очарование. Так и Цицерона изнеженность Красса как-то особенно пленяла, и он с любовью останавливается в своих воспоминаниях на этих его милых черточках.

Красс совершенно очаровал юношу. В конце жизни Цицерон признавался, что это был один из самых обаятельных людей, которых он знал в жизни (*Brut.*, 203; *De off.*, I, 108). Вскоре он стал своим человеком в доме Красса. Все здесь казалось ему родным и милым. Ему нравилась и жена Красса, и его дочери (*Brut.*, 211).

Но Цицерону хотелось теперь не просто бывать у Красса и смотреть на него — хотя и это уже было счастьем! — ему хотелось проникнуть в его творческую лабораторию, понять, как создает он свои волшебные речи. Тут

появилось у него двое союзников. Вся молодежь была влюблена в Красса, но особенно верными и пылкими его поклонниками были двое — Сульпиций и Котта. Они были ровесниками и большими друзьями, но совсем не походили друг на друга. Сульпиций был могучим красавцем. Цицерон любовался им, когда он поднимался на Ростры, так величественны и прекрасны были его жесты и осанка. И голос был под стать сложению — мощный и красивый. Говорил он возвышенно и пышно. Речь его лилась неудержимо и бурно, как горный поток. Она, правда, была, пожалуй, чересчур обильна и напоминала, по словам Цицерона, слишком буйно разросшуюся лозу, которую надо подстричь. Он был необузданно весел, горяч и склонен к неожиданным, подчас отчаянным и авантурным поступкам. Бойкость его была такова, что он отваживался даже приставать с вопросами к самому Крассу. Он интересовался только одним — умением говорить и готов был заложить душу, чтобы овладеть этим искусством. К прекрасным учениям греков он относился с полным равнодушием. И когда ему советовали поучиться философии, чтобы речь его была логичнее и возвышеннее, он со смехом отвечал:

— По правде сказать, я вовсе не чувствую нужды ни в твоём Аристотеле, ни в Карнеаде, ни вообще в философах, и ты... можешь, коль угодно, думать, что я либо безнадежно неспособен усвоить ихнюю премудрость, либо ею пренебрегаю... Для того красноречия, о котором я мечтаю, за глаза довольно простого знакомства... с судебными вопросами (*Cic. De or.*, III, 147).

Речей своих он никогда не записывал. Цицерону он говорил, что писать не умеет и не любит (*Brut.*, 205).

Аврелий Котта казался полной противоположностью своему приятелю. Это был молодой человек хрупкого здоровья. У него был слабый голос, слабые легкие, и ему очень трудно было подчас говорить на весь Форум. Патетики и напыщенности он не любил. «Все его речи были искренними, простыми и здоровыми». Но логикой, тонким остроумием и мягким волнением он умел добиваться от судей того же, что Сульпиций «мощным потрясением» (*Brut.*, 201–203; *De or.*, I, 131–133; II, 88; 98; III, 31). Он был умен, проницателен, сдержан и вежлив. С детства он интересовался греческими науками. Говорил, что мечтает об Академии и, если даже философия окажется очень трудной наукой, а он сам — очень бестолковым учеником, все-таки он ее не бросит (*Cic. De or.*, III, 145).

Сульпиций и Котта происходили из знатных римских семей. Они были много старше Цицерона. Оба были уже известными ораторами и политиками. А Цицерон — никому не известным мальчиком из

провинциального городка, но они держались с ним мило и просто, как с равным. Ему нравились оба. Но друзьями они стали с Котгой и эту дружбу сохранили до конца жизни.

Котта и Сульпиций хвостом ходили за Крассом, не спускали с оратора восторженных глаз, ловили каждое его слово. Как со смехом рассказывал Сульпиций, они даже приставали к секретарю Красса, подглядывали за ним и подслушивали — и все это, чтобы выведать, как Красс сочиняет свои речи! (*Cic. De or.*, I, 136). Приставали они и к самому Крассу, пытаясь разговорить его. Но тщетно. «Никакими мыслимыми средствами его нельзя было выманить на спор», и он терпеть не мог такие рассуждения (*De or.*, I, 136). Поэтому, несмотря на свою утонченную, чарующую учтивость, он невольно держался как человек, который привык ко всеобщему восторженному поклонению и которому оно уже начало надоедать.

Правда, Цицерон рассказывает нам, будто однажды Красс все-таки сдался на неотступные просьбы молодых людей, которых поддержал его тесть, и стал говорить о своем искусстве. Боже мой! Что сделалось тогда с молодыми людьми! Как описать их буйный восторг! Как они слушали его, затаив дыхание! Но это еще не все. На другой день утром, когда Красс по своему обыкновению был еще в постели, неожиданно в его саду появился Катул со своим младшим братом Юлием. Катул был известным оратором, страстным поклонником Греции. Брат его, очень приятный и веселый человек, тоже был уже знаменит. Как и вся молодежь, он обожал Красса.

Красс не ожидал гостей. Он сразу заподозрил, что в Риме произошло что-то неладное. Поэтому первые слова его были:

— Что случилось? Какие новости?

— Да, право, никаких, — отвечал Катул, — ты же знаешь, время сейчас праздничное. Ты, конечно, можешь считать наше появление неуместным и докучным, но дело в том, что вчера вечером ко мне в усадьбу из своей усадьбы зашел Юлий и сказал, что встретил идущего от тебя Сцеволу и услышал от него поразительные вещи: будто ты... подробно рассуждал с Антонием о красноречии... И вот брат упросил меня пойти сюда вместе с ним... А я и сам был не прочь послушать, только, честно говоря, боялся вам досадить. Так вот, если ты считаешь наш поступок назойливым, припиши его Юлию, если дружественным, то нам обоим. А для нас, если мы только вам не досадили, побывать здесь — одно удовольствие.

— Что бы ни привело вас сюда, — отвечал на это Красс, — я всегда рад видеть у себя своих самых дорогих и лучших друзей; но, правду сказать, любая другая причина была бы мне приятнее, чем эта. Сказать по

совести, никогда в жизни не был я так недоволен собой, как вчера, и больше всего меня удручает то легкомыслие, с каким я, уступив молодым людям, забыл, что я старик, и сделал то, чего не делал даже в молодые годы: стал спорить о предметах, относящихся к области науки.

Разумеется, гости стали просить его уделить и им тоже крупницы своей просвещенной беседы.

— Нет, — сказал Красс, — я и Антонию не позволю сказать ни слова, да и сам онемею, пока вы не исполните одну мою просьбу.

— Какую? — спросил Катул.

— Остаться здесь на весь день.

Тогда, покуда Катул колебался, потому что обещал быть у брата, Юлий заявил:

— Я отвечу за нас обоих: я не уйду, даже если ты не произнесешь ни слова.

Тут и Катул засмеялся и сказал:

— Ну, так моим колебаниям положен конец, раз и дома меня не ждут, а спутник мой, к которому мы шли, так легко согласился, даже не спросив меня (*Cic. De or., II, 12–27*).

Так говорили и держали себя люди, среди которых наш герой провел юность. И с каким наслаждением он останавливается на описании их слов, их манер, их привычек! Цицерон еще более всех этих людей хотел бы проникнуть в тайны Красса. Увы! Думаю, всё это фантазия Цицерона. Не стал бы такой сдержанный, насмешливый человек, как Красс, пускаться в рассуждения о красноречии. Все это лишь воплотившаяся мечта юного Цицерона.

### **Увлечения. Мечты о славе**

«Я был тогда очень хрупким и слабым, с длинной, тонкой шеей; считают, что такая конституция очень опасна для жизни, особенно если человек много трудится и сильно напрягает легкие» (*Brut., 313*). Так описывал себя наш герой много лет спустя. По словам же его биографа Плутарха, «он был на редкость тощ», почти ничего не ел, целый день обходился без пищи и немного закусывал только вечером (*Plut. Cic., 3*).

Мы не знаем, был ли он в то время влюблен. Так как большинство молодых людей обыкновенно влюбляется в 16–20 лет, надо полагать, что и наш герой не составлял исключения. Но никаких слухов об этом до нас не дошло. Писем Цицерона того периода не сохранилось. Кроме того, он

вообще не любил особенно распространяться о своих увлечениях. Одно можно утверждать с уверенностью — юный Цицерон не устраивал блестящих кутежей, как многие его сверстники, не жил веселой богемной жизнью, как поэт Катулл и его друзья, и Рим не гремел рассказами о его любовных похождениях. Это был тихий молодой человек, скромный, очень строгих нравов, и подобные развлечения ему претили.

Была и еще одна причина, почему он избегал всех этих шумных увеселений. Юноша был увлечен другим, причем увлечен до безумия. Он «со страстью впитывал всякую науку, не пренебрегая ни единым из видов знания и образованности» (*Plut. Cic.*, 2). Он писал впоследствии, что не было в его жизни ни единого дня, когда он не стремился бы всей душой к занятиям науками и искусствами. Другие, говорит он, в свободное время обделывают свои дела либо отдыхают — устраивают веселые пирушки, играют в мяч или в кости. Он же, если у него найдется свободная минутка, сразу же возвращается к своим любимым занятиям. Книги и научные труды украшали для него дни счастья, они были для него утешением в несчастье; были с ним и дома, и на чужбине, они бодрствовали вместе с ним и вместе с ним блуждали по дорогам; они жили рядом с ним в сельской тиши (*Arch.*, 13; 16). Многие поражались такому удивительному рвению. Они говорили даже, что Цицерон переходит всякую меру в своей любви к греческому образованию. Но их слова были напрасны: юноша занимался как одержимый (например: *De Or.*, II, 1–5).

Он «постоянно бывал в обществе ученых греков» (*Plut. Cic.*, 2), главным его наставником стал стоик Диодот. Это был ученейший эллин, его всегда окружали толпы учеников. Но Цицерон вскоре стал его любимцем. И вот, вспоминает Цицерон, под руководством Диодота я «все время, день и ночь занимался изучением всех наук» (*Brut.*, 308–309). И все его увлекало, все волновало живой, впечатлительный ум. В философию он был буквально влюблен. Математикой восхищался. «Нет ничего ослепительнее их математики», — говорил он, узнав достижения греков (*Tusc.*, I, 113). Но особенно сильное впечатление произвела на него астрономия. Учить ее он начал, видимо, с тем же Диодотом по небесной сфере, то есть планетарию, сделанному великим греческим математиком и физиком Архимедом Сицилийцем. Цицерон рассказывает, что, когда он увидел этот бронзовый шар с изображением светил, он показался ему сперва совсем некрасивым и неинтересным. Но, когда наставник привел шар в движение, он понял, что «в этом сицилийце был гений больший, чем может вместить природа человеческая». При вращении сферы «происходило так, что на бронзовом изделии Луна сменяла Солнце в течение стольких же оборотов, во сколько

дней сменяла она его на самом небе, поэтому на небе сферы происходило такое же затмение Солнца (*De re publ*, I, 21–22).

«Архимед, — пишет Цицерон, — когда он заключил в сферу движения Луны, Солнца и пяти блуждающих звезд, сделал то же, что Платоновский Бог, творец мира в «Тимее», подчинив единому кругообороту движения ускоренные и замедленные». И если мир не мог быть создан без Бога, «то и в своей сфере Архимед не смог бы их имитировать без божественного гения» (*Tusc.* I, 63). Цицерон настолько увлекся астрономией, что перевел на латинский язык стихами огромную ученую поэму грека Арата, где описывались все звездное небо и все созвездия.

Вот несколько отрывков из этой поэмы.

«Словно река со стремительными водоворотами, изгибаясь то вверх, то вниз, ползет ужасный Дракон<sup>[6]</sup>, свивая свое тело в причудливые кольца. Не только голову его украшает сияющая звезда, но и виски отмечены двойным блеском; два горячих огня пылают из диких очей, а подбородок сверкает одной лучистой звездой... Ты мог бы увидеть братьев Близнецов под головой Медведицы. Под ними в центре Рак. А ногами они попирают огромного Льва, извергающего дрожащее пламя... Далее парит Овен с закрученными рогами... Дальше под небесным сводом крылатая Птица (созвездие Лебедя. — Т. Б.). В огромной орбите наполовину зверь Козерог. Из могучей груди он извергает ледяной холод... Скорпий (Стрелец. — Т. Б.) ... из последних сил удерживает изогнутый лук, около которого кружит, сверкая перьями, Птица... Светит сияющая Чаша. Ворон с огненным оперением стучит клювом о ее край» (*De nat. deor.*, II, 106–114).

Не только астрономия интересовала Цицерона. С не меньшим увлечением он описывает, как тклет свою паутину паук, как следит он за попавшейся жертвой; как краб и большая двустворчатая раковина вступают в союз для добывания пищи (сейчас такой союз называется в биологии симбиозом); как маленькие крокодилы и черепашки, чуть вылупятся, ползут к воде в силу заложенного в них инстинкта; как хитро охотится пеликан; как журавли летят треугольником, чтобы легче рассекать воздух; как дикие козы умеют отыскивать среди трав лекарство от яда (*De nat. deor.*, II, 123–127). Видимо, естествознание интересовало его почти так же, как астрономия. Сколько надо было прочесть ученых книг, чтобы собрать все эти сведения!

Цицерон страстно любил историю. Она привлекала его не только множеством образов и событий, которые его пылкая фантазия одевала в самые яркие и причудливые одежды. Изучая историю, он понял, что это память человечества, поэтому не знающий ее человек становился в его

глазах каким-то жалким существом. История, по его словам, есть цепь, связывающая предков и потомков. «Не знать, что случилось до твоего рождения — значит всегда оставаться ребенком. В самом деле, что такое жизнь человека, если память о древних событиях не связывает ее с жизнью наших предков?» — писал он (*Or.*, 120). И Цицерон стал заниматься с учителем историей (*Brut.*, 205–207). В то же время он продолжал прилежно изучать право сначала у Сцеволы Авгура, а когда тот умер, у его близкого родственника Сцеволы Понтифика. Цицерон привязался к нему всей душой. «Я смело могу сказать, что умом и справедливостью он выше всех в нашей Республике», — пишет он (*Amic.*, I).

Вернулся Цицерон и к своей юношеской страсти и снова стал писать стихи. Однако эти стихи могут удивить нас, даже разочаровать. Мы, конечно, ждем от шестнадцатилетнего мальчика нежной лирики, элегий о первой любви, полных томной тоски ранней юности. А вместо этого находим тяжелые, несколько напыщенные героические эпopeи. Увы! Цицерон всю жизнь был поклонником старомодной и важной музыки древнего Энния. И вот сейчас в Риме он сочинил новую поэму. Героем ее стал уже не мифологический персонаж, а реальное лицо, современник Цицерона, Гай Марий.

Этот страшный человек, пожалуй, самая зловещая фигура во всей римской истории, тогда не совершил еще всех тех преступлений, которые встают у нас в памяти при его имени. Напротив. То был национальный герой, любимый, даже боготворимый всеми. В 105 году, когда Цицерон только родился, через Альпы перешли полчища варварских племен кимбров и тевтонов. Как лавина, они обрушились на Италию, все истребляя на своем пути. Никто не мог их остановить. И вот в 101 году Марий разбил их в битве при Варцеллах и спас Рим. Для Цицерона облик этого человека представлялся особенно привлекательным еще по одной причине. Марий был его земляком. Он родился в маленькой деревушке под Арпинумом. Родители его были простые крестьяне. Он приехал в Рим и сделал головокружительную карьеру. Цицерон мог в душе надеяться, что и его ожидает столь же блестящая и необыкновенная судьба. Начиналась поэма на родине Цицерона, в дубовых рощах на берегах Ли-риса. Вывел он и Сцеволу, своего любимого наставника.

Цицерон, конечно, не мог устоять от искушения и прочел стихи друзьям. Все восхищались и осыпали автора самыми лестными похвалами. Не знаю, искренни ли были все эти комплименты или друзья просто не хотели обижать молодого поэта. Но в чувствах одного из них можно не сомневаться. Младший брат Цицерона Квинт сделался самым горячим

поклонником его поэтических талантов. «Ты от моих писаний всегда в восторге», — говорил ему впоследствии Марк (*De or.*, III, 15). Когда их друзьям случалось побывать в их родных местах, Квинт с гордостью показывал на старый дуб и объяснял, что это именно тот дуб, который воспет в «Марии». И, глядя на лесного великана, Квинт торжественно произносил:

— Пока латинские письма будут говорить, на этом месте всегда будет расти дуб, называемый Мариевым! (*Leg.*, 1, 2).

Он и сам стал писать стихи, подражая брату. Авторское самолюбие Цицерона было удовлетворено — он всегда с удовольствием повторял все эти хвалы и гордился созданиями своей музыки. Плутарх несколько более скептически относится к поэтическим шедеврам нашего героя. «Впоследствии он с большим разнообразием и тонкостью подвизался в этом искусстве, и многие считали его не только первым римским оратором, но и лучшим поэтом. Однако же ораторская слава Цицерона нерушима и поныне, хотя в красноречии произошли немалые перемены, а поэтическая — по вине многих великих дарований, явившихся после него, — забыта и исчезла без следа» (*Plut. Cic.*, 2).

Но главным увлечением Цицерона были все-таки не стихи, и даже не науки. Вероятно, когда он покидал родной Арпинум, в его душе роились неясные мечты и надежды. Он мог воображать, что будет великим поэтом или полководцем, вроде Мария. Но теперь все эти думы рассеялись без следа. Теперь будущее его было ясно — он станет знаменитым оратором, как Красс. «Я бы предпочел одну речь Люция Красса... двум триумфам», — говорил он (*Brut.*, 256). Он представлял себе, как он поднимется наконец на Ростры и увидит у ног своих весь Форум и все, затаив дыхание, будут его слушать. Эти упоительные мечты ласкали его воображение. О, если бы он только знал, при каких страшных обстоятельствах произнесет свою первую речь!

Цицерон мечтал стать не просто одним из ораторов — он хотел стать первым среди римлян! Вскоре, однако, юноша стал понимать, сколь трудна и терниста избранная им дорога. В Риме было столько даровитых, энергичных людей — выделиться среди них казалось безумно сложно. Да еще он был новый человек. Даже не римлянин. Когда тридцать лет спустя Цицерон, уже знаменитый на всю Италию оратор, готовился подняться на последнюю, высшую ступень почестей, его брат Квинт, предостерегая его, говорил:

— Подумай, в каком государстве ты живешь, чего добиваешься, кто ты. Вот о чем должен ты размышлять чуть ли не каждый день, спускаясь на

Форум: «Я — человек новый... это — Рим» (*Q.Cic. Comm, pet.*, 7).

Само имя его звучало странно и забавно для столичного уха. Дело в том, что *cicer* — по-латыни «горох». Говорили, что у какого-то из прадедушек Цицерона на носу была бородавка в виде горошины, отсюда и прозвище. Многие даже советовали нашему герою переменить имя, которое вызывает у всех улыбку. Но Цицерон «с юношеской запальчивостью» воскликнул, что не откажется от своего имени и сделает его более знаменитым, чем имена Катула или Скавра<sup>[7]</sup> (*Plut. Cic.*, I).

Мы уже говорили, что существовал в Риме простой и популярный способ отличиться. Молодой человек возбуждал судебное дело против какого-нибудь маститого гражданина. Но этот-то проторенный путь внушал непреодолимое отвращение нашему герою. Двадцати пяти лет от роду он писал:

— В моих глазах велик лишь тот, кто достиг известности своими собственными заслугами, а не тот, кто добился высокого положения ценой несчастья и гибели ближнего (*Rose. Amer.*, 83).

Итак, Цицерон стал добиваться славы собственными силами. Прежде всего он занялся ораторскими декламациями, то есть сочинял речи по-гречески или по-латыни и произносил громко и выразительно, словно в народном собрании. «Разнообразным и многочисленным наукам я отдавал не все свое время: ни один день не проходил у меня без ораторских упражнений» (*Brut.*, 310). Кроме того, он постоянно бывал на Форуме, особенно, если выступал Красс. Естественно, дня ему не хватало и он долгие ночные часы сидел при свете рабочей лампы (*Brut.*, 312).

Такое страшное напряжение казалось совершенно непосильным для хрупкого, болезненного юноши. Иногда после бессонной ночи его буквально невозможно было узнать, до того он казался осунувшимся и измученным (*Plut. Cic.*, 35). Встревоженные друзья вызвали врачей. Те пришли в ужас и категорически запретили ему переутомляться. А уж если он попытается выступать на Форуме, заявили они, смертный приговор ему подписан. Очевидно, они предполагали, что у юноши начинается туберкулезный процесс и он может умереть от горлового кровотечения. «Но, несмотря на то что друзья и врачи уговаривали меня отказаться от судебных дел, я готов был скорее пойти на любую опасность, нежели отречься от желанной ораторской славы» (*Brut.*, 313–314).

Я уже говорила, что первые яркие воспоминания начинаются у Цицерона, когда он оставил свою сельскую родину и перебрался в Рим. Но среди этих ранних воспоминаний юности выделяется, словно сверкающая точка, один год. И все нити его жизни сходятся и перекрещиваются в этой точке. То был поворотный момент и в жизни нашего героя, и в жизни римской Республики. Это — 91 год. Цицерону исполнилось тогда 15 лет. Уже под старость, осмысляя пройденный путь, Цицерон написал книгу, посвященную событиям этого года.

Итак, рассказывает Цицерон, в самом начале сентября 91 года друзья собрались на вилле у Красса. Каким прелестным казался Тускулум, и весь этот кружок умных образованных людей! Какая ясная, светлая погода стояла в ту осень! Кто мог бы предвидеть, что не пройдет и недели, как на Рим обрушится страшный невиданный ураган и разметает в разные стороны всех этих людей.

### *Римская смута*

«Юность моя совпала как раз с потрясением прежнего порядка вещей», — пишет Цицерон (*Cic. De or., I, 3*). Но чтобы понять, что это было за потрясение, нам придется вернуться далеко назад.

Римская смута началась с деятельности братьев Гракхов. В 133 году Тиберий Гракх, обеспокоенный обезземеливанием крестьян, предложил закон, по которому вводился земельный максимум, а избытые излишки распределялись между неимущими. Однако Тиберий наткнулся на сопротивление многих влиятельных людей, и в конце концов его коллега по трибунату наложил на законопроект вето. Тогда Тиберий пошел на страшное беззаконие — низложил коллегу и таким образом провел реформу. С этого времени даже в глазах многих друзей он стал преступником. Постепенно он запутывался все более и более. В конце концов он стал бояться сложить с себя трибунат, а с ним и свою неприкосновенность. Он попытался вопреки закону стать трибуном вторично. Некоторые из сенаторов бросились к месту голосования, чтобы помешать ему. В возникшей потасовке он был убит. Таким образом, Тиберий Гракх открыл путь насилию, а правящая аристократия обагрила руки священной кровью трибуна.

Через десять лет трибуном стал младший брат Тиберия Гай Гракх. Гай замыслил великую революцию — он решил превратить римский строй из аристократического в полную демократию на манер афинской. Для этого

необходимо было уничтожить сенат. Он говорил, что, даже когда он умрет, он не выпустит из рук меча, который вонзил в тело сената! (*Diod.*, XXXVII, 9). Свои законы он сравнивал с кинжалами, которые он разбросал на Форуме, чтобы граждане — он имел в виду, конечно, сенаторов — друг друга перерезали (*Cic. Leg.*, III, 20). Гай постарался создать некую коалицию всех сословий, направленную против сената. Для крестьян он возобновил аграрный закон своего брата. Для городской бедноты, люмпен-пролетариата, провел хлебный закон, согласно которому государство фактически должно было содержать неимущую чернь. Это имело два последствия. Во-первых, деньги на ее содержание надо было выкачивать из провинций. Во-вторых, создана была праздная паразитическая прослойка, готовая продаваться каждому политику. Аппиан пишет: «Обычай, имевший место только в Риме, — публичная раздача хлеба неимущим, — привлекал в Рим бездельников, попрошаек и плутов со всей Италии» (*App. В.С.*, II, 120). Это была мощная сила, которую Гай извлек из небытия.

Следующие законы Гая касались всадников. Это сословие Рима. Среди них были крупные коммерсанты и бизнесмены всех мастей — банкиры, ростовщики, купцы, спекулянты. В угоду им Гай провел закон, по которому налоги с богатой провинции Азии отдавались на откуп всадникам. Это означало, что богатая корпорация всадников сразу могла внести в казну всю сумму, которую государство должно было собрать с провинции, а взамен получала право самим взимать деньги с Азии. Естественно, чтобы остаться в барышах, им нужно было выжать из несчастной провинции втрое или вчетверо. Этому-то закону Гракха Рим обязан был той лютой ненависти, которой пылала к нему Азия.

Но римские провинции отнюдь не были беззащитны. По закону 149 года они могли возбуждать дела о лихоимстве против своих притеснителей. И мы знаем много процессов, блестяще выигранных жителями провинций. Почему же сейчас они не боролись с чудовищными злоупотреблениями всадников? Дело в том, что Гай следующим законом весьма предусмотрительно отнял суды у сенаторов и передал всадникам. Таким образом, всадники судили самих себя. Об этом законе Гай сказал, что одним ударом убил сенат. «Эти слова Гракха оправдались еще ярче позднее, когда реформа... стала осуществляться на практике. Ибо предоставление всадникам судебных полномочий над римлянами, всеми италийцами и самими сенаторами, полномочия карать их любыми мерами воздействия, денежными штрафами, лишением гражданских прав, изгнанием — все это вознесло всадников, как магистратов над сенатом, а членов последнего сравнивало со всадниками или даже поставило в подчиненное положение...

Всадники стали заодно с трибунами в вопросах голосования и в благодарность получили от трибунов все, чего бы они ни пожелали... И скоро дело дошло до того, что самая основа государственного строя опрокинулась: сенат продолжал сохранять за собой лишь свой авторитет, вся же сила сосредоточилась в руках всадников... Всадники не только стали заправлять всем в судах, но даже начали неприкрыто издеваться над сенаторами... Процессы против взяточничества они совсем отменили... Обычай требовать отчет от должностных лиц вообще пришел в забвение, и судейский закон Гракха на долгое время повлек за собой распрю, не меньшую прежних» (*App. B.C., I, 22*).

Теперь Гай обладал огромной властью — распоряжался казной и принимал послов. Но власть Гая продолжалась недолго, всего два года. Его ждала обычная судьба демагога в демократическом обществе — его оттеснили новые народные любимцы, предлагавшие еще более радикальные преобразования. В 122 году он провалился на выборах в трибуны. В следующем году он был объявлен вне закона и убит. При этом сторонники его вооружились и впервые на улицах Рима воздвигнуты были два укрепленных лагеря и пролилась кровь.

Говорят, незадолго до смерти, увидав смеющихся врагов, Гай воскликнул: «Ваш смех предсмертный! Вы даже не знаете, какой тьмой окутали вас все мои начинания!» И он оказался прав. Хотя победа как будто осталась за сенатом, Рим окутала глубокая мгла. Республика вступила в полосу смут. Прежде единое государство разделилось на партии. Борьбой их наполнены годы, протекавшие после реформы Гракхов. То один, то другой мятежный трибун поднимал народ и натравливал его на сенат. И всегдашним оружием в руках этих демагогов были хлебные раздачи и аграрные законы. Так что в конце концов само слово «аграрный закон» стало, как черная смерть, ненавистно аристократии. Порой дело доходило до открытых стычек на Форуме.

Между тем сенат не мог примириться с новыми судами. Они не только унижали сенат, они отдавали провинции во власть страшному произволу. Нужно было во что бы то ни стало вырвать суд из рук всадников. Но всадники, вкусив власти, вели себя нагло и жестоко, и ничто не могло заставить их выпустить добычу из рук. Было ясно, что они не остановятся ни перед чем. И очень большая смелость требовалась от того, кто решился бы открыто бросить им вызов. Красс был всей душой за реформу. Но у Красса не было железной воли — он был слишком мягок и артистичен. И вдруг смельчак появился. То был совсем молодой римский аристократ Марк Ливий Друз.

Друз был знатен и необыкновенно богат, наделен ясным умом и замечательным красноречием. *Это* был человек самых чистых нравов, верный своему слову, благородный — словом, «человек великой души», как говорили о нем античные писатели. В то же время он был невероятно горд, властен и строг (*Diod.*, XXXVII 10, 2; *Veil.*, II, 13; *Plut. Praec. ger. reip.*, 4, 11). Держался он как наследный принц. Говорят, когда приняли какой-то закон, один шутник подписал под ним, что он обязателен для всех граждан, кроме Друза. Но горд он был только с равными. К плебсу он был неизменно ласков и приветлив. А щедрость его превосходила всякую меру (*Diod.*, XXXVII, 10, 2). Чернь обожала его, и, когда он входил в театр, все вставали и рукоплескали ему (*Plin. N.H.*, XXV, 52). Вот этот-то Друз с необычайной дерзостью решил выступить против всесильных всадников. Он выдвинул свою кандидатуру в трибуны на 91 год, публично заявив, что собирается низложить всаднические суды и вернуть былую власть сенату.

Цицерон говорит, что он «взял на себя трибунство для защиты влияния сената» (*De or.*, I, 24) и его, такого юного, почтенные отцы<sup>[8]</sup> называли *патроном*, то есть защитником и покровителем сената (*Cic. Mil.*, 16). Однако, глядя на его законы, мы видим, что это целая большая программа реформ, и касалась она не одного сената, а всех сословий римского общества. В самом деле. *Сенату* возвращались суды. *Всадники* лишались судебной власти, зато им давалось право вступления в сенат, количество членов которого увеличивалось вдвое. Для *крестьян* возобновлялся гракханский земельный закон. *Городской плебс* получал богатые хлебные раздачи.

Кажется, многие сенаторы склонны были думать, что все остальные законы придуманы трибуном «только для приманки и обольщения толпы», которая, клюнув на наживку, проголосует за судебную реформу (*Veil.*, II, 13). Но я не могу с этим согласиться. Всякая лесть, заискивание и угодничество были чужды гордой натуре Ливия Друза. И уж если он предлагал какой-то закон, значит, считал его нужным для Республики. Действительно, аграрная реформа казалась ему необходимой. Что до всадников, то отнять у них суд, ничего не дав взамен, значило бесконечно озлобить их и толкнуть на путь кровопролития и революции. Хлебные раздачи многим казались безусловно вредными. Но они так соответствовали широкому и щедрому характеру молодого трибуна! Сам он готов был поделиться с бедняками последним и требовал того же от своего сословия. Он любил повторять:

— Я раздам все, кроме воздуха и грязи!<sup>[9]</sup>

Но у Друза была и другая цель. Мы видели, что Гай Гракх очень искусно разделил все слои римского общества и посеял между ними ненависть — разбросал ножи, как он говорил. Эту ненависть уже много лет раздували трибуны-популяры, причем смертоносным оружием в их руках были аграрный и хлебный законы. И вот теперь Друз задумал вновь соединить римское общество. Страшные прежде гракханские законы будут исходить не от мятежников-демократов, а от самого сената и будут содействовать великому делу примирения. Аппиан говорит о нем: «Сенат и всадников, враждовавших тогда между собой в особенности из-за судов, Ливий пытался примирить законопроектом, одинаково приемлемым и для тех, и для других» (*App. B.C., I, 35*).

Все четыре закона Друз объединил вместе, так что голосовать за них надо было разом. Видимо, это было не вполне законно, но другого выхода трибун не видел. Когда всадники узнали о реформе, они подняли настоящую бурю. «Весь город словно раскололся на два лагеря, не хватало только знамен, орлов и военных значков» (*Flor., II, 3, 18*). Во главе этой грозной армии всадников встали двое — Цепион, соперник Друза, лично его ненавидевший, и консул этого года Марций Филипп, сочувствовавший демократии. Человек он был недобрый, вспыльчивый, резкий, злоязычный, но оратор хороший. Оба яростно нападали на Друза в сенате и на народном собрании.

### **Катастрофа**

Законы Друза были приняты. Однако с их принятием борьба не кончилась. Наоборот. Она кипела сейчас с особой яростью. Так прошли зима, весна и лето. В начале сентября были праздники — так называемые Римские игры. 9 сентября 91 года Красс со своими друзьями уехал на Тускуланскую виллу. Он был особенно мил и остроумен, что называется, в ударе. Но когда через три дня он, отдохнувший и повеселевший, вернулся в Рим, его ожидало ошеломляющее известие. 12 сентября, в последний день праздников, консул Филипп созвал народное собрание и объявил, что «должен искать более разумного государственного совета, ибо с теперешним сенатом он не в состоянии управлять Республикой». Слова эти отдавали государственным переворотом. Все были взволнованы. На другой день утром Друз созвал сенат в Курии, чтобы доложить о более чем странном заявлении консула. Цицерон и его младший брат Квинт тоже

побежали в Курию. Они, разумеется, не были сенаторами и не могли выступать. Но им можно было присутствовать. И вот вместе с другими любопытными оба мальчика пристроились в прихожей и не спускали глаз с ораторов.

Они видели, как сначала поднялся Ливий Друз и сурово выступил против консула. Филипп собирался возразить, и тут со своей скамьи вскочил Красс... «После всякого... выступления Красса... казалось, что он никогда в жизни не говорил так хорошо... Однако тут все единодушно согласились, что если Красс всегда превосходил всех остальных, то в этот день он превзошел самого себя». Консул Филипп, человек неистовый и вспыльчивый, пришел в ярость, когда на него, словно огненные искры, посыпались слова Красса. Он хотел остановить оратора, прибег даже к угрозам и кричал, что наложит на него штраф. Тщетно! С таким же успехом он мог бы попытаться остановить бушующее пламя.

— Не имущество мое тебе надо урезать, если ты хочешь усмирить Люция Красса: язык мой тебе надо для этого отрезать! Но даже будь он вырван, само дыхание мое восславит мою свободу и опровергнет твой произвол!

И «со всей мощью своей страсти, ума и дарования Красс продолжал говорить и говорить». Обоим мальчикам казалось, что в него вселился некий бог. Филипп был повержен. Сенат вынес постановление, гласившее: «Римский народ не должен сомневаться в том, что сенат всегда неизменно верен заботе о благе Республики». Это была великая победа. И братья торжествовали вместе с оратором.

Однако мальчики заметили, что в конце своей речи Красс стал дрожать, как в лихорадке, и его лоб покрылся капельками пота. Оказывается, оратор внезапно почувствовал резкую боль в груди, его бросило в жар и начался озноб. Домой он вернулся совсем больным и слег. Через шесть дней, 19 сентября, он умер. Это совершенно поразило юного Цицерона. Речь Красса постоянно звенела у него в ушах. Случившееся не укладывалось у него в голове. Вместе с братом под вечер он отправился вновь в опустевшую Курию. В тоске он бродил по залу. Он подошел к той самой скамье, где сидел Красс, к тому месту, откуда он говорил в последний раз... И ему казалось, что вот-вот снова зазвучит его божественный голос. Но все было тихо. Неповторимый голос умолк навек. Мальчики вспомнили легенду о том, что самая красивая на свете птица — лебедь — перед смертью поет какую-то дивно прекрасную песню. Таким лебедем казался им Красс, и лебединой песней была его чудная речь. Грустные, унылые они поплелись домой (*De or*, III, 1–7).

Для многих смерть Красса была горем. Но для Друза она явилась непоправимым ударом. Силой своего красноречия Красс защищал его от врагов. В тот последний свой день, уже в жару, когда смерть дышала ему в лицо, он сумел спасти и отстоять его. Теперь он был мертв. И Друз стоял один над пропастью.

Своими законами Друз стремился всех примирить, а на деле озлобил всех против себя. «Случилось обратное тому, на что он рассчитывал» (Аппиан). Сенаторы были раздражены тем, что им приходилось терпеть в Курии подле себя ненавистных всадников. Всадники же люто ненавидели его за то, что он решил положить предел их обогащению (*App. В.С., I, 35*). Но это было еще полбеда. Теперь за молодым реформатором по пятам ползла клевета, и клевета страшная. Дело заключалось в следующем. Италия была издревле населена племенами более или менее близкими римлянам по языку и по крови. Постепенно римляне подчиняли их себе и к III веку они все были покорены и получили статус римских союзников. Союзники сохраняли полную свободу внутри своих городов, не принимали в свои стены римские войска и не платили дани. Их подчинение римлянам заключалось в том, что, во-первых, они не могли воевать ни между собой, ни с кем-то за пределами Италии и, во-вторых, должны были во время войн поддерживать римлян. Союзнические отряды всегда были в римском легионе. Кроме того, они не могли участвовать в политической жизни Республики.

Сначала это положение вовсе не тяготило союзников. Они занимались политикой каждый в своем городке и им дела не было до Рима. Но теперь Рим стал владыкой вселенной. На Форуме и в Курии решались судьбы тогдашнего мира, а союзники не принимали в этом ни малейшего участия. Кроме того, они постепенно латинизировались. Это были те же римляне, только лишенные столичного лоска и изящества. И их возмущало, что они не уравнены в правах с римлянами. Союзники пытались несколько раз заговорить о даровании им римского гражданства. Но римляне и слышать об этом не хотели. И народ, и знать не могли допустить даже мысли, что каких-то италиков поставят на одну доску с римлянами. Сам всемогущий Гай Гракх, который первым задумал эту реформу, вынужден был сам же отказаться от нее, хотя был в апогее своей власти, ибо понял — это будет конец его карьеры и его популярности. А Ливий Друз задумал дать союзникам права римского гражданства!

Он решил поставить этот закон отдельно, во вторую очередь. И сейчас готовился приступить к делу. Враги стали выставлять его намерения в самом черном свете. Говорили, что вожди союзников — отъявленные

мятежники и враги Рима — днюют и ночуют в доме Друза. Говорили, что он в тайных сношениях с врагами Рима, совершенно недопустимых не только для римского магистрата, но просто для римского гражданина. А Филипп предъявил даже какие-то документы, из которых явствовало, что Друз замешан в заговоре союзников против Рима. Черное кольцо все теснее сжималось вокруг молодого трибуна. В эту злую для Друза минуту на него обрушился новый удар. Приближались Латинские празднества. В эти дни римский консул должен был совершать священнодействия на Альбанской горе вместе с представителями латинских общин. Ехать должен был консул Филипп. И вот союзники решили воспользоваться случаем, отделаться от Филиппа и тем избавить себя и Друза от всех бед. К несчастью для себя, они, очевидно, проговорились в разговоре с трибуном или он как-то догадался об их намерениях. Как бы то ни было, узнав, какая опасность угрожает его смертельному врагу, Друз, разумеется, почел своим долгом немедленно отправиться к Филиппу и предупредить его. А Филипп, выслушав его, кинулся в сенат и заявил, что Друз себя выдал: теперь-то уж совершенно ясно, что он состоит в тайном заговоре союзников — он изменник и государственный преступник (*De vir. illustn*, 66, 12). Такие речи не могли не подействовать на отцов.

Теперь Друзу оставалось одно средство спасения — взять назад свой законопроект о союзниках. Но этого сделать он не мог. Во-первых, он уже обещал это союзникам, а Ливий Друз согласился бы лучше десять раз умереть, чем нарушить слово. Во-вторых, он знал, что страсти накалились до предела, что союзники живут только надеждами на гражданство и, если теперь они обманутся в ожиданиях, нельзя ручаться ни за что. И он твердо решил не отступать. При этом он рассчитывал на необыкновенную любовь к себе народа, который готов был одобрить все, что бы он ни предложил.

Между тем его противники, воспользовавшись недовольством сената и недобрыми слухами, указали на одну формальную ошибку, допущенную при проведении его первых законов, и добились их отмены. Этого никогда бы не случилось, если бы жив был Красс! Друз встретил этот удар с необыкновенным достоинством и мужеством. Он сказал, что мог бы помешать отмене своих законов, воспользовавшись своим правом вето, «но он сознательно этого не сделает, так как ему прекрасно известно, что сделавших зло скоро постигает достойная кара. Действительно, раз его законы будут отменены, значит, отменен будет и его судебный закон. А если бы дело было доведено до конца, никогда не обвинили бы человека, который был неподкупен в жизни, а грабившие провинции получили бы достойное наказание за вымогательства. Поэтому те, кто из зависти

отменяют его законы, своими действиями на самих себя навлекают опасность» (*Diod.*, XXXVII, 10, 5).

Но Друз еще оставался трибуном и собирался приступить к своей последней реформе — дарованию прав гражданства союзникам. Он твердо заявил, что не отступит ни на шаг. Между тем напряжение достигло предела. Союзники жили только надеждой на Друза. Когда Друз внезапно заболел, во всех храмах Италии мужчины, женщины, дети день и ночь молились об одном — только бы он выздоровел! Только бы он остался жив! (*Vir. illusir.*, 67, 12)<sup>[16]</sup>.

Молодой реформатор имел все основания опасаться за свою жизнь. И вот он, быть может, склонившись к мольбам союзников, трепетавших за него, решил до голосования побереечь себя. Тедерь он «изредка выходил из дому, но все время занимался у себя, в слабо освещенном портике». Народ не забывал его и навещал чуть не каждый день. Однажды вечером Друз провожал огромную толпу народа. Было это в темном дворике. Вдруг он громко вскрикнул и упал на руки подбежавших к нему людей (*App. B.C.*, I, 36; *Sen. De brev. v.*, 6, 2). Его отнесли в комнату. В боку у него торчал сапожный нож.

Позвали врачей. Но все было напрасно. Через несколько часов он умер. Перед смертью, будучи уже при последнем издыхании, обведя глазами рыдавшую толпу, он промолвил:

— Родные и друзья мои, будет ли когда-нибудь у Республики такой гражданин, как я? (*Veil.*, II, 13–14).

Это были его последние слова.

Друзья Ливия не сомневались в том, кто убийца. То был не Филипп и не Цепион. Как ни тяжки были их грехи, на такое даже они не были способны. Котта уверенно называл Цицерону другое имя — имя Квинта Вария (*De nat. deor.*, III, 81). Он был еще молод, ровесник Друза. Происходил он из Испании и был сыном римлянина и неримлянки. Цицерон много раз видел его на Рострах. Он запомнился нашему герою как «человек неуклюжий и безобразный», но говорить он умел (*De or.*, I, 117). За свое происхождение он получил прозвище Гибрида, то есть Ублюдок.

\*

Тьма, нависавшая столько лет над Римом, разом обрушилась. Союзники, обманутые в своих надеждах, восстали. Началась революция.

Друз был мертв. Италия пылала в огне гражданской войны. Враги Ливия воспользовались этим, чтобы нанести окончательный удар аристократии, которая якобы подстрекнула союзников к восстанию (*ORP, fr. 11, p. 167*). Варий в 90 году провел закон, по которому все сторонники Ливия обвинялись в государственной измене. «Всадники надеялись таким образом подвести всех влиятельных лиц (то есть римских аристократов. — Т. Б.) под ненавистное обвинение, суд над ними забрать в свои руки и, после того как они будут устранены, получить в государстве еще большую власть» (*App. B.C., I, 37*).

Цицерон целые дни проводил на Форуме. Каждое утро на площади расставляли скамьи, рассаживались присяжные, приходил обвинитель и зловещее зрелище начиналось: один за другим перед трибуналом представляли первые люди Республики. Цицерон не мог оторвать глаз от этого захватывающего и жуткого спектакля, который должен был окончиться гибелью актеров, гибелью не на сцене, а всерьез. Филипп играл роль первого злодея, он горячо и страстно обвинял. Цицерон и ненавидел его, и в то же время любовался им, такой это был блистательный оратор.

Одним из первых предстал перед судом Котта — тот самый Когга, которого так любил Цицерон! Держался он очень мужественно. Бросил в лицо сидящим в трибунале всадникам тяжкие обвинения. «И тут на такого жадного слушателя, как я, обрушилось первое горе — Котта был изгнан», — вспоминает Цицерон (*Brut., 305*).

В суд вызвали Эмилия Скавра. То был гордый и суровый старик, столп аристократии, друг Ливия. Цицерон бесконечно его уважал и трепетал за него. Скавр был стар и тяжело болен — ноги почти не слушались его. Друзья умоляли его не идти на суд подлых демагогов и остаться дома, сославшись на свой недуг. Но старый упрямец их не послушал. Он отправился на Форум — его поддерживали под руки знатнейшие юноши. С трудом поднявшись на Ростры, он произнес следующее:

— Квинт Варий Испанец говорит, что Марк Скавр, принцепс сената, призвал союзников к оружию; Марк Скавр, принцепс сената, это отрицает; свидетелей никаких: кому из двух, квиниты, вы должны верить?

Эти слова так смутили всех, что обвинитель смолк и Скавр вернулся домой (*ORF, fr. 11, p. 167*).

То было настоящее «преследование аристократии» (*App. B.C., I, 38*), и никого уже не утешило, что в следующем же году Варий был изгнан по

своему собственному закону. Погиб он в мучениях, вспоминал Цицерон. Очень возможно, что по дороге он попал в руки союзников и они припомнили ему убийство Ливия и изгнание его друзей (*De nat. deor.*, III, 81; *Brut.*, 305). Форум был словно поле после бури — одни были изгнаны, другие в армии. Вскоре и Цицерон попал в набор и уехал на войну.

Италики были в то время почти те же римляне, поэтому Союзническая война была фактически войной гражданской. Рассказывают, что вначале враждебные армии не могли поднять друг на друга оружия — римляне соскакивали с коней и протягивали союзникам руку, и те, бросив меч, пожимали руку своим прежним друзьям. Но долго так продолжаться не могло — началась настоящая война. А так как междоусобные войны всегда более жестоки, чем войны внешние, то и Союзническая война была кровавой. И окончилась она странно: нельзя даже сказать, какая сторона победила — союзники были разбиты, то есть побеждены, но они получили права гражданства, то есть победили. Цицерон был тогда в армии, но об этих днях своей жизни вспоминать не любил.

Революция не может, раз вспыхнув, сразу кончиться. Демоны ее неохотно уходят под землю. Из Союзнической войны, словно уродливый черный гриб-гробовик, поднимающийся, как говорят, из пропитанной кровью земли, выросла новая смута. Начался новый виток революции.

В боях с италиками особенно выделились два полководца, знаменитые и ранее — Гай Марий и Сулла. Внешне эти люди ничем друг на друга не походили. Более того. Были прямо противоположны. Марий был сыном простого арпинского крестьянина, Сулла происходил из знатной, хотя и разорившейся патрицианской фамилии. Марий был человек необразованный, темный, неотесанный, грубый, Сулла получил утонченное образование. Марий был честен, угрюм и мрачен. Сулла был ветрен, развратен, беспечен, смешлив и весел. Марий принадлежал к демократической партии, Сулла говорил, что принадлежит к аристократической. Но, в сущности, они были схожи, как два близнеца. Оба были первоклассные полководцы, оба любимые солдатами вожди, оба жестокие авантюристы, стремящиеся к власти и готовые ради нее перешагнуть через любые преступления. Оба жаждали первенства, а потому были соперниками.

Долгое время на пути такого рода военных диктаторов существовало непреодолимое препятствие. Дело в том, что закон запрещал вооруженному воину переступать границу города Рима. Можно сказать — но кто же смотрит на законы во дни смуты? Однако я напомним, что римская армия состояла только из граждан, вчерашних крестьян и ремесленников,

воспитанных в абсолютном уважении к законам; и если бы даже вождь отдал приказ идти на Рим, они никогда бы ему не повиновались. Надо было создать новую армию. И это сделал Гай Марий (104 год).

Армия становилась профессиональной. Она вербовалась из люмпен-пролетариата, то есть из аутсайдеров города, скопившихся в Риме благодаря реформам Гая Гракха. Каждый воин служил 20–25 лет. Его чин — то есть будет ли он рядовым или офицером, — его место в строю, его жалование и вооружение — все это определял полководец. Отслужив свой срок, солдат выходил в отставку — такой старый воин назывался *ветераном*. В виде пенсии ему выдавался земельный участок, который должен был кормить его на старости лет. Размер этого участка и его место — будет ли он в плодородной или каменистой местности — все это опять-таки определял полководец.

Итак, теперь солдатами были люди, у которых в Риме не было ничего: ни дома, ни земли, ни семьи. Всю жизнь они сражались где-нибудь на чужбине, в дикой Галлии или знойной Африке. Их богом был полководец: от него зависело всё их настоящее и будущее. Естественно, один кивок его головы значил для них больше, чем все постановления сената и римского народа. Такую армию можно было использовать уже против родины.

Сразу же после Союзнической войны произошли следующие события. Царь Митридат Понтийский объявил войну Риму. К нему тут же примкнула Малая Азия, которая ненавидела Рим после законов Гракха. Консулом был Сулла (88 год). Он и получил назначение на эту войну. Но Гай Марий мечтал сразиться с Митридатом, «считая предстоящую войну легкой и прибыльной» (*App. B.C., I, 55*). И вот он склонил на свою сторону трибуна. Вместе они, поправ все законы, путем насилия, почти мятежа, добились постановления о том, что Сулла на посту главнокомандующего должен быть смещен Марием. Но самое замечательное, что этот мятежный трибун был не кто иной, как наш старый знакомый Сульпиций! Захваченный революцией, он очертя голову кинулся в эту безумную авантюру.

Когда вестники с этим предписанием явились в лагерь Суллы, он так разжег своих воинов умелыми речами, что они умертвили посланных и повернули на Рим. Прошло всего 25 лет со времени реформы Мария, и она дала плоды. И первой жертвой ее, как часто бывает, был сам Марий. Впервые в истории вооруженная армия заняла Рим. Сулла распоряжался как полновластный диктатор. Сульпиций был убит. Марию удалось бежать. За ним по пятам гнались убийцы. Но тысячи людей укрывали его и прятали, ибо никто из рожденных в Италии не мог забыть тевтонов, кимбров и битву при Варцеллах. Рассказывают, например, как его спасла

женщина, которую он осудил когда-то (*Plut. Mar.*, 38). Марий бежал из Италии. А Сулла, установив свою власть и отдав последние распоряжения, уехал на войну (88 год).

Было бы безумием думать, что Рим забыл кровь и унижение и так легко позволил надеть на себя цепи. Конечно, он готовил мщение. И как только Сулла исчез, римляне пожелаали сбросить с себя узду. Этими настроениями воспользовались марианцы. Они стали набирать армию, в которой было много ветеранов Мария. Сам он вернулся и стал во главе войска. И марианцы в свою очередь заняли Рим (87 год). Марий вступил в город. Вид его был ужасен — мрачное лицо и налитые кровью глаза предвещали убийства (*Plut. Mar.*, 43). Начался террор. И обрушился он в основном на головы римской аристократии. Марий окружил себя отрядом приспешников, которые по первому его знаку убивали любого. Достаточно было Марию не ответить на приветствие какого-нибудь человека и нахмуриться, как того тут же на улице умерщвляли (*Ibid.*). «Тотчас же рассыпались во все стороны сыщики и стали искать врагов Мария и Цинны<sup>[10]</sup> из числа сенаторов и... всадников. Когда погибали всадники, дело этим и кончалось. Зато головы сенаторов, всех без исключения, выставляли перед ораторской трибуной... Мало того, что поступки эти были дикие; с ними соединялись и безнравственные картины. Сначала людей безжалостно убивали, затем перерезывали у убитых уже людей шеи и, в конце концов, выставляли жертвы напоказ, чтобы уstrasшить, запугать других или просто, чтобы показать безнравственное зрелище» (*App. B.C.*, I, 71).

Цинна, убив нескольких врагов, казалось, «пресытился резней и смягчился; но Марий с каждым днем все больше распалялся гневом и жаждой крови, нападал на всех, против кого питал хоть какое-нибудь подозрение. Все улицы, весь город кишел преследователями, охотившимися за теми, кто убегал или скрывался» (*Plut. Mar.*, 43).

Все друзья Красса погибли злой смертью. Катул, которого Марий давно ненавидел, получил приказ умереть; он заперся в доме, зажег угли и задохся в дыму (*App. B.C.*, I, 74). Брат его Юлий был убит, и, так как он имел несчастье принадлежать к аристократии, голова его выставлена была на Рострах. Удивительна и страшна была судьба оратора Антония. Он бежал из Рима и нашел приют в доме бедного крестьянина, своего друга или бывшего подзащитного. Этот простодушный человек, желая лучше угостить столичного жителя, стал покупать дорогое вино и изысканные лакомства. Это-то все и погубило. У торговца появились подозрения. Он донес, что знает, где прячется оратор Антоний. Когда об этом доложили

Марию, он возлежал за обедом. «Рассказывают, что Марий, услышав это, громко закричал, захлопал в ладоши от радости и чуть было сам не вскочил из-за стола и не побежал в указанном направлении» (*Plut. Mar.*, 44). Срочно отправлен был отряд солдат с приказом принести голову Антония.

Отряд шел по проселочной дороге. Подойдя к простому деревенскому дому, он остановился. Офицер отделил несколько человек и послал их за головой Антония. Сам он остался ждать снаружи. Но вот прошло пятнадцать, двадцать минут, прошло полчаса, а ни один из посланных не возвращался. Встревоженный офицер тогда сам вошел в дом. Взору его предстала поразительная картина. Он увидел, что все посланные им солдаты стоят, потупя голову, и плачут, а Антоний стоит перед ними и держит речь. Зачарованные его красноречием, они не смели не только приблизиться, но даже поднять глаза. Тогда офицер подбежал к оратору и отрубил ему голову (*Ibid.*).

Через год (в 86 году) Марий умер. Говорят, умирал он тяжело. Ему чудилось, что против него идет Сулла. На него напал дикий страх. Его мучили кошмары. Днем и ночью он слышал таинственный голос, который непрерывно повторял какие-то странные слова. Он не мог сомкнуть глаз. Боясь бессонницы и кошмаров, он стал пить, чего никогда в жизни не делал, чтобы только ненадолго впасть в беспамятство. «Новые страхи, отягчившие его ужас перед грядущим и отвращение к настоящему, явились последней каплей, переполнившей чашу. У него началось колотье в боку... Он лег и, пролежав не поднимаясь семь дней, умер» (*Plut. Mar.*, 45)<sup>[17]</sup>.

Но избавления это не принесло. Марианцы, друзья мертвого тирана, захватили власть. Террор продолжался. Сцевола Юрисконсульт зарезан был у храма Весты. Всех друзей Суллы умерщвляли, их дома разоряли (*App. B.C.*, I, 73). Обо всем этом Сулла знал прекрасно. Его жена, обожаемая им Метелла, не в силах выносить происходившего, бежала из Рима, с необыкновенной отвагой пересекла море и в один прекрасный день ворвалась в палатку к мужу. Но он продолжал спокойно вести военные действия, поражая врагов смелостью, умом и выдержкой. Наконец он добился капитуляции царя и стянул войска, чтобы идти на Италию.

Когда он высадился, войско его стало расти как снежный ком. К нему примыкали братья, сыновья и друзья убитых. Кроме того, Сулла, соединявший, по словам современников, храбрость льва с хитростью лисицы, переманивал у противников легионы. Опрокинув отчаянное сопротивление марианцев, Сулла вошел в город.

Если несколько лет назад у кого-то были иллюзии насчет Мария и некоторым он мог представляться избавителем, то в отношении Суллы

никто таких иллюзий не питал. От него ожидали самого худшего, и он вполне оправдал эти ожидания. Он учинил такую же резню, как и Марий. Но он придумал новшество — стал составлять списки тех, кто подлежал смерти. Назывались они *проскрипции*. И с тех пор это слово приобрело зловещий смысл. Замечательно, что сенат, хотя был парализован террором, не скрепил своей санкцией этих списков. Сулла был человек щедрый, любил своих клевретов, а потому разрешал им самим вносить в списки кого угодно. Они же вписывали не только имена своих врагов, но и просто состоятельных людей, чтобы поживиться их имуществом.

Некогда так поступали в Афинах 30 тиранов. Рассказывают, что Сократ, который пережил эти дни террора, говорил тогда друзьям, что трагические поэты часто выводят на сцене героев, которым грозит гибель. «Однако никогда не было столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцене обреченный на смерть хор!» (*Ael. Var., II, II*). Таким обреченным на смерть хором были жители Рима. Половина населения была в бегах; люди прятались в болотах, лесах, горах.

\*

Среди этого моря крови, когда все были парализованы страхом, случилось одно из ряда вон выходящее событие.

### *Дело Росция (80 год)*

Из клевретов Суллы наибольшей силой и влиянием пользовался некий Хризогон, правая рука диктатора. Его называли самым могущественным человеком в Италии (*Rose. Amer., 6*). В маленьком итальянском городке Америя жил некий Росций, человек простой, но очень богатый. У него было двое родственников, отъявленных негодяев, с которыми он давно был в самых натянутых отношениях. Сейчас, когда в Италии пылала революция, они решили воспользоваться обстоятельствами и вступили в сделку с всесильным Хризогоном на следующих условиях: они устраняют своего богача-родственника, Хризогон объявляет их наследниками, а добычу они делят пополам. И вот, когда старик Росций приехал на несколько дней в столицу и поздно вечером возвращался из гостей, его зарезали в темном переулке. Сразу же Хризогон внес его имя задним числом в проскрипций, хотя они уже несколько месяцев были официально

закрыты (с 1 июня 81 года), а наследниками объявил обоих родственников-убийц.

Но у убитого был сын, Секст Росций, простой, неотесанный деревенский малый, который всю жизнь сиднем сидел в своем имении и даже столицы почти не видел. Новые владельцы вломились к нему, вышвырнули из дома и отобрали буквально все — не оставили ни крыши над головой, ни гроша денег, ни даже одежды, кроме той, что была на нем. Совершенно подавленный, он не знал, что предпринять. Тут сограждане, возмущенные этой вопиющей несправедливостью, отправили делегацию к самому Сулле, чтобы пожаловаться на обиду. Но диктатор не стал разбираться в их жалобах. Мало того. Он поручил их дело Хризогону! Недаром в Риме говорили, что за спиной клеветы стоял сам Сулла. Хризогон же рассудил, что сын должен отправиться вслед за отцом. К Росцию Младшему подослали убийц. Но несчастного успели предупредить. Обезумев от страха, он бежал из родного города, словно олень, гонимый охотниками. Бежал он в Рим. Там у него не было ни единого друга или родственника. Но он знал, что его семья связана узами гостеприимства со знатным домом Цецилиев Метеллов. В дверь этого дома он и постучал со слабой надеждой, что, быть может, его не прогонят от порога.

Хозяйкой дома была Цецилия Метелла, дочь полководца Метелла Балеарского. Увидав у порога совершенно незнакомого ей деревенского жителя и услышав путаный и бессвязный рассказ о его бедах, она обнаружила ту силу духа, которую проявляли римские женщины во время террора. Она ввела провинциала в свой дом, приютила его, обласкала, снабдила всем необходимым, а главное, оградила от убийц.

Убедившись, что просто зарезать америнца нельзя, Хризогон решил действовать другим путем. Он нанял некоего Эруция и тот обвинил Росция в отцеубийстве. А убийство отца или матери было единственным преступлением, которое в Риме каралось смертью. Таким образом, Росций, ускользнувший от ножа убийц, должен был быть казнен судом. В отчаянии он обращался ко всем ораторам, ко всем влиятельным людям Рима — тщетно! Все жалели его, все сочувствовали, но никто не решался выступить против всесильного временщика — это казалось равносильным самоубийству. Все понимали, что фактически никакого суда не будет — будет лишь пустая комедия. И вдруг прошел слух, что у Росция нашелся защитник. Какой-то никому не известный человек. Не занимавший ни одной должности. Даже не римлянин. Совсем молодой. Кажется, ни разу еще не выступавший в суде<sup>[18]</sup>. Звали этого человека Марк Туллий

Цицерон.

Настал день суда. Набилось столько людей, что яблоку негде было упасть. Все были в лихорадочном нетерпении и спрашивали друг у друга: неужели этот суд действительно состоится?! Обвиняемый был до того напуган, что явился под охраной, которой снабдила его все та же Метелла (*Rose. Amer.*, 13). Он был уверен, что его зарежут тут же у трибунала. На передней скамье сидели знатнейшие граждане, вид у них был скорбный и понурый. Им было горько и стыдно, но выступить защитником среди них не отважился ни единый. Явился веселый и бодрый обвинитель Эруций. Наклонившись к одному из присяжных, он кивнул на переднюю скамью и спросил, будет ли кто-нибудь из них выступать. Получив отрицательный ответ, он совершенно успокоился. О существовании же молодого защитника он, кажется, даже не догадывался.

Говорил он без всякой подготовки, считая свое выступление пустой формальностью. Вел себя нагло и развязно и держался как хозяин: садился, когда вздумается, расхаживал туда и сюда, однажды даже прервал свою речь, подозвал раба и вполголоса заказал обед из ближайшей лавочки (*Ibid.*, 59). Наконец он сел.

И тут со скамьи защиты поднялся хрупкий, бледный как смерть юноша. Все глаза обратились к нему. Все заметили, что он дрожит, как будто у него сильнейший озноб. Но это был не страх, вернее, страх особого рода. Цицерон страшно волновался перед выступлением. «Я бледнею и содрогаюсь всем телом и душой при первых словах своей речи», — говорил он (*De or.*, I, 121 *ср. Cluent.*, 51). Иногда он приходил в суд с таким бледным, как маска, лицом, что его буквально не могли узнать (*Plut. Cic.*, 35). Он «говорить начинал со страхом и насилу переставал трястись и дрожать» (*Ibid.*). А ведь это было первое его большое выступление!

Он извинился, сказал, что очень застенчив и робок, а потому ему трудно говорить (*Rose. Amer.*, 9). Обвинитель окинул его презрительным и насмешливым взглядом и, не обращая на него больше внимания, отвернулся и стал громко шутить с соседями. И вдруг юноша произнес имя Хризогона. Эруций не поверил своим ушам. Он повернулся и во все глаза уставился на молодого безумца. Нет, он не ослышался. Юноша снова произнес имя Хризогона и назвал его злодеем и убийцей... (*Ibid.*, 59–60).

— Вы удивляетесь, конечно, судьи, — начал молодой защитник, — почему, в то время как столько выдающихся своими ораторскими дарованиями и своей знатностью людей сидят спокойно, поднялся со своего места именно я, которого нельзя сравнить с сидящими ни по летам, ни по таланту, ни по знатности. Все эти люди... считают необходимым,

чтобы был дан... отпор задуманному с неслыханной злобностью насилию, но дать этот отпор лично бояться... Они явились... но молчат, не желая подвергать себя опасности... В настоящее время в нашем государстве не только забыли прощать, но даже потеряли охоту понимать<sup>[11]</sup> (*Ibid.*, 1–3).

Тут-то оратор и назвал имя человека, перед которым все дрожат — это Хризогон. Он и есть преступник.

— Дело вот в чем. Хризогон прибрал к рукам без всякого права хорошее имение, а так как Росций стоит у него поперек дороги, то он требует, чтобы судьи успокоили его и убрали его жизнь с его пути. Если это его желание кажется вам, судьи, справедливым и честным — позвольте мне, в свою очередь, заявить желание скромное и, на мой взгляд, несравненно более справедливое. Прежде всего я прошу Хризогона удовольствоваться нашими деньгами... и не требовать нашей крови... затем вас, судьи, — дать отпор совершающим дерзкие преступления, облегчить горе невинных и... устранить опасность, угрожающую одинаково всем... Встретившись лицом к лицу со столь страшным злодеянием, я не в состоянии ни достаточно изящно говорить... ни достаточно свободно излагать свои мнения: для изящества речи мне не хватает таланта... свободно говорить мне мешает современное положение дел в государстве (*Ibid.*, 6–9).

Затем юный оратор приступил к сути дела, то есть стал доказывать, что его клиент не отцеубийца. Это не потребовало у него много времени и сил. Обвинитель, заранее уверенный в успехе, не приготовил ни улики, ни сколько-нибудь убедительного рассказа, ни даже лжесвидетелей — все было шито белыми нитками. А потом защитник заговорил о том, что такое преступление, и о страшных муках совести, терзающих преступника, о том, сколь ужасное наказание ждет отцеубийц — их живыми зашивали в мешок и бросали в воду. И тут вдруг его прервали — слова его потонули в буре аплодисментов. Ему рукоплескал весь Форум! В заключение он сказал:

— Мы, обвиняемые, громко обращаемся теперь к суду с такой просьбой... Мы просим тебя, Марк Фанний<sup>[12]</sup>, и вас, судьи, как можно строже наказать преступников, оказать отъявленным злодеям самое упорное сопротивление и не забывать, что если в этом процессе вы не покажете открыто ваше мнение, то... убийства будут совершаться... прямо здесь, на Форуме, перед твоим трибуналом, Марк Фанний, у ваших ног, судьи, на самых скамьях... Для Росция, как и для государства, остается, судьи, одна надежда — на вашу... доброту и милосердие. Если она

осталась в вас, то мы и теперь еще можем надеяться на спасение; но если жажда крови, обуявшая в последнее время граждан, успела ожесточить, озлобить... и ваши сердца — тогда для нас все погибло... Лучше жить среди зверей, чем среди людей, столь недоступных чувству сострадания! Неужели вы остались живы, неужели вас избрали в судьи для того, чтобы вы осуждали тех, кто спасся... от убийц!.. Берегитесь, судьи, заклинаю вас бессмертными богами, чтобы вас не сочли виновниками новых, еще более кровавых проскрипций... жертвами которых будут... дети и еще лежащие в колыбели младенцы... Всякий из вас понимает, что римский народ, некогда известный своим крайним снисхождением к врагам, страдает в настоящее время жестокостью по отношению к гражданам. Положите же конец распространению ее в государстве, судьи, вылечите от нее общество: она опасна не только потому, что истребила самым ужасным образом множество граждан, но и потому, что постоянными картинами убийств сделала глухими к голосу сострадания самых добрых людей; видя и слыша ежечасно одни только ужасы, даже самые кроткие из нас, под впечатлением постоянно повторяющихся кровавых зрелищ, совершенно окаменевают сердцем (*Ibid.*, 12; 150–154).

Так кончил Цицерон. Все были потрясены. Среди воцарившегося мертвого молчания присяжные провозгласили:

— Не виновен!

Цицерон «к радостному изумлению сограждан дело выиграл» (*Plut. Cic.*, 3).

\*

Такова была эта знаменитая речь. Ученые Нового времени с изумлением спрашивают, как решился Цицерон с такой поразительной смелостью выступить против всесильного временщика. Тем более что он вовсе не принадлежал к людям, которые очертя голову кидаются навстречу опасности, — напротив, его постоянно обвиняют в чрезмерной нерешительности и даже робости. Как же столь робкий человек отважился на такой отчаянный поступок? Я вижу только один ответ на этот вопрос. *Цицерона призывал его профессиональный долг.* Существуют врачи, которые будут под пулями делать перевязки больным, хотя иногда те же врачи и не проявляют особой отваги и удали на поле боя. Цицерон не мог пройти мимо гибнущего человека, как врач не может пройти мимо истекающего кровью. Он должен был спасти его любой ценой.

В соответствии со своей задачей Цицерон очень осторожен. Он много раз повторяет, что Сулла ничего не знал о происходящем, не знал о преступлении своего клеврета. Обыгрывая прозвище Суллы — *Счастливый*, — он говорит, что нет человека, который был бы так счастлив, чтобы не иметь среди своих приближенных ни одного негодяя (*Rose. Amer.*, 22). Цицерон даже утверждает, что главной и заветной его мечтой было примирение всех партий, но когда он понял, что гражданская война неизбежна, он стал сочувствовать той партии, которая потом победила, хотя никогда не проливал крови (*Ibid.*, 136–137). И это понятно. Если бы Цицерон начал обличать Суллу, он не только погиб бы сам, но неминуемо погубил своего клиента.

Но была в этом деле еще одна сторона, которая поразила всех. В годы революции и террора, когда кровь текла ручьями, этот юноша, почти мальчик, произнес великие слова о милосердии, о жалости и осудил жестокость. Несмотря на все его оправдания, каждый слушатель понял, каким чудовищным преступлением являются в его глазах проскрипции. Он осмелился даже сказать, что, если победившая сторона взяла власть только затем, чтобы проливать кровь, он отрекается от нее (*Ibid.*, 137). Если бы Цицерон сказал эти слова в сенате или в политической речи на Форуме, они произвели бы, несомненно, сильное впечатление. Но Цицерон произнес их в суде, где он с риском для жизни взялся защищать от правительственных убийц человека, причем человек этот был ему абсолютно чужой — ни друг, ни родственник, ни гостеприимен; человек этот не был ни знатен, ни богат, не был даже римлянином; он не обладал ни умом, ни образованием, ни талантами. И вот для такого-то совершенно обыкновенного, заурядного человека он рискнул жизнью! И этим он лучше всяких слов подтвердил великую ценность человеческой жизни и осудил все ужасы последних лет!

Таким остался Цицерон до последних дней жизни. За несколько дней до смерти он писал сыну: «Никогда жестокость не бывает полезна: жестокость противна человеческой природе» (*De off.*, III, 47).

Цицерон всегда гордился своей речью, и с полным правом. Он писал сыну там же: «Больше всего и славы, и благодарности пожинает защита, особенно если мы приходим на помощь человеку, которого со всех сторон окружили и теснят силы могущественного врага; я поступал так много раз и в иных случаях и когда в юности встал против сил властителя Люция Суллы ради Секста Росция» (*De off.*, II, 51). Но, с другой стороны, перечитывая свою речь в зрелом возрасте, он сурово осудил ее с профессиональной точки зрения. Пушкин писал о «Бахчисарайском фонтане», который имел самый бурный успех в русском обществе:

«Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как и он, отзывался чтением Байрона, от которого я с ума сходил... А. Раевский хохотал над следующими стихами:

Он часто в сечах роковых  
Подъемлет саблю — и с размаха  
Недвижим остается вдруг,  
Глядит с безумием вокруг,  
Бледнеет *etc.*

Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама»<sup>[19]</sup>. Точно так же самые патетические места его первой речи казались позднее Цицерону слабыми, просто смешными. Он не мог читать их без улыбки. Он вспоминает, под какие рукоплескания произносил следующую прочувствованную и возвышенную тираду о каре отцеубийцам: «Воздух составляет общее достояние всех живых, земля — всех мертвых, море — всех утопающих, берег — всех выкинутых волнами утопленников. Отцеубийцы же должны жить — пока могут — так, чтобы их дыхание не заражало атмосферы, умирать так, чтобы их кости не касались земли, тонуть так, чтобы волны не омывали их плоти, быть выбрасываемы пучиной так, чтобы их труп не покоился даже на приморских утесах!» «Прошло немало времени, пока я сам пришел к сознанию незрелости этой страницы моей речи; она — плод увлечения юноши» (*Rose. Amer.*, 72; *Or.*, 107).

Это тоже очень характерно для Цицерона. Человек пристрастный, подчас несправедливый, честолюбивый, порой даже тщеславный, он был абсолютно честен во всем, что касалось его искусства. Он мог без тени зависти восхищаться речами своих злейших врагов. И сейчас не побоялся осудить свою самую героическую речь.

Дело Росция было великим триумфом Цицерона. «Первая наша речь, произнесенная в защиту Секста Росция, вызвала такой восторг, что, казалось, нет дела, которое было бы слишком трудным для нас», — вспоминал он (*Brut*, 312). Но сам триумфатор сразу же исчез из Рима. Сам он всегда говорил, что отправился в Грецию, с одной стороны, учиться, с другой — чтобы поправить здоровье, которое действительно находилось в ужасном состоянии. Однако его биограф Плутарх рассказывает, что не любознательность, не забота о здоровье привели Цицерона в Грецию, а

ужас. Он узнал, что диктатор разгневан, и понял, что приговорен. Можно себе представить, как нервный, впечатлительный Цицерон вздрагивал от каждого шороха, как ночью ему мерещились тяжелые шаги убийц и стук в дверь. Более того. Из случайно оброненных им слов мы узнаем, что он уехал, по-видимому, в зимние месяцы, когда море не было еще судоходно, и прятался в южной Италии у своего гостеприимца. А с первым же кораблем он отплыл в Грецию (*Plut. Cic.*, 3; *Cic. De fin.*, V, 4). Однако Цицерон, обладая тонким художественным чутьем, прекрасно понимал, что такое бегство будет жалкой развязкой героической драмы Росция. Она все портила и ослабляла эффект. Поэтому он предпочел версию о путешествии для поправки здоровья. Итак, он уехал, вернее, бежал. Его сопровождали родной брат Квинт и кузен Люций.

Когда Цицерон, поднявшись на корабль, кинул последний взгляд на берега Италии, мысли его, несомненно, были скорбны. Он так рассказывал об этом много лет спустя: «Горечь воспоминаний оживила во мне старую и тяжелую печаль» (*De or.*, III, 1). Перед глазами его все время стояли виденные им страшные картины — человеческие головы на Рострах и окровавленные безголовые трупы, валяющиеся по дорогам Италии. Все, кого он так любил, весь милый кружок Красса был истреблен. Он вспомнил Антония, вспомнил, как на тех самых Рострах, где он некогда с таким блеском выступал, «была положена его голова, спасшая столько голов сограждан». Вспомнил остроумного и веселого Юлия, своего наставника Сцевола и Сульпиция. Тот, правда, единственный погиб по собственной вине, но Цицерон никогда не осуждал его в сердце своем. Для него он навсегда остался тем красавцем-оратором с могучим голосом и веселым смехом, которым он так любовался в дни юности.

Теперь Цицерон понял, что смерть Красса, которую он так горько оплакивал, была вовсе не несчастьем, а даром судьбы.

«Думается мне, не жизнь отняли у Красса бессмертные боги; а даровали ему смерть. Не увидел он ни Италии в пламени войны... ни лучших граждан жертвами нечестивого обвинения (то есть обвинения Вария. — Т. Б.)... ни душераздирающего бегства Гая Мария, ни повальных кровавых казней после его возвращения... Кто же, по чести, не назовет блаженной... смерть Люция Красса?» (*Ibid.*, III, 8—10).

Да, боги поистине любили Красса и хранили его. Хранили они и Котту. Ведь изгнание, которое так поразило юного Цицерона, спасло ему жизнь — его непременно зарезали бы марианцы. А теперь он все время террора мирно провел в Греции. Там он учился в Академии и стал образованнейшим человеком. Когда же террор кончился, он воротился в

Рим. Он достиг высших должностей, был даже выбран консулом. Он стал прекрасным адвокатом и постоянно выступал в суде. Цицерон очень любил бывать в его гостеприимном доме. Хозяин, рассказывает он, был всегда удивительно вежлив и приветлив. Они часто говорили на отвлеченные темы и вспоминали учения философов. Но, если кто-нибудь при нем говорил, что боги заботятся о людях, на губах Котты появлялась горькая усмешка.

— Они должны были бы сотворить всех добрыми, если бы заботились о роде человеческом; а если нет, то, по крайней мере, заботиться о добрых... Почему друг мой Друз убит в собственном доме? Почему Квинт Сцевола, образец воздержанности и благоразумия, зарезан у храма Весты?.. Почему Гай Марий, коварнейший из людей, мог приказать умереть Катулу, человеку удивительного благородства?.. Почему Гай Марий так счастливо... умер стариком в собственном доме?

Когда же ему возражали, что многие злодеи все же понесли наказание, например Варий, он говорил, что лучше было бы в свое время удержать его руку, там в портике дома Ливия, чем потом наказывать его самого (*De nat. deor III, 79–81*).

Да, все они погибли. Но то чудо, о котором когда-то молились осиротевшие мальчики, стоя в Курии перед опустевшей скамьей Красса, это чудо свершилось. Они молились, чтобы вновь зазвучал неповторимый голос Красса, и он зазвучал. Сорок лет спустя Цицерон, уже прославленный на весь мир оратор, написал диалог, где воскресил друзей своей юности. Он нарисовал Красса, веселого, полного сил, в расцвете славы и таланта — таким, каким он был в сентябре 91 года за несколько дней до смерти; и к нему на виллу приходят Антоний, Сцевола, Катул, Юлий и Котта с Сульпицием. «Я счел своим долгом... сделать живую память о них бессмертной», — говорит он (*De or., II, 8*): Действительно, он даровал им бессмертие. Все они стоят у нас перед глазами как живые. Но ярче всех сам Красс. Цицерон создал неповторимо обаятельный образ этого человека. Если бы этого диалога не было, Красс был бы для нас всего лишь именем, пустым звуком. И не только для нас. Те короткие, похожие на конспект речи, которые он издавал, не могли даже приблизительно дать представление потомкам о его красноречии. И если на страницах всех римских историй и учебников по риторике мы постоянно встречаем имя великого Красса, то это всецело заслуга Цицерона. Он вдохнул жизнь в этот образ, и образ этот пленяет людей вот уже две тысячи лет. Посвятил Цицерон свои воспоминания брату Квинту, с которым стоял много лет назад в пустой Курии.

Цицерон пишет, что смерть Красса и последовавшие за ней события остаются всегда незаживающей раной в его душе. И он обращается к одному доступному ему утешению: «Я передам последнюю, едва ли не самую последнюю беседу Люция Красса, воздав этим ему пусть и вовсе не равную его дарованию, но, во всяком случае... посильную для меня благодарность. Ведь каждый из нас, читая великолепные книги Платона... не может не чувствовать, что подлинный Сократ был еще выше, чем все, что о нем с таким вдохновением написано. Вот так и я настоятельно прошу — не тебя, конечно...<sup>[13]</sup> но прошу других, которые возьмутся это читать: пусть почувствуют они, что Люций Красс был много выше, чем я могу изобразить» (*De or.*, III, 14–15).

### В Греции

Для греков Эллада была местом, где они жили и трудились, где стоял их дом и где протекали их ежедневные будничные заботы. Для римлян же то был волшебный край, «страна святых чудес», как для русских XIX века Европа. Достоевский писал: «Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес!»<sup>[20]</sup> То же ощущали римляне в Греции. Плиний восторженно поздравляет друга, который отправлялся в Грецию. «Подумай, — говорит он, — тебя посылают в Грецию, где, как мы верим, впервые появились наука, образование... Всегда помни, что это та земля, которая дала нам право и... законы» (*Plin. Ep.*, VIII, 24, 2–4). Цицерон чувствовал это, быть может, яснее и острее других, ибо с детства изучал творения эллинов. «Я могу сказать не краснея, — пишет он, — ...то, чего мы достигли в науках и искусствах, все это передала нам Греция в своих памятниках и учениях» (*Q.fr.*, I, 1, 28).

Вот почему поездка в Грецию была для римлянина даже не путешествием, а настоящим паломничеством, как для христианина хождение в Иерусалим. Каждый камень здесь был овеян каким-нибудь святым воспоминанием. Под этим вот платаном учил Аристотель, в этом домике жил Эсхил, а тут, на перекрестке трех дорог, некогда несчастный Эдип умертвил своего неузнанного отца. Везде была та древность, которая, по выражению Плиния, «почтенна в человеке и священна в городах» (*Plin. Ep.*, VIII, 24, 3). Римляне чувствовали себя словно в величественном храме — ими овладевало строгое и торжественное настроение. Вся окружающая

обыденная действительность казалась мелкой и пошлой рядом с этими возвышенными воспоминаниями. То был мир теней — мир «волшебный, но отживший». И им хотелось остаться наедине с этими великими печальными тенями. Но вот этого-то как раз и не удавалось. Их сразу пестрой и шумной толпой окружали *современные* греки — говорливый, южный, экспансивный и лукавый народ. Они наперебой кричали, отталкивая друг друга, и каждый боялся упустить богатого туриста. Они бегали за римлянами, навязчиво предлагали свои услуги, рассуждали и безбожно льстили. По словам Цицерона, на Красса Оратора они производили впечатление назойливых болтунов, совершенно лишенных всякой тактичности. «Они жужжат нам в уши», — со смехом соглашался с ним Катул (*De or.*, II, 1—19).

Римлян все это бесконечно раздражало, прямо-таки бесило, но они заставляли себя быть учтивыми и любезными. Плиний предупреждает друга, что ему придется наслушаться пустых и хвастливых речей. Но он не должен и виду показать, как они ему надоели. Ибо обидеть Грецию было бы «зверской, варварской жестокостью». Ее следует всегда чтить за великое прошлое. «Не забывай, чем был каждый город и не презирай его за то, что он это утратил» (*Plin, Ep.*, VIII, 24, 4—5). Плиний был мягким и добрым человеком. Неудивительно, что он давал такие советы. Но даже свирепый Сулла пощадил Афины, сказав:

— Дарую живым ради мертвых.

Цицерон тут же с головой погрузился в этот волшебный мир воспоминаний. Он рассказывает, как однажды после лекции по философии зашел за своими друзьями и они решили вместе пойти в Академию, где учил некогда Платон<sup>[14]</sup>. Они нарочно выбрали самое жаркое время дня после полудня, когда их суетливые хозяева отдыхали. Пройдя шесть стадий<sup>[15]</sup>, они вступили под тенистую сень этого священного для них места. В эти знойные часы в рощах было пустынно. Кругом не было ни души, молодые римляне были совсем одни и могли вволю предаваться своим романтическим мечтам. Пизон, их старший товарищ, признался, что сейчас, когда он глядит вглубь этих рощ, его охватывает неизъяснимое волнение — среди деревьев ему чудится Платон. Квинт, брат Цицерона, который в то время бредил поэзией и твердо решил отдать себя служению музам, сказал, что более всего хотел увидеть Колон, где жил обожаемый им Софокл. Туда некогда пришел всеми гонимый слепой старец Эдип, опираясь на руку верной дочери. И там, в Колоне, в ушах Квинта звучали нежнейшие стихи Софокла и он прямо видел перед собой несчастного

странника. Аттик поведал, что он проводит время в садах Эпикура, мечтая об их великом основателе<sup>[16]</sup>. Юный Люций, краснея, признался, что специально поехал в Фалерик. Там у самой кромки шумящего прибоя некогда ходил никому еще тогда не известный Демосфен. Там он громко декламировал речи, стараясь заглушить своим голосом шум волн. А потом Люций свернул с дороги, чтобы подойти к гробнице Перикла. «В этом городе есть что-то бесконечное: куда бы мы ни пошли, всюду встречаем исторические воспоминания».

Цицерон же сказал, что, хотя каждый уголок Афин связан с какой-нибудь великой тенью, его более всего влечет экседра, где сидел Карнеад, великий основатель скептической школы. Он видит его перед собой, как живого.

— Я не знаю, природное ли это свойство или какая-то иллюзия, — заметил Пизон, — но только когда мы видим те места, которые в нашей памяти связаны с именами великих людей, это волнует нас больше, чем когда мы слышим о поступках этих самых людей или о них читаем.

— Я согласен с тобой, Пизон, — сказал Цицерон, — действительно обыкновенно бывает так, что наши представления о великих людях становятся гораздо острее и глубже под влиянием памятных мест (*De fin.*, V, 1–5).

В другом месте Цицерон пишет: «Не знаю почему, но нас волнуют самые места, где сохранились следы тех, кого мы любим или перед кем мы преклоняемся. Сами наши великие Афины восхищают меня даже не столько великолепными монументами и памятниками изысканных искусств древности, сколько тем, что с ними связаны воспоминания о великих людях — вот здесь кто-то из них жил, здесь любил сидеть, а здесь вел беседы; я усердно посещаю даже их могилы» (*Leg.*, II, 4).

Много лет спустя, когда Цицерон пережил самое страшное в своей жизни горе, его друг Сервий, находившийся тогда в Греции, прислал ему письмо со словами утешения. Он пишет, что и ему сейчас очень тяжело, но он понял одно: все наши земные печали кажутся ничтожными, когда мы смотрим на великий прах Греции. Так случилось и на сей раз. Соприкосновение с красотой и вечностью исцелило растерзанную душу Цицерона. Постепенно на него снизошла тишина. Кроме того, он был молод и впечатлителен. А кругом было столько интересного! Он слушал лекции по философии и увлекался ею все более. «Он учился с огромным усердием», — говорит Плутарх (*Cic.*, 4). В Афинах он полгода слушал лекции главы Академии Антиоха и в то же время брал уроки риторики у Деметрия Сира (*Brut.*, 315). Он объездил всю Грецию вдоль и поперек. Он

вспоминает, как он плыл на корабле и вдруг перед ним выросли руины Коринфа; он не мог сдержать слез (*Tusc.*, III, 54). Он побывал в Малой Азии. Там были прославленные на весь мир школы ораторского искусства. И, разумеется, Цицерон стал их прилежным слушателем. «Я объехал всю Малую Азию, посещал великих ораторов, и они сами охотно руководили моими упражнениями, — рассказывает он. — ...Не довольствуясь их уроками, я приехал на Родос и стал посещать... Молону». Аполлоний Молон был самым знаменитым тогда ритором и учителем красноречия. Люди готовы были платить любые деньги, лишь бы попасть в его школу. Но это было не так-то легко. У Аполлония было строгое правило: он брал к себе в ученики только человека, из которого выйдет толк. А он обладал необыкновенным даром угадывать будущий талант. Цицерона он к себе в школу взял. Рассказывают, что однажды у Аполлония собралось множество греческих ученых и риторов. Он попросил Цицерона в их присутствии произнести речь — только по-гречески, потому что латыни никто из них не знает. Цицерон говорил на греческом как на своем родном, и предложение наставника его обрадовало. Он подумал, что «так Аполлоний сможет лучше указать ему его изъяны. Когда он умолк, все присутствующие были поражены и наперебой восхваляли оратора, лишь Аполлоний, и слушая не выразил удовольствия, и после окончания речи сидел, погруженный в какие-то тревожные думы. Наконец, заметив, что Цицерон опечален, он промолвил:

— Тебя, Цицерон, я хвалю и твоим искусством восхищаюсь, но мне больно за Грецию, когда я вижу, как единственные наши преимущества и последняя гордость — образование и красноречие — по твоей вине тоже уходят к римлянам» (*Plut. Cic.*, 4; *Cic. Brut.*, 315–316; *De or.*, I, 126).

В Греции Цицерону поставили голос. От природы голос у него был удивительно красивый и сильный, но не обработанный и часто срывался. Сейчас же он стал мягким, гибким и можно было любоваться всем богатством его оттенков (*Plut. Cic.*, 4–5). Цицерон всю жизнь заботился о своем голосе, дрожал над ним и берег его не меньше, чем оперный певец.

Цицерона окружала масса интересных людей — риторов, философов, ученых. Впоследствии он, правда, признавался, что греки, в целом, произвели на него не очень приятное впечатление. Он советовал брату быть с ними приветливым, ласковым, но не доверять им так, как он доверяет римлянам. «Так лживы, так легковесны слишком многие из них, а долгое рабство научило их отвратительной лести... Друзья они пылкие, но неверные — они не смеют противиться нашей воле и завидуют не только нам, но и своим соотечественникам» (*Q.fr.*, I, 16).

Однако, кажется, Цицерон не всегда следовал собственным мудрым наставлениям. Он был молод, горяч, всем увлекался и наделен был душой артиста. Кругом были образованные, умные люди — естественно, он стремился с ними познакомиться. Кроме того, Цицерона всю его жизнь отличала следующая черта — он был неумолимо суров к греху, но бесконечно снисходителен к грешникам, разумеется, если их руки не обагрены кровью. Со своей стороны он привлекал горячие симпатии греков: он был образован, остроумен, чарующе любезен и совершенно лишен гордости и суровости, можно сказать, национальных римских свойств. Эти черты столь же не нравились грекам в римлянах, как лживость и угодливость не нравились римлянам в греках. Во всяком случае, Плиний, давая наставления другу, отправляющемуся в Грецию, пишет: «Не будь горд и суров» (*Plin. Ep., VIII, 24, 5*). Вскоре было замечено, что Цицерон старается помочь каждому и сделать все, чтобы вызволить его из беды. Так что в Греции Цицерон приобрел много друзей и со многими сохранил дружбу на всю жизнь.

Размеренный, спокойный образ жизни, морской воздух, чудесный климат и советы греческих врачей сделали свое дело — Цицерон окреп и набрался сил. Конечно, совсем здоровым он не стал. Он прихварывал всю жизнь, никогда не мог себе позволить нарушить диету и строгий режим, назначенный врачами. Но, во всяком случае, туберкулезный процесс был остановлен, никто больше не предрекал ему скорую гибель и он уже не напоминал того доходягу, каким прибыл в Грецию. Таким образом, вспоминает сам Цицерон, через два года в Греции «и чрезмерное напряжение голоса улеглось во мне... и в груди прибавилось силы, а в теле соразмерности». Он чувствовал себя, по его собственным словам, совершенно преображенным (*Brut., 316*).

Так незаметно проходил месяц за месяцем. Но Цицерон жил уже в Греции два года и ему надо было в конце концов решить, что же он будет делать в жизни. О возвращении в Рим нечего было и думать. Там был Сулла. Лучший друг Цицерона Аттик объявил, что остается в Афинах навек. Он стал эпикурейцем. Однако от Цицерона мы знаем, что эпикурейство Аттика было каким-то совершенно неортодоксальным. Он, например, признавал, что воля богов правит миром, а это в глазах его школы было чудовищной ересью (*De leg., I, 21*). Я думаю, что в учении Садов его привлекли не взгляды на атомы, богов и душу, а учение о том, что человек должен удалиться от шума общественной жизни. Эпикурейцы жили тесной общиной, как братья — при Эпикуре — рабы и свободные вместе; довольствовались малым и помогали своим близким. Вот это-то,

видимо, и пленило Аттика и показалось ему отрадным после ужасов террора.

Цицерон говорил, что последует примеру друга. Он решил «переселиться в Афины, забыть о Форуме и проводить жизнь в покое, целиком отдавшись философии» (*Plut. Cic.*, 4). И вдруг из Рима пришли поразительные известия — Сулла отрекся от власти, Сулла умер, Республика восстановлена, путь на родину открыт... Академия с ее тенистыми аллеями, тихая созерцательная жизнь, риторика, философия — словом, все благие намерения были забыты. Рим поманил его, и Цицерон, забыв все на свете, устремился домой (около 78 года).

## Глава II

### В КРУГУ СЕМЬИ

#### *Женитьба. Дети*

Рим принял Цицерона с распростертыми объятиями. Он сразу понял, что ни знать, ни народ не забыли его великодушной смелости. Перед ним открылись двери лучших домов столицы. Приглашение следовало за приглашением. Его любили, его ласкали. Герой наш полон был самых радужных надежд (*Plut. Cic., 5*). Рим был как сад после грозы. Все цвело и ожило для новой жизни.

Неудивительно, что молодой человек закружился в этом вихре. И вскоре он сделал весьма важный шаг. Он женился. Избранницей его стала Теренция. Она происходила из хорошей и обеспеченной семьи, так что могла считаться завидной невестой. С другой стороны, трудно себе представить существо, более далекое по духу от Цицерона. Он жил поэзией и философией. Она была женщиной практической, интересовалась только деньгами и хозяйством; ученые книги ее не занимали. Он был щедр, великодушен и абсолютно нерасчетлив. Она была скупа и прижимиста. Он был мягок и уступчив. Она тверда как скала. Он постоянно думал о божестве, о вечной жизни, о добре и зле, но, как многие интеллигенты, был довольно равнодушен к внешней обрядовой стороне религии. Она, напротив, с полным презрением относилась ко всем этим отвлеченным умствованиям, зато была очень набожна. Но то была набожность купца, о котором Островский сказал: «Он человек русский благочестивый, но по душе совершеннейший кокандец и киргиз-кайсак». Иными словами, соблюдает все посты, отстаивает все службы, отбивает земные поклоны, а потом спокойно надувает своих ближних.

Мы не знаем подробностей их романа. Однако я совершенно уверена, что тут была пылкая любовь, во всяком случае с его стороны. После двадцати лет супружества Цицерон писал ей такие нежные и страстные письма, которым могла бы позавидовать новобрачная на второй день медового месяца<sup>[17]</sup>. Из этих писем мы можем хотя бы приблизительно понять, какой она представлялась его влюбленному воображению. Ему

казалось, что она такая хрупкая, такая болезненная и ради семьи так много взваливает на свои слабые плечи. А она отличалась завидным здоровьем и прожила 104 года. Ему казалось, что она такая женственная и нежная. А она была жестка, как пемза. Сами ее недостатки имели что-то пленительное в его глазах. Она не интересовалась ничем, кроме дома. Значит, она все отдает семье. Ее благочестие его умиляло: он видел в нем детски чистую душу. Однажды он заболел, но вскоре ему стало лучше. Он немедленно написал об этом жене: «Ночью меня вырвало *чистой желчью*<sup>[18]</sup>. Сразу мне так полегчало, словно меня исцелил какой-то бог. Помолись этому богу, набожно и с чистой душой, как ты обыкновенно делаешь» (*Fam.*, XIV, 7).

Естественно, Теренция заправляла всем в доме. «Добротой и кротостью эта женщина не отличалась и вдобавок крепко держала мужа в руках», — говорит Плутарх (*Plut. Cic.*, 29). В другом месте он замечает, что она была «не тихой и не робкой» и сам Цицерон признавался, что она постоянно вмешивается в его государственные заботы, зато категорически запрещает ему участвовать в управлении домом (*Ibid.*, 20). Одного не могла она добиться от мужа. Ей более всего хотелось бы, чтобы он занялся бизнесом, и она предлагала ему весьма рискованные аферы и спекуляции. Увы! Это было совершенно не по его части.

И все-таки у Цицерона и у его жены было нечто общее. Теренция была совсем непохожа на многих своих современниц, очаровательных авантюристок, которые держали блестящие салоны, имели именитых любовников и смеялись над скучными обязанностями домашнего очага. Эта домовитая женщина жила семьей. А Цицерон прямо создан был для семейной жизни. Семья была для него всё.

Прошло около года со дня их свадьбы, и случилось самое главное, самое важное событие в жизни Цицерона. 5 августа у него родился первенец, дочка Туллия, Туллиола<sup>[19]</sup> (около 77 года). Едва отец взглянул на это маленькое существо, как тут же безумно в него влюбился. Все остальные чувства, все привязанности разом отошли на задний план. В 70 году Цицерон вел одно дело и рассказывал народу о преступном преторе, который лишил законного наследства детей-сирот. Сначала он говорил об обиженном мальчике. Тон его был гневен, речь грозна и убедительна. Видно было, что он полностью владеет своими чувствами. Но вот он перешел ко второму обиженному. То была маленькая девочка. И Цицерона как подменили. Голос его задрожал, на глаза навернулись слезы. Казалось, он утратил власть над собой. «Подумайте! — восклицает оратор. — Он

обидел девочку! Что может быть ужаснее, возмутительнее!» У меня тоже есть дочь, — продолжает он, — и я люблю ее больше всего на свете. Я уверен, что все слушатели разделяют мое возмущение. «Ведь по воле самой природы дочь — это все, что есть самого сладкого, самого дорогого нашему сердцу, самый достойный предмет нашей заботливости и любви» (*Verr.*, II, I, 112). Замечательно, что Цицерону даже в голову не приходит, что кто-нибудь из зрителей может с ним не согласиться, что найдется среди них какой-нибудь чудака, который больше всего любит жену или сына. В это наш герой просто не может поверить.

Цицерон проводил с девочкой все свободное время, читал ей, рассказывал о своих любимых героях, декламировал свои речи и даже объяснял правовые казусы. Из-за этого происходили подчас забавные сценки, приводившие отца в восторг и умиление. Туллия видела, как отец каждый день садится писать Аттику. Этого Аттика она никогда не видала, но ярко представляла по рассказам отца. Часто она садилась рядом, заглядывала через его плечо и требовала, чтобы он передал от нее привет. В 67 году Цицерон пишет Аттику: «Туллия, наше маленькое счастье, требует от тебя подарочка, а меня назначает поручителем» (*Att.*, 1, 8, 7). Он был восхищен, что малышка так удачно применила юридический казус.

Шли годы. Дочь росла. Она превратилась в девушку, потом в молодую женщину. Но время не отдаляло ее от отца, что — увы! — так часто бывает в жизни. Наоборот. Казалось, что с каждым годом они становятся все ближе и ближе. Отец по-прежнему страстно любил ее. А она по-прежнему его обожала. Он казался ей самым умным, самым лучшим, самым необыкновенным человеком на свете. Цицерон говорил друзьям, что в беседах с ней забывает все заботы и страдания (*Fam.*, IV, 6). Он уехал из Рима и сразу же ощутил грусть. Он объясняет брату ее причину: «Я тоскую по дочери, такой любящей, такой скромной, такой одаренной, с моими чертами лица, моей речью, моей душой» (*Q.fr* I, 3, I). А в 49 году он писал жене: «Туллия нам слаще самой жизни» (*Fam.*, XIV, 7). В другой раз он отправляет письмо домой и спрашивает, как чувствует себя Теренция и «мое солнышко Туллия» (*Fam.*, XIV, 3).

Туллия была, несомненно, самым близким Цицерону человеком, поэтому, естественно, нам хотелось бы побольше о ней узнать. Увы! Здесь нас ожидает горькое разочарование. Дело в том, что от нее не дошло ни одного письма. Мало того. Не дошло ни одного письма, которое было бы адресовано Цицероном прямо ей. Сохранились только общие письма домой. Поэтому мы не слышим ее голоса, не слышим тех долгих бесед, которые она вела с Цицероном, и не можем даже их воссоздать; у нас есть

только восторженные отзывы о ней отца. Вот почему образ ее окутан для нас густым туманом. И все же кое-что мы можем попытаться восстановить.

Она получила чисто мужское воспитание и была необычайно образованна. Римлян было трудно этим удивить. Их жены и дочери вовсе не были похожи на афинянок, этих скромных затворниц гинекея. С самого основания Города мы видим женщин окруженными почетом и уважением. Девочкам давали точно такое же образование, как и мальчикам, и они даже вместе учились в школе, в одном классе — чего в Европе достигли только в XX веке. Никакой женской половины дома не существовало — девочка росла на виду. Выйдя замуж, она становилась настоящей хозяйкой дома. Она вела хозяйство и распоряжалась имуществом, она принимала гостей и сама ходила всюду с мужем. Историк Не-пот, современник Цицерона, сравнивая греческие и римские нравы, находит, что главное отличие — в положении женщин. «Кому из римлян было бы стыдно привести на пир жену? Или у кого мать семейства не занимает первого места в доме или не появляется на людях? А у греков совсем по-иному» (*Nep. Prolog* 6–7). Мы видим во времена поздней Республики блестяще образованных женщин. Жена Помпея, по свидетельству Плутарха, «знала музыку и геометрию и привыкла с пользой для себя слушать рассуждения философов» (*Plut. Rompr.*, 55). Саллюстий описывает одну свою современницу, знатную даму. По его словам, она прекрасно знала науки и искусства Греции и Рима, была необыкновенно остроумна, очаровательна и писала стихи (*Sail. Cat.*, 25). Дочь оратора Гортензия, друга и соперника Цицерона, могла произнести на Форуме речь не хуже мужчины (*Val. Max.*, VIII, 3, 3; *App.*, B.C., IV, 32–34). «Мы читаем ее не из-за одного уважения к ее полу», — замечает знаменитый учитель риторики Квинтилиан (*Quintil.* I, 1, 6).

Но даже среди этого блестящего круга Туллия сияла как звезда. И, конечно, ей ничего не стоило поддерживать изящную просвещенную беседу, которую так ценили римляне. Среди молодежи она слыла скромницей (*Fam.*, VIII, 13, 1). Но это отнюдь не значит, что она казалась им сухой и скучной. Напротив. Она обладала женской прелестью и тонким очарованием. Триумвир Антоний, признанный знаток женщин, с первого взгляда был поражен Туллией. И хотя он люто ненавидел ее отца, он заявил, что она «изысканнейшая женщина» (*Att.*, X, 8a).

Судя по всему, дочь Цицерона наделена была нравом нежным и кротким. Из писем Цицерона мы видим, что ни одна ссора не омрачила их жизни. Между тем в жизни Туллии были самые темные полосы — она тяжело болела, была глубоко несчастна. Неудачи могут сделать любого человека раздражительным. Но ни разу она не обидела отца даже словом. И

она была мягкой и кроткой не только с отцом. В семье Цицерона, как в каждой большой семье, отношения были не простые. Теренция не ладила с братом Квинтом, Квинт часто ссорился с женой, а жена — со всеми на свете. И все это доставляло много хлопот и много страданий Цицерону. Но ни разу мы не слышим, чтобы Туллия была с кем-то в ссоре, на кого-то обиделась, с кем-то была резка. Она прекрасно ладила с тетей, была в наилучших отношениях с матерью, а уж у дяди она всегда была любимицей.

В то же время она обладала большой твердостью. Мы увидим, что она давала отцу смелые советы, поддерживала его в трудные минуты, не теряла присутствие духа и порой проявляла редкое мужество.

Но все это произойдет позднее. А пока Туллия была маленькой девочкой. В 68 году счастливый отец пишет Аттику: «Тебе передает большой привет Теренция и наше маленькое счастье Туллиола» (*Att.*, I, 5, 9).

Летом 65 года Цицерон извещает Аттика: «У меня прибавление — сынок. Теренция чувствует себя хорошо» (*Att.*, I, 2, I). Так появился на свет Марк Туллий Цицерон Младший. Конечно, отец обожал и сына. Но ему никогда не суждено было занять в отцовском сердце такого места, какое занимала Туллия. В 59 году Цицерон отправил Аттику письмо. В конце его нетвердым детским почерком было написано по-гречески: «Малыш Цицерон приветствует Тита Афинского<sup>[20]</sup>» (*Att.*, II, 9, 4). Видимо, Марк делал успехи в греческом языке.

### **Младшая фамилия. Тирон**

Но семья римлянина состояла не только из жены и детей. В доме его жила еще так называемая *familia minor* — младшая фамилия, то есть рабы. И чем состоятельнее и известнее становился Цицерон, тем больше рабов его окружало.

Цицерон всегда относился к своим рабам действительно как к членам своей семьи, был к ним неизменно ласков, заботлив и снисходителен. Более того. Он был с ними деликатен. Это прекрасно видно из одного примера. Однажды зимой ему захотелось на несколько дней уехать из Рима на виллу отдохнуть, благо был праздник. И вдруг он вспомнил, что сейчас празднуют Компиталии, а рабы необыкновенно чтят этот день. Верно, сейчас на вилле собралась вся фамилия. Накрыли стол, расставили закуску, выбирают председателя застолья — словом, идет пир горой. И вдруг

посреди этого безудержного веселья появится хозяин. Ясно, это подействует на пирующих как на расшалившихся школьников приход директора. Все в смущении вскочат со своих мест, станут предлагать хозяину свои услуги, и беззаботному празднику конец. И Цицерон пишет Аттику: «Я не хочу сегодня ехать на Альбанскую виллу, чтобы не быть в тягость *фамилии*» (*Att.*, VII, 7, 3). В этой деликатности и боязни быть кому-нибудь в тягость виден весь Цицерон!

Рабы платили ему самой преданной любовью. В этом Цицерон мог убедиться в самый страшный день своей жизни. В час смерти он узнал, насколько он любим своей *фамилией*. В письмах Цицерона перед нами постоянно мелькают имена его рабов, которым он дает поручения, которых ждет, за которых тревожится. Один раз мы застаем его в слезах — он горько оплакивает смерть молодого раба. Другой раз слышим, как он передает сердечный привет кому-то из рабов Аттика. Но все это именно какие-то мелькающие тени. Мы можем составить их точный список, но не можем сказать ничего определенного ни об одном из них — мы не знаем, что это были за люди и каковы их судьбы. Только одна фигура выступает из этого сумрака. Мы знаем его, видим всю его жизнь, и она столь странна для нас, столь не соответствует всем нашим представлениям, что невольно привлекает к себе наше внимание.

Звали его Тирон. Тирон родился в доме Цицерона или попал туда совсем ребенком. Во всяком случае, он не помнил другого дома, кроме дома своих хозяев. Вскоре выяснилось, что маленький раб обладает очень хрупким здоровьем. Но этот болезненный ребенок страстно стремился к знаниям. Цицерон заметил это рвение и пришел от него в восторг. Он сам стал учить его, возился с ним, читал, объяснял любимых авторов. Каким благодарным учеником был маленький Тирон! Он жадно ловил каждое слово учителя, он готов был, не разгибая спины, от зари до зари сидеть за книгой, хотя природа и сотворила его таким слабым.

Тирон вырос ученым человеком. Он наделен был ясным, четким умом и кротким отзывчивым сердцем. Он пламенно любил своего господина. Обожал всю его семью. Смысл жизни видел в том, чтобы служить им, отдать им свою жизнь. В обращении он был ласков, вежлив и услужлив. Цицерон считал его главными свойствами скромность и *человечность* в том особом понимании, которое он вкладывал в это слово — то есть доброту, образованность и приветливость (*Att.*, VII, 5, 2). Он говорил Аттику, что невозможно представить себе существа более нравственно чистого, чем этот юноша (*Att.*, VI, 7).

Тирон стал секретарем при своем господине. Нужно сознаться, что

великому оратору секретарь был просто необходим. Цицерон был человеком на редкость неаккуратным и безалаберным. В кабинете его царил хаос из книг и бумаг. А рукописи его являли поистине страшную картину. Он писал, зачеркивал, писал сверху, снова зачеркивал и делал вставки на полях в таких местах, что совершенно невозможно было догадаться, к чему эти вставки относятся. Прибавьте к этому поистине ужасный почерк. Часто он сам становился в тупик, когда ему показывали его каракули и просили разобраться в этом лабиринте и прочесть собственный текст (*Fam.*, XVI, 22, 13). А Тирон был аккуратен и методичен. Он все приводил в порядок, шаг за шагом распутывал этот клубок и под его руками рукописи превращались в чистые страницы без единой помарки. Кроме того, он редактировал текст, уточнял цитаты и устранял те мелкие погрешности, которые неизбежны в каждой большой работе. Авл Геллий, сам человек на редкость трудолюбивый и дотошный, очень высокого мнения о Тироне. Он считает, что трудно себе представить более добросовестного и усердного редактора (*XV*, 6).

Кроме того, Цицерон иногда диктовал Тирону не только речи, но и частные письма (*Q.fr.*, III, 1, 19). И вот Тирону пришла в голову мысль — нельзя ли усовершенствовать искусство писца? У него появилось страстное желание — он хотел передать речь своего господина. Причем не так, как делаем мы, конспектируя какое-нибудь интересное выступление или лекцию. Ведь мы стараемся ухватить общий смысл сказанного, кратко зафиксировать главные мысли. А Тирон мечтал передать речь господина целиком, слово в слово. Но как это сделать? Речь продолжалась по пять-шесть часов. Оратор говорил стремительно, бурно, и речь его неслась как могучий поток. Как может человеческая рука догнать крылатое слово? И Тирон придумал. Он изобрел знаки, которыми обозначал целые слова, иногда даже короткие, часто повторяющиеся фразы. Этому изобретению предстояло великое будущее. Так в доме Цицерона родилась *стенография*.

Теперь Тирон постоянно сопровождал хозяина на Форум и в Курию. Сидя на скамье или примостившись где-нибудь на камне, он быстро стенографировал речи Цицерона. Вскоре он обучил своему искусству других писцов. У Цицерона теперь был целый штат стенографистов. Плутарх рассказывает об одном блестящем ораторе, современнике Цицерона. К сожалению, говорит он, из всех его речей сохранилась только одна. Случилось это так. «Цицерон, заранее выбрав писцов... и научив их несложным значкам, которые заменяли по многу букв каждый, рассадил этих писцов по всей Курии» и велел застенографировать речь (*Cat. Min.*, 23). Впоследствии, рассказывает Плутарх, это сделалось обычной

практикой и писцы-стенографы сидели на каждом заседании сената.

Под руководством Цицерона Тирон сделался не просто образованным человеком, он стал настоящим ученым, крупным специалистом по древним текстам. И у него появилось страстное желание начать писать самому. Цицерон горячо одобрил его намерение. И Тирон взялся за перо. Он рискнул показать свои первые творения только хозяину. Цицерон пришел в восторг и расхвалил его до небес. И тогда раб осмелел и стал писать дальше. Он пробовал писать стихи и даже трагедии в духе Софокла (*Fam.*, XVI, 18, 31). Затем он взялся за научные труды. Он разбирал и комментировал сочинения древних. В жизни Тирон был робок и застенчив. В своих сочинениях смел, даже дерзок. Он не стеснялся резко и насмешливо критиковать ораторов старого времени. Он поднял руку на самого Катона Старшего, который в глазах римлян был окружен ореолом святости. Он, например, говорил, что Катон строит свою защитительную речь неправильно. Такими словами и приемами невозможно вызвать жалость и сострадание у судей (*Gell*, VII, 3). Все эти прославленные мудрецы древности казались ему ничтожными и жалкими рядом с его великим господином.

Но этого мало. Геллий пишет: «Тирон... вне всякого сомнения обладал утонченным умом и был знатоком древней литературы. С детства он воспитывался так, как прилично свободному человеку, и стал помощником и даже почти сотрудником Цицерона в его литературных трудах» (VII, 3, 8). Вот как велика была литературная слава Тирона.

Все было бы хорошо, если бы не одно. Здоровье раба по-прежнему было из рук вон плохо. Каждое дуновение ветра, каждая капля дождя буквально валили его с ног. Он болел всегда и везде с редким постоянством. Цицерон часто разъезжал по своим делам по всей Италии; случалось ему выезжать и за ее пределы. Тирон всюду сопровождал хозяина. Но куда бы они ни приезжали — на загородную виллу на берегу моря, в Грецию или на какой-нибудь малоазийский остров, — Тирон немедленно сваливался больным.

В 53 году Тирон поехал зачем-то на Формийскую виллу Цицерона и, конечно, немедленно свалился с приступом жесточайшей лихорадки. Известие об этом привело Цицерона в отчаяние. Он был натурой впечатлительной, артистом, и переживал все много сильнее, чем окружающие. К тому же он наделен был ярким и беспокойным воображением. Тут же он внушил себе, что Тирон умирает. Он видел его бледного, дрожащего, испускающего последний вздох. И Цицерон буквально не находил себе места. Хуже всего то, что сам он сейчас не мог

ехать в Формии. Поэтому он немедленно отправил другого члена своей фамилии, Менандра, узнать, как Тирон. Он пишет рабу:

«Я буду считать, что ты подарил мне все на свете, если только я увижу тебя здоровым. Со страшным беспокойством жду возвращения Менандра... Ну, постарайся поправиться, если меня любишь. И, когда совсем окрепнешь, приезжай к нам» (*Fam*, XVI, 13).

На другой день:

«Менандр приехал ко мне днем позже, чем обещал. Так что ночь я провел в страхе и тревоге. Из твоего письма я так и не понял, как ты себя чувствуешь, но все-таки я сжил. Мне противны сейчас все развлечения, все литературные занятия. Я ни к чему не могу притронуться, пока не увижу тебя. Вели обещать врачу любую сумму, какую он ни пожелает. Я написал об этом и Уммию» (*Fam.*, XVI, 14).

Между тем возникла новая забота. Оказывается, Тирон страдал душой еще больше, чем телом. Его мучила мысль, что, вместо того чтобы служить своим господам, он доставляет им лишние хлопоты. Это стало у него навязчивой мыслью. Он настойчиво твердил об этом в бреду, пытался вскочить и говорил, что ему пора ехать. Врач написал об этом Цицерону. Он стал успокаивать раба, ласково шутил с ним, утешал, ободрял, заклинал собраться с силами и напоминал, как должен переносить несчастье истинный мудрец.

«Я слышал, что ты тоскуешь, и врач говорит, что от этого тебе хуже. Если ты меня любишь, пробуди от сна свои науки, свою образованность, за которую я так тебя люблю. Тебе теперь нужно выздороветь душой, а то ты не сможешь быть здоровым телом» (*Fam.*, XVI, 10).

В ответ Тирон написал, что ему лучше и он хочет приехать к господину.

«Конечно, я жажду, чтобы ты приехал. Но я боюсь дороги. Ты ведь так ослабел... Писульки мои — вернее наши — зачахли от тоски по тебе. Но после твоего письма... они стали приоткрывать глаза. У меня был Помпей... веселый и любезный. Ему ужасно захотелось послушать наши сочинения, но я сказал ему, что без тебя у меня все онемело. А ты будь готов вернуться к служению нашим музам. То, что я тебе обещал, будет исполнено к сроку. Я ведь объяснял тебе *этимологию*<sup>[21]</sup> слова «верность»» (*Fam.*, XVI, 10).

Читатель, конечно, уже понял, что Цицерон души не чаял в Тироне. Но в своих чувствах он был не одинок. Тирон был любимцем всей семьи. Теренция была о нем чрезвычайно высокого мнения (*Fam.*, XVI, 9, 2). Дети его обожали. Стоило Цицерону взять перо, чтобы писать к нему, как его

сын и племянник начинали теревить его и кричали, чтобы он непременно передал от них привет их «ласковому и доброму Тиرونу» (*Fam.*, XVI, 5; 11). А брат Квинт не только горячо любил раба, но и глубоко его уважал. Он говорил брату, что его восхищает преданность Тирона. Кроме того, у него есть бесценные качества — он одарен литературным талантом, он так человечен, с ним так приятно вести просвещенную беседу (*Fam.*, XVI, 16).

Мы видели, что Цицерон в своем письме упоминает о каком-то обещании, которое он дал Тиرونу. Он поклялся отпустить его на волю. И он сдержал слово. В 53 году Тирон стал свободным человеком. В то время Квинта не было в Риме. Он сражался под знаменами Цезаря в Галлии. Цезарь с несколькими смельчаками высадился в Британии, этом сказочном острове, считавшемся краем обитаемого мира. Нетерпеливый Цицерон написал брату письмо прямо туда, на этот фантастический остров. Из Галлии пришел ответ:

«Ты бесконечно обрадовал меня своим поступком с Тираном... Ты захотел, чтобы он, который совсем не заслужил своей участи, был нам другом, а не рабом. Поверишь ли, когда я прочел твое и его письмо, я подпрыгнул от восторга. И я благодарю тебя и поздравляю... И хотя у меня есть тысячи причин, чтобы любить тебя, я буду теперь любить тебя еще и за это... Я всего тебя вижу в этом письме» (*Fam.*, XVI, 16).

Отныне Тирон стал римским гражданином — Марком Туллием Тираном<sup>[22]</sup>. Но, получив свободу, он не захотел менять свою жизнь. Он был так предан семье Цицерона, что, разлучаясь с ней хотя бы на день, места себе не находил от тоски (*Fam.*, XVI, 11, 1). Ему казалось, что хозяин без него сразу же погибнет, и он следовал за ним повсюду, действительно, как верный пес (*Fam.*, XVI, 4, 4).

В 50 году Цицерон возвращался из провинции Киликии. Разумеется, Тирон отправился вместе с ним и, разумеется, тут же свалился больным. Случилось это в Патрах, на побережье Пелопоннеса. Цицерон не мог здесь оставаться, он должен был ехать дальше. После тяжких душевных мук и колебаний он оставил больного на попечении своего хозяина Лисона, который казался человеком добрым и заботливым. Разумеется, Лисон был награжден по-царски и перед отъездом Цицерон заклинал окружить Тирана всевозможными заботами. У его постели дежурил лучший врач Греции. Но все это ничуть не утешало его беспокойного патрона. За эти дни он буквально извелся. Он ежедневно требовал подробнейшего бюллетеня о состоянии больного, он писал врачу, писал хозяину, писал всем знакомым в Патрах, писал Тирану по три письма в день, поставил на ноги весь город. Он постоянно волновался: ему казалось, что Тирана неправильно лечат, что

к нему недостаточно внимательны, что он там на чужбине лишен привычной ласки. Хозяин не ответил на одно из бесчисленных писем Цицерона. Значит, он человек невнимательный и нерадивый. Как же можно оставлять на его попечении бедняжку Тирона?! Конечно, это человек бездушный и черствый, раз он не жалеет Тирона. Напрасно Тирон робко уверял патрона, что о нем заботятся, Цицерон ничего не хотел слушать. Он написал местному банкиру, чтобы тот открыл Тирону неограниченный кредит. Но сразу же возникла новая забота. Тирон так скромн, так застенчив, он засмущается и не попросит того, что ему нужно.

«Твое письмо вызвало у меня противоречивые чувства, — пишет он, в сотый раз перечитывая записку Тирона, — первая страница страшно взволновала, но я ожил после второй... О враче ты пишешь, что он очень прославлен, да я и сам так слышал. Но его лечение мне не нравится. Тебе не следовало давать супа... Все-таки я написал с большой осторожностью и ему, и Лисону. Я написал длинное письмо Курию — это очень симпатичный человек, очень обязательный, очень человечный. Я просил, чтобы он перенес тебя к себе, если ты не против. Потому что я боюсь, что наш Лисон не достаточно внимателен, во-первых, потому, что все греки такие, во-вторых, он не ответил на мое письмо. Правда, ты его хвалишь... Милый Тирон, умоляю тебя, не жалея денег на свое здоровье. Я написал Курию, чтобы он давал тебе, сколько ты скажешь. Я считаю, что нужно быть пощедрее с врачом, чтобы он был внимательнее» (*Fam.*, XVI, 4).

Тирон опять норовил вскочить с постели, сесть на корабль и мчаться вслед за господином, но обессилевшие ноги уже не держали его. Он так ослабел, что когда Цицерон получил от него письмо, то с ужасом увидел, что буквы шатаются. Он понял, как дрожала рука, их выводившая. Цицерон опять успокаивал бывшего раба.

«Я знаю, какая тоска тебя терзает, но все будет хорошо, только бы ты выздоровел» (*Fam.*, XVI, 1, 1). «Ты оказываешь мне тысячи услуг дома и на Форуме, в Риме и в провинции, в частной и общественной жизни, в занятиях, в нашей литературной работе. Но все это померкнет перед последним — если, как я надеюсь, я увижу тебя здоровым... Ты боялся оставить меня даже на минуту, а потому не мог заняться своим здоровьем. Теперь... отбрось все другие заботы, служи только своему телу. Я буду считать, что ты предан мне настолько, насколько ты будешь печься о своем здоровье. Поправляйся, милый Тирон, поправляйся, поправляйся и будь здоров» (*Fam.*, XVI, 4, 4). «Если ты любишь всех нас, — пишет он в другом письме, — и особенно меня, своего учителя, думай о своем здоровье... Все мы — в первую очередь я — жаждем как можно скорее увидеть тебя. Но

увидеть здоровым, милый Тирон. Ни в коем случае не торопись. Я вполне обхожусь без твоих услуг. Желаю тебе здоровья, милый Тирон, в первую очередь ради тебя, а потом — ради меня» (*Fam.*, XVI, 3).

Далее Цицерон сообщает своему бывшему рабу, что весь Рим встревожен его здоровьем. Мало того, вся Италия. Он получает десятки писем, где взволнованные римляне спрашивают, как чувствует себя Тирон. Надо думать, Цицерон всем, и неоднократно, успел рассказать о его болезни (*Fam.*, XVI, 4, 4). Тирон на сей раз поправился не так скоро. И как только он смог стоять на ногах, он стрелой помчался к патрону.

В 44 году семья Цицерона сделала Тирону очень ценный подарок. Они купили ему небольшое имение. Очевидно, Цицерон подумал, что он уже не молод, кто знает, сколько он еще проживет, и захотел обеспечить своего бывшего раба. Ему не хотелось оставлять своего любимца на свете бесприютным. Сын Цицерона Марк был в то время уже взрослым молодым человеком и учился в Афинах. Узнав о случившемся, он весело поздравляет Тирона. «Теперь тебе надо забыть свой столичный лоск. Ты стал сельским жителем. У меня прямо перед глазами стоит твое славное лицо. Мне кажется, я прямо вижу, как ты покупаешь сельскохозяйственные орудия, беседуешь с вилликом<sup>[23]</sup>, а во время десерта собираешь себе в полу косточки» (*Fam.*, XVI, 21).

Марк был вообще страшно привязан к Тирону. Он писал ему обо всех своих заботах и надеждах, даже о том, в чем ему неловко было признаться отцу. Он называл его «своим сладчайшим Тироном» (*Att.*, XV, 15, 4; *Fam.*, XVI, 21, 7).

Я признаюсь, что меня поражает отношение Цицерона и его семейства к Тирону. Удивляет меня вовсе не то, что они искренне любили его, хотя он и был рабом. Люди всегда люди. Поражает меня другое. В их обращении с ним нет и тени снисходительного презрения и барского превосходства, столь обычного в отношении к низшему. Я допускаю, что русский помещик мог очень любить своего крепостного и дать ему вольную; я согласна, что английский лорд мог быть очень привязан к своему слуге. Но мне трудно поверить, чтобы английский лорд или русский помещик посадили бы бывшего слугу с собой за стол и стали обращаться с ним как с равным.

Между тем семейство Цицерона *уважает* Тирона. С какой деликатностью Цицерон говорит о том, что Тирон оказывает ему тысячи услуг. А между тем это его прямой долг — он же клиент Цицерона, его бывший раб. Себя он называет не его господином, не патроном, а *учителем*. Марк, взрослый молодой человек, крутившийся среди золотой молодежи и старавшийся подражать во всем этим шалопаям и повесам,

никогда не позволил себе заговорить с Тираном в повелительном тоне. Напротив. Он обращается с ним почтительно, как со старшим родственником, например дядей. И пусть этот дядя мил и ласков, все-таки Марк никогда не забывает о субординации. В письме к Тирану он жалуется, что давно не получал от него писем. Все домашние ему написали, а Тиран нет. И он ласково просит не забывать его. «Когда ты пишешь, у тебя самая ничтожная вещь становится самой важной» (*Fam.*, XVI, 25). Очевидно, Марк был так воспитан с детства. Его еще ребенком учили смотреть на Тирана с глубоким уважением.

Квинт был много старше Тирана. А потому он говорит с ним скорее как с любимым племянником. Когда тот долго ему не пишет, Квинт шутливо обрушивает на его голову громы и молнии. «Нет, тебе не увильнуть от расплаты за такое преступление, ты не сможешь быть собственным адвокатом. Придется позвать Марка<sup>[24]</sup>. А он в долгие бессонные ночи при свете лампы приготовит речь и докажет, что ты не виновен» (*Fam.*, XVI, 26). В другом письме Квинт сообщает, что скоро приедет и наконец увидится с родными. «Я увижу вас... и расцелую твои глаза, даже если повстречаю тебя посреди Форума. Люби меня!»<sup>[25]</sup> (*Fam.*, XVI, 27).

Тиран намного пережил своего господина. Он, такой болезненный, жил больше ста лет. Последние годы он жил на Путеоланской вилле, вероятно, той самой, которую подарил ему его господин. Все свои силы он посвятил увековечиванию памяти Цицерона. Он подготовил его самое полное, можно сказать, «академическое», собрание сочинений. Эти роскошные свитки считались лучшими изданиями Цицерона. Он написал его биографию. «Он... собрал мельчайшие его замечания и острые слова, и сборник этот, как говорят, был очень велик, так как его преклонение не позволяло ему сделать выбора», — пишет Гастон Буассье. И заключает: «Вся его долгая жизнь была отдана им на службу его господину»<sup>[21]</sup>.

Кроме жены, детей и фамилии в доме Цицерона жил еще один человек. Быть может, читатель не забыл стоика Диодота, у которого в юности учился Цицерон. Тогда это был блестящий лектор, вокруг которого собирались толпы восторженных слушателей. Но прошли годы. Теперь это был слепой дряхлый старик, всеми покинутый. И бывший ученик взял его к себе, ухаживал за стариком, и тот ни в чем не знал отказа. Он даже старался воссоздать некое подобие прежних уроков, чтобы старик не чувствовал себя никому не нужным. «Диодот Стоик, который ослеп много лет назад, жил у меня дома, — вспоминал он впоследствии, — и трудно

поверить, но он занимался философией еще с большим рвением, чем прежде; он играл на лире по обычаю пифагорейцев, книги же ему читали и день и ночь... мало того, он учил геометрии, — а это без глаз, кажется, даже представить себе невозможно, — и объяснял слушателям словами, откуда и куда они должны провести каждую прямую» (*Tusc.*, V, 113). Умер Диодот в 59 году на руках у Цицерона (*Att.*, II, 20, 6).

## Глава III

### КОРОЛЬ СУДОВ

*Не я ль язык твой наделил  
Могучей властью над умами?*

А. С. Пушкин

*Ибо знайте, что моя прямая обязанность в том именно и состоит, чтобы помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных... В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучат тех оскорбленных, закованных в цепи и угнетаемых, которые встречаются ему на пути... Дело странствующего рыцаря помогать обездоленным, принимая во внимание их страдания, а не их мерзости.*

Мигель де Сервантес. *Дон Кихот*

#### Небесный оратор

Итак, Цицерон был снова в Риме, снова на Форуме, который ожил и бурлил, как в прежние годы. И все юношеские мечты воскресли в его сердце. И вновь он мечтал об одном — стать оратором Рима. Но он хотел не просто стать прославленным или знаменитым адвокатом. Он хотел сделаться *первым* оратором Рима, слава о котором будет греметь по всему миру, о котором с волнением и с восторгом будут вспоминать и через 600 лет. Но как этого достигнуть? Сверстники Цицерона думали, что научиться говорить не так уж трудно — надо только изучить приемы ораторского искусства и приобрести определенный опыт. Но Цицерон этим не довольствовался. Он жаждал чего-то неслыханного.

Оратор, говорил он, должен в совершенстве знать греческую диалектику. Без этого он не сумеет изложить дело ясно, четко, строго

логически; не сможет перед лицом всего Форума отразить доводы противника. Далее. «Для того чтобы воспламенить слушателей красноречием или затушить в них этот пыл... необходимо постигнуть природу вещей, мысли и нравы людей». Надо «глубоко... познать человеческую душу и причины, заставляющие ее вспыхивать и успокаиваться». А для этого необходимо изучить греческую философию. Кроме того, очень часто по ходу своей речи оратор должен останавливаться и делать своего рода лирические отступления — их называли тогда *общие места*. Тут он рассуждал о религии и бессмертных богах, о дружбе, общечеловеческом праве, о справедливости и величии души, о том, что такое преступление. Но как может оратор размышлять обо всем этом, если он не знаком с учением Платона, Аристотеля и Зенона (*Or.*, 111–118; *De or.*, I, 43–56; 219)? Далее. Можно ли вообще выступать в суде, если ты не знаешь *права*? И с ним следует не просто ознакомиться, его надо изучить досконально, как настоящему юристу. Сможет ли оратор говорить перед народом о принятии законов и перед сенатом о делах государственных, если он глубоко не изучил *политических наук* (*De or.*, I, 60). Но одних политических наук мало. Для того чтобы оценить предлагаемую реформу, надо знать опыт прошлого, то есть *историю*. Тогда только, сравнив настоящее с прошедшим, оратор придет к правильному выводу. Он может рассказать, как предлагали уже когда-то подобный закон, напомнить, что нечто похожее было в Греции, и будет говорить, как повел себя при этом Солон или Сципион Эмилиан, мудрейшие граждане тех лет. Таким образом, он «вызовет с того света самых надежных свидетелей». Но кроме этого необходимо понять, соответствует ли проект духу народа и его религии, а для этого надлежит еще знать *религию, нравы и традиции* своего отечества (*Or.*, 120; *Brut.*, 322; *De or.*, I, 48; 60).

Все эти предписания объяснимы, хотя и кажутся несколько тяжелыми. Но, когда Цицерон требует от оратора, чтобы он знал *физику* (!), ибо она придаст его речи величие, мы невольно становимся в тупик (*Or.*, 119). Между тем он прямо говорит, что оратор должен знать *все науки*, достойные свободного человека, и в каждой из них являть *совершенство* (*De or.*, I, 71–72).

Но и этого не довольно. Всем известно, что люди в своих решениях обыкновенно руководствуются не логикой и доводами разума, а любовью, ненавистью, досадой, жалостью — словом, каким-то иррациональным чувством, каким-то душевным порывом (*De or.*, II, 179). А на чувства надлежит действовать средствами искусства. Значит, вся речь оратора должна быть художественным произведением. Поэтому нужно говорить,

«блистая яркими словами и яркими образами» (*De or.*, II, 52–53). «Ко всему этому должно присоединить юмор и остроумие... быстроту и краткость как в отражении, так и в нападении, проникнутые тонким изяществом и благовоспитанностью» (*De or.*, I, 16–17). Словом, оратор «должен обладать остроумием диалектика, мыслями философа, словами поэта, памятью законоведа, голосом трагика, игрой такой, как у лучших актеров» (*Cic. De or.*, I, 128).

Друзья Цицерона с удивлением слушали эти странные рассуждения. Они резонно возражали ему, что выучить все науки просто невысказано. Возьмем философию, на знании которой Цицерон особенно настаивал. Это вещь сложная и темная. На ее изучение уйдет целая жизнь. А можно ли этим заниматься, когда чуть ли не ежедневно выступаешь на Форуме? Наши подзащитные будут осуждены прежде, чем мы поймем всю эту премудрость, говорили они. И потом, так ли уж нужна оратору философия? Был ли когда-нибудь случай, чтобы опытный адвокат, намереваясь возбудить в судьях гнев, вдруг смутился бы и потерялся оттого, что забыл философское определение гнева и теперь лихорадочно припоминает, что это — жар ума или жажда наказать за обиду (*De or.*, I, 219, 252)<sup>1</sup> Что до истории, государственного права, изучения древностей — это бесспорно нужные и полезные вещи. Но увы! Успеет ли все это выучить юноша, готовящийся к адвокатской деятельности? Не получится ли, что он взойдет на Ростры уже дряхлым стариком? И глядя на молодых людей, друзья говорили Цицерону:

— Твои законы слишком суровы для их возраста (*De or.*, I, 256).

От оратора, продолжали они, требуется совсем другое. Он должен уметь гладко говорить, быть опытным в судебных делах и понимать, с кем имеет дело. «Надо, чтобы он умел нащупать пульс людей любого рода, любого возраста, любого сословия: он должен чутьем понимать мысли и чувства тех, перед которыми он ведет... дело. Ну, а книги философов пусть он оставит себе для... тускуланского отдыха и досуга» (*De or.*, I, 223–224).

На это Цицерон отвечал, что он никогда не отрицал значения опыта на Форуме. «Без мускулатуры, развитой на Форуме, оратор не может иметь достаточно силы и веса, но без всестороннего научного образования не сможет иметь достаточно знаний и вкуса» (*De or.*, III, 80–81). Мало «отточить язык, нужно еще до предела наполнить душу содержанием», а оно дается лишь наукой (*De or.*, III, 121). Что же, это, пожалуй, верно — оратор не станет никогда настоящим ученым. Но именно поэтому его задача возможна. Наука неисчерпаема. «Ведь само изучение порождает все новые и новые вопросы», поэтому человек, посвятивший себя всецело

науке, будет заниматься всю жизнь ею одной. Но ознакомиться с ней кажется вполне реальным для оратора (*De or.*, III, 88–89).

Все дело заключалось в том, что Цицерон понимал под оратором совсем не то, что его современники. «Оратор, — говорили они, — это просто человек, который умеет пользоваться в делах судебных и общественных словами, приятными для слуха, и суждениями, убедительными для ума». Кроме того, он должен обладать звучным голосом, умением красиво произносить речь и некоторым остроумием. Вот и все (*De or.*, I, 213). Цицерону такое определение казалось почти кощунством.

— Ты изображаешь оратора прямо каким-то ремесленником, — говорил его герой своему собеседнику (*De or.*, I, 263).

Для него оратор — это некий всесильный маг, по единому слову которого вспыхивают и затихают войны, всякому жесту которого повинуются народы, «перед кем люди трепещут, на кого взирают потрясенные, когда он говорит, кем восторгаются, кого считают чуть ли не за бога среди людей» (*Cic. De or.*, III, 52–53). Но почему же, почему оратор казался ему богом и чародеем? Дело в том, что, по глубокому убеждению Цицерона, началом и венцом вселенной было СЛОВО. Слово — это то, что отличает человека от животного. Мало того. Именно слово сделало человека человеком. «Какая другая сила могла собрать рассеянных людей в одно место или переменить их грубый и дикий образ жизни на этот человеческий и гражданский быт и установить в ново-созданных государствах законы, суды, право?» (*Cic. De or.*, I, 33–34). Слово вывело людей из лесов и пустынь, слово возвело города, слово создало цивилизацию. И слово всесильно. Оно может остановить смертоубийства и принести благоденствие, оно одно может выбить нож из рук убийцы. Любимыми мифами Цицерона были сказания об Орфее и о Зете и Амфионе, древних строителях Фив. Когда Орфей пел свои стихи, дикие звери выходили из лесов и ложились у его ног. Когда же Зет и Амфион строили Фивы, богатырь Амфион таскал исполинские валуны и громоздил их друг на друга, а его брат пел — и вот от слов его оживали деревья и скалы, а камни сами ложились кольцом вокруг Фив.

Этот миф казался Цицерону исполненным глубокого смысла — он показывал, что слово всесильно. «Я не знаю ничего прекраснее, чем умение силой слова приковать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь. Именно это искусство у всех свободных народов... пользовалось во все времена почетом и силой... Что производит такое могущественное,

возвышенное впечатление, как когда страсти народа, сомнения судей, непреклонность сената покоряются речи одного человека?.. С другой стороны, что так необходимо, как иметь всегда в руках оружие, благодаря которому можно то охранять себя, то угрожать бесчестным, то мстить за нанесенную обиду?» (*Cic. De or.*, I, 30–32). И насколько такая победа прекраснее и возвышеннее, чем грубая победа с помощью кулаков, когда дикарь может без труда одолеть мудреца!

Оратор и есть *повелитель слова*. Он превосходит остальных людей в том, в чем люди превосходят животных. Вот откуда такое восторженное отношение Цицерона к оратору! Все беды, все ошибки и разочарования, которые наш герой претерпел в жизни, происходили из этой его веры в несокрушимую силу слова. Но, с другой стороны, именно благодаря этой вере он достиг того, чего так страстно желал — славы не только в веках, но в тысячелетиях. Ведь по сию пору имя *Цицерон* обозначает гениального оратора.

Однако тут можно задать справедливый вопрос: а почему владыка слова именно оратор, а не писатель? Разве писатель не повелевает словом, разве он не властвует над умами так же, как и оратор? Но дело в том, что Цицерон ставил знак равенства между писателем и оратором. Иными словами, всех писателей он причислял к ораторам. Даже Платона, который был не только философом, но и гениальным художником, он уверенно называет оратором. И не только писатель, но любой ученый, когда он начинает излагать свое учение, если он делает это художественно, становится, по его словам, оратором (*Cic. De or.*, I, 49–50).

Но есть еще один владыка слова. Это поэт. И поэта Цицерон ставит рядом с оратором и почитает таким же полубогом. Есть одно глубинное сходство между оратором и поэтом. Искусству поэта нельзя научиться. Поэзия — есть дар богов. «Занятия другими предметами основываются на изучении... поэт же обладает своей мощью от природы, он... как бы исполняется божественного духа». Таким же даром богов является искусство оратора. Его можно развить, отшлифовать, но с ним человек рождается (*Cic. De or.*, I, 70; *Arch.*, VIII, 18). Естественно, этот полубог должен знать все благородные науки. Больше того. Все науки и искусства — слуги и спутники оратора. Он повелевает ими (*De or.*, I, 75).

Многие не верили в возможность существования подобного оратора. Старик Сцевола качал головой, слушая эти фантастические рассуждения.

— Если бы такого человека я видел, если бы о таком человеке я слышал, если бы в такого человека я хотя бы верил, — говорил он (*Cic. De or.*, I, 76).

— Тот человек, которого ты ждешь, уже появился? — спрашивали у Цицерона друзья (*Brut.*, 162).

Но герой наш, улыбаясь, отвечал:

— Создавая образ совершенного оратора, я обрисую его таким, каким, может быть, никто не был (*Or.*, 7).

По его словам, это некий идеальный образ. Чтобы пояснить свою мысль, он прибегает к сравнению. Когда великий Фидий создавал из мрамора Афины или Зевса, он не видел в окружающей его обыденной жизни божественные лица, которые изображал. Но в душе его жил некий образ чистой красоты и, созерцая его, он высекал из камня его земное подобие. Такие образы, продолжает Цицерон, Платон называл *идеями*. Они не придуманы людьми, но существовали извечно. Такой платоновской идеей, таким образом чистой красоты был для Цицерона его оратор (*Or.*, 9—11).

Итак, оратор — это владыка слова. Цель же его — обрести власть над душами людей. По своему желанию он может вызвать у них яростный гнев, острую жалость или возмущение. Оратор обладает такой силой, что «может по своему произволу управлять мыслями слушателей» (*Cic. De or.*, II, 70). Виртуоз-музыкант извлекает из лиры любые звуки. Для оратора же струнами являются человеческие души, и он на них играет. Можно даже не слышать ни слова из его речи, говорит Цицерон, ты все равно поймешь, настоящий ли он мастер. Довольно одного взгляда на слушателей. «Как по звукам струн на лире узнают об искусстве того, кто по ним ударяет, так об искусстве оратора в игре на душах слушателей узнают по движениям их чувств. Таким образом, понимающий ценитель... с одного взгляда составит правильное суждение об ораторе. Он видит судью, который зевает, болтает с соседями, а то и с целым кружком соседей, посылает узнать время и просит устроить перерыв, и он понимает, что в этом процессе нет оратора, который мог бы играть на душах слушателей. Если же он... замечает, что судьи привстали и насторожились... что они заморожены речью оратора, словно птица пением птицелова, и, главное, что в душах их кипит сострадание, ненависть и другие страсти —...даже не слыша ни слова, он поймет, что перед судом говорит настоящий оратор» (*Brut.*, 199–200).

Вот почему мы можем сказать: он прекрасный философ, но толпа его не понимает. Но сказать такое об ораторе невозможно. Раз толпа его не понимает, значит, он не умеет играть на душах слушателей, значит, он не оратор. Это все равно что сказать — он хороший лютнист, только не умеет играть на лютне.

Итак, Цицерон носил в сердце своем некую идею оратора, некий образ

чистой красоты, которому, как он говорил, быть может, никогда не дано воплотиться. Однако в глубине души герой наш был уверен, что он и станет таким оратором — повелителем слова, земным воплощением небесной мечты. И он еще усерднее, еще пламеннее отдался занятиям. Долгие ночи он просиживал без сна при свете лампы над книгой или рукописью (*Div.*, II, 142; *Brut*, 312). Он по-прежнему весь отдавался изучению наук. С другой стороны, он делал все, чтобы развить в себе дар слова. Он изобрел одно очень интересное упражнение. Прочитав какую-нибудь красивую поэму или речь какого-нибудь знаменитого оратора, он пересказывал прочитанное, но употребляя другие слова или выражения, чем автор. «Но впоследствии я заметил в этом способе тот недостаток, что выражения самые меткие и вместе самые красивые и удачные были уже предвосхищены Эннием, если я упражнялся на его стихах, или Гракхом, если именно его речь я брал за образец; таким образом, если я брал те же слова, то от этого не было пользы, если же другие, то был даже вред». Цицерон вышел из этого затруднения следующим образом: вместо того чтобы пересказывать римских авторов, он брал сочинения какого-нибудь знаменитого грека и переводил на латынь (*Cic. De or.*, I, 154–155). Его трудолюбие поистине изумительно. Он, уже заваленный делами, перевел сочинения Ксенофонта, Платона, речи Демосфена, Эсхина, куски из Илиады, Одиссеи, Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Эпихарма, Солона. «Переводил я, — пишет он в предисловии к переводам греческих ораторов, — не как толмач, но как оратор: я сохранил и мысли, и построения — их физиономию, так сказать, — но в подборе слов руководствовался условиями нашего языка».

Цицерон решил использовать еще один прием — он не только декламировал, как его коллеги, он писал. Большинство ораторов писали плохо. Цицерон вспоминает, какие блестящие речи он слышал в юности. Между тем в опубликованном виде те же речи казались тусклыми и бледными тенями того, что он некогда слышал. И вот он стал писать, заставлял себя писать каждый день (*Brut*, 320–321).

Вскоре он пришел к выводу, что следует избегать чрезмерной красоты, риторической отделки, чересчур изысканных завитков. В самом деле, говорит он, все чрезмерное скоро вызывает пресыщение. Яркие цветистые картины новых художников сперва захватывают нас, но вскоре нас начинает тянуть к благородной простоте старых мастеров. Бесконечные переливы голоса модных певцов вскоре начинают раздражать и мы хотим звуков чистых и строгих. Духи с резким и вычурным запахом быстро надоедают. Приторно сладкие блюда скоро приедаются и вызывают

отвращение. Так и чрезмерные прикрасы, завитушки и преувеличения начинают утомлять и вызывать скуку (*De or.*, III, 98—100).

Для оратора требовалась еще изумительная, поистине фотографическая память. Дело в том, что римские ораторы вообще не пользовались записями<sup>[26]</sup>. Поэтому оратор должен был держать в памяти все факты и весь материал, — даже то, что он не использовал в своей речи. Он должен был помнить все свои аргументы, все доказательства во всей их последовательности, мало того, все отступления, красивые фразы, шутки! А ведь речь могла длиться четыре-пять часов! При этом надо было запомнить еще все доводы обвинителя и речи свидетелей (*De or.*, II, 355). Чтобы развить у себя такую память, Цицерон выучивал наизусть огромные куски из греческих и латинских авторов.

Вскоре, однако, Цицерон обнаружил у себя один досадный пробел. Он мог приготовить блистательную речь и ее запомнить, но он не владел актерской техникой, а значит, не мог произнести ее как должно (*Plut. Cic.*, 5). Тогда-то он решил обратиться за помощью к специалистам, то есть к актерам.

### ***В театре***

Нужно сказать, что как раз в это время театр переживал невиданный расцвет.

Увлечение театром началось в Риме после Пунических войн. Город охватила настоящая театральная горячка. По словам Плавта, свободные и рабы, мужчины и женщины, даже кормилицы с грудными детьми на руках — все спешили в театр. Тогда же появилась плеяда блестящих драматургов: трагики — Энний, Пакувий, комики — Плавт, Теренций, Цецилий Стаций. Однако их пьесы, такие яркие и сценичные, играли подчас из рук вон плохо. Плавт говорит: «Актер терзает мне сердце. Вот даже «Эпидик» — я люблю эту пьесу как самого себя. А если играет Пеллион, просто смотреть тошно!» (*Plaut. Bacch.*, 214–215). «Эпидик» — комедия Плавта. Пеллионом же, очевидно, звали главного актера, который приводил драматурга в полное отчаяние.

Причины такой дурной игры были, по-видимому, в отношении римлян к театру. Для афинян в их лучшие годы театральное представление было священнодействием, великой мистерией, поэт — учителем взрослых<sup>[27]</sup>, актеры — жрецами Диониса. Их окружали глубочайшим уважением.

Самые почтенные люди считали за честь выступить на сцене. Для римлян же театр был развлечением, забавой, а актеры — чем-то вроде канатных плясунов или скоморохов. Ни один уважающий себя человек не мог бы стать актером. Даже последний бедняк-плебей сторел бы от стыда, если бы ему предложили подобную работу. Тот, кто выступал на сцене, автоматически терял гражданские права. Поэтому играл всякий сброд — в основном рабы и отпущенники. Их презирали, и, что хуже всего, они сами смотрели на себя и на свой труд с презрением<sup>[28]</sup>.

И внешний вид театра был соответствующий. В Афинах на склонах Акрополя находился великолепный театр Диониса. В Риме III–II веков ничего подобного не было. Актеры приезжали с юга и где попало разбивали импровизированные подмостки. Это было что-то вроде европейского балагана. Даже стульев не было. Зрители тащили из дома скамьи и табуреты или брали их за умеренную плату в соседних лавчонках. Садились тоже где угодно, даже на сцене. Когда же во II веке любители греческой культуры задумали построить каменный театр, то по настоянию строгих блюстителей старины он был разрушен «как предмет бесполезный и пагубный для общественной нравственности» (*Liv. Ep. XLVIII, ср. App. B.C., 1, 28*).

Так было прежде. Но век Цицерона все изменил. Это время очень напоминало наш Серебряный Ренессанс. Тот же невиданный всплеск искусства, та же особая утонченность во всем, те же настойчивые поиски новых форм, тот же блеск — и на всем злоеший отсвет надвигающегося конца. Ведь весь Серебряный Ренессанс фактически развернулся в короткий период между русскими революциями; «Серебряный век» Рима — между римскими.

Теперь театр начинает привлекать к себе людей образованных и влиятельных. Изменился самый вид сцены. Знатные люди не жалели средств, чтобы убрать сцену понаряднее. «В серебро нарядил сцену Антоний, в золото — Петрей, в слоновую кость — Квинт Катул», — пишет поздний грамматик<sup>[22]</sup>. Ее обрызгивали драгоценным киликийским шафраном (*Lucr., II, 416*). Над зрителями протягивали льняной тент, чтобы защитить их от палящих лучей солнца. Вот как описывает это поэт Лукреций, современник Цицерона: «Над огромным театром натянут покров ярко-красного, фиолетового или коричневого цвета, и он колеблется между шестами и брусьями; ткань окрашивает и заставляет отсвечивать своим цветом всю массу зрителей на местах, сцену и наряды мужчин и женщин... и все улыбается в блеске дня» (*Lucr., IV, 75–83; ср. Plin. N.H., XIX, 23*).

А пышность декораций была ни с чем не сравнима. Например, на одно театральное представление Лукулл дал двести драгоценных пурпурных плащей, чтобы нарядить хор! (*Plut. Lucul.*, 39). Наконец в 55 году Помпей соорудил великолепный каменный театр.

Но самое главное было не в шафране и не в пурпуре и даже не в каменном театре — главное было то, что в Риме впервые появились великие артисты. Среди трагиков гремел тогда Эзоп. Об этом удивительном человеке ходили легенды. Рассказывали, например, как он играл страшного злодея царя Атрея и настолько вошел в роль, что, когда мимо него прошел прислужник, он «в пылком исступлении, не владея собой, ударил его скипетром и уложил на месте» (*Plut. Cic.*, 5). Велика была его слава, но даже она меркла перед славой другого актера — комика Росция<sup>[29]{23}</sup>. Он играл, по отзывам современников, божественно, упоительно. Бедняк из маленького городка Ланувий, он сделал головокружительную карьеру исключительно благодаря своему изумительному таланту. Он приехал в столицу, стал выступать на сцене, вскоре затмил всех соперников и сделался кумиром Рима. То была какая-то ни с чем не сравнимая всеобщая влюбленность. Квинт Катул, увидав Росция, в порыве восторга посвятил ему следующее стихотворение: «Однажды я приветствовал всходящую Аврору; вдруг слева от меня на сцену взошел Росций. О, простите меня, небожители! Смертный показался мне прекраснее бога!» (*Cic. De nat. deor.*, I, 79). А между тем Росций был отнюдь не красавец: он, например, всю жизнь страшно косил (*Ibid.*). Однако его пылким поклонникам он казался настоящим Аполлоном.

Диктатор Сулла был одним из самых горячих почитателей актера. После одного его выступления совершенно потрясенный и растроганный диктатор надел ему на палец золотое кольцо. Это был не просто дорогой подарок. Такое кольцо было знаком всаднического достоинства. Отныне безродный комедиант мимо всех законов и обычаев стал полноправным гражданином Рима. Он сделался богат. Ведь за каждое выступление ему платили бешеные деньги.

Росцию прощали всё. Римская публика сделалась чрезвычайно разборчивой и капризной. Зрители замечали малейшую ошибку актера. Стоило ему чуть-чуть нарушить ритм или длину стиха, как весь театр разражался негодующими возгласами. А если — не дай бог! — актеры или хор где-нибудь сфальшивят, на них обрушивалась целая буря (*De or.*, III, 196). Даже Эзопа, если у него срывался голос, беспощадно освистывали (*Ibid.*, I, 269).

Иное дело Росций. Если вдруг казалось, что он не в ударе, играет не

так, как всегда, по зрительным рядам проходил сочувственный шепот:

— Нынче Росций не в духе! Нынче Росцию нездоровится! (*Ibid.*, I, 124–125).

Не только Росцию — его ученикам разрешалось все! Цицерон вспоминает, какая несметная толпа собралась, когда дебютировал один его молодой ученик. И все полны были сочувствия, все предвкушали необыкновенное удовольствие, а когда он закончил, все громко ему аплодировали. Впрочем, саркастически замечает Цицерон, если бы он сыграл даже совсем скверно, зрители все равно носили бы его на руках — ведь он был учеником *самого Росция!* (*Rose. Hist.*, 29). Был и другой случай. Один комик, некий Эрот, выступил на сцене. Но играл он так, что его выпроводили из театра оглушительными свистками. Тогда незадачливый актер стремглав кинулся в дом Росция, «словно к алтарю»<sup>[30]</sup>, и умолял взять его в ученики. Росций согласился. Вскоре Эрот стал одним из лучших комиков Рима (*Ibid.*).

Итак, весь Рим был без ума от Росция. Но самым его восторженным поклонником был Цицерон.

С юных лет он страстно увлекался театром. Читая его книги, нельзя не заметить одну любопытную особенность. Все его сочинения — будь то философские трактаты, руководства для ораторов или речи — буквально наполнены цитатами из римских трагедий и комедий. Нас это может иной раз смутить — театральные злодеи, вроде Атрея, или смешные обманутые старики не всегда много говорят нашему сердцу. Но, оказывается, и современники подчас удивлялись не меньше нас и склонны были считать это странной причудой Цицерона. В одной из первых своих речей молодой оратор для иллюстрации своей мысли начал пересказывать комедию Цецилия Стация. Обвинитель пришел в недоумение и даже заметил, что все это пустяки, о которых и говорить не стоит. Но Цицерон горячо возразил:

— Мне кажется, для того поэты и создают свои типы, чтобы в посторонних мы узнавали свой характер и живую картину наших отношений (*Rosc. Amer.*, 46–47).

Но когда мы вчитываемся внимательно во все эти цитаты, мы вдруг обнаруживаем нечто чрезвычайно интересное. Мы понимаем, что Цицерон вовсе не выписывал эти стихи из книги — он знал их наизусть, причем вспоминал слова, услышанные со сцены! При этом он прямо видит перед собой актера: вот в этом месте он сделал паузу, здесь — воздел руки к небу, а тут у него сверкнули глаза (например, *De or.*, II, 193; III, 217–219; 102). Конечно, память у Цицерона была изумительная. И все же сколько раз надо было посмотреть пьесу, чтобы запомнить каждый жест, каждый взгляд

артиста!

Театр Цицерон предпочитал всему. Смолоду не любил он грубых развлечений, до которых падка чернь — канатных плясунов и прочих вульгарных зрелищ. О боях же гладиаторов, вошедших в Риме в моду после Суллы, он не мог говорить без отвращения (*Fam.*, VII, 1, 3). Пышные помпезные декорации он считал пошлостью. Вот, например, как он описывает очень дорогие игры<sup>[31]</sup> в письме к другу, которому не удалось на них присутствовать:

«Игры, если хочешь знать, были подлинно великолепны, но не в твоём вкусе; сужу по себе... Наш Эзоп, твой любимец, играл так, что по общему мнению ему можно было бы перестать. Когда он произносил клятву, то в знаменитом месте «Если я сознательно обманываю» ему изменил голос. Что мне сказать о прочем?.. Не было даже той прелести, которая бывает в посредственных играх. А смотреть на пышные декорации было совсем невесело; не сомневаюсь, что ты совершенно спокойно обошелся бы без этой пышности. И на самом деле, что за удовольствие смотреть на шесть сотен мулов в «Клитемнестре», или на три тысячи кратеров в «Троянском коне», или на различные виды вооружения пехоты и конницы в какой-нибудь битве? Это вызвало восторг черни, но тебе не доставило бы ни малейшего удовольствия» (*Fam.*, VII, h 2).

Эзопом Цицерон восхищался; Росций стал его идолом, его кумиром. «Твоя любовь, твоя услада», — шутя называли его друзья оратора (*Div.*, I, 79). Часами он не отрывал взгляд от актера и, казалось, впитывал каждое его слово, каждый жест, каждый взгляд. Однажды, вспоминает Цицерон, Росций играл старика. И вдруг буквально на глазах он одряхлел, согнулся. Самый голос его звучал глухо, по-стариковски. «Я прямо слышал тут самое старость», — говорит изумленный Цицерон (*De or.*, II, 242). Когда Росций появлялся, все другие актеры переставали для него существовать и их мелькающие фигуры невыносимо раздражали его.

— Меня всегда удивляет бесстыдство тех, кто ломается в театре на глазах у Росция: разве можно хоть шевельнуться на сцене так, чтобы он не заметил каждый твой промах! — говорил он с досадой (*De or.*, II, 233).

Посмертной славой своей Росций обязан одному Цицерону. Ведь артисту поклоняются только те, кто видел его на сцене. У следующего поколения уже другой кумир — живой герой, а не воспоминание. Кто помнил актеров времен Плавта или Теренция? Самые имена их забылись — их знало лишь несколько антикваров. Но не такая судьба ждала Росция. Он навсегда остался в истории Рима как некий недостижимый образ, идеал, символ гения. «Всякого, кто отличается в каком-либо искусстве, называют

Росцием своего дела» (*De or.*, I, 130). Более того. Его слава пережила самый Рим. Читатель, быть может, помнит, что принц Гамлет у Шекспира говорит о Росции. Отчего это случилось? Оттого, что Цицерон в каждом своем произведении его воспекает, а так как он был великим писателем и имел дар описывать все зримо, то нам начинает казаться, что мы собственными глазами видели Росцию на сцене.

Артистический мир неудержимо влек к себе Цицерона. Он знал имена даже второстепенных актеров. Он жил сценой. Естественно, он не мог довольствоваться тем, чтобы любоваться артистами на подмостках. Он мечтал о личном знакомстве. И вот, наконец, ему удалось вступить в этот чарующий ослепительный мир и познакомиться со своими кумирами. Случилось это еще в юности, до его отъезда в Грецию. Он был тогда болезненным никому не известным юношей. Никто не подозревал, какое великое будущее готовит ему судьба. Эзоп стал его близким приятелем. Росций — любимым другом. С ним Цицерону всегда было как-то удивительно легко. Он был ласков, вежлив, мягок; он был остроумен и блестяще образован. С ним можно было вести интересные разговоры, столь далекие от обычной светской болтовни. Словом, Росций воплощал в себе именно те качества, которые так нравились в людях Цицерону. Вскоре одно обстоятельство связало их еще сильнее. Над Росцием и его семьей сошлись тучи.

Дело было вот в чем. Тесть Росция, человек простодушный и, судя по всему, абсолютно непрактичный, стал жертвой плутней своего компаньона. Тот безбожно его обманывал, а кончил тем, что стал угрожать и привлечь к суду. Тестю грозило полное банкротство, потеря имущества и доброго имени. На противной стороне были лучшие ораторы Рима, поддержкой которых успел заручиться ловкий компаньон. Между тем адвокат, взявшийся защищать обвиняемого, человек очень обязательный и опытный, был отослан из Рима сенатом по срочному делу. Приближался день суда. Защитника не было. Положение было отчаянное. И тут Росций сделал неожиданный и смелый шаг. Он решился довериться не маститому оратору, а своему неопытному двадцатипятилетнему другу Цицерону, который к тому времени не вел еще ни одной крупной тяжбы. Цицерон был очень польщен, но смутился. Противники были слишком знамениты, а, главное, времени почти не оставалось. Между тем дело было очень сложным и запутанным.

С обычной своей светской любезностью Цицерон сказал Росцию, что его всегда поражали своей меднолобостью артисты, которые дерзали состязаться с ним, Росцием, на сцене. Теперь же он боится оказаться столь

же меднолобым, выступив соперником таких знаменитых ораторов. Но Росций начал его ободрять и умолять. А ведь он, говорит Цицерон, был таким хорошим актером, что умел быть красноречивым даже не открывая рта. Ему просто невозможно было отказать. Искушение было слишком сильно. И Цицерон согласился (81 год) (*Quinct.*, 77—7(9)<sup>[32]</sup>).

Процесса этого мы разбирать не будем. Достаточно сказать, что Цицерон сделал тут чудеса. Это длинное, нудное, однообразное дело он сумел превратить в увлекательный рассказ, нарисовал яркие портреты и несчастного банкрота, и его пронырливого компаньона. Каков был приговор суда, мы не знаем. Но, видимо, Цицерону удалось спасти тестя Росция, ибо, когда пять лет спустя сам актер попал в аналогичную ситуацию, он тут же, не задумываясь, обратился к Цицерону (76 год).

Противником Росция был также его компаньон Фанний Херея. Он утверждал, что Росций обманул его и не выплатил обещанных денег. Надо сознаться, что с самого начала Росций вел себя совершенно неправильно и показал, что он столь же непрактичен, как и его тесть. Он устранился от общих дел, когда же компаньон стал требовать с него денег, он стал их давать, надеясь, видимо, от него отделаться. В конце концов он запутался окончательно. Дело приняло угрожающий оборот. Его привлекли к суду, а все его ошибки и данные им обвинителю деньги явились серьезными уликами против него и как будто неопровержимо доказывали его вину. Вот тогда-то он обратился за помощью к Цицерону.

Оратор прежде всего изложил дело и жалобы и претензии Хереи. Он доказал без особого труда всю их несостоятельность. После этого он приступил к психологической стороне этой драмы.

— Посмотрим, кто он, этот обманувший товарища человек... Это Квинт Росций!.. Горячий уголь, брошенный в воду, моментально гаснет и стынет; так тотчас же умрет и потухнет огонь клеветы, брошенный в чистую, ничем не запятнанную жизнь. Росций обманул своего товарища?.. Может ли тяготеть такое обвинение над подобного рода человеком? Он, который — я сознаю смелость своих слов — еще более честен, чем талантлив, более правдив, чем образован... он, который сумел прослыть достойнейшим сцены художником, сохраняя при этом славу человека, достойного сената за свое бескорыстие!.. Знаешь ли ты человека, о котором был бы лучшего мнения, чем о нем? Кто в твоих глазах более честен, совестлив, ласков, услужлив, благороден?.. Росций оказался плутом! Это как-то странно звучит в ушах и сердцах всех (*Rose. Histr.*, 17–19).

Но как ни странна, как ни чудовищна даже мысль, что Росций кого-то подло надул, в этой истории есть нечто еще более примечательное и

удивительное — а именно фигура пострадавшего. В самом деле, кто он, эта невинная и простодушная жертва коварных козней? Фанний Херея, отъявленный плут, продумной мошенник, известный всему Риму. Как могло случиться, чтобы такой человек дал себя одурачить и кому? Этому непрактичному и неопытному Росцию!

«Это вдвойне невероятно — невероятно, чтобы Росций кого-то обманул, невероятно, чтобы Фанний дал себя обмануть».

— Прошу и умоляю вас, сравните между собой жизнь того и другого! (*Ibid.*, 19–21).

С этими словами Цицерон указал на скамью обвинителей, где гордо восседал Фанний Херея. Действительно, он менее всего годился для роли невинной овечки. Было тут и еще одно весьма неожиданное и забавное обстоятельство. Этот Фанний имел странную привычку бриться наголо, сбрасывал даже брови. Голый череп и полное отсутствие бровей придавали ему какой-то чудной вид, между прочим, почему-то хитрости и лукавства. Но дело было в другом.

Любимой коронной ролью Росция был Баллион из плавтовского «Псевдола». Это хозяин публичного дома, человек ловкий и не только беспринципный, но бравирующий своей полной аморальностью. Когда его называют мерзавцем, вором, взломщиком, он удовлетворенно кивает и говорит: «Так, так. В самую точку». Когда ему кричат: «Ты прибил отца и мать!» — он с усмешкой отвечает: «Верно. Даже убил. Ну и что же? Это ведь лучше, чем их кормить. Разве я поступил неразумно?» Роль эта очень смешная, но вместе страшноватая.

Так вот Росций в этой роли гримировался под Херею. Зрители могли узнать и голый череп, и безбровое лицо, и всю повадку. Казалось, Росций представлял именно Херею. Быть может, это было случайностью. Быть может, Росций считал своего компаньона очень подходящей моделью. С актерами это бывает. Известно, что Шаляпин, встретив в вагоне на юге Франции старого кюре в широкополой шляпе и шейном платочке, сразу понял, что это его дон Базилио. Он копировал его в точности, вплоть до фулярового платочка, хотя этот человек, возможно, был вполне порядочным. А, может быть, для Росция не были тайной внутренние качества этого дельца, и он копировал его не без умысла. Как бы то ни было, сходство было разительным и Цицерон тут же поспешил его обыграть.

Едва он произнес имя Баллиона, зрители и судьи мгновенно узнали Херею. Можно себе представить, какой взрыв хохота прокатился по рядам. И уж конечно, сильно пошатнулось доверие к этому обвинителю, который

как две капли воды был похож на содержателя публичного дома!

Затем Цицерон перешел к следующему пункту, а именно — каковы же мотивы преступления? Зачем было Росцию жертвовать своей репутацией и обкрадывать товарища? Денег у него было много, долгов никаких. Что же его толкнуло на такой поступок?

— Квинт Росций обманул Фанния на сумму 50 тысяч сестерциев. Ради чего?

Это рассуждение вызвало смешки на скамье обвинителей. Им показался забавным самый вопрос — *зачем человеку 50 тысяч?* Цицерон мгновенно уловил этот смех.

— Улыбается Сатурий, лукавый человек, как он воображает, и говорит: «Ради этих самых 50 тысяч». Ну да, но скажи мне, почему ему так понадобились эти 50 тысяч?

И тут Цицерон напомнил одно обстоятельство, которое обвинители забыли, а может быть, и не знали. Всем известно было, что Росций зарабатывал бешеные деньги. За одно выступление ему платили столько, что это вполне могло составить счастье скромного человека на многие месяцы. Но вот уже десять лет, как он отказался от платы и выступал безвозмездно, считая, что деньги ему больше не нужны. За эти годы он потерял 6 миллионов сестерциев. Мог ли он после этого польститься на 50 тысяч и обокрасть своего товарища? (*Ibid.*, 23–24).

Разумеется, Цицерон выиграл процесс и честь Росция была восстановлена.

Я думаю, из этих строк читатель почувствовал, что Цицерон не просто привязался к Росцию, не просто дружил с ним — нет, он буквально влюбился в него! И это неудивительно. Сам в душе артист, он переживал все страстно, бурно. Он не признавал полутонов. И увлекался всегда с головой, до безумия. Росций восхищал его как человек не меньше, чем как актер. «Кто вспомнит, что за блестящий художник Росций, тому кажется, что он один достоин выступать перед зрителями; но кто, с другой стороны, представляет себе, какой он прекрасный человек, тот приходит к убеждению, что именно ему менее всех следовало бы выступать перед нами» (*Quinct.*, 78).

Эти слова ясно показывают, что как ни велика была популярность Росция, даже ему не удалось сломить всеобщего предубеждения против актеров. Его обожали, им восхищались, его осыпали золотом, но все-таки он оставался в глазах всех комедиантом, потешником. Сулла, правда, даровал ему гражданские права. Но Сулла был тиран. Ему ничего не стоило вознести в ранг гражданина того, кто сумел его повеселить; тем более что

эти гражданские права он от души презирал. В этом нет ничего удивительного. Ведь Калигула ввел в сенат не то что актера, а свою лошадь.

Цицерон всегда гордился тем, что соблюдает в точности все заповеди предков. Он гордился своей старомодностью, не боялся даже прослыть чудаковатым стародумом. Но здесь, однако, он резко порвал со всей традицией. Для него Росций был не забавный потешник, а великий художник, с которым рядом сидеть — уже великая честь для многих аристократов и нуворишей. Он с гордостью называл себя другом этого актера. Римский ученый Макробий пишет: «Цицерон не презирал актеров — об этом свидетельствует факт, который знает всякий, — а именно, что он был в такой дружбе с актерами Росцием и Эзопом, что защищал их с помощью своего искусства<sup>[33]</sup>. И это явствует как из многих других свидетельств, так и из его писем. Кто не читал его речи, в которой он бранит римский народ за то, что он зашумел, когда Росций сделал жест?» (*Macrobian Sat., III, 14, 12*).

Я уже говорила, что посмертной славой Росций обязан был своему другу. Скажу больше. Я убеждена, что именно Цицерон был виноват в повороте общественного мнения по отношению к театру. Ведь он не просто восторгался Росцием где-нибудь у себя дома в интимном кружке единомышленников. Нет. Он твердил об этом на Форуме, в суде, в Курии. Он осмелился с Ростр публично заявить, что этот актер достоин заседать в сенате! Думаю, даже создание каменного театра в 55 году явилось результатом этих страстных призывов. И актеры никогда не забыли этого. Настанет день, когда на самого Цицерона обрушится страшное несчастье, и все актеры Рима докажут, что они умеют быть благодарными. Но случится это через много лет после описываемых событий. А пока вернемся к обоим друзьям.

У них было очень много общего. Оба были влюблены в свое искусство. Оба очень много читали и очень много размышляли о прочитанном. И, главное, у обоих были удивительное трудолюбие, удивительная строгость к себе и вечное стремление к совершенствованию. Именно это качество восхищало Цицерона в Росции более всего. Он ставил его в пример всем ораторам. «Давайте попробуем мерить достоинства оратора с тою же строгостью, как этот актер! Посмотрите, как в малейшей мелочи обнаруживает он величайшее мастерство, необыкновенное изящество, чувство меры, умение волновать и улаживать» (*De or., I, 130*).

Друзья долгие часы проводили в задушевных беседах. Больше всего, конечно, говорили каждый о своем искусстве. Но Цицерон утверждал, что в обоих этих искусствах чрезвычайно много общего. Настоящий оратор,

говорил он, должен быть и великим актером. В самом деле. Его цель — воздействовать на судью — вызвать у него гнев или острую жалость. Но как же он сможет это сделать, если сам будет холоден как лед и станет спокойным тоном говорить изысканно-красивые фразы? Нет! Все должны видеть, что он буквально пылает. Если он хочет вызвать гнев, пусть его глаза сверкают, если жалость — пусть на них блещут слезы. Без этого он никогда не сможет играть на душах слушателей. Но значит ли это, что оратор — искусный притворщик? Ничуть не бывало.

— Если бы скорбь нам пришлось выражать неискреннюю, если бы в речи нашей не было ничего, кроме лжи и лицемерного притворства, — тогда, пожалуй, от нас потребовалось бы еще больше мастерства. К счастью, это не так. Уж не знаю... как у других; что же до меня, то... клянусь... я никогда не пробовал вызвать у судей своим словом скорбь, или сострадание, или ненависть... без того, чтобы самому не волноваться этими чувствами.

Но ведь именно так поступают актеры. Он вспоминал Эзопа на сцене. Тот играл старика Теламона. К нему приходит его меньшей сын и сообщает, что старший брат Аякс опозорен, оклеветан и в припадке отчаяния покончил с собой. Убитый горем старик обрушивает на него свой гнев, спрашивая, как же он покинул брата в беде.

«Я сам часто видел, как из-под маски, казалось, пылали глаза актера, произносящего эти трагические стихи:

Ты посмел, его покинув, сам ступить на Саламин?  
И в лицо отца глядишь ты?

Это слово «лицо» произносил он так, что всякий раз мне так и виделся Теламон\* разгневанный и вне себя от печали по сыну. А когда тот же актер менял свой голос на жалобный

Старика бездетного  
Истерзал, сгубил, замучил!.. —

тогда, казалось, он и плакал, и стонал при этих словах. Так вот, если этот актер, каждый день играя эту роль, не мог, однако, играть ее без чувства скорби, неужели вы думаете, что Пакувий, сочиняя ее, мог оставаться равнодушен» (*De or.*, II, 187; 193).

Но как же это возможно? Как может плакать Пакувий над выдуманным несчастьем какого-то Теламона, который жил в незапамятные времена, еще до основания Рима? Как Эзоп, сотни раз играя эту сцену, все-таки каждый раз переживает такие муки? И как страдания совершенно чужого ему человека могут заставить оратора плакать? И тут Цицерон начинал излагать другу теорию Платона о поэтах и актерам.

Платон утверждает, что поэт делается поэтом не в силу особого мастерства или особой выучки (*Plato. lo.*, 532 E; 533 D — E). Выучиться поэзии нельзя. Дело в том, что поэзия «это не искусство, а божественная сила, которая тобой движет... Все хорошие эпические поэты слагали свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а в состоянии вдохновения или одержимости» (*lo.*, 533 D — E). «Не благодаря мудрости могут они творить то, что творят, а... как бы в исступлении» (*Apol.*, 22 B— C). Что же это за состояние неистовства, которое делает поэта поэтом? Это священное безумие, то есть безумие, посылаемое Богом. Человек в этом состоянии теряет волю и разум и делается проводником слова Божья (*lo.*, 534 C — D). Но таким же безумием заражаются и толмачи поэтов, актеры. Сократ у Платона спрашивает рапсода Иона, что он ощущает, когда декламирует Гомера. И тот отвечает: «Когда я исполняю что-нибудь жалостное, у меня глаза полны слез, а когда страшное и грозное — волосы становятся у меня дыбом от страха и сильно бьется сердце». Тогда Сократ говорит: «Неужели в здравом рассудке тот человек, который, нарядившись в расцвеченные одежды и надев золотой венок, плачет среди жертвоприношений и празднеств... находясь среди двадцати — и даже более — тысяч дружелюбно расположенных к нему людей, когда никто его не грабит и не обижает?» И актер в свою очередь доводит до подобного состояния зрителей (*lo.*, 535 C — D).

Такое же вот безумие сходит на ораторов и актеров, продолжал Цицерон (*De or.*, II, 189–194).

Никому подобные рассуждения не могли быть ближе, чем Росцию. Он с наслаждением впитывал эти слова. Друзья обсуждали, как входить в роль и перевоплощаться. Росция настолько воодушевили эти речи, «что он написал целую книгу, где сравнивает искусство актера и оратора» (*Macrob. Sat.*, III, 14, 12).

Росций всегда сокрушался, что у него нет достойного ученика. Сколько ему не хвалили прошедших его школу актеров, он только качал головой (*De or.*, I, 130). Но теперь, наконец, такой ученик у него появился. И это был Марк Туллий Цицерон! Вместе с Эзопом Росций обучил его актерской технике и открыл все тайны своего искусства. И ученик был

достоин учителей! Теперь Росций и Эзоп едва ли не ежедневно бывали на Форуме. Прежде они оставались равнодушны к политике. Теперь же они ходили взглянуть на тот удивительный спектакль, который давал Цицерон. Ученик стал уже перерастать своих учителей. Но Росций не завидовал, он только радовался. Между ним и Цицероном установилось шуточное состязание — кто из них — актер на подмостках или оратор на Рострах — окажется богаче жестами или переливами голоса (*Macrob. Sat.*, III, 14, 12).

Цицерон теперь не мог без смеха глядеть на ораторов, которые размахивали руками и в самых патетических местах издавали трагические вопли.

— Они в своей немощи не в состоянии обойтись без крика, как хромые без лошади, — говорил он (*Plut. Cic.*, 5).

К сожалению, он не довольствовался этими словами. Надо сказать, что Цицерон вскоре приобрел славу самого остроумного человека Рима. Его последние шутки передавали из уст в уста, записывали, они превращались в анекдоты. Стоило произойти какому-нибудь событию, как все спрашивали: «А что сказал Цицерон?» — заранее предвкушая удовольствие. Однако Плутарх осуждает своего героя за чрезмерную шутливость. Он говорит, что у Цицерона был язык как бритва и он был совершенно безжалостен в своих насмешках. «Едкие насмешки над врагами и противниками в суде можно признать правом оратора, — говорит возмущенный биограф, — но Цицерон обижал всех подряд, походя, ради одной лишь забавы» (*Cic.*, 27). Так вот, в одном деле ему собирались назначить противником некого Алиена, тоже из числа таких «хромых». Оглядев его, Цицерон сказал:

— Умеет ли он говорить, не знаю, так как никогда не обращал на него внимания, но кричит он громко и с выдержкой (*Verr. Div.*, 48).

\*

Еще давно, когда впервые в душе его зародилась мечта стать оратором, Цицерон спрашивал себя: каким же оратором стать? Дело в том, что он различает два вида красноречия — красноречие судебное, когда ораторы обвиняют или защищают человека перед судьями, и красноречие политическое, когда они выступают перед сенатом и народом. Но, хотя его всегда восхищали и те и другие, с ранней юности его неудержимо влек к себе суд (*De off.*, II, 49). Политические речи казались ему несравненно ниже речей судебных. Суд он считал единственно достойным полем битвы. Так,

о Друзе и некоторых его современниках он пишет, что, хотя говорить они безусловно умели, настоящее свое место они находили *не в бою, то есть в суде*, а на страже Республики (*Brut*, 222; курсив мой. — Т. Б.).

А между тем подобное деление для Рима ново. Дело в том, что там не существовало прокуроров и адвокатов, то есть профессиональных обвинителей и защитников. Обвинителем мог выступить любой, кого побуждали к тому патриотизм, честолюбие или личная обида. Как мы уже говорили, обвинение известного человека было в Риме обычным началом карьеры для юноши. Подсудимый мог защищать себя сам — так поступили, например, Сципион Африканский, его внук Эмилиан или Гай Гракх — либо, если он не надеялся на собственные силы, он обращался к какому-нибудь известному оратору. Но мы уже знаем, что красноречие в Риме было той волшебной палочкой, перед которой отворялись все двери. Поэтому всякий, кто хотел прославиться, должен был овладеть этим искусством. Даже Эмилиан, величайший полководец, разрушитель Карфагена, даже Метелл, завоевавший Македонию, были еще и ораторами. И к любому из них обвиненный мог обратиться за помощью. Наградой за выигранное дело были не гонорар, а слава и почет среди сограждан.

Цицерон был, наверно, первым, кого можно назвать профессиональным адвокатом. Много раз он говорил, что считает это своим призванием, делом своей жизни, ее смыслом. Но что же представлял собой римский суд, которому посвятил себя Цицерон?

## Суд

Римский суд — это в некотором роде чудо. В самом деле. С тех пор прошло более двух тысяч лет. Изменилось все — одежда, жилища, армия, оружие, политические институты, религия. Изменились весь строй и стиль жизни. Изменился внешний вид нашей планеты. По земле, по воде, по воздуху и даже в космическом пространстве движутся машины. И только суд и право, изобретенные римлянами, во всех европейских странах остаются неколебимыми и неизменными. Более того. Чем ближе суд к римскому образцу, чем точнее он его копирует, тем он совершеннее. Самым точным воспроизведением римского оригинала является суд английский. И что же? Он всегда служил идеалом для всей Европы. Видимо, ничего лучшего человечество придумать не может. Ф. Ф. Зелинский в начале XX века писал: «Римский уголовный процесс был... тем идеалом правосудия, которого сравнительно недавно достиг уголовный процесс новейших

времен»<sup>[24]</sup>.

До Греции и Рима был суд восточный. Это был суд чиновничий. Обиженный подавал жалобу соответствующему чиновнику. Если тот решал дать делу ход — а он мог не только не дать ему ход, но немедленно арестовать истца и дать ему палок, — так вот, если жалобу все-таки принимали, обвиняемого немедленно хватали и бросали в тюрьму. Далее чиновник вызывал в качестве свидетелей всех лиц, которые, как он считал, замешаны в это дело, и задавал им вопросы. При этом и обвиняемый, и свидетели, а подчас и обвинитель подвергались пыткам. Таков же был феодальный суд Западной Европы, таков же был суд Московской Руси.

Пытка применялась во всех этих судах вовсе не потому, что люди в Китае, Московской Руси или средневековой Франции были более жестоки, чем римляне. Вовсе нет. Просто они были глубоко убеждены, что пытка является единственным способом разомкнуть человеку уста и узнать истину. Кроме того, обыкновенно непременно условием осуждения считалось самопризнание. Его и добивались от подсудимого всеми возможными способами. Пушкин пишет не о Древней Руси, а о России конца XVIII века: «Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые»<sup>[25]</sup>.

На Руси пытки не избегали даже знатнейшие бояре, родичи царя.

Принципы, на которых основано такого рода дознание, кажутся Пушкину «совершенно противными здравому юридическому смыслу». Но то, что он называет *здравым юридическим смыслом*, — это принципы совершенно иной системы, а именно римской. И он осуждает «варварский обычай» с точки зрения *римского правосудия*. Каковы же были принципы этого правосудия?

Римский суд зиждился на совершенно иных идеях. Прежде всего это был суд *присяжных*. Во-вторых, это был суд *независимый* от государства. В-третьих, это был суд *открытый*, действие которого развешивалось на

глазах всего Рима. В-четвертых, главный его принцип был принцип *состязательный*. Наконец, это был суд всесловный и предполагал *полное равенство перед законом*. Этому Европа и Россия фактически достигли только в XIX веке. Действующими лицами в этом суде были председатель, обвинитель, защитник и присяжные.

*Председателем* суда был претор. Ежегодно в Риме всенародным голосованием выбиралось восемь преторов. По окончании срока они сдавали отчет о своей деятельности народному собранию. Шесть из них были председателями шести уголовных комиссий. От председателя прежде всего зависело дать делу ход и начать предварительное следствие. Мы подробно расскажем об этой процедуре, когда будем говорить о судебных делах нашего героя. Сейчас достаточно сказать, что роль председателя сводилась к тому, что он чисто формально знакомился с делом, утверждал обвинителя и назначал день суда. Во время самого судебного заседания он руководил прениями сторон, следил за соблюдением порядка, объявлял перерыв и пр. В заключение именно он собирал голоса присяжных.

Таким образом, предварительное следствие он не вел. Как же оно осуществлялось? Оно было всецело делом *обвинителя*. Именно он отыскивал документы и материальные улики, изобличающие подсудимого. Он же приглашал свидетелей. Со своей стороны то же делал и *защитник*. Поэтому были свидетели обвинения и защиты. Само судебное дело состояло из двух частей: из опроса свидетелей и чтения документов и из речей обвинителя и защитника.

*Свидетелем* мог быть каждый свободный человек — и мужчина, и женщина. Свои показания они давали под присягой. Их поочередно спрашивали обвинитель и защитник. Только они могли задавать свидетелям вопросы. Не только пытка — о ней и речи идти не могло! — но любые меры давления на свидетелей считались недопустимыми. Председатель должен был строго следить, чтобы ораторы держались границ корректности.

После речей и опроса свидетелей следовал приговор. Он всецело был в руках *присяжных*. Именно к ним обращал свои пламенные речи обвинитель, их обольщал и пленял защитник, на них со страхом и надеждой смотрел подсудимый. Ибо судьба его зависела только от них. В Риме их называли не присяжными, а *judices* — судьями<sup>[34]</sup>. Во время суда присяжные хранили молчание и не участвовали в прениях сторон. В конце же они выносили свой вердикт — *виновен* или *не виновен*. Наказание определяли не они, а председатель и находящаяся при нем юридическая комиссия. Если за оправдание высказывалась половина присяжных, то

подсудимый считался невиновным.

Теперь несколько слов о составе присяжных. Читатель, быть может, помнит, что некогда присяжные были только сенаторами, но Гай Гракх вырвал у них суд и передал его всадникам. Из-за этого в Риме разгорелась жаркая борьба. Затем диктатор Сулла снова передал судейские места сенаторам. Наконец, в 70 году проведен был закон, по которому учреждался *всесословный суд*. Присяжных обычно было несколько десятков человек.

Наконец о положении *обвиняемого*. В Риме существовала *презумпция невиновности*, то есть подсудимый считался невиновным вплоть до вердикта присяжных. Самопризнание не требовалось и не имело цены.

Римский суд, как видит читатель, очень похож был на дореволюционный русский, который мы все так хорошо представляем себе, в частности, по «Братьям Карамазовым». Но было одно существенное отличие. В России сначала шел опрос свидетелей, затем речь прокурора и наконец адвоката. В Риме сначала говорил обвинитель, затем защитник и в заключение шли опрос свидетелей и чтение документов. Делалось это для того, чтобы последним впечатлением, оставшимся в голове присяжных, были не искусные речи ловких риторов, а реальные факты. Та же система принята и в английском суде.

Итак, все это без изменения перешло в Европу. Но есть несколько черт, которые резко отличают римский суд от современного.

Первое. В Европе защитник и обвинитель — профессионалы, Это чиновники, состоящие на государственной службе. В Риме такого рода чиновников не было. Защитниками и обвинителями, как мы говорили, были ораторы. Второе. Как мы говорили, в Риме существовала *презумпция невиновности*, но римляне были последовательнее европейцев. С точки зрения римлян, чудовищным беззаконием было лишать свободы человека, чья вина еще не доказана. А доказать ее мог только суд. Поэтому предварительного заключения не существовало и подсудимый сохранял полную свободу до конца суда. Третье. Система наказаний в Риме очень непохожа была на нашу. У нас есть смертная казнь, каторга и тюрьма. До недавнего времени существовали также телесные наказания. В Риме все было по-другому. Смертной казни фактически не было. Применялась она только против отцеубийц и матереубийц, а такого рода преступники, по счастью, не слишком часто встречаются даже в наше время, тем более в Древнем Риме. Что же до тюрьмы, то она в Риме действительно существовала. Это так называемый *Cavea Mamertinus* — мрачное, сырое подземелье, остатки которого очень любили в XIX веке показывать впечатлительным туристам. Но дело в том, что там было две крошечные

комнатушки, так что нечего было и думать держать в ней преступников. Тюремное заключение в качестве наказания в Риме не практиковалось. Равным образом телесное наказание римских граждан было также запрещено и считалось даже в некотором роде кощунством. Самым тяжелым наказанием было изгнание с лишением прав состояния.

Как мы уже говорили, это был суд открытый. Проходил он обыкновенно на Форуме на глазах всего Рима. Как уже знает читатель, в день суда на площади расставляли скамьи для защитников, обвинителей, председателя, присяжных и писцов, которые вели протокол, записывали показания и читали вслух документы. Кроме того, многочисленные зрители также запасались скамьями и расставляли их на Форуме.

Судебным оратором и хотел быть наш герой. Еще в ранней юности, когда врачи остерегали его и предупреждали, что выступления могут стоить ему жизни, он говорил, что скорее простится с жизнью, чем с судебным поприщем. Он ни минуты не колебался, кем стать — защитником или обвинителем. Обвинители вызывали в нем глубокое, почти физическое отвращение. Их дело казалось ему почти кощунственным — СЛОВО — эту божественную силу — обратить против людей! Он смотрел на них, как мог бы смотреть на черных магов, которые свое неземное могущество обратили во зло. «Есть ли что-нибудь столь бесчеловечное, как красноречие, данное природой для блага и спасения людей, обратить им на погибель, на смерть!» — говорит он. Цицерон готов простить обвинителя, если им движет любовь к Республике, но прощает он его нехотя, скрепя сердце. Ну, пусть уж он выступит обвинителем, говорит Цицерон, но только один раз, не более! Ибо вообще обвинение кажется ему делом «человека бездушного, точнее, даже не человека» (*De off.*, II, 51).

И наш герой решил, что он будет защитником и только защитником. Его дело представлялось ему самым прекрасным и благородным — чем-то вроде подвига рыцаря, который взял на себя защиту всех несчастных, всех обиженных.

«Что так царственно, благородно, великодушно, как подавать помощь прибегающим, спасать от гибели, избавлять от опасности?» (*De or.*, I, 51). «Я призван защищать людей в опасную для них минуту», — говорит он (*Cluent.*, 17). «Моя жизнь сложилась так, — признается он в другом месте, — что защита людей, находящихся в опасности, составляет предмет всех моих забот и трудов» (*Cluent.*, 157).

И вот наконец во всеоружии накопленных знаний молодой оратор решился вновь подняться на Ростры.

В то время на Форуме царило двое ораторов. Первый — Котта, который к радости Цицерона вернулся из изгнания. Второй — Квинт Гортензий. С Коттой мы уже знакомы. Он говорил четко, ясно, просто и убедительно. В то же время в каждом его слове чувствовалось утонченное образование. В этом была его сила. Гортензий был оратор совсем другого рода. То было странное, удивительное создание.

Он был из хорошего рода, образован, начитан. Сочинял стихи и дружил с модными поэтами. Но главной страстью его было красноречие. От природы он наделен был совершенно феноменальной памятью, чарующим голосом и умом тонким и гибким. Говорил он патетически, пышно, порывисто и, по выражению Цицерона, «обладал блестящей стремительностью речи» (*Cic. Brut.*, 326). Слушателям могло показаться, что он весь отдается порыву, что красноречие его, словно горячий конь, несется, закусив удила, так что сам всадник не знает, куда оно его заведет. Но впечатление это было совершенно ложно. На самом деле речи его были тщательнейшим образом отделаны и продуманы до последней детали (*Ibid.*). Он готовил их дома и запоминал все — каждое слово, каждую шутку, каждый жест, каждое движение, каждую улыбку, каждый поворот. Он отполировывал и шлифовал свое выступление, как искусный ювелир шлифует драгоценный камень.

Его фразы были красивы и изящны. Но главное даже не это. Гортензий был настоящий актер в полном смысле этого слова. Его игра, его мимика были неподражаемы. Мало этого. Он считал, что внешний облик должен полностью соответствовать речи. Поэтому он обдумывал и свою прическу, и одежду — обдумывал все, вплоть до последней складки тоги! Фактически, он гримировал себя и весь с головы до ног представлял собой произведение искусства, где все детали согласовались между собой.

«Квинт Гортензий, который такое огромное значение придавал изяществу жестов, может быть, больше сил прилагал к совершенствованию этого искусства, чем собственно красноречия. Поэтому трудно сказать, чего более жаждали люди, сбегавшиеся на его выступление, — увидеть его или услышать, настолько слова соответствовали виду, а вид словам. Известно, что Эзоп и Росций... часто бывали в толпе, когда он выступал, чтобы использовать на сцене жесты, заимствованные на Форуме», — говорит Валерий Максим (*Val. Max.*, VIII, 10, 2). А Геллий пишет: «Квинт Гортензий, самый прославленный оратор своего времени... одевался слишком изящно и был задрапирован слишком искусно и продуманно, а

руки его во время речи были чересчур выразительны и подвижны» (*Gell.*, I, 5, 2).

Относились к этому странному человеку по-разному. Люди старого поколения были в ужасе — они называли его кривлякой, фигляром. «Я сам часто видел, — вспоминает Цицерон, — как с насмешкой, а порой с гневом и негодованием слушал его Филипп» (*Brut.*, 326). А однажды произошел такой случай. Некий Торкват, суровый старик катоновского типа, увидел выступление Гортензия. Громко, так чтобы все слышали, он произнес:

— Нет, это не фигляр — это плясунья Дионисия!

Дионисия была знаменитой артисткой мимического театра, вошедшего тогда в моду.

Гортензий повернулся к Торквату и нежным, прямо-таки медовым голосом произнес:

— Дионисия? Что ж, я предпочел бы быть Дионисией, чем человеком, вроде тебя, Торкват, — чуждым музам, Афродите, дионисийскому искусству!<sup>[35]</sup> (*Gell.*, I, 5, 2).

Слова эти в глазах стариков граничили с кощунством. Он открыто заявил, что предпочел бы быть плясуньей — самым презираемым в их глазах существом! — чем человеком, далеким от искусства. Но молодежь была от него в восторге, поэты посвящали ему стихи, а народ прямо-таки боготворил (*Brut.*, 326).

Гортензий был десятью годами старше Цицерона и выступал с девятнадцати лет. Цицерон был совсем юношей, когда услышал его впервые. Мне показалось, говорит он, что передо мной предстала статуя Фидия. Цицерон сразу понял, что перед ним гений и что это и есть его главный соперник (*Brut.*, 228–230). Однако тут необходимо сказать несколько слов об отношении нашего героя к своим соперникам.

Один из самых умных и проницательных друзей Пушкина Соболевский писал: «Удивительно было свойство Александра Пушкина (в такой степени *a mille lieux*<sup>[36]</sup> мне ни в ком из людей, чем бы то ни было знаменитых — неизвестное): совершенное отсутствие зависти *du metier*<sup>[37]</sup> и милое, любезное, истинное и даже смешное желание видеть дарование во всяком начале, поощрять его словом и делом и радоваться ему»<sup>[26]</sup>.

Эта удивительная черта была присуща и Цицерону. Он был очень честолюбив, а подчас мелочно тщеславен. Причем тщеславен чисто актерски — ему необходимы были цветы, аплодисменты, восторги публики. Без них он впадал в уныние. Но в то же время Плутарх, горько упрекая за это своего героя, говорит: «При всем том, несмотря на

безмерное честолюбие, Цицерон не знал, что такое зависть и... с восторгом отзывался о своих предшественниках и современниках... Что касается современников, то не было среди них ни одного, кто бы славился красноречием или ученостью и чью славу Цицерон не приумножил бы своими благожелательными суждениями в речи, книге или же в письме» (*Plut. Cic.*, 24).

Действительно. Все, кто читал Цицерона, не могут не подивиться тому, как он щедр на похвалы. Все ораторы прошлого у него прекрасны, божественны, чудесны. Все они его любимые учителя. Ни личные чувства, ни политические симпатии не влияют на эту оценку. Более всего он считал вредоносными Гракхов и Карбона и их же называл гениальными ораторами. Он обожал Красса, но с восторгом говорил о талантах его злейшего врага Филиппа. Во второй половине жизни появился у него молодой соперник Кальв. Он не только постоянно выступал в судах против Цицерона, но и во всеуслышание говорил, что оратор безнадежно устарел. И это, конечно, было Цицерону особенно обидно. И что же? Оказывается, Цицерон в письмах к Кальву осыпал его похвалами. Он признается одному близкому другу, что делал это потому, что надеялся, что от его похвал несколько бледный талант Кальва расцветет пышным цветом. Кроме того, он осторожно указывал на его недостатки, чтобы тот со временем от них избавился (*Fam.*, XV, 21, 4).

Более того. Он не обходил вниманием самых ничтожных своих современников, иногда своих личных врагов. Эта черта его возмущала Аттика. Однажды, когда Цицерон начал по своему обыкновению хвалить каких-то мелких крючкотворов, с которыми имел дело, Атик прервал его гневно-шутливыми словами:

— Ты черпаешь самые подонки, Цицерон, и уже довольно давно! (*Brut.*, 244).

Но Цицерон в каждом ораторе стремился найти искру Божью. Каждый в его глазах носил отсвет того небесного образа из мира идей, который он вечно носил в своей груди.

Поэтому нас не должно удивлять, что в Гортензия он просто влюбился. Он восхищался им, любовался, восхвалял его всем и каждому. Своей славой Гортензий, бесспорно, обязан, Цицерону. Сам он писать не любил. Речи его в опубликованном виде не производили никакого впечатления, так что он был бы скоро забыт, если бы не Цицерон. Тут произошло то же, что и с Росцием. Цицерон такими живыми, яркими красками описывает его небесное красноречие, что читателям постепенно начинает казаться, что они сами слышали Гортензия. Но чем больше он восхищался соперником,

тем пламеннее стремился его превзойти. «Я встретил его молодым человеком... и он в течение многих лет своим примером побуждал меня стремиться к такой же славе» (*Brut*, 230).

Итак, Цицерон вновь поднялся на Ростры. И сразу же случилось то, о чем он столько лет пламенно мечтал, — весь Форум был у его ног. «Он достиг первенства не постепенно, но сразу, стяжав громкую известность и затмив всех, кто подвизался на Форуме» (*Plut Cic.*, 5). Всё, чему он столько лет учился, вся та сложная духовная жизнь, которой он жил до сих пор, все это вдруг заблистало и заискрилось в его речах. Люди, узнавая о его выступлении, с утра бежали на Форум, чтобы успеть занять место. Весь Рим был на площади в эти дни. Да что Рим — люди из самых отдаленных уголков Италии, из глухих деревень приезжали тогда в столицу!

В конце своего пути он вспоминал эти выступления и так их описывал: «Стоит пронестись слуху, что он будет выступать, как уже все места заняты, трибунал полон, услужливые писцы уступают желающим свои скамьи, кругом — огромные толпы зрителей, судьи — все внимание. Вот он поднимается, чтобы говорить, и сейчас же толпа требует тишины, слышны крики одобрения и возгласы восторга. По его мановению толпа то хохочет, то рыдает» (*Brut*, 290).

Но что же влекло к нему все эти толпы восторженных обожателей? Дело в том, что у него было совершенно новое, дотоле неслыханное красноречие (*Brut.*, 231). Что же нового было в речах Цицерона?

Доселе ораторы избирали себе каждый свой стиль в зависимости от способностей и темперамента. Одни говорили четко и сжато, как Котта; другие любили патетические тирады и звенящие чувствами фразы, как Гортензий; были и такие, которые не брезговали балаганными шутками. Но с Цицероном все было совершенно иначе. Его уголовные речи — это нечто удивительное. Это вовсе не цепь строгих логических доводов. Но это и не прочувствованные монологи. Нет! Это нечто совсем иное. Цицерон рисует яркие портреты действующих лиц; все эти люди находятся друг с другом в сложных отношениях, их связывает множество запутанных нитей. И вдруг происходит убийство... Таким образом, он разворачивает перед нами захватывающий детективный роман. Тайный преступник, простодушная жертва, интриги, тонкие расчеты, денежные аферы, любовь, ревность — все проходит перед слушателями, словно в волшебном калейдоскопе. Изобретательности Цицерона нет конца. Он пользуется средствами трагедии, комедии, мелодрамы и фарса. То он произносит красивое торжественное рассуждение о природе преступления и чувствах преступника, то вдруг прерывает его живым диалогом действующих лиц.

Он описывает мрачные зловещие убийства, от которых бледнеют и трепещут даже бывалые судьи, и неожиданно переходит к комическим сценкам. Иногда перед нами действительно волнующее загадочное дело. Но иногда нудный скучный процесс. У другого адвоката не только зрители, присяжные бы уснули! Но Цицерон умеет подать его с таким блеском, оживить такими яркими сценами и разговорами, что его слушают не отрываясь. Внезапно он сам себя прерывает и обращается прямо в зрительный зал, осыпает обвинителя неожиданными вопросами и раздражается целым фейерверком острот. В результате он добивается того, что внимание зрителей не ослабевает ни на мгновение. Все хохочут, но тут он начинает говорить о муках совести — эти места он отделял так, что они превращались в ритмическую прозу и звучали как стихи, как музыка, и действительно завораживали слушателей, как бедных птишек пение птицелова.

Он вспоминал, что в некоторых местах его самого настолько захлестывали гнев и жалость, что он почти терял власть над собой (*Or.*, 132). Его пламенная речь, как ураган, сшибала с ног противника. Один знаменитый оратор пытался было ему возражать, но словно лишился дара речи; Катилина, «человек небывалой наглости», вдруг словно онемел. А Курион Старший, прославленный адвокат, так потерялся, что неожиданно сел на место и заявил, что его противник применил недозволенное средство — опоил его колдовским зельем и лишил способности говорить (*Or.*, 128–129).

В искусстве же вызывать слезы у слушателей он не знал себе равных. Если дело распределяли между собой несколько ораторов, то ему всегда давали именно то место, когда адвокат со слезами на глазах обращается к присяжным и взывает к их состраданию. Часто при этом он напоминал о маленьких детях своего подзащитного и умолял пожалеть их. А иногда, вспоминает он, «мы произносили заключение речи, держа младенца на руках» (*Or.*, 130–131).

Да, такой волнующий спектакль все боялись упустить! Люди слушали его с невероятным волнением, часто раздражались рыданиями. В деле Клуэнция выборные должны были прочесть слова хвалебного отзыва, который старейшины составили, чтобы помочь подсудимому. Но оказалось, что красноречие Цицерона так подействовало на этих неискушенных провинциалов, что они долго не могли произнести ни слова — а вместо того всхлипывали и рыдали!

Цицерон был нарасхват: его помощи домогались, за ним ходили толпы просителей, все наперебой умоляли его помочь другу, родичу, земляку.

Целые общины бросались к его ногам. И никто почти не знал отказа. «Мое трудолюбие к услугам всех тех, кто считает мои ораторские способности удовлетворительными», — говорил он (*Cluent.*, 149).

И все-таки, несмотря на такую славу, которая гремела уже по всей Италии, Цицерон все еще не решался вступить в открытое единоборство с Гортенziem<sup>[27]</sup>. А между тем и его соперник становился все более и более знаменит. Он казался всемогущим. Никто не смел с ним тягаться. Теперь к его природному изяществу присоединилась какая-то властная надменность. Своих противников он третировал свысока с обидным презрением. Его заносчивость была просто невыносимой. Его стали называть «*Король судов*» (*Cic. Verr.*, I, 35).

Цицерон и Гортензий были полной противоположностью друг другу. Цицерон любил старину и преклонялся перед великими людьми древности. Гортензий признавал только все новое и все модное, а этих замшелых стариков презирал. Цицерон и сам был похож на римлян прошлого поколения — добропорядочных и честных. Гортензий любил поражать публику своей экстравагантностью и известен был как автор весьма фривольных стихов. Цицерон был совершенно равнодушен к своей внешности. *Король судов* был всегда ультрамоден.

Цицерону было уже 36 лет. Он чувствовал, что талант его достиг наконец зрелости. «После того как еще целых пять лет я провел, выступая во множестве дел с лучшими адвокатами, я, наконец, вступил в великое состязание с Гортенziem — избранный эдил с избранным консулом» (*Brut.*, 318–319). Состязание это — поистине великолепное зрелище. Даже среди дел Цицерона оно выдается своей картинностью и захватывающей драматичностью. Там много леденящих душу сцен и много безумно смешных мест. Там действуют жестокий злодей и толпа ловких плутов, а рядом с ними люди, которых можно назвать прямо-таки героями. Там появляются пираты, которые ведут беззаботную и разгульную жизнь. Там совершаются самые головокружительные аферы. Наконец, сам Цицерон становится участником событий. Он имел дело со столь опасным преступником, что ему нужно было добывать улики с риском для жизни. И все эти волнующие приключения разворачивались на берегу одного из самых живописных греческих островов. Это знаменитое дело *Верреса*. К описанию его мы и приступим.

**Миллионер-преступник. Страшные приключения в Сицилии. Дело Верреса**

## Квестор в Сицилии

Как мы уже говорили, в Риме Цицерон был обласкан народной любовью. В 76 году его выбрали квестором на следующий год. Квестура была началом карьеры для римлянина, первой ступенью лестницы почета. Молодые аристократы, сверстники Цицерона, относились к такому избранию с полным спокойствием. Их отцы, деды, прадеды — словом, весь бесчисленный ряд предков, сколько хватало глаз, занимал высшие должности в Риме. Они были еще в пеленках, а родные уже прочили им такую же судьбу. Поэтому они чувствовали себя как бы принцами крови, а на магистратуры смотрели как на свое наследственное владение. Вот почему Цицерон однажды с горькой иронией заметил, что они получают должности во сне (*Verr.*, II, 6, 180). Совсем иное дело наш герой. Уроженец крошечного городка, он был в Риме чужаком. Но с ранней юности, когда он, небогатый, безвестный провинциал, приехал в столицу, он страстно мечтал о славе. Как он жаждал приблизиться к той головокружительно высокой лестнице почестей, на вершине которой смутно сиял консулат! И вот наконец он на первой ступени.

Он был страшно взволнован. То был его дебют. Ему казалось, что это труднейший экзамен, от успеха которого зависит все его будущее, сама жизнь. «Я представлял себе, что глаза всех обращены на одного меня, что я со своей квестурой выступаю на какой-то всемирной сцене», — признавался он пять лет спустя (*Verr.*, II, 5, 85).

Ему выпал жребий быть квестором в Сицилии, в Лилибее. И вот в конце этого же года он, замирая от волнения, взошел на борт корабля, отправлявшегося в Сицилию. Этот большой и благодатный остров издревле был заселен греками. Но судьба их сложилась иначе, чем у их соплеменников на Балканах. Там процветали свободные города — Афины, Спарта, Фивы. Сицилийцы же рано попали под власть тиранов — сильных военных диктаторов. В результате они фактически не вкусили свободы, не узнали, говоря словами Геродота, горька она или сладка. Зато они пристрастились к уюту и комфорту и жили в такой роскоши, которая и не снилась афинянам или спартанцам. Они любили мирную жизнь, их дома светились великолепием, а сицилийская кухня славилась на весь мир. В годы Пунических войн остров стал ареной борьбы Рима и Карфагена и вскоре окончательно подпал под власть Рима. Сицилийцы примирились с

потерей независимости на редкость легко. Остров процветал под защитой римской армии. Сицилия была плодороднейшей страной. Она стала настоящей житницей Средиземноморья и кормила своим хлебом чуть не всю Италию. Цицерон как раз и должен был следить за тем, чтобы хлеб в должном количестве отсылался в Италию, которая только-только оправлялась после гражданских войн.

Вначале сицилийцам совсем не понравился новый квестор. Они нашли, что он чересчур уж ревностно выполняет свои обязанности. Греки привыкли, что должностных лиц легко смягчить подарками и они начинают сквозь пальцы смотреть и на них и на свой долг (*Plut. Cic.*, 6). Так что, можно сказать, новые подданные встретили нашего героя неприветливо. Но уже вскоре эта неприязнь исчезла и уступила место сердечной дружбе и даже — со стороны восторженных греков — самой пылкой любви.

И это неудивительно. Цицерон, казалось, был создан, чтобы стать замечательным наместником. Прежде всего этот безалаберный и непрактичный в частной жизни человек каким-то чудом превращался в делового, четкого и разумного администратора. За свою квестуру он поставил Италии хлеба больше, чем все его предшественники, а между тем не было никаких притеснений, никакого гнета, ни малейшего недовольства. Затем это был человек кристальной честности и необыкновенной порядочности. Даже речи не могло идти о том, чтобы он воспользовался своей огромной властью в корыстных целях или позволил себе в том или ином виде принять взятку. Но этого мало. Он отличался какой-то почти смешной щепетильностью и необыкновенной деликатностью. Больше всего он боялся быть кому-нибудь из своих подданных в тягость. Он даже никогда не пользовался транспортом на общественный счет. Наконец, в нем было очень сильно чувство долга. Он считал, что обязан непрестанно думать о благе вверенных его попечению людей. Несколько лет спустя он писал в письме к брату, который ехал в греческие провинции: «Со всеми ними надо обходиться ласково... Люби тех, кого сенат и римский народ поручили твоей верности и отдали под твою власть, оберегай их, желай увидеть как можно более счастливыми. Если бы тебе выпал жребий управлять африканцами, испанцами или галлами, свирепыми варварскими племенами, все равно ведь твоя гуманность велела бы тебе заботиться об их благе, неусыпно думать об их пользе и благополучии. Но, когда мы поставлены управлять тем народом, который не только сам гуманен, но от которого, как мы считаем, гуманность пришла к другим племенам, конечно же мы прежде всего должны проявить ее по отношению к тем, от кого получили... Нам хотелось бы на их собственном примере показать, чему

мы от них научились» (*Q. fr.*, I, 16; 27–28).

О поведении самого Цицерона в провинции можно судить по рассказу о его наместничестве в Киликии. «Он, — рассказывает Плутарх, — выполнил поручение безукоризненно и пресек мятеж... не силой оружия, но мерами кротости. Даров он не принял даже от царей и освободил жителей провинции от пиров в честь наместника, напротив, самые образованные из них получали приглашение к его столу, и он что ни день потчевал гостей без роскоши, но вполне достойно. В доме его не было привратника и ни один человек не видел Цицерона лежащим праздно: с первыми лучами солнца он уже стоял или расхаживал у дверей своей спальни, приветствуя посетителей» (*Plut. Cic.*, 36).

Это было двадцать пять лет спустя. Сейчас же он так волновался, когда вновь и вновь думал об этом сложнейшем экзамене, что доходил до крайности — почти не спал и не отдыхал. Позже он, вспоминая те дни, писал: «Я представлял себе... что я должен отказывать себе во всех удовольствиях, заглушая в себе... даже законные требования самой природы» (*Verr.*, II, 5, 35).

Уже из письма его видно главное — помимо чувства долга он наделен был сердцем мягким и отзывчивым, которое болело, видя чужие страдания. Поэтому меня ничуть не удивляет сообщение, что во время своего наместничества он не только никого не наказал — прощал даже виновных, — но ни разу не повысил голоса (*Plut. Cic.*, 36).

Естественно, по всему острову разнесся слух об этом удивительном квесторе. У всех на устах были «его ревностное отношение к службе, его справедливость и мягкость» (*Plut. Cic.*, 6). Прибавляли, что это человек на редкость симпатичный — он вежлив, прост, очень весел и общителен. Притом он говорит на чистейшем аттическом диалекте, словно родился в Афинах, может часами рассуждать на самые отвлеченные философские темы, и разговор его интересен, зажигателен, остроумен. Естественно, вскоре у него появилось бесчисленное множество друзей и гостеприимцев по всей Сицилии. Такое поведение он, между прочим, считал необходимым для наместника. «Он считал недопустимым, что ремесленники, пользующиеся бездушными орудиями и снастями, твердо знают их название, употребление и надлежащее место, а государственный муж, которому для успешного выполнения своего долга необходимы помощь и служба живых людей, иной раз легкомысленно пренебрегает знакомством с согражданами. Сам он взял за правило не только запоминать имена, но стараться выяснить, где кто живет» (*Ibid.*, 7).

Но если Цицерон понравился сицилийцам, то и сам он был в восторге

от Сицилии. И неудивительно. Тысячи приезжих ежедневно высаживались на острове, чтобы полюбоваться его красотами. И к ним тут же кидались целые стаи гидов, *мистагогов*. Здесь было все, способное восхитить и наивных богомольцев, и тонких ценителей искусства. Ведь именно в Сицилии Аид похитил богиню Персефону, когда она играла с подругами на цветущем лугу; в Сицилии паслись коровы Солнца, которых так неосторожно зарезали спутники Одиссея; в Сицилии тот же Одиссей повстречал чудовищного великана людоеда Циклопа Полифема. И мистагоги непременно показывали доверчивым пилигримам места, где происходили эти замечательные события. А кроме того, сицилийские тираны, подобно флорентийским Медичи, были великими поклонниками всех свободных искусств. Они покупали статуи и картины знаменитейших мастеров, они приглашали великих скульпторов и художников. Храмы были расписаны великолепными картинами, у их дверей стояли чудеснейшие изваяния, двери поражали тончайшей инкрустацией, даже чаши для жертвоприношений и камины были удивительными произведениями искусства. Так что остров казался настоящим музеем под открытым небом.

Разумеется, Цицерон, страстный путешественник, так любивший паломничества к святым местам культуры, был просто в восторге. Он объехал весь остров и все внимательнейшим образом осмотрел. Сиракузы поразили его, и он никогда не мог забыть этого впечатления. Город воздвигнут был на высоком холме над заливом и, казалось, вставал прямо из вод морских. Он показался нашему герою самым красивым городом на свете, хотя он видел уже и Афины, и Родос, и Малую Азию (*Verr., II, 4, 117*).

Каждый турист мечтал увидеть в Сицилии свое — один хотел осмотреть места, описанные Гомером, другой надеялся полюбоваться знаменитыми на весь мир дверями сиракузского храма. Цицерон же думал о другом — ему больше всего хотелось увидеть родину великого Архимеда, кумира своей юности, которого он сравнил с самим Творцом. Римский квестор страшно удивил сиракузцев. Чуть ли не первый его вопрос, когда он вошел в ворота их города, был:

— Где могила Архимеда?

Сиракузцы смутились. Туристы никогда не интересовались Архимедом, и как-то так получилось, что все забыли, где могила ученого. Помявшись немного, они краснея признались, что не могут сказать, где это место. Цицерон тут же решил, что найдет могилу и почтит этим память великого ученого.

У него был некий опознавательный знак. Он знал, что Архимед очень

гордился решением задачи об объеме шара и цилиндра и завещал высечь эти геометрические тела на своем надгробии. И вот тщательно и методично, шаг за шагом, метр за метром, он стал исследовать город и его окрестности в поисках могильной плиты с шаром и цилиндром. Но все было тщетно. Видимо, спутники его уже роптали, но молодой римлянин по-прежнему был исполнен энтузиазма. Однажды они осматривали местность близ Акрагантских ворот. Там было множество старых полуразрушенных могил, заросших травой. Вдруг, рассказывает Цицерон, «я заметил небольшую колонну, чуть возвышавшуюся из зарослей». Цицерон присмотрелся. О чудо! На полустершемся камне он явственно увидел изображение шара и цилиндра. В восторге он указал своим спутникам на колонну и хотел тут же подбежать к ней. Но оказалось, что это не так-то легко. Все настолько заросло бурьяном и колючим кустарником, что пришлось вызвать людей с косами, и только после того, как они расчистили проход, Цицерон и его спутники смогли приблизиться к надгробию. Теперь они ясно увидели на камне надпись: «АРХИМЕД». «Таким образом, знаменитейшее, а некогда и ученейшее государство Греции полностью забыло бы могилу самого мудрого из своих граждан, если бы ее не показал им человек из Арпинума», — с гордостью говорил Цицерон (*Tusc.*, V, 64–65).

Труднейший экзамен, казалось, был выдержан с блеском: Рим получил множество хлеба, а сицилийцы «оказали ему такие почести, каких никогда не оказывали ни одному из правителей» (*Plut. Cic.*, 6). Наш герой был горд и счастлив. Он теперь хотел как можно скорее вернуться в Рим, чтобы услышать из уст самих экзаменаторов самые лестные похвалы и получить цветы и лавры. Об этом сам Цицерон рассказывает с неподражаемым юмором. «Я, — говорит он, — думал, что в Риме не говорят ни о чем, кроме моей квестуры». С этими мыслями он сел на корабль, пересек пролив и вновь вступил на землю Италии. Полный сладостных грез, доехал он до Путеол, приморского курортного городка, славившегося целебными водами. На улице его сразу же окружила толпа знакомых, шумно и весело с ним здоровавшихся. К нему подлетел один приятель.

— Цицерон, — воскликнул он радостно, — давно ли ты из Рима? Что там нового?

Цицерон обомлел от изумления. Но тут же овладел собой. И с достоинством отвечал, что едет из своей провинции.

— Ах да! Ты ведь из Африки?

«Я в сильнейшем негодовании отвечал, что еду из Сицилии».

Тут из толпы курортников появился второй приятель. Он был из

породы всезнаек, а потому важно поправил первого.

— Разве ты не помнишь, — веско произнес он, — он ведь был квестором в Сиракузах<sup>[38]</sup>.

«Что мне оставалось делать? Я перестал негодовать и смешался с толпой, которая спешила на воды»<sup>[39]</sup> (*Plane.*, 26, 64).

Уже без всякого энтузиазма, уныло и грустно он продолжал свой путь на север, в Рим. Однако когда Цицерон, обиженный и расстроенный, ехал домой, он и не подозревал, что его квестура все-таки станет для него началом ослепительной славы. Только совсем иначе, чем он думал.

### **Просьбы. Завязка**

Цицерон вернулся в Рим и, как обычно, погрузился в целое море судебных дел. Оставим его пока с его делами и вернемся на покинутый им остров. Примерно через год после его отъезда, в 73 году, в Сицилию прибыл новый наместник, пропретор Гай Веррес. Он управлял провинцией в течение трех лет (73–71). То был внезапно разбогатевший выскочка, выдвинувшийся при Сулле и составивший свое состояние на проскрипциях. Начал он свою службу при командире марианце. Но увидев, что побеждает Сулла, он бросил своего командира, перебежал к Сулле, украв при этом войсковую казну, которой заведовал как квестор. Сам диктатор, говорят, почувствовал неодолимое отвращение к предателю и, наградив его, тут же удалил со своих глаз (*Verr.*, II, 1, 36–38).

Этот Веррес был поистине редким экземпляром человека, начисто лишённого всего человеческого. У него не было ни чести, ни совести. Он был твердо уверен, что в жизни стоит ценить только деньги и удовольствия. Одушевленный такими твердыми принципами наместник за три года начисто ограбил и разорил страну, унизил и измучил жителей, которых превратил в последних рабов. Сицилийцы были вообще людьми кроткими и покорными. Они не любили входить ни с кем в конфликты. Но сейчас они просто пылали от негодования. Они поклялись, что не оставят преступлений Верреса неотмщенными. Расписной корабль Верреса еще не успел поднять паруса, как от берегов Сицилии отчалила быстроходная триера и понеслась в Рим. Там находились представители сицилийских общин, которые решили искать в Риме справедливости.

В столице у них было много друзей. Были специальные *патроны* Сицилии — то есть покровители ее и защитники, которые из рода в род

пеклись об острове. Но сейчас доведенные до отчаяния сицилийцы не вспомнили ни об одном из них. Они кинулись к своему самому лучшему, самому любимому другу — к Цицерону, которого они столько раз вспоминали во время кошмарного правления Верреса. И вот в один прекрасный день они ворвались в его дом и, задыхаясь, захлебываясь от обиды, перебивая друг друга, стали рассказывать ему обо всем, что пришлось им пережить за это время. В заключение они по греческому обычаю бросились к его ногам и молили выступить с обвинением против их злодея.

Цицерон слушал их с изумлением и ужасом. Он и не подозревал о столь чудовищных преступлениях. Он был потрясен, польщен верой в него сицилийцев и все же он колебался. С детских лет само слово *обвинитель* внушало ему отвращение. Он привык защищать, спасать людей, а тут его цель погубить человека, пусть и преступного. Эта мысль его смущала. Кроме того, это было ему не по возрасту. Такого рода обвинения считались в Риме делом молодых. Мы уже говорили, что римлянам очень нравилось, когда молодые люди травят нарушителя закона, словно породистые щенки крупного зверя (*Plut. Lucul., I*). А он в *породистые щенки* никак не годился. Но тут оратор взглянул на взволнованные лица сицилийцев и понял: если он возьмется за это дело, он будет не обвинителем, а защитником. Да, он будет защитником вот этих несчастных, униженных, ограбленных людей, которые в нем одном видят свое спасение. Ему всегда внушали ненависть люди, которые из-за честолюбия или личной обиды пытались погубить на суде другого человека. Но им-то движет не обида, не корысть — нет, он хочет быть «защитником несчастных и угнетенных»; ради них он готов подвергнуться опасности, вынести множество трудов и лишений. Да, он поступит так же, как в юности, когда он напал на всесильного Хризогона, чтобы спасти Росция Америкинского (*Verr. Div., 1–5; 63–64; 70*). И Цицерон поднял сицилийцев и торжественно объявил, что берет на себя их дело. Их восторгу не было предела. Но они рано ликовали. Ни они, ни сам оратор еще и не подозревали, что их ожидает на деле.

### ***Первое препятствие***

Веррес был не просто нечестный наместник провинции. Он был крупнейшим преступником. С одной стороны, он совершил такие преступления, что знал — если они раскроются, ему конец. С другой стороны, он похитил из провинции колоссальные суммы и разом сделался

мультимиллионером. Ясно, что он готов был на все, только бы избежать разоблачений, а возможности у него были огромные. И награбленное золото потекло рекой. Он понял, что главная опасность для него — Цицерон. Надо было во что бы то ни стало вырвать дело из его рук. И Веррес пустил в ход весь свой кредит, поставил на ноги всех друзей и знакомых, он готов был купить всех — от писца до магистрата. Он пригласил лучшего адвоката Рима, самого Квинта Гортензия. Когда Цицерон об этом узнал, сердце его сильно забилося: наконец-то настал тот вожделенный миг, о котором он так давно мечтал, наконец-то на глазах всего Рима он сразится с Гортензием!

Теперь Цицерону прежде всего следовало явиться к претору и объявить о своем желании обвинять Верреса. Претор должен был назначить день суда и, главное, дать *мандат*. Имея его, обвинитель фактически становился почти магистратом — он мог производить у обвиняемого обыск, конфисковать необходимые документы, имел доступ в любой архив и мог требовать любые официальные бумаги. Но когда наш герой явился к претору, он узнал ошеломляющую новость. У претора он увидел другого человека, который тоже хотел обвинять Верреса и жаждал получить преторский мандат.

Кто же был этот неожиданно появившийся человек? То был Квинт Цецилий, квестор Верреса. Это, конечно, выглядело странно: Цецилий был помощником и приятелем наместника. Его скорее можно было ожидать увидеть свидетелем защиты, чем обвинителем. Но Цецилий заявил, что у него есть веские причины выступить против Верреса. Он был смертельно оскорблен своим патроном, а такие обиды смываются только кровью. А так как он лично находился в Сицилии все это время и знает всю подноготную управления наместника, никто не сможет лучше него обличить преступника.

Сицилийцы, увидав своего непростого защитника, пришли в отчаяние. Они кричали, что Цецилий был первым помощником Верреса во всех злодеяниях. Они не хотят его, они его ненавидят; если он возьмет это дело, они разом все убегут, спрячут от него все документы — ведь он хочет не привести их на суд, а украсть! (*Verr. Div.*, 27–28). Цицерон, конечно, сразу понял, в чем дело. Цецилий, приятель Верреса, должен был выступить ему соперником, вырвать у него преторский мандат, уничтожить все компрометирующие документы и завалить дело. Такой человек назывался в римском суде *преварикатором*. Разумеется, Цецилий получил от обвиняемого крупную сумму денег. Но у него были и другие причины вмешаться в это дело. Он был замешан во многие темные дела своего

патрона, и Веррес твердил, что если документы попадут в руки Цицерона, они оба погибнут.

По римским законам в случае, если два человека хотят выступить обвинителями по одному и тому же делу, должен быть созван суд с присяжными и перед их лицом претендентам надлежит состязаться друг с другом. Победитель получал преторский мандат. Такое состязание называлось в римском суде *дивинацией*. В день суда на Форуме собрались огромные толпы народа. Явились и сицилийцы вне себя от волнения. Прошел слух, что Веррес успел подкупить присяжных. Сицилийцы совсем пали духом. Вся надежда теперь была на изумительное красноречие Цицерона.

Поднявшись на возвышение, он начал, казалось, очень спокойно и сдержанно. Он сказал, что при решении их спора с соперником важны два обстоятельства. Первое. Кого *больше* всего желает видеть обвинителем пострадавшая сторона, то есть сицилийцы. Второе. Кого *меньше* всего желает видеть в этой роли Веррес. Оба эти пункта ясны как день. Сицилийцы сами выбрали своим защитником Цицерона. Здесь не надо ни доказательств, ни свидетелей — вот сидят сами сицилийцы. Каждый желающий может спросить у них, кого они сами желают видеть обвинителем. Ради них затеяно все дело. Неужели же их желание не будет иметь никакого веса в глазах судей? (*Ibid.* 10–14).

— Если бы, Квинт Цецилий, сицилийцы говорили с тобой таким образом: мы тебя не знаем, нам неизвестно, что ты за человек, кто ты; мы никогда тебя раньше не видели... Так вот, если бы они так сказали, разве это не было бы ясно и убедительно?

Но беда в том, что сицилийцы *знают* Цецилия, «слишком хорошо его знают, а потому ни в коем случае не хотят видеть его своим защитником». Странно, что Цецилий хочет защищать людей насильно, против их воли, не обращая внимания на их отчаянное сопротивление (21–28).

Теперь перейдем ко второму пункту. Ну а Веррес? Чего хочет *он*? Это тоже ни для кого не составляет тайны. Все видели его отчаянные хлопоты и все знают, на что они были направлены. Он делал все, что в его силах, чтобы вырвать дело у Цицерона и передать своему бывшему квестору, с которым его всегда связывала нежная дружба. Но ведь между ними произошла какая-то ссора, говорят, что Цецилию была нанесена обида, которую можно смыть только кровью. Что же это ложь, пустая выдумка? Нет, говорит Цицерон. Все правда. Цецилий действительно был незаслуженно обижен. Дело было так. Будучи квестором, он обобрал до нитки одну женщину, сицилианку. Об этом узнал его патрон. Что тут было!

Он исполнился благородного негодования, метал грома и молнии. Казалось, это не Веррес, а какой-нибудь из древних героев. Он грозно потребовал, чтобы квестор вернул все, все до последнего асса! И тут произошло чудо — «вдруг он, как будто выпив кубок Цирцеи, из человека становится... Верресом». Смысл этого каламбура в следующем. Как помнит читатель, согласно мифу, волшебница Цирцея умела варить зелье, испив которое, человек становился свиньей. А жила она где-то на юге Италии, возможно, даже в Сицилии. Слово же «веррес» по-латыни означает «боров», «свинья»<sup>[40]</sup>. Так вот, получив деньги, преобразенный Веррес и не подумал отдавать их женщине, а взял себе (55–57).

Естественно, квестор был оскорблен в своих лучших чувствах. Но он не долго дулся. Патрону вскоре удалось смягчить его праведный гнев. Он «великодушно делился с ним награбленным, для того, вероятно, чтобы умерить его жар и пыл» (33). В этом месте Цицерон бросил несколько намеков. Они были намеренно облечены в туманную непонятную для непосвященных форму, но совершенно прозрачны для обоих друзей. Они невольно должны были вздрогнуть — из слов Цицерона они поняли, что он точнейшим образом осведомлен обо всех самых тайных их махинациях в Сицилии. Это обстоятельство, продолжал Цицерон, также должно несколько мешать Цецилию во время его обвинительной речи — ему как-то неловко будет перечислять преступления патрона, в которых он сам играл не последнюю роль.

Итак, размолвка давно забыта и обоих славных мужей снова связывает самая тесная дружба. Они ходят друг к другу в гости, вместе выпивают — словом, живут душа в душу. Но как же тогда Цецилий решился пойти против столь близкого ему человека? Ведь это почти кощунство, это предательство!

— Кем же считать тебя, вероломным другом или... преварикатором? Одно из двух предположений, несомненно, верно, но какое — это я представляю всецело на твой выбор (58).

Но есть еще один пункт, третий. И он тоже немаловажен. Для того чтобы вести дело, да еще такое трудное, как дело Верреса, нужна «некоторая адвокатская опытность, некоторый дар слова».

— Я понимаю, как затруднителен и щекотлив поднимаемый мною вопрос — если всякое хвастовство противно, то противнее всего чванство своим умом и красноречием.

Поэтому, продолжал Цицерон, он ничего не будет говорить о себе — да это и бесполезно. Действительно, если нет у него красноречия, если сограждане не считают его хорошим адвокатом, довольно бессмысленно

кричать о своих талантах — вряд ли это на кого-нибудь подействует.

— Нет, я хочу говорить с тобой, Цецилий, по-дружески, без всякого отношения к нынешнему нашему спору и соперничеству; прошу тебя... соберись с мыслями, спроси себя, что ты и что можешь ты сделать?.. Когда и где испытал ты свои способности?.. Думал ли ты, как трудно вести уголовный процесс, нарисовать картину всей жизни другого, — и сделать это так, чтобы она... представилась перед глазами всех?.. Выслушай, благо тебе впервые представляется случай познакомиться с этим, как много качеств нужно иметь обвинителю; если... ты найдешь в себе хоть одно, я охотно и беспрекословно уступлю тебе то, чего ты добиваешься... Надеешься ли ты... справиться с этим обширным, серьезным, сложным процессом своим голосом, памятью, умом и талантами?.. Надеешься ли... представить его наглость, низость и жестокость такими же ужасными и невыносимыми для своих слушателей, какими были они для его жертв?.. Нужно сказать обо всем, все осветить, все объяснить... Тебе надо позаботиться о том, чтобы тебя не просто слушали, но слушали с охотой и интересом. Если бы даже природа дала тебе для этого большой талант, если бы ты с детских лет любил благородные занятия и достиг в них некоторого совершенства, если бы ты научился по-гречески в Афинах, а не в Сицилии, по-латыни — в Риме, а не в Лилибее — все-таки было бы великой задачей справиться с таким огромным, возбуждающим такой живой интерес делом... Может быть, ты спросишь меня: «Ну а в тебе есть все эти качества?» К сожалению, нет; но все же, сгорая желанием приобрести их, я работал с самого детства, не жалея сил. Если я не мог достичь этого вследствие обширности и трудности задачи, хотя и посвятил ей всю жизнь, — как же далек должен быть от этого ты, если ты не только никогда не думал об этом ранее, но не можешь даже подозревать, в чем состоит и как велика твоя задача? (27; 35–40).

Неужели Цецилий серьезно воображает, что, заучив несколько фраз из прописей, можно сокрушить такого противника, как Веррес? Замечательно, что тут в речи Цицерона слышится вовсе не хвастовство и даже не благородная гордость. Нет, здесь другое. Это возмущение великого виртуоза, увидевшего профана, который, выучив с грехом пополам ноты, взялся играть перед публикой труднейший концерт

Баха. Или великого врача, который видит недоучившегося студента, собирающегося сделать сложную операцию на том основании, что он зазубрил на латыни название нескольких позвонков.

Нет, Цецилию не обвинить Верреса, даже если бы он вдруг этого захотел. Ему не удалось бы этого, даже если бы ему никто не возражал. Но

ведь ему станут возражать. Его противником будет сам Гортензий.

— Я заранее воображаю, как вволю насмеется он над тобой, Цецилий! Трудно представить, сколько мучений придется вынести, в каких потемках бродить тебе, столь хорошему человеку!

Когда Гортензий поднимется с места, такой импозантный и эффектный, и станет делать картинные жесты, он одним своим видом разрушит все те жалкие доводы, которые с таким трудом соорудит обвинитель. В конце концов Гортензий так его окружит, так запутает, что бедняга совсем потеряет голову и будет лить слезы, думая, что оклеветал невинного. Впрочем, уже сейчас зрители могут судить о том, что будет.

— Если ты сумеешь сегодня возразить на мою речь, если ты отступишь хоть на одно слово от той тетрадки, компиляции чужих речей, которую дал тебе какой-то школьный учитель, — то я объявляю тебя способным не ударить лицом в грязь и на том суде (45–47).

Есть еще одно обстоятельство. Цецилий в будущем суде ничем не рискует. О нем «никто никогда не имел определенного мнения». И если он с треском провалится, его репутация ничуть не пострадает. Иное дело Цицерон. На карту поставлены его слава и доброе имя, «которое я приобрел ценою долгих трудов, сильного напряжения, многих бессонных ночей» (71–72). Для него этот поединок вопрос чести. И тут, повернувшись к Гортензию, он по всем правилам бросил к его ногам перчатку.

— Я охотно воздаю хвалу его таланту, но не боюсь его; он мне нравится, но не сумеет очаровать меня настолько, чтобы я дал ему провести себя. Ему не удастся сбить меня с позиций своей ловкостью, он не перехитрит меня, не испугает, не смутит своим ораторским талантом; я знаю все способы нападения, которыми он располагает, все приемы, которыми он пользуется в своих речах (44).

Мы видим, что сошлись два опытных бойца. Готовясь к смертельному поединку, они сняли шляпы и отвешивают друг другу низкий поклон, так что плюмаж коснулся земли.

После этого он снова оборотился к Цецилию.

— Что можно сказать в ответ? Я не спрашиваю, что можешь ответить ты: я вижу, отвечать будешь не ты, а та книжка, которую держит в руках вот этот твой вдохновитель (Веррес. — Т. Б.); а он, если только захочет дать тебе умный совет, посоветует тебе убраться отсюда и не отвечать мне ни слова (52).

Цицерон уже чувствовал, что полностью владеет сердцами слушателей. Он ощущал те незримые нити, которые тянулись к нему от зрителей. Они были заворожены, как птички пением птицелова. И тогда он

обратился к присяжным, о которых говорили, что они подкуплены Верресом. И обратился не как униженный проситель, а как власть имущий.

— А теперь, судьи, ваше дело решать, которого из нас вы считаете более способным вынести на своих плечах это дело. Но знайте одно: если вы предпочтете мне Квинта Цецилия, то я не сочту это поражением для своей честности, а вам придется беспокоиться при мысли о римском народе, который из вашего вердикта выведет заключение, что слишком честное... обвинение показалось неудобным вам (71).

Цицерон сел на место. Среди воцарившейся тишины присяжные приступили к голосованию. Сицилийцы сидели ни живы ни мертвы. Наконец председатель суда объявил:

— Обвинение и преторский мандат вручаются Марку Туллию Цицерону.

### *Сто десять дней*

Веррес признавался впоследствии, что задрожал от страха, услышав эти слова (*Verr.*, I, 5). Он не ожидал, что его сообщник провалится, да еще так нелепо и позорно. Можно не сомневаться, что незадачливый обвинитель удалился под хохот и свист всего Форума. Вот почему вначале Веррес как будто приуныл. Но он быстро приободрился. Стоило ему взглянуть на украденные богатства, и он не мог сдержать довольную улыбку. Этот почти нищий молодой оратор, который не имеет ничего, кроме хорошо подвешенного языка — куда ему тягаться с ним, Верресом?

— Пусть дрожат те, кто награбил только для себя, я же награбил столько, что хватит на всех, — говорил он (I, 4).

Денег и правда было много. Вполне достаточно, чтобы купить все и вся. Этим он и решил спокойно заняться, пока наивный обвинитель будет лихорадочно подыскивать факты и готовить риторические фигуры. Начал он с того, что послал своих агентов к Цицерону с вопросом, сколько он хочет (I, 25). Когда агенты воротились и объяснили, что этот странный молодой человек ничего не хочет и намерен до конца вести дело сицилийцев, Веррес объявил, что ему же хуже. Он пойдет другим путем. Этот Цицерон уже в его сетях.

А между тем оратор, окрыленный успехом, отправился к претору за мандатом. Претор вручил ему мандат и, по обычаю, спросил, сколько времени потребуется для предварительного следствия. Цицерон отвечал:

— Сто десять дней.

Это было 10 января 70 года. Поэтому претор объявил ему, что его дело назначается к слушанию на четвертый день до майских нон (4 мая)<sup>[41]</sup>.

Цицерон попросил себе предельно краткий срок. Дело в том, что по закону Ацилия обвинитель обязан был явиться к претору на двадцатый и на шестидесятый день предварительного следствия. Нечего говорить, что при тогдашних средствах передвижения, да еще зимой, Цицерон не мог и подумать уехать в Сицилию до шестидесятого дня. Значит, он волей-неволей первые два месяца должен был оставаться в Риме. Значит, собственно на расследование в Сицилии у него оставалось 50 дней. За это время он должен был объехать остров из конца в конец, найти внушающих доверие свидетелей, разыскать вещественные доказательства, как то: акты, грамоты, письма и т. д. А это было, разумеется, страшно трудно. Цицерон уже знал, что наместник перед отъездом постарался уничтожить все компрометирующие его бумаги. И если что-нибудь осталось, то каким-то чудом. Да, срок был предельно мал. Но Цицерон считал, что не может поступить иначе и откладывать процесс. Дело вот в чем. Уже везде было объявлено, что Гней Помпей собирается отпраздновать свои бесчисленные победы и устроит великолепные игры. Начаться они должны 16 августа. А осенью шла серия праздников. Они должны были все время прерывать дело, мешать ему и ослаблять внимание слушателей. Поэтому суд надо было непременно закончить до игр Помпея. Если же процесс начнется в первых числах мая, в распоряжении Цицерона будут три спокойных месяца. И Цицерон решился. Он надеялся на свою феноменальную энергию и поражавшее всех трудолюбие.

Итак, весь январь, февраль и начало марта Цицерон вынужден был оставаться в Риме. Но он не терял времени даром. Прежде всего он собирал сведения о самом подсудимом и его прошлом. Это было необходимо, с одной стороны, чтобы лучше представить себе своего врага, с другой — чтобы нарисовать его яркий портрет перед зрителями. Особенно много любопытных и пикантных подробностей он узнал о претуре Верреса (тот был претором в 74 году). Оказывается, Веррес начал очень бойкую торговлю завещаниями. Иными словами, тот, кто хотел войти в наследство, должен был заплатить нашему претору определенную мзду. Поэтому в его доме уже с утра толпились посетители со взятками в руках. Я сказала — «в его доме», между тем это не совсем так. Наш галантный претор имел любовницу, профессиональную гетеру, носившую поэтическое имя Хелидона — Ласточка. Ее-то Веррес сделал своей секретаршей и «всю свою претуру перенес в дом Хелидоны». Как все женщины ее профессии, она была практичная и деловая особа, с другой стороны, имела опять-таки

профессиональную привычку говорить с клиентами чрезвычайно любезно. Поэтому с ней было гораздо удобнее и приятнее иметь дело, чем с грубым претором. Но какой же это был позор для римских граждан — выпрашивать свое законное добро у потаскушки! Они сгорали от стыда, стоя в ее приемной! (*Verr.*, II, 1, 136–138; 5, 38).

Насмешливые римляне изощрялись в остроумии по адресу претора. Одни, качая головой, говорили, что *свиной соус* им не по вкусу. Соль этой шутки в том, что по-латыни это выражение — *jus verrinum* значит и свиной соус, и Верресово правосудие. Другие восклицали с досадой:

— Проклятый жрец! Что же он не заколол этого мерзкого борова!

Жрец — по-латыни *sacerdos* — Сацердот же был предшественником Верреса по должности. Так что звучало это так:

— Проклятый претор! Что же он не прирезал этого мерзкого Верреса! (II, 1, 121).

Итак, Цицерон обходил всех оскорбленных и обиженных и заручался их показаниями. Наконец, шестьдесят дней прошло. 13 марта Цицерон последний раз явился к претору. В тот же день он уже ехал по Аппиевой дороге на юг, а вскоре поднимался на борт корабля, отправлявшегося в Сицилию. И никто в Риме, даже сам Веррес, не подозревал, что в самой столице ему удалось отыскать такие убийственные доказательства, которые могли сразить наповал самого страшного преступника...

### ***В роли сыщика-детектива***

В середине марта Цицерон высадился в Мессане, ближайшем к Италии сицилийском порту. Он сразу понял, что ему предстоит поистине труд Геркулеса. Сицилией управлял преемник Верреса, наместник Люций Метелл; в Лилибее и Сиракузах находились квесторы. И все они были людьми Верреса. Квесторы мешали Цицерону буквально на каждом шагу, ставили ему палки в колеса, хватались за любой предлог, чтобы задержать свидетелей и безбожно тянули с выдачей официальных документов. Они прекрасно знали, что времени у Цицерона в обрез и дорог каждый час (*Verr.*, II, 2, 12). Но еще опаснее был сам Метелл. Человек это был очень умный и решительный; вел он себя странно и двусмысленно. С одной стороны, он делал все, чтобы исправить зло, причиненное провинции его предшественником; и в то же время стоял за него горой. «Сицилийцам угрожали, если они решались отправить депутатов с жалобами на него, стращали тех, кто хотел ехать, других же обещали щедро наградить, если

они станут хвалить его», — вспоминает Цицерон (*Ibid.*).

— Вы не можете себе представить, — записывал он для объяснения судьям, — чтобы когда-либо в какой-либо провинции отсутствующий подсудимый находил такую ревностную, такую горячую поддержку против производившего следствие обвинителя (*II, 2, 11*).

Наш герой вынужден был вступить в открытую борьбу (*II, 2, 64*).

Но, несмотря на все противодействие официальных лиц, оратор объезжал город за городом, деревню за деревней. Везде он проявлял природную деликатность и такт. Как римский сенатор, да еще обвинитель с преторским мандатом, он имел право на казенное содержание за счет общин и казенную же квартиру. Но он от всего этого категорически отказался, не желая причинять и без того измученным людям лишних хлопот. Зато перед ним гостеприимно открывались двери частных домов — в каждом городе у него было множество друзей, и незнакомые люди горячо предлагали ему помощь и услуги, зная, что он борется за их честь и права (*II, 2, 16*).

Так Цицерон двигался вперед по проселочным дорогам. Везде царило запустение. Поля были брошены земледельцами. Метелл энергичными усилиями пытался вернуть остров к жизни. Но пока провинция напоминала тяжелобольного, который медленно приходит в себя. Казалось, ураган пронесся по стране. «Когда я четыре года спустя после моей квестуры приехал в Сицилию, ее земли показались мне как бы вынесенными жестокую и продолжительную войну. Те поля и холмы, которые я видел раньше такими цветущими, утопавшими в зелени, я видел теперь опустевшими и брошенными» (*II, 3, 47*).

Зато чуть ли не во всех городах — на площадях, в общественных зданиях, в храмах — возвышались статуи Верреса из мрамора, бронзы или покрытые блестящей позолотой. В Сиракузах Цицерон увидел исполинскую арку, где находилась «голая статуя его сына, сам же он смотрит с коня на голую по его милости провинцию» (*II, 2, 154*). Сын этот, кстати, подавал большие надежды и со временем обещал стать вылитым отцом. Так что куда бы ни приезжал Цицерон, везде он мог любоваться Верресом — Верресом одетым или Верресом голым, Верресом конным или Верресом пешим. Впрочем, нет. В некоторых городах он был лишен этого редкого удовольствия. Дело в том, что после отъезда наместника жители Тавромена, Тиндарида, Леонтина, Сиракуз, Центурипы с остервенением набросились на статуи и под радостные клики их повалили. В Тавромене Цицерон видел пустой постамент; в Тиндариде посреди площади на пьедестале стояла только унылая одинокая лошадь (*II, 2, 158–160*).

Эти акты вандализма были остановлены Метеллом. Он даже побранил граждан Центурипы и велел немедленно вернуть Верреса на место. Им руководила не любовь к искусству и даже не праведный гнев за оскорбленного друга, а гораздо более практические соображения. Ведь официально было заявлено, что пышные статуи, воздвигнутые на общественный счет, — дань восхищения доблестью и благородством наместника. А тут оказывается, что, как только наместник уехал, его восхищенные подданные с гиканьем и воплями разбивают его статуи! Метелл не без основания считал, что это даст в руки обвинению неоценимые улики, и поспешил исправить причиненное зло.

Цицерон не мог сдержать улыбки, увидев, как Веррес вернулся на прежнее место. Метелл явно недооценивал его умственных способностей. Неужели он думал, что таким путем вырвет у него из рук доказательства? Сама по себе поваленная статуя, говорит он, ровно ничего не доказывает. Ее мог свалить вихрь, ее в конце концов могли повалить пьяные гуляки. Важно другое. Статуи Верреса были свергнуты *всенародным решением*. Но раз так, рассуждал Цицерон, должно было быть соответствующее постановление, а значит, есть надежда найти и соответствующий документ. Цицерон тут же бросился в архив Центурипы, и вскоре его поиски увенчались успехом — он извлек из груды рукописей полный текст постановления (II, 2, 161–162).

Другое нововведение Верреса, которым он решил украсить облагодетельствованный им остров, заключалось в том, что он отменил старинный праздник, который справляли по всей Сицилии, а вместо него установил новый — очень радостный — *Веррии* (II, 2, 50).

Несмотря на все угрозы и запреты, жители тысячами стекались к Цицерону. Они выходили к нему навстречу из городских ворот, они шли к нему по проселочным дорогам, а когда однажды вечером он подъезжал к одному городу, он увидел целое шествие с факелами, двигавшееся к нему. Люди при виде его плакали, бросались на колени и, рыдая, рассказывали ему о своей горе. Без отдыха он ездил из города в город, из деревни в деревню. Мне, говорит он, «давали показания галесцы, катинцы, тиндаридцы, эннейцы, гербитан-цы, агирийцы, нетинцы, сегетанцы (все эти города находятся в разных концах Сицилии. — Т. Б.)» (II, 2, 15). «Я объездил все горы и доли, — вспоминал он об этом путешествии много лет спустя, — ...я входил в хижины землепашцев, я говорил с людьми, и они отвечали мне, не снимая рук с рукояти плуга».

Он неутомимо искал улики. Он обдумывал все, до последней детали. Вот, например, Веррес обвинил одного почтенного человека, жителя города

Терм, в подделке документов. Цицерон собирался доказать, что все это ложь, причем доказать с фактами в руках. В заключение он хотел рассказать судьям, насколько этот оклеветанный человек любим и уважаем у себя на родине, каким был благодетелем родному городу. Сограждане, чтобы его почтить, решили прибить в здании совета медную табличку, где перечислялись все его заслуги перед городом. Но увы! Таблички давно уже не существовало. Веррес приказал сорвать ее и выбросить вон. Но я, говорит Цицерон, нашел ее и взял с собой, «чтобы все могли видеть, в какой чести и уважении находился он у своих сограждан» (II, 2, 115).

Но это было сравнительно легкой задачей. Перед Цицероном встала проблема потруднее — ему предстояло восстановить *сожженные* документы! Дело заключалось в следующем.

Еще в Риме Цицерон узнал, что Веррес вывез с острова огромное количество золота, серебра и драгоценностей. Его в один голос уверяли в этом множество сицилийцев, притом все это были люди, заслуживающие полного доверия (II, 2, 176). Однако что значит «много золота»? Десять талантов, сто или тысяча? Кто считал эти сокровища? Можно себе представить, как будет издеваться над всеми этими свидетелями Гортензий и как легко собьет их с толку. Нет, тут нужны документы. Но где их взять? Где можно найти список всех хищений Верреса? Предположим даже — хотя это совершенно невероятно, — что существовал такой человек, лютей враг наместника, который каким-то образом все узнавал и ежедневно вел обличающий его реестр. Какова цена такому списку в глазах судей? Кто поручится, что все это правда? Об этом Цицерон думал еще в Риме. И именно тогда ему пришла в голову та блистательная идея, о которой мы говорили в конце предыдущего параграфа.

Цицерон рассуждал так. Где находится теперь вся награбленная Верресом добыча? Конечно, в Риме. Веррес, разумеется, все вывез из Сицилии и укрыл где-нибудь в надежном месте, у какого-то из своих агентов. Но раз так, он должен был пройти таможеню. Таможенный контроль в Сицилии осуществляли все те же вездесущие откупщики. У них была большая фирма, которая занималась откупами, всевозможными видами банковских операций и таможенной инспекцией. Фирма эта находилась в Риме, а филиал ее располагался в Сиракузах. И вот еще в Риме Цицерон зашел в офис и попросил сведения о Верресе. Фирма вела книги, где фиксировались все ее операции. Кроме того, дельцы из Сиракуз чуть ли не ежедневно посылали в центр письма, где описывали все важные события, случившиеся в Сицилии и имеющие касательство к делам фирмы. Так что вся картина наместничества Верреса должна была открыться как на

ладони.

Клерки с самым любезным видом немедленно раскрыли перед Цицероном книги. Оратор немедленно бросился их листать. Он пролистал все; пролистал еще раз. Увы! Там не было ни единого письма, ни единого документа, относящегося к наместничеству Верреса. Все, бывшее до него и после, находилось на месте, все аккуратно разложено, все в идеальном порядке. Но документы времени Верреса бесследно исчезли...

Не было ни малейшего сомнения, что все бумаги сознательно кем-то уничтожены. Но доказать это было страшно трудно: на это, несомненно, и рассчитывали те, кто их уничтожил. Снова обвинитель наталкивался на глухую стену! Тогда Цицерон принял решение: он попросил свидания у директоров фирмы. Это были очень крупные, известные на весь мир капиталисты. Свидание продолжалось долго; Цицерон говорил с финансовыми магнатами с глазу на глаз. Результат был поразительный. Они рассказали ему все! Да, они не только признались, что уничтожили документы, но обещали, что выступят свидетелями на суде и сознаются во всем. Как добился этого наш герой, мы никогда не узнаем. Но вот что ему рассказали директора.

Веррес действительно нагребил настоящие сокровища. Но вывозил он их *беспошлинно*. Это вызвало страшное недовольство сиракузских дельцов. Фирму буквально бомбардировали письмами с жалобами и угрозами. Подробно перечислялись и товары, и все понесенные фирмой убытки. Но тут наместник привлек на свою сторону некого Карпинация. То был один из главных дельцов среди сицилийских откупщиков; личность весьма скользкая. Веррес осыпал его подарками, много перепало и самой фирме. И вот незадолго перед отъездом Верреса Карпинаций прислал в фирму письмо, где напоминал о всех благодеяниях и щедротах наместника и в заключение молил уничтожить компрометирующие его документы. Директора собрались на совет и в конце концов предложение Карпинация было принято. Все бумаги полетели в огонь. Обо всем этом они обещали теперь Цицерону рассказать на суде.

Итак, Цицерон мог торжествовать. Теперь Гортензий не найдет для себя ни малейшей лазейки. Ясно, что документы сожжены — об этом свидетельствуют под присягой директора фирмы. Ясно, что документы эти компрометировали Верреса — иначе их не стоило сжигать. Да, Гортензий должен признать, что он прижат к стене. Любопытно, какую он придумает уловку? Ну а если он этого не признает, что ж — тогда Цицерону придется предъявить ему подлинный документ. Как?! Разве не доказано было только что, буквально пять минут назад, что все документы были сожжены?!

Верно. Но иногда можно восстановить и сожженный документ.

«Вы скоро увидите, что преступник пойман был на месте преступления», — записал он для судей.

Я, говорит Цицерон, всю жизнь вел судебные дела и многие из них связаны были с откупщиками — мог ли я не знать их нравы и привычки? «Я знал, что те представители компании, которые ведут книги, сдавая книги новому представителю, имеют привычку оставлять другой их экземпляр у себя». Теперь оставалось выяснить, кто вел книги в период наместничества Верреса. Цицерон навел справки, и оказалось, что это некий Вибий, который живет сейчас в столице. В один прекрасный день, продолжает Цицерон, он нежданно-негаданно нагрянул к нему. Казалось, откупщик не имел времени подготовиться. И все же наш герой опоздал. Когда он переступил порог дома Вибия, тот успел бросить все бумаги в огонь. Напрасно оратор шарил повсюду, напрасно задавал ловкие и опасные вопросы — и здесь опять перед ним была глухая стена. И вдруг... Вдруг он заметил две маленькие бумажки. При одном взгляде на них Цицерон затрепетал. Он выхватил их и поднес к глазам. Да, это было именно то, «что я более всего желал найти».

То были два маленьких счета. Они посланы были из сиракузского порта в фирму таможенным агентом. И там были перечислены вещи, которые Веррес провез, минуя таможеню. В счете значилось: 400 амфор меду, 50 роскошных диванов, буквально километры дорогих мелитских тканей и огромная коллекция канделябров.

— К чему понадобилось тебе такое количество? О меде я не говорю, но зачем так много мелитских материй? — записывал Цицерон текст своей будущей речи. — Или ты хотел подарить их женам своих друзей? И к чему столько диванов? Или ты хотел украсить ими все их виллы?... А между тем в этих книгах находятся счета за несколько месяцев; можете себе представить итог за три года! Мне кажется, по этим коротеньким записям... вы можете уже составить понятие, как ограбил он провинцию... А теперь прошу обратить внимание вот на что. Агент пишет, что потеря товарищества от неуплаты пятипроцентной пошлины благодаря беспошлинному вывозу из Сиракуз вышепоименованных предметов доходит до шестидесяти тысяч сестерциев. Значит, в продолжение нескольких месяцев из одного только города было вывезено... на миллион двести тысяч сестерциев. Сосчитайте же теперь, подумайте, сколько вывезено из других мест.

Ведь Сицилия — остров, и по побережью разбросано огромное множество портов. Веррес мог воспользоваться любым.

Оба документа были немедленно опечатаны и приобщены к делу (II, 2, 165–185).

Все это происходило еще в Риме. Но Цицерон не считал дела с откупщиками законченными. Приехав в Сиракузы, он первым делом пошел в филиал их фирмы. Там он застал уже хорошо известного ему по слухам Карпинация. Теперь герой наш мог лично познакомиться с этой достойной личностью. Взяв у него из рук книги, Цицерон начал их читать, читать внимательно, не пропуская ни строчки. Вскоре он наткнулся на следующие записи: время от времени многие именитые граждане делали у фирмы огромные займы, разумеется, под большие проценты. При этом они ссылались на то, что им нужно срочно отдать деньги Верресу. Это страшно заинтересовало Цицерона. Зачем сицилийцам понадобилось платить деньги наместнику, да еще так срочно? Ведь они не стали ждать, пока нужную сумму соберут друзья и близкие, а сразу кинулись в банк. Оратор решил все это выяснить. Для этого он выписал имена всех граждан, сделавших займ, и против каждого написал число, когда этот займ был сделан. После этого он стал выяснять, что делал каждый из граждан в указанное время. Ответ был ошеломляющим. *В момент займа они находились под судом.* Значит, деньги нужны были для взятки этому праведному судье (II, 2, 186). Поистине разительная улика! Но самая удивительная, самая убийственная улика была впереди!

Итак, Цицерон вновь вернулся в офис. И снова Карпинаций вручил ему книги, и снова оратор стал внимательно их читать. И вдруг он насторожился — на одной странице он заметил пометку. Очевидно, писец допустил ошибку: он соскоблил несколько букв и вписал другие. Я, говорит Цицерон, «впился глазами в книгу». Запись гласила, что фирма выплатила огромную сумму денег некому Гаю Верруцию. После второго «р» шло затертое и исправленное место. Цицерон начал листать книгу. У него было предчувствие, что на этом дело не кончится. Он не ошибся. В записях за следующий же месяц он снова увидел затертое место. Снова фирма выплачивала деньги Гаю Верруцию, и снова после второго «р» шло затертое и исправленное место. Это уже становилось любопытно. Цицерон продолжал чтение. Вскоре он нашел третью, четвертую, пятую записи. Их набралось несколько десятков. И во всех было одно и то же — фирма выплачивала деньги Гаю Верруцию и всегда после второго «р» шло затертое и исправленное место.

Цицерон поднял глаза от книги и спросил стоящего тут же Карпинация, кто такой этот Гай Верруций, с которым фирма вела такие крупные операции. Этот невинный вопрос произвел на откупщика

ошеломляющее действие. Он покраснел как рак, язык у него прилип к гортани, и он стоял безгласный, недвижимый, как столб. Видя, что от Карпинация толку не добьешься, Цицерон, не говоря более ни слова, взял книги и немедленно отправился к Метеллу. Он объявил, что привлекает Карпинация к суду за мошенничество. Стоит ли говорить, как это было неприятно Метеллу. Но делать было нечего. Он сам председательствовал на суде и, надо отдать ему справедливость, на сей раз не мешал судопроизводству и вообще вел себя вполне корректно.

На суд сбегалась чуть ли не вся Сицилия. Цицерон встал и изложил суть дела. Он показал судьям злополучные книги. А затем заявил, что, во-первых, этот загадочный Гай Верруций, очевидно, имел с фирмой очень крупные дела. Во-вторых, появился он в Сицилии в 73 году, а в 71-м таинственно исчез с острова. Ни до, ни после он в книгах не упоминается. В-третьих, он, обвинитель, не смог получить от Карпинация никаких внятных сведений об этом лице: кто он — промышленник, землевладелец или, быть может, разводит скот?

В этом месте собравшаяся толпа прервала его речь громкими криками. Они дружно завопили, что никто в Сицилии даже не слышал имени Гая Верруция.

В-четвертых, продолжал оратор, он просит объяснить этот удивительный феномен — почему из месяца в месяц с писцом происходила странная вещь: как только дело доходило до имени Верруция, рука его неизменно делала одну и ту же ошибку?

Все эти вопросы были обращены к Карпинацию. Но с таким же успехом Цицерон мог бы беседовать со столбом. Откупщик так и не вышел из шокового состояния — он стоял унылый и безмолвный, трясаясь от страха.

В таком случае, сказал Цицерон, он может ответить сам. Гай Верруций — это Гай Веррес. Он стоял за ростовщическими операциями фирмы. Несчастные, которые занимали деньги у фирмы, чтобы отдать их Верресу, не догадывались, что занимают у него же и отдают с огромными процентами.

Суд признал правоту Цицерона. С книг тут же снята была точная копия, она была заверена, запечатана и вручена Цицерону. Оратор представлял себе, какой эффект произведет эта книга в Риме на суде.

— Принесите и раскройте копии книг, — скажет он. — ...Видите имя Верруция? Видите, что первые буквы не тронуты? Видите, как последние буквы имени, самый Верресов хвостик, точно в грязь, погрузился в помарку? Вы видите, судьи, каковы эти книги, что ж вы ждете, чего вам

больше спрашивать? Да и сам ты, Веррес, чего сидишь, чего ждешь? Тебе придется или объяснить нам, кто такой этот Верруций, или признаться, что Верруций — это ты (II, 2, 186–191).

После этого он повернется к Гортензию и скажет:

— Прежних ораторов, Крассов и Антониев, хвалили за то, что они умели... красноречиво защищать обвиняемых. Но они имели преимущества перед нынешними ораторами не только в умственном отношении, им благоприятствовали сами обстоятельства. В то время никто не был так преступен... Но что теперь делать его защитнику Гортензию?.. Как поступили бы в отношении этого человека все Крассы и Антонии? Одно, я думаю, могли они сделать, Гортензий: отказаться от защиты и не марать своей чистой репутации грязью другого (II, 2, 190–192).

\*

Мы видим, что лаврам Цицерона мог бы позавидовать сам Шерлок Холмс. Вот так, шаг за шагом, сопоставляя показания свидетелей, отыскивая документы и буквально из-под земли находя улики, оратор постепенно восстановил полную картину этого преступного наместничества.

### ***Веррес — судья***

Едва ли не главной обязанностью наместника было творить суд в провинции. И Веррес вовсе не пренебрегал этой обязанностью. Напротив. Занимался этим, пожалуй, даже чересчур усердно и рьяно. Но занимался так, что Цицерона постоянно мучили сомнения — ему все время казалось, что несмотря на сотни свидетелей, несмотря на неопровержимые документы, судьи все-таки ему не поверят, настолько все выглядело чудовищно и дико.

Начнем с того, что римского наместника сопровождала в провинции целая свита, так называемая преторская когорта. Состояла она обыкновенно из знатных римлян. Они не только помогали наместнику и исполняли его поручения, но образовывали при нем своеобразный совет, к которому он обращался в затруднительных случаях. Но у нашего наместника все обстояло совсем по-иному. Вначале он действительно имел при себе такую когарту. Но вскоре все разбежались. Его бросили легаты;

бросил даже собственный зять.

Хотя служба у Верреса могла бы их озолотить, они бежали, не желая навек замарать свое доброе имя (*Verr.*, II, 2, 49).

Но наместник не очень тужил по этому поводу. У него была теперь другая, собственная когорта, особого чекана. В нее входил прежде всего его врач Корнелий. То был грек, родом из Перг. Настоящее имя его было Артемидор. Он заслужил глубокое уважение и искреннюю симпатию Верреса тем, что в свое время помог ему обокрасть свой родной город. Веррес взял этого мужественного человека с собой в столицу и выхлопотал ему римское гражданство у Суллы. Так он стал Корнелием<sup>[42]</sup> (II, 2, 54). Потом был еще один подающий большие надежды художник Тлеподем родом из Кибиры. Он обокрал храм в родном городе и тоже стал Корнелием. И еще какой-то гадатель. Тут «не было ни одного римского гражданина, были лишь святотатцы греки, сделавшиеся негодяями давно, Корнелиями недавно» (II, 2, 54; 69).

Но главным лицом при Верресе, его первым министром, генералом этой доблестной когорты был грек Тимархид. Этот человек, говорит Цицерон, был для Верреса настоящей находкой, даром судьбы. Казалось, он специально был создан, чтобы стать его помощником. То был не какой-нибудь заурядный жулик. Нет. Это был гениальный мошенник и пройдоха. Кажется, только Плавт умел рисовать такие удивительные характеры. В его голове всегда роились гениальные идеи. Он строил головокружительно смелые планы. Словно великий полководец, он обдумывал каждую деталь, слал в бой тяжелую пехоту и стремительную конницу. «Он придумывал удивительные в своем роде способы воровать», — замечает Цицерон. Он находил богача, которого можно было бы обобрать. Затем буквально из-под земли доставал его врагов, строил их в боевой порядок и вел в бой. У него была целая армия платных обвинителей и доносчиков. А какой нюх у него был на хорошеньких женщин! Как умел он с ними говорить! Тут с ним не могла бы тягаться ни одна самая опытная сводня. Он сразу умел познакомиться, завязать разговор, навести его на нужную тему, вовремя ввернуть комплимент, слегка припугнуть, а потом посулить золотые горы.

Естественно, он без труда мог обвести вокруг пальца своего патрона. Тот был неловок, неуклюж, шел напролом. В нем не было ни изворотливости, ни хитрости. Это был, замечает Цицерон, скорее разбойник, чем вор. Тимархид же ежедневно развешивал перед ним план кампании и доставлял ему прелестных любовниц. И вот этот проворный маленький катерок тащил за собой на буксире тяжелую грузную баржу — тугодума-патрона. Веррес в конце концов уже шагу не мог без него

ступить. Ясно, что верный слуга не забывал о себе. Он «не только подбирал монеты, которые ронял тот», ему не только доставались самые обольстительные из добытых им красавиц, нет. «В продолжение трех лет царем Сицилии был Тимархид; во власти Тимархида находились дети, жены, собственность и все состояние старых и верных союзников римского народа» (II, 2, 134–135).

И первой добычей, которую отыскал этот великий мошенник, был Гераклий из Сиракуз. Гераклий был необыкновенно богат. Дом его был полной чашей — статуи, картины, изящные безделушки, дорогие ковры. Вдобавок то был человек уже немолодой, судебные дразги его пугали. К тому же недавно он получил огромное наследство. Все говорило, что за этим жирным оленем стоило поохотиться — он будет легкой добычей для опытных охотников.

Тимархид начал действовать. В помощь себе он взял двух очень достойных людей, греков Клеомена и Эсхриона. Они были, говорит Цицерон, почти родственниками Верреса, «их жен, по крайней мере, он никогда не считал чужими» (II, 2, 35–37). Тут, кстати, нужно отметить одну замечательную черту наместника — его удивительное великодушие. Всем памятно, как библейский царь Давид, пленившись женой Урии, послал мужа на смерть. Веррес был совсем не таков. Его буквально окружали многочисленные Урии, они становились его закадычными друзьями, прямо-таки названными братьями. Они возлежали рядом с ним во время попоек; он пил с ними из одного кубка, он осыпал их всевозможными милостями, словом, они действительно становились почти его родственниками.

Итак, жертва была намечена. Теперь надо было приступить к облаве. Агенты донесли Тимархиду и Верресу, что завещание составлено правильно, по форме, наследник — близкий родственник. Значит, с этой стороны путь был закрыт. Но был один пункт, одно слабое место, именно — наследник должен был воздвигнуть статую в общественной палестре<sup>[43]</sup> Сиракуз. Все было ясно. Великий стратег ликовал. Вот она брешь в укреплениях врага! Теперь он у них в руках. Веррес и Тимархид договариваются с содержателями палестры. Палестриты публично заявляют, что статуя не была поставлена. А значит, Гераклий владеет наследством незаконно. И палестриты возбуждают дело против Гераклия.

Все происшедшее совершенно ошеломило Гераклия. Он был удручен, растерян, абсолютно не знал, что предпринять. Он явился вместе со своим адвокатом. Тут он увидел, что претор мимо всякого обычая и в вопиющем несоответствии с законами сам назначил судей. Ему даже не дали

возможности сделать отвод. Увидев все это, Гераклий поступил неожиданно. Он не явился в суд. Более того. Он не вернулся домой. Он покинул Сиракузы и бежал в Рим. Его немедленно заочно объявили виновным.

— Скажи, несчастный, не безумие ли это? Неужели ты не думал, что рано или поздно тебе придется дать отчет о своем поведении? Ты не сообразил, что когда-нибудь такие люди, как твои судьи, узнают о нем?

Итак, Гераклия признают виновным и конфискуют всё его имущество. *Всё*. Не наследство, которое Веррес и Тимархид в союзе с палестритами объявили незаконным, а *всё его родовое имущество!*

— Пусть бы ты отнял наследство... пусть бы ты воровал чужое добро, пусть бы ты толковал по-своему законы, завещания, волю умерших, право живых, — зачем нужно было отнимать у Гераклия даже его отцовское состояние? Как нагло, как бесстыдно, как бессердечно!

Но, может быть, кто-нибудь вообразит, что все колоссальное состояние Гераклия действительно отошло держателям палестры и городу Сиракузам? Какая нелепая мысль! Неужели наместник стал бы столько стараться, пошел бы даже на риск, чтобы осчастливить сиракузских палестритов?! Палестритам, конечно, перепало кое-что из награбленного в благодарность за энергичную помощь. Ведь и охотничьим собакам хозяин бросает кости из жаркого, сделанного из загнанного ими кабана. Но львиную долю получил Веррес. Не был забыт и верный Тимархид (II, 2, 35–46).

Успех этого дела восхитил Верреса и всю его когорту — эту стаю псов, которые лизали его трибунал, как говорит Цицерон (II, 3, 28). Восхитил настолько, что они решили все повторить еще раз уже с другим человеком. То был некий Эпикрат из Бидиса, маленького городка возле Сиракуз. Он тоже был богат. Также недавно получил наследство. И тоже в завещании была оговорка, касающаяся палестритов. И палестриты снова возбудили дело. Поистине не было «другого претора, который был бы столь ярым поклонником палестры!» Словом, дело Эпикрата было близнецом дела Гераклия. И окончилось оно, разумеется, точно так же. Мало того. Эпикрат тоже бежал в Рим (II, 2, 53–61).

Оба ограбленных сицилийца в траурных одеждах, с отросшими бородами и волосами почти два года прожили в Риме. Все их жалели и вместе с ними оплакивали их несчастья. Но вот наместничество Верреса кончилось. В провинцию должен был ехать Метелл. Он обласкал несчастных и взял с собой на родину. Там он немедленно объявил, что вынесенный им приговор незаконен и поспешил загладить принесенное им

зло. Увы! От всего их богатства остались одни воспоминания. Метелл смог вернуть им только землю и дом — голые стены. Деньги, ковры, чаши, картины, сундуки с добром — все бесследно исчезло (II, 2, 62–64).

Когда Цицерон подъехал к Сиракузам, первыми, кого он увидел, были Гераклий и Эпикрат. Они брели по проселочной дороге ему навстречу, окруженные целой толпой друзей.

— Они со слезами благодарили меня и умоляли взять с собой в Рим. Мне оставалось еще объездить очень много городов, поэтому я условился с ними о времени, когда нам встретиться в Мессане. Но здесь я вместо них нашел гонца с известием, что их не пускает пропретор (Метелл. — Т. Б.); так-то люди, которым я приказал быть свидетелями, имена которых я сообщил Метеллу, люди, столь желавшие ехать в столицу, глубоко обиженные, — до сих пор еще не явились (II, 2, 65).

Многим случаи с Гераклием и Эпикратом могут показаться отвратительными. Но они бледнеют, меркнут по сравнению с тем, что открылось дальше перед потрясенным обвинителем. На западе Сицилии был городок Галикии. Там жил некий Сопатр, человек очень богатый, очень известный и уважаемый в своем городе. Вдруг его привлекают к суду. Обвинения непродуманны, ничтожны, невероятны. Поэтому Сопатр совершенно не волнуется. Тут к нему в дом собственной персоной является Тимархид. Сопатр невольно вздрогнул.

Тимархид, не мешкая, приступил к делу. У Сопатра, сказал он, оказывается, есть очень богатые, очень могущественные и, главное, очень кровожадные враги. Они уже были у наместника и обещали ему большую взятку, чтобы он добился осуждения обвиняемого. Но Веррес — человек просвещенный и гуманный. Поэтому ему гораздо приятнее получить взятку за оправдание, а не за обвинение подсудимого. Вероятно, Сопатр как умный человек понял намек, заключил он.

Сопатр был совершенно поражен. Все это свалилось на него как снег на голову. Наконец он пробормотал, что денег у него сейчас мало и что он должен посоветоваться с друзьями. Совет пришел к нерадостному решению. Делать нечего, придется выложить деньги.

Это, конечно, скверно. Но главное впереди.

Настает день суда. И вдруг дверь Сопатра отворяется и перед пораженным хозяином вновь появляется Тимархид! Дело в том, говорит незванный гость, что положение в корне изменилось. Кровожадные враги снова пришли к наместнику и дали ему еще больше денег. Но все еще можно поправить. Опять-таки Сопатр как умный человек знает, что ему делать.

Но тут Сопатр взорвался.

— Ничего вы от меня больше не получите! — закричал он в ярости.

В назначенное время судьи занимают свои места. Все это были люди честные, порядочные, и Сопатр не сомневался в успехе. Пришел и Веррес со всей своей когортой — врачом, гадалем, художником и, конечно, Тимархидом. Этот последний примостился у самого преторского кресла, то и дело наклонялся к уху претора и что-то ему шептал. И вдруг претор обращается к одному из судей и говорит, что вот сейчас в другом месте начинается процесс по одному гражданскому делу, на котором ему, судье, совершенно необходимо быть. Судья возразил, что это невозможно — все его коллеги, знающие дело, остаются здесь, а ему одному там нечего делать. Тогда претор великодушно отпускает всех. Они встают и уходят, уверенные, что суд переносится на другой день. Но, едва они ушли, Веррес повернулся к защитнику и сказал:

— Начинай!

Защитник этот был римлянин и пользовался среди греков большим уважением. Он не поверил своим ушам.

— Перед кем? — спросил он с изумлением.

— Передо мной, — отвечал наместник, — неужели я по-твоему не могу быть судьей какому-нибудь сицилийскому греку?

— Можешь, — отвечал защитник, — но я очень хотел бы, чтобы явились прежние судьи, знакомые с делом.

— Начинай! — заорал Веррес. — Они не могут прийти.

— Мне очень жаль, — спокойно отвечал адвокат, — но и я не могу оставаться.

С этими словами он повернулся и пошел прочь. Вслед неслись ругательства и проклятия наместника. Но он даже не обернулся.

Веррес струсил не на шутку. Что делать? Казалось, он попал в ловушку. Вновь созвать суд? Но судьи оправдают обвиняемого. Судить без адвоката, без присяжных? На это даже Веррес не решался. Он жил когда-то в Риме, и такое в его голове явно не укладывалось. Он представлял собой любопытное зрелище — растерянный, сбитый с толку, он то вскакивал, то вновь садился, то опять поднимался и начинал метаться по площади, как дикий зверь в клетке. Публики собралось много, царила мертвая тишина, и все, затаив дыхание, следили за наместником, в чьей душе алчность боролась с трусостью.

А между тем у Тимархида созрел план действий. Все видели, как он вскочил со скамьи и ринулся за своим патроном. Нагнав его, он стал что-то настойчиво и горячо шептать ему в ухо. На лице Верреса отразились

мучительные колебания. Видимо, план друга казался ему слишком смелым. Тимархид снова и снова что-то шептал. Очевидно, он старался изо всех сил в чем-то убедить патрона, употребляя всю свою ловкость и красноречие. И вдруг Веррес решился...

— Начинай! — сказал он ответчику и опустился на судейское кресло.

Сопатр совершенно потерялся. Он начал вызывать к правосудию. Произошла заминка. Кажется, сама когорта трепетала. Наконец все-таки вызвали свидетелей. Они дали краткие показания в абсолютной тишине. Никто не задал им ни единого вопроса. После этого глашатай объявил, что прения окончены. Веррес лихорадочно торопился. Он боялся, что гражданский процесс вот-вот закончится и судьи вернутся.

«Он вскочил и вынес с согласия своего писца, врача и гадателя обвинительный приговор человеку невинному... не имеющему возможности защищаться».

— Берегите, берегите его, судьи, в числе граждан; щадите, заботьтесь о нем, чтобы он мог заседать вместе с вами!.. Если преступно — лично я не могу себе представить ничего более подлого и низкого — брать взятку за свой приговор, продавать за деньги свою честь и совесть, то насколько же подлее и гнуснее осуждать человека, которого ты заставил выкупить свое оправдание, и, будучи претором, не обладать даже честностью разбойника!.. И этого человека мы будем иметь в числе судей?<sup>[44]</sup>...Он будет произносить приговоры о жизни свободнорожденного человека? Ему будут вручены судебные таблички?<sup>[45]</sup> — Да, он сделает на них пометки... кровью!

Может быть, Веррес попробует в Риме все отрицать и отпираться? Напрасно. Цицерон может представить убийственные улики. Прежде всего он взял с собой в столицу Минуция, римского всадника, защитника несчастного Сопатра. Он был не только его защитником в этом одном деле, но домашним адвокатом и поверенным. Обо всех важных делах Сопатр неизменно с ним советовался. Так вот, он под присягой готов подтвердить, что его клиент дал взятку Верресу по требованию Тимархида, что затем с него потребовали вторую взятку. Это же подтвердят множество галикийских граждан, с которыми обвиняемый советовался еще до суда.

— Это же скажет несовершеннолетний сын Сопатра, которого этот изверг... лишил отца.

Но, предположим, всех этих свидетелей не было бы. Разве это изменило бы дело и хотя бы на волосок облегчило бы положение Верреса? Ведь претор на глазах всего города распустил судей, удалил защитника и

один объявил приговор (II, 2, 70–61),

Итак, говорит Цицерон, вы видите вопиющие беззакония, вы видите, как людям выносят без присяжных и адвоката приговоры врач и глашатай «и это называется властью римского народа, его судами!» (II, 3, 66). Что может сказать Гортензий? Или, быть может, он будет ссылаться на то, что и другие наместники подчас нарушали закон? Но это вздор — бывали, конечно, кое-какие отклонения и обиды, но это даже рядом нельзя поставить с делом Верреса: другого такого Верреса не существовало. И потом, такой метод защиты порочен — «если негодяев будут освобождать от суда и следствия, ссылаясь на пример других негодяев, государство рухнет» (II, 3, 207).

### ***Веррес — любитель искусства***

«Перехожу теперь к его... как бы мне выразиться? Сам он называет это своим «хобби», его друзья — «слабостью» или «чуждачеством», сицилийцы — «разбоем»; что же касается меня, то я затрудняюсь подыскать этому подходящее название» (*Verr.*, II, 4, 1).

Дело заключалось в следующем. Веррес — этот грубый, невежественный мужлан, который не по имени только, но по самой сущности был, казалось, всего лишь откормленным боровом — этот самый Веррес имел, оказывается, одну пылкую, всепоглощающую и совершенно бескорыстную страсть. Он *любил искусство*. Да, да. Он был фанатичным поклонником эллинского искусства и энтузиастом-коллекционером. Он коллекционировал картины, вышитые платки, резные камеи, серебряные чаши, подсвечники, статуи, бронзовые кувшины, подносы, супницы, кубки, кадилницы — словом, все подлинные шедевры искусства. Это не просто был для него способ вложения капитала. Нет! Он готов был отдать за эти вещи деньги, всех своих любовниц, да что любовниц — он отдал бы за эти сокровища самую жизнь! Глядя на свою коллекцию, он презирал весь мир. Все остальные, включая Цицерона, казались ему пошлыми профанами, ничего не понимающими в искусстве. И больше всего на свете он ценил ни славу храброго воина, полководца или государственного мужа, а славу знатока искусств.

Эта страсть появилась у него давно. Путешествуя по миру, он всюду — в Греции, в Малой Азии, на островах — старался пополнить свою коллекцию. Иногда это кончалось тем, что граждане с дрекольем в руках бросались на коллекционера и выгоняли вон. И он скорбел, что бесценные

сокровища остаются в руках невежд. Однажды он умудрился даже ограбить Дельфы. По счастью, он был тогда подчиненным, а его начальник пришел в ужас, узнав о таком кощунстве, и все награбленное возвратили богу.

Да, Веррес пользовался каждым удобным случаем, чтобы обогатить свой уникальный домашний музей. Можно себе представить, что он почувствовал, оказавшись в Сицилии! Он грабил и грабил, как загипнотизированный.

— Я утверждаю, — говорит Цицерон, — что во всей Сицилии — этой богатой и древнекультурной провинции — не было ни одной серебряной... вазы, ни одной геммы или жемчужины, ни одного произведения из золота или слоновой кости, ни одной статуи из бронзы или мрамора, ни одной картины... — словом, ни одного произведения искусства, которого он бы не разыскал... и не взял бы себе (II, 4, 1).

Веррес не мог скрыть в Риме столь чудовищного пополнения своей коллекции. Но он говорил:

— Я все это купил за свои деньги! Что тут плохого?

Во-первых, отвечает Цицерон, закон запрещает наместнику делать в провинции дорогие покупки. Почему? Довольно ясно. Имея большую власть, покупатель может навязать продавцу весьма невыгодные условия (II, 4, 9—10). Но хорошо, забудем об этом законе. В наше развращенное время он, пожалуй, покажется чересчур суровым. Будем смотреть сквозь пальцы на то, что порой наместник все-таки будет делать кое-какие приобретения в провинции. Но одно условие все-таки соблюсти необходимо — нужно, чтобы люди хотели продавать свои вещи. А вот хотели ли они продавать их Верресу?

Давайте посмотрим. Вот наглядный пример. Некий гражданин Мессаны, Геюс, продал Верресу статуи Поликлета, Праксителя, Мирона, то есть *величайших* греческих скульпторов. Богатейшие восточные цари отдали бы половину своей казны хотя бы за часть этих сокровищ. Притом то были статуи из семейной божницы Геюса — каждый день он благоговейно склонялся перед ними в молитве. Не забудем, что то были для греков не просто красивые статуи, но образы богов. Приобретены они были предками Геюса и передавались из поколения в поколение как величайшие святыни. И вдруг Геюс решил продать Верресу эти статуи. Не странно ли?

Но, скажут, верно нужда или долги толкнули его на этот безумный поступок. Верно, он разорился и должен был пойти с семьей по миру. Ничего подобного. Он был богат, процветал и не продал ничего. Ничего, кроме родовых статуй. Еще более странно. Однако иногда самые

обеспеченные, самые почтенные люди теряют голову при виде золота. Кто знает? Вдруг наместник предложил ему такую сумму, что он позабыл все на свете. О, это очень легко проверить по документам. Там зафиксировано, за какую сумму продал семейных богов Геюс. Что же это за сказочные деньги, которые его соблазнили? Оказывается, *Пракситель был куплен за 1600 сестерциев*. (Это приблизительно, как если бы в наши дни кто-нибудь купил подлинного Леонардо или Ван Гога за тысячу рублей.) Чтобы оценить эту сумму, говорит Цицерон, стоит вспомнить, что недавно в Риме проходил аукцион, где небольшую медную статую — не Праксителя, нет, а средней руки ваятеля! — *продали за 40 тысяч сестерциев* (II, 4, 11–14).

Что же это такое? Что за чудо? Давайте спросим самого Геюса. Этот человек не только дал показания Цицерону, но поехал с ним в Рим. Он твердо и печально говорит, что ни за какие деньги не продал бы святыни, что у него их отняли, а не купили (II, 4, 17–18).

Но разве не оказались в руках Верреса груды сокровищ, о покупке которых нет ни единой записи? Разве в Центурипах он не завладел украшенной драгоценными камнями сбруей самого царя Гиерона? Хотя ее несчастный владелец, зная страстную любовь наместника к искусству, прятал ее у приятеля. И таких случаев не один, а сотни.

И тут у Цицерона возникли тяжелые недоумения. Первое. Каким чудом Веррес всегда находил сокровища? Ведь сицилийцы не только не выставляли свои драгоценности напоказ, как они делали при прежних наместниках, но тщательно прятали их в чуланы, в темные кладовые, потайные клетки. И потом как-то не верилось, чтобы Веррес, этот боров, совершенно утративший всякое сходство с человеком, вдруг стал разбираться в искусстве! Цицерону казалось, что он вряд ли способен был отличить картину Апеллеса от шедевра маляра, красившего стену трактира. И оратор проник в эту тайну.

Был в Малой Азии город Кибира. Там жили два брата грека. Оба они были причастны к искусству — один лепил, другой рисовал. Но однажды они решили ограбить храм и их блистательная карьера прервалась. Они бежали и прибились к Верресу, к которому как магнитом тянуло подобных людей. Верресу они очень нравились: он восхищался их знаниями и талантами и взял к себе на службу<sup>[46]</sup>. «Они удивительным образом, точно охотничьи собаки, умели выслеживать и вынюхивать... Лишь только он приезжал в какой-нибудь город, он немедленно спускал с цепи кибирских псов... Если они находили большую вазу или вообще крупную дичь, они радостно несли ее ему, но если им не удавалось напасть на след такого крупного зверя, то они хватали, по крайней мере... мелкую дичь — блюда,

чаши, кадилаицы» (II, 4, 29–33; 47).

Они-то объясняли патрону, что ценно, а что нет. А о том, как они исполняли свои обязанности, герой наш хорошо узнал в Лилибее. В этом городе у него был близкий друг, звали его Памфил. У этого Памфила наместник отнял старинный и очень красивый металлический кувшин, которым тот весьма гордился. «Памфил, — говорит Цицерон, — вернулся домой печальным и расстроенным, что у него отняли такой драгоценный сосуд, доставшийся ему от отца и предков, сосуд, который он употреблял в праздники для приема гостей. «Сидел я в своем горе дома, — рассказывает он, — вдруг является раб и приказывает мне немедленно нести к пропретору кубки». Дело в том, что у Памфила хранились два кубка, очень древние, чудесной работы, которые он берег как зеницу ока. И вот, оказывается, наместник проведал о них!

Бедняга чуть не заплакал. Но делать было нечего, с тяжелым сердцем, вздыхая, он своими руками завернул кубки, уложил их и поплелся к наместнику. Когда он пришел, Веррес почивал. В приемной расхаживали братья-кибираты. Завидев вошедшего, они так и кинулись к нему.

— Где кубки, Памфил?! — закричали они и буквально вырвали у него из рук сверток.

Развернув его, они стали рассматривать кубки, подносили их к свету, поворачивали во все стороны и поминутно ахали, восторгаясь тонкой работой. Памфил не выдержал — слезы брызнули у него из глаз, он застонал и запричитал. Братья-кибираты оторвались от кубков, несколько минут глядели на него в упор и вдруг спросили:

— Что дашь ты нам, чтобы они остались у тебя?

Короче говоря, у несчастного Памфила потребовали тысячу талантов. Он колебался, но тут из соседней комнаты послышался голос Верреса — он проснулся и требовал кубки. Памфил наскоро прошептал, что согласен на все. Кибираты кивнули и с кубками в руках отправились к Верресу. Тот сразу же протянул руку, схватил их и с жадностью стал разглядывать. Но кибираты сказали, что кубки при ближайшем рассмотрении их разочаровали — грубая неискусная работа, совершенно недостойная уникальной коллекции наместника. «Мне и самому так показалось», — важно ответил пропретор и велел отдать кубки владельцу. «Таким образом, Памфил унес свои кубки домой» (II, 4, 30–32).

В Лилибее произошла и другая в высшей степени удивительная история. Веррес узнал, что у одного из тамошних жителей Диодора очень много изделий прекрасной работы, в том числе замечательные серебряные кубки. Он немедленно потребовал это серебро себе. Но Диодор отвечал,

что серебра у него при себе нет — он оставил его в городе Мелите. А Мелита была вне Сицилии, то есть находилась не во власти Верреса. И что же? Наместник, не долго думая, отправляет гонцов в Мелиту и требует себе серебро! Но Диодор не стал дожидаться конца этой истории. По примеру Гераклия, Эпикрата и многих других, он бежал в Рим.

Узнав о его исчезновении, наместник плакал как ребенок. Он кричал, что его обидели, ограбили, отняли серебро. Наконец он несколько успокоился и прибег к своему коронному номеру — какой-то очередной агент Тимархида возбудил против Диодора судебное дело. «По всей Сицилии разнеслась весть, что из-за страсти к резному серебру людей обвиняют в уголовных преступлениях». Тем временем Диодор достиг Рима. Весть о его деле облетела столицу. Веррес получил письмо от своего отца. «Все знают об этом, все возмущены. В своем ли ты уме?» — вопрошал тот. Веррес был испуган и тотчас замял дело (II, 4, 38–42).

Но что перечислять граждан, которых Веррес ограбил и у которых отнял вазу или кубки? Не угодно ли посмотреть, как он ограбил целые города?

Есть в Сицилии на самом побережье небольшой городок Галунтия. «Приблизившись к Галунтии, наш трудолюбивый и добросовестный наместник не пожелал лично войти в город, так как подъем был труден и крут, а распорядился призвать к себе галунтийца Архагата... Ему он велел немедленно снести к берегу моря все резное серебро равно и коринфские вазы, находящиеся в Галунтии». Удрученный Архагат взобрался в город и объявил согражданам печальную весть. «Опасность была велика: сам тиран не уходил дальше, а все ждал под городом, лежа в носилках у моря... Можете себе представить, какая беготня началась в городе, какие крики, какой плач женщин; кто увидел бы это, мог подумать, что троянского коня ввезли в город, что город взят. Здесь уносят вазы без футляров, там вырывают сосуды из рук женщин, во многих местах ломают двери, сбивают замки... Все было доставлено Верресу; на сцену явились братья-кибираты». Добыча была собрана и увезена морем.

Так же он обобрал Катину, Центурипы и Агирии.

— Видела ли когда-либо, судьи, какая-либо провинция такую метлу? Случалось, правда, что наместники, сговорившись с магистратами общин, в строжайшей тайне укрывали какой-либо кусок общественной казны... и все-таки они подвергались осуждению.

Но Веррес презирал подобные недостойные уловки, такую низкую трусость — он вел себя уверенно, смело, как настоящий пират (II, 4, 50–53).

Несколько иначе разворачивались события в городе Агригенте. Там был храм Геракла. Внутри находилась медная статуя бога. В свое время она привела Цицерона в восхищение. Это, говорит он, было «едва ли не самое прекрасное из всех произведений искусства, виденных мной». Тысячи паломников ежедневно приходили к этой статуе, так что губы и подбородок ее были стерты — так много людей ее целовали. Когда Веррес узнал об этом, у него даже глаза разгорелись — ему захотелось немедленно приобрести статую для своей коллекции.

Но беда в том, что в городе жило много римлян, «людей дельных и честных, которые живут с коренными агригентинцами душа в душу». Они были возмущены долготерпением греков и с гневом спрашивали, до каких пор намерены они выносить это хамство и неужели не могут дать Верресу достойный отпор. Сами они, во всяком случае, мириться с этим не намерены. Эти речи взволновали греков. И вскоре наместник понял, что здесь ничего подобного Галунтии, Катине или Агирии не получится. Но и отступить он не собирался.

Глухой ночью у храма неожиданно появляется шайка рабов с ломami, дубинами и факелами в руках. Во главе их идет наш старый знакомец Тимархид. Ночные сторожа попытались было остановить грабителей, но их избили дубинами. Двери взломали и налетчики с рычагами в руках устремились к статуе. Между тем на истошные вопли сторожей стал сбегаться народ, поднялась тревога. Вскоре весь город, как один человек, встал на защиту святыни. Лишь только подручные Тимархида приблизились к статуе, как в храм ворвались люди, греки и римляне. На грабителей посыпался град камней. «Ночные воины нашего знаменитого полководца обращаются в бегство». Наутро о ночном налете вспоминали со смехом. Говорили, что это тринадцатый подвиг Геракла — после эрифманского вепря он одолел и эту свинью (II, 4, 94–95).

Пример Агригента воодушевил сицилийцев. Жители маленького городка Ассора не дали своих богов Верресу. Сцена в Ахригенте повторилась в точности. Опять, когда город погрузился в сон, возле храма появился вооруженный отряд взломщиков. На сей раз его вели братья-кибираты. Однако сторожа, заметив их, дали трубой знак тревоги. Сбежались жители. Кибираты со своим отрядом обратились в позорное бегство (II, 4, 96).

Нет, это было уже не хобби, а настоящая мания. В Катине находился храм Цереры, богини-покровительницы Сицилии. Внутри в святая святых стояла ее статуя. Храм был запрещен для мужчин. Ни один из них не смел приблизиться даже к его порогу, не говоря уж о том, чтобы заглянуть

внутри. Статуя богини не просто была окутана для них непроницаемой тайной — никто из мужчин вообще не знал о ее существовании. И что же? Ночью банда Верреса совершает налет на храм и похищает богиню! Тут даже нельзя сказать, что красота статуи соблазнила Верреса — поистине он крал из любви к искусству! (II, 4, 99—102).

Сицилийские *мистагоги* изменили теперь программу своих экскурсий. Раньше они показывали, где какой памятник находится, теперь же стали показывать, откуда что украдено (II, 4, 132).

### Пираты

Да, преступления Верреса были вопиющи и никакой Гортензий не в силах был его обелить. Имелся лишь один пункт, где можно было опасаться всплеска красноречия «Короля судов». Дело в том, что Верреса считали хорошим полководцем. Говорили, что это он спас Сицилию от банд рабов, то есть армии Спартака, и союзных им пиратов. Эта слава поистине окружала наместника как стена. Цицерон заранее представлял себе, как Гортензий, встав в картинную позу, начнет говорить, как опишет он бедствия, ужасы войны и изумительные подвиги Верреса. Невольно вспоминался великий оратор Антоний. Он защищал некогда Мания Аквилия, друга и боевого товарища Мария. То был действительно храбрый воин, но человек бесчестный и алчный. Антоний долго с жаром говорил о его подвигах и вдруг резким движением сорвал тогу с Аквилия, и все увидели его обнаженную грудь, буквально испещренную старыми рубцами. Судьи почувствовали стыд перед этим старым солдатом, который всю жизнь проливал кровь за Рим (Verr., II, 5, 1—4). Не сделает ли нечто подобное и Гортензий, этот великий любитель драматических и эффектных сцен?

Так давайте же, говорит Цицерон, рассмотрим боевые подвиги Верреса. Давайте исследуем, как решительно и энергично он готовился к войне и защищал остров. Для этого нужно узнать, как проводил он время, начиная с зимы до конца года.

Зимой по острову гуляют пронзительные ветры, на море бушуют бури, поэтому передвигаться по острову трудно, просто мучительно. И предусмотрительный наместник нашел прекрасное средство, чтобы облегчить эти переходы. Он попросту не высовывал носу из Сиракуз. И он поступал очень мудро. В Сиракузах мягкий теплый климат, нет ни вихрей, ни смерчей. Доблестный полководец почти не выходил из дома и целый

день лежал на пиршественном ложе.

Может быть, кто-нибудь обвинит его в бездеятельности, лени? Они не правы. Только наступала весна и начинало пригревать солнце, храбрый воин «всецело отдавался труду и разъездам и обнаруживал при этом замечательную неустойчивость и энергию». Двигался, правда, он несколько своеобразно. Не верхом, как другие наместники, нет. «Как некогда фиванских царей, его несли в носилках восьмеро рабов, причем он лежал на набитых розами подушках из прозрачной мелитской ткани, имея один венок на голове, другой вокруг шеи и вдыхая сверх того запах роз из нежной, как пух, сеточки. Таков был марш; когда он кончался и был достигнут город, его на тех же носилках вносили прямо в спальню». Сюда к нему и являлись просители, истцы и ответчики. «Посвятив таким образом некоторую долю проводимого им в спальне времени творению суда и расправы сообразно с предлагаемой... взяткой — он считал остаток дня достоянием Вакха и Венеры» (II, 5, 26–27).

Начинался пир. Пирь эти проходили очень оживленно. Тамадой был некий Апроний — откупщик, происходивший из самых низов, известный всей Сицилии вор и мошенник. И греки, и римляне считали его грубым мужланом, совершенно нетерпимым в порядочном обществе. Но Веррес нежно любил его и почитал чудом остроумия и светского такта. Апроний занимал общество своими шутками, а затем вдруг раздевался и пускался в пляс совершенно голым. Этот номер никогда не утрачивал своей прелести новизны для Верреса (II, 322–24). Все это вносило в пирь наместника приятное разнообразие.

Вскоре веселье становилось довольно бурным. Горожане слышали пронзительные вопли, звуки ударов и глухой шум от падения тяжелых тел. Наконец двери раскрывались и все видели, как «одного выносили на руках из-за стола, точно из сражения, другого оставляли на месте, точно убитого, большинство же, подобно побитой рати, валялось без чувств и без памяти, так что каждый, взглянув на эту картину, подумал бы, что перед ним не столовая пропретора, а Каннское побоище распутства» (II, 5, 28).

Лето для сицилийских наместников было самым тяжелым временем года. Несмотря на изнуряющий зной, они должны были объезжать весь остров, следить, чтобы правильно распределялись сельскохозяйственные работы, чтобы никто не терпел притеснения. Но «наш новомодный полководец» никуда не ездил. Он разбивал палаточный лагерь в самом подходящем месте, а именно на пляже Сиракуз, и больше публике не показывался. Нельзя сказать, что все там было мирно и идиллически. Дело в том, что, кроме Верреса, в лагере была целая армия и вся она состояла из

дам. Между ними то и дело вспыхивали ссоры. Так, когда в избранный кружок знатных и порядочных сицилийских матрон вошла дочь какого-то мимического актера, разразился жуткий скандал. Дело, кажется, дошло до драки, но тут вмешался Веррес. С благородной прямоотой он объяснил дамам, что в человеке главное не происхождение, а личные достоинства. С этого времени никто из граждан наместника вообще не видел. Из палаточного городка доносились женский визг и звуки легкой музыки. Впрочем, сицилийцы об этом не тужили. Они только радовались, что наместник нашел себе занятие и оставил их в покое (II, 5, 29–31).

Да, продолжал Цицерон, наступает роковой момент — сейчас Гортензий поднимется во весь рост и красивым движением сорвет с Верреса одежду и обнажит его грудь, испещренную рубцами и кровоподтеками — следами нежных поцелуев и зубов его подруг (II, 5, 33).

А между тем остров был в смертельной опасности. Со всех сторон его окружали пираты. Пора было дать им отпор. Как же боролся с пиратами этот вождь? О, он действовал удивительно мудро и предусмотрительно. Он обложил все города податью — они должны были поставить определенное число денег на содержание солдат и матросов. Затем он записывает в набор огромное число людей, которым предстояло служить во флоте. А затем... он продает каждому право уйти в отпуск за 600 сестерциев, а деньги и содержание берет себе! «И этот безумец поступал так в самый разгар войны с пиратами, в дни самой страшной опасности для провинции, и притом так явно, что вся провинция была свидетельницей и сами пираты знали об этом» (II, 5, 62).

Но наконец все-таки настал день, когда флот пришлось спустить на воду. Хотя, честно говоря, флотом он был только на словах, на деле же — набором пустых кораблей. Кто же встал во главе этой флотилии, чтобы вести ее в бой против пиратов? Веррес? Нет. Время было летнее и наместник не стал покидать пляж. Тогда, вероятно, какой-нибудь римский офицер, который своей опытностью хоть отчасти мог искупить недостаток воинов? Опять-таки нет. Во главе стал сиракузец Клеомен. Мы уже видели, что наместник избегал своих соотечественников — и в когорте, и в суде у него были одни греки. И все-таки такого еще не бывало — во главе войска в провинции всегда ставили римлян. Чем же заслужил Клеомен такую неслыханную честь? Быть может, то был искусный стратег? Ничего подобного. Причина была иная, гораздо более романтическая. Жена Клеомена была близким другом наместника и вместе с ним удалилась в палаточный лагерь. Естественно, муж стал для Верреса ближе брата. И все-таки, как ни благороден, как ни деликатен был Югеомен, иногда Верресу

казалось, что он, пожалуй, лишний. С другой стороны, он горел желанием вознаградить своего друга за всегдашнее великодушие. Вот как случилось, что Клеомен сделался адмиралом.

Итак, великая армада вышла в море. Когда она огибала мыс, на пляже появился Веррес в ярко-красной накидке. Со всех сторон его заботливо поддерживали красотки. Он помахал на прощание рукой и удалился в палаточный лагерь (II, 5, 82–86).

Читатель помнит, что все содержание матросов Веррес брал себе. И вскоре выяснилось, что кормить их абсолютно нечем. Воины буквально умирали с голоду. Наконец армия высадилась у мыса Пахин. Матросы стали разрывать землю, откапывали корни диких пальм и тут же поедали их. Между тем оказалось, что и Клеомен не чужд был мечтам о славе. Сделаться таким, как Веррес, — вот что было целью его честолюбивых стремлений. Он давно потихоньку стремился во всем подражать своему знаменитому другу. И вот сейчас Клеомен почувствовал, что он здесь царь и бог. Он велел расположиться у Пахина — и кто бы мог подумать! — разбить на пляже палаточный лагерь. Здесь он обосновался и зажил царственно, подобно своему кумиру, — то есть пил дни и ночи напролет. И вот, когда матросы глодали дикие корни, а Клеомен нежился на пляже, вдали показались пиратские суда.

При виде их Клеомен разом протрезвел и задрожал от ужаса. Но тут он вспомнил, что Пахин — сильная крепость. Надо срочно послать туда за помощью — и все будет в порядке. Увы! Адмирал забыл, что его обожаемый патрон давно уже отправил всех солдат в отпуск за свой счет. Крепость была пуста. Но Клеомен и тут не растерялся. Напротив, в минуту опасности он ощутил прилив энергии. Он вскакивает, велит поднять паруса на адмиральском судне, взбегают на борт, приказывает обрезать канат якоря и... на всех парах несется в сторону, противоположную пиратам.

Оставленные на произвол судьбы воины сначала хотели было дать отпор врагу. Но это было чистейшим безумием. У них не было ни руководства, ни опыта в военном деле, ни сил. Не говоря уже о том, что они едва держались на ногах от голода. Им оставалось только последовать примеру своего вождя.

То было захватывающее зрелище. Суда неслись, как птицы. За ними по пятам летели пираты. Впереди мчался Клеомен. Наконец вдали показался берег. Адмирал велит причалить, выпрыгивает из корабля и удирает прочь, как заяц. За ним выпрыгивает вся команда и все несутся, словно это олимпийское состязание в беге. Когда пираты подошли к берегу, перед их глазами были только беспомощно барахтающиеся на мелководье пустые

корабли. Это и был великий флот римского народа! Капитан пиратской флотилии распорядился его сжечь.

«Поздней ночью известие об этом грозном несчастье было доставлено в Сиракузы». Граждане, все как один, вскочили с постели и выбежали из домов. Замелькали факелы. Началось смятение. И неудивительно. Город был беззащитен. А пираты могли нагрянуть с минуты на минуту. Все спрашивали:

— Где адмирал Клеомен?

Но о нем не было ни слуху ни духу. Добежав до Сиракуз, адмирал юркнул в свой дом, затворил окна и двери и не показывал наружу даже носа. Шум и тревога усилились. Площади были полны народу. Только наместник спал сном праведника. Дело в том, что он лег совсем недавно. Глухой ночью жители слышали звуки музыки и веселые голоса и, выглянув, увидели, как дамы с трудом ведут наместника во дворец. Наш великий полководец, говорит Цицерон, был вообще строг. В такие ночи, когда он был столь утомлен, никто не смел его тревожить. Но в ту ночь ему все-таки пришлось встать раньше времени.

Толпа с криками окружила дворец. Поднялся такой невероятный шум, что даже Веррес проснулся. Спросонья он велел немедленно позвать к себе Тимархида. Долго верный оруженосец пытался втолковать патрону, что происходит — Веррес совершенно ошалел после бурной ночи. Наконец он как будто что-то понял. Потребовал плащ, наскоро завернулся в него и, пошатываясь, вышел на крыльцо. Первые лучи солнца уже озарили сиракузские кровли.

При виде наместника толпа заревела. Припомнили ему его пляж, его попойки, «посыпались имена его любовниц, слышались громкие вопросы, где он пропадал столько дней подряд». Растерянный наместник стоял в полном остоленении, не говоря ни слова. Толпа разъярялась все больше. Казалось, еще минута — и его разорвут в клочья. Но именно надвигающаяся опасность спасла его. Солнце уже всходило. Все вспомнили, что пираты могут вот-вот явиться, и, бросив Верреса, который все еще стоял на крыльце в полном оцепенении, кинулись с оружием в руках оборонять крепость.

Пираты между тем двигались прямо на Сиракузы. Минута — и их корабли вошли в гавань.

— Когда я говорю «в гавань», я хочу этим сказать, что они проникли в город, и даже в самый центр города. Дело в том, что сиракузская гавань находится не где-нибудь на окраине города, а окружена городом.

Вероятно, иронически замечает Цицерон, они были наслышаны о

красоте Сиракуз и «сказали себе, что если им не удастся посмотреть на них в наместничество Верреса, то придется распрощаться с этой надеждой навсегда». Итак, пираты были в самом центре города. Они медленно плыли среди улиц и площадей и с громким хохотом кидали на берег *корни диких пальм*, этот ежедневный рацион сицилийских матросов! Совершив этот блистательный рейс и вдоволь насмеявшись над наместником, пираты спокойно удалились (II, 5, 62—100).

Сиракузы опять были на грани бунта. Тем более что среди толпы появились капитаны, которые рассказывали, что причиной несчастья было то, что большую часть солдат отпустили в отпуск, а оставшиеся умирали с голоду. Да еще адмирал удрал, как заяц. Верресу донесли, о чем болтают на площади. Наместник смертельно испугался. Он боялся вовсе не бунта — о нем он и не думал. Он страшился суда, неминуемого суда, который ждет его в Риме. И тогда он велел позвать к себе капитанов. Когда они пришли на зов, он строго велел им прекратить свои возмутительные речи и перестать чернить имя наместника. Более того. Он приказал составить бумагу от имени капитанов, где эти пустые слухи опровергались. На бумагу он поставил печать.

Веррес всегда был немного наивен. Вот и сейчас — получив бумагу, он совершенно успокоился и повеселел. Но, когда он с сияющим видом показал этот документ своим друзьям и собутыльникам, они разразились хохотом. Давясь от смеха, они спрашивали: неужели он серьезно думает, что этот «документ» подействует на римских присяжных? Веррес растерялся и вновь струсил. Он понял, что погиб и у него остается только одно средство к спасению. Этот «кроважадный и сумасбродный» человек решил, что он должен свалить всю вину на капитанов и убрать этих страшных свидетелей, иначе он будет раздавлен их показаниями.

— Тут, правда, возникло следующее затруднение: «Как быть с Клеоменом? Могу ли я наказать тех, кому я велел слушаться его, и освободить от кары того, кому я вверил начальство? Могу ли я казнить тех, кто последовал за Клеоменом, и помиловать Клеомена, который приказал им бежать за ним?...Нет, Клеомен погибнет».

Да, все это так. Но, с другой стороны, разве Клеомен не был ему лучшим другом, разве не доказал он свою чуткость и деликатность в самых тонких обстоятельствах, разве не пили они столько раз вместе? И вдруг этого-то замечательного человека осудить на смерть? Нет, невозможно, немыслимо. Решено, Клеомен будет жить.

И вот наместник неожиданно выходит на площадь и велит позвать капитанов. «Те тотчас же приходят, ничего не опасаясь, ничего не

подозревая. Тогда он приказывает, чтобы эти несчастные невинные люди были закованы в цепи». Они в ужасе спрашивают:

— За что?

— За то, — отвечает Веррес, — что вы выдали флот пиратам.

Поднялся крик. Негодуя на такое неслыханное беззаконие, все спрашивали: а что же Клеомен, где же Клеомен?



*Цицерон. Мрамор. Флоренция. Галерея Уффици.*



*Форум.*

*Храм Сатурна, где хранилась государственная казна.*

*Фото автора.*



*Форум. Храм Весты.*

*Фото автора*



*Оратор произносит речь перед народом.*

*Бронзовая статуя этрусской работы. 1 в. до н. э.*



*Диана из Гавий. Римская копия статуи Праксителя. Париж. Лувр.*

1.



2.



*1. Эрехтейон. Храм афинского Акрополя. Фото автора*

*2. Театр в Помпеях. Фото автора.*



*Родос. Линд. Современный вид.*

1.



2.



*1. Трагическая маска. Барельеф из Помпей.*

*2. Сцена из комедии. Слева раб, отважный плут, на котором держится интрига. Фреска из Помпей.*



*Актеры за кулисами. Рядом с ними различные маски, которые они примеряют. Барельеф из Латеранского музея в Риме.*



*Трагический актер репетирует роль царя. Фреска из Геркуланума*

1.



2.



*1. Цецилий Юкунд, богатый банкир из Помпей.*

*2. Ценные бумаги из дома Цецилия Юкунда*

1.



2.



3.



*1. Серебряная ваза с орнаментом из цветов. IV в. до н. э.*

*2. Бронзовый кратер с рельефным изображением из серебра V в. до н. э.*

*3. Золотая диадема из Македонии. Образец тончайшей греческой работы по золоту.*

*Эти изделия позволят читателю лучше представить коллекцию Верреса.*

1.



2.



*1. Эрот.*

*2. Вакх.*

*Обе мраморные статуи украшали сад богатого помпейского дома*



*Вид на Форум с того места, где находился дом Цицерона.*

*Фото автора.*

«Глядят, — а Клеомен сидит рядом с наместником». Несмотря на вопли толпы, капитаны были арестованы и преданы суду. По своему обыкновению Веррес нашел обвинителя, какого-то пройдоху из своры Тимархида.

Весть об этом разнеслась по Сицилии. «Приходят в Сиракузы отцы и родственники бедных молодых людей, потрясенные внезапной вестью об этом своем несчастье. Они видят своих детей, закованных в цепи, выносящих на собственных плечах кару, которую заслужил наместник; они являются в присутствие, защищают сыновей, громко жалуются, взывая к твоей чести, которой у тебя не было ни тогда, ни когда-либо раньше. Был в числе отцов некий Дексон Тиндаридский, знатный гражданин, твой

гостеприимец; он принимал тебя в своем доме... — неужели даже он, этот почтенный старец, не тронул тебя своим горем, неужели даже его слезы, его седина, священное имя гостеприимца не могли удержать тебя от преступления — внушить тебе хоть слабую долю человеческого чувства?.. А впрочем, уместно ли вспоминать о правах гостеприимства, говоря об этом кроважадном чудовище?.. Нет, это уже не жестокий человек, это — дикий и ужасный зверь!»

Он видел старика-отца и не смягчился, а ведь у него самого дома остался отец, такой же седой старик, у него самого был юный сын. «И все-таки ни вид твоего сына не напомнил тебе о врожденной человеку любви к детям, ни мысль о далеком отце не заставила тебя отнестись сочувственно к горю отца!»

Среди арестованных был один человек. В тюрьме он написал защитительную речь. Не для того чтобы спастись — нет! Он знал, что приговорен. Но он хотел обличить Верреса, перечислить все его преступления. И речь эту он посмел открыто произнести на площади Сиракуз. Впоследствии она в списках ходила по всей Сицилии. Он говорил, что Верресу недолго еще торжествовать — в Риме его ждет суд, где он ответит за все свои беззакония. «Напрасно Веррес рассчитывает убийством свидетелей стереть правду с лица земли, — писал он, — грознее будет в глазах... судей свидетельство моей тени, чем если бы я живым предстал перед судом... Не одни только толпы живых свидетелей явятся к разбирательству твоего дела; духи-мстители за кровь невинных, Фурии, видевшие твое преступление, покинут ад и предстанут с тобой перед судьями».

Среди такого страшного волнения был наконец созван этот суд. Наместник не отважился позвать *ни одного римлянина* — там были одни греки, его когорта. И вот, посоветовавшись с ними, Веррес признает капитанов виновными и присуждает их к смерти! «Приговор был ударом грома для всех сицилийцев» (II, 5, 101–114). Этого злодеяния они не могли ни простить, ни забыть.

Ночью я подъезжал к Гераклею, рассказывает Цицерон; вдруг вдали показался яркий свет факелов. В недоумении глядел наш герой на странное зрелище. Приблизившись, он разглядел наконец, что навстречу ему двигалось шествие с факелами в руках. То были закутанные в покрывала женщины, все в черном. Толпа молча расступилась, и на землю перед Цицероном, рыдая, упала женщина. То была мать одного из казненных юношей. «Называя меня своим спасителем, тебя — своим палачом, она припала к моим ногам и так взмолилась ко мне, плача о своем сыне, как

будто от меня зависело вызвать его из могилы».

И я требую от имени моих клиентов, заключает Цицерон, правосудия, ибо даже если бы судьей Верреса был его родной отец, он не мог бы его оправдать (II, 5, 101–133).

### ***Самое страшное преступление Верреса***

Казнь капитанов была поистине ужасным преступлением. Но на совести Верреса было нечто еще более страшное. Если бы, говорит Цицерон, я поведал о нем не людям, а зверям, если бы рассказал об этом стоя в дикой пустыне, среди скал и утесов — даже бессловесные твари, даже немые камни задрожали бы, потрясенные (Verr., II, 5, 171). «Тут речь идет о нашей крови, о нашей жизни» (II, 5, 139). Но эту страшную тайну наместнику удавалось пока скрывать от мира.

Давно уже по Сицилии ходили неясные, но упорные слухи о том, что наместник схватил каких-то римских граждан. И вот Цицерон пошел по этой нити, по этому кровавому следу. Нить то и дело обрывалась, след терялся, улики исчезали. Но наш герой не отступал. И наконец след привел его к *сицилийским каменоломням*. Так называлась знаменитая сицилийская тюрьма. То были ужасные каторжные норы; именно там нашли свой конец почти все афиняне, участники Сицилийской экспедиции, захваченные в плен сицилийцами в 413 году.

Многие надежные свидетели рассказывали Цицерону, что Веррес превратил подвластный ему остров в настоящий пиратский притон. Он нападал на торговые суда, а купцов и команду бросал в каменоломни (II, 5, 154). Но, если это правда, куда же делись потом все эти несчастные узники?

Вот что необходимо было узнать Цицерону. И он узнал это. Да, он добыл улику, улику неопровержимую, страшную. Ему удалось достать *тюремный журнал*. Здесь значилось, кто и когда попал в тюрьму, кто и когда из нее вышел и, наконец, кто был там казнен. Эту бумагу Веррес не доверял никому, он прятал ее на своей груди. Но все напрасно. Что сделал Цицерон, какие чудеса совершил, мы не знаем. Нам известно одно: *бумага оказалась в его руках!*

Вот этот журнал. Да, здесь много имен римлян, попавших в тюрьму. Но где же пометки о том, что они освобождены? Их нет. Веррес, конечно, скажет, что все они вдруг умерли от какой-нибудь эпидемии? Вряд ли ему кто-либо поверит. И потом... Потом у Цицерона есть точные сведения о

том, где они. Нет, они не умерли от эпидемии. В этом самом журнале черным по белому против их имени стоит слово EDIKAITHESAN. Веррес, человек совершенно невежественный, слова этого не понял. А между тем на сицилийском диалекте греческого языка это означает КАЗНЕНЫ.

Такого ужасного злодеяния никто не подозревал. Римский гражданин был неподсуден наместнику. Судить его мог только римский суд. Римского гражданина нельзя было заточить в тюрьму или наказать телесно. Эти действия в глазах римлян равнялись святотатству. Великие цари мира трепетали при одной мысли оскорбить римского гражданина.

— Если бы какой-нибудь царь, или иностранная община, или чужое племя позволили себе нечто подобное... римское государство... объявило бы им войну (II, 5, 146–149).

Но главное впереди. Был среди этих несчастных один; звали его Гавий. Каким-то чудом, несмотря на расставленные повсюду караулы, ему удалось бежать. Он бросился в Мессану, порт, стоящий на берегу пролива, отделяющего Сицилию от Италии. Наконец он достиг Мессаны. Беглец вздохнул спокойно — все ужасы позади, несколько часов — и он в Италии. С восторгом глядел он на родные берега. После страшной тюрьмы, после мучений и опасностей, после мрака и смерти, которые его окружали, он наслаждался светом и свободой и «вдыхал воздух законности». С нетерпением поджидал он корабль. Наконец судно причалило. Он поспешно стал всходить по трапу и... чьи-то руки схватили его сзади.

Мессана была словно бы родовое пиратское гнездо Верреса, его разбойничья берлога. Туда он стаскивал захваченную добычу. Там он прятал самое ценное. Жители же были его братья-разбойники, с которыми он щедро делился награбленным. Они были связаны с ним преступлением, а потому верны ему душой и телом. И вот местные власти узнают, что в городе появился какой-то римлянин. Говорят, он бежал из тюрьмы. Теперь он уезжает и грозитя все рассказать в столице. Этого допускать нельзя. Беглеца необходимо схватить во что бы то ни стало.

И вот Гавий схвачен. Его стащили с корабля и вдруг стало известно, что в город пожаловал сам наместник. Услужливые друзья бегут к нему навстречу и, поравнявшись с его носилками, сообщают радостную новость — Гавий схвачен. Когда Веррес узнал обо всем, его неожиданно охватило бешенство. Глаза его засверкали, лицо перекошилось. Он приказал нести носилки на главную площадь. Туда же велено привести беглеца.

Его поставили перед креслом Верреса. Наместник сделал знак своим приспешникам, и с Гавия сорвали одежду, а руки скрутили за спиной. Мужество не изменило Гавию в эту страшную минуту. Он не стал плакать,

унижаться и просить пощады. Он громко и твердо заявил, что он римский гражданин и Веррес — святотатец. И тогда, совсем озверев, Веррес велел соорудить крест.

— Да, крест для этого несчастного, замученного человека, для него, который и в глаза не видел этого омерзительного орудия.

Веррес с ядовитой улыбкой приказал поставить крест на самом берегу залива.

— Пусть он с высоты видит Италию и взывает оттуда к законам!

«Мы осуждаем человека, заключающего в оковы римского гражданина, считаем преступником того, кто подвергает его ударам, ненавидим наравне с братоубийцей того, кто его убивает; как же назвать человека, приказывающего его распять!»

До Верреса дошли слухи о том, что его страшное преступление выплыло наружу. Он теперь уверяет, что распятый им человек, выдававший себя за римского гражданина, был на самом деле шпионом восставших рабов, присланным в Сицилию из южной Италии. Поэтому-то он и повесил его на берегу в назидание его товарищам.

— Но я намерен доказать, что тот Гавий, в котором ты усмотрел внезапно объявившегося шпиона, был заключен тобою же в сиракузские каменоломни; я докажу это не только данными сиракузского тюремного журнала — ты способен ответить, что я пользуюсь случайно встречающимся в этой книге именем Гавия, по собственной выдумке даю это же имя и твоей жертве, чтобы иметь возможность отождествить обоих — нет, я вызову сколько тебе угодно будет свидетелей, которые покажут, что он — то самое лицо, которое ты заключил в сиракузские каменоломни. Я вызову затем его земляков и друзей — консанцев, которые покажут... что тот Гавий, которого ты распял, был римским гражданином из муниципия Консы, а не шпионом.

Нет, Верресу не выпутаться. Его вина доказана.

— Нет имени, которое соответствовало бы столь нечестивому злодеянию... Нет, не Гавия... обрек ты мучительной казни, а общее дело свободы и гражданства... Все римские граждане должны считаться братьями по крови... Все римские граждане, как присутствующие, так и отсутствующие... взывают к вашей справедливости, просят у вас помощи, все их права... вся их свобода зависят от вашего приговора (*II, 5, 160–179*).

В эти дни Цицерон не знал покоя. «В 50 дней я успел исколесить всю Сицилию», — говорит он (*I*, 6). Часами напролет, без отдыха скакал он по бездорожью, через горы, в бурю, снег, дождь. Ранняя весна — суровое время в горах. В течение дня ему надо было опросить десятки свидетелей. Ночью при свете лампы он записывал то, что узнал. Он признавался, что в эти 50 дней почти не спал (*Ibid.*). Зато перед отъездом он мог с удовлетворением записать: «Никто никогда, насколько помнят люди, не выступал в суде более подготовленным... более знакомым со своим делом» (*I*, 32).

Узнавая о все новых чудовищных преступлениях наместника, он содрогался от ужаса. И в то же время сердце плясало у него в груди — писатель и оратор в нем ликовал. О, теперь-то Веррес от него не уйдет. Он представлял себе, как при огромном стечении народа он поднимется на Ростры и начнет рассказывать обо всем, причем расскажет так ярко, что слушателям покажется, что они на несколько часов перенеслись в Сицилию и увидели все собственными глазами. И вот зрители рыдают, судьи в гнев поднимаются со своих мест. Веррес уничтожен, Гортензий повержен в прах, сицилийцы плачут от счастья и все с восторгом смотрят на виновника всего этого — Цицерона! И, дрожа как в лихорадке, он записывал все новые и новые его преступления. О, если бы он знал, что ожидает его в столице!

### ***Сети расставлены***

Теперь перед нашим героем встала новая очень сложная задача. По римским законам, он должен был быть на месте в день суда. Если какая-нибудь случайность его задержит и 4 мая он не ответит на вопрос претора, дело автоматически аннулируется (*Verr.*, II, I, 98). Между тем времени оставалось в обрез. Надо было лететь в столицу. И тут он получил весточку от друзей в Риме. Они сообщали, что Веррес не дремлет. Он хочет всеми силами помешать обвинителю. Обстоятельства же благоприятствовали его планам. Благодаря мудрому управлению Верреса пираты осмелели и дрейфовали у самых берегов Сицилии (*II*, 4, 103). Сицилийцы не сомневались, что Веррес с ними в приятельских отношениях: кажется, он спас самого архипирата<sup>[47]</sup>. Могут ли после этого разбойники отказать ему в такой ничтожной услуге — потопить в море какого-то бывшего квестора?

Нет, морем ехать нельзя. Это ясно. Значит, надо ехать сушей через юг Италии. Но там только что отшумело восстание Спартака. Весь юг кишел

беглыми разбойниками. Пробиравшись через этот край было опасно. Но была опасность и другого рода. Сицилийцы рассказали Цицерону, что Веррес грубо оскорбил одного старого римлянина, жившего в Сицилии, некого Лоллия. У него был сын, молодой, энергичный человек. Узнав об этом, он вспыхнул от гнева и поклялся, что привлечет наместника к суду. Но он не добрался до Рима. Его зарезали по дороге. Убийство свалили на беглых рабов, но сицилийцы не сомневались, что это дело рук их бывшего наместника (II, 3, 59–63). Они заклинали оратора быть осторожным — если уж убили Лоллия, то с каким же рвением будут охотиться за обвинителем, в чьих руках такие страшные улики против Верреса! И, даже если он и избежит смерти, разве трудно задержать его, затеять драку, оглушить, ранить, словом, надолго вывести из строя. Ведь этого будет довольно. Стоит ему опоздать хоть на день, и Веррес спасен. Нет, сушей ехать тоже нельзя. Но как же быть? Не по воздуху же мчаться в Рим? И Цицерон нашел выход.

Он прибыл в Мессану и сел на корабль, отправляющийся в Регий. Сойдя на берег, он продолжал путь по суше. Он был уверен, что шпионы Верреса, следившие за каждым его шагом, немедленно донесут своему патрону, что Цицерон едет сушей. И тогда на пути его ждет засада. Доехав до Ви-бона, Цицерон вдруг резко изменил маршрут и устремился в гавань. Там он нанял маленькое неприметное рыбацье судно и велел править к Велии. Я, говорил он впоследствии Верресу, пробирался «на крошечном суденышке... между беглыми рабами, морскими разбойниками и твоими убийцами». Да, я подвергался смертельной опасности. Но я думал только об одном — только бы дело не сняли с очереди (II, 2, 99). Наконец вдали показался берег. Его маленькая лодочка, лавируя в море, причалила в порту Велии. И вот Цицерон, живой и невредимый, возбужденный и счастливый, вступил в Рим. 4 мая ровно в назначенное время он явился к претору. Цицерон полагал, что теперь-то победа в его руках. Увы! В столице его ждал страшный удар. Я понял, говорит он, что все опасности, которым я подвергался на суше и на море, пробираясь между убийцами, меркли перед тем, что ждало меня в Риме (I, 3).

Если читатель помнит, Цицерон получил свой мандат 10 января и попросил на предварительное следствие 110 дней. Так вот, на другой же день, 11 января, к претору пришел какой-то человек и заявил, что хочет возбудить дело против наместника Ахайи и ему нужно на следствие 108 дней. Таким образом, слушание его дела началось 3 мая, то есть на день раньше, чем должно было открыться дело Верреса. Поэтому, когда Цицерон вернулся, оказалось, что суд занят другим процессом, причем по

всему было видно, что процесс этот затянется на много месяцев. То был первый страшный удар для Цицерона. Он, разумеется, сразу понял, что человек этот был агентом Верреса. Все было шито белыми нитками. В то время как Цицерон носился по Сицилии, обвинитель ахайского наместника спокойно сидел в римских пивных. «Наш ахайский следователь не доехал даже до Брундизия<sup>[48]</sup>» (I, 6).

Пока Цицерон в бессильном отчаянии следил за бессмысленным процессом, Веррес приступил ко второй операции. Он занялся подкупом судей. Операция прошла блестяще. Но... тут, в свою очередь, Верреса ждала неожиданность. Он и не подозревал, что обвинитель наблюдает за каждым его шагом. А так как его невероятная наглость уравновешивалась тоже из ряда вон выходящей глупостью, он абсолютно не умел держать язык за зубами. Набредя на какую-нибудь блестящую идею, он с торжеством рассказывал о ней всем друзьям и знакомым. И когда Цицерону как обвинителю предоставили право отвода судей, он отвел всех тех, кого купил Веррес. Верреса это страшно поразило. Он помрачнел как туча (I, 5; 16–17).

Впрочем, Цицерону тоже не приходилось радоваться. Его все более и более окутывал мрак. Злополучный процесс ахайского наместника все тянулся и тянулся, и конца ему не было видно. Прошел май, прошел июнь, настал июль. И тут последовал новый удар. В июле проходили выборы магистратов. Первый тур — избрание консулов; второй тур — преторов; третий — младших магистратов. Все в доме Верреса пришло в движение. Туда и сюда сновали какие-то люди, с вечера до рассвета в комнатах горел свет, шли жаркие совещания, из дома выносили огромные корзины, доверху наполненные золотом (I, 22–23).

Результаты этой бешеной деятельности не замедлили сказаться. Консулами на следующий, 69 год были избраны Квинт Гортензий, защитник Верреса, и Метелл, его патрон и горячий защитник, брат того самого наместника Сицилии Метелла, который причинил столько хлопот Цицерону. Когда Гортензий возвращался с выборов, окруженный огромной толпой народа, у Фабиевой арки им встретился Курион, один весьма влиятельный человек. Поравнявшись с праздничным шествием, он остановился и громко поздравил... Верреса. Да, да. Он поздравил не Гортензия, а Верреса, который тоже важно шел среди толпы.

— Теперь тебе не о чем беспокоиться, — громко сказал Курион, прижимая Верреса к груди. — В сегодняшних комициях ты оправдан.

Цицерона не было в этой толпе. Но приятели немедленно отыскали его и наперебой принялись рассказывать ему о происшедшем. Этого мало.

Едва наш герой выходил из дому, каждый встречный кидался к нему и, захлебываясь, сообщал последнюю новость (*I, 18–19*).

Настал второй тур. Одним из преторов выбирают третьего Метелла. Бросают жребий. И что же? Именно Метеллу достается председательство в судах о вымогательстве, то есть именно он будет разбирать дело Верреса! Случайность? Что-то уж очень удачная случайность! Тут уж Верреса буквально завалили поздравлениями. Он сам на радостях немедленно послал жене записку — все в порядке, готовь бокалы (*I, 21*).

Настал третий тур. В этом туре собирался баллотироваться сам Цицерон. Он выставил свою кандидатуру с эдилы. Как всегда, он знал все, что происходило за стенами дома Верреса. Ночью бывший наместник созвал своих эмиссаров и объявил, что Цицерона нужно завалить. Произошло некоторое замешательство. Агенты качали головами. Они стали говорить, что Цицерон страшно популярен, причем знает его не только весь Рим, но и вся Италия. Она отдаст ему свои голоса. Но тут выступил вперед один очень опытный делец. То был старый воин, поседевший в дружинах отца Верреса, знаменитейшего раздатчика взяток на выборах.

— Берусь, — заявил он, — за полмиллиона.

Наутро Цицерон уже знал всё. Но что толку? Он был бессилен. Грозить этим людям судом он не мог — они прекрасно понимали, что он связан по рукам и ногам процессом Верреса. Заниматься предвыборной кампанией он всерьез тоже не мог: все его мысли, все его силы были отданы тому же процессу. А против него двинуты были сицилийские корзины.

В таких обстоятельствах настал третий тур. Результаты его были несколько неожиданны. Эдилом выбран Цицерон, причем выбран блестяще, абсолютным большинством голосов (*I, 23–24*). То была единственная неудача Верреса на выборах. Но дела она уже не меняла. Конечно, Цицерону было очень радостно сознавать, что он так любим в Риме и по всей Италии. Но на судьбу процесса это — увы! — уже не влияло. И тут на Цицерона обрушился последний удар.

Его официально уведомили, что слушание его дела назначено на секстильские ноны (5 августа). Теперь, наконец, план Верреса был ясен как день. Теперь стало ясно, зачем он так озабочен был выборами консулов и преторов на следующий год. 16 августа открывались знаменитые долгожданные игры Помпея. Они должны были продолжаться до 1 сентября. Всего через три дня, 4 сентября, начинались Римские игры, которые заканчивались только 19 сентября. Таким образом, у Цицерона отняли три спокойных месяца. Он получил всего десять дней, с 5 по 15

августа. Отвечать на его речи Гортензий будет через 40 дней, когда все их уже забудут, когда их вытеснят из памяти блестящие игры Помпея, которыми уже сейчас бредит вся Италия. Но это еще не все. Теперь задача Гортензия немного потянуть время — а опытному адвокату это ничего не стоит. В конце октября начинается новая серия праздников: с 26 октября по 1 ноября — игры Виктории, с 4 по 17 ноября — Плебейские игры. А там уж декабрьские Сатурналии и Новый год. К этому времени процесс, который столько раз прерывали, переносили и откладывали, окончательно всем надоест (*I, 31–32*). Но главное даже не это. С нового года Гортензий и Метелл станут главами государства. Процесс перейдет в руки второго Метелла. Он же займется подбором судей. Они с Верресом уже намечали, кого и кем заменить. Это было невозможно при сегодняшнем преторе Мании Глабрионе, человеке принципиальном и порядочном<sup>[49]</sup>. Словом, Веррес действительно уже оправдан.

Он теперь гордо расхаживал по Риму и с великой важностью говорил:  
— Недаром любил я деньги; какую силу они имеют, узнал я на деле. Самая трудная часть задачи выполнена — я купил время судопроизводства (*I, 8*).

И в самом деле. Деньги оказались всесильны. Друзья Верреса в своем кружке глумились над Цицероном. И разве не смешон был он, этот Дон Кихот, который, вооружившись хрупким копьем — силой слова, — выехал на бой с несокрушимыми мельницами — властью денег. Со смехом вспоминали они, как он, не зная покоя, носился по Сицилии в дождь и в бурю, как в утлой лодочке переплывал море — и для чего? Цицерон не мог спокойно выйти на улицу. Его тотчас окружала толпа доброжелателей, которые, охая и качая головами, выражали соболезнование и сочувствие. Особенно терзали его сицилийцы. Они метались по городу, ловили все слухи, в полной панике вновь бежали к Цицерону, так что у того наконец голова пошла вихрем.

Оратор был подавлен, но старался держаться мужественно. «Я старался затаить свою грусть, старался скрыть следы печали на своем лице, скрыть их своим молчанием» (*I, 21*). Что процесс уже проигран, ясно было и ребенку.

В разговоре с Манием Глабрионом Цицерон позволил себе едкую и горькую шутку. Он сказал, что, наверно, скоро в Рим явятся делегации от всех провинций с просьбой отменить закон о вымогательстве. Ведь, не будь этого закона, каждый наместник воровал бы столько, сколько нужно для него самого и его детей. А теперь он ворует для целой коллегии адвокатов, претора и судей (*I, 41*).

Да, власть денег оказалась страшнее, чем власть Суллы. Наглядно было продемонстрировано, как ум, энергия, талант, красноречие — все разбивается об эту гладкую и несокрушимую скалу.

### *Секстильские ноны. Развязка*

Открытие суда почему-то было назначено на два часа дня, самое жаркое время, когда в южных городах наступает сиеста и люди спешат укрыться в свои дома от жгучих лучей полуденного солнца. Цицерон знал, что народу будет много. Но даже он не ожидал такого столпотворения. На Форум пришли необозримые толпы народа (*Verr.*, 14). Дело Верреса вызывало жгучий интерес. Только о нем в последнее время и говорили. В Рим прибыли чуть ли не все жители Италии. Целые города в полном составе пришли в тот день в столицу. Что до сицилийцев, то римлянам казалось, что их благодатный остров совсем опустел и все жители переселились к ним (*I*, 20). Вся эта колоссальная пестрая толпа хлынула в день суда на Форум. Все скамьи были заняты. Люди сидели на ступенях храмов, портиков, просто на земле, стояли, прислонившись к колоннам, под палящими лучами солнца.

Народ волновался и рокотал, как море. Среди зрителей ходили разные слухи. Многие жалели Цицерона.

— Верреса, — говорили они, — у него из рук, конечно, вырвут (*I*, 20).

Другие с уверенностью говорили, что Веррес снова подсылал своих людей к Цицерону и на сей раз предложено было столько, что он не устоял (*I*, 17). И все — греки, римляне, итальянцы — горячо и возбужденно спорили и обсуждали.

Наконец появился Веррес, по обыкновению самоуверенный и наглый. Его окружала целая толпа влиятельных людей. Веррес уселся на скамью подсудимых, а его спутники сели на первую скамью, чтобы своим молчаливым сочувствием поддерживать его во время суда. Явился защитник Гортензий, как всегда, модный, импозантный, эффектный. Явился бледный как смерть, обвинитель и опустился на противоположную скамью. Претор Глабрион сделал знак глашатаю. Тот потребовал тишины и объявил, что заседание открыто и слово предоставляется официальному обвинителю Марку Туллию Цицерону.

Цицерон встал и поднялся на Ростры. По толпе прошел вздох. Всё смолкло. И в наступившей тишине, столь резко диссонирующей с недавним шумом, обвинитель заговорил. И сказал он совсем не то, что все ожидали.

Вместо пламенных обличений и картинных сетований Цицерон рассказал о событиях последних семи месяцев — о том, как у него отняли время суда, как купили магистратов на следующий год и как поставили его в безвыходное положение. Рассказывал он кратко и ярко. После этого он оборотился к присяжным.

— Успело установиться убеждение... будто... нельзя добиться осуждения богатого человека, как бы ни были велики его преступления. И вот... в суд является в качестве подсудимого Гай Веррес, человек, заранее осужденный... за свою жизнь и поступки, заранее оправданный благодаря своему огромному богатству... Я привлек к суду разбойника в чине городского претора... Но если огромные богатства подсудимого возьмут верх над совестью и честью судей, — я достигну одного, будет доказано, что... государство лишено судей... Теперь все находятся в напряженном ожидании — они хотят убедиться, останется ли каждый из нас верным голосу чести и чувству долга... Вы будете судить обвиняемого, а римский народ — вас (*I, 3; 47*).

Затем он обернулся к Верресу, Гортензию и их друзьям.

— Я твердо решил не допускать в этом процессе перемены претора и судей. Я не позволю тянуть дело... Я не соглашусь, чтобы мне отвечали через сорок дней, когда... пункты моего обвинения успеют испариться из памяти... Место моей речи займут документы, свидетели, общественные и частные письма... Кто не желает лишиться удовольствия выслушать связную речь, тот пусть подождет до второй сессии; теперь же... он поймет, что я должен был так поступить. Такова будет моя обвинительная речь в первой сессии. Итак я утверждаю, что Гай Веррес... отнял у сицилийцев 40 миллионов сестерциев. Это положение я докажу на основании свидетельских показаний, общественных и частных писем и городских депутатий... А пока я кончил (*I, 33; 53–56*).

С этими словами он указал на своих спутников. То была огромная разношерстная толпа — тут были сицилийцы, италийцы, римляне, мужчины, женщины и даже несколько детей с воспитателями. И вся эта огромная толпа явилась свидетелями против Верреса.

Выступление Цицерона произвело на его противников впечатление разорвавшейся бомбы. В отличие от Верреса Цицерон умел хранить свои планы в строжайшей тайне. Никто и подозревать не мог, что он решится на такой шаг. Растерянный защитник поднялся со своего места и начал было говорить, что обвинитель действует незаконно и наносит урон защите. Цицерон спокойно отвечал, что, напротив, ущерб наносится только ему самому — он жертвует своей ораторской славой, он отказывается от

заготовленной речи и сам ужимает свое выступление. А в рамках обвинения он волен действовать как угодно. С этими словами он приступил к опросу свидетелей.

Здесь Цицерон во всем блеске обнаружил еще один свой замечательный талант. Он был великий мастер в опросе свидетелей, этой труднейшей части адвокатского выступления. Как искусный режиссер, направлял он их речи по нужному пути. Он умел так ставить вопросы, так их комментировать, с молниеносной быстротой сопровождать их такими выразительными и краткими репликами, что каждое показание начинало блистать как бриллиант. Порой сама сбивчивость и бессвязность их рассказа служила ему аргументом в их пользу. Она свидетельствовала о их волнении, страданиях, безыскусности. О, они буквально не могут говорить от всего пережитого! Часто какой-нибудь одной прочувствованной фразой, одним взглядом, полным скорби, он заставлял свидетеля заплакать. И тогда его омытое слезами лицо служило лучшей уликой для судей.

— Этот старец с всклокоченными волосами и в траурной одежде — это Стений Термитанский. Ты опустошил весь его дом... Этот другой, которого вы видите, — это Дексон; он не требует у тебя обратно того... что ты украл у него... несчастный отец требует, чтобы ты вернул ему единственного сына... Этот столь древний старик — Евбулид; на закате своих дней от отправился в столь дальний и трудный путь не с тем, чтобы получить обратно что-нибудь из своего имущества, а с тем, чтобы видеть тебя осужденным теми же глазами, которыми он видел окровавленную голову своего сына (*II, 5, 128*).

Наконец Гортензий пришел в себя и попытался было возражать, попытался сбить свидетелей, как обыкновенно делают адвокаты. Но его жалкие возражения буквально сметала лавина свидетельских показаний. «Я добился того, что в один тот час... подсудимый при всей своей дерзости, при всем своем богатстве... должен был проститься с надеждой». Он был «засыпан и задавлен обвинениями» (*II, 1, 20*). Наконец-то Цицерон был вознагражден за все муки — он видел, с каким неотрывным вниманием все глаза обращены на него; с губ срывались то сдавленные вздохи, то взрывы проклятий. Собиралась буря. Когда же речь пошла о казнях капитанов, послышались рыдания и всхлипывания. Цицерон взгляделся в толпу — и у судей, и у зрителей лица были мокры от слез (*II, 5, 172*). И тогда он заговорил о Гавии, римском гражданине, распятом на берегу моря. И тут слезы разом высохли. Народ заревел. Веррес побелел, встrepенулcя и вскочил, дрожа как осиновый лист.

— Он не был гражданином! — завопил он в ужасе. — Он только

называл себя гражданином! Он был шпион!

Но было уже поздно. Его слова потонули в неистовом реве толпы. Буря грянула. Народ в дикой ярости кинулся на Верреса. И тогда Глабрион вскочил и закричал, что заседание закрыто. Он не был другом обвиняемому, но свято чтит законы и считал, что дела не должны решаться кулачным правом. Под прикрытием ликторов и служителей Веррес помчался домой.

На другой день он на суд не явился. Было объявлено, что подсудимый внезапно занемог (*II, 1, 20*). Не явились и его именитые покровители. Они сгорали от стыда, что их втянули в такую грязную историю. Цицерон же продолжал опрос свидетелей до самых игр Помпея.

Оратор ликовал. Он победил! Однако это был еще не конец. Такие важные дела в Риме проходили в две сессии. Если речь шла о гражданской смерти, собиралось два суда с разным составом присяжных. И только после осуждения вторым судом дело считалось законченным. И Цицерон лихорадочно готовился ко второй сессии. Он был так окрылен успехом, что заявил — если новый суд во главе с новым претором и купленными консулами оправдает Верреса, он не смирится. Он воззовет к старинному, почти забытому закону, созовет весь римский народ и ему вручит судебные полномочия (*II, 5, 151*). С беззаконием он не примирится!

— Советую поэтому людям, намеревающимся показать на этом подсудимом свое могущество или... свою ловкость в подкупе судей... быть осторожными, помня, что им придется предстать в качестве подсудимых, причем их обвинителем буду я, а их судьей — римский народ (*II, 5, 183*).

Он открыто бросил вызов власти денег.

— Вот уже много лет, как мы равнодушно смотрим на переход всех богатств, которыми некогда владели народы, в руки немногих людей; это наше равнодушие еще ярче освещается развязностью хищников (*II, 5, 126*).

Однако все это оказалось ненужным. Случилось из ряда вон выходящее событие. Второй сессии не было. Впервые в истории Рима. Веррес признал себя виновным и удалился в изгнание до второго суда. Он не дождался вступления в должность ни купленных за такие деньги консулов, ни претора<sup>{28}</sup>.

\*

Дело Верреса вознесло Цицерона до небес. Сицилийцы были в бурном восторге. Они не знали, как выразить признательность своему мужественному защитнику. Они непременно хотели осыпать его золотом и

самыми дорогими подарками.

Древний римский закон запрещал оратору брать деньги за свое выступление. Наградой ему должны были стать благодарность и уважение сограждан. И я не сомневаюсь, что ораторы старого времени этого закона не нарушали. Выступали они с судебными речами нечасто. Двигали ими жажда славы, дружба или ненависть. Каждая речь была для них новой ступенью на лестнице почета. Иное дело Цицерон. Он выступал чуть ли не ежедневно. Мы видим из писем, что он всегда занят либо подготовкой дела, либо выступлением. Это для него была настоящая работа, причем работа очень тяжелая. Трудно представить, что он не получал за нее гонорара. Кроме того, мы знаем, что наш герой был очень небогат, когда появился в Риме. Далее его имущество постепенно растет. И к 50-м годам он предстает перед нами достаточно состоятельным человеком. Между тем у него не было родовых имений, он не занимался коммерцией, торговлей, спекуляциями. Ясно, что единственным источником дохода была для него его адвокатская практика. Поэтому несомненно, что он брал деньги за свои речи. Но на сей раз он решительно отказался от всех подарков. Вероятно, ему казалось бесчестным брать что-нибудь у и без того ограбленных людей. Кроме того, такой отказ придавал всему делу еще большее благородство и красоту. А к этому оратор всегда был очень чувствителен.

Итак, дело Верреса было закончено. Между тем Цицерон приготовил уже пять речей, которые собирался произнести во второй сессии. Теперь они были не нужны. Их можно было уничтожить, как мы уничтожаем черновики и старые счета. Но Цицерон поступил со своими речами иначе. Он их опубликовал. Иногда современные историки с недоумением спрашивают, зачем он это сделал. Некоторые как будто даже видят в этом чрезмерное себялюбие и хвастовство. Другие возражают, что Цицерон сражался не с отдельным лицом, а с принципом. Ведь и по сей пору имя «Веррес» стало синонимом бесчестного наместника.

Для меня сам этот вопрос представляется бессмысленным. Цицерон был писателем. Он написал чудесное, увлекательное произведение. А мы спрашиваем: зачем он его издал? И оратор даровал своему герою бессмертие. Прошло сто, двести лет. Имена современников Цицерона стали уже стираться из памяти. Люди забыли и тогдашних трибунов, и преторов. Но Верреса не забывали никогда. Он был для римлян таким же живым человеком, как для нас Собакевич или Ноздрев. Они зачитывались этим романом. Поколения римлян смеялись до слез, представляя себе Верреса на пляже, и плакали, читая о капитанах. Что же касается Гавия, римского гражданина, распятого на берегу моря, его ожидала удивительная судьба.

Гомер говорит о погибших героях:

Боги назначили эту судьбу им и выпряли гибель  
Людям, чтоб песнями стали они и для дальних потомков.

*(Hom. Od., VIII, 579–580)*

То есть страдания их преобразились в бессмертную красоту. Греческий миф рассказывает, что Ниоба, потеряв всех своих детей, превратилась в прекрасную статую. Она вечно стоит и льет слезы, а люди вечно плачут над ее горем и восхищаются ею. И им и больно, и сладостно. Нечто подобное в сознании римлян произошло с Гавием. Время остановилось. Сцена застыла. На берегу Сицилии у ласкового моря вечно стоял черный крест, умирающий вечно глядел с тоской на Италию, вечно слышались стоны и угрозы.

Авл Геллий, римский ученый, живший во II веке н. э., то есть почти через 300 лет после Цицерона, описывает, какое впечатление производил на него рассказ о Гавии. «Какое там горе! Какой плач! Какая картина всего этого стоит перед глазами! Какое море ненависти и горечи бушует! Ей-богу, когда я читал эти слова Цицерона, передо мной словно носились видения, мне слышались шум ударов, крики и рыдания... Кажется, будто не рассказ слышишь, а все видишь своими глазами». И он цитирует это место — Веррес с яростью, с искаженным лицом приказывает привести на площадь Гавия. Его, говорит Геллий, здесь охватывала дрожь. Замечательно в этом отрывке Геллия еще одно. Он цитирует речь Цицерона по памяти! Он даже извиняется, что, быть может, слегка исказил ее (*Gell, X, 3*).

Геллий сравнивает эту речь Цицерона с речами его знаменитых предшественников Катона Старшего и Гая Гракха. Он отдает им дань восхищения. Их речи ясные и яркие, они написаны прекрасным слогом. Но это просто речи. А у Цицерона перед нами встают живые картины происходящего. Иными словами, тут уж не оратор, а великий писатель.

\*

Многие современные ученые, представляющие себе Цицерона человеком слабым, робким, нерешительным, даже трусливым, с недоумением останавливаются перед делами Росция Америкского и Верреса. Здесь перед нами словно совсем другой Цицерон — безумно

смелый, энергичный, находчивый, никогда не теряющий присутствия духа. Не в силах примирить оба эти образа, некоторые довольно неловко пытаются все отрицать. Выступать против Хризогона, говорят они, было совершенно не опасно. (Это при Сулле-то! После неслыханного террора!) А речи против Верреса — это просто стрельба из пушек по воробьям. А этот воробей был мультимиллионером! Между тем Цицерон с необыкновенной отвагой поднялся против двух самых могущественных и страшных вещей — военной диктатуры и власти денег. Нет, так легко от этого отмахнуться нельзя. Как же объяснить такое вопиющее противоречие?

На мой взгляд, объяснение просто.

Представим себе какого-нибудь великого полководца, хоть Наполеона. Кто-то посетил его на досуге и вдруг увидел перед собой человека, описанного Толстым. Смешного, напыщенного, капризного, с опухшим от насморка лицом. Зритель возмущен и проникается убеждением, что знаменитый Наполеон — просто дутая фигура, а все слухи о его победах — ложь и обман. Но если бы он увидел того же Наполеона на поле боя, он был бы поражен его энергией, находчивостью, присутствием духа, гениальной стремительностью.

То же относится к Цицерону. Когда мы читаем его речи, перед нами предстает гениальный полководец на поле боя. Он все предвидит, ничего не страшится, он смел, он непобедим. А в его письмах мы видим того же полководца на досуге. И каком досуге! Работа Цицерона была не просто тяжелой. Она выматывала все его силы. Напряженная подготовка в течение многих дней, страшное волнение перед процессом и потом сама речь. Он то пылал от гнева, то сердце его разрывалось от скорби. Он должен был зажечь весь Форум и заставить его рыдать. И при этом он ни на секунду не терял бдительности — ему нужно было мгновенно отвечать и свидетелям, и обвинителю. Естественно, он приходил домой совершенно разбитым и опустошенным. Как у многих актеров, у него наступала хандра. Он тосковал, жаловался на судьбу. И трудно угадать в этом усталом человеке того великого стратега, который покорил Форум.

Этого мало. Что-то случилось с самим Гортензием. Он стал деградировать на глазах. «Он начал выцветать, как старинная картина», — говорит Цицерон. Сам оратор объясняет это тем, что Гортензия оставило стремление к совершенству, эта страсть, которая жжет любого творца. Ведь истинный художник, творец, не похож на прочих людей. Те приходят со службы и вкушают законный отдых. Творец же не знает ни отдыха, ни покоя. Его рабочий день не нормирован. Его труд не кончается никогда, ни

днем ни ночью.

Вот этот-то внутренний огонь потух в Гортензии. Он захотел пожить, как все прочие, беззаботно, в свое удовольствие. И он начал застывать. Все те же позы, те же патетические тирады, те же шутки из речи в речь. Сначала эту перемену замечали только тонкие ценители. Но прошло несколько лет — и уже все поняли, что перед ними не тот человек: упоительный, божественный Гортензий исчез навек (*Brut.*, 320–321). Я думаю, однако, что причиной было его поражение в деле Верреса. Замечательно, что Цицерон именно этим годом датирует начало его деградации. Гортензий никогда не мог оправиться от удара, нанесенного молодым противником. Он был выбит из седла, и что-то в нем навеки сломалось. До сих пор он был королем и жестоко бился, чтобы удержать это имя. Он чувствовал себя великим, он знал, что все взоры прикованы к нему, и это придавало ему силу и энергию. А сейчас? Все восторги, все лавры неизбежно достанутся его более молодому сопернику. Он навеки обречен на вторые роли. И у него опустились руки. Внешне, правда, он был такой же надменный, но внутренне он смирился и перестал работать над собой. А Цицерон между тем ни на минуту не останавливался, ни успокаивался на достигнутом, работал все усерднее, все пламеннее, и вот он уходил все дальше и дальше, он уже давно обогнал Гортензия, и тот потерял надежду его догнать. Вскоре он совсем скрылся из виду.

\*

Цицерон вел дело Верреса с невероятной энергией и энтузиазмом. Однако чем дальше, тем больше чувствовалось, что им овладевает какое-то утомление. Не то чтобы он не вынес всего этого страшного напряжения, усталости, бессонных ночей. К такой жизни Цицерон привык, без нее он себя не мыслил и впадал в тоску. Нет, тут другое. *Он устал от роли обвинителя!* Свою речь он заканчивает удивительной молитвой. Он обращается к Юпитеру Всеблагому и Величайшему, к Юноне, царице небесной, к Минерве, к Аполлону и ко всем прочим богам и богиням. Он молит их наказать чудовищного преступника и святотатца. «Для себя же, наконец, я прошу, чтобы государство и моя совесть могли довольствоваться одним этим моим обвинением и чтобы отныне я имел возможность защищать добрых людей, избавившись от необходимости обвинять злых» (*Verr.*, II, 5, 184–189).

Его молитва была услышана. Он покончил навеки с ролью обвинителя и с радостью вернулся к защитительным речам.

### Снова защитник

Вряд ли следует говорить, кто занял опустевший трон «Короля судов». Квинтилиан пишет о Цицероне: «Современники говорили, что он *царил в судах*» (X, I, 112; курсив мой. — Т. Б.). Итак, он воцарился вместо Гортензия. Если и прежде Цицерона осаждали толпы просителей, можно себе представить, что делалось теперь! Люди не жалели ни сил, ни средств, чтобы заполучить этого божественного, непобедимого оратора. Цицерон выступал теперь едва ли не ежедневно. Он был, возможно, первым профессиональным адвокатом в истории. И он как раз объясняет нам психологию адвоката и те правила поведения, которыми он руководствуется.

Начнем с того, что многих удивляют имена клиентов Цицерона. Ровно через год после процесса Верреса он защищал наместника, на которого жаловались жители провинции (дело Фонтеля). Положим, наместник этот, кажется, не был вором и мошенником<sup>[50]</sup>, но все же у всех современных поклонников Цицерона остается в душе какой-то неприятный осадок. Цицерон, этот смелый обличитель Верреса, этот великодушный защитник провинций, вдруг защищает их притеснителя! Этого мало. Он собирался защищать... Каталину. Да, да, Каталину. В своих письмах он приводит какие-то тонкие политические соображения, оправдывающие подобный поступок — Катилина-де будет его поддерживать на выборах (*Att.*, I, 7, 2). Но соображения эти не выдерживают ни малейшей критики. Каталина был главным соперником Цицерона на выборах. В интересах оратора было добиться его изгнания или во всяком случае так опозорить, чтобы он сошел с политической арены. В Риме очень часто кандидаты возбуждали друг против друга судебные процессы, но вот чтобы они защищали своих соперников, этого еще не бывало.

Ученые приходят в отчаяние от такой чудовищной непоследовательности Цицерона. Между тем он был последователен. Он *защищал всех*. И все адвокаты по сию пору поступают точно так же, за что их сурово осуждают моралисты. Однако им можно возразить, что подобно тому как настоящий врач должен оказывать помощь любому, последнему негодяю и преступнику, и не жалея сил, иногда даже с риском для жизни должен бороться за его трижды никчемную жизнь, так и адвокат видит

свой долг в том, чтобы помогать любому человеку, пусть даже преступнику. Цицерон сам признавался в конце жизни в произведении, которое являлось как бы его предсмертным завещанием и было адресовано сыну: «Нужно признать согласным с совестью защищать иногда виновного, если только это не злодей или нечестивец... Долг судьи в процессе всегда следовать истине, долг же защитника — отстаивать подчас нечто похожее на истину, даже если это и не вся истина» (*De off.*, II, 57).

Цицерон здесь сильно смягчил действительность. Он защищал и злодеев, и нечестивцев<sup>[51]</sup>. Он защищал своих личных врагов. «Он с величайшим усердием защищал Авла Габиния, хотя тот в свое консульство изгнал его из города» (*Val. Max.*, IX, 2, 4). «Отказывать в своей поддержке людям, находящимся в опасности, я не имею права», — говорил он (*Mur.*, 8). А раз он защищал подчас заведомо виновных людей, ему волей-неволей приходилось прибегать к различным уловкам и адвокатским приемам. Он рассказывает, например, как защищал перед судьями человека, в чьем преступлении он не сомневался. «Я так ожесточенно боролся, так напрягал свои силы, так неутомимо отыскивал все закоулки, все лазейки, какие только мог... Но за какое оружие я ни хватался — тотчас же обвинитель вырывал его у меня из рук» (*Cluent.*, 51–52).

Все помнят, как у Достоевского адвокат Фетюкович — известно, что за этим именем скрывается знаменитый Спасович, — защищая Дмитрия Карамазова, прозрачно намекает, что не считает особым преступлением убить отца, если это был дурной и безнравственный человек. Между тем наверняка сам адвокат в частной жизни пришел бы в ужас от подобной мысли. Точно так же было и с нашим героем.

Он не только вел всегда жизнь скромную и строгую, но во всех своих сочинениях горячо осуждал порок. Философы-эпикурейцы, которые ценили выше всего наслаждения, вызывали у него почти физическое отвращение. Но вот он защищает известного мота, кутилу и развратника Целия Руфа. И сразу же выясняется, что высокие добродетели и воздержание совершенно устарели в наш век. Даже книги, в которых о них писалось, покрылись пылью и сами превратились в пыль. В наше время люди ценят одни удовольствия и самые прогрессивные философы, эпикурейцы, даже учат, что главное в жизни — это наслаждения (*Cael.*, 39). Всем известно, как Цицерон громил в речах Каталину. Но проходит несколько лет и ему выпадает защищать одного бывшего катилинария. Оратор и так и этак оправдывал своего клиента и в конце концов оказалось, что Каталина был, в сущности, милейший человек (*Cael.*, 12–14). Он всю жизнь выше всего ценил мирную деятельность и служение наукам.

Военная служба всегда казалась ему грубой. Но вот он защищает воина. Обвиняет его ученый юрист, близкий друг самого Цицерона. Этот юрист повторяет слова, которые так часто говорили они с Цицероном в дружеских беседах. Он «высмеивает военную службу» и считает достойными только «те занятия, которым мы посвятили свою жизнь». Боже мой! Какую бурю обрушивает на его голову Цицерон! Как можно сравнивать деятельность ученого-крючкотвора, который всю жизнь строчит жалобы, со славными трудами полководца! «Да и вообще — уж позволь мне быть откровенным — военная доблесть все затмевает» (*Mur.*, 21–22).

Вот почему сам Цицерон говорит: «Грубо ошибается тот, кто наши судебные речи считает сводами наших убеждений: все они органы обстоятельств и сторон дела, а не самих поверенных как людей. Если бы стороны могли сами говорить за себя, никто бы не приглашал ораторов, если же нас приглашают, то не для того, чтобы мы излагали наши собственные воззрения, а для того, чего требует само дело и интересы сторон» (*Cluent.*, 139). Адвокат, таким образом, лишь голос обвиняемого. Если бы тот обладал умом и великим искусством, он сказал бы то, что говорит теперь его защитник.

Но пусть читатель не заключит из моих слов, что герой наш защищал только преступников. Сотни раз он спасал от гибели невинного и, как мы уже говорили, ему доставляло особое наслаждение сознавать, что он вырвал несчастного из когтей злодеев.

Дела Цицерона разнообразны и блистательны. Но среди них есть одно, которое буквально приковывает к себе читателя. Он защищал человека невинного, опутанного клеветой и поистине попавшего в дьявольские сети. Человек этот с детства очутился в руках убийц. Дело это мрачное и зловещее. Оно напоминает готический роман. Это кровавая семейная драма, разыгравшаяся в крохотном захолустном городке Италии. Страшная и в то же время захватывающая история, полная загадочных убийств и тайн. Поистине *этюд в багровых тонах*, который сам оратор считал одним из самых своих лучших дел.

### ***Кровавый ларинский детектив.***

### ***Дело Авла Клуэнция (66 год)***

В 74 году весь Рим был взволнован следующими событиями. На юге

Италии, в области самнитов, близ Адриатического побережья, был маленький городок Ларин. Из этого захолустного, Богом забытого городка приехали в столицу двое граждан, чтобы вести тяжбу. Речь шла о какой-то местной жреческой коллегии. Один из них, Альбий Оппианик, доказывал, что служители ее — полноправные граждане; другой, двадцатидевятилетний Авл Клуэнций Габит, по поручению своей общины отстаивал противоположное мнение. Выступали они часто и весьма горячо, но вряд ли это мелкое дело могло особенно заинтересовать кого-нибудь в Риме. Вдруг один из тяжущихся, Клуэнций, заявил, что противник пытался его отравить и он поймал его с поличным. Созвали суд. Присяжные, рассмотрев все улики, признали Оппианика виновным, и он приговорен был к высшей мере наказания в римском суде, то есть к изгнанию. Но неожиданно дело приняло совсем другой оборот.

Защищал Оппианика некий Квинкий. Это был народный трибун, пламенный демократ, очень популярный на Форуме. И вот этот человек сразу же после суда заявил, что у него есть неоспоримые улики, доказывающие, что Клуэнций подкупил присяжных и таким образом добился осуждения врага. Прошло несколько бурных народных собраний. Все обвинения трибуна — увы! — подтвердились. Рим был вне себя от возмущения. Скандал был ужасный. Этот суд — председательствовал им Юний, а потому он назван был *Юниев*, — вошел в поговорку как символ бесчестного, продажного суда. Форум кипел. Клуэнций уехал в Ларин опозоренный, облитый грязью, с отвратительным клеймом человека, купившего присяжных и погубившего невинного. Но дело пересмотрено не было и несчастный Оппианик удалился в изгнание.

Прошло восемь лет. Память о преступном суде и преступном Клуэнции еще была свежа, когда последовало неожиданное продолжение. Из того же Ларина в Рим явился молодой человек с жалобой. То был сын злосчастного Оппианика. И тут перед потрясенным Римом открылись новые неслыханные злодеяния.

Оказалось, что Оппианик был отчимом Клуэнция. Изгнанный неправым судом, он скитался по Италии вместе с Сассией, матерью Клуэнция. Эта женщина делила с мужем все невзгоды и страдания. Однажды в каком-то доме изгнанник съел кусок хлеба и почти тотчас умер. Несчастливая вдова воротилась в Ларин. Каковы же были ее ужас и негодование, когда через несколько лет из показания рабов она узнала, что ее муж был отравлен, причем отравлен ее сыном! Негодование заглушило в ней все остальные чувства. Она открыла все юному Оппианику, сыну покойного от другой жены. Молодой человек решил покарать убийцу отца,

но, когда он уже собирался выступить с обвинением, произошло новое преступление.

Оппианик Младший в то время был женихом. Свадьбу он отпраздновал чрезвычайно пышно. На пир приглашен был чуть ли не весь Ларин. И вот среди свадебной суматохи, когда гости уже начали хмелеть, жениху поднесли кубок с мультсой — смесью сладкого вина и меда, напитком, очень любимым италийцами. Но один молодой приятель жениха, которому вино ударило в голову, шутя перехватил кубок и выпил его. Несчастный тут же упал на пол мертвым! Было совершенно очевидно, что это новое злодеяние Клуэнция, который хотел с помощью яда устранить обвинителя. Свадебная суeta и хмель должны были скрыть преступление!

Вот этот-то чудом спасшийся юный Оппианик явился теперь в Рим. Всем было ясно, что они имеют дело с очень опасным и смелым преступником, который ни перед чем не остановится. Все сочувствовали несчастному юноше и его мачехе. Вести его дело, то есть быть обвинителем Клуэнция, взялся некий Аггий. Он, вспоминая впоследствии Цицерон, «говорил и обстоятельно, и достаточно многословно, кроме того выучил наставления Гермагора, которые хотя и не сообщают речи особой пышности и красоты, зато снабжают оратора, словно пехотинца, копьями, готовыми и удобными доводами для отдельных видов дел» (*Brut.*, 271). И вдруг стало известно, что защищать преступника взялся Марк Туллий Цицерон.

Дело это прогремело на всю Италию. И опять в день суда Форум был буквально забит народом — собрались не только римляне, но ларинаты и жители всех окрестных муниципиев. И зрители, и присяжные были убеждены в исходе судебного разбирательства. Всем ясно было, что Клуэнций виновен и не избежит самого тяжелого приговора. Обвинитель, который, как водится, выступал первым, между прочим заметил, что защитник ничего не сможет доказать фактами — все они против его клиента: ему придется искать какую-нибудь лазейку в законе, какое-нибудь смягчающее обстоятельство (*Cic. Cluent.*, 143). Если уж перед судом все были настроены против Клуэнция, то после речи обвинителя Рим кипел от негодования. Подсудимый был «уже осужден молчаливым приговором общественного мнения» (*Ibid.*, 7). И только веление закона заставило присяжных выслушать и защитника (*Ibid.*, 81).

И когда Цицерон встал со скамьи защиты, как всегда в начале речи смертельно бледный, страшно волнуясь, и обвел глазами аудиторию, везде он увидел угрюмые, враждебные лица. И он начал умолять присяжных только выслушать его, выслушать внимательно и спокойно, так, как будто в

первый раз они узнали ненавистное имя «Клуэнций». И вот он заговорил. Голос его постепенно крепчал. Не прошло и четверти часа, как он полностью завладел вниманием зрителей. Воцарилась мертвая тишина. Все глаза впились в его лицо. Его слушали, затаив дыхание, боясь упустить хотя бы одно слово (93; 66). Сам оратор был поражен. «Вы слушаете меня с таким вниманием, с такой благосклонностью, которой вряд ли был удостоен кто-либо» (63).

И слушателей можно понять. То, что сделал Цицерон, было каким-то чудом. Мы ожидаем, что он начнет с отравления Оппианика или, в крайнем случае, с Юниева суда и постарается доказать, что его клиент не был отравителем. Ничего подобного! Он начал с событий почти двадцатилетней давности. «Начну свой рассказ издалека, судьи, постараюсь окончательно вывести все нити преступления из того мрака, в котором они так долго скрывались, чтобы вы могли их видеть собственными глазами»(66). И вот постепенно он разматывает этот клубок перед потрясенными слушателями. Перед нами история семьи, вернее, нескольких родственных семей. Это сложный и запутанный детективный роман, психологическая драма с яркими портретами, чудовищными злодеяниями, загадочными убийствами и ужасными страстями, где ближайшие родственники оказываются врагами — своего рода «Братья Карамазовы», действие которых ведь тоже происходит в тихом уездном городе.

В ларинских семьях Клуэнциев, Авриев и Магиев, связанных между собой сложными узами родства и свойства, стали таинственно умирать наследники. Это была цепь каких-то загадочных смертей. Сначала внезапно умерла Клуэнция, тетка обвиняемого. За ней последовали брат ее мужа и его беременная жена. Что это — случайность или цепь преступлений? Да, это преступления, говорит Цицерон. Кто же убийца? Это Оппианик, тот самый Оппианик, в убийстве которого обвиняют Клуэнция. То был ловкий и очень опытный преступник. Его цель была — уничтожить всех родственников и завладеть огромным состоянием нескольких семей. Сначала он вступил в брак с Клуэнцией, богатой наследницей.

С помощью архивных документов, писем и свидетельств Цицерон выяснил следующее. Оппианик собственноручно поднес жене кубок. «Она стала пить и вдруг вскрикнула, что чувствует ужасную боль; это было ее последнее слово — тотчас же после него она умерла... Осмотр тела покойницы обнаружил все приметы и следы, по которым узнается отравление». Вскоре при загадочных обстоятельствах скоропостижно умирает брат Оппианика. На его теле обнаружены те же следы. «Но это еще не все. Правда, братоубийство, на наш взгляд, вмещает все возможные для

человека преступления; все же не следует забывать, что он еще ранее подготовился к этому омерзительному поступку другими преступлениями». В самом деле. Жена его брата была беременна. Внезапно она умирает при столь подозрительных обстоятельствах, что нельзя не предположить, что ее отравил тот же человек, желавший вместе с ней умертвить и наследника в ее чреве» (30–31).

Вскоре после этого Оппианик вступает в новый брак, тоже с богатой наследницей Магией. Судьба этой семьи была трагична. Матерью Магии была Динея. Кроме дочери у нее было трое сыновей. Но все ее дети умирали один за другим. Старший сын пропал без вести во время Италийской войны; второй умер бездетным, оставив наследство своему младшему брату. Но тот вскоре последовал за ним. Умерла и дочь, жена Оппианика. И вдруг в Ларин приезжает человек, который рассказывает, что в Галльской области видел старшего сына Динеи, Марка Аврия. Он жив, но попал в рабство.

Можно себе представить, что почувствовала Динея, потерявшая всех своих детей, когда узнала, что нашелся ее ребенок! Она готова была немедленно мчаться за ним, но была уже так стара и слаба, что не имела сил даже отойти далеко от дома. «Когда таким образом этой женщине в ее сиротстве представилась надежда получить обратно хоть одного из своих сыновей, она созвала всех своих родственников, всех друзей своего сына и со слезами стала их молить, чтобы они взяли на себя труд отыскать юношу, чтобы они вернули ей сына, единственного, которого судьбе угодно было сохранить из стольких ее детей». Сразу же после этого она слегла в постель и умерла, так и не дождавшись вестей от своего ребенка.

Но друзья и родственники не оставили дела. Они отправились в Галльскую область. Между тем единственная дочь Динеи была замужем за Оппиаником. Оппианик уже мнил себя наследником, и вдруг словно из-под земли появляется этот чудом спасенный Марк Аврий, претендующий на его долю! И он решает, что не бывать тому. С помощью подкупленного вестника он сбивает родственников со следа, а затем подсылает убийцу к самому своему несчастному шуруину Аврию.

По прошествии немногих дней в Ларин пришло письмо от родственников из Галлии. Они писали, что поиски затягиваются, как они предполагают, из-за козней Оппианика. Особенно близко к сердцу принял это известие Мелин, пылкий молодой человек, кузен погибшего. С распечатанным письмом в руках он бросился на площадь и громко прочел его в присутствии чуть ли не всего города. В толпе он заметил Оппианика. В запальчивости Мелин крикнул, что, если с Марком Аврием что-то

случится, он будет считать убийцей Оппианика и привлечет его к ответственности! «Вскоре затем наши путешественники возвращаются в Ларин с известием об убийстве Марка Аврия». Все ларинаты пришли в бешенство. Случилось чуть ли не восстание. Все яростно кричали, а Мелин в безумном гнев бросился на Оппианика. Тот пустился бежать и скрылся из города.

Однако прошло немного времени и наш герой явился в родной Ларин во главе вооруженного отряда сулланцев. Он заявил, что он — доверенное лицо Суллы, разогнал законное правительство Ларина и, прикрываясь именем всемогущего диктатора, внес в проскрипционный список своего недруга Мелина, еще одного Аврия, его родича, видимо опасаясь его Мести в грядущем, и некого Секста Вибия, «которого считали посредником при подкупе того вестника... После их жестокой смерти остальные, под гнетом страха перед проскрипциями и смертью, не решились прекословить ему. Как вы думаете, если бы на суде обнаружались только эти его преступления, имел бы он малейшие шансы быть оправданным?» — говорит Цицерон (21–25).

Однако история семьи Динеи была еще не кончена. Оказывается, старушка умерла не своей смертью. Цицерон рассказывает об этом с долей черного юмора. Когда она захворала, нежный зять привел к ней своего приятеля врача, «чье победоносное искусство не раз было испытано на деле». Но она, едва увидав его, в ужасе закричала, что ни за что не станет лечиться у человека, который уморил всю ее родню. Тогда предприимчивый зять, не теряя ни минуты, обратился к одному бродячему лекарю, проездом бывшему в Ларине. Но этот достойный муж очень торопился — ему надо было навестить много других городов — и решил окончить лечение в одни сутки. Поэтому он «спровадил старушку одним стаканом своего напитка» (40–41).

Но да не подумает читатель, что Оппианик убивал одних только родственников. Кругозор его был много шире. Об этом говорит история Азувия. Сделано все было виртуозно. Молодой купеческий сынок Азувий, все из того же Ларина, остался наследником огромного состояния. Оппианик сейчас же учуял добычу. Он объединился с неким опытным проходимцем Авиллием, который специализировался на искусстве обирать молодых неопытных наследников. Авиллий без труда втерся в доверие к Азувию. После этого он повез своего подопечного в столицу. Там они устраивают грандиозные кутежи, вина и деньги текут рекой. Наставник знакомит ученика со всеми соблазнами столичной жизни, водит к обольстительным женщинам, поит дорогими винами. Естественно,

купеческий сынок совсем потерял голову и закружился в вихре развлечений.

Однажды, когда Азувий пропадал у подружки, Авиллий, живший на его квартире, ложится в постель, закатывает глаза — словом, по всем признакам ему дурно. Оппианик — а он последовал в Рим за интересной парой — выбегает на улицу, останавливает всех встречающих и в страшном волнении говорит, что его друг, богатый ларинат, при смерти, а он еще не успел составить завещание и ему срочно нужны свидетели — драгоценна каждая минута. Тронутые этой историей прохожие предлагают ему свои услуги и заходят вместе с ним в комнату. Там они видят на кровати тяжелобольного, который жалобно стонет. Оппианик участливо спрашивает его о здоровье, называя все время *Азувием*. И вот больной слабым голосом диктует завещание от имени Азувия, а ничего не подозревающие свидетели заверяют его своими подписями и печатями! После этого выздоровевший Авиллий приглашает Азувия в какой-то сад, вместо сада заводит в песчаный карьер за Эсквилинскими воротами и там убивает. А Оппианик возвращается в Ларин и предъявляет завещание Азувия, засвидетельствованное по всей форме (36–39).

Рассказ Цицерона сильно подействовал на присяжных. Они были удручены, подавлены и чуть не плакали. «Я замечая, судьи, как сильно взволновало вас, при вашей доброте к людям, данное мной краткое описание злодейств Оппианика» (29).

Может быть, читатель спросит, как ларинаты терпели у себя такое чудовище, как Оппианик. Но в том-то и дело, что Оппианик был очень ловкий и хитрый преступник. *Ни одно* его злодеяние доказано не было. Даже в случае с Азуviем подозрение уж скорее могло пасть на Авиллия, а не на его сообщника. Единственное, что было доподлинно известно, — это то, что он умертвил Мелина, Аврия и Секста Вибия, но он всем говорил, что вынужден был сделать это по приказанию Суллы, подчиняясь военной дисциплине. Да и их он убил не собственноручно — он просто внес их имена в проскрипционный список.

Итак, Оппианик не был уличен. Но вокруг него, словно черные тучи, клубились подозрения. Его стали избегать, как хищного зверя. Двери ларинских домов одна за другой закрывались перед ним.

Между тем герой всех этих мрачных слухов женился в пятый раз. Он стал уже настоящим ларинским Синей Бородой. Его новой избранницей стала Сассия, мать Клуэнция. Так он породнился с обвиняемым. Но Клуэнций уже давно совершенно порвал все отношения с матерью по причине, о которой мы скажем позже. Так что этот брак никак не сблизил

двух будущих врагов. Тогда и случилось, что Оппианик затеял тяжбу о юридическом статусе служителей местного храма Марса. Его притязания были очень невыгодны для его родной общины. И вот ларинаты поручили защищать свои интересы Клуэнцию. Так оба они очутились в Риме (74 год). Тут-то Оппианик решил расширить поле деятельности и перенести его в Рим. Это его и погубило. Когда этот ларинский проходимец, «выйдя из маленького городишки, бросился в необъятное море Рима»<sup>[52]</sup>, с ним случилось то же, что с двумя мошенниками в Нью-Йорке в рассказе О. Генри «Младенцы в джунглях».

Оппианик знал, что его пасынок не составил еще завещания. Он не женат. Значит, в случае его внезапной смерти все перейдет к его матери, жене Оппианика, «мастера в истреблении своих жен». И он решился: игра стоила свеч. Компаньоном он выбрал своего закадычного приятеля, специалиста по части всяких темных афер, некоего Фабриция из городка Алетрия. Тот в свою очередь привлек верного вольноотпущенника Скамандра. Решено было прибегнуть к излюбленному средству Оппианика — яду. Наша троица выбрала удачный момент — молодой Клуэнций приболел и регулярно пил лекарства. В них-то и нужно было подмешать отраву. Действовать решили через раба врача, лечившего Клуэнция. Раб, настоящий герой Плавта, дал себя убедить, поторговался о цене, а когда обо всем договорились, выяснилось, что хитрец водил их за нос. Он выдал все господину. Тот рассказал Клуэнцию. Вместе они составили план действия. В конце концов яд вместе с запечатанной суммой денег, которая должна была служить наградой за отравление, был при свидетелях захвачен в руках Скамандра, вольноотпущенника Фабриция (47–48).

Клуэнций представлял себе, что такое Оппианик. Он понял, что отчим взялся за него. У него оставался единственный способ борьбы — суд. Дело он решил вести в три этапа. Сначала он возбуждает иск против Скамандра, у которого был найден яд. На суде выяснилось, что Скамандр был всего лишь орудием своего патрона, а главным лицом во всем деле был Оппианик, *единственный человек, которому была выгодна смерть Клуэнция*. Скамандр был осужден присяжными, осужден почти единогласно — за оправдание был подан только один голос — и удалился в изгнание.

Тогда Клуэнций привлекает к суду его патрона. В этом месте шекспировская трагедия сменилась шекспировской комедией. Защитником Фабриция был некто Цезасий, человек бойкий на язык и развязный, но не более. Когда он стал говорить, все слушали со вниманием, дивясь, однако, вовсе не его красноречию, как думал оратор, а замечательной наглости, с

которой он защищал уличенного преступника. Внимание судей ободрило Цезасия. Исчерпав все доводы, он, как водится, решил разжалобить присяжных.

— Взгляните, судьи, — начал он, — вот она жизнь человека! Взгляните: вот она, изменчивая и прихотливая игра счастья! Взгляните на старика Фабриция!

Так говорил он довольно долго, и вдруг ему вздумалось взглянуть самому на своего клиента. Каково же было его изумление, когда он увидел, что скамья пуста! «Гай Фабриций, махнув рукой, уже встал со скамьи подсудимых и ушел домой», признав тем самым себя виновным. Защитник оцепенел от изумления. «Тут судьи стали хохотать; защитник разгорячился, негодуя, что ему испортили всю его защиту, не дав досказать до конца его фразу *«взгляните, судьи!»*. Казалось, он готов был пуститься вдогонку за подсудимым и, схватив его за горло, привести обратно к скамье, чтобы затем произнести заключение своей речи» (57–58).

Итак, оба сообщника Оппианика были осуждены. Главный из них, Фабриций, сам признал себя виновным. Имя Оппианика склонялось на обоих судах. Его называли открыто главным преступником. И Клуэнций теперь возбуждает дело против него! Это именно и есть тот самый знаменитый процесс, известный как Юниев суд.

Что же произошло на этом суде? Общественное мнение Рима, возбужденное пламенным демократом Квинктием, говорило — *суд был подкуплен Клуэнцием Габитом!* Теперь, наконец, мы добрались до первого обвинения против Клуэнция — *он дал деньги присяжным и добился гибели невинного человека*. Но так ли это? В самом деле, спрашивает Цицерон, зачем Клуэнцию было подкупать суд? Разве могли бы судьи в сложившихся обстоятельствах оправдать Оппианика?

— В самом деле, что могли бы ответить эти судьи, если бы кто обратился к ним с такого рода вопросом: «Вы осудили Скамандра, за какое преступление?» Они ответили бы, конечно: «За то, что он пытался отравить Габита через раба его врача». — «Что выигрывал Скамандр от смерти Габита?» — «Ничего, но он был орудием Оппианика». — «Точно так же вы осудили Гая Фабриция; за что?» — «За то, что при его тесных сношениях с Оппиаником, злодеяние, в котором был уличен его отпущенник, указывало на его сообщество». Представьте себе, что они оправдали бы самого Оппианика, того самого, которого они дважды своими собственными приговорами признали виновным!..

А если вы признаете справедливость вывода, несомненно вытекающего из этой части моей речи — что Оппианик не мог избежать

осуждения... то вы должны согласиться с тем, что обвинитель не имел никакого повода подкупать судей. В самом деле, Тит Аггий<sup>[53]</sup>, ответь мне, — оставляя в стороне все прочие доказательства, — на один только вопрос: полагаешь ли ты, что и Фабриций был осужден безвинно? Что и в тех судах, в которых один подсудимый был оправдан одним только Стайеном<sup>[54]</sup>, а другой сам себя осудил, судьи были подкуплены? Если же подсудимые были виновны, то скажи, в каком преступлении? Была ли речь в их процессах о чем-либо ином, кроме этого покушения Оппианика на жизнь Габита, посредником которого был Фабриций? Нет, судьи, ничего другого не найдете вы... протоколы сохранились; уличи меня, Тит Аггий, если я говорю неправду, прочти показания свидетелей; докажи, что в тех процессах подсудимым вменяли в вину — хотя бы даже в форме не обвинения, а упрека — что-либо иное, кроме этого Оппианикова яда! (61–62).

Итак, подкупа суда в деле Оппианика не было? Это всего только пустая молва, глупый слух, нелепая ошибка? «Нет, — говорит Цицерон, — подкуп был». В этом месте нетерпение слушателей достигло предела. Да, продолжает Цицерон. Суд был подкуплен. Но не Клуэнцием Габитом, а... *Оппиаником*.

Но как же так? Ведь Оппианик был осужден этим судом? Из-за этого-то поднял шум его защитник Квинкий! Как могло это случиться? Это же явная нелепость!

Можно было бы привести много доводов, говорит Цицерон, которые доказывали, что Оппианик был в отчаянии после разоблачения своих сообщников, что подкуп суда был для него последним средством к спасению, между тем Клуэнций после дела Скамандра и Фабриция был абсолютно уверен в успехе, а значит, не имел никакой надобности прибегать к столь опасному и дорогому средству. Но все это мы оставим. Будем говорить об одних фактах. Где деньги, будто бы данные Клуэнцием? Эта сумма — и сумма, по-видимому, немалая — как-то загадочно растаяла в воздухе. Она не найдена у будто бы уличенных присяжных. Ее не видел ни один свидетель. Наконец, существуют счетные книги Клуэнция. Такая огромная сумма должна была бы пробить брешь в его финансах. Но следов ее опять-таки нет. А между тем деньги нашли, только в самом неожиданном месте. 640 тысяч сестерциев. Оппианик дал их судье Стайену!

— Кто может оспаривать это? Скажи, Оппианик (Младший. — Т. Б.)! Скажи, Аггий!.. Решитесь оспаривать утверждаемый мной факт, что

Оппианик дал деньги судье Стайену; решитесь, повторяю, оспаривать его теперь же, обрывая меня. Что же вы молчите? Понимаю, вы не можете отрицать того факта (64–65).

Как же все произошло? И что это за 640 тысяч?

— Вы спросите, как это случилось? Начну свой рассказ издалека, судьи... Вас прошу отнестись к дальнейшим частям моей речи с тем же вниманием, с каким вы слушали предыдущие: все то, что я имею сказать, достойно вашей многочисленной аудитории и ее молчания, достойно вашего слуха и интереса (66).

Дело было вот как. После осуждения своих сообщников Оппианик потерял почву под ногами, на него напал ужас и он ухватился за последнюю соломинку. Соломинкой был Стайен, присяжный заседатель, о котором мы уже говорили. Личность это была довольно темная. Вышел он из самых низов, но, как объяснил Цицерон по другому поводу, много позднее, когда страсти улеглись, — сам себя усыновил (*Brut.*, 241). Иначе говоря, он всеми правдами и неправдами проник в аристократический род Элиев и отныне стал именоваться Элием Петом. Популярностью своей он был обязан языку — развязанному, наглому, но живому и бойкому. Кроме всего прочего, он постоянно нуждался в деньгах. Чем более присматривался к нему Оппианик, тем более находил, что это тот человек, который ему нужен, — достаточно остроумный для изобретения всевозможных авантур, достаточно беззастенчивый для применения их к делу и достаточно энергичный для доведения своего предприятия до конца (*Cic. Cluent.*, 67).

Обхаживать этого Стайена Оппианик начал давно. Как помнит читатель, он был единственным присяжным, который оправдал Скамандра. Такая удивительная гуманность обязана была, несомненно, щедрым дарам Оппианика. Но теперь, когда дело дошло до него самого, Оппианик заговорил без обиняков и признался, что хочет подкупить судей. Вот тут-то и выяснилось, что этот провинциальный лев превратился в младенца в столичных джунглях.

Стайен принял крайне серьезный и сосредоточенный вид и начал говорить, что подкуп присяжных — дело сложное и неслыханное, нечего за него и браться, а в то же время намекал, что сделать это возможно и способен на это он один. Разумеется, Оппианик все поднимал и поднимал ставку, пока не дошел до огромной суммы — 640 тысяч! Стайен наконец смягчился и взял деньги, чтобы раздать присяжным.

Оппианик ликовал. Увы! Он и не подозревал, что его второй раз за время его злополучного пребывания в Риме обвели вокруг пальца. Стайен

взял деньги, но он и в мыслях не имел подкупать судей. Во-первых, это было трудно и рискованно. Во-вторых, ему пришлось бы отказаться от основной суммы. А сумма была уж очень велика. Нет, Стайен решил, что никому денег не отдаст. Но раз так, надо во что бы то ни стало отделаться от такого опасного свидетеля, как

Оппианик. Значит, следует добиться его осуждения. План, родившийся в его изворотливой голове, был таков; честные люди и без того осудят Оппианика — слишком уж веские против него улики, а на нескольких не слишком щепетильных присяжных можно будет подействовать иным способом. Может быть, он собирался поделиться с ними частью добычи, захваченной у Оппианика? Ничуть не бывало; все было гораздо хитрее.

Были среди присяжных два человека весьма сомнительной репутации. С них-то и решил начать Стайен. Первого звали Лук, второго Соус<sup>[55]</sup>. Лук, по словам Цицерона, находился в глубокой депрессии, потому что давно не получал взятку (71). И вот Стайен подходит к страдальцу, дружески-шутливо хлопает его по плечу и говорит:

— Скажи-ка, Лук, готов ты помочь мне, чтобы нам не даром служить отечеству?

Как только Лук услышал слово «не даром», его депрессию как рукой сняло. Он встряхнулся, оживился и воскликнул:

— Я весь к твоим услугам!

Тогда Стайен предлагает ему 40 тысяч сестерциев, если Оппианик будет оправдан, и просит намекнуть другим судьям, в которых он уверен. Сам же он решил, как говорит Цицерон, что блюдо будет аппетитнее, если он приправит Лук Соусом, и обратился к этому достойному мужу с тем же заманчивым предложением.

Цель была достигнута. Среди присяжных прошел неясный слух о взятке. Одни возмущались и пылали гневом против обвиняемого, несколько же приятелей Лука и Соуса испытывали ко всему этому некий нездоровый интерес.

Между тем время идет. Близок уже день суда, а о деньгах ни слуху ни духу. Наконец Лук не выдержал. Он «с ласковой улыбкой обращается к Стайену, стараясь придать своему голосу как можно больше мягкости:

— Скажи-ка, друг Пет (так теперь звали Стайена. — Т. Б.), как же насчет того дела, о котором мы недавно говорили?

...Тогда наш бессовестный проходимец насупил брови — вы помните его физиономию, его напускную важность?» — и стал громко сетовать, что дал себя провести коварному Оппианику, человеку, сотканному из лжи и обмана, и словом, никаких денег не будет. Можно себе представить

бешенство Лука и Соуса! Они готовы были разорвать на куски Оппианика!

Итак, начался суд. Слухи о взятке давно ходили, и все с интересом ждали, что будет. Оппианика спрашивают: как он хочет — чтобы голосование было тайное или явное? Он говорит, что предпочитает открытое — ему нужно же было знать, кому он чем обязан. «А тут, как нарочно, жребий определяет подавать голоса в числе первых Луку, Стайену и Соусу. Все с крайнем напряжением ждут, за кого выскажутся эти бесчестные, продажные судьи, — а они все, без малейшего колебания, объявляют, — да, виновен». Оппианик был осужден подавляющим большинством голосов.

Можно себе представить ярость Оппианика, когда он увидел предательство Стайена! Он требует у него личного свидания. В конце концов Стайену пришлось с ним встретиться ночью в одном частном доме. Оппианик гневно упрекал, Стайен юлил и обещал вернуть потом деньги... И тут произошло неожиданное. Оказалось, что за Стайеном наблюдали. В этот момент несколько весьма уважаемых граждан появились перед растерявшимися мошенниками.

Оппианику уже ничего не грозило. Зато Стайен был привлечен к суду. Факт получения денег от подсудимого Оппианика он не мог отрицать. Прижатый к стене, он заявил, что взял деньги, но вовсе не затем, чтобы раздать присяжным. Оппианик подарил ему эту сумму, чтобы он помирил их с Клуэнцием. Как бы то ни было, деньги у него были отняты, а сам он изгнан. Вскоре за ним последовали Лук и Соус, уличенные в мошенничестве. Таков был конец этого доблестного трио (67–78).

Итак, говорит Цицерон, никто не может отрицать, что обвиняемый Оппианик тайно перед судом дал деньги присяжному судье. По закону, это преступление. Далее. Стайен говорил, что взял деньги, чтобы примирить Оппианика с Клуэнцием. Какая нелепость! О каком примирении могла идти речь, когда день суда был уже назначен, когда оба сообщника Оппианика были изгнаны? Если в этих условиях Клуэнций взял бы назад свое обвинение, он сам бы подлежал суду как клеветник, ибо признавал бы ложью все свои показания на суде. Значит, единственное, что мог сделать Клуэнций, это стать *превариатором*, то есть, обвиняя для виду, завалить обвинения в угоду подсудимому. Но этот случай подпадает под иск о подкупе суда.

Далее. Если бы уж Оппианик решил примириться с Клуэнцием, зачем бы ему понадобился Стайен? Он обратился бы к какому-нибудь их общему другу или родственнику, человеку, уважаемому обоими, чтобы он был в их деле посредником, — разумеется, делать это надо было много раньше, а не

перед самым судом. А тут вдруг Стайен, с которым Клуэнций толком и знаком-то не был.

И, наконец, последний разительный и остроумный довод. Почему предложена была такая странная сумма — 640 тысяч? Почему не 600 тысяч? Почему, на худой конец, не 650 тысяч? А дело очень просто. Судили Оппианика 32 человека. Значит, для его оправдания достаточно было голосов 16 судей — иными словами, каждый должен был получить по 40 тысяч<sup>[56]</sup>. «И Архимед не мог бы сосчитать лучше», — замечает Цицерон (87).

Но дело на этом не кончилось. Защищал Оппианика, как помнит читатель, некий пылкий демократ Квинкий. Это был человек нестерпимо важный, надутый, а главное, полный оскорбленного самолюбия. Когда он проиграл процесс Оппианика, он немедленно приписал это проискам врагов демократии. Прямо из суда Квинкий вылетел на Форум. Он рвал и метал, кричал об интригах аристократии, о подкупе и в конце концов совершенно взбаламутил толпу. Вся история приобрела политический характер. Тот, кто сомневался в словах Квинкия, казался врагом свободы. По словам Цицерона, взбудораженный народ даже не слушал доводов противной стороны. Людям попросту не давали оправдаться (80). Судьи были опозорены. Оппианик объявлен невинной жертвой, Клуэнций — гнусным интриганом. Так возникла молва о печально знаменитом Юниевом суде.

Впрочем, многие солидные степенные люди были убеждены в преступности Юниева суда. В самом деле. Слухи о подкупе, о каких-то деньгах все время носились в воздухе. А кто среди присяжных были самыми отъявленными негодяями? Конечно, Стайен, Лук и Соус. И вот вся эта доблестная тройца проголосовала *против* Оппианика. Казалось бы, это ясно говорило о том, что деньги шли не от Оппианика, а от его противника. Дошло до того, что один римлянин лишил наследства своего сына, бывшего присяжным в деле Оппианика. Он был убежден, что сын за взятку погубил человека. О 640 тысячах Оппианика забыли.

Так обстояло дело с первым обвинением против Клуэнция — *в подкупе суда с целью уничтожить Оппианика*. Теперь Цицерон переходит ко второму обвинению, а именно обвинению в отравлениях. Как помнит читатель, по словам обвинения, Клуэнций отравил Оппианика Старшего и пытался отравить на пиру Оппианика Младшего. Начнем с последнего дела.

Цицерон утверждает, что все обвинение голословно и не подтверждается никакими фактами.

Первое. У Клуэнция не было никаких причин желать смерти Оппианика Младшего. Правда, этот юноша собирался выступить против него с обвинениями. Но всем в Ларине было известно, — а Клуэнцию, конечно, лучше всех, — что за этим мальчиком стоит другое лицо, оно-то и собрало все улики против обвиняемого, и если Оппианик Младший будет устранен, то его место сразу же займет другой. В результате Клуэнций добьется только того, что даст в руки этому другому обвинителю лишний козырь против себя.

Второе. Что это за странный способ убивать на свадебном пиру? Ведь по обычаю жителей маленьких городков Оппианик Младший пригласил на свадьбу всех ларинатов. Все внимание было устремлено на жениха. И вдруг он падает мертвым! Травить его в этих условиях — это все равно что среди бела дня на глазах всего города пырнуть ножом.

Третье, и самое главное. Нет ни фактов, ни улик. Кто принес кубок с ядом? Когда? Связан ли хоть как-то этот человек с Клуэнцием? Ничего не известно. Но ведь сам-то яд — не миф? Юный друг Оппианика Бальбуций, который случайно выпил предназначенный ему кубок, упал мертвым на землю. «Вы говорите, что этот юноша умер тотчас же по осушении стакана — это неправда, он не умер даже в течение всего того дня... Дело произошло следующим образом: Бальбуций явился к обеду с расстроенным уже желудком; по свойственному его возрасту легкомыслию, он на пиру себя не берег, вследствие чего заболел и несколько дней спустя умер. Кто может это засвидетельствовать? Тот же, кто засвидетельствовал и свою скорбь, отец — да, отец покойного юноши. В его душевной боли малейшая улика заставила бы его перейти к скамье обвинителей свидетелем против Авла Клуэнция; а между тем он своим свидетельством выручает его».

И, обращаясь к секретарю, Цицерон предложил ему прочесть показания Бальбуция.

— А ты, — повернулся он к отцу умершего, — будь столь любезен, привстань на минутку, прослушай этот неизбежный рассказ, как он не горестен; я не буду распространяться о нем.

И после завершения чтения:

— Спасибо тебе, что ты исполнил долг честного человека и не дозволил, чтобы твое горе было источником несчастья и лживого обвинения невинного человека (168).

Теперь последнее обвинение — убийство Оппианика Старшего. Как помнит читатель, Оппианик умер, отведав отравленного хлеба, поднесенного ему неким Марком Азеллием, убившим его, как гласило обвинение, по наущению Клуэнция Габита.

Прежде всего Цицерон рассматривает возможные мотивы предполагаемого убийства.

— Тут я спрошу прежде всего, какая у Габита была причина желать умерщвления Оппианика? Он был его врагом, знаю; но ведь люди желают смерти своим врагам либо из страха, либо из ненависти. Какой же страх мог заставить Клуэнция отважиться на такое преступление? Кому был страшен Оппианик, понесший уже кару за свои злодеяния и исключенный из числа граждан? Или Клуэнций боялся козней со стороны погибшего? Обвинений со стороны осужденного? Свидетельских показаний со стороны изгнанника? Но вы скажете, пожалуй, что Габит ненавидел своего врага, а потому не хотел, чтобы он наслаждался жизнью. До того ли был глуп Габит, чтобы считать жизнью ту жизнь, которую вел Оппианик, жизнь осужденного, изгнанного, всеми покинутого человека? Человека, которого вследствие его невыносимого характера никто не хотел пускать под свой кров, удостоить разговора, приветствия, ласкового взгляда? Такая жизнь возбуждала досаду Габита? Да ведь чем непримиримее и пламеннее была его ненависть к Оппианику, тем более он должен был стараться продолжить ему эту жизнь! И вы говорите, что он, его враг, ускорил его смерть, единственный исход из его горемычной жизни?! (169–171).

Второе. Это обвинение выглядит столь же надуманным и голословным, как предыдущее. Кто предполагаемый сообщник Клуэнция? Азеллий. Кто он? Лучший друг Оппианика. Нет ни одного свидетельства, что этот человек хоть когда-нибудь состоял в каких бы то ни было отношениях с Клуэнцием.

Третье. Предположим, что все так оно и было — убийца Азеллий, друг покойного. Убил он по наущению Клуэнция. Но позвольте, почему же тогда этот Азеллий остался безнаказанным? Почему отравитель не под судом?

— Почему ты, — обратился Цицерон к Оппианику Младшему, — ты, которого сыновняя любовь заставила выступить обвинителем, так долго оставляешь безнаказанным этого Азеллия?

Кроме всего прочего, это бы сильно облегчило дело. Так поступил Клуэнций, который привлек к суду сначала непосредственного исполнителя Скамандра, затем его патрона и под конец уже, когда их вина была доказана, самого Оппианика.

И потом, кто же и когда отравлял человека хлебом? Дело в том, что тогда применяли яды, растворявшиеся в жидкости. Нет, ни одной весомой улики против Клуэнция нет.

— Но, говорите вы, остается факт скоропостижной смерти Оппианика! Однако такие случаи так часты, что «не могут служить мало-мальски

серьезной уликой в отравлении». Причем, если бы мы даже допустили подобное отравление, из этого никак не следовало бы, что отравитель Клуэнций. Но дело в том, что сама эта скоропостижная смерть не более чем вымысел. Очевидно, после римской эпопеи и крушения всей его жизни здоровье Оппианика пошатнулось. Во всяком случае, он заболел и болезнь его сопровождалась мучительными припадками. Тут он поссорился с женой и, оставив ее, отправился в другое место. По дороге он свалился с лошади и сильно повредил легкие. У больного началась лихорадка. Вскоре он умер. Никаких следов, никаких свидетельств отравления у него тогда не обнаружили. «Как видите, судьи, обстановка его смерти никаких улик не содержит» (772–775).

Все это случилось в 69 году, то есть три года назад. Почему же, спрашивается, дела об отравлении не возбудили тогда же? Чего ждали обвинители? И вообще — какие у них улики, позволившие обвинить Клуэнция? Оказывается, спустя несколько лет после смерти Оппианика его вдова Сассия узнала это из допроса рабов, якобы замешанных в это дело. Допросы предъявлены суду. Да, но где же сами свидетели? Где те два раба? Они убиты. Сассия велела их умертвить за их преступление. Она поступила так же, как много лет спустя сделали Леди Макбет и ее супруг, убившие обвиненных ими в убийстве слуг! Мало того. Эта свирепая женщина подвергла рабов пыткам, чтобы вырвать у них нужные ей показания! Но все протоколы допросов производят впечатление не записи слов истязуемых. Нет. Перед судьями чистая подделка. И можно ли осуждать человека, имея в руках единственную улику — показание рабов, убитых обвинителями?

Читатель помнит, что на передних скамьях сидели так называемые *advocati* и *laudatores* — почтенные люди, которые могли засвидетельствовать, что они давно знают обвиняемого как честного добропорядочного человека, совершенно не способного на преступление. Кто же был такими *advocati* и *laudatores* для Клуэнция? Кто мог засвидетельствовать перед Римом его честную жизнь?

— Знайте, судьи, — возвысил голос Цицерон, — знайте, судьи, что все ларинаты — это звучит невероятно, но тем не менее это так — все ларинаты, которые только чувствуют себя здоровыми, явились в Рим, чтобы по мере сил поддержать его в его опасности своим сочувствием... Знайте, что они на это время оставили свой город на попечение женщин и детей, что Ларин в настоящую минуту оберегается только общим мирным положением всей Италии, а не своими домашними силами. Но даже те, кто остался дома, не менее присутствующих тревожатся и денно и ночью в

ожидании вашего приговора.

Они не просто пришли, они принесли хвалебный отзыв о своем земляке, составленный в самых пылких и восторженных выражениях. Сейчас, когда Цицерон указал на них рукой присяжным, они все зарыдали.

— Их слезы, судьи, служат вам доказательством, что все гласные плакали, утверждая этот отзыв (195–197).

Этого мало. Оказывается, в Рим вместе с ларинатами явились *все жители окрестных областей!*

— Вот знатные депутаты ферентанцев, вот не менее достойные представители марруцинцев<sup>[57]</sup>, вот... почтенные римские всадники из Теана Апулийского и Луцерии. Из Бовиана и других самнитских городов были присланы очень лестные отзывы, оттуда же явились знатные представители общин (197).

И все эти люди со слезами на глазах молят присяжных за Клуэнция!

Итак, наконец все нити преступления вытянуты на свет Божий. Страшный клубок наконец распутан (189). Но тут возникает один вопрос. Как же случилось, что такой тихий, благонравный человек, как Клуэнций, человек, столь любимый согражданами и соседями, вдруг стал жертвой такого ужасного обвинения? Дело в том, что у Клуэнция был враг, враг страшный. Именно этот враг стоял за всеми обвинителями, именно он с рвением охотничьей собаки отыскивал против него улики. Кто же был этот злобный враг? Сассия, вдова Оппианика, родная мать Клуэнция.

— Да, судьи, мать; во всей своей речи я буду называть ее матерью того человека, к которому она относится с ненавистью и жестокостью врага, и, слушая рассказ о своих бесчеловечных преступлениях, она каждый раз услышит то имя, которое дала ей природа; чем более само имя «мать» вызывает чувство любви и нежности, тем сильнее будет ваше отвращение к этой матери, которая уже столько лет и теперь больше, чем когда-нибудь, желает гибели сына... Всякий раз, когда Авл Клуэнций испытывал какое-нибудь бедствие в своей жизни, всякий раз, как он видел смерть перед собой, всякий раз, как ему угрожало какое-нибудь несчастье — единственной виновницей и зачинщицей его злключения была его мать... Знайте, что этот самый процесс, эта самая опасность, вся толпа свидетелей, которая предстанет перед вами, — дело этой матери: она их с самого начала припасла, она в настоящее время их получает, она все свои усилия и средства приложила к тому, чтобы процесс состоялся; мало того, она сама недавно из Ларина примчалась в Рим, чтобы погубить сына; сильная своей смелостью, своим богатством и своей жестокостью, эта женщина ходит от одного к другому, приглашает обвинителей, наставляет свидетелей (11–12;

18).

Это была необыкновенно энергичная, решительная, бессердечная и развратная женщина, абсолютно лишенная родительских чувств. В тихом Ларине она представляла собой такое же диво, как и Оппианик.

Отец Клуэнция был весьма почтенный и уважаемый в Ларине человек. У него было двое детей — дочь и сын. Брат и сестра нежно любили друг друга. Когда отец умер, Клуэнцию было 15 лет. Сестра вскоре вышла замуж за Мелина, очень хорошего и всеми уважаемого молодого человека. Она страстно любила мужа и очень им гордилась. Все было, казалось, совершенно безоблачно. Вот тут-то и произошла трагедия.

Мать Сассия загорелась страстью к своему юному зятю. А так как она была опытной соблазнительницей, она околдовала молодого человека настолько, что он забыл жену и все на свете в объятиях тещи. Несчастная молодая женщина вскоре с ужасом узнала, что муж ей неверен; он изменяет ей — и с кем?! Полная отчаяния и стыда, она скрывала свой семейный позор от всех, кроме брата. Оставшись с ним наедине, она бросалась к нему на шею, неудержимо рыдала и рассказывала о своей ужасной обиде. Юноша утешал ее, как мог, и втайне пылал негодованием против матери.

Но все это продолжалось недолго. Вскоре нетерпеливые любовники перестали таиться и во всеуслышание объявили, что собираются жениться. Сестра Клуэнция покинула дом мужа, а ее мать как ни в чем не бывало вступила в новый брак с зятем! «Тут эта достойная и нежная мать окончательно сбросила маску: она открыто радовалась, открыто торжествовала триумф над родной дочерью... Она вторично приказывает приготовить и убрать то самое брачное ложе, которое она сама два года тому назад приготовила и убрала, выдавая свою дочь — приказывает приготовить его для себя, в том же доме, из которого она изгнала дочь... Что скажете вы об этом невероятном образце женской порочности, невиданном до тех пор, пока не явила его она?.. Возможно ли представить себе, чтобы она не ужаснулась, уж если не божьего гнева и людских толков, то хоть самой брачной ночи и ее факелов, порога своей спальни, ложа своей дочери, наконец, самых стен, свидетельниц первого брака? Нет! Все преграды были разбиты и снесены» (13–15).

Можно себе представить, какое впечатление произвел этот соблазнительный скандал в маленькой общине, где все друг друга знали! Уж, наверно, сочинялись шуточные песенки, стишки; на стенах писали двусмысленные пожелания. И все это разом обрушилось на голову несчастного юноши, который чувствовал себя теперь главой семьи. Клуэнций буквально сгорал от стыда. «Вдобавок его горе еще

увеличивалось ежедневными жалобами, постоянным плачем сестры» (16). И Клуэнций решает совершенно порвать с матерью. Его решение, по-видимому, очень мало взволновало эту странную мать — она не испытывала никаких чувств к своим отпрыскам. В своей особе, говорит Цицерон, она смешала всевозможные степени родства — жена своего зятя, мачеха сына, разлучница дочери (199). Но тут происходят новые и совсем уж невероятные события.

Мелин, зять и муж Сассии, был тем самым пылким молодым человеком, который набросился на Оппианика, когда стало известно о гибели Марка Аврия. Оппианик тогда бежал, а потом внес имя Мелина в проскрипционные списки и добился смерти несчастного. Таким образом, Сассия вторично остается вдовой. И кто же теперь просит ее руки? Убийца ее мужа — Оппианик! И что же? Он получает согласие.

Что было причиной соединения этой «любвеобильной и нравственно стойкой четы»? Что касается Оппианика, то тут все ясно — «он был без ума влюблен в Сассиины деньги» (27). Но Сассия? Ее-то что заставило отдать руку убийце мужа? Можно предположить, что Оппианик, сделавший удачные браки своей профессией, был неким провинциальным Дон-Жуаном и покорило пылкое сердце этой дамы. Как бы то ни было, они соединились.

Затем Оппианик делает попытку отравить сына Сассии Клуэнция. Но его разоблачают. Он всего лишен и изгнан и тяжело заболевает. Тут его супруга рассудила, что смешно в этих обстоятельствах разыгрывать верность до гроба, и на глазах у мужа завязала роман с каким-то дюжим крестьянином. Оппианик, всего лишенный, больной, немощный, должен был только молча на все смотреть и терпеть. Наконец он не выдержал и уехал. По дороге он свалился с коня и вскоре умер. Достойная расплата за все его преступления! (*Cic. Cluent.*, 172–175). А его супруга возвратилась в Ларин с новым любовником.

Все, казалось бы, благополучно. Но эта женщина задалась целью обвинить в убийстве Оппианика своего сына — то ли она не могла ему простить его осуждения, то ли сводила какие-то старые счеты. Во всяком случае, она взялась за дело со всей энергией. Оппианик Младший был мягким воском в ее руках. Она без труда убедила его, что отец был злодейски убит, и привязала его к себе еще крепче тем, что женила на своей дочери, «которую родила своему зятю».

Но улики не было. Вот тогда-то эта женщина подделала протоколы показаний двух рабов, а их самих умертвила. Но этого мало. Цицерон открывает потрясенным судьям и всему римскому народу последний факт,

который ему удалось узнать. Перед смертью она велела вырезать у раба язык, чтобы он не выдал правду!

— Что за чудовище, боги бессмертные! Где на всей земле видано нечто подобное?... Она едва заслуживает своим умственным развитием имени человека... Она довела себя до того, что кроме своей наружности не имела ничего, что сближало бы ее с человеческим родом! (188; 199).

Цицерон рассказывает, что, когда эта ужасная женщина ехала в Рим, жители окрестных селений сбегались, чтобы взглянуть на нее, словно на какое-то чудо природы. Они говорили: «Вот женщина из Ларина, которая едет в Рим, чтобы погубить сына!» Они хотели окурить самую дорогу, по которой она ехала, считая, что сама земля, по которой она ступала, осквернена! Ни один город не позволил ей остановиться в своих стенах! Она путешествовала ночью и останавливалась на самых глухих постоялых дворах (192–193).

Эта женщина, продолжает Цицерон, дошла до того, что непрерывно стала молиться богам, принося им обильные жертвы, чтобы небожители помогли ей сгубить сына! «Она не убоилась даже бессмертных богов призвать в свидетели своего злодеяния, не сознавая, что Божья милость приобретается человеколюбием, верностью долгу и справедливыми мольбами, а не мерзостью суеверных обрядов и жертвенными животными, закланными ради успеха преступления» (194).

— Но бессмертные боги, я в этом уверен, гневно оттолкнули эту бешеную и жестокую женщину от своих алтарей и храмов; прошу и вас, судьи, которым судьба дала почти божескую власть над Авлом Клуэнцием на время его жизни, отразить удар бесчеловечной матери, готовый пасть на голову ее сына. Много раз судьи отпускали сыновьям их прегрешения из сострадания к их родителям; вас, судьи, я прошу не забывать о безупречно проведенной жизни Клуэнция в угоду его жестокой матери... Вы, которые справедливы ко всем, вы, которые тем ласковее принимаете человека, чем ожесточеннее его преследуют, — пощадите Авла Клуэнция: верните его невредимым его родине, возвратите его этим его друзьям, соседям, гостеприимцам, любовь которых вы видите... это будет достойно вас, судьи, достойно вашего звания, вашей кротости; мы вправе требовать от вас, чтобы вы освободили наконец от бедствий человека доброго, невинного, дорогого такому множеству людей и чтобы вы дали этим понять, что слепая ненависть может бушевать на народных сходках, но в судах царствует правда (195, 202).

Такой страстной мольбой кончил свою речь Цицерон.

И вот, наконец, суд закончен. Теперь дело за судьями. Зрители затаили

дыхание. Воцаряется гробовая тишина. Присяжные поднимаются со своей скамьи. Их единодушный приговор гласит:

— Не виновен!

Легко представить себе дальнейшую картину — пылкие ларинаты, которые уже рыдали навзрыд в конце речи Цицерона, срываются со своих мест и бросаются обнимать своего спасенного земляка. Римляне глядят на него с интересом и симпатией и спешат приветливостью и любезностью скрасить впечатление от той угрюмой недоброжелательности, с которой они его встретили. И уж никто не мог бы позавидовать в эту минуту Сассии, этому существу, по своему развитию не дошедшему до человека! Можно себе представить, какой поток презрения и ненависти на нее излился! И если мы даже усомнимся в том, что жители Италии действительно окуривали дорогу, по которой она ехала в Рим, то можно быть совершенно уверенным — на обратном пути они ее окуривали!

\*

Таково это дело. Цицерон впоследствии очень гордился им. И по праву. Даже среди множества ярких процессов, выигранных им, дело Клуэнция сверкает как алмаз. В нем во всем блеске проявились изумительные таланты Цицерона.

Цицерон создает целый роман — драматический, сложный, запуганный, увлекательный. Я уже говорила, что он напоминает мне чем-то «Братьев Карамазовых». Та же противоестественная ненависть родителей и детей, те же необузданные страсти, и, наконец, и там и тут — ложное обвинение против невинного, на которого указывают все косвенные улики. Но еще больше сходства с шекспировским «Королем Лиром», превращенным в роман. Оппианик — своего рода Эдмунд, губящий отца, брата и сметающий со своего пути всякого, кто встает между ним и богатством. Сассия же удивительно напоминает Гонерилью и Регану, которые ненавидят отца, сестру, своих мужей, друг друга и одержимы бешеной страстью к Эдмунду. Даже та страшная сцена, где вырывают глаза связанному Глостеру, соответствует поступку Сассии, вырезавшей язык рабу. И все это представляет нам Цицерон!

А с каким искусством он ведет рассказ! Опять-таки он поступает подобно Шекспиру, который любил чередовать трагические и комические сцены. Например, в «Макбете» после страшного убийства Дункана следует забавный эпизод с привратником, вообразившим себя сторожем в

преисподней. Множество смешных моментов можно найти и в самой грустной шекспировской драме «Гамлет». Так и у Цицерона — после мрачного рассказа о преступлениях Оппианика следует неподражаемая сценка со Стайеном, Луком и Соусом, написанная с чисто гоголевским юмором. Это талант *писателя*.

Но он не только сочинил, он *рассказал* эту историю слушателям. Он увлек их и держал в напряжении несколько часов. Можно себе представить, как дрожал его голос в трагических местах. Наверняка он в лицах представлял Стайена и Луку — воображаю, как он хмурился, изображая Стайена — «наш бессовестный проходимец насупил брови — вы ведь помните его физиономию?» — или впавшего в уныние Луку, и заставлял присяжных то плакать, то хохотать. Это уже талант *актера*.

Наконец, надо было *распутать* весь этот сложный клубок преступлений, найти уже почти стершиеся следы, свидетелей, документы, доказать и обосновать. Это уже талант *детектива*.

\*

Цицерон горько упрекал других ораторов за то, что они не записывали свои речи, — и вот их красноречие умерло вместе с ними. Он приписывал это их небрежности и лени и противопоставлял им собственное свое трудолюбие. Но он не учитывал одного. Красс, Антоний, Гортензий были ораторами и только ораторами. Цицерон же был гениальным *писателем*. В самом деле. Он сам неоднократно говорил, что главное для оратора игра. Выражение лица, жесты, интонации говорят сердцу подчас больше, чем сами слова. Но с тех пор прошли тысячелетия. Мы не видим Цицерона, не слышим этого неповторимого голоса, такого красивого и выразительного, покорявшего некогда Форум. Перед нами лишь страницы книги. Но когда мы читаем его речи, перед нами, как говорит Геллий, оживают целые картины прошлого. Мы видим Верреса, толстого, страдающего одышкой, который лежит на носилках в веночке из роз не в силах залезть на крутой берег над морем; мы видим Оппианика, видим даже взволнованные лица судей. Мы смеемся и негодуем, радуемся и скорбим, мы возмущены, мы тронуты, мы взволнованы — словом, испытываем те самые чувства, которые много веков назад стремился вызвать у слушателей оратор Цицерон. Таким магическим даром вызывать у нас острый интерес к совершенно неведомым нам людям обладает только писатель.

И из всех писателей Цицерон больше всего напоминает мне, как ни

странно, Гоголя. Когда я читаю разговор Стайена, Лука и Соуса, мне кажется, я слышу гоголевских чиновников. Сам Веррес с его пляжем, женщинами и кибирскими псами как будто сошел со страниц Гоголя. И еще. Только у Гоголя, сколько я знаю, встречаются необыкновенные лирические отступления, которые звучат как стихи. Такие лирические отступления любил вставлять в свои речи и Цицерон. И, подобно тому, как вся Россия помнит о «птице-тройке» и о чудном Днепре, так все римляне знали наизусть похвалу законам или свободе из речей Цицерона.

Да, красноречие Цицерона не умерло вместе с ним. Он до сих пор продолжает играть на наших душах, как искусный музыкант<sup>{29}</sup>.

## **Глава IV**

# **В БОРЬБЕ С РЕВОЛЮЦИЕЙ**

*Пожары дымные заката  
(Пророчества о нашем дне),  
Кометы грозной и хвостатой  
Ужасный призрак в вышине,  
-----*

*И отвращение от жизни,  
И к ней безумная любовь,  
И страсть, и ненависть к отчизне...  
И черная земная кровь  
Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи.*

*А. Блок. Возмездие*

*Здесь партий гнев и камни стен прожег,  
И, пламенея в мраморной пустыне,  
Речь Цицеронова звучит еще поныне...*

*Дж. Байрон. Чайльд Гарольд*

### **Штурм твердыни аристократии**

В 70 году в самый разгар процесса Верреса Цицерон был выбран эдилом. А четыре года спустя, в 66 году, он стал претором. Это была блестящая победа. И Цицерон был безукоризненным претором: вникал во все дела и в то же время — о чудо! — ни на минуту не оставлял судебной практики. Дело Клуэнция, такое сложное и кропотливое, он вел как раз

будучи претором.

Каждая магистратура была ступенью римской лестницы почета. Это была именно *лестница*. Дело в том, что в то время прохождение магистратур было строго упорядочено. Человек, ищущий славы, должен был стать сначала квестором, затем эдилом, затем претором, и только после этого он мог претендовать на консульство. Каждую следующую ступень лестницы отделяло от предыдущей три года.

Современный читатель может подумать, что Цицерон был уже почти на вершине могущества. Стоило сделать один последний шаг, и он консул. Но это жестокое заблуждение. То был не шаг, а прыжок через головокружительную бездну. Консулат отделяла от прочих магистратур пропасть. Современник нашего героя, известный публицист Саллюстий пишет: «В то время как другие магистратуры были уже в руках у народа, консулатом владела аристократия. Человек «новый», как бы ни был он славен, какие бы великие подвиги ни совершил, почитался недостойным этой почести, как бы запятнанным своим происхождением» (*Jug.*, 63, 6).

Вот почему Цицерон сравнивал консулат с крепостью знати, укрепленной высокими стенами и рвами (*Agr.*, I, 3). Как взять эту твердыню? С помощью народа? Но народ неверный и ненадежный союзник. Кроме того, по словам современников, он всегда тяготел к знати и неохотно шел навстречу «новым» людям (*Cic. Sest.*, 2; *Q.Cic. Comm. pet.*, 14). Марий, тоже «новый человек», в свое время добился консулата вопреки противодействию аристократии. Но Марий был великий воин. Грудь его была покрыта рубцами и шрамами. Он сам с гордостью говорил, что эти шрамы и боевые награды заменят ему именитых предков. И действительно. Ничто так не мило сердцу народа, как воинская слава. А Цицерон был просто популярный адвокат. Что он мог противопоставить блеску знатных соперников?

Еще будучи эдилом, Цицерон чувствовал на себе презрительные, уничтожающие взгляды аристократии. Он писал: «Я поставлен не в равные условия с людьми благородного происхождения, получающими во время сна все милости римского народа; я должен избрать в нашем государстве иные правила, иной образ жизни... Мы знаем, с какой завистью, с какой ненавистью некоторые члены знати преследуют талант и трудолюбие «новых людей»; стоит нам хоть на минуту закрыть глаза — тотчас же нам грозит засада... Мы знаем, что неусыпно должны бодрствовать, неустанно должны трудиться. Встречается на нашем пути чья-либо вражда — мы должны побороть ее; встречается трудное дело — мы должны исполнить его. Не в этом главное препятствие. Страшнее необъявленной и открытой

ненависти — молчаливая и тайная, а этой нам никак не избежать. Нет среди знати ни одного почти человека, который относился бы доброжелательно к нашему трудолюбию: никакими услугами не в состоянии мы заслужить их благоволения; как будто природа создала нас из другого семени, так чуждаются они нас во всех делах» (*Verr.*, II, 5, 180–182).

И все-таки наш герой решил добиваться консульства. Намерение Цицерона взволновало всех его родных и знакомых. А его беспокойный брат Квинт так переполошился, что, по его словам, совсем потерял сон. Мало того. Он написал целую книгу, которая называлась «Как добиваться консульства». Она должна была стать настольной книгой нашего героя, ее тот должен был штудировать днем и ночью.

Квинт пишет, что знать (*нобилитет*) ни за что не даст Цицерону стать консулом. Но надо действовать — сплотить вокруг себя весь Рим, объехать все города и городки Италии и тоже сплотить их вокруг себя. И, главное, надо всем улыбаться, улыбаться и давать обещания, не смущаясь, что обещания эти будут противоречить друг другу. И голос твой при этом должен быть самым нежным (*Q. Cic, Comm. pet.*, 1, 2; 15; 8; 38; 3; 64; 35; 30; 31; 41–42; 46–44).

И подобные наставления наверняка давал не один Квинт, а вся родня Цицерона. Аттик в Афинах волновался не менее Квинта и требовал отчета о каждом шаге Цицерона. Впрочем, он оказался разумнее всех. Он не стал писать книгу, а вместо этого приехал сам в Рим, чтобы помочь организовать предвыборную кампанию. Цицерон был актер в душе, человек болезненно впечатлительный и нервный. Поэтому можно не сомневаться, что все эти советы и поучения издергали его до последней степени. Остается только удивляться, что держался он хорошо и не утратил своей великолепной способности относиться к самому себе и к своим делам с юмором. В письмах к Аттику он великолепно вышучивает собственную предвыборную кампанию (например, *Att.*, I, 1, 1).

Не надо было развешивать объявления, выступать по телевидению и печатать интервью, как в наши дни. Весь Рим и так мгновенно узнал, что Цицерон решил добиваться консульства. Дело в том, что наш герой уже давно вынужден был жить так, как жила вся римская аристократия. То была очень странная и малопонятная для нас жизнь. Для сравнения я напому о французском короле Людовике Солнце. Известно, что его пробуждение, обед и отход ко сну были своеобразными театрализованными представлениями. Чуть он откроет глаза — к нему спешит маркиз с панталонами, граф с туфлями, герцог с плащом. Весь двор присутствовал

при вставании своего монарха. Да что там двор! Любой дворянин мог прийти во дворец и наблюдать это захватывающее зрелище. И не только дворянин — любой француз. Стоило только взять напрокат шпагу. Король и королева ни на минуту не оставались одни. Самые интимные моменты их жизни проходили на глазах толпы. Когда королева рожала, присутствовал чуть ли не весь Париж.

То же самое, правда, в несколько смягченном виде, наблюдаем мы в Риме. Знатных людей окружали толпы клиентов, которые ходили за ними по пятам. Знатный человек просто не мог появиться на улице один. Таким же вниманием был теперь окружен и Цицерон. Ежедневно к его порогу являлись «несметные толпы народа» (*Plut. Cic.*, 8). Одни приходили утром, чтобы поприветствовать его; другие ждали у дверей, чтобы проводить на Форум; третьи ходили за ним всюду, как настоящая свита (*Q.Cic. Comm. ret.*, 34). Но Цицерон, в отличие от своих знатных соперников, не держал себя с этой свитой как феодальный барон. Он был сама приветливость и любезность. «Меня видели ежедневно; я жил на глазах, бывал на Форуме; ни мой привратник, ни мой сон не были причиной отказа никому из тех, кто искал моего общества» (*Plane.*, XXVII).

Вот почему весть о том, что он собирается баллотироваться, мгновенно облетела столицу. Завсегдатаи Форума, собиравшиеся обыкновенно у Солярия — солнечных часов, где обсуждались политические новости и городские сплетни, — теперь на все лады толковали об этом. Выборы должны были состояться летом 64 года. Но волнения, агитация и предвыборная горячка начались за год до того (*Att.*, I, 1, 1).

И вот настал наконец день выборов. Кто опишет чувства моего героя, когда он появился на Марсовом поле и увидел, что все это огромное пространство полно народу, что тут сошлась чуть ли не вся Италия, пришли люди из самых отдаленных и глухих деревень. Стоял такой гул, такой шум, что ему показалось, будто он на берегу беснующегося океана. «Нет во всем мире такого пролива или водоворота с таким бурным течением, таким частым прибоем и отбоем волн», который мог бы сравниться с народом на выборах, скажет он несколько месяцев спустя (*Mig.*, 35).

Увидав его, вся эта несметная пестрая толпа, собравшаяся под палящим южным небом, стала громко скандировать:

— ЦИЦЕРОН!

Когда же голоса были подсчитаны и объявили, что первым прошел Цицерон, далеко опередив всех своих соперников, площадь содрогнулась

от единого восторженного вопля (*Cic. Agr., II, 4*). Легко можно себе представить, что наш герой был на седьмом небе.

Новый консул вступал в должность в январские календы (1 января). Это число и было началом официального года. В этот день он впервые облакался в консульскую тогу с пурпурной каймой и во главе торжественной процессии поднимался на Капитолий к храму Юпитера Всеблагого и Величайшего. Народ в праздничной одежде шел за ним. В храме он совершал обряды на благо римскому народу, а затем созывал в Капитолии сенат и обращался к отцам с «тронной» речью. Он говорил о своей программе, о замыслах и проектах. Затем он выступал перед народом.

И вот Цицерон, окруженный друзьями, поклонниками, клиентами и толпами бывших подзащитных, спустился на Форум и, под громкие крики и аплодисменты взойдя на Ростры, обратился к квиритам с речью.

Согласно обычаю, сказал он, новый консул прежде всего благодарит народ за оказанную честь, а затем воздает хвалу своему роду и предкам. Обыкновенно эта вторая часть угрожающе затягивается, так что в конце концов слушатели чувствуют себя окончательно раздавленными количеством предков оратора. О том же, достоин ли новый избранник своего места, никто и не думает. Ведь его предки имеют такое поистине астрономическое количество заслуг, что их с избытком хватит на всех потомков.

«Мое происхождение, квириты, не таково, чтобы я мог говорить перед вами о своих предках, не потому, чтобы они были хуже меня, их кровного наследника... а потому, что им недоставало всенародной славы и того блеска, которым окружает человека дарованная вами почесть. Что же касается меня лично, то я боюсь заслужить упрек в хвастовстве, говоря о своей особе; и упрек в неблагодарности, умалчивая о ней: мне чрезвычайно неловко самому распространяться о тех работах, которым я обязан настоящим своим высоким положением, и все-таки я никак не могу молчать обо всем этом, так как я тем самым заодно умолчал бы и о высокой милости, которую вы мне оказали».

Вот почему, продолжает Цицерон, он решил избрать некий средний путь — о себе почти не говорить, но римский народ поблагодарить.

— Итак, я тот «новый человек», которого вы избрали впервые после долгого перерыва, впервые, можно сказать, для живущего ныне поколения сделали консулом, тот, под чьим предводительством вы взяли эту укрепленную и всякого рода окопами защищенную твердыню знати с тем, чтобы она отныне стала доступной заслугам всякого.

Мало этого. Обыкновенно «новые люди», которым выпадало на долю это неслыханное счастье — консулат, достигали его через много-много лет после претуры, после тяжких трудов, просьб и унижительных провалов. Так что только под старость их озаряла наконец народная милость. «Я, — продолжает Цицерон, — первый «новый человек»» на памяти истории, которого избрали сразу, в первый возможный для него день». Неудивительно, что он преисполнен счастья и великой благодарности И вот теперь он, избранник народа, в первый же день своей власти объявляет, что намерен быть консулом-популяр, то есть демократом (*Agr.*, II, 1–6)<sup>[30]</sup>.

Это заявление Цицерона повергает современных ученых в недоумение. Как, с каких пор Цицерон стал популяром?! Неужели он считал себя последователем Гракхов или Сатурнина, которого всегда называл убийцей и головорезом?! А ведь они-то и были вождями популярных, теми святыми мучениками революции, чьи имена были написаны на знамени демократии. Что за удивительная метаморфоза! Советский историк С. Л. Утченко полагает, что это не более, чем ловкий демагогический ход в духе советов Квинта<sup>[31]</sup>. Не думаю. Квинт действительно советует давать каждому неясные, но весьма соблазнительные обещания и расположить все сословия в свою пользу. Но, во-первых, совет его относится ко времени соискания консулата. Так поступали многие во время предвыборной кампании. Однако, став консулом, любой уважающий себя государственный деятель должен был четко определить свою политическую линию. И второе. Квинт советует выдавать себя народу за популяр, сенату же — за горячего сторонника аристократии. Но консул Цицерон произнес две «тронных» речи — к сенату и к народу. И в обеих говорит одно и то же и торжественно провозглашает себя консулом-популяр ( *Agr.*, I, 23; II, 6). Это уже нечто серьезное. В чем же тут дело?

Мы уже говорили, что нобилитет смотрел на Цицерона как на дерзкого выскочку. В свою очередь, наш герой относился к этому сословию с резкой антипатией. Ему противна была их надутая важность. Его возмущало, что эта узкая замкнутая группа ревниво охраняет свою власть и привилегии, что они не допускают к управлению талантливых людей со стороны. Ни ум, ни заслуги, ни воинская слава, ничто не имело в их глазах цены, кроме длинного ряда титулованных предков. А предки эти, люди зачастую действительно великие, должны были краснеть от стыда, видя своих потомков — ленивых, изнеженных, ни к чему не способных. Особенно отвратительным казалось Цицерону, что на такую высоту вознес их

кровавый тиран Сулла. В его глазах, на этих людей легло пятно его преступлений.

Цицерон никогда не хотел ни на словах, ни на деле менять римскую конституцию. Несколько лет спустя в своем трактате «О государстве» он заявил, что ни чистую аристократию, ни демократию не считает правильным государственным строем. Идеальным же устройством он называет оставленную предками римскую Республику. Поэтому он сражался сейчас только с отдельными искажениями и злоупотреблениями. Всю жизнь он боролся за авторитет сената. Но он хотел, чтобы доступ в высший совет Республики был открыт всем сословиям и сенат стал бы действительно собранием лучших.

Вот почему герой наш вступил в открытую борьбу с нобилитетом. Он бросил им вызов еще во время процесса Верреса:

— Наше государство терпело, пока могло, пока должно было, вашу царскую власть... во всех государственных делах; оно терпело ее, да; но с того дня, когда народу вернули народных трибунов<sup>[58]</sup>, время этой власти — желательно, чтобы вы, наконец, поняли это, — для вас прошло безвозвратно (*Verr.*, V., 175).

Став претором, он стал горячо поддерживать Помпея. Время было неспокойное. А Помпей, необыкновенно талантливый полководец из захудалого рода, казалось, один мог восстановить мир. Народ обожал его. Но знать мешала его продвижению. Цицерон увидел в этом их обычную зависть. В душе он, вероятно, надеялся, что Помпей не только разобьет внешних врагов Рима, но и обуздает надменность нобилитета. Поэтому тут он встал на сторону народа. Тогда же Цицерон произнес против нобилитета речь с многозначительным названием «Против олигархов» (*Plut. Cic.*, 9).

Теперь Цицерон стал консулом. Но сделался им по воле народа, а не аристократии. Мы уже видели, что он сравнил себя с полководцем, который повел народ на штурм твердыни нобилитета, «чтобы она отныне стала доступной заслугам всякого». Иными словами, он с помощью народа надеется сокрушить незаконные привилегии олигархов. Цицерон говорит народу, что даже сейчас, когда он стал главой Республики, он чувствует тайное недоброжелательство и скрытое противодействие власть имущих. Никто в трудный час не протянет ему руку помощи, никто не даст доброго совета. Каждая его ошибка, каждая незначительная оплошность вызывает только злорадное удовольствие; каждая победа, каждая удача — досаду и глухое недовольство.

— Раз я сознаю, что стал консулом... не благодаря расположению властвующих, не благодаря всепобеждающему покровительству небольшой

кучки людей, а благодаря хорошему обо мне суждению соединенного римского народа — я должен быть демократом (*Agr.*, II, 3–7).

Однако самое имя «демократ» или «популяр» порождало в Риме весьма определенные ассоциации. При этом слове у слушателей возникал некий вполне определенный образ. И вот Цицерон спешит уверить, что он не имеет и не желает иметь с этим образом ничего общего. Демократ — это тот, кто хочет блага народу. А самые великие блага — это мир между гражданами, свобода и заслуженный отдых. Этого-то и будет добиваться Цицерон. Те же, кто обыкновенно называют себя демократами, являются на самом деле губителями Республики.

— Я должен обратиться к вашему благоразумию для того, чтобы правильно истолковать вам значение слова «демократ». Действительно, у нас на этот счет распространены самые превратные мнения благодаря коварному притворству некоторых людей, подкапывающихся под устои не только могущества, но и самого благосостояния римского народа, тем не менее в своих речах заявляющих себя ярыми демократами... Менее всего могу я допустить, чтобы люди, соблазняющие римский народ... люди... обманывающие вас... и под покровом тайны замышляющие совсем другое, — присвоили себе славу демократов (*Agr.*, II, 7–10).

Очень ошибется тот, кто, прочтя последнюю фразу, вообразит, что перед ним всего только эффектная риторическая фигура упоенного собственным красноречием оратора. Нет. Для этих слов были иные причины. Причины грозные и страшные. Силы демократии со всех сторон шли на приступ Республики. И Цицерон чувствовал себя одиноким борцом, со всех сторон осажденным в той самой крепости, которую он только что с таким трудом взял.

### **«Год крови»**

### **Первая битва — аграрный закон Сервилия Рулла**

В бурные дни принял Цицерон римскую державу. Республика похожа была на лес перед грозой, когда вся природа замерла в напряженном ожидании и слышатся отдаленные глухие раскаты. Отовсюду надвигался ужас. У всех вдруг появилась странная уверенность, что новый взрыв революции, взрыв, которого давно с таким трепетом ждали, грянет именно в этом году. По городу ползли зловещие слухи. На валютном рынке царила

паника. По рукам ходили мрачные пророчества. Падающие звезды, таинственные ночные огни на западе, неожиданные удары грома, землетрясения — все вещало что-то страшное в грядущем. Все вычисления астрологов и предсказателей с неумолимой точностью указывали именно на этот год. Гаруспики объявили, что год этот будет *годом крови* (*Cic. Agr.*, II, 8; *Sail. Cat.*, 47; *Cic. Cat.* III, 18).

— Я прекрасно понимаю, в каком виде я получил наше государство, — говорил Цицерон, — всюду... крайний страх, всюду призраки бедствий и ужасов (*Agr.*, II, 8).

По выражению оратора, со всех сторон на Республику шли враги и рыли подкопы (*Agr.*, I, I). На первый взгляд казалось, что все это были люди, ничем не связанные между собой, даже не знавшие планов друг друга, и действовали они совершенно разрозненно и самостоятельно. Просто в этот год почему-то все мятежные и разрушительные силы активизировались. Но в римском сенате считали иначе. Отцы были уверены, что за всеми этими революционными отрядами стоит некий единый генеральный штаб. И возглавляют его два человека, которые и дирижируют смутой, сеют всюду страх, вербуют и ведут в бой полки. Этим двум людям суждено было сыграть и в жизни нашего героя, и в жизни Рима роковую роль. То были Цезарь и Красс<sup>[59]</sup>.

И вот этот великий штурм должен был отбить Цицерон. И отбить в одиночку. Он не доверял ни аристократии, ни легковым и ветреным квиридам. Он знал, что в самом сенате есть враги и лазутчики. Что же касается его коллеги, второго консула Антония, то этот слабый, абсолютно никчемный человек не был ни на что способен. Вдобавок он по уши увяз в долгах. Еще до выборов Квинт писал брату: «Антоний боится даже собственной тени» (*Comm. pet.*, 9). Он смутно догадывался о надвигающихся событиях и был бы счастлив вступить в любой заговор, лишь бы избавиться от долгов. Довериться такому человеку хоть в чем-нибудь было чистейшим безумием.

Но в эту страшную минуту Цицерон не только не пал духом. Нет. Он преисполнился какого-то необыкновенного воодушевления, он ощущал необычайный прилив сил. С детства он горячо и пламенно любил Рим. В мечтах своих он представлял, как спасет Республику от смертельной опасности. И спасет, конечно, не с помощью грубой силы, а только с помощью разума и СЛОВА. Смертельная опасность пришла. Теперь его час настал.

— Пусть среди этой тревоги, среди этого внешнего и внутреннего разлада внезапно воссияет для римского народа, точно светоч среди

глубокого мрака... *слово* консула, — говорил он в этот критический момент (*Agr.*, I, 24; курсив мой. — Т. Б.).

Итак, он, не теряя ни минуты, обратился против первого отряда штурмующих. Во главе него стоял народный трибун, некий Сервилий Рулл. Он принадлежал к породе пламенных демократов, а Цицерон, откровенно говоря, терпеть не мог этот сорт людей. Рулл — вернее, верховный штаб, чью волю он выполнял, — задумал реформу неслыханную и грандиозную. О подобном предприятии Рим еще не слышал. Было объявлено, что разом будет решен вековой аграрный вопрос; мало того, все социальные проблемы Республики. Суть закона состояла в следующем. Предполагалось продать всю общественную землю (*ager publicus*) в Италии<sup>[32]</sup>, Сицилии, Азии, Македонии, Испании и Африке в частные руки, а на вырученные деньги купить у частных же владельцев землю в Италии и раздать ее неимущим. Все это великое предприятие должна была осуществить комиссия из десяти человек — *децемвиров*, которые будут избраны под председательством все того же Рулла<sup>[60]</sup>. Децемвиры на пять лет получали преторские полномочия, судебную власть, а кроме того могли командовать войском.

Смысл закона был ясен Цицерону как день. Он давал на пять лет почти неограниченную власть, армию и поистине колоссальные суммы денег в руки нескольким людям, которые были абсолютно бесконтрольны и никому не подотчетны. Предполагалось, очевидно, что во главе комиссии встанут Цезарь, Красс и сам Рулл.

Закон воодушевил Антония. Ему захотелось самому войти в число десяти. Вот почему Цицерон решил прежде всего стреножить не в меру ретивого коллегу. И он сделал поистине великолепный ход. Надобно сказать, что один из консулов оставался в Риме, другой получал в управление богатую провинцию Македонию. Вопрос должен был решить жребий. И можно себе представить, как хотелось бы заговорщикам, чтобы из Рима уехал Цицерон; и как мрачно глядел на коллегу Антоний, дрожа при мысли, что богатая синекура может ускользнуть! И вдруг Цицерон заявил, что слишком уважает коллегу, а потому добровольно уступает этому добродетельному и достойному мужу провинцию. Антония потрясло такое великодушие. Он рассыпался в благодарности и с тех пор считал себя неоплатным должником Цицерона. «Этим благодеянием он заставил Антония словно наемного актера играть при себе вторую роль на благо и спасение Республики. Прибравши Антония к рукам, Цицерон тем решительнее двинулся против тех, кто лелеял мысль о перевороте» (*Plut.*

*Cic.*, 12).

1 января, не теряя ни часа, Цицерон созвал сенат и тут же в своей «тронной» речи обрушился на Рулла и его закулисных вдохновителей. (О существовании их он упомянул, имен же благоразумно не назвал.) Он четко и ясно разъяснил, что будет, когда мир отдадут во власть бесконтрольной комиссии. «Начнем с того, что децемвиры будут разъезжать по всему миру... Они будут иметь право признавать государственной собственностью все, что им угодно». Последствия слишком ясны. Начнутся чудовищные злоупотребления, произвол, взятки, «позорнейшая торговля правами государств и имуществом людей» (*Agr.*, 1, 9). Результатом всего этого будет полный развал и разруха в провинциях и взрыв ненависти к Риму. Само имя «римлянин» будет вызывать злобу (*Ibid.*, I, 2). И что еще хуже — все эти страны будут обобраны до нитки.

«Разве вы не представляете себе, какой тяжестью лягут эти децемвирские переезды на все провинции, царства, республики, какой страх нагонят они на всех и... в какой обильный источник наживы обратятся?.. Начнут свои вселенские набеги эти децемвиры с их неограниченной властью, с их ненасытной жадностью» (*Ibid.*, I, 8–9).

И потом. Разве не отвратительно, разве не позорно, что отцы и деды веками копили земли, завоевывали их пядь за пядью, чтобы оставить потомкам, и вдруг является этот бойкий Рулл и с истинно демократической широтой пускает все с молотка! Тут Цицерон вспомнил и великолепно обыграл одно небольшое обстоятельство. Оказывается, наш доблестный демократ уже спустил дотла отцовское наследство. Почему бы теперь не спустить и наследство Рима?

— Вы увидите, как этот бесшабашный кутила переворачивает вверх дном все наше государство, как беззаботно растрчивает он оставленные нам предками владения, как он, промотав отцовское имущество, собирается теперь подвергнуть той же участи достояние народа (*Ibid.*, I, 2).

Хорошо. Пойдем дальше. Вот наши законодатели продали земли всего мира. Какие же наделы они собираются купить? Ведь в Италии почва разная: есть плодородный юг, есть суровый север, есть болота, есть каменистые равнины, а есть прекрасный чернозем. Так где же они купят земли: в плодородной Кампании или бесплодной Апулии? У тебя столько денег, продолжал он, обращаясь к Рулле, что ты можешь скупить все — оптом и в розницу. Почему же ты не определяешь этой земли?

— Я и определяю, — угрюмо отвечал Рулл, — это будет земля в Италии.

— Замечательно точное определение, — резюмировал Цицерон.

И тут Рулл, окончательно запутавшийся, угодил, наконец, в расставленную ловушку.

— Мы этого не знаем, — заявил он, — мы купим только те земли, которые согласятся продать собственники.

— Прекрасно! — воскликнул консул. — Но позвольте спросить вас, а что, если вы не найдете охотников продавать свои земли? Что будет тогда с деньгами? Возвращать их в казну закон запрещает, требовать их с вас не позволяет; итак, все деньги останутся у децемвиров (*Ibid.*, II, 67–72).

Затем он повернулся к остальным трибунам, окружавшим Рулла, и дрогнувшим голосом произнес:

— Но вы, трибуны, ради бессмертных богов! Опомнитесь... Много в нашем государстве скрытых ран... Вне его границ все спокойно, нет царя, нет народа, нет племени, которого бы нам следовало опасаться, нет: наше зло — зло внутреннее... Наш долг... содействовать его излечению. Нельзя же в самом деле делать карьеру на гибели собственной родины. Если же кто из вас надеется, что поднятый им в государстве ветер быстрее погонит челн его честолюбия, то пусть он проникнется убеждением, что, пока я буду консулом, его надежда несбыточна.

Речь Цицерона произвела сильное впечатление на слушателей. Сенат решительно выразил одобрение консулу. Но особенно потрясены были трибуны. Многие немедленно оставили мятежного товарища. А один, самый впечатлительный, даже заявил, что наложит вето на закон Рулла. Однако Цицерон, горячо одоббив благие намерения молодого человека, помощь его решительно отклонил. Он прекрасно понимал, что вмешательство трибуна вызовет бурю на Форуме. А этим не замедлит воспользоваться генеральный штаб, чтобы раздуть смуту. Нет. Нужно, чтобы народ сам по доброй воле отвернулся от закона.

Дело в том, что законы в Риме утверждал не сенат, а народное собрание. Значит, борьбу следовало перенести на Форум. Между тем выступать перед народом против аграрного закона казалось равносильным политическому самоубийству. Аграрные законы со времен Гракхов были неодолимым орудием демократии. Всем памятно было, как знаменитый Сципион Эмилиан, любимец народа, выступил против гракханского закона и чернь прервала его ревом и проклятиями<sup>[61]</sup>. Поэтому при одном слове «аграрный закон» сенаторов буквально передергивало. Казалось, каждый, кто выступит против Рулла, неминуемо будет освистан, чуть ли не побит камнями. И если консул осмелится вступить в открытую борьбу с демократами, вся былая любовь к нему народа превратится в жгучую ненависть. Толпа, этот страшный зверь, которого он, казалось, приручил,

обратится против него и растерзает. Вот почему должны были сильно изумиться многие, когда Цицерон, сокрушив перед отцами доводы Рулла, в заключение произнес следующее:

— Я окажу самое решительное сопротивление всей этой затее; я не допущу, чтобы эти люди в мой консулат привели в исполнение... свои губительные для нашего государства замыслы... Вот вам мой вызов: приглашаю вас на народную сходку; пусть сам римский народ нас рассудит (*Agr.*, 1, 22–23; 26).

Последние слова он произнес, глядя прямо в лицо Рулле, который сидел на сенаторской скамье против него. Сказав это, консул закрыл заседание сената. А вскоре он появился на Форуме, где его уже с нетерпением ждали толпы народа. Разумеется, сенат явился на площадь в полном составе. Пришли и горячие противники реформы, и друзья консула, явился и Рулл со своей командой. И те и другие с напряженным вниманием ждали, что будет. Как отважится оратор приступить к роковой теме? Как сможет он преодолеть крики возмущения, вопли и свистки? Рулл со злорадством ждал этой минуты.

Между тем Цицерон поднялся на Ростры и с самым любезным видом стал благодарить народ за оказанную ему милость. Затем он прочувствованным голосом заявил, что никогда этого не забудет и отныне и до гроба он — демократ. Но демократ не такой, как все, нет — он демократ истинный. И он будет решительно бороться с демократами ложными. Слушатели-сенаторы затрепетали. Вот, вот, наконец, настала роковая минута. Сейчас на оратора обрушится бушующий поток общей ненависти!.. А Цицерон, казалось, не замечая всеобщего волнения, с самым ласковым и благодушным видом продолжал:

— Скажу искренне, квиристы: аграрный закон, как таковой... я порицать не могу. Я помню, что двое славных, умных, безгранично преданных римской бедноте мужей, Тиберий и Гай Гракхи, отвели бедным гражданам наделы... земли... Я не принадлежу к тем консулам — их же большинство, — которые считают преступлением хвалить Гракхов; напротив, я признаю, что их дальновидными и мудрыми законами укреплены многие части нашего государства.

(Здесь необходимо небольшое замечание. Цицерон всегда считал Гракхов вредоноснейшими людьми. В трактате «О государстве» он даже сокрушается, что такому герою, как убийце Тиберия Гракха, Рим не воздвиг памятника.)

Итак, он всем сердцем любит Гракхов, продолжал Цицерон. Вот почему, узнав, что трибуны готовят какой-то аграрный закон, он пришел в

восторг и немедленно предложил им свою помощь и содействие.

(Еще одно небольшое замечание. Цицерон с самого начала видел Рулла насквозь и считал прохвостом.)

Много раз, продолжает Цицерон, пытался он выведать у Рулла, в чем же заключается его закон. Но трибун всякий раз принимал таинственный и мрачный вид и значительно молчал. Вообще он сделался каким-то нестерпимо надутым и важным — надел тогу дедовского покроя, перестал даже бриться, оброс всклокоченной бородой, вид имел грозный и свирепый, так что каждому при одном взгляде на него становилось ясно — этот человек задумал нечто великое.

Цицерон просто сгорал от любопытства и с нетерпением ждал текста закона. Рулл вступил в должность. Через два дня он созвал народ на собрание<sup>[62]</sup>, чтобы разъяснить наконец свои планы. «Все сходятся с величайшим напряжением. Начинается речь, речь длинная и с отличным подбором слов; один только недостаток усмотрел я в ней, именно тот, что во всей громадной толпе слушателей не было никого, кто бы мог понять, о чем собственно оратор говорит: но я не умею сказать, был ли у него при этом какой-нибудь умысел или ему просто нравилось такого рода красноречие. Все же наиболее сообразительные из публики стали подозревать, что он хочет сказать что-то о каком-то аграрном законе». Так ничего не поняв, Цицерон пошел домой. «Наконец... вывешивается самый текст закона. Тотчас же по моему приказанию отправляются к тому месту, где он был вывешен, одновременно несколько писцов и приносят мне копию».

Цицерон достиг своей цели — он заинтриговал слушателей. Увлеченные живым его рассказом римляне уже не замечали, что речь пошла об аграрном законе, возбуждавшем такой их восторг. Они слушали, боясь упустить хотя бы одно слово. «Клянусь вам, квириды, что я приступил к чтению и изучению этого закона с искренним намерением принять его под свою защиту... ибо ваш консул — демократ на деле, а не на словах... Но это желание было тщетным». Он с ужасом убедился, что под видом аграрного закона Риму преподносилось нечто страшное (*Agr.*, II, 10–15; II, 65).

Теперь Цицерон, полностью овладев вниманием слушателей, стал разбирать закон пункт за пунктом, глава за главой. Доводы его были разительны, критика убийственной, доказательства математически четкими. Впрочем, справедливость требует сказать, что иногда он прибегал и к иного рода аргументам. Опытный адвокат, он привык выворачивать наизнанку показания свидетелей. И сейчас он ловил каждую ошибку,

каждую оплошность противника и делал молниеносный выпад. Известно, какой язвой для Рима была праздная чернь, эта толпа, которая требовала хлеба и зрелищ и готова была продаваться любому политику. Сам Цицерон считал ее злейшей пагубой Рима. Когда несколько лет спустя обсуждался один закон, наш герой нашел его во многом разумным, ибо, как он выразился, «можно будет вычерпать городские подонки» (*Att.*, 1, 19, 4). Вот почему Рулл, агитируя в сенате за аграрный закон, на свою беду сказал, что «выкачает» эту массу. Как он должен был теперь кусать губы и проклинать себя за эти неосторожные слова! Его ловкий противник тут же этим воспользовался. Его окружала сейчас та самая толпа, которую собирались «выкачать». И вот оратор с прекрасно разыгранным возмущением воскликнул:

— Можно подумать, что он говорит о какой-то грязной луже, а не о добрых, честных гражданах! (*Agr.*, II, 70).

Квиристы, которых собрались «выкачивать», разумеется, пришли в бешеное негодование.

Словом, по выражению самого Цицерона, то была не речь, а «меткий, сокрушительный удар» (*Agr.*, II, 101). На глазах пораженных сенаторов произошло чудо. Народ, который бушевал и ревел при одном намеке на критику Рулла, теперь присмирел, замер у ног оратора и восторженно его слушал. Птицелов снова — в который раз! — зачаровал своим пением доверчивых пташек. «Кто в самом деле когда-либо выступал в пользу аграрного закона при таком сочувствии народа, при каком я произношу речь против него?» — говорит он (*Ibid.*). Теперь он мог играть на душах слушателей любую мелодию.

С самим же Руллом произошло то же, что со многими другими противниками Цицерона. Он потерял дар речи. Консул бросил ему в сенате перчатку. Сейчас они перед лицом всего Рима должны были скрестить шпаги. Но язык Рулла прилип к гортани, он стоял под шквалом ударов Цицерона и не мог произнести ни слова. Однако, когда Цицерон кончил, он опомнился. Он понял, что состязаться с консулом ему не под силу. Поэтому, вместо того чтобы принять его вызов, он созвал народную сходку и за спиной Цицерона обвинил его во всех смертных грехах, вплоть до того, что он сочувствует сулланцам. Народ был ошеломлен и не знал, что и думать. Но наш герой, не теряя ни минуты, снова созвал собрание. Он сразу заметил в народе перемену — его встретили каким-то зловещим молчанием, какими-то недобрыми взглядами. Казалось, Рулл мог торжествовать. Но Цицерон заговорил — и народ, как послушное стадо, снова побежал за ним. Он опять во всеуслышание бросил вызов Руллу и его

команде:

— Народные трибуны поступили бы целесообразнее, квириты, если бы соблаговолили в моем присутствии высказать те изветы, которые развили вам без меня... Но так как они до сих пор уклонялись от открытого спора со мной, то я покорнейше прошу их пожаловать на мою сходку и хоть по повторному предложению явиться туда, куда они по моему первому зову прийти не пожелали (*Cic. Agr., III, 1–2; 16*).

Но Рулл и на этот раз не осмелился поднять перчатку. Более того. Он даже не решился поставить свой закон на голосование. Цицерон, говорит Плутарх, «не только провалил законопроект, но и принудил трибунов отказаться от всех прочих планов — до такой степени подавило их его красноречие». Таково было «пленительное очарование» его речи, прибавляет он (*Cic., 12–13*).

Только что Рулл был сокрушен, как демократы уже наступали с другой стороны. И наступление их было самым неожиданным.

Дело заключалось в следующем. В 100 году в Риме подвизался народный трибун Апулей Сатурнин, вождь тогдашней демократии. Это был убийца и головорез, который со своей вооруженной шайкой терроризировал город. В конце концов, когда он убил другого, менее демократичного вождя Меммия, сенат потерял терпение и поставил консулу Марию ультиматум: он должен избавить город от Сатурнина. Ему даны были чрезвычайные полномочия. Марий сам был демократ, тяжело было ему идти против приятеля, но делать было нечего. Он объявил, что все, кто верен законам, должны прийти к нему с оружием в руках. Почти все граждане откликнулись на его зов. Сатурнин со своей бандой был осажден в Капитолии и вскоре схвачен. Пленника заперли в Курии, чтобы утром решить его участь. Думали; что Марий сумеет его вызволить. Но ночью толпа народа влезла на крышу Курии, разобрала ее и убила Сатурнина. Говорили, что возглавлял толпу некий Рабирий.

Все это были дела давно минувших дней. Прошло 37 лет, и дряхлый старик, которым стал теперь Рабирий, редко вспоминал о лихом подвиге юности. Но вдруг Лабиен, народный трибун и ярый демократ, привлек его к суду. Он объявил, что Сатурнин был трибуном, поэтому убийство его является кощунством. И потребовал для подсудимого не просто казни, а казни неслыханной — после публичного бичевания его должны были распять на кресте! Всем известно было, что Лабиен — всего только ретивый подручный Цезаря. Именно Цезарь стоял за обвинителем. Светоний пишет: «Он (Цезарь. — Т. Б.) даже нанял человека, который обвинил... Гая Рабирия». Мало того. Когда Цезарю показалось, что народ

жалеет подсудимого, он сам вмешался в процесс и произнес против подсудимого страстную обвинительную речь (*Suet. Jul.*, 12).

Защищать Рабирия взялся Цицерон. Лабиен, пользуясь своей трибунской властью, дал ему всего полчаса времени. Но и за эти полчаса Цицерон сумел произнести речь. Он напомнил обстоятельства дела. Напомнил, что весь Рим обязан был встать под знамена диктатора. Показал, что нет никаких доказательств, что убил трибуна именно Рабирий. А теперь за давностью лет их уже не найти. Наконец он заговорил об ужасной казни. Она основана на каких-то древних забытых текстах, чуть ли не эпохи царей. В новое время она никогда и не применялась.

— Итак, Лабиен, кто же из нас демократ?.. Ты ли, приказывающий для казни граждан водрузить крест... или я... требующий очистить Форум римского народа от этих следов гнусной жестокости? Да, трибун, ты истинный демократ... Порциев закон избавил всех римских граждан от наказания розгами — этот сердобольный человек возвратил нам плеть; Порциев закон отнял у ликтора власть над свободными гражданами — демократ Лабиен передал их палачу... Ведь вот твои слова, приятные твоему ласковому демократическому сердцу: ступай, ликтор, свяжи ему руки... повесь его на несчастном древе... Слова, квиниты, давно заглушенные в нашем государстве, похороненные во мраке древности, побежденные солнцем свободы (*Rab. Mai.*, 6; 11–12)<sup>[33]</sup>.

Видимо, Рабирия оправдали. И этот натиск был отбит Цицероном. Но торжествовать было рано, об отдыхе нечего было и думать. Новое могучее войско уже лезло на стены с другой стороны. Предстоял самый страшный бой.

\*

Мы подходим сейчас к одной из самых мрачных и загадочных страниц римской истории. События, происшедшие тогда, послужили темой для множества романов ужасов, пьес, картин художников. Я имею в виду знаменитый заговор Катилины.

### **Вторая битва — заговор Катилины**

Жил в то время в Риме странный и страшный человек. Звали его Каталина. «Люций Сергий Каталина обладал огромной силой и духа и тела,

но умом злым и испорченным. С юных лет ему любы были междоусобные войны, резня, грабежи и гражданские смуты; среди них провел он свою молодость. Тело его могло выносить голод, холод, бдения настолько, что этому трудно поверить. Дух же был дерзок, коварен, непостоянен; он в совершенстве владел искусством притворства и лицемерия. Жадный до чужого, промотавший свое, он пылал в огне страстей. Красноречия у него было довольно, благоразумия — очень мало. Опустошенная душа его вечно жаждала беспредельного, невероятного, слишком огромного» — так пишет Саллюстий (*Cat*, 5).

Уже из этих слов видно, что в глазах современников Каталина был какой-то демонической личностью — своего рода Люцифер, окруженный багровыми языками адского пламени. И действительно. Немного далее Саллюстий говорит, что он был враг богов и людей и любил зло ради зла (*Cat*, 15–16). Вокруг Катилины, словно черные тучи, громоздились и клубились самые мрачные слухи. Каталина умертвил свою жену; Каталина убил родного сына; Катилина растлил собственную дочь (*Cic. Cat. I*, 14; *Sail. Cat.*, 15; *Plut, Cic.*, 11; *App. B.C.*, II, 2). Его преступления носили какой-то непонятный чудовищный характер. Их нельзя было объяснить страстью к власти или наживе. Тут опять-таки была какая-то бесовщина. Как говорили современники, всё, запрещенное богами и людьми, имело в его глазах особую прелесть. Разумеется, далеко не всё, что болтали о Катилине на римских улицах, было правдой. Но, когда дело касалось Катилины, люди охотно верили всему. Кажется, сам герой этих жутких историй вовсе не пытался опровергнуть городские слухи. Напротив. Он гордился сатанинским ореолом, которым окружила его молва, и охотно щеголял им.

Если бурную и радостную эпоху конца Ганнибаловой войны можно сравнить с Ранним Возрождением, то описываемое время напоминает Возрождение Позднее, XVI века. Буркхардт, крупнейший исследователь культуры Ренессанса, утверждает, что тогда подобные личности не были редкостью. «В этой стране, где индивидуальное развивалось до высшей степени во всех направлениях, появляются и абсолютные изверги, которые идут на преступление не ради достижения цели... но ради самого преступления; к которым неприменимы никакие психологические нормы... К фигурам такого рода следует, видимо, отнести... например... Вернера фон Урслингена, серебряный панцирь которого украшал девиз: «Враг Бога, правосудия и милосердия»». Другой, Сиджимондо Малетеста, был буквально одержим «страстью ко злу как таковому». Он совершал убийства и клятвопреступления без всякой необходимости. На его совести были многочисленные кровосмешения, даже инцест с собственной дочерью.

Буркхардт отмечает, что все эти люди яростно ненавидели христианскую религию. Один из них, например, пришел в такую ярость, увидев молящихся монахов, что велел сбросить их с башни. «Именно отсюда происходит тот странный зловещий свет, в мерцании которого являются нам эти личности»<sup>{34}</sup>.

В эпоху Возрождения подобные люди обыкновенно продавали душу дьяволу, совершали черные мессы с человеческими жертвоприношениями и ритуальным каннибализмом. Иногда приходится читать о таких сценах. Враги осаждают какой-нибудь город, вот-вот они ворвутся в ворота, защитники тщетно призывают правителя, а тот, запершись в башне, творит заклинания и вызывает своего сеньора Сатану. Совершенно то же передавали римляне про своего Каталину. Он соблазнил весталку — то есть совершил чудовищное кощунство с точки зрения римской религии. Считали, что этим он хотел посмеяться над верой отцов. Глухой ночью он созвал друзей и, «смешав человеческую кровь с вином, разлил в чаши, и все после торжественного заклатья, как в священных обрядах, пригубили напиток» (*Sail. Cat.*, 15). Речь здесь идет не об обычном убийстве и тем более не об обычном людоедстве — возможно, хозяин и гости совершали ритуал какой-то демонической религии Востока, адептом которой был Каталина. У меня нет никаких сомнений в том, что уже в 1 веке в Риме существовало несколько тайных обществ, поклонявшихся силам зла, наподобие сатанинских сект Европы. Цицерон говорит про одного цезарианца Ватиния, что он официально называл себя пифагорейцем, но на самом деле лишь прикрывал именем великого философа «чудовищные и варварские обычаи». Он тайно совершает «неслыханные и нечестивые священнодействия» и приносит подземным духам — то есть духам тьмы — в жертву детей. В то же время он открыто презирует римскую религию и те обряды, «с помощью которых основан наш город, которыми держится Республика и держава» (*Cic. Vatin.*, 6). Гораций же выводит трех ведьм, которые убивают ребенка, чтобы изготовить волшебный напиток (*Hor. Epod.*, V). Напомню, что все последователи дьявола в Европе приносили в жертву именно детей. Каталина, возможно, был тут первой ласточкой.

Римляне были убеждены, что такого страшного преступника непременно должны терзать муки совести. Саллюстий, передавая городские слухи, пишет: «Нечистый дух, враждебный богам и людям, ни днем ни ночью не знал покоя — совесть опустошала его истерзанный мозг» (*Sail. Cat.*, 15). Во внешнем облике его видели следы этих непрерывных мучений. Когда он появлялся на людях очень бледным и усталым, никто не думал, что это следы бурно проведенной ночи. Все качали головой,

указывали друг другу глазами на Каталину и со вздохом шептали: «Совість!» Саллюстию он запомнился таким: «Бескровное лицо, зловещий взгляд, походка то стремительная, то медлительная, на лице печать безумия» (*Sail. Cat.*, 15). А Цицерон называл его «истощенным и истерзанным» разбойником (*Cic. Cat.*, II, 24). И эти слухи придавали отверженному еще дополнительный романтический ореол.

Этот таинственный человек и его таинственный дом как магнитом влекли к себе молодежь. Современники считали, что дом Каталины представлял собой очень усовершенствованную и оборудованную мастерскую, где перековывали сердца юношей и превращали их в адептов зла. Если неосторожный подросток переступал порог этого рокового дома, родители могли поставить на нем крест. «Кто может похвастаться таким умением совращать юношей, каким обладал он», — говорит Цицерон (*Cat.*, II, 7). Это совращение Каталина превратил в утонченное искусство. Он был настоящим хамелеоном и удивительно умел подольститься ко всякому. «Поражала его способность изменять поведению... принимать то одно, то другое обличье: с угрюмым держаться сурово, с общительным — приветливо, со стариками — степенно, с молодежью — радушно, дивить удалью разбойников и ненасытностью развратников» (*Cic. Caei*, 13).

Он встречал простодушного юнца с распростертыми объятиями. Вместо страшного чудовища, каким рисовала его молва, гость видел перед собой любезного, приветливого хозяина. Как он умел поговорить с мальчиком, войти во все его заботы! Вместо строгости, которой так часто отвечал на его признания отец, он видел такое понимание, такую ласку! Стоило юнцу заикнуться о мелком долге или проигрыше, который тяжелым камнем лежал на его совести, как радушный хозяин тотчас же вытаскивал кошелек. И все это без скучных нотаций, бесконечных нравоучений и жестоких упреков, какими непременно встретили бы его признание родители. Каталина находил в своем молодом друге все новые и новые таланты, почему-то до сих пор не замеченные родными. Нет, говорил он, его многообещающий друг отныне непременно должен бывать на его вечерах. И вот юноша с волнением отправлялся в сумерках на пир к Каталине. О, какое зрелище ему открывалось! Столы, уставленные с ослепительной роскошью, изысканнейшие закуски, редкие драгоценные вина, прелестные экстравагантные женщины и такое буйное, бесшабашное веселье, какое ему прежде и не снилось. Удивительно ли, что этот новый мир его ослеплял?

Здесь, в этом новом мире были совершенно иные понятия, чем в отцовском доме. Здесь смеялись над скучными добродетелями, в которых

он был воспитан. В моде был элегантный порок. Почтение к родителям, скромность, честность, презрение к богатству — все это третировалось как забавные отжившие предрассудки. И вскоре новичок с головой погружался в эту безумную, увлекательную жизнь. Развлечения следовали за развлечениями, удовольствия за удовольствиями. Юноша, разумеется, вскоре влюблялся в одну из прелестных экстравагантных женщин. Но она была так окружена, рядом с ней было столько поклонников! Несчастный находился между отчаянием и надеждой. И он открывал сердце чуткому Катилине. Старший друг с энергией брался за дело, руководил новичком, разрабатывал план действий, покупал подарки для его дамы, устраивал свидания... Между тем юноша вскоре обнаруживал, что промотался до нитки и что хуже — весь в долгах. Он в неистовом отчаянии, ему один путь — головой в омут. Но и тут Катилина предлагал выход. Его молодому другу следовало пойти на небольшое нарушение закона — подделать подпись под важным документом или выступить с ложным свидетельским показанием. Это ведь сущие пустяки, а его молодая жизнь будет спасена... Конец ясен. Юнец запутывался все более и более. В результате он становился законченным преступником и послушным орудием Катилины (*Cic. Cael.*, 12–14; *Sail. Cat.*, 16). «Стоило неопытному юноше запутаться в растлевающих сетях твоей дружбы, и ты с кинжалом в руке звал его на путь злодейства, ты нес перед ним факел по тропинке порока», — говорил, обращаясь к Катилине, Цицерон (*Cat. I*, 13).

Все подобные люди в конце концов входили в клуб Катил ины. Здесь были разорившиеся моты, прячущиеся от закона; здесь были опытные шулеры. Но «эти милые нежные мальчики умеют не только любить и быть любимыми, не только петь и плясать, но и поражать кинжалом и отравлять ядом», — рассказывает Цицерон. Действительно, под рукой у Катилины всегда находились профессиональные убийцы и лжесвидетели. Он появлялся на улицах Рима, окруженный этой своей гвардией. Все это были молодые щеголи, одетые ультрамодно. «Они расхаживают, — говорит Цицерон, — гладко причесанные, напomaженные, одни — безбородые, другие — с изящной бородкой». Такая маленькая бородка была в то время в Риме последним писком моды. Кроме бородок в моду вошли широкие просторные тоги. И вот друзья Катилины, по словам Цицерона, выходили на прогулку, завернутые в целые паруса (*Cat.*, II, 5; 22–23).

Эти люди поклонялись одному божеству — деньгам. Обывателям шайка Катилины внушала ужас. Шепотом рассказывали, что, когда Катилина обнаруживает, что его кошелек пуст, он вместе с членами своего клуба выходит на ночную охоту. В глухих переулках они подстерегают

неосторожных прохожих, которые допоздна засиделись в гостях. Они убивают их и грабят. Другие кивали и прибавляли — да, действительно Каталина режет ночью людей, но делает это не от нужды, а скорее из спортивного интереса, чтобы он и его друзья не дисквалифицировались (*Sail. Cat.*, 16).

И вот этот самый Катилина задумал поднять в Италии восстание и временем его осуществления назначил 63 год.

Саллюстий пишет: «После тирании Суллы им овладела безумная жажда власти — а каким образом он станет царем, ему было безразлично» (*Sail. Cat.*, 5). Однако со смерти Суллы прошло уже 15 лет. Быть может, все эти годы Катилина и мечтал о неограниченной власти, но мечты эти оставались мечтами. Что же заставило его действовать сейчас, почему он выбрал именно роковой 63 год? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам надо изучить прошлое Каталины и, насколько возможно, разогнать романтический туман, которым окружила его городская легенда.

Катилина происходил из знатного рода. Но отец его разорился. Детство он провел в нищете, а сестра, которая должна была заменить ему мать, не обращала на него внимания, неумеренно предаваясь разврату. Так прошло его детство. Ему было 18 лет, когда грянула революция. Он почувствовал себя в своей стихии и с восторгом окунулся в ее кровавые воды. Он пошел за Суллой, сделался близок к самому диктатору. В те годы он прославился большой свирепостью. С торжеством потрясающий только что собственноручно отрубленной им головой врага Суллы, весь в крови, которая капает с его пальцев, — таким запомнился Каталина Риму. Тогда же он убил брата, который стоял между ним и наследством, и зятя, тихого, кроткого человека, далекого от политики (*Q.Cic. Comm. pet.*, 9—11).

Революция дала Катилине власть и деньги. То была та веселая, разгульная жизнь, о которой он всегда мечтал. Но вот революция кончилась и он остался не у дел. Катилина не привык беречь деньги, и они проскочили у него между пальцев. Однако он не мог отказаться от привычного широкого образа жизни. И он влез в долги. Долги — это вроде трясины, чем больше стараешься вылезти из нее, тем глубже увязаешь. Вскоре Катилина был по рукам и ногам опутан кредиторами. Несчастья преследовали его. Ему удалось получить пост наместника Африки. Ограбив эту провинцию, он надеялся не только расплатиться с долгами, но снова начать широкую привольную жизнь. Увы! Едва он вернулся домой, его привлекли к суду по жалобе африканцев. Ему и тут удалось выпутаться из беды, но какой ценой! Он стал предлагать взятки судьям. В результате его оправдали незначительным перевесом голосов. Зато, как говорили злые

языки, после процесса он стал таким же бедным, какими были некоторые судьи до процесса.

Он хотел быть консулом. Это стало его навязчивой идеей. Он все время представлял себя окруженным ликторами с фасциями. И потом консулат мог поправить его дела. Всего он предпринял четыре попытки. Но каждый раз с позором проваливался. Консулат оказался обманчивым болотным огоньком. Теперь Катилина окончательно убедился, что общество его оскорбило и унизило. Все чаще вспоминал он золотые дни своей молодости — лихие походы, грабежи богачей, полная безнаказанность. А между тем положение его было отчаянным — кредиторы приступали с ножом к горлу. И тут-то случилось, что этот демон попал в руки дьяволов гораздо более высокого полета, рядом с которыми он был всего-навсего мелким бесом. Он сделался пешкой в чужой игре.

Я уже говорила, что генеральный штаб демократов наметил решительное наступление на 63 год. Первым должен был явиться Рулл с радикальным проектом — раздача всей земли. Вторым — Катилина с еще более радикальным лозунгом — кассация всех долгов. Что может быть могущественнее и разрушительнее этих двух лозунгов! Видимо, решено было, что революция начинается «мирным» путем. Катилина становится консулом, Рулл — трибуном. Оба выдвигают крайние проекты, оба поддерживают друг друга. И пламя революции охватывает Рим. Очевидно, Катилина привлек внимание штаба, во-первых, потому, что слыл человеком опасным, а во-вторых, потому, что пользовался влиянием среди своих бывших товарищей, ветеранов Суллы. Подобно Катилине, они успели растратить все то, что награбили при диктаторе, подобно Катилине, жаждали реванша. Это были люди, умевшие воевать; они раскиданы были по всей Италии и представляли вполне реальную силу. В-третьих, Катилина был ценен благодаря своим связям с уголовным миром. Наконец, он находился в отчаянном положении и был готов на все.

Но почему же выбран был именно 63 год? На то были веские причины. Несколько лет тому назад Помпей получил чрезвычайные полномочия для войны на Востоке. Он уехал и увел из Италии всю армию. Но война уже подходила к концу. Ждать Помпея назад можно было уже в начале 61 года, а может быть, даже в конце 62-го. Медлить было нельзя. Я думаю также, что не последнюю роль тут сыграли и соображения совсем иного порядка. 63 год был обозначен в пророчествах как год крови и гражданской войны. Между тем в те времена удивительно распространилась вера в магов, предсказателей, гороскопы и астральные прогнозы. Цезарь, например, не верил в бессмертие души и скептически относился к религии. Но он верил

снам, а садясь в седло, три раза повторял заговор против падения с лошади (*Plin., N.H., XXVIII, 3–5*). Во всяком случае, мы знаем, что для самих катилинариев предсказание о годе крови имело чуть ли не решающее значение.

Итак, Катилина выставил свою кандидатуру в консулы на 63 год. Главным соперником его был Марк Туллий Цицерон. В глазах Катилины то была самая жалкая личность. Человек без масштаба, без величия; профессиональный интеллигент, корпящий над своими книгами и добывающий средства для жизни трудами своих рук. Катилина как профессиональный злодей от души презирал таких людишек. К тому же сам Катилина был патриций. Предок его некогда прибыл в Италию с Энеем. А предок Цицерона был какой-то арпинский сукновал. «Катилина... язвительно называл его «высочкой», намекая на незнатность его происхождения... и, кроме того, именовал его «пришлецом» на том основании, что Цицерон родился не в Риме, а эта кличка употребляется в отношении всех тех, кто не живет в собственном доме» (что-то вроде нашего «лимитчик») (*App. B.C., II, 2*). Какова же была его ярость, когда, придя на Марсово поле, он увидал несметную толпу народа и все они с громкими восторженными воплями устремились к ненавистному сопернику! В бешенстве убежал Катилина домой. Какое впечатление произвел на него этот провал, видно из письма, которое он послал год спустя после этой катастрофы одному знакомому. «Я гоним несправедливостями, — писал он, — меня лишают плодов моих трудов и усердия, я не имею почетного положения». Не страх перед долгами толкает его в революцию, продолжает он, но негодование при виде того, что «недостойным людям дают почести, а меня... от них отстраняют» (*Sail. Cat, 35*).

Теперь о «мирном» пути не могло быть и речи. План Катилины был таков. Он вербует армию из сулланских ветеранов. Но сам с ближайшими помощниками остается в Риме. В назначенный заранее день армия идет на штурм столицы, в тот же день катилинарии поднимают вооруженное восстание внутри города. Они поджигают город с нескольких концов, убивают консулов, сенаторов и других должностных лиц, открывают ворота, устраивают террор и захватывают власть. Всю весну 63 года Катилина лихорадочно действовал. Во все концы Италии скакали его агенты. Вскоре армия была собрана. Она обосновалась в горах Этрурии в Фезулах<sup>[63]</sup>. К ним примкнули несколько разбойничьих шаек, промышлявших здесь же в горах (*Sail. Cat., 29*). Во главе стал опытный сулланский офицер Манлий. Теперь очередь была за Катилиной.

Однажды ночью все члены клуба получили приглашение явиться. Их провели не в обычную пиршественную залу, а в дальний уединенный покой дома, где они ни разу не были. Там перед ними предстал Катилина. Он поднялся и сказал следующее. Всем тем, кого он собрал здесь сейчас, он доверяет как самому себе. Он хочет открыть им страшную тайну. Настало время действовать. Они должны взять власть в свои руки.

— Вся власть в государстве принадлежит сейчас кучке сильных людей: цари и тетрархи — их данники, народы и племена платят им подати. Мы же, все остальные — храбрые, благородные, знатные, незнатные — толпа без влияния, без власти. Мы — рабы тех, которым — будь Республика жива — мы внушали бы ужас. Вся власть, вся сила, весь почет, все богатства у них или у тех, кто им угоден. На нашу же долю выпадают лишь опасности, провалы на выборах, судебные преследования, нищета. Доколе нам терпеть это, отважные друзья? Кто из смертных, наделенный мужественным сердцем, может вытерпеть, что им — денег некуда девать... а у нас нет средств даже на самое необходимое? У них по два и больше дома, а нам негде поставить фамильного Лара. Они покупают картины, статуи, чеканку... у нас же дома нужда, на Форуме — долги, дела плохи, будущее еще хуже. Когда же мы проснемся? Вот, вот она, та свобода, о которой мы так страстно мечтали, а кроме того богатство, почет, слава.

Присутствующие слушали своего вожака с восторгом. Они вскормлены были в любви к революции, они ждали ее, как сухая земля дождя. Им казалось, что она разом все разрешит. Для них, замечает Саллюстий, смута сама по себе уже была великой наградой. Но некоторые из новичков были смущены. Они стали спрашивать: каковы же цели грядущего восстания? Катилина отвечал — кассация долгов, проскрипции для богатых и дележ их имущества. В конце все заговорщики дали торжественную клятву быть верными революции и по настоянию Катилины скрепили эту клятву зловещими «сатанинскими» обрядами (*Sail. Cat.*, 20–21).

Было решено, что Катилина в этом году опять будет баллотироваться в консулы. Но уже не ради «мирного» пути. Просто ему сподручнее будет действовать, если он станет главнокомандующим и вообще главой Республики. Катилина вложил в это предприятие кучу денег и на сей раз был абсолютно уверен в успехе. Он собирал народ, скорбел о его бедствиях и обещал помощь.

— Только тот, кто сам несчастен, может быть верным заступником несчастных, — говорил он. — Не верьте, раненые и обездоленные, обещаниям неведимых и счастливых. Если вы хотите восполнить прорехи,

возместить утраты, то взгляните на мои долги, мое имущество, мою отвагу. Наименее робким и наиболее пострадавшим должен быть призванный вождь и знаменосец пострадавших.

Он расхаживал по Форуму с таким наглым и самоуверенным видом, что «казалось, он уже сорвал и спрятал у себя дома консулат», говорит Цицерон. А когда Катон, с которым читатель вскоре близко познакомится, пригрозил ему судом, Катилина патетически воскликнул:

— Если вы разожжете вокруг меня пожар, я потушу его не водой, а развалинами!

Настали выборы, и Катилина опять провалился. Но на сей раз неудача не обескуражила его. Он уже сделал ставку на вооруженное восстание. Провал означал только одно — события нужно форсировать. Раньше он думал ждать до начала будущего года, когда он станет консулом. Теперь решено было действовать немедленно. В 8 день до ноябрьских календ (25 октября) должен был выступить Манлий, а на пятый день до ноябрьских календ (28 октября) ночью назначен был поджог Рима. 25-го, как и было условлено, Манлий начал действовать. Наступает роковая ночь на 28-е. И вдруг Катилина узнает, что во всех тех местах, где намечены пожары, стоят вооруженные гарнизоны! Ярость, недоумение, смущение его не знали предела. Решено было, что в ноябрьские календы (1-го числа) Катилина внезапным ночным налетом овладеет городом Пренесте. Но, когда он приблизился к воротам, оказалось, что мирный городок не спит, как он полагал. На стенах стояли вооруженные караулы. Кто мог предупредить их об опасности? Катилина был вне себя. Весь выношенный, продуманный план рухнул (*Cic. Cat., I, 7–8*). И вот в ночь на 7 ноября он вновь созывает заговорщиков на тайное собрание.

На сей раз решено было встретиться не у Катилины — за его домом могли следить, — а у одного из незначительных заговорщиков, некого Порция Леки. Глухой ночью Катилина вышел из дома и отправился на улицу Косовщиков (*Inter Falcarios*). Улица была пустынна. Никто не следил за ним. Ни одна живая душа не видела, как он проскользнул в дом Леки. Катилина говорил перед собравшимися о всех страшных неудачах, которые сыпались на них в последнее время. Он говорил, что нужно выработать новый план действий. Снова набросали план поджога. Снова наметили районы, где должен вспыхнуть пожар, и назначили исполнителей. Но прежде всего, сказал Катилина, нужно немедленно обезглавить правительство и убить консула Цицерона. (Его бездарный коллега в счет не шел.) Без этого они не сдвинутся ни на шаг. В ответ на его слова поднялись двое убийц и заявили, что они готовы. Дело это нетрудное, сказали они.

Цицерон, как все римские аристократы, почти не запирает дверей своего дома. С утра до вечера к нему течет непрерывный поток посетителей. Ранним утром они войдут вместе со всеми, будто бы для того чтобы пожелать консулу доброго утра, и заколют его в собственной постели. Во время возникшей суматохи легко будет скрыться. Катилина кивнул. И чтобы не откладывать дела в долгий ящик и не просочилось ни малейшего слуха о затеваемом деле, решено было убить консула прямо сейчас, как только рассветет. Через несколько часов должно было подняться солнце. Прямо из дома Леки убийцы отправились в дом Цицерона. Когда они подошли, то увидели невероятную картину — двери были заперты, на пороге стояла толпа вооруженных юношей (*Cic. Cat., I, 7–8; Sail. Cat., 27–28*).

Катилина был совершенно ошеломлен всем случившимся. Когда он стоял так, растерянный, на Форуме, к нему подошел глашатай и сказал, что на завтра назначено экстренное заседание сената. Встревоженный, шел Катилина в сенат утром 8 ноября. Вот когда его самоуверенность впервые была поколеблена. Какой демон мешает ему? Чья рука разрушает все его планы? Какой-то человек точно знает все его слова, чуть ли не все его мысли. Кто-то незримо следит за каждым его шагом. Он стал игрушкой каких-то темных сил. Его опутали незримые сети...

### ***Шестой день до ноябрьских ид (8 ноября)***

Был среди членов клуба Катилины один молодой человек. Звали его Курий. Это был на редкость пустой и хвастливый малый. Его давно выгнали из сената, поэтому он занял почетное место среди «раненых и обездоленных», толпившихся вокруг Катилины. Курий давно страстно любил одну знатную даму, некую Фульвию. Своенравной красавице, видимо, нравилось играть беднягой. То она приближала его к себе, то отталкивала. В последнее время любовник, казалось, ей смертельно надоел и она едва терпела его общество. Он был в отчаянии от ее немилости.

Курий был одним из тех, кто присутствовал у Катилины в ту ночь, когда был начертан план грядущей революции. Речи Катилины буквально опьянили его. Он уже видел себя на вершине власти и весь Рим у своих ног. Прямо с собрания он устремился к Фульвии. Фульвия с изумлением на него смотрела. Он ворвался к ней ночью совершенно вне себя. Он говорил без умолку. Его речи похожи были на бред. То он сулил ей какое-то неземное могущество и горы сокровищ, то сбивался на какие-то неясные угрозы.

Фульвия была умна и любопытна. Она сразу поняла, что за странными словами Курия что-то кроется. И она решила узнать, что именно. С необыкновенным искусством она приступила к делу. К утру она уже знала все о заговоре.

Выпроводив любовника, Фульвия сидела пораженная. Итак, совсем скоро, может быть, уже через несколько месяцев в Риме начнется резня и власть захватят люди, вроде ее Курия. Фульвия невольно содрогнулась. Она быстро вскочила, накинула на голову покрывало и бросилась из дому. Вскоре она сидела перед Цицероном и рассказывала обо всем, что узнала этой ночью (*Sail. Cat.*, 23; *App. B.C.*, II, 3).

Цицерон давно с напряженным вниманием наблюдал за Каталиной. Он догадывался, что тот задумал недоброе. Но сейчас, услышав рассказ Фульвии, он пришел в ужас. Ему было 16 лет, когда началась революция. До сих пор он видел в кошмарных снах, как по дорогам Италии валяются трупы и на Рострах лежат человеческие головы (*Cat.*, III, 24). Больше всего на свете он боялся увидеть все это опять наяву. И вот он узнает, что это случится сейчас, буквально через несколько дней!

Его приводило в отчаяние собственное бессилие. Что он мог сделать? Немедленно арестовать Каталину и его главных сообщников? Увы! Консул мог без суда арестовать римского гражданина только на одни сутки. Значит, привлечь его к суду? Но на этот процесс уйдет много месяцев, может, даже год. А пока Катилина будет оставаться на свободе и резня начнется прежде, чем присяжные успеют занять свои места. В эту роковую минуту Цицерон не потерял голову и не утратил ясности мыслей. Он решил действовать против Каталины так же, как он действовал против Верреса, то есть снова превратиться в следователя — детектива. Прежде всего он внушил Фульвии, чтобы она не спускала глаз с заговорщиков и доносила ему о каждом их шаге. Фульвия обещала ему помогать. А так как Курий был мягким воском в ее руках, то он вскоре смирился с ролью шпиона и исправно доносил своей милой обо всем, что происходило на тайных заседаниях.

Далее Цицерон воспользовался своим изумительным красноречием. В своих речах он говорил о страшной опасности, угрожающей Риму. Он взволновал народ до того, что ему удалось организовать добровольческие отряды для охраны города. Особенно встревожены были юноши, пылкие поклонники Цицерона. Они окружали его тесным кольцом, готовые защитить от любой опасности.

Был еще один путь — введение чрезвычайного положения. В смутную годину мера эта применялась неоднократно. Когда сенат находил, что

Республика в смертельной опасности, выбирали диктатора, слово которого равносильно закону, или вручали диктаторские полномочия консулу. «Это наивысшая власть, которая по римскому обычаю может быть вручена сенатом магистрату, — пишет Саллюстий, — он может собирать войско, вести войну... и в городе, и в военном лагере он обладает высшей военной и высшей судебной властью, а в другое время консул без разрешения народа ничего этого не может» (*Sail Cat.*, 29). Этой-то власти и стал добиваться у сената Цицерон. Увы! Отцы весьма скептически относились к его подозрениям. В конце концов ему все же удалось убедить их. Он получил диктаторские полномочия, но когда? 21 октября! За четыре дня до выступления Манлия и за неделю до восстания в столице.

Казалось, теперь-то у Цицерона были развязаны руки. Он мог немедленно схватить и казнить Катилину и его сообщников. Да, формально мог. Но против этого восставали вся римская традиция, весь римский образ мыслей. В самом деле. Можно было казнить Сатурнина или Гая Гракха, которые во главе мятежников с оружием в руках выступили против законов. А что сделал Катилина? Что бы там ни говорили городские слухи, ни в каких антиправительственных выступлениях он не был замешан. Как можно было ни с того ни с сего его убить? Но ведь в Этрурии уже шли военные действия. Да, но как доказать, что Катилина имеет к этрусским мятежникам хоть какое-то отношение? Где улики? Донос отпетого негодяя Курия и его любовницы? Помилуйте, но как можно на этом основании лишиться жизни римских граждан?! Или мы вернулись к временам Суллы? Нет, если Цицерон так поступит, от него отшатнутся и сенат, и народ, он останется один, а катилинарии спокойно dokonчат начатое дело. И он продолжал действовать так, как начал, следя за каждым шагом Катилины и разрушая все его планы.

Но 7 ноября, когда убийцы подошли к дверям его дома, стало ясно, что дольше так продолжаться не может. Катилина теперь в любой момент может решиться на что-нибудь отчаянное. Причем все может произойти так стремительно, что Цицерон просто не успеет отвести удар. Необходимо резко изменить тактику. Но как? Улик по-прежнему никаких. Вот если бы Катилина был так неосторожен, что выдал себя, если бы он совершил нечто такое, что вдруг открыло бы глаза всему Риму... Но как добиться этого? И Цицерон придумал...

Но вернемся к Катилине. Как уже говорилось, ранним утром 8 ноября он с тяжелым сердцем отправился в сенат. Обыкновенно отцы собирались в Курии, небольшом здании внизу, на Форуме, у подошвы Капитолия. Но на сей раз сенаторов приглашали в храм Юпитера Статора. Храм этот

находился на вершине Палатина, на крутом уступе и напоминал крепость. Взбираясь по лестнице на холм, Катилина с изумлением замечал повсюду вооруженные отряды — казалось, он в осажденной крепости. Он вошел в храм. На длинных дубовых скамьях, расставленных по всему помещению, уже сидели сенаторы. Среди них были его старинные приятели, родичи, свояки. Катилина с улыбкой к ним обратился, но уже готовая шутка вдруг замерла у него на губах — никто не промолвил ни слова, никто не улыбнулся — его встретили гробовым молчанием. «Он был раздавлен этим грозным молчанием». Наконец, призвав на помощь всю свою наглость, он принял самый небрежный, самый независимый вид и сел на свое место. Тут же все соседи встали и молча перешли на другой конец залы. Он сидел совсем один в своем углу, все остальные сгруппировались в противоположном конце. Можно было подумать, что у него чума, проказа, он распространяет страшную заразу (*Cic. Cat., I, 16*). И тогда поднялся со своего места консул Цицерон. Он обратился прямо к Катилине и, глядя ему в глаза, объявил, что знает все.

— Ты не замечаешь, что твои замыслы обнаружены, что твой заговор уже раскрыт перед всеми этими сенаторами? Ты считаешь неизвестным кому-нибудь из нас, что ты делал в прошлую, что в позапрошлую ночь, где ты был, кого созывал, какое решение принял?

Уже эти слова как громом поразили Катилину. Ведь в позапрошлую ночь он как раз был у Порция Леки и они разработали новый план действий! Неужели консул об этом знает? Немыслимо!

— Ни мрак ночи, ни стены дома не могут скрыть твои планы... Все улики налицо; яснее дня для нас картина твоих замыслов, и я не имею ничего против того, чтобы поделиться ею с тобой... Ты днем избиения... назначил пятый день до ноябрьских календ (28 октября. — Т. Б.)... Ты в этот день, отовсюду окруженный моими караулами... не мог даже шевельнуться с враждебными государству целями... Затем, когда ты в самые ноябрьские календы предпринял ночное нападение на Пренесте, твердо рассчитывая овладеть этим городом, и натолкнулся на охранявшие его гарнизоны... догадался ли ты, что это были мои люди, отправленные туда по моему распоряжению? Вообще ты ничего не можешь не только исполнить... но даже задумать, о чем я не получил бы известия, мало того — вполне осязаемой ясной картины.

Катилина был раздавлен. Он молчал. Он не мог прийти в себя.

— Теперь позволь поделиться с тобой событиями позапрошлой ночи...

Вот, вот, наконец! Неужели что-нибудь известно о совещании у Леки?

— Ты... отправился на улицу Косовщиков... — Тут оратор выждал

паузу. Мертвая тишина. Все глаза впились в его лицо. — ...Я буду вполне откровенен: в дом Марка Леки.

Итак, все известно.

— Что же ты молчишь? Скажи, что это неправда. Улики у меня есть.

Но Катилина, совершенно подавленный, молчал. Цицерон обвел глазами зал.

— Я здесь в этом самом сенате вижу кое-кого из твоих тогдашних сообщников...

Катилина мог видеть, как его приятели сжались, стараясь вдавиться в скамью.

— Итак, Катилина, ты был в ту ночь у Леки, разделил Италию по частям, указал, кому куда следует направиться, наметил тех, кого решил оставить в Риме... разделил город для поджога на участки.

Только жизнь консула, продолжал оратор, беспокоила заговорщиков.

Нашлись два римских всадника, взявшихся освободить тебя от этой заботы: они обещали в ту же самую ночь, незадолго до рассвета убить меня в моей постели. Не успело разойтись ваше собрание, и я уже обо всем был извещен.

Итак, консул точнейшим образом перечислил все, о чем говорилось ночью у Порция Леки. Можно было подумать, что он сидел где-нибудь за ковром и все слышал! Он читал в душе Катилины как в раскрытой книге. Но как это возможно? А вот и ответ. Много глаз, много ушей, продолжал оратор, незаметно для тебя зорко и чутко следят за тобой. Все карты заговорщиков раскрыты, продолжал Цицерон. Положение Катилины безнадежно. Ему остается одно — немедленно удалиться в изгнание. Тут оратор напомнил о той чрезвычайной власти, которая была вручена ему 17 дней назад; напомнил о судьбе Гая Гракха и Сатурнина, которые ослушались диктатора и были убиты<sup>[64]</sup>.

— Теперь, Катилина... оставь, наконец, наш город; ворота открыты — уезжай.

И видя, что всеобщее напряжение достигло своего апогея, он неожиданно отвел глаза от Катилины и повернулся к статуе Юпитера Статора, которая стояла в центре храма. Предание говорило, что здесь, на этом самом месте, где ныне высился храм, Юпитер еще при Ромуле спас римлян. В честь этого события и было воздвигнуто святилище. И вот теперь Цицерон простер руки к этой статуе и начал горячо молиться:

— А ты, Юпитер... ты охранишь от него... стены города, жизнь и имущество граждан, ты обречешь этих... врагов своей отчизны, грабителей Италии, членов богоотверженного, сплоченного преступлениями союза —

вечной каре и при жизни, и после смерти! (*Cic. Cat.*, I, 1;2; 6—10; 33).

Так кончил Цицерон. Это и есть Первая речь против Катилины. Никакой перевод не может передать ее силу. Она написана почти ритмической прозой, почти белым стихом. И каждое слово звучит величаво и гулко, словно удар колокола. Читая ее, я всегда вспоминаю строки Блока:

Лишь медь торжественной латыни  
Поет на плитах, как труба.

Однако читатель уже понял, что это вовсе не красивая поэма, призванная ласкать слух присутствующих. Скорее эту речь можно сравнить с хорошо отточенной шпагой, каждый удар которой точен и разителен. Все в этой речи продумано и рассчитано. Как только оратор кончил, все вскочили со своих мест. На всех лицах читались отвращение и ужас. И с губ их разом сорвалось одно слово:

— Убийца!

Были среди сенаторов и сообщники Катилины. В другое время они, как один, горой встали бы на защиту своего вожака. Но консул только что сказал, что знает их всех в лицо, и их сковал страх.

Но главный удар, конечно, направлен был против самого Катилины. Цицерон хотел взбесить своего противника, взбесить и испугать до того, чтобы тот потерял голову. И это удалось ему великолепно. Цицерон вспоминал впоследствии, что Катилина, человек небывалой наглости и находчивости, в тот день онемел и не смог вымолвить ни слова (*Or.*, 129). И действительно. Убитый и растерянный, стоял Катилина под шквалом ударов Цицерона. Вдруг он вскочил и, как сумасшедший, сломя голову выбежал из сената. В ту же ночь он бежал из Рима.

Катилина, по признанию самого Цицерона, был человеком умным, решительным, хладнокровным и хитрым. Он умел тщательно продумать свой план и привести его в исполнение (*Cic. Cat.*, III, 17). Кто бы мог поверить, что этот человек струсит и потеряется, как мальчишка?! Да, он поверил, что в руках у Цицерона неопровержимые улики. Ему казалось, что его со всех сторон окружают глаза и уши тех незримых, о которых говорил Цицерон. Он не мог больше ни минуты оставаться в Риме.

Цицерон ликовал. То была величайшая победа. Катилина сделал именно то, чего он так страстно добивался. Теперь для всего Рима его вина была доказана. Он не мог возразить ни слова на обвинения консула. Кроме того — и это особенно важно! — в римской судебной практике

добровольное изгнание означало полное признание своей вины. Значит, Катилина фактически признал все обвинения Цицерона. Вскоре стало известно, что бежал он прямехонько в лагерь Манлия. Теперь ни у кого не осталось никаких сомнений. Но это еще не все. Катилина был величайшим интриганом и конспиратором. Он великолепно умел плести нити заговора. «Все было ему известно, всюду он был вхож; знал он, как с кем заговорить, как кого ввести в искушение... его знанию соответствовала и смелость; был у него ум, созданный для преступления, а его руки и язык были верными помощниками ума» (*Cic. Cat., III, 16*). В Риме такой человек был страшным противником. Он был неуязвим. Но когда он вышел из подполья, то превратился в самого заурядного мятежника. Небольшое войско повстанцев не могло испугать Рим. Опасен был внутренний заговор. К тому же Катилина не обладал никакими военными талантами. В лагере Манлия он был не нужен. Зато заговорщикам он был необходим, как воздух. Без него они были бессильны. «Он один из всей шайки был действительно опасным противником» (*Cic. Cat., III, 16*). Поэтому, покинув Рим, Катилина обезглавил свой заговор.

Уже в дороге он понял, какую страшную ошибку совершил. Он спохватился и стал писать влиятельным сенаторам письма, уверяя, что ни в чем не виновен, что его гнусно оклеветали. Но было поздно. Его письма как письма государственного преступника нераспечатанными приносили в сенат. «Я сорвал доспехи с его дерзости!» — в восторге восклицал Цицерон (*Cic. Cat., II, 14*).

Между тем весть о случившемся с молниеносной быстротой облетела город. Граждане узнали, что в Риме есть тайное общество, замыслившее поджечь город и учинить резню. Дикий страх и отчаяние черным облаком окутали город. Веселье, шутки, пирушки, повседневные заботы — все было забыто. Особенно тяжелое впечатление производили женщины. Бледные, осунувшиеся, закутанные в темные покрывала, бегали они по городу, останавливали всех встречных и жадно расспрашивали, не случилось ли чего нового. Потом они разражались слезами, били себя в грудь, падали на колени и, простирая руки к небесам, молили богов сжалиться над их маленькими детьми (*Sail. Cat., 31*).

На другой же день 9 ноября все сошлись на сходку. Угрюмое отчаяние нависло над собранием. К этим бледным и дрожащим людям Цицерон вышел сияющий и веселый. Речь его дышала силой. Он ликовал, он торжествовал. Казалось, он уже победил и не осталось ни одного заговорщика.

— Он ушел, он удалился, он умчался, он исчез! — таковы были его

первые слова. — ...Острие кинжала уже не приставлено к нашей груди. Мы не будем трепетать, находясь на Марсовом поле, на Форуме, в Курии, в покоях наших домов. Изгнав его из города, мы выбили его с его позиций: теперь мы будем открыто и беспрепятственно вести с врагом самую обыкновенную войну. Да, мы несомненно погубили этого человека, превратив его тайные козни в открытый мятеж.

Катилина уже побежден.

— Да, он лежит во прахе, квириты, и что хуже, он чувствует свое поражение.

Правда, в Риме остались его сообщники. Но без своего вожака они ничто. Это изнеженные щеголи, которые даже оружие не могут держать в руках. Как сумеют они сражаться, как вынесут Апеннины с их вьюгами и снегами? И как в лагере в эти долгие зимние ночи они обойдутся без своих любовниц? Смешно бояться таких воинов.

— Но, квириты... я возлагаю надежду не на свою мудрость и вообще не на человеческий ум, а на... бессмертных богов... Они теперь уже не издали, как раньше... отражают врага, а здесь же, среди нас, своим непосредственным вмешательством охраняют свои храмы и здания города. Им должны вы молиться, квириты! (*Cic. Cat.*, II, 1–2; 22–24; 29)<sup>[65]</sup>.

Каждое слово консула вливалось мужество и жизнь в сердца сограждан. В конце все окончательно приободрилось и разошлись успокоенные. Все, но не Цицерон. Сам он ни на йоту не верил тому, что говорил квиритам. Он прекрасно понимал, что торжествовать рано. Катилина с Манлием укрепляют свой лагерь. Стало известно, что в Этрурии Катилина облачился в консульскую одежду и окружил себя ликторами с фасциями. Оказывается, этот демон всю жизнь мечтал покрасоваться в генеральском мундире! Но беспокоил консула теперь не Катилина, а его сообщники, оставшиеся в Риме. Цицерон не спускал с них глаз. Он так же неотступно следил за каждым их шагом, как прежде. «Все свои дни и ночи я посвятил неусыпному наблюдению за их действиями», — вспоминает он (*Cic. Cat.*, III, 7). И вот что он узнал.

После отъезда Катилины главарями революционного комитета стали Цетег и Лентул. Оба они были люди знатные, оба в долгах, оба готовы на все. Но они отличались друг от друга по темпераменту. Цетег, неистовый, яростный, больше напоминал самого Каталину. Лентул же был вял, ленив, беспечен. Его очень трудно было сдвинуть с места и заставить что-нибудь предпринять. Цицерон говорил, что он вечно спит. Уезжая, Катилина поручил им осуществить все то, о чем они говорили 7 ноября у Порция Леки. Они должны были поджечь Рим, учинить избиение и захватить

власть. А тем временем подойдет сам Катилина с Манлием. Цетег считал, что действовать надо немедленно, пока консул глупо и беспечно празднует изгнание Катилины, Но Лентул говорил, что надо повременить. Цетег горячился и настаивал, Лентул все тянул и медлил. Наконец он объявил, что восстание следует отложить более чем на месяц, до Сатурналий.

Сатурналии были самым веселым праздником Рима. Считалось, что это воспоминание о Золотом веке, когда все были братьями, не было ни денег, ни войн, и земля, как добрая мать, баловала и пестовала своих детей. Правил тогда в Италии добрый царь Сатурн. Отсюда и название праздника. Продолжался он целую неделю с 17 по 23 декабря и напоминал наши Новый год и Рождество. Сенека говорит, что готовились к этим дням с 1 декабря, с упоением предвкушая грядущее веселье. «Наступил декабрь, — говорит он, — весь город в лихорадке... везде шум невиданных приготовлений» (*Sen. Luc., XVIII, 1*). Всю неделю римляне дарили друг другу подарки, устраивали пиры, блестящие вечера, разыгрывали друг друга, шутили, словом, веселились и дурачились вовсю. Господа и рабы садились за один стол, как при Золотом веке. Вина текли рекой. Плиний, который был всегда занят и не мог прервать работу даже в праздник, убежал в самый отдаленный покой своего огромного дома и затворял все двери, потому что все звенело от смеха и громких криков (*Plin. Ep., 11, 17, 24*). Тысячи людей в эти дни уезжали из Рима, чтобы отдохнуть на лоне природы. Зато жители окрестных сел и деревень валом валили в Рим, чтобы поглазеть на пышные зрелища.

Ясно, говорил Лентул, что среди этой праздничной сутолоки заговорщикам легко будет выполнить свой план. Может быть, они даже думали скрыться под причудливыми карнавальными одеждами и масками. Цетег скрепя сердце согласился. Началась лихорадочная подготовка. Весь ноябрь в дом Цетега сносили оружие, паклю и серу.

Цицерон знал все. Но у него по-прежнему не было в руках никаких улик. Заговорщики происходили из почтенных семей. Их отцы и деды были прославленными римскими вельможами. В сенате у них были друзья и родственники. Все они с негодованием обрушатся на произвол консула, вздумай он их арестовать. А между тем медлить было нельзя. Ноябрь кончался. День праздника неумолимо приближался. Скоро на улицах Рима польется кровь и смешается с приготовленными радушными хозяевами дорогими винами. И тут случилось роковое событие, которое и решило весь исход дела.

В то время как Рим готовился к празднику, а катилинарии — к поджогу, в столицу явилось посольство от галльского племени аллоброгов. Они приехали жаловаться на какие-то свои обиды. Но просьбы их не уважили, и варвары пришли в ярость. Несколько лет назад галлы тоже приезжали в Рим и тоже на что-то сердились. По словам Цицерона, эти огромные люди гордо расхаживали по всему Форуму в военных плащах и кожаных штанах, наводя на прохожих ужас угрожающими жестами и дикими криками — голос у них был зычный, как военная труба (*Font.*, 29, 33). Нечто подобное происходило и теперь. Не заметить таких просителей было трудно. Едва взор Лентула упал на этих могучих великанов, которые, потрясая кулаками, желали Риму провалиться в преисподнюю, как у него родилась новая идея. Что если пригласить в заговор галлов? Они многочисленны и с детства привыкли владеть оружием. К тому же они издавна ненавидят римлян. Какую неоценимую помощь могут оказать они Каталине! Лентул немедленно позвал вольноотпущенника Умбрена, показал на галлов, которые неистовствовали на площади, и шепотом отдал какой-то приказ.

Умбрен подошел к галлам, заговорил с ними, выслушал их сбивчивый и гневный рассказ, стал громко возмущаться чудовищной несправедливостью и в заключение пригласил их в один дом. Там они познакомились с заговорщиками. Наконец их повели к самому Лентулу и тот открыл им все. Их ждет свобода, богатство, они сбросят ненавистное иго Рима, пусть только помогут заговорщикам. Буйная ярость варваров сменилась таким же бурным восторгом. Они разразились ликующими криками. Было решено, что аллоброги поднимут восстание в Галлии и пошлют конницу на помощь революционерам. Договорившись обо всем, они распрощались, и варвары побрели домой.

И тут ими вдруг овладели тяжкие сомнения. Стоит ли менять верное на неверное? Власть Рима им давно известна, а вот что несет предложение Лентула? Долго стояли они, спорили, кричали и рассуждали, бурно жестикулируя. «Наконец победило счастье Республики» (*Sail. Cat.*, 41). Аллоброги решили, что надо вернуться и посоветоваться со своим патроном Фабием Сангой.

Каждая зависимая страна, каждое племя имело в Риме своего *патрона*. Обычай повелевал, чтобы первым патроном становился сам завоеватель, а потом его обязанности передавались по наследству сыновьям, внукам,

потомкам. Римляне считали, что тот, кто покорил Республике новый народ, должен позаботиться, чтобы жилось этому народу под римской властью сносно. А потому весь род его должен был опекать новых подданных Рима. Патрон был в курсе всех дел своих подопечных. Они рассказывали ему обо всем, жаловались на свои обиды, а он защищал их, вел их дела в суде, помогал найти адвоката и давал советы. Можно себе представить, что почувствовал Санга, когда к нему ворвались его буйные подопечные и, перебивая друг друга, принялись рассказывать о своих приключениях! Нужно сказать, что в глазах римлян тайные переговоры с аллоброгами были самым ужасным преступлением, хуже даже поджога. Дело в том, что кроме карфагенян не было у римлян более страшного врага, чем галлы. Они издревле обитали возле Альп и то и дело, как лавина, обрушивались на цветущие итальянские города и деревни. Некогда они взяли Рим и сожгли его. Потом они постоянно разоряли страну. «О жестокости этих разбойничьих племен против италиков существуют рассказы в таком роде: когда они захватывали город, то убивали не только все мужское население с самого молодого возраста, но и маленьких мальчиков, и даже на этом не останавливались, а убивали беременных женщин», — пишет греческий географ Страбон (*Strab.*, IV, 6, 8). И вот этих-то варваров катилинарии призывают на Рим!

Санга бросился к консулу. К его величайшему изумлению консул совсем не был удивлен, выслушав его взволнованный рассказ. Он уже во всех подробностях знал о тайных переговорах с аллоброгами. Но слова Санги привели его в восторг. Исполнилось его заветное желание. «Я понял, что получил счастливую возможность совершить самое сложное, то, о чем я все время горячо молил бессмертных богов, — сделать заговор совершенно очевидным не только для самого себя, но и для сената и народа» (*Cat.*, III, 4). Итак, консул говорит Санге, что его подопечные должны притворяться по-прежнему самыми горячими сторонниками заговорщиков. Сейчас они должны немедленно отправиться назад к Лентулу и сказать ему в точности то, что велит Цицерон. От этого зависит жизнь Рима.

Аллоброги, получив самые подробные инструкции от своего патрона, в тот же вечер отправились в штаб-квартиру революционеров. Там они заявили, что чуть было не забыли самое главное. Их вожди и старейшины не станут их и слушать, если они не принесут текст договора. Пусть заговорщики дадут им грамоту с печатью, где будет точно написано, что должны сделать галлы и какую награду они получают. Только пусть непременно будет печать и подписи катилинариев.

Как только ушел Санга, рассказывает Цицерон, «я позвал к себе преторов Люция Флакка и Гая Помптика». То были опытные воины, люди храбрые, а главное, душой и телом преданные Цицерону. Консул сказал, что хочет поручить им трудное и рискованное дело. Причем к его исполнению надо приступить немедленно. Они, ни минуты не колеблясь, отвечали, что готовы на все. Тогда Цицерон открыл им свой план. Преторы взяли с собой несколько смельчаков, а кроме того молодежь из умбрского городка Реате. Городок этот тоже был горячо предан Цицерону. Им ничего не объяснили, а только внушили, что предстоит опасное приключение, которое может спасти Республику. Как только спустились сумерки, оба претора со своим маленьким отрядом подошли к Мульвийскому мосту. Он находился в нескольких километрах от Рима, там, где Фламиниева дорога, ведущая на север, пересекала Тибр. По этому мосту ночью должны были проехать галлы. Место было сейчас совершенно безлюдное. Никто их не заметил.

Преторы разделили свое войско на две части, и каждый взял свою половину. Затем они спрятались по обеим сторонам моста, так что их разделяла река. Началось томительное ожидание. Наступила ночь. Спустилась полная тьма. Час проходил за часом. Никто не показывался. Близился рассвет. Надежд уже больше не оставалось. Видимо, план Цицерона почему-то провалился. Конечно, заговорщики догадались об обмане и отказались дать галлам письма. И вдруг, на исходе третьей стражи, послышался топот копыт<sup>[66]</sup>. К мосту приближался какой-то большой отряд. Сомнения нет. Это они. В центре ехали знатные аллоброги. Рядом с ними какой-то римлянин, видимо, кто-то из заговорщиков. Вокруг них большая вооруженная свита. Едва они ступили на мост, как спереди и сзади раздался боевой клич и с двух сторон на них вылетели воины. Сделалось страшное смятение. Катилинарий выхватил меч и собирался обратиться к своим спутникам со словами воодушевления, но вдруг увидел, что галлы разом, как по команде, бросили оружие и закричали, что сдаются. Тогда и он бросил меч. Их окружили. К ним подбежали оба претора и первым делом закричали:

— Письма? Где письма?

Галлы тотчас же отдали им грамоты. Еще одно письмо они выхватили из рук заговорщика, после чего с торжеством повели пленников к консулу. «Был уже рассвет, когда их привели ко мне», — рассказывает Цицерон. Преторы немедленно положили перед ним драгоценные письма. Цицерон тотчас же велел позвать главных заговорщиков, а именно Лентула, Цетега, а также Статилия и Габиния. Их подняли с постели. Они ни о чем не

догадывались. Лентул явился позже всех, как всегда заспанный. Будущий диктатор полночи писал письма совету аллоброгов — вот почему галлы так опоздали. Схваченного заговорщика звали Вольтурций. Он, как выяснилось, должен был сопровождать галлов, выступить перед их Советом, а потом поехать к Катилине и доложить обо всем случившемся (*Cic. Cat.*, III, 4–9; *Sail. Cat.*, 40–44).

Несмотря на ранний час, в дом Цицерона сбежались все друзья и тесной толпой окружили его. Перед консулом лежали запечатанные письма. Мучимые любопытством гости советовали немедленно их вскрыть. Зная содержание писем, говорили они, легче приготовить выступление в сенате. Однако Цицерон был слишком опытным юристом. Он не притронулся к письмам, пока не собрался сенат. Как только рассвело, он поспешно созвал сенат. Это было 3 декабря.

Сенат был собран в храме Согласия, который располагался на Форуме почти у самой подошвы Капитолия. Явились все поголовно. Не осталось ни одного свободного места. Все были в ужасной тревоге. Многие уже слышали, что ночью произошло нечто страшное, но что — этого толком не знал никто. Пришли и заговорщики. Все пятеро явились бледные — на них просто лица не было — и молча заняли свои места. Среди всеобщего молчания отворились двери и вошли служители, сгибаясь под тяжестью кинжалов и мечей. Их нашли сегодня рано утром в доме Цетега во время обыска, произведенного по совету аллоброгов, которые видели там оружие. Всю эту огромную грудку с грохотом бросили на пол. Тут Цетег встrepенулcя и вскочил. Все это антиквариат, закричал он, это его коллекция, которую он собирал всю жизнь. Он всегда любил красивые мечи и кинжалы. Но двери снова открылись и ввели Вольтурция. При виде его заговорщики потеряли дар речи. Вольтурций дрожал, у него зуб на зуб не попадал, он не мог произнести ни слова. Цицерон поднялся с места и внушительно заявил, что от имени всех присутствующих обещает ему прощение. Но он должен рассказать правду. Заикаясь, Вольтурций объяснил, что Лентул и Цетег послали его к Катилине, чтобы сообщить о происходящем. Город решено поджечь. Он разделен на районы, каждая часть поручена одному из заговорщиков. Катилина с войском должен как можно скорее идти на Рим.

По знаку консула Вольтурций удалился. Двери вновь открылись, и вошли аллоброги. Они рассказали всю историю своих переговоров с Лентулом и вообще все, что в эти дни узнали о заговоре. Цицерон кивнул секретарю. Тот встал, вышел и через несколько минут возвратился с пачкой запечатанных писем. Он молча положил их перед консулом и занял свое

место. Всеобщее ожидание достигло предела. Каждый вытягивал шею, чтобы получше разглядеть роковые таблички. Цицерон взял первое письмо и назвал имя *Цетега*. Тот встал и подошел к столу. Консул показал ему письмо и спросил, его ли это почерк. Да, его. А печать его? Да, его. Тогда на глазах сенаторов Цицерон разрезал шнурок<sup>[67]</sup>, вскрыл письмо и велел читать его вслух. Грамота была адресована совету аллоброгов и подтверждала все то, о чем они только что рассказывали. Что может сказать Цетег? Цетег угрюмо молчал, раздавленный всем случившимся.

Консул взял следующее письмо и вызвал Статилия. Признает ли он свою руку и свою печать? Да, признает. Точно так же на глазах всего сената консул разрезал шнурок и прочел второе письмо. Оно было совершенно подобно первому. Что скажет Статилий? Он признается во всем. Очередь дошла до Лентула. И тот вдруг заявил, что все ложь. Варвары оклеветали его. С какой стати он стал бы с ними говорить да еще приглашать к себе домой? Галлов вызвали снова. Они «ему ответили кратко, но в полном согласии между собой, кто их к нему водил, сколько раз они его навещали, а затем в свою очередь спросили его, помнит ли он свой разговор с ними об изречениях Сивиллы».

Дело заключалось в следующем. Мы уже говорили, что 63 год был назван гадателями годом крови и это явилось одной из причин, почему революционный переворот назначили на этот год. Но кроме того по рукам ходило пророчество Сивиллы, в котором говорилось, что в Риме будут царствовать три буквы «К»<sup>[68]</sup>. Считали, что речь идет о трех Корнелиях. Два из них — Корнелий Сулла и Корнелий Цинна — уже правили. Черед за третьим, который возьмет власть в 63 году. Лентул был Корнелием и не сомневался, что пророчество говорит о нем<sup>[69]</sup>. Он не преминул рассказать о предсказании аллоброгам в первую же встречу. Вот об этом они ему сейчас напомнили. И тут произошло нечто невероятное. «Лентул, внезапно обезумевший от сознания своего преступления, явил нам ясное доказательство силы и могущества совести: имея полную возможность отпереться от того разговора, он вдруг неожиданно для всех в нем признался».

Напоследок вызвали Габиния. Он начал, как всегда, развязно, но под тяжестью улик совершенно сник и тоже во всем признался. Даже вид преступников казался тяжкой уликой, говорит Цицерон. Эти, всегда такие самоуверенные, наглые люди сейчас были смертельно бледны, подавлены; их лица как-то сразу, за один день осунулись, «Они так были поражены ужасом, так боялись поднять глаза, так робко косились друг на друга».

Теперь Цицерон снова с живостью вспомнил Каталину. Какое счастье, что он выгнал его из Рима! Тот никогда не повел бы себя так глупо, так нелепо, как Лентул и Цетег, «он не допустил бы, чтобы его письмо и печать были схвачены как доказательство очевидного преступления».

Итак, катилинарии были полностью разоблачены. Свидетельские показания, собственноручные письма с печатью, наконец, признание. «Никогда еще в частном доме кража не была так явно обнаружена, как открыт и обличен этот заговор» (*Cat., III, 17*). В заключение сенат вознес до небес подвиги консула. Тут же был принят официальный декрет, где говорилось, что он «спас город от пожара, граждан от избиения, Италию от войны» (*Cic. Cat., III, 7—17*). Консул велел застенографировать все заседание сената, все вопросы и ответы. Потом этот документ размножили, так что с ним мог ознакомиться и приобрести каждый римлянин. Списки разослали во все города Италии (*Cic. Sull., 41—42*).

Заседание продолжалось до позднего вечера. Солнце уже заходило, когда двери храма Согласия наконец распахнулись. И тут сенаторы увидели, что весь Форум полон народу. Смутные слухи о случившемся уже облетели город, и люди с утра ждали на улицах, изнывая от нетерпения и волнения. И сейчас все эти необозримые толпы с криком ринулись к Цицерону. Его повлекли к Рострам, умоляя сейчас же, немедленно рассказать, что произошло. Поднявшись на возвышение, Цицерон сказал:

— Сегодня, квинтиты, Республика спасена. Ваша жизнь, добро, жены и дети... наш счастливый и прекрасный город избавлены от огня и меча благодаря великой любви к вам бессмертных богов, моим трудам, планам и тем опасностям, которым я себя подвергал... Тот огонь, который уже был подложен... под храмы... здания и стены... города, я потушил... те кинжалы, которые уже были приставлены к вашему горлу... я вырвал из рук убийц (*Cic. Cat., 1—2*).

После этого он начал рассказывать народу обо всем, что случилось этой ночью, и о том, что было в сенате. Пока он говорил, спустилась полная тьма и окутала город. Тогда Цицерон сказал:

— Так как уже наступила ночь, квинтиты, помолившись Юпитеру... разойдитесь по домам. Их вы, хотя опасность уже миновала, должны охранять ночными стражами так же заботливо, как в прошлую ночь; скоро я приму меры, чтобы вам более не приходилось этого делать (*Ibid., 29*)<sup>[70]</sup>.

И всю эту ночь до рассвета римляне не смыкали глаз — мужчины стояли на страже с оружием в руках, женщины же отправились совершать священные обряды в честь Доброй Богини, божества, таинства которого не мог видеть ни один мужчина. Так прошла ночь на 4 декабря.

На следующий день галлы были вознаграждены по-царски. Теперь надо было заняться катилинариями. Как выяснилось, кроме арестованных вчера Лентула, Цетега, Габиния и Статилия, имелось еще пять главарей революционного комитета. Их и решено было схватить. «Вы видите... какую кротость обнаружил в этом деле сенат: при таких размерах заговора, при таком множестве внутренних врагов, он все же счел возможным удовольствоваться карой только девяти человек», — говорит Цицерон (*Cat. III, 14*). Однако поймали только одного из них, Цепария, четверо остальных бежали к Каталине. В Риме не было тюрьмы. Поэтому пленников пока взяли в свои дома знатные сенаторы.

В эту ночь Цицерон не мог сомкнуть глаз. Он думал о том, что делать с пятью заговорщиками. Было ясно как день, что их арестом дело не кончится. Можно было не сомневаться, что пленников попытаются освободить. Причем опасность эта исходила не только от их сообщников, разгуливавших на свободе. Эксцессов надо было бояться и с другой стороны. Лентул и Цетег были знатнейшими людьми. У них было множество челяди и клиентов. Эти люди, конечно, должны были попытаться выручить патрона. И действительно, на другой же день такая попытка была сделана. Но Цицерон был начеку. И беспорядки на сей раз быстро прекратились.

Однако долго так продолжаться не могло. Заговорщики находились в домах частных лиц. К ним относились скорее как знатым гостям, чем как к заключенным. Что представлял собой подобный «домашний арест» видно из того, что Катилина, будучи помещен вот так же в чей-то дом, не только слал агентов во все концы Италии, не только руководил восстанием, но даже спокойно выходил из дому и посещал тайные сборища заговорщиков! Видимо, ничто не могло заставить римского аристократа превратить свой дом в тюрьму, а себя самого в тюремщика. Надо было на что-то решиться.

Цицерон был диктатором. Преступники были уличены. Теперь он мог совершенно спокойно обречь их на смерть, не опасаясь ропота недовольства. Так поступали в годину смут римские диктаторы. Увы! Цицерон был интеллигентом до мозга костей. И подобный образ действий внушал ему неодолимое отвращение. И тогда он решил сделать следующее — передать суд над преступниками сенату. Сам он выступит перед этими присяжными, изложит дело, и они произнесут приговор.

И вот ранним утром в декабрьские ноны (5 декабря) сенат собрался в храме Согласия. Цицерон кратко изложил дело и попросил отцов вынести вердикт. Когда обсуждался вопрос особой важности, все сенаторы по очереди вставали и излагали свое мнение. Так поступили и на сей раз. И первым Цицерон попросил высказаться Силана, который уже был избран консулом на следующий год. Силан сказал, что ввиду чудовищности преступления катилинариев и крайней опасности, угрожающей Риму, он считает, что они достойны высшей меры наказания, то есть смерти. Сенаторы один за другим присоединялись к мнению Силана. Казалось, судьба преступников решена. Но тут произошло неожиданное. «Поднялся Гай Цезарь, впоследствии ставший диктатором. Тогда он был еще молод<sup>[71]</sup><sup>{35}</sup> и закладывал лишь первые камни своего будущего величия, но уже вступил на ту дорогу, по которой впоследствии привел римское государство к единовластию. Все поступки... Цезаря согласовались с основной его целью» (*Plut. Cic.*, 20). В то время он был вождем крайних демократов. Цезарь встал и сказал следующее:

— Все люди, отцы сенаторы, когда они думают о спорных вопросах, должны отрешиться от ненависти, дружбы, гнева и сострадания. Дух с трудом различает истину, если ему мешают чувства, и никто не может разом служить и пользе, и страсти.

Оратор начал говорить, какие ошибки совершали цари и народы под влиянием эмоций. Он напомнил, что римляне всегда поступали иначе. Они простили карфагенян, людей коварных и лживых, ибо сочли это полезным. Что же делали предыдущие ораторы?

— Большинство ораторов, которые выступали до меня, в великолепных речах оплакивали гибель Рима. Они перечисляли бедствия, которые несет с собой беспощадная война, все то, что грозит побежденным. Волочат девушек и подростков, детей вырывают из объятий родителей, матери семейств отданы на забаву победителям, храмы и дома разграблены, кругом резня и пожары; повсюду оружие, трупы, кровь и плач. Но, ради богов бессмертных, какую цель имеют подобные речи? Возбудить у вас ненависть к заговору? Уж, конечно, человека, которого не тронуло такое страшное событие, взволнуют слова!

Между тем что обсуждается сейчас? Не то, чего вообще достоин Лентул, но то, какую казнь нужно определить ему по закону. Между тем закон запрещает лишать жизни римских граждан. Римляне вознесены слишком высоко. Слух о их незаконном поступке облетит всю вселенную.

— Я уверен, что Силан, человек мужественный и энергичный,

руководствовался стремлением ко благу Республики... Но его предложение кажется мне не то что жестоким — какое наказание может быть слишком жестоким для таких преступников? — но чуждым духу нашего государства. Видимо, то ли страх за Республику, то ли обида за нее побудили тебя, Силан... решиться на неслыханное наказание. Говорить о страхе излишне, ведь благодаря исключительному усердию нашего замечательного консула кругом огромное количество гарнизонов с оружием в руках. О наказании же я скажу то, чего требуют обстоятельства. Среди скорбей и несчастий смерть не мука, но отдых от трудов, она разрешает заботы, после нее нет ни печали, ни радости. Но, ради богов бессмертных, почему ты не добавил, чтобы их сначала высекли розгами? Или потому, что это запрещает Порцийев закон? Но ведь другие законы предписывают, чтобы осужденных граждан не лишали жизни, но отправляли в изгнание. Или высечь хуже, чем убить?... А если лучше, почему же в малом следует бояться закона, которым мы пренебрегаем в великом?

Далее оратор отметил, что добрые намерения подчас приводят к весьма печальным последствиям. При Сулле сначала убивали людей действительно преступных и как будто заслуживающих смерти.

— Но это было началом великих бед... Конечно, я не опасюсь этого в консульство Марка Туллия и вообще в наше время... Но, может быть, в другое время, при другом консуле, у которого в руках также будут войска, какое-нибудь ложное обвинение выдадут за истину. И тогда, опираясь на настоящий пример, консул обнажит меч... И кто тогда укажет ему границы, кто его остановит?

Наконец оратор предостерег слушателей и напомнил, что такое вопиющее нарушение закона не сойдет виновному с рук. Несомненно, он ответит за это перед народом, по всей вероятности, понесет тяжкое наказание.

В заключение Цезарь предложил следующее. Заговорщиков надо развести по муниципиям и всю жизнь держать там под стражей. Имущество их конфисковать. Муниципиям же со всей строгостью внушить, что они отвечают за арестантов головой. Кроме того, специальным декретом запретить поднимать вопрос о смягчении участи осужденных перед сенатом и народом (*Sail. Cat.*, 52).

На меня эта речь производит странное впечатление. Есть какая-то ирония судьбы в том, что щепетильным и педантичным защитником закона выступил именно Цезарь, который вскоре его окончательно разрушил. А когда оратор говорит о полководце, который будет иметь в руках армию и, обнажив меч, сокрушит конституцию, трудно отделаться от впечатления,

что он имеет в виду самого себя. С другой стороны, достойно удивления, как демократы понимали гуманность и милосердие. Они считали негуманной и незаконной казнь пяти человек, уличенных на основании точных документов в том, что они собирались в ближайшие дни поджечь Рим. И в то же время они яростно настаивали на том, чтобы замучить дряхлого старика, который будто бы 37 лет тому назад вместе со всем Римом принимал участие в убийстве отъявленного разбойника! Не странно ли?

В то же время нельзя не признать, что речь Цезаря показывает его с самой лучшей стороны. Я говорила уже о генеральном штабе революции, который наметил смуту на этот год и, как пешками, двигал Руллом и Каталиной. Но ведь этот штаб состоял из Цезаря и Красса. Вероятно, в какой-то момент заговор вышел из-под их контроля, хотя об этом мы можем только гадать. И вот теперь имена Цезаря и Красса стали то и дело выплывать в показаниях заговорщиков. Дело дошло до того, что однажды юноши, охранявшие Цицерона, бросились на Цезаря с ножами. К счастью для будущего диктатора, Цицерон успел их удержать. Красс сейчас явно трусил. Он всячески доказывал, что не имеет к катилинариям никакого отношения. И ему больше всего хотелось скорее отделаться от этих своих сломанных орудий, пока они не превратились в улику против него. Цезарь же, наоборот, великодушно решил попробовать спасти этих людей.

Речь Цезаря была легка и остра, как оперенная стрела. И нетрудно заметить, что стрела эта направлена в грудь Цицерона. О, конечно, ничего подобного Цезарь не говорит. Напротив! Он изысканно вежлив и церемонно раскланивается перед «нашим замечательным консулом». Он возражает не ему, а только одному Силану. Но всем, конечно, ясно, что, говоря об ораторах, которые в звенящих чувствами тирадах оплакивают гибель Рима, он намекал в первую очередь на Цицерона. Его стройная, логическая, сухая речь должна была еще более подчеркнуть патетичность Цицерона. Далее он весьма недвусмысленно дал понять, что защитники Республики плохо знают ее законы. Выходило, стало быть, что Цезарь заботится о легкомысленном консуле, который совершенно забыл римскую конституцию!

На всех присутствующих речь Цезаря произвела сильное впечатление. Все сенаторы поспешили согласиться с ним. Даже Силан признал, что был неправ. С ужасом смотрел на это Цицерон. Ему было ясно как день, что план Цезаря безумен. Где, в каком городе можно было поместить столь опасных преступников, имеющих столько сторонников, да еще теперь, когда в Италии стоит войско Катилины? Как можно запретить говорить о

них перед народом и сенатом? Чего будет стоить этот запрет? Да в следующем же году какой-нибудь новый Лабиен, бойкий и красноречивый демократ, произнесет зажигательную речь перед народом и добьется их освобождения так же легко, как вот сейчас Цезарь перед сенатом добился их помилования! Этого мало. В бесплодных спорах прошел целый день. Близился вечер. Закон велит с заходом солнца закрывать заседание сената. Значит, все откладывается до завтра. А что будет завтра, даже сегодня ночью, абсолютно неизвестно. Еще вчера преступников чуть было не освободили. Между тем толпы народа осаждали храм. С Форума несли глухой шум. Люди теснились у дверей, заглядывали через плечо стоявших впереди и жадно ловили каждое слово. Здесь в этой толпе стояли и друзья заговорщиков и ждали, чем кончится дело. Цицерону, конечно, надо было возразить Цезарю. Увы! Как председатель он не должен был подавать мнение открыто ни за Цезаря, ни за Силана. Нужно было что-то предпринять, притом мгновенно. И Цицерон, как всегда, с поразительной быстротой нашелся.

Внезапно он поднялся с места и движением руки остановил голосование. Необходимо, сказал он, внести во все происходящее ясность. Он видит, что сенаторы, особенно Цезарь, по доброте душевной слишком много думают о нем. Они боятся, как бы казнь преступников не навлекла на него неудовольствие народа. Но пусть они забудут о нем! Что значит его маленькая жизнь, когда речь идет о Риме! Ради Республики он с радостью рискнет своим положением и безопасностью, с радостью отдаст за нее жизнь. Поэтому думать сейчас надо только о сути дела. Сенаторы должны еще раз взвесить свое положение и понять, кто те люди, которых они сейчас судят. И каково бы ни было их решение, он требует как консул и председатель сената, чтобы они приняли его *до наступления вечера*. Пока мнений подано было два: Силана, который требует немедленной казни для врагов Рима, и Цезаря. Эти предложения надо обсудить.

Итак, Силан предлагает смерть, «памятуя, что в нашем государстве такого рода наказание не раз применялось к нечестивым гражданам». Цезарь же возражает, во-первых, волнуясь о самом Цицероне. Он боится, что найдутся ловкие демагоги, которые представят дело так, что его действия противоречат Семпрониеву закону. Сам-то Цезарь прекрасно знает конституцию и, разумеется, понимает, что закон этот не касается вооруженных мятежников, которые часто осуждались на смерть диктатором. Недаром осужден был на казнь сам автор этого закона Гай Гракх. Но Цезарь знает, как легковажна и неразумна толпа. Но есть и другая причина.

Цезарь полагает, что смерть слишком легкая кара для таких страшных преступников, ведь смерть дана людям бессмертными богами не как наказание, а как отдых от трудов. Какое верное замечание! Да, смерть это отдых. Недаром мудрецы спокойно принимали смерть, даже радовались ей. Вот почему Цезарь предлагает иное, лютое наказание — вечную муку. Такая кара по верованиям старины ожидала самых страшных грешников под землей. Даже вопрос о катилинариях запрещает он ставить перед государством, чтобы отнять у них последнее утешение — надежду. Напрасно они в отчаянии будут молить о мгновенной смерти, они не получат ее.

Таким образом, подано два мнение — более мягкое и снисходительное Силана и совершенно неумолимое Цезаря. Больно видеть, как этот истинный демократ, «насилуя свою природную мягкость, без всякого колебания осуждает Лентула на вечные оковы и вечный мрак». Конечно, это жестокость, но жестокость на благо Рима.

— А впрочем, отцы-сенаторы, может ли идти речь о жестокости, когда говоришь о возмездии за столь отвратительное преступление?

Разве жестокость — стремление обезвредить преступника? Разве назовешь жестоким человека, который, вернувшись домой и найдя зарезанными свою жену и детей, казнил убийцу? Напротив. Это скорее доброта, жалость к беззащитным жертвам. Правда, некоторым может показаться, что предложение Цезаря жестоко по отношению к муниципиям. Маленькому городку навязывают опаснейшего преступника да еще страшат всякими карами, если граждане его не уберегут. Но он, Цицерон, берется все уладить и успокоить муниципалов. Итак, он еще раз призывает отцов все взвесить и принять должное решение (*Cat.*, IV, 1-11)<sup>[72]</sup>.

Это, может быть, самая остроумная из речей Цицерона. Каким-то непостижимым образом он сумел вывернуть все доводы Цезаря наизнанку. Цезарь говорил как человек гуманный и великодушный, вдруг оказавшийся среди мстительных и озлобленных дикарей. Цицерон показал, что из его же собственных слов явствует, что предложенная им мера и есть самая жестокая. Она жестока по отношению к катилинариям, которых сгноят в темнице. Она жестока по отношению к ни в чем не повинным муниципиям. Наконец, она жестока по отношению к римским гражданам, ибо, чересчур жалея разбойника, все-таки не следует забывать и о его жертвах. Цезарь со снисходительным видом объяснял своим близоруким коллегам, что они нарушают закон. Цицерон показал, что он даже не понимает его сущность и делает ошибку, простительную только легкомысленному неучу. Цезарь гордился четкостью и логичностью своей речи, он подсмеивался над

своими не в меру чувствительными коллегами. А Цицерон показал, что его речь лишена элементарной логики — это ясно видно из замечательного лирического отступления о смерти, которое противоречит всему тому, что хотел доказать оратор. Наконец — и это было нестерпимее всего! — Цицерон ухитрился так все перевернуть, что Цезарь оказался самым его преданным и сердобольным другом. Оказывается, он из любви к Цицерону ринулся в бой со своими непродуманными и нелепыми предложениями! И оратор мягко усовещивал этого своего слишком ретивого поклонника. С каким наслаждением он, вероятно, произносил: «...больно видеть, как этот истинный демократ, насилуя свою природную мягкость, без всякого колебания осуждает Лентула на вечные оковы и вечный мрак».

В результате Цезарь оказался в нелепом и комическом положении. Но, что самое обидное — все эти язвительные насмешки произносились с видом полного благодушия. Такого рода издевка, когда под видом похвалы преподносят горчайшую пилюлю, сам Цицерон называет греческим словом *ирония*. Это, говорит он, «утонченное притворство, когда говоришь не то, что думаешь» и «с полной серьезностью дурачишь всех своей речью, думая одно, а произнося другое» (*De or.*, II, 269). Современники считали, что Цицерон был в этом великий мастер. В этой же речи он достиг такой виртуозности, что простодушный Плутарх попался на удочку и поверил, что оратор всерьез стал на сторону Цезаря! (*Cic.*, 21). Но сам Цезарь был не столь наивен. Говорят, он очень обиделся<sup>[36]</sup>.

Сенаторы были взволнованы. Многие вскочили со своих мест и окружили кресло Цицерона (*Cat.*, IV, 3)<sup>[37]</sup>. Неизвестно, чем бы все кончилось, но тут поднялся один из самых молодых сенаторов, Марк Порций Катон. Он не успел еще подать свое мнение. Речи присутствующих, начал он, приводят его в некоторое недоумение. Насколько он понял, все рассуждают о том, какое наказание более всего подходит для поджигателей и будет не слишком суровым для них. Между тем следует решить гораздо более важный вопрос — как нам спасти от них свою жизнь. Обычно преступников судят после совершения преступления. Такой приятной возможности сейчас нет. Когда город сгорит, обращаться в суд будет поздно.

— ...Наша жизнь висит на волоске. И тут некоторые говорят о кротости и сострадании! Мы давно уже утратили способность понимать истинное значение слов: раздачу чужого имущества мы называем щедростью, наглость преступника — мужеством. И вот теперь Республика на краю пропасти. Ну, хорошо, раз уж таков их нрав, пусть они будут

щедры за счет союзников, пусть будут кроткими с казнокрадами, только пусть не будут щедры на нашу кровь, и, пока мы будем жалеть нескольких преступников, не погибли бы все честные люди. Ловко и искусно Гай Цезарь перед этим собранием рассуждал о жизни и смерти. Видимо, он считает вымыслом то, что передают о судьбах мертвых. Различны пути добрых и злых, грешники попадают в места мрачные, бесплодные и отвратительные.

После этого оратор перешел к сути предложения Цезаря. Преступников, говорит он, надо увести из Рима и держать по муниципиям. Но почему? Видимо, он боится, что, если их оставить в Риме, они будут освобождены силой.

— Как будто дурные люди и преступники живут только в Риме, а не по всей Италии. Причем там их дерзость возрастет, потому что средств защиты там меньше. Поэтому, если Цезарь боится, его предложение бессмысленно. Если же среди всеобщего панического ужаса он один не боится, то тем больше у меня оснований страшиться за самого себя и вас.

Мне бы даже хотелось, заметил Катон в заключение, чтобы отцы сейчас допустили ошибку, а судьба хорошенько бы их за это тряхнула. Увы, это невозможно. Ошибка будет для них последней (*Sail. Cat.*, 53).

Речь Цицерона напоминала хорошо отточенную изящную шпагу, а сам он был изысканно учтив и рыцарски вежлив, как французский дворянин перед дуэлью. Зато речь Катона, нарочито резкая и грубая, опустилась на головы слушателей как тяжелая дубина. Вся давешняя речь Цезаря с ее необычайным благородством и гуманностью как-то разом померкла. Сенаторы единодушно проголосовали за смертную казнь.

Была уже ночь. Но никто не ложился. Весь Рим от мала до велика высыпал на улицу и ждал, затаив дыхание. И вот наконец на Рострах на черном фоне ночного города появился Цицерон. Озаренный морем сияющих внизу огней, он поднял руку и произнес:

— Они мертвы!

И народ ответил криком восторга. В толпе было много заговорщиков. Они с нетерпением ждали ночи, чтобы сделать новую попытку освободить заключенных. Но это слово обрушилось на них как топор палача. В страхе и смятении возвратились они домой (*Plut. Cic.*, 22). Слух о казни докатился до лагеря Катилины. Узнав, что в Риме больше нет опоры, основная масса дрогнула и бежала (*Sail. Cat.*, 57).

Цицерон шел домой. Граждане «на всем пути приветствовали его криками и рукоплесканиями, называя спасителем и новым основателем Рима. Улицы и переулки сияли огнями факелов, выставленных чуть ли не в

каждой двери. На крышах стояли женщины со светильниками<sup>[73]</sup>, чтобы почтить и увидеть консула, который с торжеством возвращался к себе в блистательном сопровождении знаменитых людей города. Едва ли не все это были воины, которые не раз со славой совершали дальние и трудные походы, справляли триумфы и далеко раздвинули пределы римской державы... а теперь они единодушно говорили о том, что многим тогдашним полководцам Рима народ обязан был богатством, добычей, могуществом, но спасением своим... — одному Цицерону. Удивительным казалось, что... самый значительный из заговоров, какие когда-либо возникали в Риме, он подавил ценою столь незначительных жертв, избежав смуты и мятежа» (*Plut. Cic.*, 22).

Немного спустя Катилина со своим поредевшим войском был разбит. Сам он погиб в битве. А в конце декабря Катон, ставший уже трибуном, перед всем римским народом назвал Цицерона *отцом отечества*. «Мне кажется, Цицерон был первым среди римлян, кто получил этот титул» (*Plut. Cic.*, 23)<sup>[38]</sup>.

\*

Все остальные катилинарии были привлечены к суду в течение следующего года. И — кто бы этому поверил?! — они приходили за помощью... к Цицерону! Они со слезами молили его взяться за их дело. Даже человек, который должен был убить его в его доме, пришел за помощью к нему. И что же? Цицерон ринулся их защищать! (*Sull*, 18). Уже друзья вмешались и принялись строго внушать оратору, что для него немыслимо сейчас выступать в суде в качестве защитника заговорщиков. Все-таки одного он защищал и защитил, несмотря на насмешки и нападки. В чем дело? Что произошло? Сам Цицерон говорил, что его побуждают природная кротость и мягкость. Только боясь резни, он вынужден был скрепя сердце надеть личину суровости. Но с какой же радостью сбросил он ее теперь, когда опасность миновала! (*Mur.*, 6; *Sull*, 8). Думаю, кротость тут ни при чем. Консул сложил свои обязанности, появился адвокат. А адвокат должен защищать всех. Вот так Цицерон вдруг превратился в защитника катилинариев.

Цицерон был счастлив и горд безмерно. Случилось то, о чем он мечтал с детства, еще в те дни, когда уходил от всех с книгой в руках, прятался на тенистом острове и с головой погружался в мир грез. *Он спас Рим!* Он

вошел в сонм тех героев, которым поклонялся с юности, встал вровень с великим Сципионом, разбившим Ганнибала, Эмилианом, разрушившим Карфаген, Павлом, сломившим могущество Македонии. «Я думаю, что среди венцов их славы найдется место и для моего венка», — говорит он (*Cat.*, IV, 21). Но он гордился не только этим. Цицерон был интеллигентом и знал это. Он знал также, что это служило предметом насмешек окружающих его воинов и политиков. Раньше ему часто приходилось слышать за собой слова: «Грек! Ученый!» — отнюдь не являвшиеся комплиментом в устах римской черни (*Plut. Cic.*, 5). И все-таки в глубине души герой наш гордился тем, что он интеллигент. И вот сейчас он спас Рим, *оставаясь интеллигентом*. Он не облачился в доспехи, не призвал армию, не потопил бунт в крови. Нет, он остался верен святыням, которым поклонялся. Он казнил всего пять человек, казнил после того, как вина их была полностью, документально доказана, и приговорил их к смерти суд сената.

«Прошу вас вспомнить все наши междоусобицы, — говорил он народу, — не те только, о которых вы слышали, но и те, которые вы как очевидцы запечатлели в своих умах». Сулла подавил мятеж Сульпиция и убил при этом множество людей. Потом восторжествовал Марий. «Тогда столько благородных людей погибло, что все светочи государства казались потухшими». Сулла отомстил за его жестокость, но какой ценой?! «Вы знаете сами, сколько граждан мы потеряли, в какое горе была погружена наша родина». И вот сейчас снова возникает заговор, заговор страшный, грозящий городу гибелью. И что же? Его удалось подавить почти без кровопролития (*Cat.*, III, 24–25). Разве это не чудесно, не удивительно, не великолепно? Его оружием были не копье и меч, а ум и слово. Случилось то, что он так часто представлял в мечтах своих — СЛОВОМ выбил он нож из рук убийцы. «Без кровопролития, без войска, без битвы вы, безоружные граждане, предводительствуемые безоружным полководцем, разбили врага», — в упоении говорил он народу (*Cat.*, III, 23–24).

Было от чего потерять голову! И действительно, Цицерон прямо-таки опьянен успехом. Он говорит народу, что день спасения всегда почитался не менее светлым праздником, чем день рождения. Пусть же этот день, день спасения Рима от катилинариев, встанет в памяти потомков рядом с днем его основания. И римляне, которые причислили Ромула к богам, «должны, полагаю я, предоставить некоторое место в благодарной памяти также и тому, кто этот самый... город сохранил» (*Cat.*, III, 7). Он написал по-гречески «Записки о моем консульстве». Затем написал по-латыни «Историю моего консульства». Причем, как сам в шутку говорил, вылил туда весь кувшин с благовониями греческих риторов и их учеников.

Сочинения эти он распространил по всему греческому и латинскому миру (*Att.*, II, 1, 1–2). Наконец он сочинил поэму «О моем консульстве». Я не хочу, писал он Аттику, «упустить ни одного хвалебного жанра» (*Att.*, I, 19, 10). В пламенных, но нестерпимо скучных стихах, строфы которых тяжелы, как поступь допотопных ящеров, живописал он свой подвиг. И там есть строчка, ставшая его девизом:

*Меч перед тогой склонись!*

Ведь тога — одежда мирного гражданина, ученого.

Рим был злоязычным городом, а у Цицерона имелось много врагов. Естественным образом они со злорадством стали высмеивать оратора. Повторяя их речи, Плутарх пишет: «Многие прониклись к нему неприязнью и даже ненавистью — не за какой-нибудь дурной поступок, но лишь потому, что он без конца восхвалял самого себя. Ни сенату, ни народу, ни судьям не удавалось собраться и разойтись, не выслушав еще раз старой песни про Каталину и про Лентула» (*Plut. Cic.*, 24). Конечно, тут есть преувеличение. Но что правда, то правда — артист жаждал восторгов публики. Он упивался похвалами и ждал их, как ребенок. К нему можно было применить слова Толстого: «Восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтобы его машина совершенно свободно двигалась». Он сам признавался, что не хочет «немых наград» — памятники, знаки отличия, сокровища его не привлекают. Ему нужна живая память, живое восхищение (*Cat.*, III, 26). «Я прошу только об одном, чтобы вы всегда помнили о сегодняшнем дне. Я хочу, чтобы все мои триумфы... оставались в ваших сердцах», — говорил он римлянам (*Ibid.*). Один забавный случай показывает, как ревниво относился Цицерон к этим похвалам. Многочисленные друзья и знакомые оратора, разумеется, знали о его маленькой слабости и охотно потакали ей. Это были люди вполне светские и им ничего не стоило сказать несколько изящных комплиментов, чтобы потешить его самолюбие. Но вот у него появился новый молодой друг — тот самый Брут, который так прославился впоследствии. Он был человеком на редкость упрямым, к тому же вбил себе в голову, что людям необходимо говорить в глаза горькую правду. И вот этот Брут в одном произведении описал события памятного 63 года. Прочтя его рассказ, герой наш страшно обиделся. «Он думает, что воздал мне великую хвалу, назвав лучшим консулом. Даже враг не сказал бы суше!» — жаловался он Аттику (*Att.*, XII, 21).

## *Загадка Катилины*

Катилина всегда представлял собой загадку для ученых. Неужели действительно существовал такой человек — этот титанический дух, этот Люцифер, жаждущий только крови и разрушения, великий, могучий, мрачный, неукротимый? Не верится, что перед нами живое существо из плоти и крови<sup>[74]</sup>. Мне кажется, ключ к тайне следует искать в отношении к Каталине писателей Новейшего времени. Для Ренессанса Катилина — отвратительный злодей, враг божественного Цицерона. У Шекспира, так любящего римские образы, мы даже не найдем о нем упоминания. Но вот наступает XIX век и все меняется. Первая же драма Ибсена называется «Катилина». Ее герой прекрасен, неотразим, благороден. Он пламенно любит Рим и именно потому хочет его сжечь. У Джованьоли в романе «Спартак», который привел в восторг самого Гарибальди, тоже появляется Катилина и он тоже велик и благороден. Произведениям таким нет числа. И везде

Катилина буквально подавляет читателя своим неизъяснимым благородством. Я не знаю ни одного рассказа, романа или пьесы, где Катилина был бы изображен низким, дурным человеком. И этот образ неизъяснимого благородства стоит в каком-то странном противоречии с реальным Каталиной, Каталиной античных авторов, этим озлобленным неудачником. Откуда же взяли новейшие писатели своего Каталину? Оказывается, прямо из Цицерона. Ибсен пишет, что, сдавая экзамен по латыни, он впервые познакомился с речами Цицерона и «Заговором Катилины» Саллюстия. Он буквально проглотил эти книги и уже через несколько месяцев написал своего «Каталину».

В чем же причина этой загадочной любви? Признаюсь, она кажется мне необъяснимой. Я вполне понимаю, что Гракхи всегда будут вызывать восхищение и сочувствие. Такие молодые, такие талантливые, стоявшие на вершине общественной лестницы и пожертвовавшие всем, чтобы дать простому народу землю. Но Катилина?.. Правая рука кровавого диктатора, убийца, запятнавший себя участием в проскрипциях, бесчестный наместник, обворовавший провинцию, мот, спустивший до нитки награбленные богатства и тогда задумавший восстание. Ни одной приятной черты, просто придраться не к чему! И что самое замечательное — Катилине прощают всё. Все осуждают сулланцев — но не Катилину; бесчестных наместников ненавидят — но Каталину любят. Это просто какое-то колдовство!

Мне скажут — во всем виноват сам Цицерон. Он нарисовал портрет своего врага такими черными красками, что это невольно вызывает у читателя протест. Однако такое объяснение не может меня удовлетворить. Да, очень возможно, что Цицерон сгустил краски. Но ведь и Веррес, и Оппианик, возможно, не были такими яркими, такими гротескными злодеями, а вполне заурядными мошенниками. И все-таки у этих замечательных личностей пока нет поклонников.

«И все-таки к Катилине несправедливы. Мы знаем о нем только от его врагов...» Но, во-первых, у нас есть факты — сулланское прошлое, проскрипции, ряд нелепых ошибок во время заговора. А во-вторых, это-то как раз и интересно. Почему мы узнаем о Катилине *только* от его врагов? Иными словами, почему *вся* античная традиция рисует его преступником и негодяем? У него было много недругов. Но разве у Гракхов их было мало? Они были так ненавистны правящей партии, что даже тела их запретили хоронить. И что же? Сколько восторженных отзывов о них дошло до нас! При этом даже враги, резко осуждая их деятельность, говорят о них с неизменным уважением. Также было с Друзом, с Брутом. Никакие усилия правительства не могли истребить их память. Притом же Гракхи и провели великие реформы. И уж в силу этого имени их привлекают внимание. А Катилина ровным счетом ничего не сделал. Хотел что-то сделать, но не вышло.

Значит, Катилина таил в себе какое-то совершенно необъяснимое очарование, что-то неодолимо влекущее, но не для Античности, а для Европы, причем начиная с XIX века. Так в чем же все-таки это очарование? На мой взгляд, на этот вопрос ответил Александр Блок. Катилина, говорит он, это сама революция. Шаги Катилины, когда он в ярости выбегает из сената, это шаги революции. Это объясняет всё. Цицерон, борясь с Каталиной, боролся с революцией. И он нарисовал портрет не Катилины, а самой революции, ужасной и влекущей. А Саллюстий просто следовал за ним. Вот почему образ этого мелкого неудачника, этого горе-заговорщика сопровождает европейское человечество. И как только возникает брожение, сейчас же во главе смуты встает «грозный дух Катилины» (выражение Блока).

XIX век был веком революций, и то было победное шествие Катилины по Европе. Ибсен вспоминает, как он написал своего «Каталину»: «Время было бурное. Февральская революция, восстание в Венгрии и других местах...<sup>[75]</sup> все это с могучей силой и животворно содействовало моему развитию». Он писал восторженные стихи, приветствуя революцию. И вот тут-то и попались ему речи Цицерона против Катилины. В восхищении он

немедленно сел писать свою пьесу<sup>{39}</sup>.

В Париже только что отшумела революция 48-го года. Сотни раненых и убитых, люди ищут своих близких, пропавших без вести, ужасы, кровь, репрессии. И вот в театре ставят новую пьесу А. Дюма-отца и А. Маке. Какую же? «Катилина»! Все революционеры представлены в образе Катилины. Цицерон выходит и говорит: «Они мертвы!» И сейчас же открывается площадь, заваленная трупами повстанцев<sup>{40}</sup>.

Италия покрыта сетью тайных кружков карбонариев; всюду действует «Молодая Европа» Мадзини. И Джованьоли пишет роман, в котором опять появляется Катилина.

Происходит русская революция. И Блок пишет «Катилину». Не «Грахов», не «Мария», не «Брута», а «Катилину»! Он называет своего героя «римским большевиком», «революционером всем духом и всем телом»<sup>{41}</sup>. И Блок был прав. Он ошибся только в одном. Его главе европейских смут стоял не грозный дух самого Катилины, а образ, созданный гением его врага Марка Туллия Цицерона.

### ***Поэты-модернисты. Волоокая красавица.***

### ***Цицерон приобретает врага***

29 декабря в канун январских календ Цицерон сложил с себя полномочия консула. Кончился 63 год, *год крови*, начался новый 62 год. Но смутен и печален был этот год и не принес он Риму желанного успокоения. Но прежде всего о жизни нашего героя.

В то время произошли очень важные для него события. Во-первых, семья переехала в новый дом. Еще когда Цицерон был мальчиком, отец его купил небольшой домик в Каринах, у подножия Целийского холма. С тех пор Цицерон так и жил здесь. Между тем в то время Карины считались далекой окраиной. Все твердили наперебой, что жить здесь консуляру не к лицу. Да и народу нелегко ходить ежедневно приветствовать его — до Форума конец совсем не близкий. Короче, пора перебираться ближе к центру. Однако нашему герою суждено было очень удивить этих мудрых советчиков.

Самым фешенебельным районом столицы был Палатинский холм. Еще и сейчас это живописнейший уголок: холм весь утопает в зелени — роскошные аллеи из старых пиний, всевозможных цветущих кустарников и

диких роз. А в те времена там раскинулись великолепные сады, где в полуденный зной отдыхала римская знать. Вдобавок расположено это место чудесно — холм высится над самым Форумом, с него виден Капитолий, а с другой стороны он спускается к Великому цирку, так что римляне часто смотрели на скачки, сидя на зеленых склонах холма. Но дома на Палатине были так дороги, что жили здесь только богачи или представители старинных фамилий, которым дома достались в наследство от прадедов. Так вот, оказывается, Цицерон задумал купить дом именно на Палатине!

Тут нужно поведать о маленькой слабости нашего героя: будучи совершенно равнодушен к дорогой еде и нарядам, он обожал антикварные вещи, статуи, вазы и прочее в этом роде. «Постоянно у него появлялись прихоти, обходившиеся ему очень дорого. То ему требовались во что бы то ни стало статуи и картины для украшения его галерей, чтобы придать им внешность греческих гимнасиев. То он тратит большие суммы на украшение своих загородных домов... Именно тогда, когда у него особенно много долгов, он загорится купить какую-нибудь виллу»<sup>[42]</sup>. Однажды он узнал, что в Греции кто-то продает статуи, которыми можно украсить его загородный дом. Цицерон немедленно пишет Аттику: «Я с лихорадочным нетерпением жду мегарские статуи... о которых ты мне писал. Если увидишь что-нибудь в этом роде... не задумываясь, покупай... Такие вещи — мое наслаждение». Практичному Аттику с огромным трудом удалось удержать друга, который хотел тут же выложить все свои наличные деньги. Поторговавшись, он купил статуи за сравнительно скромную сумму (*Att.*, I, 9, 2; 3, 2). В результате в первые числа месяца, официальные дни расплаты с долгами, Цицерон стал вообще исчезать из Рима, предоставляя Тирону вести дипломатические переговоры с кредиторами.

Вот и сейчас. На Палатине он умудрился выбрать самый дорогой дом. Впрочем, его пленила не столько архитектура, сколько расположение дома — он говорит, что это красивейшее место Рима, весь город виден отсюда как на ладони. Цицерон прямо влюбился в этот дом. Но за него запросили астрономическую сумму. Конечно, здравомыслящий человек отступил бы. Но Цицерон уже загорелся. Он работал как каторжный, но все-таки должен был залезть в долги. В конце декабря он с торжеством сообщает приятелю, что дом — его. Однако, продолжает он, долгов столько, что он подумывает, не вступить ли в какой-нибудь заговор, только вот боится, что после событий, связанных с Каталиной, его никто из заговорщиков не примет. Может быть, кто-нибудь подумает, что оратор продал свой старый дом, чтобы покрыть хоть часть расходов? Ничуть не бывало! С обычной своей

непрактичной щедростью он тотчас же подарил его брату (*Cic. Pro dom.*, 100; 103, 116; *Fam.*, V, 6; *Plut. Cic.*, 8). Дом на Палатинском холме, бывший Цицерону явно не по средствам, стал в Риме притчей во языцех. Враги дразнили его этим домом чуть ли не ежедневно. Но оратор не обращал на это внимания. Он очень гордился своим домом. О, если бы он знал, сколько горя принесет ему этот великолепный дом!

Теперь Цицерон жил среди римской аристократии. Общительный и веселый, он вскоре перезнакомился со всеми. Еще до своего новоселья он тесно сошелся со своими ближайшими соседями Клодиями (*Har.*, 33). Это знакомство стало для нашего героя началом неисчислимых бед. Но прежде, чем говорить об этом, нам придется отступить несколько в сторону и познакомить читателя с некоторыми другими героями нашей книги...

То было время беспокойное и блестящее. Казалось, чем страшнее становился мир вокруг, тем веселее было в кружках молодежи, тем более буйным цветом расцветали таланты. В театре актеры создают совершенно новую драму, на Форуме среди ораторов блистают Цицерон и Гортензий; Сервий Сульпиций преобразует римское право, внося в него основы философии; Лукреций пишет величественную поэму об устройстве мироздания. Все люди как-то особенно, утонченно образованны. Всюду ищут новые формы. Всюду ведутся страстные споры об искусстве. Словом, эта эпоха, обожженная дыханием революции, стала временем расцвета наук и искусств. Но, пожалуй, главной страстью того бурного времени была поэзия. Все писали стихи: ораторы — Цицерон и Гортензий; ученые — Варрон и Непот; полководцы и политики — Цезарь, Лукулл; светские львицы — Семпрония, Клодия. Лукреций рассказывает, что когда он задумал изложить взгляды Эпикура и Демокрита, то почувствовал смущение. Он знал, что римляне не любят философию. Не отбросят ли они с презрением его труд? И вот Лукреций решил поступить с ними так, как поступают родители с малыми детьми. Когда они предлагают малышу необходимое, но горькое лекарство, они обмазывают края чашки медом. Ребенок тянется к меду и незаметно для себя выпивает содержимое чашки. Такой сладкой приманкой для римлян должны были послужить... стихи! Всё учение философов Лукреций изложил в звучных красивых строках. Теперь он не сомневался, что его соотечественники потянутся к чаше с медом (*Lucr.*, I, 933–947). Один юноша долго не мог добиться взаимности и, наконец, прочел своей даме сердца начало своей поэмы. Поэма была ученая и туманная, так что почти никто ее не понимал. Но дама мгновенно влюбилась (*Catul.*, 35). Прощаясь с женой перед смертью, знаменитый Помпей произнес по-гречески строки из трагедии Софокла. «Это были

последние слова, с которыми Помпей обратился к близким» (*Plut. Pomp.*, 78–79). Видно, поэзия не была тогда просто светской забавой. Эти люди жили и умирали со стихами на устах.

И вот среди всего этого кипения мысли возник в Риме кружок молодых поэтов. Все они были очень талантливо, но был среди них один гений — «латинский Пушкин» Гай Валерий Катулл<sup>[76]</sup>. И правда. Катулл иногда чем-то живо напоминает нам Пушкина. Как и Пушкин, он как-то совсем по-особому относится к друзьям. Он страстно — именно страстно — их любит, утешает, ободряет, восторгается их порой весьма скромными талантами, страдает за все их обиды и бурно радуется их успехам. А в тех редких случаях, когда у нашего поэта появлялись деньги, друзья всегда могли смотреть на его кошелек как на свой собственный. Как и Пушкин, Катулл обладал сердцем удивительно добрым и великодушным, но был горяч и пылок — от малейшей обиды вспыхивал, как сухой хворост. И тогда он сломя голову бросался в бой. То был отчаянный борец, он не соизмерял силы и готов был с ужасающей дерзостью атаковать великих мира сего. На них сыпался огонь злых эпиграмм. Его ямбы настигали врага, окружали его, кричали ему в уши, кололи его, пригвождали его к месту, поражали, будто молния (*Catull.*, 42; 116; 40; 36). Современники рассказывают, что сам Цезарь трепетал перед ним. И главное, как и Пушкин, Катулл был в юности буйно, необузданно весел. Это была какая-то безумная радость бытия. Казалось, в жилах у него не кровь, а кипяток. Это был неистощимый на выдумки фантазер, способный расшевелить любую компанию. Он обладал бешеным темпераментом и сам называл себя «бесноватым» (77). Умер Катулл совсем молодым, вероятно, не старше тридцати лет. От него осталась маленькая книжечка стихов. Стихи эти, то веселые, то печальные, то ядовитые, то нежные, дают нам удивительный портрет той эпохи.

Родился Катулл в Вероне, тихом, чинном, сонном провинциальном городке. Когда он подрос, отец отправил его искать счастья в Рим. Вихрь столичной жизни сразу подхватил его и закружил, как оторвавшийся от ветки листок. Но все увлечения и все страсти вскоре отступили перед одной — страстью к поэзии. Он и его юные друзья составили кружок, вернее братство, поэтов. Среди них были и знатные римляне, и молодые люди из итальянских городков, как Катулл. Все эти юноши вели очень странную, непонятную людям старшего поколения жизнь.

Собираясь на вечеринки, они с жаром обсуждали политические новости. И тут же, распаленные вином и спорами, писали против великих мира сего едкие эпиграммы, которые мгновенно облетали столицу.

Некоторые из них привлекали к суду сановных негодяев. Но они не добивались магистратур, не предлагали законы и не управляли провинциями. Между тем молодежь со всей Италии стекалась в Рим, полная сладких надежд на славу и почести. Впрочем, далеко не все мечтали о магистратурах. Пришло новое поколение, поколение дельцов и бизнесменов, которые прибывали в столицу делать деньги. Но и к коммерции эти странные молодые люди не проявляли никакого интереса. Денег у них никогда не было, но их это, казалось, ничуть не огорчало. В их кружке царила удивительная беспечная непрактичность. Маленькое именище самого Катулла давно было заложено, но это служило для него и его друзей только темой для нескончаемых шуток. Вот две характерные картинки.

Друзья Катулла Вераний и Фабулл оказались совсем на мели. Все горячо советовали им отправиться в провинцию и поправить там дела — оттуда все возвращаются миллионерами. Вот они и отправились в «золотую» Испанию. Некоторое время их не было, но в один прекрасный день оба путешественника предстали перед Катуллом отощавшие, изголодавшиеся, продрогшие. Вместо мешков с золотом за плечами у них болтались ранцы, столь же худые, как они сами. Впрочем они заявили, что вернулись не вовсе с пустыми руками. Они привезли сувенир — красивую вышитую салфетку, которую подарили Катуллу. На ближайшей же вечеринке ее у него украли. Катулл рвал и метал, он клялся испепелить вора. Дело не в цене, он знает, что салфетка гроша ломаного не стоит, но ему на это наплевать! Главное другое — это подарок милых друзей (12; 18).

Этот печальный опыт не вразумил самого Катулла. Он тоже отправился в провинцию. А вернулся обобраным до нитки. По этому поводу он рассказывает забавную историю. Вернувшись в Рим, он повстречал на улице приятеля, который непременно захотел познакомить его со своей новой подружкой. Подружка оказалась бойкой и миловидной девчонкой. Они быстро разговорились. Катулл принялся рассказывать о своих приключениях в Малой Азии (он был в провинции именно там). Услышав, что он вернулся из Азии, подружка оживилась. Она стала спрашивать, много ли золота он привез. Нет, золота ему не досталось, пояснил Катулл. Как? Неужели? Но конечно же он привез модные носилки? Все их привозят. Не желая ударить лицом в грязь перед красоткой, Катулл отвечал — да, привез, конечно. И тут девчонка закричала:

— Дай прокатиться!

— Я ошибся, — отвечал поэт, — теперь я припоминаю, это привез не я, а мой друг (10).

Впрочем, Вераний и Фабулл без конца рассказывали об Испании, о нравах ее жителей, а Катулл привез из Азии стихи и поэму, и, кажется, все они ничуть не расстроились.

Катулл и его друзья вели веселую и шальную жизнь. То была какая-то беспутная богема. Катулл рисует ее перед нами в ряде ярких сцен. Вот он рыскает по всему Риму в поисках приятеля Камерия.

Милый друг! Откройся ради бога!  
Где ты и в каких трущобах скрылся?

Я побывал, говорит он, всюду — облазил все книжные лавки,

Всех ловил я девушек попутных,  
Кто лицом казался миловидней,  
И допрашивал, грозясь: «Девчонки!  
Мне Камерия сюда подайте!»

Ведь тому, кто решит ловить Камерия, надо запастись крылатыми сандалиями Персея или оседлать резвого Пегаса. Впрочем, он догадывается, где его беспутный друг. *«Ты в плену у девушек прелестных!»* И неужели после всех его нечеловеческих мук Камерий не раскроет ему, кто она? (55; 58a).

А вот другая сцена. Катулл входит в комнату приятеля. Боже! Какой хаос! Кровать еле держится на ножках, поет, визжит, дребезжит и ездит по всей комнате. Полный беспорядок. Везде разбросаны цветы. Пахнет очень дорогими духами. А посередине сидит сам приятель, бледный и осунувшийся. Катулл мгновенно ставит диагноз. Ты влюблен! *«Молча комната твоя вопит об этом»*. Расскажи, кто она, требует Катулл, и *«тебя и любовь твою до неба я прослаблю крылатыми стихами»* (6).

Или еще. Катулл устраивает обед и приглашает друзей. «Ты отлично отобедаешь у меня на днях, милый Фабулл, если боги будут к тебе благосклонны. Только не забудь захватить с собой хороший обед, вино, приведи прелестную девушку, а главное, захвати побольше веселья. И вот, говорю я, если ты все это захватишь с собой, моя прелесть, мы чудесно отобедаем. Ведь у твоего Катулла кошелек давно затянут паутиной. Взамен ты получишь чистую любовь и еще нечто чудеснейшее, элегантнейшее. Я дам тебе флакончик духов — его моей подружке подарили Венера с

Купидонами. Как только ты понюхаешь, Фабулл, то взмолишься к богам, чтобы они всего тебя превратили в нос» (13).

Однако очень ошибется тот, кто решит, что эти беззаботные гуляки были бездельниками. Напротив. То были молодые ученые. Им случалось кутить всю ночь напролет, но весь день они прилежно сидели за книгой. Недаром их можно было найти либо в объятиях красавиц, либо в книжной лавке. О лучшем друге Катулла поэте Кальве существует забавный и любопытный рассказ. Он ежедневно сидел за своими учеными занятиями от зари до зари. Но кровь кипела у него в жилах порой с бешеной силой. И вот по совету врачей он стал носить пояс, обшитый свинцовыми пластинками. Свинец, говорили они, имеет силы обуздывать страсти, и Кальв таким образом «сбережет силы для научных трудов» (*Plin. H.N., XXXIV, 66*). Лучшим подарком в их кругу считались не дорогая посуда или мебель, а редкая книга или модные духи. Словом, они удивительно напоминали студентов эпохи Ренессанса.

Божеством, которому поклонялись эти люди, ради которого они забывали мелочные заботы своего обыденного существования, была поэзия. И то была какая-то совершенно новая, особенная поэзия. До этого в Риме мэтром считался отец римской поэзии Энний, живший во времена Ганнибаловой войны. Писал он героические эпopeи и героические поэмы. Он отнюдь не был лишен таланта, но беда в том, что молодые поэты жаждали нежной и страстной лирики. Описание великих подвигов казалось им высокопарным и скучным, а тяжелый устаревший язык делал все писания Энния утомительными и нудными. Естественно, в поисках новых форм они обратились к греческим образцам.

В те времена в Греции в моду вошла совсем новая поэзия. Надо сказать, что центр поэзии переместился тогда в огромную космополитическую Александрию и процветал при дворе египетских Птолемеев. Создатели александрийских стихов были исправными чиновниками, галантными придворными, кабинетными учеными и менее всего поэтами, получавшими вдохновение свыше. Поэмы их были учены и очень искусны, стихи грациозны и изысканны, размеры оригинальны, слова отточены, мысли остроумны. И каждое такое маленькое стихотворение, отделанное и отшлифованное до блеска, превращалось в изящную безделушку, которая могла стать украшением великосветского салона или элегантного кабинета вельможи. Но и речи не могло быть о том, чтобы их поэмы «обходили моря и земли» и «глаголом жгли сердца людей».

Вот эти новые изящные стихи и увлекли наших поэтов. Но они взяли только внешнюю оболочку и вдохнули в нее всю страстную и мятежную

душу римлян. И стихи ожили. В них воспевались не славные подвиги, а дружба, любовь, вино и веселые проказы. Вокруг их стихов сразу же возникли споры. Пожилые люди подняли их на смех. Они говорили, что темы их ничтожны, размеры вычурны. Зато среди молодежи появились страстные поклонники новой музыки. Новых поэтов называли *неотерики*, то есть модернисты. Нужно сознаться, что и Цицерон не относился к поэзии неотериков серьезно. Он не понимал их, как Бунин не понимал символистов. Он оставался верен старику Эннию. Модернистов он не осуждал, а только иногда добродушно подсмеивался над ними. Зато его соперник Гортензий, любивший все модное и все новое, был в их кружке как дома.

Конечно, все друзья Катулла были влюблены. И на любовь они тоже смотрели по-новому. Им было все равно, кто их богиня — замужняя матрона или гетера, знатная дама или прачка. Любовь, считали они, освящает все. Они отвергали все условности света, и Катулл с вызовом говорил: «Будем жить и любить, а ропот угрюмых стариков будем ценить в один медный грош» (5). Разумеется, и сам Катулл был влюблен, и не раз. И любовь приносила ему всегда только радость. Он со смехом рассказывал о своих веселых приключениях молодым друзьям. Но вот однажды он увидел ту, которой дал имя Лесбия. Судьба его была решена. Он пропал сразу. Его посетила любовь, которая редко выпадает на долю смертного.

Первую встречу с ней он описывает так:  
Верю, счастьем тот божеству подобен,  
Тот, грешно ль сказать, божества счастливей,  
Кто с тобой сидит и в глаза глядится,  
Слушая сладкий  
Смех из милых уст. Он меня, беднягу,  
Свел совсем с ума. Лишь тебя увижу,  
Лесбия, владеть я бессилён сердцем,  
Рта не раскрою.  
Бедный нем язык. А по жилам — пламень  
Тонкою струею скользит. Звонящий  
Гул гудит в ушах. Покрывает очи  
Черная полночь... (51)

(В подлиннике эти стихи звучат особой, ни с чем не сравнимой музыкой.) Много мук, много пылких и страстных надежд испытал наш

влюбленный. Довольно сказать, что Лесбия отнеслась к своему молодому воздыхателю более чем благосклонно. Однако тут появилась новая трудность. Почему-то им негде было встречаться (быть может, Катулл снимал такую хибару, что ему стыдно было пригласить туда свою богиню). Выручил его один верный, но легкомысленный друг. Он предоставил ему для тайных встреч свой старинный фамильный дом.

Аллий нам двери открыл к недоступному сладкому счастью,  
Отдал нам милый свой дом, Мне подарил госпожу.  
Там полнотой насладились мы страсти взаимной и ласки;  
Легкой походкой туда радость входила моя.  
Там на истертый порог белоснежные ноги вступали,  
Шорох я слышал, дрожа, нежно обутой ноги (68).

Катулл был наверху блаженства. Сколько страстных и нежных стихов он посвятил ей! Все, что бы она ни делала, казалось ему прелестным, дивным, обворожительным. Смеялась ли она, играла ли с ручным воробьем, подставляя милый пальчик его яростным укусам, он был в восторге (2; 5). Глядя на свою возлюбленную, он говорил:

Она обездолила женщин.  
Женские все волшебства соединила в себе (86).

Уже счастливый любовник с насмешливым презрением глядел на законного супруга. Уже мнил себя самым счастливым. Уже Лесбия сказала ему, что любит его одного, даже владыка богов Юпитер тщетно молил бы ее любви (83). «Жизнь моя, ты обещаешь, что наша нежная любовь продлится вечно. Боги великие, сделайте так, чтобы это исполнилось... чтобы через всю жизнь мы пронесли союз святой любви» (109). Замечательно, что эту свою любовь, любовь незаконную, он звал не связью — она была для него «союзом святой любви».

Увы! Молитва его не была услышана. Счастье продлилось недолго. Внезапно Катулл узнал злую весть: его подруга неверна. Удар был страшен. Он пришел в неистовую ярость, обрушил на нее вихрь проклятий и грубой брани. Разумеется, он вскоре пришел в себя, ужаснулся тому, что сделал, и упал к ее ногам в остром, мучительном раскаянии. В тоске он отрекается от своих слов.

Как, неужели ты веришь, что мог я позорящим словом  
Ту оскорбить, что дороже жизни и глаз для меня?  
Нет, не могу! Если бы мог, не любил так проклято и страшно  
(104).

Лесбия смиростивилась. Катулл склонен был считать все случившееся дурным сном. Казалось, снова вернулись прежние блаженные дни.

Лесбия снова со мной!

----- —  
О, как сверкает опять великолепная жизнь!  
Кто из живущих счастливей меня? И чего еще мог бы  
Я пожелать на земле? Сердце полно до краев! (107).

Но на сей раз блаженство минуло еще быстрее. Измены следовали одна за другой. Лесбия вела себя все развязнее, все грубее и бесцеремоннее. С ужасом глядел Катулл на это страшное падение. Часто она со своими новыми приятелями ездила кутить в один модный ресторан. Находился он в самом центре на Форуме возле храма Кастора. Среди этой компании выделялся один — ее последняя любовь. Звали его Эгнатий и родом он был из Кельтиберии, то есть Испании. Он не отличался ни умом, ни остроумием. Привлекательным в глазах Лесбии его делало другое — у него была очень красивая борода и, главное, совершенно поразительные, ослепительной белизны зубы. Его роскошная «голливудская» улыбка сражала наповал. Вот почему он улыбался всегда; даже на похоронах широкая улыбка не сходила с его лица (39).

Черное отчаяние владело Катуллом, когда он в тоске бродил в сумерках возле ярко освещенного ресторана, откуда доносился веселый смех его Лесбии. В ярости он сочинял такие строки:

Кабак презренный, вы, кабацкая  
Свора.

----- —  
....Будет жечь над кабаком  
Надпись,  
Из яда скорпионов и моей  
Злости.

Подружка милая из рук моих  
Скрылась,  
Любимой так другой уж не бывать  
В мире.

----- —

Теперь средь вас она, она лежит  
С вами,  
Вы все с ней тешитесь (постыдная  
Правда!)

----- —

Эй, слышишь, волосатый, коновод  
Шайки,  
Ты, кроличье отродье, кельтибер  
Мерзкий,  
Эгнатий! Чем гордишься? — бородой Клином?  
Оскалом челюстей, что ты мочой  
Моешь? (37).

Дело в том, что в Иберии разводили кроликов, почему Катулл и назвал ее «кроличьей» страной, а народы ее, еще будучи варварами, по рассказам путешественников, чистили зубы мочой.

Но Катулла терзала не только ревность. Ему нестерпима была мысль о падении его Лесбии.

...Лесбия, та, что самой жизни,  
Милых всех для меня была дороже,  
В переулках теперь и в подворотнях  
Эта Лесбия тешит внуков Рема (58).

Он признается, что в нем по-прежнему бушует страсть, но он уже не может ее уважать (72).

Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может  
Преданной дружбой, как я, Лесбия, был тебе друг.  
Крепче, чем узы любви, что двоих нас когда-то вязали,  
Не было в мире еще крепких и вяжущих уз.  
Ныне ж расколото сердце. Шутя ты его расколола,

Лесбия! Страсть и печаль сердце разбили мое.  
Другом тебе я не буду, хоть стала б ты скромною снова.  
Но разлюбить не могу, будь хоть преступница ты! (87; 75).

Катулл был совершенно изнурен *«этой несчастной, этой проклятой любовью»* (97). Ум его мешается, он разбит, болен, измучен. Он на грани безумия и обращается к богам со страстной молитвой:

Если о детстве, о юности память, о радостях чистых  
Смертному сладка, — когда ясно видит он жизнь,  
Знает, что не был неверным, что клятвою лживой не клялся,  
Имя святое богов не призывал на обман,  
Знай, если так, то, наверное, в жизни счастливой и долгой  
Ждет еще радость тебя, проданный подло Катулл!  
Все, чем влюбленное сердце любимого словом и делом  
Может обрадовать, все сделал ты, все ты сказал.  
Все, что доверчиво отдал, поругано, попрано, сгибло!  
Что же ты любишь еще? Что же болит твоя грудь?  
Тратишься в чувстве напрасном, не можешь уйти и забыться.  
Или на зло божеству хочешь несчастным ты быть?  
Трудно оставить любовь, долголетней вскормленную страстью.  
Трудно, и все же оставь, надо оставить, оставь!  
В этом одном лишь спасенье. Себя победи! Перемучай!  
Надо! Так делай скорей! Можно ль, нельзя ли, живи!  
Боги великие! Если доступна вам жалость и если  
Даже и в смерти самой помощь вы людям несли,  
Сжальтесь теперь надо мною, за то, что я жил непорочно,  
Вырвите эту напасть, ужас и яд из груди!  
Вот уже смертная дрожь к утомленному крадется сердцу,  
Радость, веселье и жизнь — все позабыто давно.  
Я не о том уже ныне молюсь, чтоб она полюбила,  
И не о том, чтоб была скромной, не может ведь, да!  
Нет, о себе лишь прошу, чтоб здоровым мне стать и свободным!  
Боги, спасите меня, вознаградите за все! (76)

Он не мог больше оставаться в Риме, где все напоминало ему прошлое. Он хочет бежать, скорее бежать на край света. Друзья

выхлопотали ему возможность в свите претора ехать в Малую Азию. Уезжая, он просит передать своей милой несколько последних слов. Пусть будет счастлива со своими любовниками; пусть обнимает сразу хоть по сто человек, никого не любя по-настоящему.

Только о моей пусть любви забудет!  
По ее вине иссушилось сердце,  
Как степной цветок, проходящим плугом  
Тронутый на смерть (II).

\*

Так грустно кончился роман Катулла. Но кто была эта Лесбия, которая сломала его жизнь? Поздние латинские писатели раскрыли нам эту тайну, скрывать которую дольше не имело смысла. Под именем Лесбия, говорят они, Катулл описал одну знатную даму, некую Клодию. Эту женщину мы хорошо знаем, даже слишком хорошо. Она стала притчей во языцех тогдашнего Рима.

Происходила она из знатного патрицианского рода Клавдиев. Эти Клавдии имели в древности недобрую славу. Их называли жестокими, буйными, надменными патрициями, бесконечно презирающими народ; страстными, безумно честолюбивыми, вспыльчивыми, рабами своих страстей. Во времена борьбы патрициев с плебеями они с бешеной злобой нападали на народ. Некоторые из них даже избивали народных трибунов, особ священных и неприкосновенных. Об их нраве в Риме ходило множество рассказов. В середине V века римляне решили составить первые письменные законы и вручили для этого полномочия комиссии децемвиров, но те захватили власть и превратились в тиранов. Особенно жесток и надменен был глава децемвиров Аппий Клавдий. Но погубили его, как гласит предание, собственные необузданные страсти. Он безумно влюбился в плебейскую девушку и силой хотел увести ее к себе. Тогда отец, чтобы спасти дочь от бесчестия, заколол ее. Возмущенный плебс сверг власть децемвиров. Аппий Клавдий покончил с собой. Во времена Пунических войн другой Клавдий, командовавший флотом, узнав от жреца, что священные птицы дают неблагоприятные знамения, в ярости бросил клетку с ними за борт. Он дал сражение, проиграл и погубил много народу. Несколько лет спустя его сестра, «с трудом пробираясь в повозке через

густую толпу, громко пожелала, чтобы ее брат Пульхр воскрес и снова погубил флот, и этим поубавил бы в Риме народу» (*Cic. De nat. deor.*, II, 7–8; *Suet. Tib.*, 2, 2–4). Сказанного, я полагаю, довольно, чтобы представить характер Клавдиев, удивительно неизменный и постоянный на всем протяжении римской истории. Вдобавок, говорят, они привыкли издеваться над обычаями, законами и установлениями предков. Последней представительницей этого старинного рода как раз и была Клавдия или Клодия, как она себя называла. Клодия — это простонародная форма произношения ее имени. Дело в том, что все члены их семьи были яркими демократами. Клодия жила в богатстве и роскоши. Ее муж Метелл Целер был знатным римским вельможей.

Однажды, в недобрый час, герой наш впервые переступил порог дома Метелла Целера и увидел Клодию. Может быть, это случилось в то самое время, когда Катулл наслаждался счастьем со своей Лесбией в доме Аллия<sup>[43]</sup>. Несколько лет спустя Цицерон так описывает характер этой женщины.

Она появлялась на улице, окруженная стайкой своих поклонников. Ее наряд, ее манеры, бесцеремонная свобода ее речи, даже сама походка сразу привлекали к ней внимание. У нее всегда совершенно открыто были любовники. Порой она прямо на улице подходила к понравившемуся ей мужчине, приглашала к себе, иногда даже целовала. Дом ее всегда был полон почти незнакомых ей мужчин. Вместе они устраивали пышные пиры и шумные оргии. У нее были тенистые сады на берегу Тибра, которые пользовались славой прямо-таки какого-то мусульманского эдема или сада наслаждений. Сады эти раскинулись над самой рекой, и, отдыхая тут в часы полуденного зноя, Клодия наблюдала, как купается римская молодежь. Она любовалась их обнаженными телами и выбирала себе самого красивого. Кроме садов было у нее еще одно любимое место отдыха — модный морской курорт Байи на юге Италии близ Неаполя. Место это славилось мягким климатом, кроме того здесь были горячие воды. Поэтому сюда давно уже возили больных и расслабленных. Но теперь курорт облюбовала золотая молодежь. Здесь на берегу завязывались бурные романы. Одна шуточная эпиграмма рассказывает, будто однажды байские нимфы увидели самого Купидона, который сладко спал на берегу. Вспомнив, сколько обид они претерпели от шаловливого бога, они решили его обезоружить. Они схватили факел, которым он зажигает страсть, и бросили его в воду. Увы! Волшебный огонь не погас, но байские воды стали горячими и приобрели магическое свойство — каждый, кто искупается в них, немедленно влюбляется. Вот сюда-то и приезжала Клодия с

очередным любовником. Больные старики, лечившиеся в Байях, с негодованием говорили, что она вовсе забывала там стыд — лежала на пляже в обнимку со своим приятелем и делала еще много такого, о чем скромность мешает им говорить (*Cic. Cael*, 34; 38; 27; 35; 49).

Правда, так жила Клодия уже после смерти мужа (59 год). Но не думаю, чтобы этот бедняга сильно мешал жене. Кроме того, он постоянно уезжал из Рима по делам службы. В результате за Клодией в Риме утвердилось не поэтическое имя Лесбия, а гораздо менее романтическое прозвище Квадрантария, Трехгрошовая (так звали в Риме самых дешевых проституток). Ее, говорит Плутарх, прозвали так после того, как «кто-то из ее любовников, насыпав в кошелек медных монет, прислал ей их вместо серебра» (*Plut. Cic.*, 29; *Quintil*, VIII, 6, 53). Впрочем, Клодия не обирала любовников. Напротив. Часто брала на содержание юношей, у которых были чересчур строгие отцы.

Цицерон познакомился с супругами. Муж Клодии, Метелл, был важный, нестерпимо надутый вельможа, который все время твердил о достоинствах своей семьи. Катулл назвал его мулом. Цицерон же пишет о нем так: «Метелл не человек, а камень, кусок меди, совершеннейшая пустота» (*Att.*, 1, 18, 1). Жена Метелла произвела на оратора гораздо более приятное впечатление. Из стихов Катулла мы знаем, что она была жива и грациозна, у нее были красивые ноги, изящные руки с длинными пальцами, белая кожа, жаркие губы и черные глаза. Речь ее отличалась живостью и остроумием. Это была женщина с огоньком, с «крупинкой соли», как говорит Катулл. Цицерона больше всего поразили ее глаза — темные и блестящие. Даже много лет спустя, когда все было кончено и между ними встала ненависть, он часто вспоминал ее «сияющие глаза» (*Cael*, 49; *Har.*, 38). Сейчас же он был так очарован, что дал ей прозвище Боопида — Волоокая. Так Гомер называет Геру, царицу Олимпа. И он ей понравился, очень понравился. Он был умен, талантлив, остроумен, умел говорить увлекательно и интересно, умел к месту сказать изысканный комплимент, а главное, так знаменит! Лучший оратор Рима, король судов! Понравилось и имя Волоокая, оно звучало не хуже, чем Лесбия. Правда, Цицерон держался каких-то старомодных, отсталых взглядов, ценил скромность, добродетели, обожал семейную жизнь. Но тем заманчивее казалось покорить этого человека и приковать к своей триумфальной колеснице.

Клодия решила поймать оратора в свои сети. Вскоре они стали друзьями, и очень близкими друзьями. Цицерон теперь предпочитал общаться с ее спесивой родней только через нее (*Fam.*, V, 2, 6). Оказалось, что эта светская львица вовсе не равнодушна к политике. Она была яркой

демократкой, но в угоду Цицерону стала обуздывать своих не в меру ретивых родичей. Итак, между ними была самая тесная дружба. Но, зная Клодию, трудно сомневаться, что за словом «дружба» скрывается иное, более пылкое чувство. Притом оно зашло дальше, чем хотелось бы показать Цицерону и его высоконравственным биографам. Есть даже некоторые указания на то, что они были вместе в Байях и ночью при луне катались в лодке под звуки музыки<sup>{44}</sup>. И вдруг Клодия, эта львица и обольстительница, по уши влюбилась в Цицерона. Она не довольствовалась уже романом, она решила женить на себе оратора. Взялась она за дело со всей страстью и энергией, ей свойственными. Ее агенты то и дело курсировали между ней и Цицероном. Она пустила в ход письма, общих знакомых. Словом, интриговала вовсю (*Plut. Cic.*, 29). Но мечта ее была утопией. Цицерон страстно любил семью. Мог ли он осиротить своего маленького сына или бросить тень на репутацию обожаемой дочери? Нет, конечно. Никогда.

И тут случилось самое страшное — обо всем узнала Теренция. Над головой бедного Цицерона разразилась такая буря, что злые языки объясняли буквально все дальнейшие действия нашего героя желанием умиловить грозную супругу. Позже он пишет Аттику: «Я не буду рассказывать о колючках и острых камушках своей семейной жизни. Я не могу доверить это письму и неизвестному мне посланцу» (*Att.*, I, 18, 2). Не тот ли злосчастный роман причина этих «колючек и острых камушков»? Теренция, как оказалось, обладала хитростью и мудростью великого стратега. Другая женщина, может быть, довольствовалась бы несколькими скандалами. Но Теренция на этом не остановилась. Она решила во что бы то ни стало рассорить мужа с Клодией. И она в этом преуспела. Что-то она такое сделала или сказала, что он преисполнился вдруг глубочайшего отвращения к Волоокой. Летом 60 года, то есть в том самом году, когда он говорил о «колючках и камушках», он упоминает в письме Аттику о Клодии. И тут же вдруг восклицает: «Я ее ненавижу!» (*Att.*, II, 1, 5). Мы увидим, что впоследствии у Цицерона было очень много причин ненавидеть и Клодию, и всю ее семью. Но это было позже. А тогда? За что было Цицерону столь страстно ее ненавидеть?

Я вижу этому одно объяснение. Теренция с женским искусством и женской хитростью раскрыла мужу глаза на отношения Клодии и... Клодия. Публий Клодий Пульхр был младшим братом Волоокой. То был нежный красавец с девичьим лицом, порочный и склонный к безобразным извращениям. Цицерон, обожавший давать знакомым разные прозвища, окрестил его Красавчиком. Со старшей сестрой его связывала самая

горячая любовь. Но римляне были уверены, что это была не совсем братская любовь. И вот Теренция привела мужу какие-то очень убедительные тому доказательства. Почему я так думаю? Потому что и в речах, и в частных письмах он постоянно возвращается к теме инцеста; потому что слова его дышат отвращением и болью. Иногда кажется, что это прямо-таки его больное место. Он, например, рассказывает Аттику, что повстречал на улице Клодия и между ними завязался совершенно незначительный разговор о будущих играх. При этом Клодий вскользь упомянул о сестре. Но только он сказал «сестра», как Цицерон вдруг с необъяснимым гневом и с неслыханной резкостью бросил ему в глаза обвинение в связи с ней. Все это было так неожиданно, так странно, что Цицерон сознает, что Атик будет поражен, читая об этом. «Ты скажешь, консуляру не к лицу такие слова. Согласен. Но я ее ненавижу» (*Ан., II, 1, 5*). Вот, значит, по какому поводу он говорит о своей ненависти! И еще замечательный факт. В то время они с Клодием были уже врагами и Цицерон вполне мог бы бросить ему позорящий упрек, чтобы запятнать его политическую репутацию. Это в Риме было так же принято, как и сейчас. Но Цицерон прибавляет «я ее ненавижу»; *ее*, а не *его*.

Итак, Цицерон порвал с Волоокой. Это было с его стороны неосторожно. Под внешностью, полной ветреной грации, Клодия таила необузданное страстное сердце. Один любовник называл ее Клитемнестрой, сам Цицерон — Медеей Палатинских садов (*Quintil, VII, 6, 53; Cic. Cael, 19*). Клитемнестра, властная и жестокая супруга Агамемнона, полюбив Эгисфа, своей рукой зарезала мужа на пиру. Медея же, узнав, что муж задумал жениться на другой, в припадке безумной ревности убила и соперницу, и ее отца, и собственных детей. Вот какой была, оказывается, в глазах друзей эта грациозная Клодия! Когда умер ее муж — а умирал он тяжело, в бреду, — все были убеждены, что она отравила его. Видно, в ней бушевала дикая кровь Клавдиев.

Но что самое удивительное. Эта легкомысленная женщина, которая меняла любовников как перчатки и которой в пору было спеть арию «У любви, как у пташки, крылья», оказывается, сама была ревнива до безумия. Когда однажды любовник бросил ее первым, Боже, что тут было! Она подняла на ноги всех своих друзей, объединила всех его врагов, натравила на него все силы, собрала против него множество ложных обвинений и привлекла к суду. Она бурлила яростью, она не могла успокоиться, пока не изгонит его, разорит, опозорит, сотрет с лица земли. Теперь вся ее злоба обрушилась на Цицерона.

Сначала она, видимо, пыталась его вернуть. Цицерон выдержал целый

шквал упреков и обвинений. В том же письме он говорит Аттику: «Она скандальна и ведет войну с мужем, *причем не с одним Метеллом*». Мы уже видели, что в этом пункте Цицерон не вполне откровенен с Аттиком. Вот и сейчас он явно лукавит. «Она воюет с мужем». Но что за дело Цицерону до ее мужа? Да вряд ли он и присутствовал при их семейных ссорах. Ключ к разгадке дают слова «причем не с одним Метеллом». Скорее всего, скандалы устраивались не столько Метеллу, сколько Цицерону. Когда же она поняла, что все тщетно, тогда она решила мстить. А как тяжела была ее месть, это Цицерону вскоре предстояло узнать.

Как раз в этот трудный для Цицерона момент в столице разразился один возмутительный и безобразный скандал. Был в Риме очень древний, овеянный легендами религиозный праздник — священнодействие в честь Доброй Богини. Праздник этот справляли одни только женщины, и считалось, что те таинственные обряды, которые они совершают, обеспечивают существование Рима. Ни один мужчина не смел даже близко подойти к месту, где собирались молящиеся, — один взгляд на них, малейший звук, который могло бы случайно уловить мужское ухо, почитались величайшим кощунством и оскорблением богини. Вот почему издревле повелось, что женщины собирались ночью в доме консула или претора. Хозяин и все его соседи до утра уезжали, и женщины оставались полными хозяйками в доме. В декабре 62 года римлянки собрались в доме Цезаря, тогда бывшего претором, у его молодой жены. Ночью произошло нечто невероятное.

Дом был уже полон, и тут несколько женщин заметили незнакомку. Она стояла в темном углу и куталась в густое покрывало. Они окликнули ее и пригласили принять участие в таинствах. Но незнакомка молчала. Они подошли ближе и еще раз настойчиво пригласили ее, и тогда наконец она раскрыла рот и что-то сказала... О, ужас! Это был мужской голос. Можно себе представить, что тут началось. Женщины дико завизжали. На их вопли сбежались остальные с факелами в руках. «Незнакомка» бросилась наутек. Все кинулись за ней, визжа и размахивая факелами. Наконец в какой-то темной комнате они «ее» потеряли. Однако во время бегства покрывало сползло с «ее» лица и все узнали Клодия.

Наутро весь Рим только и говорил о ночном происшествии. Тут сообразили все обстоятельства. Вспомнили, что молоденькая и хорошенькая жена Цезаря вовсе не любила своего мужа. Все знали, что у нее роман с Клодием. Вернее всего, в прошлую ночь он явился к ней на свидание. Выяснилось, что и спасла Клодия доверенная служанка хозяйки дома — она спрятала его, а потом тихонько вывела из дома. Служанка эта и

прежде была посредницей между ними. Кроме того, Цезарь, узнав о случившемся, немедленно послал жене разводное письмо (*Att.*, I, 13, 3). Клодия привлекли к суду по обвинению в кощунстве.

Клодий струсил. Он заявил, что все это ложь — его не было в доме Цезаря ночью, его вообще тогда не было в Риме. Он на все время праздника уехал в далекую деревню. И тут Цицерон, вызванный в качестве свидетеля, неожиданно заявил, что Клодий в тот вечер заходил к нему и засиделся допоздна. Значит, Клодий был в Риме и алиби его рушилось. Злые языки по этому поводу говорили, что Цицерон, конечно, не солгал — Клодий действительно был в Риме и действительно к нему заходил, но Цицерон дал свои показания «не из любви к истине, а желая оправдаться перед Теренцией» и доказать ей, что его роман с сестрой обвиняемого окончен (*Plut. Cic.*, 29). Однако городские сплетники ошибались. Цицерон был потрясен всем случившимся. Сразу же после роковой ночи он пишет Аттику: «Я думаю, ты уже знаешь, что Публия Клодия застали в женском платье в доме Гая Цезаря, когда совершались моления за народ... Это такая гнусность. Уверен, что ты очень огорчен» (*Att.*, I, 16, 3). Цицерон никогда не был особенно набожен, но, очевидно, в поступке Клодия было нечто, глубоко оскорблявшее каждого римлянина. Как если бы у нас во время великого праздника кто-нибудь плюнул на образ Богородицы. Нечто подобное есть в «Бесах» Достоевского. Там описано, как бесы революции постепенно овладевают небольшим провинциальным городом. Чуть ли не каждый день происходят скандалы и кощунства. Все это необходимо «для систематического потрясения всех основ, систематического разложения общества и всех его начал; для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циничское и неверующее, вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта». Так, «в одно утро пронеслась весть об одном безобразном и возмутительном кощунстве. При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества Богородицы, составляющая замечательную древность в нашем древнем городе. У врат ограды издавна помещалась большая икона Богородицы... И вот икона была в одну ночь ограблена... Но главное было то, что кроме кражи совершено было бессмысленное и глумливое кощунство: за разбитым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь».

Трудно отделаться от мысли, что и в Риме было нечто подобное. Поэтому в глазах современников поступок Клодия был не галантным грешком, не невинной шалостью, а именно «бессмысленным и глумливым кощунством». В самом деле. Я не могу поверить, чтобы при той свободе,

которой пользовались римские женщины, Клодий не нашел случая увидаться со своей красавицей иначе, как на таинствах богини. Право, можно подумать, что речь идет о том, чтобы проникнуть в гарем какого-нибудь турецкого паши!

Суд над Клодием состоялся в мае 61 года. Улики были столь тяжки, доказательства так очевидны, свидетели так уважаемы, что никто не сомневался, что он будет осужден. Многие считали, что обвиняемый до окончания суда удалится в изгнание. Однако исход суда всех поразил — Клодия оправдали! Люди, находившиеся на чужбине, засыпали Цицерона вопросами, спрашивая, что произошло. Предоставим слово нашему герою. «Ты спрашиваешь, почему его оправдали? Причина — бедность и подлость судей». Путем ловких махинаций удалось подобрать замечательный состав присяжных. «Никогда, даже для игры в кости, не собиралось еще такой сволочи... Все же туда попало несколько честных людей... Они сидели среди этой чуждой им компании унылые, расстроенные и глубоко страдали от соприкосновения с подлостью». Два дня шла закулисная игра. Привозили полные кошельки денег, и они рекой лились в пустые карманы судей. Мало того. «Даже ночи некоторых женщин — благие боги! Какой позор! — ...служили приплатой кое-кому из судей (трудно сомневаться в том, какие женщины жертвовали собой ради Клодия. — Т. Б.)». Судей было 56. Несмотря на все соблазны, 25 из них остались верны присяге. «Но для 31 судьи голод оказался важнее позора». Таким образом, Клодий был оправдан перевесом в шесть голосов.

Когда результаты были оглашены, присутствующие онемели от возмущения. Поднялся ропот. Надо сказать, что накануне «славные столпы юстиции» вдруг стали вопить, что боятся беспорядков и поэтому просят, чтобы завтра после приговора им обеспечили охрану. И вот сейчас один из сенаторов сказал:

— Так вот почему вы требовали охраны! Вы боялись, что у вас отнимут деньги.

Сенаторы сидели понутив головы. Они были совершенно подавлены этим позорным судом. «И тут на меня нашло божественное вдохновение, — продолжает Цицерон, — и я сказал:

— Отцы сенаторы, не надо так падать духом от одного удара... Дважды был оправдан Лентул, дважды Катилина, это уже третий, кого судьи выпускают на государство... Поэтому, отцы-сенаторы, будьте бодрее».

Немедленно вскочил Клодий и набросился на Цицерона. Между ними произошла короткая словесная дуэль.

Клодий:

— Ты был в Байях!

Цицерон:

— Наверно, ты хотел сказать — в священном месте?

Клодий:

— Ты купил дом! (Намек на слишком дорогой для Цицерона палатинский дом. — *Т. Б.*)

Цицерон:

— Но не судей.

Клодий:

— Твоей клятве не поверили! (Имеется в виду показание Цицерона как свидетеля под присягой. — *Т. Б.*)

Цицерон:

— Мне поверили 25 судей, а 31 судья не поверил тебе ни в чем, потому что деньги потребовали вперед.

«Под громкие крики он умолк».

Но настроение самого Цицерона, несмотря на его бодрые слова, было далеко не радостным. Он пишет Аттику: «Ты спрашиваешь в заключение, каково положение государства и мое собственное. Знай, что если какой-нибудь бог над нами не сжалится, то погибла та стабильность, которая была достигнута, как ты полагал, моей предусмотрительностью, я же думаю — промыслом божьим... Все погибло из-за одного этого суда. Если только называть судом тридцать человек, самых скверных, самых дрянных из римлян, которые за деньги разрушают все законы божеские и человеческие. И вот Тальна, Плавт, Спонгий (имена присяжных. — *Т. Б.*) и другие такие же подонки объявляют, что никогда не было того, что известно не только всем людям, но даже скотине» (*Att., I, 16*).

Но кто же давал деньги всем этим продажным судьям? Сам Клодий? Ничуть не бывало. Деньги давал Красс. Это первый и главный спаситель Клодия. Второй человек, который протянул ему руку помощи, уже совсем неожиданный. То был сам оскорбленный муж Гай Юлий Цезарь. На суде он заявил, что знает точно, что Клодия в ту ночь не было у него дома. Когда же ему задали резонный вопрос: «Почему же ты в таком случае развелся со своей ни в чем не повинной женой?» — он отвечал фразой, ставшей крылатой:

— Даже тень подозрения не должна коснуться супруги Цезаря (*Plut. Caes., 9—10*).

Нам бы очень хотелось думать, что поведение Цезаря объясняется благородным стремлением оградить свою семейную жизнь от

бесцеремонного вмешательства и пересудов или еще более благородным желанием спасти честь жены, даже изменившей. Увы! Появление на сцене Красса разрушает все эти иллюзии. Оно со всей очевидностью показывает, что дело было не семейным, а политическим. Значит, генеральный штаб революции решил, что Клодий им нужен.

Все это было еще тогда неясно. Ясно было одно — Цицерон приобрел смертельного врага. Клодий дрожал от ненависти, когда при нем произносили его имя. Но сестра его оказалась еще ретивее. Она раздувала ненависть брата, корила его, поощряла, вдохновляла. Ее кружок стал настоящим политическим клубом. Там ковались интриги, там обдумывались планы, а сама она, как опытный полководец, созывала войска на бой звуками трубы. Цицерон говорит о «боевых рожках Волоокой». Сам Клодий в его глазах отступил на второй план. Он был только «брат Волоокой». Вся опасность исходила от нее (*Att.*, II, 14, 1; 9, 1; 12, 1; 23, 3). И Цицерону вскоре суждено было узнать, на что способна эта семья.

\*

Между тем на Форуме разыгрались самые драматические события. Сейчас мы подходим к роковому моменту и в истории того времени, и в жизни нашего героя. В прошлом году все планы генерального штаба революции провалились благодаря Цицерону. Стало ясно, что поднять смуту до возвращения Помпея не удастся — его со дня на день ждали в Италии. Цезарь не сомневался, что, имея в руках огромную преданную армию, Помпей по примеру Суллы захватит власть в Риме. Помешать ему уже было нельзя. Оставалось одно — обеспечить себе хорошее место при будущем диктаторе. Между тем Помпей был недругом и ему, и Крассу. И тогда Цезарь предпринял следующее. Трибуном в тот год был Метелл Непот, брат мужа Клодии. Человек это был наглый и беспокойный, кроме того, телом и душой преданный Помпею. Вот с этим-то Метеллом Цезарь и вступил в союз. Вдвоем они предложили следующий закон. Помпей со всем войском призывается в Рим, дабы спасти Италию от катилинариев. Это был лишь благовидный предлог, самая же суть закона и его цель состояла в том, чтобы передать верховную власть над Римом в руки Помпея (*Plut. Cat. min.*, 26), В самом деле. Это было нечто неслыханное. Законы Рима запрещали вооруженному воину переступать границы города.

Заговор Катилины был уже подавлен. Таким образом, Помпей должен был войти в Рим не как насильник, а как законный правитель. Цезарь не сомневался в успехе. И вот тут-то на его пути впервые встал один человек. У него не было ни партии, ни денег, ни войска. Он был просто чужак. Но когда грозная туча революции приблизилась, когда буря грянула, он один вышел вперед. Он в одиночку вступал в бой против революционных шаек и наводил на них ужас. Он выходил против целого войска наемных убийц; его избивали, он падал замертво, обливаясь кровью, но очнувшись, он вставал и снова шел в бой. Его нельзя было ни сломить, ни испугать. А его могучий противник невольно трепетал перед ним. Человека этого звали Марк Порций Катон Младший.

### **Одинокий боец**

*Жил на свете рыцарь бедный,  
Молчаливый и простой,  
С виду сумрачный и бледный,  
Духом смелый и прямой.*

*А. С. Пушкин*

*Или, по-вашему, это бесплодное и презренное  
времяпрепровождение — странствовать по миру, чуждаясь его  
веселья и взбираясь по крутизнам, по которым доблесть  
восходит к обители бессмертия... Я — рыцарь... и рыцарем умру.  
Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие  
идут путем низкой и рабьей угодливости... Я же, ведомый своей  
звездой, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради  
которого я презрел житейские блага... Я вступался за  
униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость.*

*Мигель де Сервантес. Дон Кихот*

Если бы в Риме были святые, первое место в их сонме несомненно занял бы Катон. Канонизация его началась стихийно. Напрасно

правительство пыталось выкорчевать эту веру. Она только пышнее расцветала от гонений. И, как часто бывает со святыми, культ его начался там, где он погиб, в Утике. То был финикийский город Африки, которому дела не было до того, как будет управляться Рим. Жители его были угодливы и трусливы. И все-таки они, эти робкие финикийцы, рискуя навлечь на себя гнев диктатора, воздвигли памятник его злейшему врагу!

Едва он умер, чуть ли не все знаменитые люди Рима стали писать его жизнеописание, вернее *житие*. Цезарь был поражен этим стихийным потоком. Но со свойственной ему проницательностью он понял, что надо не репрессировать поклонников нового святого, а попытаться сорвать с его головы нимб. И он написал «Антикатон», двухтомное (!) сочинение против своего врага. Он собрал там все сплетни, все порочащие Катона слухи и изложил их с присущими ему краткостью, искусством и остроумием. Теперь-то слава Катона должна была смешаться с грязью! Увы! Цезарь достиг прямо противоположного результата. Даже друзья диктатора с отвращением отвернулись от этого памфлета (если можно назвать памфлетом многотомную книгу). Плутарх же называет сочинение Цезаря *кощунством*, таким же бессмысленным, оскорбительным и нелепым, как обвинение Геракла в трусости (*Cat. min.*, 52). Сияние же вокруг великого мученика разгоралось все ярче. Саллюстий, верный клевет Цезаря, поносит всех республиканцев без разбора, И вот он в конце жизни написал, что в его время люди измелъчали, выродились и он не видел никого достойного Древнего Рима. Но среди этих жалких пигмеев, словно гиганты, возвышались два человека — Цезарь и Катон. Цезарь, говорит он, жаждал власти, военной славы; Катон же был велик своей безупречной жизнью, он затмевал всех нравственной красотой. «Он предпочитал быть, а не казаться благородным; поэтому чем меньше он стремился к славе, тем больше она за ним следовала» (*Cat.*, 53–54). Веллей Патеркул, придворный историк императора Тиберия, естественно, говорит о республиканцах очень мало хорошего. Но про Катона он пишет: «Человек, совершенно подобный самой Доблести, духом приближающийся уже не к людям, а к богам... чуждый всех человеческих пороков» (*Veil.*, II, 35). Для Сенеки же Катон уже совсем бог. Вот как он описывает его самоубийство: «Взгляни на Марка Катона, подносящего чистейшие свои руки к святой груди» (*Sen. Luc.*, 67, 13). Он советует друзьям поставить образ Катона в свою духовную божницу, чтобы советоваться с ним в трудную минуту, сверять свои поступки с этим бессмертным идеалом (*Ibid.*, 11, 10; 25, 6). И действительно. В самые страшные годы террора люди, идущие на смерть, находили утешение, вспоминая Катона. Эти люди умирали с его именем на

устах; при обыске у них находили бюстики Катона.

Культ Катона пережил таким образом Республику. Но он пережил и самый Рим. Данте был пламенным монархистом. Цезарь для него помазанник Божий, Брута и Кассия он поместил в Ад, и не просто в Ад, но в самый нижний его круг, рядом с Иудой. Ясно, как он относился к республиканцам. Но все-таки Цезарь у него тоже в Аду, правда, в первом его круге, где пребывают древние герои, еще не знавшие Христа. За одним единственным исключением. Злейший враг Цезаря Катон высоко над ним под звездным небом. Он страж Чистилища, на вершине которого душа обретает свободу. Более того. Данте толкует одно место из Лукана. Жена в старости возвращается к Катону. «Это обозначает собой, — говорит он, — что благородная душа... возвращается к Богу. И какой смертный более, чем Катон, достоин обозначать собой Бога? Конечно, ни один» (*Пир*, IV, 23). А Катон был язычник, республиканец и самоубийца!

Итак, в течение более чем тринадцати веков Катона окружал ореол святости. И что самое интересное — его считали святым еще при жизни! Имя его уже тогда вошло в поговорку. Бывало, идет суд. Защитник спрашивает обвинителя, где же его свидетели. «Вот», — отвечает тот, кивая на одинокого человека на скамье. «Э, нет, — отвечает адвокат, — один свидетель — не свидетель, будь он хоть сам Катон!» Сосед рассказывает соседу какую-то совершенно невероятную историю. Тот недоверчиво усмехается, качает головой и говорит: «Я бы усомнился, если бы мне рассказал об этом даже сам Катон» (*Plut. Cat. min.*, 19).

Но вот, пожалуй, самый поразительный факт. Причем факт, переданный очевидцем, а не писателем, жившим сто лет спустя. Цицерон однажды защищал человека, которого обвинял Катон. Катон, говорит он, опаснейший из обвинителей. Он страшен «обаянием своей личности». «Блеск и чистота его жизни» буквально ослепляют присяжных и мешают взглянуть на дело объективно. Поэтому, продолжает он, обращаясь прямо к обвинителю, необходимо, чтобы ты устранил имя «Катон», тогда мы сможем сразиться с тобой на равных в честном поединке, апеллируя не своими именами, а фактами (*Mur.*, 58–60; 67). Это поистине изумительные слова! Только подумайте — когда это написано? В 63 году. В это время Цицерон был консулом, он был в зените славы, он раскрыл заговор Катилины. А Катон? Он был мальчишкой, только выбранным в трибуны, но еще не вступившим в должность и не совершившим ровно ничего славного. И великий оратор, консул, национальный герой смиренно просит у мальчишки, чтобы тот отбросил это непобедимое оружие — свое имя! Какова же должна была быть слава Катона после этого! Но чем же он

превосходил Цицерона в глазах присяжных? Только одним — Цицерон был великий человек, а Катон — *святой*. Вот почему за Катонем ходили толпы последователей и учеников.

Наверно, самым ярким цезарианцем в истории был не кто-нибудь из современников диктатора, а немецкий историк XIX века Моммзен. С гневом и презрением клеймит он всех республиканцев. Увы! Наш герой удостоился у него самой убийственной характеристики. Но и Моммзен останавливается перед Катонем в недоумении. Кажется, уже занесенная для удара рука застыла в воздухе. Он просто не знает, в чем упрекнуть Катона. В конце концов он говорит, что тот был Дон Кихотом<sup>[45]</sup>. Это удивительно метко. Да, Катон был действительно Дон Кихотом, который, не имея ничего кроме плохонького копья и старой клячи, в жестокий и подлый век решил воскресить идеалы странствующего рыцарства, искоренить зло и дать победу добру.

А теперь попытаемся присмотреться к этому человеку повнимательнее.

\*

Катон родился в 95 году. Был он правнуком знаменитого Катона Цензора. Мать его была сестрой Друза, того, который хотел дать италикам права гражданства, когда Цицерон только-только переехал в Рим. Он был круглым сиротой и вместе со своими братом и сестрами воспитывался в доме своего дяди Друза. Быть может, этот строгий человек и мог бы заменить сиротам родителей, но он был убит, когда Катону было четыре года. С тех пор дети росли у чужих людей.

Говорят, Катон был странным, грустным и задумчивым ребенком. Со взрослыми он держался напряженно, иногда бывал резок и редко им улыбался. Но товарищи очень любили его, уважали и слушались. Хотя маленький мечтатель не любил шумных игр — часто сидел он в своем детском креслице совсем один в глубокой задумчивости (*Plut. Cat. min.*, 3). Но уже тогда он испытывал страстные, глубокие чувства. Больше всего на свете он любил старшего брата. Взрослые часто задавали ему свой любимый вопрос: Кого ты больше всего любишь? — Брата, — отвечал Катон. А потом? — Брата. И сколько ни повторяли вопрос, он прямо твердил: Брата.

Эту любовь он сохранил и в юности. Он никуда не ходил без брата, не садился без него за стол, а когда брат пошел в армию, Катон и тут

последовал за ним (*Ibid*). Но судьба нанесла ему страшный удар. Они должны были ненадолго расстаться. Вдруг до Катона дошло известие, что брат при смерти. Как безумный, бросился он на берег, чтобы немедленно плыть к брату. Между тем на море шумела буря, ни один корабль не хотел сниматься с якоря. И тогда к ужасу присутствующих Катон вскочил в какую-то лодчонку и, не обращая внимания на отчаянные крики друзей, уплыл. Чудом остался он в живых, добрался до берега, помчался по указанному ему адресу, вбежал в дом, ворвался в комнату и остановился на пороге. На постели лежал его брат уже мертвый. Что случилось тогда с Катонем, очевидцам трудно было даже передать. Он бросился на колени перед кроватью, сжал в объятиях мертвое тело и, покрывая лицо и руки умершего поцелуями, неудержимо зарыдал. Так провел он много часов.

Многие соседние города и цари были связаны узами гостеприимства с семьей Катона. Поэтому на другой день потянулись к нему гонцы — они выражали ему официальное соболезнование, давали деньги на похороны и подарки. Катон молча отдавал назад деньги, из подарков же отбирал только дорогие ткани и духи, причем, несмотря на протесты гостей, немедленно возмещал их стоимость. Когда же наступил день похорон и погребальный костер разгорелся, Катон начал бросать в огонь все подарки. Оказывается, брат обожал красивые ткани и духи. Затем в костер полетели золотые вещи, красивые безделушки. Говорят, в пепле потом находили запекшиеся слитки золота.

Вскоре Катон должен был вернуться в Рим. Он взошел на корабль, прижимая к груди какой-то сосуд. Друзья спросили, что это. Он отвечал, что это урна с прахом брата. Они ужаснулись и, опасаясь за его рассудок, стали мягко убеждать его отложить урну и отослать в город с другими вещами. Катон резко отстранился и сказал:

— Я скорее расстанусь с собственной душой, чем с этим прахом (*Plut. Cat. min.*, 11; 15).

У Катона было много друзей, но никто никогда уже не мог заменить ему брата.

Любовь его также была несчастлива. У него долго не было никаких романов, а потом вдруг он страстно влюбился. Увы! Его избранница была невестой одного блестящего светского повесы, некого Сципиона. Неожиданно между ними произошла ссора. Сципион в гневе заявил, что расторгает помолвку, и немедленно уехал. Семья была в ужасе. Отвергнутая невеста рыдала. И тут появился Катон и предложил ей руку и сердце. Надо ли говорить, с каким восторгом было принято его предложение! День свадьбы был назначен. Шли приготовления к брачному

пиру, и вдруг вернулся Сципион. Стоило невесте его увидеть — и все было кончено. Катон получил отказ. Его невеста стала женой Сципиона. Катон был вне себя. «Его юношеский запал и жгучая обида излились в ямбах: он осыпал Сципиона бранью, употребив при этом всю едкость Архилоха<sup>[77]</sup>» (*Plut. Cat. min.*, 7). И, подобно тому, как ни одного друга он не любил так, как брата, ни одну женщину он уже не любил так, как свою первую любовь.

Вскоре Катон женился. Плутарх говорит: «Она была его первой женщиной, но не единственной». Ибо Катону, продолжает он, не выпало на долю редкого счастья — сразу найти свою женщину и дойти с ней рука об руку до гробовой доски (*Ibid.*). Они не были счастливы и в конце концов развелись. Говорят, Катон был утомлен ее многочисленными изменами. Вторично он женился на Марции. «Она считалась нравственной женщиной, но о ней ходило множество толков самого различного свойства. Впрочем, эта сторона жизни Катона вообще полна необъяснимых загадок, словно какая-нибудь драма на театре» (*Plut. Cat. min.*, 25). Действительно. Все античные авторы в полном изумлении останавливались перед одним эпизодом из семейной жизни Катона. Это и правда нечто невероятное. Дело было в следующем.

У Катона, как я уже говорила, было множество поклонников и учеников. Плутарх даже сравнивает Катона с Сократом. Поклонники эти были совершенно разные люди. Был, например, среди них некий Фавоний. Это был человек страстный и горячий. Катон действовал на него как-то уж чересчур сильно, по выражению Плутарха, «как неразбавленное вино», которое ударяет в голову и лишает рассудка (*Plut. Cat. min.*, 46). Он то ходил босиком, то грубил могущественным вельможам, а однажды, когда должен был выдавать награды актерам, «вместо дорогих подарков» стал дарить им «свеклу, салат и редьку» — словом, совершал тысячи различных чудачеств и приобрел в Риме славу какого-то юродивого. Был среди почитателей Катона и великий полководец и изнеженный богач Лукулл, удивлявший весь Рим своими роскошными пирами. Был старый почтенный сенатор, который боготворил этого юношу. Но одним из самых пламенных его обожателей был Гортензий. Да, да, тот самый Гортензий, которого называли фигляр и плясуньей Дионисией, автор пикантных стихов и защитник Берреса! Гортензий был буквально влюблен в Катона и выражал свои чувства с преувеличенным пылом, как многие актеры.

И вот однажды Гортензий пришел к Катону и завел какой-то странный разговор. Он говорил, что так любит Катона, так любит, что хочет с ним породниться. Да, он хочет быть его братом! И вот поэтому он просит у него руки его дочери. Катон, несколько опешив, отвечал, что дочь его замужем,

о чем хорошо известно Гортензию. И тут Гортензий понес какой-то совсем уж несусветный вздор. Он говорил о древних философах, об общности жен, о государстве Платона. Что из того, что дочь Катона замужем? Он все равно просит ее руки! Правда, согласно пошлым мещанским понятиям, это недопустимо, но с высшей философской точки зрения прекрасно. Пусть дочь родит ему сына. Этот ребенок свяжет его с Катонем. А там, если угодно, он снова отдаст ее мужу. Словом, он разливался соловьем. Катон с изумлением слушал всю эту галиматью. Наконец, прервав поток красноречия оратора, он сказал, что, «любя Гортензия и отнюдь не возражая против родства с ним, он находит, однако, странным вести речь о замужестве дочери, выданной за другого». И тут Гортензий заговорил по-иному и «*без всяких околичностей раскрыл свой замысел, попросив жену самого Катона*». Катон помолчал с минуту, затем сказал, что согласен. Жена покинула его дом и уехала к Гортензию.

Эту странную историю толкуют на все лады. Много говорят о стоических и платонических идеях Катона, о его взглядах на дружбу. Однако как-то забывают, что в этой истории были *три* действующих лица — кроме Гортензия и Катона была еще Марция. Римская женщина пользовалась почти неограниченной свободой, в частности, правом развода. И вдруг ее дарят, как турецкую наложницу! Мы могли бы ожидать, что Марция, узнав о философском решении обоих друзей, швырнет в них чем-нибудь тяжелым, бросит в лицо мужу обручальное кольцо и гордо удалится. Ничего подобного! Она кротко выслушала обоих мудрецов и, смиренно опустив глаза, объявила, что готова пожертвовать собой и переселиться к Гортензию. В этом есть что-то подозрительное!

Я думаю, она сделала то, что хотела сделать. А так как не слышно, чтобы она была фанатичным философом, то очевидно, что у нее были совсем другие причины. Что, если Марция и Гортензий давно полюбили друг друга? Любовь эта поставила Гортензия в самое щекотливое положение. Он не мог завести роман за спиной мужа, не мог увести его жену — ведь муж был Катон, перед которым он благоговел. Конечно, он мог бы прийти к другу и во всем ему признаться. Наверняка Катон бы простил обоих. Но изворотливый ум Гортензия придумал гораздо более красивый выход. И он сыграл эту сцену так, как мог сыграть ее только великий актер.

Принял ли Катон все происходящее за чистую монету или он понял все? Этого мы никогда не узнаем. Мы знаем лишь, что повел он себя так, как будто ни о чем не догадывался. Он сам передал жену другу, который, кстати, был старше его на 20 лет. Между прочим, речь уже не шла о том,

чтобы вернуть Марцию, если она родит ребенка. Об этом Гортензий на радостях забыл. Страдал ли Катон? Никто не знает, ибо люди не понимали, «сколько мягкости и нежности было в этом непоколебимом и суровом человеке» (*Plut. Cat. min.*, 11).

Но все-таки Катон никогда не был одиноким. Во-первых, у него была большая семья. Дом его буквально был полон женщин: жена, дочери, племянницы, росшие у него в доме, сестры. Сестры эти (во всяком случае две из них) были удивительно беспутны, и вокруг них то и дело вспыхивали безобразные скандалы. С одной из них муж развелся, заявив, что терпел ее столько времени только потому, что она сестра Катона. Странно, что Катон, этот строгий моралист, ни словом не упрекнул сестру и поселил ее в своем доме. Эта была шумная экспансивная компания, которая плохо ладила между собой. «По-видимому, вообще вся женская половина семьи доставляла Катону одни неприятности», — говорит Плутарх (*Cat. min.*, 24). Но он не прав. Катон любил этих крикливых, беспутных женщин. И они любили его. Когда началась гражданская война, Катон поразил всех. Он прибыл в лагерь вместе с сестрой и ее малым ребенком. Катон говорил, что ему не на кого ее оставить. И когда римляне слышали, как эта женщина, которую они считали пропащей, твердит, что не может оставить Катона, что боится за него, что ему нужен уход, нужен режим, что он вечно забывает о самом для себя необходимом, они невольно призадумались и решили, что в ней ошибались (*Cat. min.*, 54).

Кроме того, у Катона было множество друзей. Где бы он ни появлялся, окружающие пылко к нему привязывались. В армии он был простым офицером, не совершил ровно никаких подвигов, но, когда настал день отъезда, произошло нечто удивительное. Чуть не все войско выбежало провожать Катона. Все рыдали навзрыд, и Катон буквально переходил из рук в руки — каждый сжимал его в объятиях, плакал и осыпал поцелуями (*Cat. min.*, 12). Друзья дневали и ночевали в его доме. По первой просьбе он готов был отдать им последнее. А они доходили до такой бесцеремонности, что порой, даже не спросясь хозяина, тащили закладывать его вещи. В результате все наследство, которое получил Катон, ушло друзьям. Но он никогда не сердился (*Ibid.*, 10; 54). Беседа с друзьями была главным удовольствием его жизни. Он просиживал целые ночи в бессонных спорах. Очень любил он также заниматься спортом и особенно обожал пешие прогулки. Он продолжал говорить и спорить и так увлекался, что мог пройти хоть десять часов подряд. Поэтому приятели зачастую сопровождали его верхом. Катона это не смущало. Он подходил то к одному, то к другому, клал руку на седло и, идя рядом с лошадью,

продолжал говорить. Он был силен и ловок, двигался легко и быстро, реакцию же имел мгновенную. На Ростры, чтобы произнести речь, он, по словам Цицерона, просто «взлетал».

В детстве Катон ненавидел школу. Но в юности страстно стремился к знаниям. Особенно он любил философию и никогда не расставался с томиком Платона. Он сделался так учен, что мог переспорить в диспуте прославленных греческих философов (*Cat. min.*, 10). Читал он непрерывно — дома, на Форуме, в Курии его всегда видели уткнувшимся в книгу.

Катон был всегда немного странным. С годами он стал какой-то чудак. Он совершенно не обращал внимание на одежду. И в то время когда все ходили, блестя яркими и дорогими тканями, он появлялся в темном поношенном платье. Он обожал путешествовать и объездил всю Малую Азию, любуясь на храмы и статуи, ведя отвлеченные споры с учеными. Но и путешествовал он как-то странно. Как знатный римлянин, он мог остановиться в лучшем доме. Цари и вельможи почли бы за честь его принять. Так нет же! Словно нарочно, он останавливался в самых отвратительных харчевнях. Пока слуга бегал в поисках комнаты, Катон сидел прямо посреди дороги на своем ранце под палящим солнцем и, по-видимому, ничего не замечая, читал книгу. Как-то один царь чуть ли не силком затащил Катона в гости. Пиршественная зала сверкала, столы ломились от дорогих блюд; после ужина он сам отвел гостя в великолепную спальню. И что же? Наутро Катон удрал со своим ранцем за спиной (*Cat. min.*, 12–15). От подарков он также упрямо отказывался. При этом бывал резок, подчас просто груб.

Царь Египта однажды узнал, что Катон путешествует. Он тут же послал спросить, не желает ли Катон с ним встретиться. Катон равнодушно отвечал, что не против. Царь прождал его несколько дней, но Катон и не думал к нему приходить. Крепя сердце царь решил отдать первый визит. Когда он вошел и увидел перед собой бедно одетого человека с книгой в руке, он подумал, что перед ним какой-то полусумасшедший. Но когда Катон заговорил, царь был поражен его ясным умом, разительными суждениями и ученостью.

Даже к почестям и славе — самому дорогому для каждого римлянина — этот странный человек был равнодушен. Он добивался некоторых должностей, когда считал, что это поможет ему сражаться за Республику. Но, когда дошло дело до консулата, он вдруг заупрямился и сказал, что хватит с него, не хочет он быть консулом. Друзья бросились его убеждать, говорили, как это нужно для Рима. Наконец он согласился. Но он палец о палец не ударил, чтобы добиться должности. А в день выборов явился на

площадь босиком, почти голый, с мячом для игры в руках<sup>[46]</sup>. Узнав, что он провалился, он тут же убежал играть в мяч, словно школьник, которого отпустили с уроков (*Ibid.*, 49–50).

С годами на Катона все чаще находили приступы непроглядной тоски. Все, что он любил, чему поклонялся, гибло на его глазах. И он стал пить. Цезарь с торжеством называл его пьяницей. Поклонники с возмущением кричали, что ничего подобного — Катон просто любит сидеть ночью с приятелями за чашей вина, и больше ничего. Это верно. Беда в том, что раньше он осушал одну чашу, теперь же с жадностью пил кубок за кубком. Обязанности свои он по-прежнему выполнял образцово. Когда его выбрали претором, он еще затемно прибегал в суд. Только прибегал в самом диком виде — босиком, в тоге на голое тело и, как говорили, часто под хмельком (*Cat. min.*, 44).

Нет сомнения в том, что Катон был фанатиком. У него была совершенно религиозная преданность идеалам законности. То был пламенный пророк, полный горячей веры в Бога живого, готовый взойти за свою веру на костер. Вроде нашего Аввакума или ибсеновского Брандта. У него в душе горел такой внутренний огонь, что он воспламенял всё и вся. Он говорил речь часами — от восхода до заката. А зрители слушали его жадно с неослабным рвением. Его стаскивали с трибуны и волокли в тюрьму. А он продолжал говорить. И народ бежал за ним, боясь упустить хотя бы слово. Это была какая-то «одержимость добродетели», говорит Плутарх. Он поклонялся «справедливости, прямолинейной, не знающей уступок» (*Cat. min.* 20; 18). Никакая опасность не могла его остановить, никакая угроза сломить.

Катону было 14 лет, когда он со своим наставником шел по Форуму. Он увидел человеческие головы, лежащие на Рострах. Мальчик застыл от ужаса. Схватив наставника за руку, он спросил:

— Кто убил столько людей?

Вопрос был задан громко посреди центральной площади. Наставник в свою очередь похолодел. Он зажал Катону рот и зашептал:

— Тише, сынок!

И, наклонившись к его уху, стал шептать, кто такой диктатор Сулла и почему люди его боятся. Но мальчик, казалось, его не слышал. Широко открытыми глазами он глядел на головы.

— Почему ты не дал мне меч, — наконец проговорил он, — я бы убил этого Суллу (*Cat. min.*, 3).

Таким остался Катон на всю жизнь. Видя зло, он кидался в бой, не думая, сколько против него врагов и как они сильны. «Иначе поступить он

не мог», — говорит Веллей (II, 35).

\*

Цицерон и Катон были друзьями. Цицерон относился к своему молодому другу с восторженным восхищением. И в то же время с легкой иронией. Перу его принадлежит самая остроумная и тонкая характеристика Катона. Я люблю нашего Катона, — пишет он Аттику, — ...но он ведет себя так, словно находится в идеальном государстве Платона, а живет он среди подонков Ромула (*Att.*, II, 1, 18). Иными словами, он тоже считал его Дон Кихотом, который воображает, что он среди странствующих рыцарей, а вокруг него злой и жестокий современный мир. Конечно, он называл Катона не рыцарем, но очень близко к тому: «*наш герой*». При этом герой постоянно доставлял ему кучу забот. Например, Цицерону с огромным трудом удастся создать некое подобие коалиции сената с всадниками. Туда входит группа откупщиков. Откупщики эти, естественно, далеко не ангелы. Катон узнает об этом и обрушивается на несчастных откупщиков со всей яростью. Все попытки договориться он срывает, прибегая к своему любимого приему — обструкции. Дело в том, что сенатора нельзя было прервать. И вот Катон в начале заседания встает и берет слово. Говорить он мог сколько угодно. Он говорит и говорит. Темнеет. Настает ночь. Заседание закрывается. Наутро сенат опять собирается. Катон опять берет слово, и все начинается сызнова (*Att.*, 1, 17, 9; 18, 7).

Но самый яркий портрет Катона оставил Цицерон в своей речи в защиту Мурены. (Это та самая речь, где он умоляет своего противника отложить самое страшное свое оружие — имя «Катон».) Мурена был опытный и храбрый воин. Он выдвинул свою кандидатуру в консулы на 62 год и прошел. Но тут Катон обвинил его в том, что он подкупил избирателей. Напрасно Цицерон говорил, что Мурена человек порядочный и отважный и его очень желательно было бы видеть консулом в годину смут. Катон был глух. С таким же успехом Цицерон мог бы пытаться сдвинуть с места скалу. Цицерон взялся защищать Мурену. Дело его слушалось осенью 63 года, в самый разгар заговора Катилины. Нам сейчас вовсе не важны доводы, которые Цицерон приводил, чтобы доказать невиновность своего клиента. Нам интересен нарисованный им портрет обвинителя.

Оратор говорит, что он, как и весь мир, поклонник Катона. Он

напоминает ему могучего былинного богатыря, какого-нибудь Ахиллеса. Но у него на языке все время вертятся слова, с которыми к этому самому Ахиллесу обратился в одной знаменитой трагедии его старый наставник:

Не многим грешен ты; все ж грешен ты порой,  
И душу я твою исправить мог, герой.

Вот эти самые слова хочется ему сказать Катону. Нет, нет. Не совсем эти. Не может же он сказать — «ты грешен», ибо Катон ни в чем не бывает грешен. У него даже и вовсе нет недостатков. Так что становится просто страшно. Он, как известно, воплощение всех возможных добродетелей. Он самый лучший, самый воздержанный, самый справедливый, самый твердый. Словом, он — само совершенство, выше которого даже вообразить ничего нельзя. Поэтому Цицерон хочет не исправить его — Боже упаси! — а только «чуть-чуть направить». Как же? Было бы хорошо, говорит он, если бы у нашего Катона «добродетели смягчались прекрасным чувством меры». И, если бы его добродетели приправить мягкостью и кротостью, они стали бы не то что лучше, но, так сказать, «приятнее на вкус». И дело тут не в том, что Катон слишком суров. Напротив. От природы он кротчайшее существо. Но его ожесточило некое философское учение, которое он исповедует. Учение это — стоицизм.

Надо сказать, что Катон в самом деле был пламенным приверженцем этой философской доктрины. Это учение стройное, величественное, но мрачное и суровое. Это учение о мире, о человеке и его месте в этом мире. Мир, по учению стоиков, создан единым божественным разумом и управляется божественным промыслом. Все в этом мире разумно, прекрасно и рассчитано до мельчайших деталей. И величественные звезды в своем неизменном пути, и моря, и реки, и цветущие травы, и всякая тварь земная — все служит единому предначертанию и единой цели. Здесь продумано все, вплоть до рисунка на крыльях бабочки. И все полезно и вместе с тем прекрасно. Единая же цель эта — человек. Ради него создан мир, этот великолепный храм, где он живет, дабы познать истину. И главное в человеке — это добродетель. Одни философы называли добродетель высшим благом, другие ставили ее ниже наслаждений. Но стоики простерли свою бескомпромиссную суровость до того, что объявили добродетель благом *единственным*, все же остальное — здоровье, благополучие, богатство, слава — вещи второстепенные и вовсе не нужные. Высшей добродетелью обладает *мудрец*; его фигура стоит в

центре учения стоиков. Мудрец понял сущность добродетели, а так как она единственное благо, он к ней только и стремится. Он идет по пути добродетели и вожатый его только разум, а никак не сердце. Напротив, сердце только отвлекает его и дает неверный совет. Ничто — ни любовь, ни жалость, ни страх, ни стремление к удовольствию, ни огонь, ни стужа не могут совратить его с пути. Вы можете бросить мудреца в ледяной колодец или растянуть на раскаленной жаровне, вы можете заковать его в кандалы, но вы не можете ни на йоту изменить его волю или повлиять на него. Те люди, которые гоняются за призрачными ценностями — славой, богатством и удовольствиями, — заслуживают у стоиков имя не грешников, а безумцев, то есть людей, достойных одного презрения. Лишь совершенный человек заслуживает имя мудреца. Даже малый проступок закрывает вам путь к добродетели. Стоики образно говорили: ты можешь не дойти до Афин на сто стадий, а можешь не дойти всего на одну — какая разница, все равно в Афинах ты не побывал. Так и с добродетелью. Ты можешь совершить небольшой грех или тяжкое преступление — добродетели ты не достигнешь.

Многим такое учение может импонировать. Но людям мягким, снисходительным к чужим порокам, тем, кто ставит часто сердце над разумом, оно может показаться не просто суровым, а отвратительным. Одним из таких людей как раз и был Цицерон. Вот почему он ухватился за удобный случай высмеять эту философию перед всем Форумом. «Учение это, — говорит он, — не мягкое и ласковое, а скорее суровое и жесткое». И он насмешливо описывает стоическую доктрину: «Был некогда даровитый муж Зенон; последователи его догматов зовутся стоиками. Догматы же эти вот каковы: «мудрый человек никогда не уступает своей симпатии к кому бы то ни было, никогда не прощает чьей-либо вины; милосердие свойственно лишь неразумным и легкомысленным людям; не приличествует дать себя упротить или умиловить; одни только мудрецы прекрасны, даже будучи уродами, они одни богаты, даже будучи нищими, они одни цари, даже неся рабскую службу, — тогда как мы, остальные, не принадлежащие к мудрецам, — и беглецы, и безродные, и чужеземцы, и безумцы; все грехи равны между собой, все они — нечестивые преступления: одинаково виновен тот, кто без нужды задушил петуха, как и тот, кто задушил отца; мудрец ни о чем не судит по предубеждению, ни в чем не раскаивается, ни чем не вводится в заблуждение, никогда не изменяет своего решения»... Откупщики о чем-то ходатайствуют — «не смей уступать своей симпатии». Приходят к тебе с просьбой бедные и угнетенные — «ты преступник и злодей, если сделаешь что-нибудь под

влиянием милосердия»; человек сознается, что согрешил и просит прощения — «нельзя прощать преступника»; но этот проступок так незначителен! — «все проступки равны»; ты сказал что-нибудь — «стало быть это решено и непреложно»; но ты основываешься не на фактах, а на предположении — «мудрец ни о чем не судит по предположению»; ну, так ты просто ошибся — это он считает прямым оскорблением. Вот этим-то учением объясняется образ действий Катона... «Я сказал в сенате, что привлеку кандидата в консулы к ответственности!» — Но ты сказал в гневе. — «Никогда мудрец не поддается гневу!» — Но ведь надо сообразоваться с требованием времени. — «Бесчестно говорить сознательно неправду, позорно менять свое мнение, преступно дать себя упросить, нечестиво поддаваться милосердию!»»

Я же, говорит Цицерон, всегда следовал учениям более кротким и гуманным. Поэтому милосердие казалось мне всегда прекраснейшим чувством; я полагал, что есть некоторая разница между проступками; что иногда самый умный человек судит на основании предположения, а порой даже бывает в гневе и раздражении.

Рассказывают, что весь Форум катался со смеху, слушая Цицерона. Катон же, слегка усмехнувшись, сказал:

— Какой шутник у нас консул, господа римляне! (*Plut. Cat. min.*, 21).

Мурена был оправдан.

А между тем под видом шутки в речи в защиту Мурены скрыта глубокая мысль. Катон не только не жесток, но даже не суров. Не это осуждает в нем Цицерон. Ему не нравится неистовый фанатизм Катона. И как всякий фанатик, тот опирается на некое догматическое учение. Причем, если для его изобретателей греков оно было лишь предметом для изящных споров, Катон верил в него слепо, как правоверный мусульманин верит Корану. «Наш высокоталантливый Марк Катон... видел в нем не предмет для диспутов... а мерило для жизни». В заключение Цицерон выражает уверенность, что с годами Катон изменится. «Жизнь, время, зрелый возраст сделают тебя мягче» (*Mig.*, 60; 63–64). Вот в этом он сильно ошибся.

\*

Однако вернемся к событиям 62 года. Итак, в первых числах января Цезарь и Метелл изложили свой законопроект перед сенатом. Отцы были ошеломлены. Катон, тогда народный трибун, поднялся со своего места и стал возражать против предложения. Доводы его были разумны и

убедительны, он ссылался на законы и традицию. Но вскоре он увидел, что противники его даже не слушают. Тогда, как вспоминали потом очевидцы, он страшно побледнел и сказал:

— Пока я жив, Помпей с войсками не войдет в Рим!

В эту минуту многим сенаторам показалось, что Катон явно не в своем уме. В самом деле. Ну что это значит — «пока я жив, Помпей с войсками не войдет в Рим»?! Как не войдет?! Кто ему помешает? Катон один раскидает целую армию, как гомеровские герои? Цезарь и Метелл, разумеется, не обратили на слова Катона ни малейшего внимания. Через несколько дней на Форуме созвано было собрание для утверждения их предложения. В Риме ходили самые мрачные слухи. Говорили, что Метелл и Цезарь прибегнут к насилию, что они не остановятся ни перед чем. Это было очень похоже на правду. Накануне рокового дня поздним вечером друзья собрались у Катона на совещание.

Они по очереди рассказывали, что им удалось узнать. Все известия были самые неутешительные. Совершенно достоверно, что Цезарь нанял вооруженную банду. О сопротивлении нечего и думать. Выслушав все, Катон хладнокровно отвечал: «Завтра утром я отправлюсь на Форум». Все пришли в ужас. Друзья обступили его, брали за руку, еще и еще раз все объясняли; женщины рыдали, визжали и хватали его за одежду. Наконец Катон вырвался от них и, объявив, что пора спать, убежал в свою комнату.

До утра никто в доме не сомкнул глаз. Женщины были в истерике — то они вопили и бились, то кидались на колени и молились. Друзья держали военный совет. Единственный, кто безмятежно спал в эту ночь, был Катон. Разумеется, так они ни до чего не додумались. Между тем пришел рассвет, а вместе с рассветом явился Минуций Терм, другой трибун, восторженный поклонник Катона. Еще накануне они договорились вместе идти на Форум. Терм с большим трудом разбудил друга, который спал сном праведника, и оба трибуна, провожаемые воплями и причитаниями женщин, отправились на Форум.

Сразу было видно, что в городе что-то происходит. Все улицы были запружены народом. Люди с обезображенными ужасом лицами валом валили навстречу Катону и Терму. Людской поток двигался от Форума, и оба трибуна с трудом продвигались против течения. На бегу люди кричали им:

— Назад! Назад! Не ходите туда! Там ужас!

Катон схватил за руку Терма и, не обращая ни на что внимания, тащил его вперед, продираясь сквозь толпу. Наконец они добрались до Форума. Тут взорам их предстала поистине странная картина.

Посреди площади высился древний храм Кастора, расположенный на очень высоком подиуме. В храм вела широкая лестница. Сейчас храм был оцеплен отрядами вооруженных до зубов гладиаторов, нанятых Цезарем. На каждой ступени стояли вооруженные люди. А на самом верху сидели Цезарь и Метелл. Друзья, бежавшие со всех ног за трибунами, невольно попятнулись. Но Катона трудно было смутить. Он взглянул вверх, покачал головой и сказал:

— Наглый трус! Вы только посмотрите, какое войско он набрал против одного, к тому же совершенно безоружного человека!

С этими словами он решительно подошел к гладиаторам и велел пропустить его как трибуна. Они посторонились и пропустили, но только одного Катона, он «едва сумел втащить за собой Минуция, схватив его за руку». Вооруженные ряды тут же снова сомкнулись, и друзья вместе с собравшимся народом оказались по другую сторону живого заграждения. Затаив дыхание, они следили за обоими смельчаками. А Катон подошел к лестнице, взбежал наверх и преспокойно уселся между Метеллом и Цезарем. Толпа смотрела на происходящее, словно на захватывающий спектакль, как будто Катон вышел на арену с разъяренными львами. Когда Катон сел, все зааплодировали.

Метелл велел секретарю огласить текст закона. Секретарь развернул свиток, но только он открыл рот, как Катон закричал: «Вето!» Это магическое слово в устах народного трибуна. Чуть только он его произнесет, все мгновенно должно остановиться. Секретарь замолк. Метелл взял у него текст и начал читать сам. Но Катон с быстротой и ловкостью выхватил у него из рук свиток. Метелл, знавший закон наизусть, начал говорить по памяти. Катон зажал ему рот рукой<sup>[47]</sup>. И тогда Метелл и Цезарь дали знак гладиаторам и они бросились на Катона.

В этот момент мимо Форума проходил консул Мурена, тот самый, которого несколько месяцев назад привлекал к суду Катон. Мурена был горячим поклонником Катона. Он был опытный воин. Увидев, в какой смертельной опасности его обвинитель, он ринулся на помощь. Отталкивая гладиаторов и громко крича, что он консул, Мурена прорвался на площадь, ринулся в самую гущу битвы и выволок из свалки Катона, едва живого и оглушенного. Прикрывая его своим телом и защищая от ударов, он втащил его в храм Кастора.

Поле битвы осталось за доблестными законодателями. Метелл велел скорее принести урны и призвал народ свободно подавать голоса. Но вдруг толпа построилась в боевой порядок и с ликующим боевым кличем ворвалась на Форум. Гладиаторы, не разглядев, что перед ними безоружные

люди, бросились наутек. Цезарь и Метелл отступили с арьергардными боями. К этому времени Катон пришел в себя. Слегка пошатываясь, он вышел из храма, поднялся на Ростры и сказал, что если римляне и впредь будут тверды, то сокрушат любое зло (*Plut. Cat. min.*, 28–29). Народ в восторге слушал его. Но они торжествовали раньше времени.

### **Трехглавое чудовище**

В бешенстве, с искаженным злобой лицом поднялся Метелл на трибуну. Он закричал, что это заговор против Помпея, что Катон — тиран и насильник, и Рим, оскорбивший великого человека, очень скоро об этом пожалеет. Страшная угроза слышалась в его словах. После этого Метелл немедленно отбыл к Помпею (*Plut. Cat. min.*, 29). Что до Цезаря, он не был ни разгневан, ни раздосадован, ни даже особенно огорчен. В самом деле. Он достиг своей цели — поссорил Помпея с партией честных людей и показал, что сделал все, что в человеческих силах, чтобы добиться его диктатуры. Теперь он спокойно ждал. Вероятно, в душе он смеялся, глядя на бессмысленную радость всех этих глупцов. Они ликовали, провалив закон Метелла! А между тем Помпей с колоссальным войском медленно и неотвратно двигался на Рим и не было силы, способной его остановить. А когда этот «ученик Суллы», как его называли, вступит в город по примеру своего учителя, первая голова, которая ляжет на Рострах, будет голова Катона<sup>[78]</sup>.

Вскоре Рим почувствовал, что его ожидает. Надвигался мрак. Город охватила паника. Многие люди со своими семьями бежали из города. И тут-то пришло вдруг письмо от виновника всего этого ужаса Помпея. Он вежливо приветствовал отцов, докладывал, что война окончена, он уже распустил свою армию и теперь почтительно просил разрешения въехать в город с триумфом. Все остолбенели. Оказывается, все, что внушил им Цезарь, все, во что они успели поверить, было ложью. Не собирался Помпей захватывать Рим, не собирался устанавливать военную диктатуру! Нечего и говорить, что триумф тотчас с радостью был разрешен.

Наконец великий человек во всем блеске и великолепии вступил в город. Рим был избалован подобными зрелищами. Но Помпей все-таки поразил всех. Никогда еще, кажется, столица не видала такого пышного зрелища. Тысячи повозок, груженных золотом, серебром и драгоценностями, двигались по улицам. Несли таблицы, где говорилось, что полководец завоевал 900 городов, 14 стран и победил двадцать двух

царей. Целые толпы пленных владык шли в триумфальной процессии. А сам победитель ехал на золотой колеснице, украшенной жемчугом, в хитоне самого Александра Македонского<sup>[79]</sup>, который он вывез с Востока. Рим ликовал. Помпей сиял. Празднествам и торжествам не было конца.

Но вот закончился триумф. Закончились праздники. И Великий Помпей стал частным человеком. Как ни странно это звучит, казалось, что Помпей растерян, что он никак не может понять своего положения и свыкнуться с новой ролью. Сенат считал, что он говорит нестерпимо высокомерным тоном, держит себя как владыка и, очевидно, воображает себя некоронованным королем. И сенат поспешил вывести героя из этого приятного заблуждения. Пожалуй, они сделали это резче, чем было нужно. Многие потом говорили, что лучше было бы тогда польстить падкому на похвалы Помпею, приручить его и сделать другом сенату. Но увы! Отцы находились тогда всецело под обаянием Катона, а он настаивал, чтобы Помпея разом сбросили с небес на землю. Помпей попытался было расположить к себе самого непримиримого своего врага, Катона. Через общих друзей он сообщил, что намерен посвататься к его дочери или племяннице. Помпей тогда был страшно популярен — легко сказать, новый Александр, великий завоеватель! Кроме того, в Риме он имел славу Дон-Жуана, неотразимого покорителя женских сердец. Вот почему женщины Катона были в восторге и чуть не визжали от радости. Но Катон разом прекратил эти восторги. Он велел передать, что Помпею не пробраться к нему через его гинекей<sup>[80]</sup>. Если он будет вести себя как честный человек, он, Катон, и без того будет его другом, а родства с ним он не хочет. Друзья ахнули, услышав такой дерзкий ответ, женщины запричитали, но Катон остался непреклонен. Вскоре, однако, стало известно, что на выборах Помпей дал взятку, чтобы провести угодного ему кандидата. Катон сказал тогда своим женщинам:

— Вот в каких делах должны соучаствовать и нести свою долю позора те, кто связан с Помпеем.

Пристыженные женщины примолкли (*Plut. Cat. Min.*, 30).

Между тем великий человек был обескуражен столь холодным приемом. Кроме всего прочего он надавал своим ветеранам обещаний, несколько необдуманных. А сенат, вместо того чтобы вникнуть в его положение, сухо отказал ему. Он не знал, что делать. Вот тут-то и явился к нему Цезарь.

Цезарь и Помпей никогда не были друзьями. Напротив. Они принадлежали к враждебным лагерям. Помпей происходил из незнатного

захудалого рода. Он был сыном одного офицера и буквально вырос в военном лагере. Во всех военных упражнениях он был всегда первым — лучше всех метал копье, дальше всех прыгал. Он умел обходиться с солдатами и любил походную жизнь. И солдаты любили его. В 18 лет он уже командовал армией. Когда началась война между Марием и Суллой, он встал на сторону последнего. Его победы были замечательны, военные таланты разительны.

Вскоре он стал правой рукой всесильного диктатора. Он достиг сразу какой-то головокружительной славы. Сам старый диктатор вставал и обнажал голову, когда этот мальчишка Помпей входил в театр. По приказу диктатора Помпей подавлял восстания и разбивал армии. Он дошел до такого унижения, что, когда Сулла, желая крепче привязать его к себе, велел развестись немедленно с женой и жениться на родственнице самого Суллы, Помпей, не возразив ни слова, исполнил неслыханный приказ и выгнал из дому беременную жену. Но и его покорность имела предел. Когда Сулла вздумал было запретить ему триумф, — о! — тут Помпей показал свои когти. Он бросил в лицо старому диктатору гордые слова:

— Больше народов поклоняются восходящему солнцу, чем заходящему!

Сулла разом понял, кто из них восходящее, кто заходящее солнце, и смирился.

Когда Сулла умер, взбешенный народ хотел столкнуть тело тирана с погребального ложа, но Помпей бросился между ними, удержал их и «добился погребальных почестей для умершего» (*Plut. Pomp.*, 9; 14–15).

Помпей был кумиром солдат и римской черни. Он имел славу лучшего полководца. Он всегда поражал Рим невиданными зрелищами. И потом к чести его надо сказать, что этот помощник кровавого Суллы был совсем не кровожаден, напротив, мягок и великодушен. Все это покорило сердца квиритов.

Совсем другой человек был Цезарь. Потомок знатнейшего патрицианского рода, происходящий по прямой линии от самого Энея, он совсем юным кинулся очертя голову в водоворот гражданских смут и сразу же примкнул к самым крайним демократам. Он сделался марианцем. Рассказывают, что престарелый Сулла, глядя на него, произнес пророческие слова:

— В этом мальчишке много Мариев! (*Plut. Caes.*, 1).

Он бежал из Рима и вернулся только после смерти Суллы. Имя Мария было тогда под запретом. И вот однажды Цезарь выставил на Форуме изображение Мария и громко заговорил о его великой славе, о его

подвигах. Таким образом, если Помпей добился для Суллы почетного погребения, Цезарь «как бы вернул Мария из преисподней» (*Plut. Caes.*, 5).

Цезарь стал вождем демократов. И к этому у него были все данные. «Искушенный в мастерстве красноречия и склонный скорее раздуть любую смуту в государстве, чем дать ей погаснуть — ибо в переворотах и смутах он видел благоприятную почву для собственных замыслов», он с неподражаемым искусством умел управлять толпой (*Plut, Cat. Min.*, 32). Этот человек выделялся яркими талантами. «Прекрасный оратор и искусный политик, не останавливающийся ни перед чем, питавший большие надежды на будущее, не по средствам щедрый, когда вопрос касался его честолюбия, он... был чрезвычайно популярен» (*App. B.C.*, II, I). Жил он на широкую ногу и ни в чем себе не отказывал. При этом он, с одной стороны, следовал своим естественным наклонностям — только такая жизнь и казалась ему настоящей; с другой — никогда не забывал о своей всегдашней цели — власти. А «его обеды, пиры, вообще блестящий образ жизни содействовали постепенному росту его влияния в государстве», говорит Плутарх, а Аппиан поясняет: «...так как народ всегда хвалит щедрых людей» (*Ibid.*, II, 1). Он умел ослепить народ блестящими празднествами, не уступавшими Помпеевым. Однажды, например, он выставил на арене 320 пар гладиаторов — в то время вещь неслыханная! — и они буквально сияли своим драгоценным вооружением (*Plut. Caes.*, 4–5).

Цезарь принадлежал к числу золотой молодежи даже сейчас, когда ему было уже за сорок. Он не знал обременительных семейных обязанностей, одевался всегда с иголки, был моден, изящен и элегантен; его любовные похождения гремели на весь Рим, и даже в сенате ему передавали записки от любовниц. Говорят, многих это сбивало с толку и они не принимали Цезаря всерьез, считая его просто легкомысленным фатом. Один только Цицерон, глядя на него, чувствовал, что у него сжимается сердце от странной тревоги. «Но, — прибавлял он, — когда я вижу, как тщательно уложены его волосы, как он почесывает голову одним пальцем, мне кажется, этот человек не может замышлять такое преступление, как ниспровержение римского государственного строя» (*Ibid.*). Пожалуй, здесь следует объяснить, почему Цезарь «почесывал голову одним пальцем». Дело в том, что он причесывался у самых дорогих, самых модных куаферов. Его прическа представляла собой шедевр, произведение искусства. Мог ли он испортить ее, смять, грубо почесавшись всей рукой? Нет, конечно. После парикмахера он осмеливался только осторожно коснуться головы самым кончиком пальца. И этот-то жест, жест записного франта, сбивал всех с толку.

Цезарь тратил ежедневно уйму денег. Значит, он был баснословно богат? Чему же в таком случае равнялось его состояние? Оно равнялось поистине огромной отрицательной величине. «Он завяз по уши в долгах», — пишет Аппиан<sup>[81]</sup> (*App. B.C., II, 1; Plut. ibid.*). Кредиторы буквально схватили его за горло. Об этом говорит один поразительный факт. В 62 году он был претором. И в конце года собирался поехать в назначенную ему провинцией Испанию. И что же? Кредиторы вцепились в него и не выпускали его — магистрата римского народа, имевшего официальное назначение! — из города. Спас его Красс. Он — в который уже раз! — уплатил его долги и поручился за него своим именем. Цезарь уехал.

Имя Красса уже неоднократно встречалось в нашей книге. Кем же был этот таинственный человек, которого в Риме считали двигателем и скрытой пружиной всех смут последнего времени? Красс был мультимиллионером, самым богатым человеком Рима. То был старый сулланец. Нажил он свои колоссальные богатства самыми гнусными способами. Он участвовал в проскрипциях и в аферах столь грязных, что даже Сулла, не отличавшийся особой брезгливостью, испытывал к нему отвращение (*Plut. Cras., 6–7*). Цицерон говорит, что Красс начисто был лишен всякого чувства чести и всяких моральных принципов. Он готов был плясать, завладев несправедливо деньгами. Он готов был унижаться и лебезить перед всяким, лишь бы сделать карьеру. При всем том Красс был глубоко несчастен. Трагедия его заключалась в следующем. Он был сказочно богат. Богатства его были огромны, несметны. Он хвалился ими и смеялся над нищими, которые думают решать судьбы Рима. Политиком может быть лишь тот, кто имеет достаточно денег, чтобы содержать армию, говорил он (*De off., III, 75; I, 109; 20*). Однако хотя в тогдашнем Риме деньги играли большую роль, все-таки первенства они не давали. И вот он, первый богач Рима, обречен был всю жизнь быть на вторых ролях. Поэтому он жгуче завидовал. Больше всего Помпею и Цицерону, царям Форума и бранного поля. Он люто ненавидел их, вредил им, но увы! Не было у него ни военных талантов, ни особого красноречия. Наконец, после многих неудачных попыток он решил, что, если он не может купить за деньги власть в Республике, ничто не мешает ему купить какого-нибудь ловкого политика, который и будет его послушным орудием. Выбор свой он остановил на Цезаре. Видимо, потому, что тот был весь опутан долгами. Красс выкупил его и, как он полагал, завладел его телом и душой. Вместе они и образовали генеральный штаб революции. В Риме говорили, что в грядущем перевороте Крассу назначается роль диктатора, а Цезарю — его ближайшего помощника.

Итак, Цезарь явился к Помпею и предложил союз. Они трое должны

завладеть властью. Кажется, Помпей был смущен. Цезаря он никогда не считал другом. Красс же всегда был ему противен, ибо он еще не утратил привычек порядочного человека. Однако другого пути Помпей не видел. Он воевал всю жизнь и совершенно отвык от мирной жизни. Он забыл свою родину, ее законы и обычаи. Забыл настолько, что Варрон по его просьбе составил для него шпаргалку, где сказано было, как надо созывать сенат, какие вопросы можно обсуждать, как проводить голосование и т. д. Оказывается, Помпей не знал даже этого. В Риме он чувствовал себя так же неловко и неуверенно, как моряк на берегу. Притом, если первое время его носили на руках, то теперь стали поостывать. Способствовал этому он сам. Он был надутым, холодным, чванным, неприветливым. «Высокомерие Помпея и его недоступность в обращении», говорит Плутарх, отталкивали всех. Все стали говорить, что для его популярности полезно почаще уезжать: во-первых, там, на чужбине, он совершает великие подвиги, во-вторых, его не видят (*Plut. Cras.*, 7). Словом, он растерялся и принял предложение Цезаря.

Так заключен был так называемый триумвират, союз трех. В этом союзе Помпей был мечом — сотни тысяч ветеранов в разных частях света готовы были подняться по первому его зову. Красс — олицетворенным денежным мешком, Цезарь — мозгом и языком. А нет силы страшнее армии, денег и демагогии, поэтому «эти три лица обладали вместе всемогуществом, — говорит Аппиан. — Историк Варрон, описавший их соглашение в книге, дал ей название *Трехглавое чудовище*» (*App. B.C.*, II, 9). Союз закреплен был браками, которые в Риме ядовито называли династическими, намекая на браки между царями. Помпей только что разошелся с очередной женой, так как она открыто была любовницей Цезаря и его клеветы Мамурры. Теперь Цезарь женил его на своей единственной дочери, совсем молоденькой Юлии. Брак был заключен несмотря на то, что у Юлии был жених, некий Цепион. Помолвку расторгли, а Цепиону, чтобы утешить, отдали в жены дочь Помпея, тоже уже с кем-то обрученную. Катон тогда в негодовании кричал, что эти люди добиваются власти сводничеством (*Plut. Caes.*, 14). Решено было, что консулом 59 года будет Цезарь. Он обязуется провести законы в пользу ветеранов Помпея.

«Консульство Цезаря было годом организованного насилия. На Форуме царили вооруженные и подкупленные банды...» — писал крупнейший русский антиковед М. И. Ростовцев<sup>[48]</sup>. Люди Цезаря приходили на Форум «со спрятанными под одежду короткими мечами» (*App. B.C.*, II, 10). Стало ясно, что 62 год был генеральной репетицией 59-

го. Форум был захвачен. Сенат Цезарь почти не собирал, а в те редкие разы, когда все-таки созывал отцов, спрашивал мнение одного Красса (*Cell.*, IV, 10). Предложены законы были следующим образом. Форум занят был вооруженными людьми. Цезарь поднялся на Ростры и, «поставив с одной стороны Помпея, с другой — Красса, спросил, одобряют ли они предложенные законы». Они не только одобрили, но заявили, что, если понадобится, будут добиваться их силой. А Помпей прибавил, что возьмет не только щит, но и меч (*Plut. Caes.*, 14).

Вторым консулом был некий Бибул. Человек это был горячий, зять Катона и его пылкий подражатель. Услышав, как нагло попирают законы, он кинулся на Форум и хотел произнести против Цезаря речь. Но на него бросились. На голову ему вывалили корзину с навозом. «Люди, вооруженные кинжалами, ломали фасции и знаки консульского достоинства Бибула, некоторые из окружавших его трибунов были ранены. Бибул, не смущаясь этим, обнажил шею и призывал друзей Цезаря скорее приниматься за дело.

— Если я не могу убедить Цезаря поступать законно, — кричал он, — то своей смертью навлеку на него тяжкий грех и преступление!

Друзья отвели его насильно в расположенный поблизости храм Юпитера Статора... Катон, как юноша, бросился в середину толпы и стал держать речь к народу. Но сторонники Цезаря подняли его на руки и вынесли с Форума. Тогда Катон вернулся другой дорогой, снова взбежал на трибуну и, так как говорить было бесполезно... грубо кричал на Цезаря, пока его снова не подняли на руки и не выбросили с Форума». Через минуту он снова очутился на площади. Но тут дождем полетели камни и дротики. «Многие были ранены, остальные опрометью бежали с Форума. Последним уходил Катон — медленным шагом, то и дело оборачиваясь и призывая сограждан в свидетели» (*App. B.C.*, II, 11; *Plut. Cat. min.*, 32; *Sen. Luc.*, XIV, 13).

После этого Цезарь потребовал под страхом смерти, чтобы все дали клятву соблюдать его законы. Поклялись все. Разумеется, кроме Катона. Друзья пришли в ужас, они убеждали его до хрипа; «вся женская половина дома, проливая обильные слезы, молила Катона уступить и принести клятву», но Катон был неумолим. Убедил его в конце концов не кто иной, как Цицерон. Как опытный адвокат, он разом понял, как надо действовать. Чем больше говоришь Катону о грозящей опасности, тем упрямее он рвется в бой. Поэтому Цицерон заговорил совсем по-другому. Неужели же, сказал он, Катон хочет идти на смерть и бросить Республику, которой он сейчас так нужен? Мало того. Он нужен самому Цицерону. Ему угрожает

опасность, и спасти его может один Катон. Это был веский довод. Катон уступил (*Plut. Cat. min*, 33).

Цезарь же продолжал действовать. Когда он выступил в сенате, неожиданно встал Катон и начал говорить. Он говорил и говорил, и стало ясно, что он хочет прибегнуть к своему любимому приему, обструкции. И тут к всеобщему изумлению Цезарь позвал ликтора и велел отвести Катона в тюрьму. Такое наглое попрание законов всех поразило. Ликтор грубо схватил Катона и потащил его вон. Катон ничуть не смутился. Как ни в чем не бывало он продолжал говорить. Сенаторы молча встали и также молча последовали за Катоном. Они шли через Форум. Зрелище это привлекло внимание. Сбежался народ. Катона обступили. Прибывали все новые и новые люди. Вскоре вокруг собралась уже огромная толпа. Все слушали, боясь упустить хотя бы слово. Все это странное шествие было уже у порога тюрьмы. Цезарь был раздосадован. Он приказал отпустить Катона (*Atteius Capito a. Gell*, IV, 10; *Plut. Cat. min*, 32).

В городе хозяйничали вооруженные банды. «Сенаторы не могли противопоставить ничего равного силе и подготовленности Цезаря», — говорит Аппиан (*App. B.C.*, II, 11). Стали бояться терактов. Бибул до конца своего консульства не решался выйти из дома. Однажды Цезарь против обыкновения созвал зачем-то сенат. Войдя, он увидал, что Курия пуста. На скамье сидел только один древний старик.

— Где же остальные? — спросил консул.

— Они боятся, — был ответ.

— А ты?

— Меня освобождает от страха моя старость, — спокойно отвечал сенатор (*Plut. Caes.*, 14).

### **Трехглавое чудовище**

### **(Продолжение)**

В этот-то ад гражданских смут брошен был наш герой. «Вот по каким волнам я ношусь», — писал он Аггику (*Att.*, 1, 18, 8). Но все по порядку.

После бурных событий 62 года у Цицерона началась обычная для него депрессия. Он хандрил, тосковал и жаловался Аттику, что его никто не любит. «Я покинут всеми и нахожу утешение только в обществе жены, дочурки и прелестного Цицерона (то есть сына, которому было четыре с

половиной года. — Т. Б.)», — писал он в начале 60 года. Впрочем, из дальнейших слов выясняется, что оратор нисколько не покинут, дом его с утра до вечера полон народу и он, напротив, страдает оттого, что его ни на минуту не оставляют в покое. Но все это не то, не то, говорит он. «Эта показная дружба, словно покрытая слоем позолоты, дает нам, конечно, определенный блеск на Форуме, но дома от нее никакой радости. Когда утром мой дом переполнен людьми, когда я затем спускаюсь на Форум, окруженный густой толпой друзей, во всей этой толпе я не могу найти ни одной родной души, никого, с кем я мог бы запросто пошутить или вместе повздыхать» (*Att, I, 18, I*).

А между тем темные тучи вновь собрались над Римом. Цицерон почувствовал это первым. Он привык улавливать малейшую смену настроений у слушателей, нервы его были всегда напряжены до предела, как слишком натянутая струна. И его бесило самодовольное спокойствие окружающих. «Эти болваны воображают, что их рыбные садки уцелеют после гибели государства», — в сердцах писал он Аттику (*Att., 1, 18, 6*). В декабре 60 года он сообщает другу, что надвигаются грозные события. То были уже не предчувствия. Он узнал обо всем, причем из самого верного источника — от самого Цезаря. Тот писал, что заключил союз с Помпеем и Крассом; сделал он это, по его словам, чтобы спасти Рим, иначе непременно вспыхнула бы гражданская война. Но сейчас он в мучительных сомнениях, ему нужен совет. И единственный человек, который может такой совет дать, это Цицерон. И далее следовали самые приятные, самые лестные комплименты оратору. В заключение он предлагал Цицерону быть в их союзе четвертым. Расчет его был ясен. Он знал, как чувствителен к похвалам великий консуляр, и не сомневался, что тот попадет на золотой крючок лести. Но все-таки он плохо понимал Цицерона. Странное дело. С одной стороны, лесть всегда доставляла ему огромное удовольствие и слова Цезаря были ему чрезвычайно приятны. С другой — он видел собеседника насквозь. Видел сейчас и Цезаря. Цицерон словно состоял из двух людей — один был тщеславен и доверчив, другой всегда видел ошибки и промахи первого и зло над ним подшучивал.

Но все-таки предложения Цезаря произвели на него сильное впечатление. Он знал, что надвигается смута. А если я приму их, рассуждал он, меня ждет спокойная старость. Все это так заманчиво. Но боюсь, заключает он, что для меня все соблазны, все доводы рассудка перевесит мысль, так хорошо выраженная Гомером: «*Знаменье лучшее всех — лишь одно: за отчизну сражаться*»<sup>[49]</sup> (*Att., II, 3, 3–4*). Так без всякой аффектации, без пафоса и пышных фраз, с легкой насмешкой над собой

Цицерон решился на отчаянный риск. Он отверг предложения Цезаря и остался ждать приближающейся бури. Увы! Он даже приблизительно не представлял, какой чудовищный ураган обрушится на Рим.

Когда же началось консульство Цезаря, когда по улицам ходили вооруженные до зубов головорезы, когда Катон, обливаясь кровью, кидался в толпу бандитов, Цицерон почувствовал ужас. Рим преобразился. Откуда-то из глубины выползла на поверхность вся та нечисть, которая прежде пряталась где-то по углам. Цезарь, говорит Плутарх, «возбуждал главным образом пораженные недугом растленные слои общества» (*Plut. Cat. Min.*, 26). Верный цезарианец Саллюстий писал впоследствии, что трудность положения его патрона заключалась в том, что приспешники его — все люди бесчестные, часто это неоплатные должники, а встречаются и бандиты (*Ep.*, I, 5–6). Воры, казнокрады, городские подонки гордо подняли голову, чувствуя себя хозяевами жизни.

В романе «Бесы» Достоевский писал: «Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а только выражая собой изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которая действует с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно»<sup>[50]</sup>. Такой «малой кучкой «передовых»», командующих всей «этой сволочью», были в данном случае триумвиры. Цицерон не способен был действовать, как Катон. Но жить в этом аду тоже не мог. В апреле 59 года он покинул Рим.

Поначалу он поселился в Анциуме, маленьком латинском городке на берегу моря. Городок привел его в восторг. Здесь на его душу сошло блаженство. Он пишет Аттику: «Так близко от Рима есть место, где многие никогда не видали Ватиния... Никто меня здесь не мучит, но все любят. Вот здесь и нужно заниматься политикой. А там — не только не нужно, а просто противно... Моя политика сводится к тому, что я ненавижу мерзавцев, притом без всякой горечи, скорее даже я испытываю определенное наслаждение писателя» (*Cic. Att.*, II, 6). Этот Ватиний, которого не видели в Анциуме, был видный цезарианец, трибун этого года. Отъявленный мошенник и взяточник с внешностью театрального злодея — безобразный, с невероятно толстой раздутой зобом шеей.

Теперь, писал Цицерон, он навеки распрощался с Римом и политикой. Остаток дней проведет он тут, на лоне природы, в тишине и покое. О столице он совсем забыл. Начал было расспрашивать, что там происходит, но тут же прервал себя: «Зачем я вспоминаю о том, что страстно хочу

забыть» (*Att.*, II, 5). Да, он хочет забыть всю эту подлость, всю эту грязь. «Меня принудили сойти с корабля, причем я не выпустил руль — его вырвали у меня из рук силой. Теперь я хотел бы наблюдать их крушение, находясь на суше» (*Ibid.*, 7). Себя он посвятит литературе и философии. «Я должен был сделать это с самого начала. Теперь же, испытав то поприще, которое раньше казалось мне столь блистательным, я понял, что все это суета» (*Ibid.*, 5). Отныне «я буду наслаждаться обществом муз» (*Ibid.*, 4).

Он обложился книгами. Но с писанием у него не ладилось. На него напала вдруг какая-то размаривающая, блаженная лень. «Я до такой степени предался безделью, что просто не в силах от него освободиться. Я или наслаждаюсь чтением книг... или считаю волны... Писать не тянет... Словом, я готов ухватиться за любой предлог, лишь бы побездельничать» (*Ibid.*, 6).

Цицерон думал пожить отшельником — только в обществе муз и своей семьи. Но не тут-то было! «У меня не вилла, а базарная площадь», — жалуется он Аттику. С утра в его доме толпится чуть ли не весь городок. «Гай Аррий, мой ближайший сосед, а сейчас, можно сказать, и сожитель. Он говорит, что не едет в Рим, чтобы целый день философствовать здесь со мной. А с другой стороны — Себос. Куда деваться?» (*Ibid.*, 14). «Только я написал эти строки, входит Себос. Не успел я вздохнуть, а уже Аррий говорит мне: «Привет!» И это значит уехать из Рима! Право же, побегу в родные горы» (*Ibid.*, 15).

В то время как наш анахорет уверял себя и других, что ему и дела нет до Рима, что он его забыл, он получил новое и весьма интересное предложение от Цезаря. Тот предлагал ему поехать послом в Александрию. Таким образом, он сможет спокойно переждать бурю, уехав из Рима под самым благовидным предлогом. И потом «я хочу, очень давно хочу увидеть Александрию», — говорит Цицерон. Казалось бы, он должен ухватиться за это предложение — все равно он решил, по его словам, оставить Рим. «Но, с другой стороны, ведь посылают-то *эти люди* и, как говорит Гомер:

Я бы стыдился троянцев и длинноодежных троянок.

Что скажут наши оптиматы, если они еще есть?.. «*Первый же Пулидамант мне поставит в упрек*», — наш знаменитый Катон, который для меня один стоит ста тысяч. Что скажет обо мне история через 600 лет? Право, я боюсь этого гораздо больше, чем сплетен современников». Стихи, приведенные Цицероном, весьма знаменательны. Это слова Гектора,

защитника Трои. Положение его безнадежно, он знает, что скоро ахейцы разрушат его родной город, перережут мужчин, а женщин угонят в рабство. Но долг велит ему защищать безнадежное дело. И первый стих — это ответ его жене, которая умоляет побережь себя. Второй же стих — его слова, когда он идет на последний бой с Ахиллесом — бой, с которого ему не суждено вернуться. Итак, Цицерон отклонил предложение (*Att.*, II, 5).

Но скоро наш отшельник заскучал. Сельская жизнь уже его не чаровала. «Мне кажется, я в ссылке», — жалобно говорит он Аттику. Он стал интересоваться государственными делами, о которых раньше и слышать не хотел. Если долго не было писем, он даже останавливал прохожих и расспрашивал, что происходит в Риме (*Ibid.*, II). Летом он сбежал из своего рая и появился в столице. Его встретили бурей восторга. Ничего подобного он не ожидал. «Мой дом полон народу, все бегут ко мне навстречу, воскресла память о моем консульстве, все выражают мне горячую симпатию» (*Ibid.*, 22). Однако он решил по-прежнему чуждаться политики, которой сейчас ни один честный человек не может заниматься, не замаравшись в грязи. И он погрузился в судебные дела. Занят он был по горло. В конце лета он пишет Аттику: «Ты, по-моему, первый раз будешь читать мое письмо, написанное не моей рукой. Из этого ты можешь догадаться, как я занят. Ведь это письмо я продиктовал во время прогулки. У меня нет ни минуты свободной, а гулять мне предписали для восстановления моего бедного голоса» (*Ibid.*, 22).

Всеобщее восхищение, вид Форума, встреча со старыми друзьями, а главное, любимая работа — все это привело нашего героя в такое приятное возбуждение, что он почти забыл, в каком положении находится Республика. Но вскоре истина открылась ему во всей своей ужасной наготы. Вот его записи того времени. «Все погибло. Положение еще более страшное» (*Ibid.*, 21). «Наверно, я слеп и слишком люблю прекрасное. Знай, никогда не было столь позорного, столь подлого, столь ненавистного равно всем людям, сословиям, возрастам положения, как у нас сейчас» (*Ibid.*, 19). Раньше я думал, продолжает он, что это власть, хотя в высшей степени неприятная, но зато угодная толпе, то есть демократическая. А раз так, остается смириться и терпеть все прелести демократии. Но оказывается, народ ненавидит правительство так же страстно, как и честные люди. «Ведь если досадовали на власть сената, то, как ты думаешь, что будет, если ее передали не народу, а трем не знающим удержу людям» (*Ibid.*, 9; 21). Сейчас положение такое. Все кипит ненавистью к триумвирам. Ненависть эта клокочет, брызжет, переливается через край. Но ужас в том, что сделать ничего нельзя и вся эта ярость напоминает ярость

узника, который с проклятиями бьется головой о решетку. Беспросветная мгла. Ни проблеска надежды. «Все кругом полно отчаяния» (*Ibid.*, 18; 13). «Что касается государственных дел, то мне не о чем тебе писать, кроме как о всеобщей жгучей ненависти к тем, кто держит власть в своих руках, но на перемены никаких надежд» (*Ibid.*, 22).

Однажды, рассказывает Цицерон, он шел через площадь. Вдруг он видит толпы народа, которые загрохотали все кругом, так что невозможно пройти. Недоумевая, что бы это могло значить, он стал протискиваться сквозь толпу. Тут он понял, что все пытаются пробиться в какой-то один угол. Присмотрелся — и что же? Там висит официальная бумага, консульский эдикт. Что такое? Почему столько народу сгрудилось вокруг этого эдикта? Но этого мало. Люди жадно читают. Некоторые читают вслух. Все покатываются от хохота. А протолкавшись наконец вперед, каждый выхватывает стиль, таблички и принимается прилежно переписывать документ. Что за странность! Но когда очередь дошла до Цицерона и он начал читать, он мигом все понял. Запертый в своем доме Бибул чуть не ежедневно выпускал эдикты. То были удивительные документы. Нечто среднее между памфлетом и нашим политическим анекдотом. Причем анекдотом, как говорится, «не для дам». Цезарь и Помпей высмеивались в них удивительно метко и хлестко. Эти эдикты стали в Риме бестселлерами. Их переписывали, читали на вечеринках, отсылали друзьям в провинции. Вообще Бибул сделался национальным героем. «Он вознесен на небо, за что, не знаю», — саркастически замечает Цицерон, не разделявший этого всеобщего повального увлечения (*Att.*, II, 19; 21).

Вскоре Цицерон получил второй поразительный урок. В то время, то есть в июле месяце, праздновали игры в честь Аполлона. Сопровождались они по обычаю большими театральными представлениями. Цицерон, как страстный театрал, конечно, отправился на игры. Но он с изумлением увидел, что не сможет любоваться красотами искусства — здесь происходит спектакль совсем другого рода. Главный актер стоял на сцене и произносил страстный монолог. Но вовсе не о Трое или Ахиллесе. Нет. Он громил Помпея Великого. «Ты велик лишь нашими несчастьями!» — восклицал он. Затем он заговорил о триумвирах. «Если вас не сдерживают ни законы, ни обычаи...» Необычайное искусство артиста заключалось в том, что он действительно брал всем известные слова из пьесы и так ловко их переделывал, что они теперь прямо говорили о Цезаре и Помпее. Это было еще злее и смешнее, чем если бы он выдумывал свой монолог сам.

Зрительный зал неистовствовал. Все кричали, аплодировали и

вызывали дерзкого актера на бис. Вдруг весь этот дикий шум разом стих. В театр входил Цезарь. Его встретили гробовым молчанием, чтобы он чего доброго не вообразил, что хлопают ему. Но через минуту все опять кричали и аплодировали — появился Курион, молодой повеса, который недавно осмеливался публично поносить триумвиров. «Наши демократы научили свистеть самых тихих людей» (*Att., II, 19*). Вообще, чем тяжелее становился политический гнет, тем больше развязывались у всех языки. В кружках и на вечеринках изощрялись в остроумии по адресу правительства (*Att., II, 18*). Колкие эпиграммы и анекдоты мгновенно облетали весь Рим. «Сейчас самое популярное — это ненависть к демократам» (*Att., II, 20*).

Конечно, Цицерон повидал и Помпея. Тот произвел на него самое тяжелое впечатление. Когда Помпей только приехал, он буквально пыжился от гордости. Цицерон нашел, что повоевав с восточными царями, он сам превратился в маленького восточного царька. «Боги, какой болван! В любви к самому себе у него нет соперника» (*Q.fr., III, 6*). И он тут же окрестил его Сампсикерамом. Так звали одного мелкого царька, разбитого Помпеем. Это имя показалось Цицерону таким напыщенным, таким величавым, таким неуклюжим, что как раз подходило к самодовольному победителю. А самое забавное, что владелец этого длиннейшего имени был правителем кукольного королевства. Вот почему это прозвище прочно пристало к Помпею.

Но, Боже мой, как изменился за несколько месяцев Сампсикерам! Куда девалась прежняя самоуверенность! Он был как побитая собака. Ведь он с детства привык слышать одни только панегирики и славословия. Его обожали, его носили на руках. А тут вдруг на Форуме, на сцене, в личных беседах стали обливать грязью. На каждом углу висели знаменитые эдикты Бибула. Глядя на них, он буквально чах на глазах (*Att., II, 20; 21*). Цицерон описывает его выступление перед народом. «Он, который с таким великолепием красовался на этом месте, окруженный горячей любовью народа, пожиная всеобщие восторги, — как он был унижен, как подавлен! Он перестал нравиться даже самому себе, что уж говорить о других... Казалось, он упал со звезд на землю» (*Att., II, 21*).

Это зрелище пробудило в Цицероне двойственное чувство. «Ты знаешь, — пишет он со страшной откровенностью Аттику, — есть во мне эдакая тщеславная жилка, я совсем не чужд честолюбия (ведь хорошо, когда человек сознает свои грехи). Поэтому я испытывал некоторое удовольствие. Ведь часто меня язвила мысль, а вдруг через 600 лет заслуги Сампсикерама перед отечеством поставят выше моих. Но сейчас это пустые страхи. Ведь он пал так низко!» (*Att., II, 17*). Согласитесь,

удивительное признание! Но следующее признание еще удивительнее.

«Как я слаб духом — не мог удержаться от слез, видя... как он выступал перед народом». Почему же он так огорчился? Потому что все-таки Помпей был великим полководцем и Цицерону больно было видеть его унижение? Или, может быть, потому, что он возлагал на Помпея такие надежды, мнил его чуть ли не спасителем Рима, а теперь испытал горькое разочарование? Или просто вспомнил молодость и пожалел друга своей юности? Ничего подобного. «Если бы Апеллес<sup>[82]</sup> увидел свою Венеру... облитой грязью, я думаю, ему было бы очень больно. Так и я с великой болью смотрел на этого человека, которого я украсил и расписал всеми цветами моего искусства и который вдруг стал так безобразен» (*Att.*, II, 21). Эти слова выдают Цицерона с головой. Они показывают, что он всегда в первую очередь ощущал себя не политиком, даже не гражданином, а художником. Поэтому на Помпея он смотрел как на свое создание, героя написанного им романа, а не как на римского государственного деятеля.

Те взрывы ненависти, которым он был свидетель, вызывали у Цицерона двойственное чувство. С одной стороны, они были ему радостны и он не может скрыть внутреннего торжества, сообщая о них другу. Но с другой — они его пугали. Он боялся, что триумвиры, поняв, что им не укротить Рим, прибегнут к террору (*Att.*, II, 14; 19; 21). Поэтому поначалу он скорее склонен был успокаивать людей, чем их подзадоривать. Но увы! Цицерон был артист. Горячий, впечатлительный, страстный. Вскоре негодование победило благоразумие и он уже возмущается всеобщей трусостью и долготерпением. «Государство умирает от какой-то новой болезни. Все возмущаются, жалуются, рыдают... наконец уже громко стонут, но лечения не применяют» (*Att.*, II, 20). Собственное его поведение ему тоже не нравилось. «Я недоволен собой. Я в страшной тоске. Я борюсь. Если сравнить со всеобщей приниженностью, то даже смело. Но, если вспомнить мое прошлое, нерешительно» (*Att.*, II, 18). От всего этого он совершенно извелся. «Нет человека, более несчастного, чем я. Нет никого счастливее Катула<sup>[83]</sup>, который прожил с блеском и умер вовремя» (*Att.*, II, 24).

«Я борюсь», — говорит Цицерон. Но как? Что скрывается за этими словами? Нет сомнения, что он был первым на вечеринках, где народ изощрялся в остроумии. Его шутки расходились по Риму. В доме его собирались недовольные и критиковали правительство. Но, очевидно, этого мало. Оказывается, триумвиры считали этого тихого человека, навек отрекшегося от политики, своим злейшим врагом. В своих речах он

постоянно говорил о положении Республики, вспоминал славное прошлое Рима, проливал слезы и возбуждал народ. Может быть, даже все те взрывы ненависти, о которых он рассказывает Аттику, были невольно вызваны им самим. Еще весной до своего отъезда в Антиум он бывал нестерпимо дерзок на Форуме и приводил врагов в ярость. Теперь чаша терпения триумвиров была переполнена — больше выносить этого человека они не могли.

\*

Цицерон был совершенно прав, когда говорил, что триумвирам придется прибегнуть к террору. Но Цезарь выбрал совершенно неожиданную форму террора — не сверху, как Сулла, а, если можно так выразиться, снизу. То есть террор должен был исходить не от правительства, а от вооруженных шайк уголовников. Эта мысль, видимо, давно мелькала в голове Цезаря. Сначала он возлагал надежды на Каталину. Затем в 62 и 59 годах использовал отряды гладиаторов. Сейчас он остановился на другом плане.

Читатель, конечно, не забыл Клодия Пульхра, брата Волоокой, который в женском платье проник на празднества Доброй Богини и был спасен Цезарем и Крассом. Этот-то человек и должен был, по плану Цезаря, руководить террористическими бандами. У Клодия было все, что некогда привлекало его в Катилине. Это был умный, дерзкий авантюрист, очень тесно связанный с преступным миром. Но для того чтобы добиться своей цели, Клодию необходимо было стать трибуном. Увы! Он происходил из патрицианского рода Клавдиев, а патриции по закону не могли быть трибунами. Клодий бушевал, вопил, что он демократ, публично на Форуме отрекался от своего аристократического происхождения, говорил, что душой плебей, — словом, кричал до хрипоты, но толку от этого, разумеется, не было никакого. Закон есть закон. Тогда этим делом занялся Цезарь. Через три часа Клодий был с помощью усыновления переведен в плебейский род (*Suet. Jul.*, 29; *Dio.*, 38, 19; *Cic. Pro dom.*, 41). После этого он был выбран трибуном на 58 год.

Клодий был нужен Цезарю, чтобы укротить Рим. Но современники увидели и другую цель. Они были уверены, что Клодий — смертоносный снаряд, направленный против Цицерона. Всем было известно, что он поклялся в вечной ненависти к оратору. Очень заметили также, что Цезарь взялся за усыновление Клодия после одной речи Цицерона, где он

особенно резко выступил против триумвиров<sup>[84]</sup>. Аппиан не сомневается, что Цезарь приберегал Клодия именно для того, чтобы уничтожить Цицерона. Рассказав, как он спас своего обидчика, любовника жены, он пишет: «Цезарь в силу необходимости стал выше личной обиды и оказал благодеяние одному из врагов ради мщения другому (то есть Цицерону. — Т. Б.)» (*App. В.С., II, 14*). Вернее было бы сказать, что Цезарь пренебрег личной обидой и спас человека, которого, вероятно, терпеть не мог, чтобы погубить другого, внушавшего ему большую симпатию. В самом деле. Вся дальнейшая жизнь Цезаря показывает, что он искренне уважал Цицерона, даже по-своему любил его. И сейчас он сделал все возможное, чтобы спасти этого безумца. Сначала он в самых почтительных выражениях предложил Цицерону дружбу. Когда тот отказался, Цезарь выхлопотал ему посольство в Александрию. Цицерон и тут отказался. Между тем Клодий уже стал плебеем. И вот сейчас, когда стало ясно, что Клодий будет в следующем году трибуном, Цезарь сделал последнюю попытку. Он сказал Цицерону, что уезжает в Галлию и очень просит сопровождать его в качестве легата. Он говорил очень любезно и убедительно. Это почетный способ избежать опасности, пишет Цицерон, но, прибавляет он, «я не хочу бежать, я жажду биться» (*Att., II, 18*). Делать было нечего. Цезарь с глубокой грустью вынужден был согласиться на гибель Цицерона и выдал его Клодию.

Итак, Клодий был выбран трибуном. Он не скрывал своих чувств и осыпал Цицерона бранью и угрозами. Друзья оратора чувствовали беспокойство. Они советовали Цицерону быть начеку. Помпей, напротив, успокаивал его. Я защищу тебя грудью, несколько патетически говорил он. Клодий раньше пронзит мое сердце, чем посягнет на тебя. «И ты веришь? — спросишь ты. — Верю. Он совершенно убеждает меня, потому что я этого хочу», — писал Цицерон Аттику. Опять, опять мы видим, что Цицерон состоит из двух людей — один слепо верит Помпею, второй смеется над этой глупой доверчивостью. «Люди практические советуют мне остерегаться и не верить, прибегая к разным историям, притчам и даже стихам. Первое — остерегаться — я выполняю. Второе — не верить — не могу» (*Att., II, 20*). Цицерон знал, что Клодий собирается обвинить его в незаконной казни катилинариев. Он полагал, что будет суд, и не сомневался, что сумеет себя защитить. Увы! Цицерон еще не понимал, какое время настает. Впоследствии, получив горький урок, он писал: «Мне предстояло иметь дело... с убийцей из-за угла, с разбойником», а вовсе не с политическим противником (*Sest., 39*).

10 декабря 59 года Клодий стал народным трибуном. И тут же начал

действовать. «Клодий... опирался... на организованные им и по проведенному им закону легально существовавшие клубы, так называемые коллегии — вооруженные и крепко спаянные подкупом шайки хулиганов и проходимцев, в значительной части рабов», — пишет Ростовцев<sup>[51]</sup>. Буассье весьма картинно описывает эту армию. Кроме «праздношатающихся и безработных всякого рода и племени, обычного орудия революций, там имелась еще целая толпа вольноотпущенников, деморализованных рабством... которым свобода дала только возможность больше делать зла; там были еще гладиаторы, обученные сражаться и с животными, и с людьми и привыкшие играть как собственной жизнью, так и жизнью других; но хуже всех были беглые рабы, которые, совершив какое-нибудь убийство или грабеж, сбегались отовсюду в Рим, чтобы затеряться во мраке его народных кварталов; это была ужасная и отвратительная толпа без семьи, без отечества... поставленная общественным мнением вне закона и общества; она не могла ничего уважать, и ей нечего было терять. И вот среди таких-то людей Клодий и вербовал свои банды. Этот набор происходил среди бела дня в одном из самых людных мест Рима, возле Аврелиевых ступеней. Затем этих новобранцев распределяли по декуриям и центуриям... В определенный день... вся армия тайных обществ двигалась на Форум... Не было больше... ни одного гражданина или магистрата, который был бы безопасен от насилия. Сегодня уничтожали должностные знаки консула, завтра убивали насмерть трибуна»<sup>[52]</sup>. «Цезарю нужен был Клодий прежде всего, чтобы сломить Цицерона, затем, чтобы довести анархию в Риме до крайних пределов», — пишет Ростовцев<sup>[53]</sup>.

Но тут выяснилось, что этот всесильный вождь преступного мира, этот непобедимый Клодий трепещет перед одним человеком. «Хотя эти люди держали власть так твердо, хотя они и подчинили себе римлян... Катона они по-прежнему боялись». В этом страхе было уже нечто мистическое. Клодий «даже и не надеялся свалить Цицерона, пока рядом был Катон» (*Plut. Cat. min.*, 34). Он призвал к себе Катона и заговорил с ним без своей обычной наглости, наоборот, льстиво и заискивающе. Он сказал, что решено аннексировать казну кипрского царя. Это колоссальные деньги, и доверить их можно только такому зеркалу добродетели, как Катон. Поэтому он выхлопотал для него это лестное назначение. Катон весьма любезно послал его с его предложением ко всем чертям. Тогда Клодий переменял тон. Он сказал, что, если Катон столь неблагодарен, он отошлет его силой. Он провел уже соответствующий закон через народное собрание.

Возразить было нечего. Катон должен был покинуть Рим.

Как только Катон был нейтрализован, Клодий атаковал Цицерона. Он провел закон, по которому всякий, казнивший без суда гражданина, изгонялся из Италии. Аппиан пишет, что Цицерон смертельно испугался, и сурово отчитывает его за это. Ему надо было сохранить твердость духа и выступить на суде с речью, говорит он. «В такую трусость из-за одного только собственного процесса впал тот, кто всю жизнь блестяще выступал в чужих судебных делах» (*App. B.C., II, 15*). Эти слова кажутся наивными и забавными. Аппиан, живший в тихое, спокойное время, рассуждает как типичный кабинетный ученый. Какой суд, какая речь?! Едва Цицерон выходил из дома, на него кидались «наглые и буйные молодцы Клодия», которые «разнузданно потешались... и забрасывали его грязью и камнями». Когда же сенат собрался и хотел вынести постановление в пользу Цицерона, Клодий просто-напросто окружил Курию вооруженными уголовниками. «Многие сенаторы выбежали наружу и с криками стали рвать на себе платье», но ничего кроме наглого смеха в ответ, разумеется, не услышали (*Plut. Cic., 30–31*).

Катон уже в дорожном платье явился к Цицерону и советовал ему немедленно бежать. Меня не будет, говорил он, и защитить тебя будет некому. Ночью друзья собрались у Цицерона и стали обсуждать положение. Долго они говорили, долго спорили и наконец решили, что выхода нет — Цицерон должен немедленно покинуть Рим. В полночь он вышел из городских ворот. Это было 11 марта. С ним поехали верные рабы, вольноотпущенники и несколько друзей. Вслед ему полетело постановление Клодия. Цицерон изгонялся из Италии. Каждый, кто даст ему приют в этой стране, объявлялся государственным преступником. Все имущество его конфисковывалось. Он был вне закона и лишен всего.

Ночью, как беглец и преступник, он ехал мимо своего родного Арпинума. Друзьям удалось где-то найти для него ночлег. Цицерон был устал, измучен, но, несмотря на это, не мог сомкнуть глаз. Только под утро он вдруг забылся тяжелым сном. Опасность настигала, времени терять было нельзя, и все же друзья решили не тревожить его и дать ему хоть немного отдохнуть. В ту ночь Цицерону приснился странный сон. Казалось ему, что он в глубокой скорби бредет по каким-то унылым и безлюдным местам. Вдруг он увидел Мария, который шел навстречу. Он окружен был ликторами, их фасции увиты были лаврами. Марий подошел к Цицерону и спросил, отчего он такой печальный.

— Насилие изгнало меня с родины, — был ответ.

Марий взял его за руку и просил приободриться. Затем подозвал

ликтора и велел отвести его назад, в Рим, туда, где стоит памятник самому Марию. Он прибавил, что оттуда придет ему спасение. Цицерон проснулся. Он рассказал свой сон друзьям, и все они воскликнули, что изгнание его будет недолгим — его ждет скорое и радостное возвращение. Цицерон не верил снам. Но этот свой сон запомнил на всю жизнь (*Cic. Div.*, I, 59).

### **Изгнание**

Цицерон был убит. Дневником его настроений служат душераздирающие письма. 10 апреля он пишет Аттику: «Я самый несчастный человек. Меня пожирает жгучее горе. О чем писать тебе, не знаю... Я только умоляю — ведь ты любил меня всегда ради меня самого — люби меня по-прежнему! Я ведь тот же. Враги отняли у меня все, кроме меня самого» (*Att.*, III, 5). 29 апреля: «Ты меня уговариваешь остановиться у тебя в Эпире... Но я не могу видеть людей; у меня едва хватает сил смотреть на солнечный свет... Призывая меня к жизни, ты добился только того, что я не убил себя, но не в твоих силах сделать, чтобы я не раскаивался в том, что живу... Клянусь, никого никогда не поражала столь лютая беда, никому не следовало так страстно стремиться к смерти... Я писал бы тебе и чаще, и больше, но горе отняло у меня разум и, в частности, способность писать» (*Ibid.*, 7). Дело в том, что первой мыслью Цицерона было покончить с собой. Но Атик успел его остановить.



*Цицерон. Мрамор. Эрмитаж.*



*Катон. Бронзовый бюст. Волюбилис. Марокко.*

1.



2.



3.



*1. Цезарь. Лондон. Британский музей.*

*2. Помпей. Копенгаген.*

*3. Помпей. Рим.*

1.



2.



*1. Октавия, внучатая племянница Цезаря, которую прочили за Помпея. Лувр.*

*2. Молодая римлянка, современница Цицерона*

1.



2.



*1. Улица мертвых. Помпеи.*

*2. Сад в Помпеях.*

1.



2.



*1. Цезарь. Рим.*

*Во времена Империи Цезаря изображали как милостивое божество, мудрого и безмятежного правителя.*

*Тем интереснее видеть его прижизненные портреты.*

*На этом запечатлена та тоска, которая, по свидетельству современников, овладела им после достижения высшей власти.*

*2. Люций Брут Древний, освободивший Рим от царей. Капитолийский музей.*

1.



2.



3.



*1. Марк Брут. Изображение на медной монете.*

*2. Антоний. Изображение на серебряной монете.*

*3. Монета Брута, выпущенная на Востоке.*

*На оборотной стороне — два кинжала, колпак, который носили отпущенные на свободу, и подпись: «Иды марта».*

1.

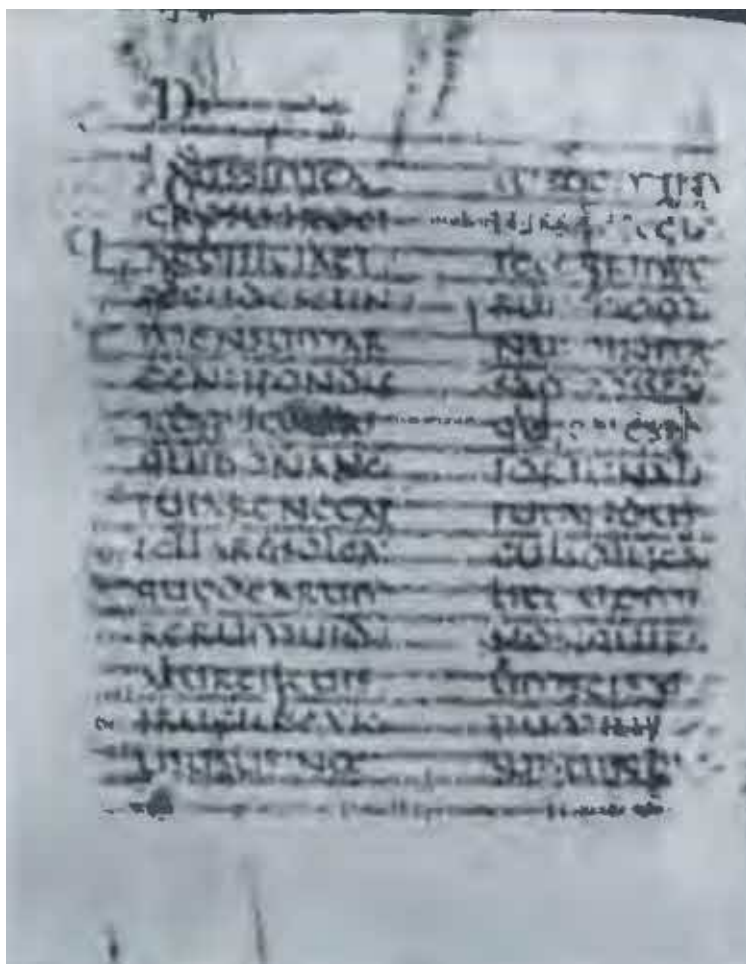


2.



*1. Демосфен, автор «Филиппик». Римская копия III в. до н. э. Ватиканский музей.*

*2. Октавий.*



*Ватиканский палимпсест, то есть свиток, на котором античный текст был соскоблен и заменен новым.*

*Из-под нового текста выступают строки «Государства» Цицерона.*

1.



2.



*1. Сандро Боттичелли.*

*Августин Блаженный.*

*Августин, горячий поклонник и подражатель Цицерона, изображен в момент мучительных творческих поисков.*

*Рядом с ним математические чертежи и небесная сфера, которой так восхищался оратор.*

*2. Сандро Боттичелли.*

*Минерва и кентавр.*

*И эта картина иллюстрирует его любимую мысль: кентавр — грубая сила — склоняется перед Минервой, олицетворением разума.*

В тот же день, 29 апреля, он пишет жене: «Я пишу вам не так часто, как мог бы, потому что, хотя каждый миг для меня — мучение, но, когда я пишу к вам или читаю ваши письма, я просто захлебываюсь от слез и мне кажется, что я сейчас умру... Жизнь моя, я жажду увидеть тебя и умереть в твоих объятиях! И боги, которых ты так благоговейно чтила, и люди, которым я всегда служил, оказались неблагодарными... О я несчастный! Как мне просить приехать ко мне тебя, больную женщину, сломленную и телом и духом? Значит, не просить? И жить без тебя?!. Знай одно — если у меня останешься ты, я буду думать, что не совсем погиб. Но что будет с моей Туллиолой? Подумайте об этом — у меня мешаются мысли. Но что бы ни случилось, бедняжка должна сохранить имущество и доброе имя. А как мой Цицерон<sup>[85]</sup>? Ах, если бы я мог взять его на руки, посадить на колени! Нет, я не могу больше писать — меня душит отчаяние!.. Моя Теренция, самая преданная, самая лучшая жена, моя доченька, моя самая любимая, Цицерон, моя последняя надежда, прощайте!» (*Fam.*, XIV, 4)<sup>[86]</sup>.

Этот дикий взрыв отчаяния поразил даже людей, хорошо его знавших. Между тем горе его понятно. Цицерон был актером. Игра была его жизнью, подмостками — Форум. Писатель может писать и складывать рукописи в стол в надежде, что потомки поймут его. Художник может рисовать и оставлять свои полотна для грядущих эпох. Но актер должен играть. Представьте себе великого режиссера и актера, который открыл совершенно новый, особенный театр и сам играет там под восторженные рукоплескания публики. И вдруг приходит полиция, забирает декорации, вешает замок на двери театра, а режиссера вышвыривает на улицу. А обожавшая его публика равнодушно смотрит на это и, посудачив немного, расходится по своим делам. Именно таким человеком и был Цицерон. Отныне жизнь его утратила всякий смысл. Он смотрел на себя, как на никому не нужный обломок, который выбросили на свалку. «Я тоскую не только по своему и своим, но и по самому себе, ибо что я теперь?» (*Att.*, III, 15). Плутарх пишет: «Хотя множество посетителей навещало Цицерона, чтобы засвидетельствовать свою дружбу и расположение, хотя греческие города наперебой посылали к нему почетные посольства (приглашая жить

у них. — Т. Б.), он оставался безутешен, не отрывая, словно жадный любовник, взоров от Италии» (*Cic.*, 32).

Однако вскоре все эти заботы померкли перед одной мыслью. То была мысль о семье. Он твердил в отчаянии, что погубил своих близких, опозорил дочь, пустил по миру сына, свел в могилу жену. Слишком живое воображение рисовало перед ним ужасные картины. Он просто видел, как Теренция умирает в нищете и, главное, дочь, дочь... Это стало его навязчивой идеей, он говорил об этом непрерывно. Вдобавок у него была ужасная привычка перебирать все свои поступки. О, он поступил гадко, низко! О себе он уже и не думал. А тут еще он узнал, что Волоокая не упускает случая поиздеваться над поверженной соперницей, преследует ее, унижает. И в этом был виноват он! С болью вспоминал он, как незнакомые люди приходили к ним в дом и чуть ли не на колени становились перед Теренцией, умоляя, чтобы она упростила мужа взять их дело и спасти их. А вот теперь он не может спасти саму Теренцию! «Я вижу, что вы так несчастны, — писал он жене, — вы, которых я мечтал видеть самыми счастливыми и обязан был сделать счастливыми... Увы, мой свет, моя ненаглядная!.. Тебя измучили, ты в слезах, в трауре — и во всем виноват я! Я спас других, а вас погубил!.. Ты стоишь у меня перед глазами день и ночь. Я вижу, ты взвалила на свои плечи все труды. Боюсь, ты не выдержишь... О, будьте только здоровы, мои ненаглядные, будьте здоровы!» (*Fam.*, XIV, 2). А вот отрывок из другого письма: «Ты, такая мужественная, такая верная, такая благородная, такая добрая, терпишь злейшие муки — и все из-за меня! А моя Туллиола, которая с таким восторгом встречала отца, теперь в такой горе из-за него! А Цицерон? Он только начал понимать и испытывает такие страдания, такую тоску. Ты пишешь, что все это ниспослано нам судьбою; если бы я так думал, мне было бы немного легче. Но нет. Все это произошло по моей вине!» (*Fam.*, XIV, 1). О, если бы все несчастья обрушились только на его голову и миновали его близких! «Я молил бы об этом богов, но они перестали слушать мои мольбы. И все-таки я молюсь, чтобы они удовлетворились бесконечными моими бедами» (*Q. fr.*, V, 3).

Брат Квинт в то время возвращался из провинции. Узнав обо всем, он поспешил к Цицерону, чтобы поскорее обнять его и утешить. Но, к его ужасу и изумлению, тот не пожелал с ним встретиться. Квинт в волнении спрашивал, что случилось, не обидел ли он, не огорчил ли чем-нибудь брата. Цицерон отвечал: «Брат мой, брат мой, брат мой! И ты мог подумать, что я на тебя сержусь?.. Я на тебя рассердился? Могу ли я на тебя сердиться? Значит, это ты нанес мне удар?! Это твои враги из ненависти к

тебе меня погубили? Нет, это я сгубил тебя!.. Но я не хотел, чтобы ты меня видел. Ведь ты увидел бы не своего брата, с которым недавно простился, не того, которого знал... От того человека не осталось ни следа, ни тени. Ты бы увидел дышащего мертвеца» (*Q.fr*, I, 3).

В этих последних словах Цицерона почти не было преувеличения. Люди, видевшие его, рассказывали Аттику, что он стал худой, как скелет, не ест, не спит, блуждает, как тень, по дому, вздрагивает от каждого шороха, а многие прямо говорили, что он помешался. На тревожные вопросы друга Цицерон сухо отвечал, что, к сожалению, не сошел с ума, сохранил разум и память, а потому так страдает (*Att.*, III, 13; 15). Великое счастье, что рядом с ним все время находились преданные и заботливые друзья, окружавшие его лаской и вниманием. Если бы не они, он, конечно, погиб бы. По указу Клодия никто в Италии не должен был принимать его — иначе сам становился вне закона. Но «нигде не желали исполнять этот указ — слишком велико было уважение к Цицерону. Его повсюду принимали с полным дружелюбием и заботливо провожали в дорогу» (*Plut. Cic.*, 32). Когда он хоть ненадолго забывался лихорадочным сном, все в доме ходили на цыпочках. Так было в Италии. Оттуда Цицерон отправился в Фессалоники. Едва он прибыл, тамошний римский квестор Планций без лишних слов предоставил в его распоряжение свой дом и кошелек. Но и эти заботы были для Цицерона источником мучений. Он терзался мыслью, что те, кто его принимал, попадут из-за него в беду, что он губит все, как чума. Он пишет домой: «В Брундизии я пробыл 13 дней у Марка Ления Флакка, чудного человека. Ради моего спасения он не побоялся рискнуть своим имуществом и головой, не побоялся кары за нарушение нечестивого закона... О, если бы я когда-нибудь мог его отблагодарить! Помнить о нем во всяком случае я буду всегда» (*Fam.*, XIV, 4).

Если Цицерон и не сошел с ума, то он, конечно, был болен. Он метался по дому и все время рвался куда-то бежать, куда-то теперь же зачем-то ехать. Иногда он говорил, что поедет в Рим — пусть его сразу там убьют. Вскоре Планций понял, что с него нельзя ни на минуту спускать глаз. Ему пришлось полностью отказаться от всех своих обязанностей, он неотлучно сидел дома с Цицероном. «Он посвятил свою квестуру тому, чтобы поддерживать и спасать меня», — рассказывал впоследствии Цицерон (*Post red.*, 35). Цицерон ощущал к нему бесконечную благодарность, но все доводы и утешения квестора проходили мимо его ушей. Казалось, он ничего не слышит. Единственное, что как будто на него действовало, — это, когда Планций говорил, что скоро кончится срок его полномочий, а к этому времени, конечно, народ прикажет вернуть Цицерона, и они поедут

на родину вместе. Эти слова как будто успокаивали больного. Но на другой день все повторялось сызнова, и Планций изо дня в день твердил одно и то же (*Att.*, III, 22).

Но хуже всех приходилось Аттику. Деловой, практичный, собранный Аттик давно уже сделался ангелом-хранителем Цицерона и его семьи. Узнав об изгнании Цицерона, Аттик тут же полетел в Рим, чтобы сделать все для спасения несчастного друга. В то же время он писал Цицерону, удержал его от самоубийства, утешал, подбадривал, заботился о его семье. Ему даже удавалось выкроить время, чтобы ненадолго навестить друга. А Цицерон вел себя как капризный больной ребенок и, сам того не понимая, мучил свою многотерпеливую няньку. То он требовал, чтобы Аттик все бросил и мчался к нему; то заклинал не отходить от Туллии и Теренции; то говорил, что все его покинули и Аттик разлюбил; то грозился покончить с собой; то горько упрекал друга, что он обрек его на постыльную жизнь; то требовал утешений и спрашивал, отчего Аттик так холоден, а когда тот принимался его утешать, с раздражением обрывал его, говоря, что он убит — к чему теперь пустые слова. Аттик, у которого голова от всего этого шла кругом, попытался прибегнуть к строгости — он говорил, что настоящий мужчина, настоящий римлянин не должен так падать духом. Но Цицерон отвечал, что тот только и может, что упрекать его. Наконец Аттик бросил все и помчался к другу. Он смог провести с ним всего несколько дней, а потом вновь понесся в Рим по его же делам. А вслед ему полетело письмо: «Конечно, если бы была хоть крошечная надежда на мое спасение, ты при твоей любви ко мне не бросил бы меня в такую минуту (уж прости меня, пожалуйста, за эти слова)» (*Att.*, III, 25).

Осенью Цицерон вдруг сорвался с места. На сей раз никакие уговоры не помогали. Он твердил, что едет в Эпир к Аттику. Но вместо Эпира он почему-то поехал в Диррахиум. Жители сразу полюбили своего гостя и взяли на себя все заботы о нем. Этот Диррахиум находился на самом берегу моря. Узкий пролив отделял его от Италии. Вот почему сюда как магнитом тянуло Цицерона. Он мог с утра до вечера вглядываться в туманную даль, надеясь увидеть хотя бы очертания вожденного берега. Настала зима. За ней весна, лето. Уже второе лето Цицерон проводил на чужбине. Он отправил Аттику последнее дошедшее до нас письмо: «Я вижу, что погиб безвозвратно. Умоляю тебя, не оставь моих близких среди этих бед» (*Att.*, III, 27).

В то время как он отправлял это письмо, в Риме происходили совершенно неожиданные события.

В городе установилась диктатура банд Клодия. Цицерон впоследствии

сравнивал их с шайкой пиратов, а Республику — с мирным кораблем; воспользовавшись штормом, пираты берут несчастное судно на abordаж. «Среди мрака, слепых туч и бури, которая обрушилась на Республику, ты оттолкнул от руля сенат, сбросил за борт народ, а сам ты, капитан пиратов, поплыл со своей преступной шайкой на веслах», — говорил он Клодию (*Pro dom.*, 24). В городе творилось нечто невообразимое. Уголовники носились по улицам с мечами и факелами в руках; они поджигали дома неугодных людей, а граждан забрасывали камнями. Мирные жители со слезами смотрели, как клодианцы сжигают дома. Клодий сжег даже храм Нимф, где хранились государственные архивы. Город был на осадном положении. Суды закрылись. На Форум никто не спускался — там хозяйничали убийцы. Часто граждане запирались в домах и дрожали, слыша свист и улюлюканье пронесившихся мимо бандитов. Вдобавок ко всему подскочили цены на хлеб и начался голод (*Cic. Sest.*, 53; 73; *Post red.*, 6; 7; *Att.*, IV, 3, 2; *Mil.*, 73; *Pro dom.*, 17).

Сам пахан носился по Риму как бешеный. Казалось, он помешался. Это была какая-то непрекращающаяся истерика. Бледный, без кровинки в лице, он выступал на сходках, начинал истошно вопить, раздражался потоком бессвязных проклятий и ругательств, и часто испуганные горожане видели, как он падает на землю и бьется в конвульсиях. Цицерон когда-то придумал ему прозвище — Красавчик. Впоследствии он дал ему новое имя — Фурия. Так называли ужасных театральных демонов с факелами в руках, которые носились по сцене с воем и визгом (*Q. Jr.*, II, 3; *Sest.*, 39; *Наг.*, 39).

Одним из первых Клодий сжег дом Цицерона, его любовь и гордость. На пепелище он воздвиг святилище Свободы с прекрасной статуей богини. У этой статуи, говорит Цицерон, была престранная история. В одном греческом городке жила потаскушка, очень смазливая собой бабенка. Своим ремеслом она скопила немалый капитал, и, когда она умерла, на ее могиле соорудили роскошный памятник, изображавший ее в весьма соблазнительном виде. Случилось так, что брат Клодия хотел порадовать Рим великолепными зрелищами. И вот он с наилучшими намерениями «во славу римского народа» ограбил Грецию. Среди его трофеев была и статуя потаскушки. Эта-то статуя и попала на глаза Клодию. Она понравилась ему страшно. Ему показалось, что она прямо-таки олицетворяет собой самые демократические идеи, и он выпросил статую у брата. После этого статуя торжественно была водружена на пьедестал в храме Свободы. Таким образом, ядовито замечает оратор, его Свобода — это «греческая шлюха, могильный памятник, привезенный вором» (*Pro dom.*, 112–113).

И вот в этом парализованном ужасом, униженном государстве начали твориться удивительные вещи.

Очевидцы рассказывают нам, что, когда Пушкин был смертельно ранен, в столице происходило нечто такое, чему за два дня никто не поверил бы. Многотысячная толпа с утра до вечера теснилась на Мойке, жадно читая бюллетени Жуковского и расспрашивая о здоровье больного. Когда же он умер, едва не поднялось восстание — так страстно все хотели увидеть его, проститься с ним. Иностранные послы, многие из которых не раз встречали Пушкина на светских раутах, в недоумении спрашивали, почему же никто из русских им раньше не объяснил, что это их национальная гордость. Но беда в том, что сами русские, видимо, этого хорошо не понимали, пока не свершилась трагедия. Только тогда они прозрели. Нечто подобное произошло и в Риме.

Когда Цицерон покинул город, весь сенат облачился в траур. Должностные лица сняли свои пурпурные одежды и оделись в черное. То же сделали всадники. Двадцать тысяч молодых людей в глубоком трауре с растрепанными волосами ходили по Риму и оплакивали Цицерона. И кто же первым из юношей надел черную одежду? Публий Красс, любимый сын триумвира. Этот мальчик обожал Цицерона, неотступно следовал за ним, ловил каждое его слово и, как говорил сам оратор, вырос в его доме. Только что Красс торжествовал и потирал руки от восторга, что удалось наконец уничтожить ненавистного врага. Но вот теперь, когда он видел сына, нечесанного, с опухшими покрасневшими глазами, он чувствовал, что вся его радость отравлена. Этого мало. В Рим прибыли делегаты ото всех городов Италии. Одетые в траур, они с утра до вечера осаждали Капитолий, требуя, чтобы Италии вернули Цицерона. Клодий приказал распродать имущество изгнанника с молотка. Но напрасно глашатай день за днем объявлял о торгах — никто не купил ни единой вещи из имущества Цицерона (*Cic. Sest.*, 26; 129; *Post red.*, 12; *Pro dom.*, 99; *Plut. Cic.*, 30–33; *Crass.* 13).

Но, может быть, самые поразительные вещи происходили в театре. На спектаклях зрители дрожали как в лихорадке и рыдали. Но причиной были не страдания Ахиллеса, Приама или кого-нибудь из древних героев, нет, они плакали о Цицероне. Актеры непрерывно говорили о нем со сцены. Особенно Эзоп, тогдашняя звезда, кумир публики<sup>[87]</sup>. Его всегда такой сильный и звучный голос дрожал совсем не от театральных слез. Он и его товарищи произносили монологи — то гневные, то скорбные — и все о Цицероне. Они искусно соединяли слова трагедии с собственной импровизацией. Однажды, например, Эзоп играл в пьесе, действие которой

развертывалось в Элладе времен Троянской войны. В невероятном волнении, словно в экстазе, заговорил он о величайшем герое Греции, который спас свое отечество, а потом был предан спасенными им согражданами.

— Он спас *вас!* — восклицал он, прямо указывая на зрителей. — О, неблагодарные аргосцы! Пустые греки, забывшие сделанное добро! Вы позволили его изгнать, выслать, вы терпите его ссылку!

Все более и более воодушевляясь, он стал описывать, как враги сожгли дом Цицерона.

— Я видел, как все это пылало, — говорил он, указывая на Палатин.

Все это было сыграно так, что зарыдали даже злейшие враги оратора.

Комики не отставали от трагиков. Когда они однажды заметили среди зрителей Клодия, они соскочили с подмостков, окружили его и буквально искололи дерзкими и злыми стихами. Говорят, у него даже дыхание перехватило (*Sest.*, 118–125). Естественно, что, когда распаленные всем этим зрители видели в театре Клодия, они вскакивали, указывали на него и разражались проклятиями.

Сенат, невзирая на опасность, собрался и единодушно решил вернуть Цицерона. Но это было не так легко. Когда вопрос был перенесен в народное собрание, нагрянула банда Клодия и устроила ужасную бойню. «Тибр был переполнен телами граждан... ими забиты были сточные канавы... Кровь с Форума смывали губками» (*Sest.*, 77). Квинт, брат Цицерона, «ускользнул от гибели, лишь спрятавшись среди трупов и прикинувшись мертвым» (*Plut. Cic.*, 33). (Можно себе представить, что почувствовал Цицерон, узнав об этом!) Трибун Сестий твердо решил вернуть оратора. Он пришел в храм Кастора, но только он заговорил об этом, как туда ворвался Клодий с отрядом уголовников. Они накинулись на трибуна, который пришел в храм один и без оружия, и били его до тех пор, пока он без памяти не упал на землю. Но и тогда они продолжали колоть бесчувственное тело ножами, а потом умчались, оставив его на полу храма истекающим кровью (*Sest.*, 79).

Сенат потребовал от Помпея решительных действий. Помпей был в самом подавленном настроении. С одной стороны, он испытывал стыд за свое предательство по отношению к Цицерону, потому что он сохранил еще стыд, если не совесть. Ему было крайне неприятно чувствовать себя подлецом в глазах честных людей. Кроме того, его начинало уже пугать все происходящее. Клодий становился абсолютно бесконтрольным. А тут сенат объявил, что не будет решать ни одного вопроса, пока не вернется Цицерон. «При таких обстоятельствах Гней Помпей наконец разбудил

свою... на время забытую привычку заботиться о благе государства». Он кликнул клич, объявив, что хочет вернуть Цицерона. Тут произошло настоящее столпотворение. «На помощь стекались римляне и жители соседних городов. Явившись с ними на Форум, он прогнал оттуда Клодия и призвал народ подавать голоса». Голосовать явились все, даже больные. Такого энтузиазма давно уже не наблюдалось. Были среди них и римляне, и италийцы (*Plut. Cic.*, 33; *Sest.* 67–68; *Post red.*, 28). Народ единодушно проголосовал за возвращение Цицерона.

Но вот что замечательно. Сенат собрался в храме, освященном Марием в память его побед. Узнав обо этом, Квинт невольно вздрогнул. Из писем друзей он уже знал о сне брата. Ведь Марий обещал ему, что спасение придет от его *памятника*! С тех пор он твердо уверовал, что боги подают нам знаки грядущего.

Народное голосование произошло в канун секстильских нон, то есть 4 августа. Но Цицерон не дождался его исхода.

В тот же день утром он сел на корабль и отплыл в Брундиизиум. На другой день, в секстильские ноны, он должен был увидеть наконец Италию, которую покинул 14 месяцев назад. Можно себе представить, как билось его сердце. Прощен ли он? Как его примут? С радостью или, быть может, враждебно? Или, что всего вероятнее, с полным равнодушием? Цицерон стоял на палубе и, не отрываясь, глядел вперед. Был знойный августовский день. Солнце и море сияли. И вот наконец в голубой дали показался берег. Он уже мог разобрать, что происходит на суше. Весь берег, сколько хватало глаз, был усеян народом. Но кого они ждут? Вдруг люди на берегу заметили его корабль и разразились кликами восторга. Вот корабль причалил, Цицерон сходит по трапу, и вся эта многотысячная толпа кидается к нему. Цицерона обнимают, целуют, ласкают, смех и слезы сливаются в одно. Оказывается, все они ждут его, ждут уже много часов под палящим солнцем!

Но самая большая радость была впереди. На берегу, пишет Цицерон, «ждала моя Туллиола»! Совсем одна приехала она в Брундиизиум встречать отца. Этот день был днем ее рождения. Оказалось, что это еще день рождения Брундиизиума. Тут уж восторгам не было конца. Несколько дней все жители вместе с Цицероном праздновали этот тройной праздник. Вскоре пришло письмо от Квинта, который сообщал о решении народа. Отец с дочерью поехали на север. Весь этот путь превратился в ликующее праздничное шествие. Тысячи людей выходили им навстречу с цветами, приезжали целыми семьями. Каждый город умолял заглянуть к ним хоть на минутку. Хотя Цицерон всем сердцем рвался в Рим, путешествие

продлилось целый месяц. Можно было подумать, говорит Цицерон, что он не изгнанник, вернувшийся наконец в Рим, а триумфатор, «привезенный разукрашенными конями на золотой колеснице». 4 сентября Цицерон вместе с Туллеей был у Капенских ворот столицы. Не только все улицы и переулки были переполнены народом, но крыши домов, ступени храмов были усеяны людьми. Когда они увидали Цицерона, то разразились аплодисментами. Приветственный гул долетал до неба. Чуть ли не на руках его внесли на Форум, в сенат. Отцы объявили, что Цицерон полностью восстановлен в правах, разрушенный дом его будет отстроен на общественный счет, затем они выразили официально благодарность всем городам и общинам, которые принимали Цицерона во время его изгнания.

Даже враги вышли ему навстречу. И среди них смущенный Красс вместе со своим сияющим счастьем сыном.

Красс протянул Цицерону руку и просил отныне считать его другом — его заставил это сделать сын, прибавил он. Цицерон обнимал всех. Он был так счастлив, что любил всех и не мог ни на кого сердиться. Римляне говорили, шутя, что, право, стоило даже добиваться изгнания, чтобы испытать такое великолепное возвращение. «Мне казалось, — говорит Цицерон, — что я не возвращаюсь на родину, но словно по ступенькам восхожу на небо» (*Plut. Cic.*, 33; *Cic. Sest.*, 128; *Post red.*, 28; *Att.*, IV, 1; *Pro dom.*, 75).

\*

Люди, плохо знавшие Цицерона, думали, что все случившееся скользнуло по нему, не оставив следа. Актер упивался всеобщими восторгами и разом забыл все страдания и унижения. Но они ошибались. Цицерон чувствовал себя как человек, которому объявили, что он болен смертельной болезнью, подвергли мучительной операции и вдруг на операционном столе сообщили, что он исцелен. Все тело, перерезанное и больное, ломит и с трудом срастается. Радость и острая боль сливаются в одно. И боль, которую он испытывал, осталась на всю жизнь. Он говорит, что изгнание переломило его жизнь пополам. Сейчас «я как бы начинаю вторую жизнь», — пишет он Аттику (*Att.*, IV, 1).

## Глава V

### ПОД СЕНЬЮ НАУК

*...Мне скучно, хлеб их мне, как камень,  
Я неволен, как на привязи собака.*

А. С. Пушкин

*В науках он искал себе отрады,  
Но мирный труд его не утешал:  
Он юности своей отчизну помнил  
И до конца по ней он тосковал.*

А. С. Пушкин. Борис Годунов

### Пленник

Семнадцать месяцев Цицерон жил одной надеждой, одной мечтой — увидеть Рим. И сейчас, когда мечта сбылась, он был ослеплен, оглушен; все виделось ему смутно, неясно, словно сквозь какой-то золотистый туман. Но вот туман постепенно рассеялся и Цицерон увидел, что находится вовсе не на небе, как ему сначала представлялось, а на земле, причем на земле хмурой и неприветливой. И первый же удар получил он в своем собственном доме.

Первым человеком, которого он увидал, ступив на родную землю, была Туллия. Он пришел тогда в такой восторг, что даже в официальных речах перед сенатом и народом с упоением рассказывал о встрече с дочерью. Но постепенно он должен был осознать, что в ее столь желанном для него приезде было все-таки нечто странное. В самом деле. Не странно ли, что такая молоденькая девушка приехала в Брундизиум совсем одна? Квинт, разумеется, не мог ее сопровождать — он был тогда по горло занят, причем как раз делами брата — и ни на минуту не мог в это горячее время покинуть Рим. Но «самая лучшая, самая преданная жена»? Почему она не

поспешила ему навстречу? Быть может, Цицерон с недоумением задавал себе этот вопрос уже во время своего триумфального шествия по Италии. Как бы то ни было, в Риме все его недоумения разом кончились.

Сразу же после своего возвращения он пишет Аттику: «Есть некоторые домашние обстоятельства, которые я не могу доверить письму». Через несколько дней он рассказывает ему о своих имущественных делах, убытках, разорении. В конце же прибавляет: «Остальное, что меня поразило, требует тайны. Брат и дочь любят меня» (*Att.*, IV, 1, 8; 2, 7). Слова эти не оставляют ни малейших сомнений. Совершенно ясно, что так поразило Цицерона и кто его *не любит*. Мы не знаем, был ли Цицерон ревнив. Но сейчас, после изгнания, где он так страстно томился по жене, так высоко вознес ее в своем воображении, он должен был расценить ее измену как предательство и был буквально убит. Мы не знаем, что произошло между супругами. Дело в том, что была у нашего героя одна любопытная черта. Читатель уже имел случай убедиться, что он был как будто совершенно откровенен с Аттиком. Казалось, он не скрывает от друга ни одной мысли, ни одного движения своей души. И все-таки эта откровенность, оказывается, не безгранична. Он ничего не говорит другу об отношениях с женой или любой другой женщиной. Поэтому мы не найдем в его письмах ни единой жалобы на Теренцию, ни намек на ее измену. Мы обнаруживаем другое. Теренция на много лет совершенно исчезает из его переписки! Ранее он беспрестанно упоминал о ней, сообщал друзьям, как она себя чувствует, передавал от нее приветы и поклоны. Сейчас — ничего. Если бы мы не знали его семейных дел, то никогда не догадались бы, что он женат. В его письмах царит одна Туллия. Интересная подробность. Цицерон жил за городом в одной из своих вилл. Ему очень хотелось, чтобы Аттик приехал к нему погостить. И вот он пишет, что будет рад его видеть, а Туллия будет очень рада видеть его жену (*Att.*, IV, 1, 4a, 2). Туллия, а не Теренция! Очевидно, супруги, хотя и не порвали официально, стали совершенно чужими друг другу людьми. Когда несколько лет спустя Цицерон уехал из Рима, он писал жене письма — очень вежливые, но короткие и сухие, ничего общего не имеющие с теми пламенными посланиями, которые он писал ей из изгнания. Первое из этих писем начинается весьма характерной фразой: «Если ты и мое солнце Туллия здоровы, хорошо» (*Fam.*, XIV, 3).

И все-таки Цицерон не хотел и думать о разводе. Причина слишком ясна. Сын был совсем ребенком. Отнять у него мать или отца было бы в глазах Цицерона ужасной жестокостью. И в доме его внешне все осталось по-старому.

Вернувшись, Цицерон увидел полное разорение — дом сожжен, часть имущества бесследно исчезла, многие виллы разрушены. Правда, сенат, как мы уже говорили, решил возместить ему все убытки. Но дом был оценен в 2,5 миллиона сестерциев, тогда как он стоил 3,5. Нужно было настаивать, спорить, показывать документы. Но, несмотря на советы и личный пример мудрого Аттика, герой наш оставался легкомыслен и непрактичен во всем, что касалось его имущественных дел. Только постепенно усилиями все того же Аттика жизнь вошла в свою колею. Впрочем, все это было еще полбеды. Ибо, как ни грустно было Цицерону видеть разоренными свой дом и семейную жизнь, иные несчастья тревожили его куда больше.

Прежде всего в Риме по-прежнему хозяйничал Клодий. Он яростно восстал против решения сената восстановить дом Цицерона. Один раз он даже по примеру Катона решил прибегнуть к обструкции. Но тут он явно переоценил свои силы. Где ему было тягаться с самим Катоном! Проговорив два часа, он совершенно выдохся, сник и сел под смех и ропот всего собрания (*Att.*, IV, 2, 4). Но у него в запасе были другие приемы, гораздо более ему привычные.

Рабочие уже начали восстанавливать дом Цицерона. Вдруг среди бела дня нагрянула банда Клодия. Они учинили жуткий погром — разогнали рабочих, сломали все, что те успели сделать, и в довершение устроили пожар. «Все это происходило на глазах всего города, — рассказывает Цицерон. — Когда они бросали факелы, поднялись жалобы и стоны, не скажу, честных людей, потому что не знаю, существует ли еще такая порода, но во всяком случае всех присутствующих». Через несколько дней Цицерон шел по Священной дороге, главной улице Рима. Вдруг сзади послышался топот. Он обернулся — за ним неслись Клодие-вы головорезы. «Крики, камни, палки — и все неожиданно». Цицерон вбежал в какой-то дом, а сопровождавшие его рабы грудью загородили вход. И тут оказалось, что уголовники, терроризировавшие мирных жителей, совсем не привыкли к отпору. Когда рабы, смело защищая своего хозяина, стали на них наступать, они ко всеобщему изумлению обратились в бегство. Самого атамана чуть не убили. Спас его Цицерон. «Я предпочитаю лечить диетой; хирургия внушает мне отвращение», — объясняет он.

И тут наш герой нашел неожиданного защитника. То был другой народный трибун. Звали его Милон. Это был настоящий «*благородный разбойник*», вроде Робина Гуда или нашего Стеньки Разина. Человек это был солидный, серьезный, очень набожный — словом, полная противоположность истеричному Клодию. Он набрал шайку удальцов и налетал на Клодия. Через два дня после покушения на Цицерона часов в 11

утра на улице вновь появились клодианцы. Они были построены в боевой порядок, на плечах у них висели щиты, в руках были мечи и факелы. Мерным шагом в полном порядке они двинулись на штурм дома Милона. Сперва они заняли соседний дом, который намеревались использовать как форпост. Но тут двери дома Милона внезапно распахнулись, оттуда вылетел отряд и ударил на клодианцев. Вылазка удалась блестяще. Наиболее опасные разбойники, говорит Цицерон, были убиты, сам Клодий еле спасся (*Att.*, IV; 3, 2–3).

Можно себе представить, во что превратилась жизнь в городе, ставшем ареной борьбы двух бандитских шак; в городе, где среди бела дня поджигают целые кварталы, берут штурмом дома, а граждан режут и забрасывают камнями! А Цицерону было горше всех — ведь он-то и был тем призом, за который воевали оба доблестных атамана. «Государство было чрезвычайно дезорганизовано... — говорит Аппиан, — магистраты назначались... с помощью камней и мечей. Тогда бесстыдно царили подкуп и взятка... Порядочные люди вследствие всего этого вовсе перестали занимать государственные должности» (*App. В.С.*, II, 19).

Помпей считался как бы главой Рима. Но ни к какому руководству он был явно неспособен. С Клодием он находился в каких-то странных отношениях. Взбалмошный, неистовый трибун был совершенно неуправляемым. Он еще мог признать в Цезаре своего хозяина, но Помпея открыто презирал. Они то ссорились, то мирились, то считались друзьями, то открытыми врагами, и это еще более усиливало всеобщую неразбериху. Теперь Помпею необходимо было навести в Риме порядок — его бы благословили, и, быть может, ему удалось бы укрепить свою власть. Но это великому человеку было явно не под силу. На Рим спустили анархию и смуту. Не так-то легко было снова посадить их на цепь. Помпей «предпочитал обиженно устраниваться от вмешательства в римскую неразбериху»<sup>[54]</sup>.

Впрочем, многие считали, что поведение Помпея объясняется не одной только неумелостью. «Помпей сознательно допускал такой беспорядок, чтобы ощущалась необходимость назначения диктатора, — пишет Аппиан. — Среди многих шла молва, что единственным спасением от теперешних зол была бы монархическая власть... И он нарочно допускал беспорядок и анархию в государственных делах» (*В.С.*, II, 20). Наблюдая за многими больными, Лев Толстой заметил, что они всеми силами противятся смерти, ибо небытие — самое страшное для человека. Но болезнь мучит их, пока они наконец не дают внутренне согласие на смерть как на избавление от страданий. Так и римская анархия терзала

Республику, чтобы она наконец согласилась на монархию, то есть на собственную смерть.

В феврале 56 года произошли новые знаменательные события. Клодий привлек Милона к суду по обвинению в... *насильственных действиях*! Суд этот был бесподобен. Вот как рассказывает об этом в одном письме Цицерон. Народ собрался на Форуме. В качестве защитника выступил сам Помпей. Он «говорил, вернее, хотел говорить», потому что, едва он поднялся, шайка Клодия стала истошно вопить. Помпей говорил довольно долго. Слышны были только завывания клодианцев. Наконец он сел. Тогда вскочил Клодий и тоже начал говорить. «Наши, желая ответить ему на любезность, встретили его оглушительным криком». Он что-то кричал, все вопили; потом стали громко распевать стишки про Клодия и его очаровательную сестрицу, забавные, но уже совершенно неприличные. Клодий был совершенно вне себя — казалось, еще минута — и он упадет в обморок. Он побледнел как мертвец и вдруг подал какой-то знак. Тут «клодианцы стали плевать в наших». «Наши» дрогнули. Но появился отряд Милона и ударил на клодианцев. Они были опрокинуты, разбежались кто куда. Клодия сбросили с Ростр (*Q.fr.*, II, 3, 2).

Цезарь все еще находился в Галлии. Триумвиры встретились вновь в Луке (56 год). Было решено, что Цезарю продляют полномочия; Помпей и Красс получают консулат на следующий, 55 год. Как только это стало известно, все другие кандидаты в консулы, наученные горьким опытом, немедленно сняли свои кандидатуры. Все, кроме одного. Неукротимый Катон вернулся в Рим и снова ринулся в бой. Сам он консулом быть не хотел, но подбил своего родственника Домиция, мужа своей сестры.

— Это борьба не за должность, а за свободу римлян, — говорил он.

В конце концов Домиций сдался на свою беду.

Рано утром ни свет ни заря Катон явился к родственнику, вытащил его из постели и повлек на Форум. Было совсем темно. Домиций, Катон и несколько друзей пробирались по узким улочкам. Впереди шел служитель с факелом, освещая дорогу. Вдруг у самого спуска на Форум раздались крики, засверкали ножи и на них набросились люди с кинжалами. Первый удар достался несчастному факелonosцу, и он замятво упал на землю. «Потом получили удары и остальные, все бросились бежать». Но когда злополучный кандидат устремился вслед за всеми, дорогу ему преградил Катон. Вид его был ужасен. Он был ранен в шею, весь залит кровью, но ничуть не смирился.

— Надо остаться и до последнего дыхания не покидать поле битвы за свободу против тирании, — сказал он, зажимая рукой рану.

Домиций, однако, «не пожелал оставаться», замечает Плутарх. Вырвавшись из рук окровавленного родственника, он галопом понесся прочь, влетел в дом, запер дверь, наложил засовы и тут только перевел дух (*Plut. Cat. min.*, 41–42). Разумеется, Красс и Помпей стали консулами. На Катона же это ужасное происшествие подействовало, как на ретивого коня удар шпор. Он взвился на дыбы, закусил удила и ринулся в гущу боя. Снова он в одиночку сражался с целой толпой, забрасывающей его камнями; произносил речи от восхода до заката, его стаскивали с Ростр, он вырывался и взлетал на них снова, его волокли в тюрьму, а за ним бежал весь Форум.

Вдобавок к террору всюду царил подкуп. Он достиг таких чудовищных размеров, каких еще несколько лет назад никто не мог бы представить. Из лагеря Цезаря привозили целые мешки галльского золота. Столицу наводнили новые люди, отвратительные любимцы триумвиров, особенно Цезаря, та самая сволочь, которая, по словам Достоевского, выползает на свет Божий в переходный период. То были люди из самых низов, часто приезжие, иногда финикийцы, которые разбогатели благодаря Цезарю и готовы были на все ради своего хозяина<sup>[88]</sup>. Были тут известный уже нам раздутый зобом Ватиний, Бальб, но самым колоритным из всех был некий Мамурра. То был старинный приятель Цезаря, франт и ловелас. Они вместе кутили, вместе волочились за женщинами, когда же Цезарь уехал в Галлию, Мамурра отправился вместе с ним и заведовал в лагере инженерными работами. В Рим он воротился миллионером. Купил виллу, сады, построил великолепный дом, вернее, дворец из мрамора (*Plin. H.N.*, XXXVI, 48). «Надутый, сытый и лоснящийся» (выражение Катулла), он стал теперь законодателем мод, начал пописывать стихи. Но прославился он не своими сказочными богатствами и не творениями своей музыки. Бессмертие подарил ему Катулл.

Кружок молодых поэтов яростно напал на триумвиров. Они жалили их непрерывными эпиграммами. И особенно, конечно, Катулл. Чтобы дать хоть некоторое представление о неслыханной резкости его стихов, приведу несколько.

Кто это стерпит, кто не воспротивится,  
Когда не вор, не гаер, не похабник он!  
Своим добром зовет Мамурра Галлию,  
Богатую и дальнюю Британию.  
Распутный Цезарь — видишь и потворствуешь!  
Так, значит, вор, и гаер, и похабник ты?

----- —  
Затем ли, император знаменитейший, Т  
ы покорил далекий остров Запада<sup>[89]</sup>,  
Чтоб эта ваша грыжа непотребная<sup>[90]</sup>  
За сотней — сотню расточал и тысячу?  
Чудовищная щедрость, невозможная!

----- —  
Его ль страшиться галлам и Британии?  
.....Что может он  
Еще как не мотать и не похабничать?  
Неужли ж для того вы, победители,  
Вы, тесть и зять, разбили землю вдребезги?<sup>[91]</sup> (29).

Стихи эти в подлиннике удивительно звучные и певучие. И я не сомневаюсь, что уже через несколько дней весь Рим распевал стихи о Мамурре; их писали на стенах, строки из них вставляли в свои выступления ораторы. А вот второе, пожалуй, самое знаменитое стихотворение:

В чудной дружбе два подлых негодяя,  
Кот-Мамурра и с ним — похабник Цезарь!  
Что ж тут дивного? Те же грязь и пятна  
На развратнике римском и формийском<sup>[92]</sup>,  
Оба мечены клеймом распутства,  
Оба — гнилы и оба — полузнайки.  
Ненасытны в грехах прелюбодейных.  
Оба в тех же валяются постелях.  
Друг у друга девчонок отбивают<sup>[93]</sup>.  
В чудной дружбе два подлых негодяя! (57)

Стихи попали в цель. Цезарь был вне себя. Он твердил, что Катулл навек опозорил его этой эпиграммой. Он даже просил отца поэта, с которым был хорошо знаком, обуздать сына (*Suet Iul*, 73; *Tac. Ann.*, IV, 34). Но Катулл не унимался. Многие хохотали над его стихами. Но сам он готов был плакать от боли и отчаяния, видя, во что превращается Рим. Он писал:

Увы, Катулл, что ж умереть ты мешкаешь?

Водянка Ноний в кресло сел курульное,  
Ватиний — лжец бесчестит фаски консула.  
Увы, Катулл, что ж умереть ты мешкаешь? (52).

Кальв не отставал от друга. Он не только писал стихи, он едва ли не ежедневно привлекал мерзавцев к суду. С неистовой яростью он напал на Ватиния.

Но что же делал в это время Цицерон? И почему его мощный голос не присоединился к общему гневному хору? Сейчас мы подходим к одной из самых черных полос в жизни нашего героя.

Мы уже говорили, что Цицерон был возвращен из изгнания, когда Помпей разогнал шайку Клодия. Но, оказывается, сделал он это вовсе не даром. Между Крассом и Помпеем шли переговоры, к Цезарю в Галлию срочно выехали курьеры. В конце концов Помпей призвал Квинта и Аттика и объявил от имени остальных триумвиров, что они готовы вернуть Цицерона, но пусть его друг и брат поклянутся, что отныне оратор станет другом триумвиров. Рассуждать тут не приходилось — ведь Цицерон был в таком состоянии, что все опасались за его жизнь и разум. Клятва была немедленно дана. И вот теперь, когда Цицерон в сенате резко выступил против Ватиния и осудил политику триумвиров, Помпей, встретив Квинта, сказал ему с самым грозным видом:

— Если ты серьезно не поговоришь с братом Марком, расплачиваться придется тебе, ведь это ты ручался мне за него (*Fam.*, I, 9, 9).

И теперь Квинт напомнил нашему герою, как тот в отчаянии проклинал себя за то, что погубил брата и остальных близких. И вот они, эти близкие, вернули его в Рим с риском для жизни. Неужели он хочет заплатить им тем, что погубит их, теперь уже окончательно?

Наверно, ни одно чувство не было так сильно в Цицероне, как благодарность. Любая, самая незначительная оказанная ему услуга вырастала в его воображении до гигантских размеров. В дни своего изгнания он часто упрекал некоторых из своих друзей-сенаторов за их малодушие, даже трусость. Но на их фоне еще ярче блистала верность ему Аттика и Квинта. Он вспомнил, как брат ради него подвергся смертельной опасности, как лежал под грудой трупов. Неужели он отплатит ему черной неблагодарностью? По его словам, он стал мысленно беседовать с Республикой. Он напомнил, сколько услуг оказал ей когда-то, и умолял теперь позволить быть не только честным гражданином, но и честным человеком и отблагодарить своих спасителей (*Ibid.*).

Таким образом, Квинт стал как бы заложником, который и обеспечивал верность своего знаменитого брата. Расчет был верен — теперь стоило Цицерону взбунтоваться, как брат то со слезами молил его сжалиться над ним, то горько упрекал в неблагодарности. Горячо вторил ему и Аттик. Ему ровно ничего не угрожало, он боялся не за себя, а за Цицерона. Тем более что все выступления он считал при теперешнем положении вещей совершенно бесполезными и настойчиво советовал другу перестать переть на рожон и наконец утихомириться. План этот так хорош, что невольно подозреваешь в нем руку Цезаря, а не Помпея. Тем более что бедняге Сампсикераму досталась самая неблагодарная роль. Он ворчал, грозил, словом, разыгрывал из себя какого-то театрального злодея. А Цезарь в это время слал Цицерону самые любезные, самые ласковые письма. Он умолял прислать ему последние речи и стихи оратора. Успевал все прочесть между своими походами, восторгался каждым его словом. Он сразу же изъявил желание взять с собой Квинта, обласкал его и сделал доверенным своим офицером. Стоило кому-нибудь прибыть в его лагерь хотя бы с крошечной запиской от Цицерона, и ему обеспечен был самый радушный прием. Однажды Цицерон послал к нему своего друга, ученого юриста, который смутно представлял себе, что такое меч, и не знал, как держать в руке копье. И что же? Цезарь же благодарил оратора за то, что тот рекомендовал ему такого славного человека. При этом он мило пошутил, говорит Цицерон, — он сказал, что во всем его лагере доселе не было ни одного человека, который мог бы правильно составить повестку в суд (*Q.fr.*, II, 13, 2). Словом, он был очарователен и составлял приятный контраст с мрачным, надутым и обиженным Помпеем.

Итак, Цицерон стал пленником. Он перестал выступать против триумвиров и их клевретов. Вместо того чтобы обвинять Ватиния, как он думал поначалу, ему пришлось даже выступить в качестве его адвоката. Притом защищать от кого? От милого, честного и симпатичного Кальва. Сначала Цицерон пытался успокаивать себя. Он говорил, что уж лучше Помпей, чем анархия. Что Клодия все равно не победить мирным путем, а значит, остается только смириться. Он не выпускал из рук томик своего любимца Платона и в тоске пытался найти у него ответ на мучившие его вопросы. Платон писал, что нельзя применять насилие к родине, как нельзя применять его к родителям. Платон, говорит Цицерон, жил в то время, когда афинский народ уже почти потерял разум и впал в детство от старости. Он понял, что никакие слова убеждения не помогут, а насилие применять нельзя. И он отказался от государственной деятельности (*Fam.*, 1, 9, 18). Значит, образ действий самого Цицерона правильный. Он пытался

припомнить обиды, которые наносила ему римская аристократия, ее чванство, надменность, и говорил себе, что они сами виноваты, что его потеряли.

Увы! Оратор обладал столь острым и проницательным умом, что не мог долго себя обманывать. В письме к Аттику находим удивительную фразу: «Распростимся с честью, истиной, благородными принципами» (*Att.*, IV, 5, 1). Очень странные слова в устах Цицерона! Прежде всего он всегда был человеком строгой нравственности. Положим, мягкий, положим, уступчивый и податливый — но, безусловно, честный. Затем, он глубоко и страстно любил Рим. Эта любовь была столь же сильной, как любовь к Туллии. И потом. Как он всегда волновался о том, что о нем скажут через 600 лет! И вдруг такие слова. Может быть, он внезапно сделался негодяем и плутом? Но настоящие негодяи и плуты редко оповещают об этом окружающих. Нет, тут бравада. Он решился, но решения своего тут же испугался. Он летит в бездну очертя голову. Тут горечь отчаяния. И действительно. В следующем же письме другу у него неожиданно вырывается признание, что жизнь для него мука (*Ibid.*, 6, 1).

Он страдал. Совесть жестоко его мучила. Он, всегда так гордившийся своим поведением, теперь был вечно недоволен собой. Когда кто-то стал горячо хвалить его выступления в сенате, он сказал:

— Пусть другие соглашаются с моими высказываниями; сам я не могу с ними согласиться (*Q.fr.*, II, 13, 4).

Одному другу он пишет: «Ты понимаешь, как тяжело отказаться от своего мнения о государственных делах, тем более если мнение это истинно и обоснованно» (*Fam.*, I, 8, 2). Чтобы не думать, забыться, он работал как каторжный. В 54 году стояла дикая жара. Даже старики не могли припомнить более знойного лета. Все, кто мог, бежал из раскаленной столицы в прохладные рощи Лациума или на берег моря. А Цицерон сидел в Риме и выступал ежедневно (*Q.fr.*, II, 3, 1; 15; III, 1).

Как уже, наверно, заметил читатель, герой наш любил посетовать на судьбу и часто наполнял письма к брату и Аттику самыми горькими жалобами. Но теперь он был лишен даже этого маленького утешения. Всякий намек на скорбь звучал бы как упрек другу и особенно Квинту. И бедный Цицерон в беседе с ними напускает на себя бодрый, даже веселый вид. Я совершенно счастлив и спокоен, твердит он Аттику. Все отлично — он выступает в суде, занимается науками и семьей. А для него самое приятное — литература и тихие семейные радости. Остальное его не волнует. Гнев и скорбь замерли. «То место в моей душе, где находится желчный пузырь, как-то потеряло чувствительность. Меня радуют только

судебные дела и семейная жизнь. Ты найдешь во мне удивительное спокойствие», — уверяет он Аттика (*Att.*, IV, 18, 2). Однако чуть ли не на другой день в письме к брату его вдруг прорвало: «Признаюсь тебе в том, что я хотел скрыть, причем больше всего скрыть от тебя. Я тоскую, мой ненаглядный брат, я тоскую — нет больше государства, нет судов<sup>[94]</sup>. Я в том возрасте, когда мое влияние в сенате должно было достигнуть зенита, а я занимаюсь только тяжбами или литературой. А то, к чему я горел любовью с детства:

*Храбро сражаться всегда, превосходить в битве со всеми,*

как говорит поэт<sup>[95]</sup>, это погибло. Я не сражаюсь с врагами, некоторых даже сам защищаю; я не волен». Но тут же, как будто испугавшись, он прерывает себя и говорит, что брат не должен принимать его слова всерьез (*Q.fr.II*, 5, 4).

В другой раз он узнал, что умер один их общий знакомый. Цицерон с грустью беседует об этом с Атиком, и вдруг у него срывается признание, что он завидует покойному. «Ибо, что может быть гаже, чем наша теперешняя жизнь. Особенно моя» (*Att.*, IV, 6, I). В письме к приятелю он пишет: «Клянусь, я не считаю гражданином того, кто может смеяться в наше время» (*Fam.*, II, 4, I). Он успокаивает одного своего друга. Главное, говорит он, чтобы не было гражданской войны и резни. А то, что раньше составляло смысл нашей жизни — «с достоинством высказывать свое мнение и быть свободным в делах государственных, — все это ныне погибло. И для меня не более, чем для других. Надо или без всякого достоинства поддакивать немногим, или противоречить им без всякого толка... О достоинстве же консуляра, мужественного и твердого сенатора, нечего и думать. Этого уж нет» (*Fam.*, I, 8, 2–3). Согласитесь, довольно унылое утешение!

Вдобавок, его то и дело упрекали и с возмущением спрашивали, отчего он ведет себя так малодушно. Он с горечью резюмировал эти упреки в письме к Атику: «Если я говорю о государственных делах как *должно*, меня считают помешанным. Если как *нужно* — рабом. Если я молчу — униженным пленником. Какое же отчаяние я должен испытывать» (*Att.*, IV, 6, 2). Впрочем, он не утратил чувства собственного достоинства. Один цезарианец написал против него памфлет, очень ругательный и очень хлесткий. Возмущенный Квинт советует немедля отвечать хулителю. «Я удивляюсь, — пишет ему Цицерон, — что ты хочешь, чтобы я отвечал на

его речь. Ведь ее никто и читать не станет, если я ничего не напишу в ответ. А мою речь против него все школьники будут заучивать, как продиктованный урок!» (*Q.fr.*, III, I, II).

Все, что прежде так радовало его, стало безразличным. Он равнодушно смотрел на то, как ему бешено аплодируют в театре. Брат сообщает, что Цезарь готовит ему новые милости, Цицерон отвечает, что от всего сердца благодарит и Квинта, и Цезаря, но уже не хочет ни почестей, ни славы (*Q.fr.*, I, 5, 3). И он твердо заявил, что отныне, как и его учитель Платон, не станет вмешиваться в государственные дела.

И тогда-то, среди этой беспросветной тоски он, говоря словами Толстого, понял, что есть у него держава, независимая ни от Цезаря, ни от Помпея. И держава эта — творчество. Прежде он творил только в суде. Но сейчас все это было отравлено. Оставалась литература. Ей он и решил посвятить себя всецело.

### ***В Тускуланской усадьбе. Сочинения. Рай и ад***

Так принял он решение, которое столько веков благословляло европейское человечество. Некоторые наиболее пылкие его поклонники благословляли саму римскую смуту, ибо, говорили они, не будь этой смуты, Цицерон так бы всю жизнь и занимался скучной политикой и никогда не взялся бы за перо. Само место, где он творил, стало для Европы святыней, куда отправлялись паломники. Не говорю уже о Возрождении, когда Цицерона боготворили. Но даже Байрон и Диккенс, прибыв в Италию, поспешили поклониться Тускулуму.

Цицерон не мог работать в столице — его отвлекали тут буквально каждую минуту. Едва он открывал глаза, как слышал за дверью глухое жужжание — это были толпы людей, пришедших пожелать ему доброго утра. И всех их надо было обласкать и приветить. Потом следовало показаться на Форуме, потом были заседания в сенате. Потом заглядывали приятели, чтобы поболтать, обменяться новостями и поругать правительство. И вот уж вечер. А ведь он еще чуть ли не ежедневно выступал в суде, так что речи ему приходилось готовить по ночам. Нечего было и думать сосредоточиться среди этой толчеи и суеты. Поэтому Цицерон уединялся в какой-нибудь из своих загородных вилл, где его окружали лишь зеленые рощи да любимые книги. Его неизменно сопровождали верный Тирон и *малышка*, как он называл Туллию. С ней он делился своими творческими замыслами, она была его первой

слушательницей. У Цицерона было много загородных домов. Но больше всего он любил Тускулум.

Этот маленький сельский городок расположен был среди Альбанских рощ и холмов. С одного из них как на ладони виден весь Лациум. Это место, по словам Цицерона, обладало удивительным свойством — как только туда приедешь, все заботы от тебя отлетают и на душу нисходят мир и покой. «Только здесь я отдыхаю от всех невзгод и трудов», — пишет он Аттику (*Att.*, 1, 5, 7). В одном своем диалоге он рисует людей, приехавших из столицы отдохнуть в Тускулум. Они измучены, издерганы, подавлены государственными заботами. И сначала ни о чем, кроме этих забот, они и говорить не могут. Но постепенно сам воздух Тускулума словно очищает их души. Они отходят, светлеют и вот уже смеются и шутят. И, выздоровевшие и окрепшие, они садятся на зеленой лужайке под раскидистым платаном, и начинается отвлеченная беседа (*De or.*, I, 26–28).

Цицерон всю жизнь украшал свою тускуланскую виллу. И не просто украшал — он мечтал перенести сюда, в сердце Альбанских холмов, Платонову Академию. Вокруг дома он разбил такие же сады, как в Афинах, построил такой же гимнасий и такую же палестру. Он купил в Греции статуи и барельефы, и они стояли теперь вдоль аллей и колоннад. Он часто так и называет теперь Тускулум — Академия. Здесь можно было отдыхать под тенистыми платанами, вроде тех, которые описаны в Платоновом «Федре», а в самый зной укрыться в крытой галерее (*Att.*, I, 11, 3; 8, 9; 10, 3; 9, 2; 6, 2). Гордостью Цицерона была его библиотека. Он был страстный библиофил и с ранней юности собирал книги. Он покупал все заинтересовавшие его свитки. Когда же у него не хватало денег, он приходил в отчаяние и трогательно упрашивал своих приятелей не продавать пока книги — когда он разбогатеет, то непременно их купит. Книги он называл своими друзьями. Как раз в описываемое время он поехал на несколько дней в ПUTEОЛЫ, приморский курорт, славившийся купанием, водами и морскими деликатесами, особенно устрицами. Он пишет оттуда Аттику: «Я здесь просто обжираюсь... библиотекой Фавста. А ты, верно, подумал — лукринскими устрицами... Науки утешают и воскрешают меня. И я предпочитаю сидеть здесь в твоём маленьком кресле под статуей Аристотеля, чем в их курульном кресле» (*IV*, 10, 1).

В Тускулуме и происходит действие первого сочинения Цицерона. Называется оно «Об ораторе» и посвящено искусству красноречия. Это, конечно, не должно было никого удивить. Естественно, что знаменитый оратор, достигнув вершины славы, захотел передать свой опыт молодому поколению. Все, разумеется, ожидали, что это будет некое пособие по

риторике, где объясняется, как строить речь, как вызвать у слушателей гнев, жалость или смех, а для иллюстрации приводятся примеры из каких-нибудь выдуманных, а подчас и реальных дел. Как же должны были изумиться современники, открыв книгу Цицерона!

Это совсем не пособие, не учебник и даже не трактат по риторике. Тут нечто совсем другое. Цицерон оживляет перед читателем картину далекого прошлого — одно из самых сладких для него и в то же время мучительно-грустных воспоминаний. Он рисует своего учителя Красса Оратора, в которого был влюблен в юности. Осень 91 года. Жить Крассу осталось несколько дней. Но он об этом не подозревает. Он весел и полон сил. На праздничные дни — последние в своей жизни! — он уезжает на свою любимую Тускуланскую виллу. К нему приезжают Антоний, Катул, Юлий, Сульпиций — словом, все те, перед которыми так благоговел в дни юности Цицерон. Все они обречены. Через несколько месяцев грянет революция, польются потоки крови и их головы лягут на Форуме. И вот они, ни о чем не догадываясь, безмятежные и спокойные, прогуливаются по тенистым садам Тускулума, и начинается у них увлекательный разговор о природе красноречия.

Но дело даже не в тех умных и интересных мыслях, которые они высказывают. Дело в самом Крассе. Его фигура стоит в центре рассказа. Некогда Цицерон в уме своем создал образ небесного оратора, оратора из мира идей Платона. Образ этот многим казался нереальным, фантастическим. И вот сейчас этот идеал воплотился в живого человека — Красса. Он сам олицетворяет собой великое искусство красноречия. Он артист до мозга костей, артист в каждом слове, в каждом жесте. Только глядя на него, мы понимаем, что такое красноречие.

Цицерон признается, что ему было больно писать о тех днях. «Горечь воспоминаний оживила во мне старую и тяжелую печаль. Ибо не прошло и десяти дней, как Люций Красс, с его поистине бессмертным дарованием... был унесен неожиданной смертью» (*De or.*, III, 1). И Цицерон вспоминает свое детское отчаяние, вспоминает, как, войдя в пустую Курию, он трогал скамью, на которой последний раз сидел Красс. Но теперь через много лет все представлялось ему в ином свете. «По-моему, Красс, тебе были дарованы свыше и блистательная жизнь, и своевременная смерть, ибо... тебе пришлось бы быть свидетелем похорон отечества». Не увидел он и «этого общества, где все извращено... Он жил одной жизнью с Республикой и погиб, когда она погибла» (*De or.*, III, 8—12). Смерть Красса совпала с «похоронами» Республики. И та тьма, которая упала на Рим после его смерти, делает еще ярче свет, озаряющий кружок этих мирно

беседующих людей. Это свет заката. Мы видим не только последний день Красса, но и последний день Рима. Это и придает особое грустное очарование диалогу.

Почти сразу же Цицерон приступил к следующему сочинению. Давалось оно ему нелегко. Он все время был недоволен. Рвал уже законченный текст и начинал сызнова (*Q. fr.*, III, 5, 1). «Я пишу то сочинение, о котором тебе говорил, — сообщает он брату, — книгу «О государстве». Это тяжелый и вязкий труд. Но, если получится то, что я задумал, мои усилия не пропадут даром. Если же нет — я брошу его в море, на которое смотрю, когда пишу»<sup>[96]</sup> (*Q. fr.*, 11, 12, 3). И «его усилия не пропали даром». Книга «О государстве» — наверно, самое знаменитое из всего, что он написал.

Тут передо мной встает следующая трудность. Сочинения Цицерона читали и перечитывали. Писали и пишут целые трактаты о юридических, политических и философских взглядах Цицерона. Ясно, что произведения эти глубокие и многоплановые. И в этой главе я просто не в состоянии охватить все эти проблемы. Да я и не чувствую себя достаточно компетентной. Поэтому я остановлюсь только на одном их аспекте, аспекте религиозном.

В трактате «О государстве» Цицерон вновь обратился мыслью к мечтам своей юности. В те далекие годы, когда он был учеником Сцеволы Авгура, он очень любил слушать рассказы своего старого учителя о прошлом. Сцевола, как это часто бывает с пожилыми людьми, постоянно вспоминал свою молодость и тех людей, которые его тогда окружали. И один из этих людей поразил тогда воображение мальчика. Это был Сципион Эмилиан, великий полководец и прекрасный оратор, истый римлянин нравом и эллин по образованию, человек благородный и великодушный. Он сделался любимым героем юного Цицерона. Он воображал себе целые картины из его жизни, мечтал, что будет с годами на него похож. Вот этого-то человека и сделал оратор теперь героем своего диалога. У него на вилле собираются друзья, самые знаменитые и ученые люди Рима. И между ними возникает разговор о природе государства<sup>[97]</sup>.

Греческая политическая наука выделяла три так называемые *правильные* формы государства: *монархия* — законная власть одного человека, *аристократия* — власть избранного совета и *демократия* — власть всего народа, соблюдающего собственные законы. Но все эти формы кажутся Сципиону и его друзьям несовершенными. Во-первых, они несправедливы. При царской власти все вершит один, народ же

совершенно устранен от управления. При аристократии граждане, правда, выбирают своих руководителей, но они совершенно не участвуют в принятии важных решений. При демократии же предполагается полное равенство в управлении, а «само это равенство несправедливо», так как люди неравны от природы. Во-вторых, каждое такое государство находится словно на вершине крутого обрыва: минута — и все полетит в бездну. Ведь монархия превращается в деспотическое правление, ибо в самом лучшем, самом мудром царе сидит свирепый деспот. Либо он изменится сам, как случилось с многими правителями, испорченными чрезмерной властью; либо ему наследует недостойный преемник. Аристократия вырождается в господство знатных или, что еще хуже, богатых. Народ ежегодно голосует. Но это фактически выборы без выбора. Граждане выбирают тех, которых надо выбрать. Что же до демократии, то она скатывается к господству толпы, *охлократии*, а это самое ужасное. Ибо нет тирана страшнее, чем взбесившаяся чернь. Вскоре вожаки народа захватывают неограниченную власть. Так «из величайшей разнузданности, которую они почитают единственной свободой», вырастает тирания (Cic. *De re publ*, I, 43–47; 68). Однако, говорит Сципион, все-таки можно построить справедливое, долговечное и разумное государство. И это государство не идеал, не фантазия философа. Нет, это реально существующая римская Республика, в которой власть равномерно распределяется между монархическим элементом, выраженным властью ежегодно переизбираемых народом консулов, аристократическим — сенатом и демократическим, то есть народным собранием. Иными словами — между элементами всех трех правильных форм, которые находятся в равновесии. И Сципион шаг за шагом рассматривает римскую историю и римские политические учреждения и объясняет их смысл<sup>[98]</sup>.

Можно себе представить, как интересны были все эти рассуждения для современников Цицерона, которые, видя гражданские бури, потрясавшие Рим до самых основ, не раз, должно быть, с тоской спрашивали себя, в чем их смысл и где же спасение. Но все-таки не эти мысли привлекали поколения людей, которые жадно читали книги Цицерона в то время, когда уже почти не помнили о республике и совсем не интересовались политикой. Что же более всего влекло этих людей? Последняя книга диалога, которая получила название «*Сон Сципиона*».

В конце беседы Сципион рассказывает друзьям чудесный сон, который он видел в ранней юности, когда к нему не снизошла еще слава. Тогда он простым воином прибыл в Африку, еще не подозревая, на какую головокружительную высоту вознесет его там судьба. Тотчас он отправился

к нумидийскому царю Масиниссе, старому другу своего деда Сципиона Старшего. Царь принял его как родного сына; он вспоминал свою юность, и они полночи проговорили о Сципионе Старшем. Наслушавшись рассказов об этом великом герое, Эмилиан наконец заснул в одной из комнат дворца среди экзотической роскоши. Тут и посетило его необыкновенное видение.

Внезапно он услышал голос, назвавший его по имени. Открыв глаза, он увидел, что перед ним стоит тот, о ком рассказывал Масинисса — сам Великий Сципион — именно такой, каким он всегда представлял его себе. Эмилиан содрогнулся, но дух полководца ободрил его и поднял на воздух. Они поднимались все выше и очутились наконец среди звезд в круге, полном ослепительного света. То был Млечный Путь. Отсюда им видна была как на ладони вся Вселенная. Она представляла собой величественный храм, посреди которого висел земной шар. «Все казалось мне прекрасным и изумительным. Звезды были такими, какими мы их отсюда никогда не видим, и такой величины, какой мы не могли и подозревать. Звездные шары намного превосходили величиной Землю. Сама же Земля показалась мне такой крошечной, что мне стало обидно за нашу державу, которая занимает на ней, как бы точку». Звезды окружали их отовсюду. Это были живые, прекрасные и разумные существа. Кругом гремели аккорды какой-то божественной музыки.

— Что это за звуки, такие дивные и такие сладостные? — спросил Эмилиан.

— Музыка сфер, — услышал он в ответ.

Это гармония, образующаяся от вращения всего мира. И нет звуков прекраснее. Слышать ее грубым земным ухом нельзя. Но «ученые люди, подражая ей в мелодиях струн и пении, открыли себе путь вернуться сюда, как и те, кто наделен был талантом и в земной жизни занимался науками, внушенными богами». Растерянный и оглушенный всем увиденным и услышанным, Эмилиан нашел наконец силы спросить у своего таинственного вожакого, живы ли все те, кого называют умершими, и жив ли сам Сципион.

— Конечно, — отвечал он. — Те, кто вылетел из оков своего тела, словно из темницы, живы. А то, что вы называете жизнью, — это смерть. Но почему ты не глядишь на отца своего Павла, вот он подходит к тебе?

И тут Эмилиан увидел своего горячо любимого отца, который скончался 11 лет тому назад. Он залился слезами, но в следующую минуту был уже в объятиях отца. Несколько времени Эмилиан не мог побороть своего волнения и сдержать льющие слезы. Овладев собой, он спросил:

— Отец, если это и есть жизнь, как я услышал от Публия Африканского, зачем же я медлю на Земле? Почему не спешу прийти сюда, к вам?

— Нет, — отвечал он, — только когда тот бог, которому принадлежит этот храм, что ты видишь, освободит тебя от оков тела, тебе откроется путь сюда. Ведь люди рождены, чтобы оберегать тот шар, который ты видишь в центре этого храма и который называется Землей. А душа дана им из тех светил и огней, которые вы зовете звездами. Поэтому, Публий, тебе и всем благочестивым людям подобает удерживать душу в оковах тела. Без дозволения того, кто эту душу дал, уйти из человеческой жизни нельзя — таков долг, возложенный на вас богом».

И главный наш долг — это долг перед родиной. «Всем, кто спас отечество, помог ему, укрепил, предназначена на небе обитель, чтобы они вечно пребывали там в блаженстве. Ибо ничто не угодно так верховному богу, который правит миром — во всяком случае из того, что происходит на Земле, — как собрание и общества людей, связанных правом; эти сообщества называются государствами. Те, кто сохраняют и направляют эти общины, спускаются на землю отсюда и сюда же возвращаются... Если ты захочешь... лицезреть это место и этот вечный дом, не думай о человеческих наградах за свои поступки — пусть сама доблесть будет тебе наградой и влечет к истинному достоинству».

В заключение Сципион говорит:

«— Запомни: смертен не ты, а твое тело. Ведь ты не эта оболочка. Человек — это его разум, а не та форма, на которую можно показать пальцем. Поэтому знай: ты — бог, если бог тот, кто живет, кто чувствует, кто помнит, кто предвидит, кто управляет, кто повелевает и движет телом, которое ему дано, так же, как нашим миром управляет верховный бог. И подобно тому, как миром, который отчасти смертен, движет вечный бог, так и бrenным телом движет вечная душа... Упражняй себя в добрых делах. Самые благородные мысли — это заботы о благе родины. Тот, чей дух к этому стремится, кто потружен в эти заботы, взлетит легко в небесную обитель и этот чертог...

Он удалился и я проснулся» (*De re publ.*, VI, 9—29).

Таков знаменитый «Сон Сципиона». Он оказал огромное влияние на европейское человечество. Его комментировали и языческие ученые, и христианские Отцы Церкви. Данте подражал ему, Петрарка перелагал в своей «Африке». Буркхардт рассказывает, какое удивительное впечатление производил «Сон Сципиона» на людей Возрождения. «Эти языческие небеса... — говорит он, — вытесняли христианские небеса». И свои

надежды на бессмертие они основывали уже не на Священном Писании, а на «Сне Сципиона»<sup>[55]</sup>. Нет никакого сомнения, что Шекспир думал об этом же видении, когда писал:

Взгляни, как небосвод  
Весь выложен кружками золотыми;  
И самый малый, если посмотреть,  
Поет в своем движенье, точно ангел,  
И вторит юнооком херувимам.  
Гармония подобная живет  
В бессмертных душах; но пока она  
Земною грязной оболочкой праха  
Прикрыта грубо, мы ее не слышим.

*(«Венецианский купец»)*

Гофман рассказывает, что прочел «Сон Сципиона» еще ребенком. Он произвел на него неизгладимое впечатление. «Я, помню, убежал иной раз в светлые лунные ночи из дому и прислушивался, не донесет ли ветер до меня отголоски тех чудных звуков»<sup>[56]</sup>.

И подобное восхищение понятно. Я не знаю другого произведения, которое столь решительно отрясает от себя прах земной. Ни одна чувственная, эгоистическая мысль не примешивается к блаженству праведных. «Сон Сципиона», словно стрела, устремленная в небо к звездам. А прозрачный, торжественный язык создает полную иллюзию того, что мы сами побывали на Млечном Пути, осыпаны звездным светом и приобщились к блаженству праведных.

Тут встает один очень интересный вопрос. В чем заключаются муки грешников, для человечества не составляет загадки. Мы прекрасно представляем их себе по аналогии с нашими лагерями и застенками. Но, по выражению Лермонтова, «нам небесное счастье темно». Каково будет то блаженство, которое вознаградит праведника за все страдания земной юдоли? Это каждый представляет в соответствии со своими вкусами и фантазией. У мусульман, например, праведные попадают в роскошные сады с пальмами и гранатами, где нет ни палящего солнца, ни мороза и царит густая тень. Там текут реки из вина, меда и молока, которое никогда не скисает. Избранники Аллаха лежат на ложах с парчовыми подкладками и зелеными подушками; на них зеленые одеяния из сундуса и парчи и ожерелья из серебра. Им прислуживают вечно юные отроки, «подобные

рассыпанному жемчугу». Они обходят пирующих с чашами и кубками из хрусталя. Вино имеет вкус имбиря, и от него никогда не болит голова. Обитатели райского сада едят плоды и птичье мясо. А вокруг них гурии, «черноокие, большеглазые, подобные жемчугу», «которых не коснулся еще ни человек, ни джинн». Они вечно остаются девственницами, хотя ежедневно услаждают праведников. «Поистине, — восклицает пророк, обращаясь к мусульманам, — это для вас награда, и усердие ваше отблагодарено!» (Коран, 56: 11–37(38); 47: 15(16)-17; 76: 11–22; 55: 46–78; пер. И. Ю. Крачковского)<sup>[57]</sup>.

А у скандинавов павшие на поле боя герои попадали в Вальгаллу, чертоги Одина. Жизнь их совсем не похожа на жизнь мусульманских святых. «Всякий день, лишь встанут, облакаются они в доспех и, выйдя из палат, бьются и сражаются друг с другом насмерть. В том их забава. А как подходит время к завтраку, они идут обратно в Вальгаллу и садятся пировать» вместе с самим Одином. Едят они всегда одно и то же — мясо вепря по имени Сэхримнир. Каждый день его варят, а к вечеру он снова воскресает. Мясо они запивают пивом<sup>[58]</sup>. И эти боевые утехы для них — самое сладостное наслаждение.

А в чем же заключается блаженство праведников согласно Цицерону? Они внимают музыке сфер, заключающей в себе тайны мироздания. Ведь вся земная поэзия, музыка, науки — это лишь ее отголоски. Они беседуют с прекрасными и мудрыми звездами и постигают планы Бога. Это еще яснее сказано в написанном несколько лет спустя диалоге «Тускуланские беседы». Сбросив земные оковы, душа летит ввысь, подобно птице, и возносится на небо. Там, освободившись от всяких мелочных забот повседневной жизни, она всецело отдается познанию мира. Ибо «от самой природы заронена в наши умы некая ненасытная жажда истины». А при виде дивно прекрасных мест, куда попадет душа, в ней зажжется неугасимая жажда познания. Ведь именно красота окружающего мира еще здесь, на земле, пробудила в нас страсть к знаниям. Нас поражает вид морских заливов или ревущего океана. «Каково же должно быть зрелище, когда предстанет нам вся земля с ее положением, видом, очертаниями?» Ведь видим и слышим мы не глазами и не ушами. Часто бывает, что, глубоко задумавшись, мы не видим и не слышим того, что перед нами. Между тем наши глаза и уши вполне здоровы. Дело в том, что это лишь окна, через которые созерцает мир наша душа. Но окна эти часто замутнены. Какое же дивное зрелище откроется душе, когда между ней и вселенной не будет этих тусклых окон! (Тух., I 44–48).

Итак, не наслаждения, не битвы, а познание истины будет наградой праведникам на небе. Поистине удивительная мысль! Но я думаю, их жизнь еще интереснее.

«Сон Сципиона» завершает собой диалог «Государство». Начинается трактат рассуждениями о земной общине людей, связанных правом. Главное для членов этой общины — чувство долга. Заканчивается же он рассказом об общине небесной, о сонме праведных, обитающих у Млечного Пути. И эти две общины связаны. Охранители общины земной спускаются на землю из общины небесной. Выполнив свое дело, они возвращаются на небо. Далее. Главная обязанность людей земной общины — это беречь землю. Напрашивается вывод: а не должны ли граждане небесной общины оберегать небо и помогать богам в управлении Вселенной? Думаю, что это именно так и, вероятно, об этом прямо было сказано в недошедших частях «Сна Сципиона». Именно так понял Цицерона Данте, который поместил своих праведников на светила, которые они вращают.

Я вижу подтверждение тому в следующем. Примерно в то же время, как был задуман диалог «О государстве», Цицерон произносит, а потом издает речь в защиту Сестия<sup>[99]</sup>. Многие пассажи в этой речи перекликаются с «Государством», совпадения иногда почти дословны<sup>[59]</sup>. Поэтому отрывки из речи в защиту Сестия, говорящие о душе, можно рассматривать как первый вариант Сципионова видения. И вот в этой речи Цицерон говорит, что те, кто идет трудной тропой добродетели, должны избрать для себя образцами Сципионов, Эмилиев — то есть как раз героев «Сна Сципиона» — и других великих римских героев. «Я уверен, что они находятся в числе богов и в их *совете* (*immortalium coetu ac numero*)» (*Sest.*, 143; курсив мой. — Т. Б.). В совете богов — значит они действительно участники замыслов Творца и его помощники в управлении вселенной. Таким образом, небесная обитель Цицерона — это рай поэтов, ученых и тех, кто отдал жизнь служению государству. Наградой им служат сами добрые и прекрасные поступки, познание высшей истины и высшей красоты и участие в планах Творца.

Но какова же судьба грешников? Тех, кто не достоин того, чтобы войти в собрание небожителей? Ведь картина райского блаженства всегда дополняется страшными описаниями адских мук. У Платона, которого так любил Цицерон, жребий грешников был суров. Вот как описываются их муки. «Люди с огненным обличем» бросились на них, «связали по рукам и по ногам, накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них

кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам» (*Plato. De re publ*, 615 D — E). Эти огненные люди настолько напоминают чертей, что невольно перед нашими глазами встают иллюстрации Доре к Дантовому «Аду».

У Вергилия Эней попадает в потусторонний мир. Он видит Элизиум, где пребывают души праведных, видит и ад, где томятся злодеи. «Слева под утесом он увидал крепость, окруженную тройной стеной. Стремительный Флегетон обнимает ее бурными огненными потоками... Напротив ворота с колоннами из цельного адаманта; мощь их не одолеть ни человеку, ни даже небожителю во всеоружии. До неба вздымается железная башня; день и ночь, не зная сна, стережет вход Тисифона<sup>[100]</sup> в подпоясанном плаще, мокром от крови. Оттуда слышатся стоны и свист свирепых бичей, лязг железа и звон оков» (*Verg. Aen.*, VI, 548–558). Современник Цицерона поэт Лукреций говорит, что его соотечественников мучит страх перед загробным наказанием, которое ожидает душу, когда она спустится «к пустынным озерам сумрачного Орка». Этот страх, по его словам, «мутит человеческую жизнь до самого дна, застилая все смертной тьмой и не оставляя ни одной светлой и чистой радости». Вот почему, говорит он, особенно богатые приношения в храмы делают разбойники: они надеются купить себе прощение у неба (*Lucr.*, I, 110–115; III, 37–40; 90–93).

Между тем мы с удивлением обнаруживаем, что в «Государстве» Цицерона нет описания загробных мук. Автор ограничивается следующими скупыми словами: души злодеев, говорит он, «выскользнув из тела, летают вокруг Земли и возвращаются сюда (то есть на Млечный Путь. — Т. Б.) только после многих веков блужданий» (VI, 29). Этого явно мало. Быть может, подробнее об аде говорилось в недошедших до нас частях Сципионова сна? В поисках ответа мы обращаемся к другим произведениям Цицерона. Тут мы узнаем поразительную вещь. Оказывается, Цицерон, который так горячо верил в бессмертие души, Цицерон, автор «Сна Сципиона», не верил в ад. Загробные муки он называет нелепейшей выдумкой поэтов, которую стыдно повторять даже какой-нибудь полоумной старухе (напр. *Cat.*, IV, 8; *De nat. deor.*, II, 5). Но в таком случае какое же наказание ожидает грешников? И Цицерон высказывает поистине удивительную для европейца мысль. Единственной наградой за хороший поступок, говорит он, является само сознание содеянного тобой добра. А единственным наказанием за дурное дело — причиненное тобой зло. «Ко всякому благородному поступку надо стремиться ради него самого... Справедливость не нуждается ни в плате, ни в награде: к ней надо стремиться ради нее самой... Ведь это величайшая

несправедливость — требовать плату за справедливость» (*Leg.*, I, 48–49). Когда в диалоге «О государстве» один из собеседников сетует, что герой, спаситель Республики, не получил никакой награды от отечества, то слышит суровый и спокойный ответ Сципиона Эмилиана: «Для мудрого человека само сознание того, что ты совершил прекрасный поступок, есть высшая награда за доблесть» (*De re publ*, VI, 8).

Точно так же от греха должны удерживать не муки — земные или загробные, все равно. Цицерон говорит, что ему стыдно за мыслителей, которые утверждают, что стези добродетели надо держаться из страха перед наказанием. «Значит, страшные телесные уродства будут вызывать у нас отвращение, а душевные не будут? Тех, которые обладают каким-нибудь пороком или тем более многими пороками, мы называем *несчастливыми*; разве оттого, что они понесли какие-либо убытки, муки, а не из-за отвращения к самим этим порокам?» (*Leg.*, I, 50–51). Нет. Не страх наказания, а ужас перед грехом должен удерживать от зла (*Leg.*, I, 40). Любопытно, что этот взгляд возмущал ранних христиан. Лактанций говорит, что Цицерона можно назвать почти совершенным христианином. Но в этом одном пункте, по его словам, Туллий заблуждался. «Без надежды на бессмертие, которое Бог обещает своим верным, было бы величайшим неразумием гоняться за добродетелями, которые приносят человеку бесполезные страдания и труд» (*Lact. Div. inst.*, IV, 9).

Грешники терпят наказание не в аду, а здесь на земле. Но как же так? Разве мы постоянно не видим злодеев в золоте и пурпуре? Они богаты, довольны, окружены раболепной лестью и мирно оканчивают дни в своей постели, оплаканные домашними. Это ли Божья кара? Где же мировая справедливость? Именно этот вопрос задает Цицерону в диалоге «О законах» его брат Квинт. Оратор отвечает ему:

— Мы неправильно понимаем, Квинт, что такое Божья кара. Мнение же обывателей сбивает нас с толку, и мы не видим истины. Мы почитаем несчастьем для человека смерть, телесную боль, душевные страдания и судебные приговоры. Спору нет, такова человеческая участь, она выпадала на долю многим достойным людям. Но наказание за преступление мрачно — это самое страшное, что может быть на свете (*Leg.*, II, 43–44).

Что же это за страшное наказание?

По роду своей деятельности Цицерон много общался с преступниками и мог изучить этот сорт людей. И он сделал очень важное для себя открытие. Он заметил, что *преступление всегда сопровождается душевной болезнью*. Он, например, неоднократно отмечал совершенно необъяснимые, просто бессмысленные поступки Верреса; они-то и привели его к гибели. И

оратор объясняет их безумием, овладевшим Верресом после совершенных преступлений (*Verr.*, II, 1, 7–9; II, 5, 73; 139). «Очевидно помешательство, обыкновенно сопутствующее... преступлениям, обуяло его... сердце» (II, 5, 139). «Подстрекаемый безумием, которое овладело им вследствие его преступлений» (II, 5, 73).

Но отчего же преступник сходит с ума? Дело в том, что он испытывает непрерывные мучения, которые в конечном итоге полностью разрушают его личность. Терзают же его мысли о содеянном. Сознание преступления «мучит его и лишает рассудка... Все это не позволяет ему успокоиться от овладевшего им помешательства» (*Verr.*, II, 1, 7). Это очень странное состояние. Не раскаяние, не угрызение совести, как можно было бы подумать. Раскаяние как раз благотворно и приводит человека к добру. Между тем обезумевший преступник не только не идет к добру, а творит все новые и новые злодеяния, одно страшнее другого. Цицерон вспоминает, что поэты часто рисуют нам преступников одержимыми безумцами. Например, Орест у Эсхила убивает родную мать и тотчас же являются страшные призраки, *фурии*<sup>[101]</sup> с пылающими факелами в руках. Они гонят свою жертву, жгут ее факелами, пока она совсем не обезумевает. Эти фурии с жгучими факелами лишь поэтическое олицетворение мучительных мыслей, которые жгут мозг преступника (*Leg.*, I, 40). «Не верьте тому, что вам не раз случалось видеть на сцене — что совершившего... преступление преследуют и пугают фурии с горящими факелами, — нет, ничто не терзает его, как сознание его вины, его *страх перед собой*; его мучают воспоминания о его грехе... Вот — те богини мщенья» (*Rose. Amer.*, 67). Преступники, говорит Цицерон Квинту, могут подкупить суд людской, но они не уйдут от суда Божьего. Их «гонят и преследуют фурии, но не с пылающими факелами, как в мифах, они мучат их тоской от сознания греха» (*Leg.*, I 40; II, 43).

И особенно ярко эти муки, это безумие видны у Клодия. Все его метания, крики — это стоны боли, вопли безумия. «Какая кара, посланная бессмертными богами, может быть ужаснее помешательства, безумия? Неужели ты полагаешь, что те герои трагедий, которые на наших глазах мучаются и гибнут от боли и ран, несут более тяжкую кару бессмертных богов, чем те, которых изображают безумными? Нет. Стоны и вопли Филоктета не так жалки... как дикие прыжки Афаманта<sup>[102]</sup> и бред матереубийц. Когда ты в народном собрании выпускаешь бешеные вопли, когда рушишь дома граждан, когда камнями прогоняешь честных людей с Форума, когда бросаешь зажженные факелы на крыши соседям... когда не

различаешь сестры и жены... тогда ты несеешь ту единственную кару, которую бессмертные боги установили за человеческие преступления... Стрелы богов вонзаются в мозг нечестивцев» (*Nat.*, 39).

Более всего поражает меня в этих рассуждениях их сходство с «Преступлением и наказанием». Прямо кажется, что Цицерон кратко рассказывает содержание романа Достоевского. Как помнит читатель, Раскольников еще до убийства очень интересовался проблемой преступления. Он пришел к выводу, что оно всегда сопровождается душевной болезнью. Он надеялся, что в его случае все будет иначе, ибо он не совершает преступления. Но он жестоко ошибся. Рассудок его стал мешаться сразу после убийства. Он постоянно находится в состоянии полубреда, страдает, не может ни с кем говорить, на него находят приступы необъяснимой ярости. Его врач Зосимов не сомневается, что он сошел с ума. Именно благодаря этому он выдает себя перед следователем. Интересно и другое. Раскольников испытывал жгучие страдания и в то же время ни разу он не ощутил угрызения совести. Он даже тоскует по ним, уверенный, что они облегчили бы его душу. В конце концов он понимает, что единственный для него выход — выдать себя властям. Как тут не вспомнить Цицерона, который, описав состояние преступника, замечает: «Ему осуждение может быть отрадно» (*Verr.*, II, 1, 9; *cp. Cat.*, IV, 8).

\*

Все эти мысли изложены в диалоге Цицерона «О законах». Он задуман как продолжение «Государства». Если в первом диалоге исследуется Римское государство, во втором изучаются его законы. Как всегда у Цицерона, дело происходит в деревне, в одном прелестном уголке Лациума. Цицерон прогуливается вместе со своим братом и Аттиком. Друзья просят оратора прочесть им лекцию о праве. И вот они располагаются на тенистом берегу Лириса среди пения птиц и журчания вод. Цицерон начинает, прямо скажу, необычно.

Прежде всего он спрашивает Аттика:

— Согласен ли ты с нами, Помпоний (ведь мнение Квинта я знаю), что природой правят воля, разум, власть, мысль, веление... бессмертных богов?.. Именно с этого лучше всего начать рассмотрение вопроса.

Хотя Аттик был эпикурейцем, которому положено было все это отрицать, он тут же соглашается (*Cic. Leg.*, 1, 21). Но при чем же здесь боги? Почему лекцию о праве надо начинать с такого странного вопроса?

Цицерон разъясняет это.

«Прежде чем обратиться к отдельным законам, рассмотрим... смысл и сущность закона вообще... Мудрейшие люди полагали, что закон не был придуман человеком... но он есть нечто извечное... *Этот первый и последний закон есть мысль божества, разумом своим ведающего всеми делами*» (II, 78). Этот «небесный закон», как называет его Цицерон, есть «сила, которая не только древнее, чем народы и гражданские общины, но и ровесница божеству, ведающему и правящему небом и землей» (II, 9). Чтобы пояснить свою мысль, Цицерон приводит такой пример. Тарквиний обесчестил Лукрецию. Предположим, в законах того времени не были предусмотрены такого рода преступления и не была оговорена кара за них. Иными словами, предположим, закон не смотрел на Тарквиния как на преступника — тем более что он был царским сыном. Значит ли это, что Тарквиний не совершил преступления? Нет. Он преступник, ибо поправил закон небесный. «Поэтому истинный и первый закон... есть мысль всевышнего Юпитера» (II, 10).

Люди — творцы земных законов — угадывают закон небесный и пытаются воплотить его на земле. То есть они угадывают мысли Бога, бывшие еще до создания людей. План Цицерона, таким образом, необыкновенно красив. В реальных земных законах римской Республики он хочет разглядеть очертания того великого небесного закона. В этом смысл диалога. Однако сразу возникает вопрос: почему люди оказываются способными проникнуть в замысел Бога? Разве они, как мы знаем из «Государства», не затеряны на маленьком шаре во вселенной, на котором занимают только точку? Это верно. Но дело в том, что «человеческий род... был наделен божественным даром — душой... Поэтому мы по справедливости можем говорить о своем родстве с небожителями или о своем божественном происхождении». Таким образом, этот дар — душа — делает людей и богов существами одной природы, поэтому-то люди, эти слабые и бранные создания, могут проникнуть в замыслы самого Юпитера, поэтому они смотрят на небо с нежностью как на «прежнюю свою обитель». Более того. «Весь мир, — говорит Цицерон, — следует рассматривать как гражданскую общину богов и людей» (I, 21–23). Поэтому, когда человек проникнется мыслью о Боге, когда он увидит красоту мира — небо, землю и море, — когда осознает, что Божество правит всем этим великолепием, он поймет, что он «не гражданин какого-то одного огороженного стенами местечка, а всего мира, как бы единого града» (I, 61).

В соответствии с этим прекрасным учением Цицерон провозглашает,

что все народы равны по природе. Ведь все человечество наделено разумом. Конечно, люди отличаются друг от друга образованием, которое этот разум совершенствует. Но способности к учению одинаковы у всех народов. «В каждом народе найдется человек, который под руководством природы сможет достичь доблести». У людей в разных странах одинаковы страсти, радости и страхи. Одинаковы слабости и недостатки. «И те, кто поклоняется собаке или кошке, не более суеверны, чем другие» (I, 30–32). «Какой народ не ценит приветливости, благожелательности, сердечной доброты и способности помнить о сделанном тебе добре? Какой народ не презирает, не ненавидит надменных, злых, жестоких, неблагодарных людей?» (I, 32). Поэтому «все люди связаны между собой снисходительностью и доброжелательностью друг к другу» (I, 35).

Цицерон высказывает и более удивительный взгляд. По его мнению, все люди по природе добры, прекрасны и склонны любить друг друга (I, 43). Поэтому жить по закону природы — значит любить добро. «Жить в согласии с природой — высшее благо; это значит наслаждаться скромной и добродетельной жизнью... Природа хочет, чтобы мы жили как бы по закону доблести» (I, 56). Такая жизнь и есть самая счастливая и блаженная. «Ведь если дух познает доблесть и исполнится ею, если он откажется от своего рабства и потворства телу, подавит в себе страсть к наслаждению... отрешится от всякого страха перед смертью и страданием, будет жить со своими ближними в союзе, полном любви, будет смотреть на своих ближних как на соединенных природой» и «исповедовать чистую религию», то можно ли представить себе жизнь блаженнее (I, 60).

Цицерон выступает против дорогих обрядов. Ведь люди равны, а если обряды дорогие, богач всегда будет иметь преимущества перед бедняком. «Мы ведь хотим, чтобы бедность имела равные права с богатством даже среди людей. Неужели мы закроем ей вход к богам, сделав священнодействия дорогими?» (II, 25).

Он объясняет, как люди, по его мнению, должны обращаться к богам. Существовало древнее религиозное предписание — *к богам обращайся чистым*. Многие думали, что имелись в виду ритуальные омовения. Но Цицерон против этого решительно возражает. Тут речь идет о чистоте помыслов, говорит он. Ведь дух, а не тело главенствует. Отмыть тело может вода, но «духовное падение не может исчезнуть с течением времени и не может быть смыто никакими реками» (II, 24). Слова, так живо напоминающие современному читателю речи леди Макбет: «Неужели больше никогда я не отмою этих рук дочиста?.. Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки!»

Когда Цицерон в тиши своего уединения брался за перо, несомненно, как каждый писатель, он в глубине души надеялся на то, что сочинения его понравятся читателям. Но он даже не подозревал, каким бешеным успехом они будут пользоваться. Ими зачитывались, ими восторгались. Они мгновенно облетали Рим. Словом, в короткий срок они стали бестселлерами.

### *Среди молодежи*

Очень редко бывает, чтобы человек, как бы ни мрачна, ни печальна была его жизнь, был постоянно мрачен и угрюм. Случаются же у него хоть изредка просветы. Тем более Цицерон — живой, остроумный, переменчивый, артистичный. Можно сказать, что настроение у него менялось мгновенно, как капризное море. Поэтому даже в эту черную полосу его жизни выдавались минуты, когда он беззаботно хохотал. Способствовали этому и люди, которые его окружали.

Много лет назад Цицерон, тогда совсем мальчик, буквально молился на Красса Оратора. Он и другие юноши Рима издали следовали за своим кумиром. Теперь время свершило свой круг и уже Цицерон стал таким же кумиром. Его любили еще жарче, еще пламеннее. Толпы поклонников ждали его на улице, ходили за ним хвостом, наполняли его дом и загородные виллы. Он был идиолом молодежи. Только пусть не подумает читатель, что юноши в благоговейном молчании сидели у ног учителя, внимая его проповедям. Нет. Они врывались к нему веселой бурей, шумели, хохотали и, перебивая друг друга, рассказывали последние смешные новости. Цицерон, который в свои пятьдесят лет сохранил детское сердце, был у них заводилой — шутил и балагурил больше всех. А они смотрели на него как на ровесника и приятеля. Они ругали заплесневевших стариков, и им, казалось, и в голову не приходило, что их собеседник тоже не молод. Курион рыдал у него на груди, рассказывая о своих сердечных горестях и жалуясь на старого брюзгу отца. Публий Красс с горящими глазами открывал ему сокровенные мечты о славе. Целий Руф, веселый авантюрист, первый красавец Рима и последняя любовь Клодии, с озорными искорками в глазах рассказывал последние анекдоты.

— Павла Валерия, сестра Триария, без всяких причин бросила мужа и

уехала от него в тот самый день, когда он должен был вернуться из провинции. Она собирается замуж за Децима Брута... Вообще случилось много невероятных событий в этом роде. Сервий Оцелла никого не убедил бы, что пользуется успехом у женщин, если бы его в течение трех дней дважды не застали. Где? — спросишь ты. Ей-богу, там где мне меньше всего хотелось бы.

Тут он умолкал, многозначительно и лукаво улыбался и клялся, что не прибавит ничего. Ему ужасно хочется, чтобы великий консуляр сам у всех расспрашивал, кого с какой женщиной застали (*Fam.*, VIII, 1, 2). Иногда он сообщал и последние политические новости, но тоже как веселую сплетню. Цицерон хохотал над его рассказами, совершенно забыв, что, как он сам недавно мрачно заявил, «нельзя считать гражданином того, кто смеется в наше время». Он даже искусно передразнивал известных политических деятелей, так что его молодые друзья покатывались со смеху (*Fam.*, II, 10, 1). Целий говорил, что он и его приятели жить не могли без оратора и, если выдавалась свободная минутка, обязательно забегали к нему. Когда Цицерон уезжал, им казалось, что веселая столица превращается в унылую пустыню. Стало скучно, говорит Целий: не с кем посмеяться (*Fam.*, VIII, 3, I).

Но они не только смеялись. Тот же Целий для всего мира был холодным насмешником и циником. Но перед Цицероном он раскрывал душу и даже — чему уж никто бы не поверил! — плакал. Одно письмо он наполнил жалобами на свою судьбу и закончил его как обиженный ребенок:

— Умоляю, поплачь над моими обидами так же, как я... плачу над твоими обидами и мщу за них (*Fam.*, VIII, 12, 4).

Философские сочинения Цицерона его молодые друзья встретили с восторгом и сулили им бессмертие. И лучше всего это видно из удивительной просьбы, с которой обратился к нему Целий. Напиши, пожалуйста, говорит он, диалог, где действовали бы ты и я. И пусть мы оба говорим так же красиво и возвышенно, как в твоём «Государстве». Ты, конечно, спросишь о чем? «Ну это скорее сообразишь ты — ты ведь знаешь все науки — и сам поймешь, что тут больше всего подходит. Что-то такое, чтобы имело отношение ко мне и ходило бы по рукам». Целий сам чувствовал, что все это звучит дико. Он, который никогда и ученой книги в руки не брал, и вдруг философствует. «Да как тебе это в голову пришло, ты ведь не дурак, скажешь ты. Но я хочу, чтобы среди твоих многочисленных сочинений было хоть одно, которое рассказало бы потомкам о нашей дружбе» (*Fam.*, VIII, 3, 3). (Разумеется, этой нелепой просьбы Цицерон не выполнил.)

Мы видели, что Цицерону приходилось теперь иной раз выступать в процессах, которые он ненавидел. Но было у него в то время два дела, в которые он вложил всю душу. Дела эти издавна восхищают юристов и любителей красноречия. Это защита Целия и Милона.

### *Поединок с Волоокой*

В 56 году разразился в Риме очередной громкий скандал. Думаю, читатель не очень удивится, узнав, что виной ему были наши старые знакомые Клодии.

Как уже знает читатель, у Цицерона был молодой друг Целий — ослепительно красивый, остроумный и изящный циник. Был он сыном одного бизнесмена из маленького итальянского городка, человека тихого и степенного. Отец отдал его на обучение Цицерону, ибо мальчик мечтал об ораторской славе. Целий обожал Цицерона, отца же в грош не ставил. К красноречию он был очень способен, учился блестяще, но жизнь вел самую беспутную. Сорил деньгами, устраивал шумные пирушки и дебоши, на улицах затевал драки и преследовал хорошеньких женщин, возвращавшихся поздним вечером домой. Словом, вел себя невыносимо. Наконец даже кроткий родитель взбунтовался. Он потребовал, чтобы сын в определенный час возвращался домой и вообще остепенился. Целий возмутился таким неслыханным тиранством, заявил, что отныне будет жить самостоятельно, хлопнул дверью и уехал. Он снял себе квартиру на Палатине, в самом модном и фешенебельном районе. Квартира эта помещалась во флигеле дома Клодия Пульхра. Вскоре Целий встретил в саду его прелестную сестрицу. Дальнейшее известно нам из яркого рассказа Цицерона.

Клодия сразу заметила красавца соседа. Ослепительная белизна его кожи, его стройный рост и блестящие глаза поразили ее. Она тут же решила его покорить. Стоило Целию выйти из дому, и он как бы невзначай встречался со своей обольстительной соседкой. Он получил приглашение бывать у нее. Клодия пускала в ход все свои чары. Она пошла еще дальше. Зная, что молодой человек привык ни в чем себе не отказывать, а отец у него скуповат, она стала делать ему дорогие подарки и давать деньги. Словом, началась правильная осада неприступной крепости. Но все было

напрасно. Избалованный повеса не обращал на нее ни малейшего внимания. Друзья пытались ее образумить. Советовали махнуть рукой на этого самонадеянного юнца. Но Клодия совсем потеряла голову от любви. Она возобновила свои атаки с удвоенной силой. Наконец Целий снизошел к ее мольбам (*Cic. Cael*, 36).

Катулл был вне себя. Он все еще любил ее, свою Лесбию, и не мог исцелиться от «этой проклятой, этой страшной любви». Целий же был его приятелем, и он ему безгранично верил. Эта двойная измена поразила молодого поэта. На мгновение Лесбия вновь показалась ему тем возвышенным созданием, каким он когда-то ее представлял. Он забыл на миг и зубастого кельтибера, и ресторан у Блинецов. В бешенстве напал он на «предателя» Целия.

Руф! Я когда-то напрасно считал тебя братом и другом!  
Нет, не напрасно, увы! Дорого я заплатил.  
Словно грабитель подполз ты и сердце безжалостно выжег,  
Отнял подругу мою, все, что я в жизни имел.  
Отнял! О горькое горе! Проклятая, подлая язва!  
Подлый предатель и вор! Дружбы убийца и бич!  
Плачу я, только подумаю: чистые губы чистейшей  
Девушки пакостный твой гнусно сквернит поцелуй.  
Но не уйдешь от возмездья! Потомкам ты будешь известен!  
Низость измены твоей злая молва разгласит! (77; 78a).

Катулл попытался говорить с ней, но на сей раз Лесбия не намерена была его слушать. На все жалобы и упреки она отвечала смехом. В диком черном отчаянии бежал он из Рима и уехал в Малую Азию. А Клодия, не думая больше о несчастном поэте, вся предалась новой страсти. Счастливые любовники укатили на курорт, конечно, в Байи.

Далее все шло по обычной программе, которую так хорошо знал Цицерон — пирушки на пляже, прогулки в лодке при луне, музыка... Увы! Все это скоро наскучило Целию, наскучила и сама Клодия, и он ее бросил.

Можно себе представить ярость Волоокой. Она была вне себя, она была в исступлении, она решила его уничтожить. Действовала эта женщина очень умно. Прежде всего она объединила всех обиженных Целием, а их оказалось немало. Чуть ли не каждый день он кого-то обвинял на Форуме. Целий был опытный и безжалостный бретер, перед которым трепетал Рим. Он владел отточенными приемами красноречия, был едок и остроумен,

никто еще не выбил у него из рук шпагу. Он повергал врага в прах и делал посмешищем всей столицы. Кроме того, это был задира и дерзкий волокита. Естественно, многие были на него злы. Но все они составляли, так сказать, только рядовых, полководцем же была Клодия. Она и повела их в бой. И главное обвинение выдвинула именно она — Целий, утверждала она, пытался ее отравить. Даже на суде она не могла сдержать свою ярость. В ответ Целий при полном Форуме назвал ее Трехгрошовой Клитемнестрой.

Дело принимало очень серьезный оборот. Перед Целием возник призрак изгнания и гражданской смерти. Все помнили судьбу Цицерона, который тоже имел неосторожность навлечь на себя гнев этого семейства. Целий был очень опытный и очень искусный оратор. Но все-таки он не решился защищать себя сам и попросил помощи у Цицерона. Герой наш очень любил Целия. Тот был самым талантливым из его учеников, а Цицерон, надо сказать, всегда был очень снисходителен к своим молодым друзьям, терпеть не мог старых ворчунов и на проказы своего питомца всегда смотрел сквозь пальцы. И уж, конечно, он не мог бросить «бедного мальчика» без помощи. Но это означало, что ему предстоит скрестить шпаги с Волоокой.

Клодия была слишком известной в Риме особой, суд с любовником — слишком соблазнительным скандалом. Неудивительно, что весь город только и говорил, что о новом деле Цицерона. По Риму ходили анекдоты, шутки, подчас крайне рискованные. Все с нетерпением ждали, как поведет защиту Цицерон.

Оратор заявил, что он чувствует себя ужасно неловко — он оказался в самом глупом положении. Ведь ему предстоит дуэль с дамой, а сражаться с дамой негалантно. Притом как можно воевать с такой доброй, снисходительной женщиной, которая была подругой нам всем? (*Cael.* 52). Но, с другой стороны, не бросить же на произвол судьбы подзащитного? Что же делать? И он решил — он будет сама вежливость, сама корректность. А если иногда все-таки придется сказать что-то нелестное по адресу обвинительницы, он не будет делать этого сам. Он вызовет бородача. Нет, нет. Почтенная дама ошиблась. При слове «бородач» ей тут же представился изящный молодой франт с модной бородкой. (А надо сказать, Волоока имела к бородам слабость, стоит вспомнить кельтибера Эгнатия.) Нет, Цицерон говорит о суровых героях древности с всклокоченной бородой. То были люди отважные, но, надо признаться, грубые и уж совсем не дамские угодники. Вот, например, пращур самой Клодии, Аппий Клавдий Слепой, строитель знаменитой дороги. И Цицерон

со свойственной ему артистичностью тут же представил этого древнего старика. Вызванный из преисподней Аппий обрушил громы и молнии на голову своей легкомысленной внучки и кончил так:

— Для того ли я построил дорогу, чтобы ты разъезжала по ней с чужими мужчинами?! (34).

Взрывы хохота, вероятно, прерывали эту речь — уж слишком она была чужда современным нравам. Что же, продолжал лукаво оратор, действительно попросим теперь этого древнего брюзгу удалиться, а то он, чего доброго, еще взглянет на скамью обвиняемых и набросится на самого Целия. Он ведь тоже не образец добродетели.

Заметив, что публика окончательно развеселилась, Цицерон перешел к сути дела. Он рассказал об образе жизни Клодии, о знакомстве ее с обвиняемым и о том, наконец, как Целий стал ее очередным любовником. До сих пор все как будто ясно. Но дальше тьма. Целий почему-то решил отравить свою подругу. Почему, с какой стати? Совершенно неясно. Как же он действовал? Прежде всего, говорят обвинители, Целий купил какой-то ужасный мгновенно действующий яд. Мы ожидаем, что нам скажут, откуда он взял яд, назовут имя торговца или хоть какого-нибудь свидетеля. Нет, об этом обвинители молчат. Зато сообщают леденящую душу подробность, которая должна характеризовать кровожадное сердце преступника. Купив яд, Целий дал его рабу, тот сделал глоток и бездыханным упал к ногам своего бездушного владыки.

Ну хорошо. Целий достал яд. Как же он задумал отравить Клодию? Может быть, примирился с ней для виду и незаметно подсыпал зелье в ее кубок? Ничего подобного. Он решил подкупить ее рабов. Рабов, а не одного раба. А это странно. Ведь чем меньше народа будет знать о преступлении, тем лучше. Как бы то ни было, эти элodeи согласились ему помогать. Теперь надо было передать им баночку с ядом. Казалось бы, проще всего было пригласить их к себе. Ведь отношения с Клодией у него были столь близкими, что никто бы не удивился, увидав у него ее рабов. Но нет. Целий решил действовать гораздо более сложным и замысловатым путем. Он поручил все дело своему приятелю, некому Лицинию, сообщив, таким образом, о своем преступлении еще одному человеку. Итак, он вручил Лицинию роковую баночку, и тот должен был встретиться в каком-нибудь укромном месте с подкупленными рабами. Где же они встретились? Быть может, слушатели вообразят, что они сошлись ночью в каком-нибудь темном безлюдном закоулке? Ничего подобного. Наши доблестные друзья решили встретиться среди бела дня, в центре Рима, в... общественной бане! Прямо скажем, довольно оригинальная мысль.

Между тем, оказывается, рабы на самом деле были верными и добродетельными слугами. Они только для виду согласились помогать преступникам, чтобы выведать их планы. А теперь, узнав обо всем, открылись своей хозяйке. Находчивая дама моментально придумала план действий. Она созвала своих друзей и, как опытный вождь, дала им четкие и ясные приказы. Они должны были схватить Лициния на месте преступления. Итак, в определенный час наши храбрецы, посланные смелой воительницей, явились в общественные бани. Тут возникает, правда, некоторая трудность, замечает Цицерон. Ведь в баню не пускают одетыми, если, конечно, эта могущественная женщина не завязала уже дружбы с банщиком (62). Так что, вероятно, им пришлось раздеться. Потом они укрылись где-то в районе бассейна и стали терпеливо ждать. Наконец вошел Лициний — тоже, конечно, голый со злополучной баночкой в руке. Он простодушно протянул ее вперед, и вдруг из бассейна с боевым кличем выскочила толпа голых мужчин. Значит, они схватили преступника с поличным? Нет. Лициний, продолжал Цицерон, разметал всю эту толпу, как лев, и скрылся, прижимая к груди заветную баночку. В этом месте оратор указал на Лициния, который сидел с несчастным лицом тут же. Увы! Лициний вовсе не был похож на льва. То был худой тщедушный заморыш. Можно себе представить, какой взрыв хохота прокатился по Форуму.

Когда оратор заговорил о баночке с ядом, среди зрителей началось движение. Послышались шушуканье, смех. Даже судьи смущенно захихикали. Цицерон сразу это заметил и сказал с усмешкой, что догадывается, в чем дело. Когда эта дурацкая история о баночке с ядом стала известна, Рим страшно развеселился. Передавали колкие шутки, язвительные остроты. И тогда кто-то отправил Клодии посылочку. Там был уже не кошелек с медяками, а некая баночка, которая... Но тут, говорит Цицерон, я умолкаю. Скромность не позволяет ему продолжать, тем более все и так уже все знают. Шутка эта пикантна, спору нет, но уж совсем неприлична. Увы! Он действительно больше ничего не добавил. Так мы и не знаем, что это была за таинственная баночка, о которой со смехом вспоминали в Риме еще во времена Квинтилиана.

Короче говоря, все обвинения шиты белыми нитками и концы не сходятся с концами. Целий — это признают сами обвинители — человек совсем неглупый. Мог ли он придумать такой дикий и нелепый план? В заключение Цицерон умолял присяжных пожалеть талантливую юношу, не губить его в угоду взбалмошной и ревливой женщине<sup>[103]</sup>.

Целий был оправдан. Волоокая повержена в прах и осмеяна. Какие чувства кипели в сердце этой женщины? Какие страшные планы мести

строила она против своего неверного любовника и его защитника, другого своего неверного любовника? Это скрыто от нас глубокой тьмой. Процесс Целил — это последнее, что мы знаем о Клодии. С этого времени ее имя навсегда исчезает со страниц истории и мемуаров.

Но брат ее был жив. Хотя смерть уже дышала ему в лицо.

### **Конец Клодия**

Говорят, революция пожирает своих детей. Клодий был любимым сыном революции, и настало время ему быть пожранным своей матерью.

Клодий добивался претуры на 52 год. Случилось так, что в этот самый год его заклятый враг Милон собирался стать консулом. Ясно, что вместе они не могли быть магистратами в одном городе. И вот они с удвоенной энергией набросились друг на друга. «Они не раз яростно бились друг с другом в Риме; доблестью они были равны, но Милон был на стороне честных людей», — поясняет древний комментатор Цицерона Асконий Педиан (*Asc. Ped. Mil.*, 2). На Рим обрушился такой ураган, наступил такой хаос, каких до сих пор не видывали — настал новый год, а в государстве еще не было ни консулов, ни преторов. Такова была обстановка на 18 января 52 года. В этот день и свершилась трагедия. Вот голое изложение фактов.

Некоторые религиозные обязанности заставили Милона на несколько дней покинуть Рим и уехать в свой родной город Ланувий. Он ехал по Аппиевой дороге и был уже в 25 километрах от столицы. День клонился к вечеру. Вдруг навстречу ему выехал небольшой отряд вооруженных всадников. Впереди скакал Клодий, который тоже ненадолго отлучался и теперь возвращался домой... Поздним вечером того же дня по Аппиевой дороге ехал один сенатор. Он заметил, что посреди дороги лежит какой-то человек. Выйдя из повозки и обследовав тело, он увидел, что человек этот уже мертв. Он был весь изранен — буквально истыкан и искромсан мечом. Когда же осветили лицо убитого, путник с изумлением узнал Публия Клодия. Вместе со своими друзьями он поднял труп и отвез в город. Была уже ночь, когда окровавленное тело Клодия внесли в атриум его дома. К утру весь Рим знал, что знаменитый Клодий убит, и убит Милоном.

И тут началось. Казалось, неистовый дух мертвого трибуна вселился в его верных и они, как безумные поклонники Диониса, разом лишились рассудка. С дикими воплями ворвались они в атриум, сорвали с мертвеца одежду и, продолжая завывать, понесли на Форум. Труп был ужасен —

изуродованный, облепленный кровью и грязью. Они несли его на руках, все сметая со своего пути, несколько человек задавили и разорвали дорогой. Сначала труп подняли на Ростры для всеобщего обозрения. Потом вдруг схватили, втащили в Курию и подожгли ее. Скамья сенаторов, столы, подмости для суда, книги, официальные акты, архив — все полетело в огонь. В небо взметнулся огромный столп пламени; налетевший ветер подхватил его и понес на город. Соседние дома, лавки и постройки охватил огонь (*Asc. Ped. Mil.*, 7–8).

Какое страшное безумие, замечает Цицерон. Не буду говорить о Курии, о Форуме, но что эти люди сделали со своим вождем? Они отняли у него обычные человеческие похороны, в которых не отказывают даже беглому преступнику. «Он был сожжен, как чужой, без выноса, проводов, плача, похвал, весь в крови и грязи, лишенный даже той чести последнего дня, какой недруг не лишает недруга» (*Cic. Mil.*, 86). Но мне кажется, Цицерон неправ. Быть сожженным в пламени пожара, охватившего город, среди гибнущих домов и книг, среди пронзительных воплей толпы, заменявших торжественную религиозную музыку, — право, Клодий не мог бы пожелать себе лучших похорон!

Озверевшая банда носилась по Риму, разрывая врагов своего главаря и беря штурмом их дома. Окружили они и дом Милона, выкрикивая проклятия и осыпая его градом камней. Но тут они сильно просчитались. Вместо мирных обывателей там засела другая банда. На них полился поток дротиков, бандиты трусили и отступили.

После всего этого римляне были уверены, что Милон бежит из Италии. Каково же было всеобщее изумление, когда на другой день он появился как ни в чем не бывало на Форуме. Он был, как всегда, невозмутим и спокоен. Когда растерянные друзья спросили, действительно ли он убил Клодия, Милон спокойно отвечал, что убил и гордится этим. Когда же они, уж совсем потерявшись, спросили, зачем же тогда он вернулся в Рим, Милон с тем же спокойствием отвечал: добиваться консульства. От такой неслыханной наглости все онемели.

Между тем стало известно, что к весталкам явилась вечером какая-то закутанная в покрывало женщина и молча дала им золота. Они спросили, что это. Дар по обету, был ответ. Благочестивый Милон, оказывается, давно уже обещал дар богам, если убьет Клодия (*Asc. Ped. Mil.*, 28).

Разумеется, сторонники Милона тут же окружили своего вождя. Битвы возобновились с новой силой. В Риме же не было даже высших магистратов. Тогда сенат вынужден был наконец прибегнуть к последнему средству — было объявлено чрезвычайное положение и диктаторские

полномочия вручены Помпею<sup>[104]</sup>. Он вызвал в Рим вооруженные отряды, которые заняли центральные площади и положили конец бесчинствам. Тем временем сторонники убитого разбойника обвинили Милона в преднамеренном убийстве. По их словам, он ждал Клодия в засаде на Аппиевой дороге. В ответ сторонники Милона заявили, что это, напротив, Клодий устроил засаду, а Милон только защищался.

Помпей, этот великий воин, неустрасимый на поле боя, смертельно боялся терактов. Всюду ему чудились убийцы. Этим воспользовались клодианцы. Они кричали, что шайка Милона хочет его убить. Помпей перестал ночевать в своем доме. Его день и ночь стерегли вооруженные люди. Однажды, рассказывает Цицерон, к нему пришли посланные от Помпея и сказали, что консул срочно вызывает его к себе. Помпей встретил его смертельно бледный. Рядом стоял какой-то человек, который тут же бойко начал рассказывать, что сторонники Милона хотели завербовать его, что они готовят убийство Помпея. Но он наотрез отказался как честный человек. Цицерон спросил, как же бандиты отпустили его невредимым, если он столько знает. Они и не отпустили, отвечал доносчик. Они кинулись вдогонку и чуть не убили. Тут в доказательство он обнажил бок. Цицерон наклонился и с трудом разглядел маленькую ранку, вернее, укол, как от небольшой иголки. Странно, что такой след оставил нож матерого головореза.

В другой раз сенат собрался в храме. Вдруг кто-то завопил, что Милон пришел убить Помпея, у него под одеждой на бедре меч. Милон со своим всегдашним спокойствием стал посреди храма и задрал одежду, выставив на всеобщее рассмотрение такие части тела, которые показывать не принято, во всяком случае в храме, говорит Цицерон (*Cic. Mil.*, 64–66). Наконец, клодианцы официально привлекли Милона к суду. Тот попросил Цицерона быть своим защитником. Суд был назначен на апрель 52 года.

То было дело трудное и даже опасное. На защитника накинута вся банда Клодия. Хулиганские шайки окружали его, кричали, чтобы он не вздумал вмешиваться в это дело, сверкали ножи, летели камни.

— Клодий был его враг! Это Цицерон подучил Милона убить нашего Клодия! — вопили они. Этого мало. Против Милона решительно восстал Помпей. В душе он был очень доволен гибелью Клодия, который последнее время стал невыносим. Но он ухватился за удобный случай избавиться разом и от Милона, который также внушал ему страх. Узнав, что Цицерон хочет взяться за это дело, он разгневался. Он прямо заявил оратору, что, если тот вздумает сделать эту глупость, он умывает руки — больше он его защищать не станет и выдаст клодианцам. Тут он напомнил об их договоре.

Словом, казалось, время повернуло вспять и Цицерон снова стоит у порога изгнания.

Но наш герой повел себя совершенно неожиданно. Его как подменили. Этот робкий и мягкий человек стал неузнаваем. Он решительно заявил, что не оставит Милона. И это было тем более странно для тех, кто помнил, как он пал духом в канун собственного изгнания. «Непоколебимость и верность Цицерона были так велики, что ни враждебность народа, ни оружие, за которое открыто взялись противники Милона, не могли отпугнуть его от защиты Милона, хотя он и мог отвести угрожающую ему опасность... и в то же время вернуть себе расположение Гнея Помпея, если бы хоть немного умерил свое рвение в деле защиты Милона» (*Asc. Ped. Mil.*, 22). Но в том-то и дело, что «умерить свое рвение» Цицерон не мог. Он способен был по нерешительности своей предать политическую партию, но никогда — человека.

Впрочем, Цицерон был не одинок. Многие честные люди втайне сочувствовали Милону. А Катон прямо заявлял, что Милон прав, ибо избавил государство от такой пагубы (*Asc. Ped. Mil.*, 32). Брут считал, что защиту так и надо построить, доказывая, что, убив Клодия, Милон совершил подвиг (*Ibid.*, 30). Но Цицерон повел дело совсем иначе.

Он начинает с того, что приходится подчас слышать такое утверждение: всякий, совершивший убийство, — преступник, заслуживающий уголовного наказания. Так говорить могут только люди, вовсе не сведущие в праве. Закон не осуждает человека, который убил забравшегося к нему ночью бандита или напавшего на него на большой дороге убийцу. Почему? Потому что убийство было вынужденным и человек совершил его в порядке самозащиты. Но именно в таком положении и был Милон. Враги, правда, обвиняют его в *преднамеренном* убийстве. Посмотрим, так ли это (*Cic. Mil.*, 7-10).

Милон 18 января уезжает из Рима. Нам говорят, что он уехал, чтобы устроить засаду Клодию и умертвить его. Однако известно, какую жреческую должность занимал Милон в Ланувии. Можно совершенно точно доказать, что присутствие его было необходимо 19 января, поэтому он и выехал накануне. Можно указать свидетелей, которых он за несколько дней предупредил о своем отъезде. Очень многие в Риме знали заранее, что он уедет. Рассмотрим теперь сам этот роковой день. Все утро Милон был в сенате. Вернувшись, он снял тогу сенатора, переоделся и переобулся для дороги. Время было зимнее, и он надел теплый тяжелый плащ, что-то вроде нашей шубы. Он очень хорошо защищал от пронизывающего ветра, но был настолько громоздким, что в нем невозможно было ехать верхом. Вообще

он совершенно сковывал движения. Весьма важная деталь!

Снарядившись таким образом, Милон стал ждать жену, которая, как каждая женщина, собиралась очень долго. Наконец все было готово и они сели в повозку. За ними ехал целый обоз. Множество женщин, некоторые с детьми, слуги всякого рода и целая гора тюков. И тут на Аппиевой дороге они увидели Клодия с отрядом, все они ехали верхами. «Клодий встретил его на полпути — налегке, без поклажи... без жены... — между тем наш злоумышленник, изготоясь к заведомому убийству, ехал с женой, в повозке, в тяжелом плаще, с обременительной свитой из множества женщин». Что произошло далее? Клодианцы мгновенно налетели на них. Сделалось полное смятение. Милон, с трудом освободившись от тяжелого плаща, быстро соскочил на землю и схватил меч. Его окружили, стараясь оттеснить от повозки. В общей сумятице никто не понимал, что происходит. Вдруг из рядов клодианцев раздался крик: «Милон убит!» И тогда рабы Милона сделали то, «что каждый из нас хотел бы, чтобы сделали наши рабы на их месте». Они бросились с оружием в руках на убийцу своего господина и прикончили его (*Cic. Mil*, 28–29).

Что же вероятнее: что человек, обремененный поклажей, толпой женщин и детей, взявший с собой жену и одетый совсем не по-военному, выехал из Рима для убийства или что убийство готовил его противник, вооруженный, налегке, только с бандой сообщников?

Теперь исследуем вопрос о времени. Начнем с того, что в отъезде Милона не было ничего подозрительного. Мы уже знаем, что он заранее сообщил друзьям, что 19 января должен быть в Ланувии. Ну а Клодий? Зачем он покинул Рим? Никто не знает. Он уехал, хотя в Риме у него была уйма дел, требующая его присутствия. Уехал так внезапно, что об этом не знал никто. В самый день его отъезда собрана была сходка, которую назначил сам Клодий, и клодианцы там тщетно поджидали своего вожака. К чему такая поспешность и такая таинственность?

А мог ли Клодий заранее знать, когда его враг проедет по Аппиевой дороге? Разумеется, мог. Мы уже видели, что день отъезда Милона был назначен заранее. Об этом знали и в Риме, и в Ланувии. Но вот как Милон мог догадаться, что встретит Клодия? «Он давно подкупил раба Клодия», — говорят обвинители. Прекрасно. Пусть так. Но раб-то откуда узнал о планах Клодия? В самом деле. Послушаем обвинителей, лучших друзей убитого. Клодий, говорят они, 18 января находился в своем имении и собирался там заночевать. Вдруг к нему приехал гонец из Рима и сообщил, что скончался один его близкий приятель. Тут-то Клодий резко переменял свои намерения, вскочил на коня и помчался в Рим, хотя уже вечерело.

Спрашивается, как мог это заранее узнать Милон, когда сам Клодий, по словам своих друзей, за час до того не знал о своем отъезде? (*Ibid.*, 46–52). Таким образом, Клодию было прекрасно известно, что вечером 18 января Милон проедет по Аппиевой дороге, Милон же не мог знать, что повстречает Клодия.

Но, значит, Клодий выехал вовсе не ради Милона, а узнав о смерти друга? В том-то и дело, что этот рассказ кажется крайне подозрительным. Друг умер вовсе не внезапно. Он болел давно и был уже при смерти, когда Клодий покидал Рим. Клодий навестил его и простился с ним. Умирающий при нем составил завещание, где Клодий поминался в числе главных наследников. Завещание было заверено свидетелями и запечатано. После этого Клодий уехал. Спрашивается: зачем было 18 января Клодию сломя голову мчаться ночью в столицу? Чтобы завладеть наследством? Но его никто не оспаривал. Он прекрасно мог заявить свои права 19-го, выехав ранним утром. Ведь дороги были небезопасны. У Клодия много врагов. Кто-нибудь мог под покровом ночи его прикончить и свалить случившееся на разбойников. Нет, видно, у Клодия была какая-то гораздо более веская причина, чтобы пуститься в путь. Что же это за причина? Очевидно, вестник сообщил ему, что Милон уже в пути (*Ibid.*, 53–54).

Еще одно. Свидетель Фавоний, друг Катона, человек всеми в Риме уважаемый, слышал, как Клодий сказал: «Милону осталось жить три-четыре дня». Фавоний тогда же рассказал об этом Катону. Оба свидетеля могут подтвердить это под присягой. Когда же Клодий произнес эти знаменательные слова? Оказывается, ровно за три дня до роковой встречи на Аппиевой дороге! Неужели это просто совпадение?

«Мне кажется, судьи, покамест все ясно... Клодий открыто сулил и предсказывал Милону смерть — от Милона ничего подобного не слышано. День отъезда Милона был Клодию известен, день возврата Клодия Милону неизвестен. Милону было ехать необходимо, Клодию — вовсе несвоевременно. Милон не скрывал, что в тот день он уедет из Рима, Клодий скрывал, что намерен в тот день вернуться. Милон своих замыслов не менял, Клодий менял под вымышленным предлогом» (*Cic. Mil.*, 52).

Теперь о месте, где состоялась встреча. Кому из двоих оно более удобно для засады? Тут и вопроса нет. Дело в том, что это было возле самого загородного дома Клодия. Дом этот — настоящая крепость. Он высится над дорогой, притом он так велик, что укрыть там можно целое войско. Совершенно естественно, что Клодий должен был именно здесь ждать Милона. Но чистейшее безумие думать, что Милон устроил засаду у самой крепости врага (*Cic. Mil.*, 53–54).

Остается сказать о мотивах преступления. У Клодия были все причины жаждать смерти Милона. Ведь он сам баллотировался в преторы. Между тем Милон добивался консульства. Но претор подчинен консулу, и Клодий был бы связан по рукам и ногам, если бы Милон достиг этой магистратуры. Все видели, как Клодий собирал сходки, вопил, пригоршнями давал денег для подкупа — и все это не для того, чтобы быть выбранным самому, а чтобы сорвать выборы Милона. Он вложил в это неслыханные средства. Между тем к 18 января стало ясно, что планы его провалились и ненавистный враг станет все-таки консулом. Ему оставалось одно — пойти на политическое убийство. В эти дни он начал вербовать и стягивать в Рим самых отпетых головорезов, тогда же обмолвился Фавонию, что жить Милону осталось недолго.

Но, скажут, ведь и Милону очень выгодно было убрать со своего пути Клодия. В том-то и дело, что нет. Во-первых, не консул зависит от претора, а претор от консула. Во-вторых, ведь вся популярность Милона держалась на том, что он — борец против Клодия. Если бы не он, Рим был бы во власти разнузданного насильника. Это и был его главный козырь на выборах. И вдруг он перед голосованием убивает Клодия, то есть режет курицу, которая несет золотые яйца (*Cic. Mil.*, 33–34).

Речь Цицерона построена поистине блестяще. Казалось, успех защите был обеспечен. Но в день суда случилась катастрофа.

Цицерон всегда волновался перед выступлением. Сейчас же у него были вполне реальные причины для тревоги. Неистовство банд Клодия все усиливалось. В первые же дни дошло до того, что присяжных и председателя чуть не убили. Они официально обратились к Помпею с просьбой, чтобы он обеспечил им охрану. Тот приказал оцепить Форум вооруженными людьми. Утром должен был выступать Цицерон. Милон знал, что по улицам бродят толпы вооруженных хулиганов, и боялся, что встреча с ними окончательно расстроит его впечатлительного друга. И он посоветовал своему защитнику ехать на Форум в закрытых носилках. Этот совет все и погубил.

Носилки остановились у самых Ростр. Цицерон вышел и огляделся. Он ожидал увидеть толпы зрителей, которые всегда перед его речью наполняли площадь. И вдруг вместо того он «увидел Помпея, сидящего словно посреди военного лагеря, увидел сверкающий оружием Форум». Ни единого слушателя, никого из тех, на чьих душах он привык играть. И с ним случился нервный срыв. Звучный голос оборвался. Он дрожал как лист, и лепетал что-то невнятное (*Plut. Cic.*, 35). Результат был самый плачевный. Милон был осужден большинством голосов и уехал в изгнание.

Он отправился в Массилию, нынешний Марсель, очаровательное место на берегу моря. Вскоре он получил из Рима посылку. Он открыл ее — то была речь Цицерона в его защиту, которую его друг издал, чтобы в глазах сограждан обелить его доброе имя. Милон внимательно прочел ее.

— Если бы она и вправду была произнесена, мне не пришлось бы теперь лакомиться массилийской рыбой! — задумчиво заметил он.

### *Наместник Киликии*

Прошел ровно год со дня суда над Милоном, и Цицерон надолго покинул Рим. Согласно предписанию сената он был назначен наместником малоазийской провинции Киликии.

Для всякого другого это была бы радостная новость. Цицерон так и не смог привести в порядок свои расстроенные имущественные дела. А управление богатой Киликией разом поправило бы его положение; мало того, он мог там разбогатеть. По слухам, Аппий Клавдий, предыдущий наместник Киликии, не только нажился сам, но обеспечил своих детей и свояков. Не говоря уже о том, что это было весьма лестное и почетное назначение. Поэтому люди на улице поздравляли Цицерона. Увы! Наш герой совсем по-иному воспринял эту весть. Человек порядочный и честный — он просто физически не мог бы воровать и вымогать у своих подданных деньги. Для него наместничество означало только одно — он опять на год должен покинуть свой обожаемый Рим. Это его убивало.

Ехал Цицерон как на смерть. Застревал буквально на каждом шагу, цеплялся за любой предлог хотя бы один лишний день побыть в Италии. Он останавливался в каждом своем имении, заезжал по дороге ко всем друзьям и знакомым, жалуясь на болезнь или дурную погоду, неделями торчал в каком-нибудь итальянском городишке. Достаточно сказать, что выехал он из Рима в начале апреля, а на место прибыл в последний день июля.

Хуже всего было другое. Цицерон тогда в сенате не решился отклонить назначение — ему показалось это некрасивым. Теперь же он проклинал себя за это: дурак, как мог он согласиться ехать в эту чертову Киликию! Он ныл и изводил друзей и спутников. Особенно доставалось верному Аттику. Цицерон писал другу каждый день и надрывал ему сердце своими жалобами и стенаниями. Наконец, даже этот ангельски терпеливый человек не выдержал.

— Да что с тобой?! — воскликнул он в сердцах. — Ты ведь еще даже

не приступил к исполнению своих обязанностей!

На это Цицерон со спокойствием отчаяния отвечал:

— Знаю. И думаю, что худшее впереди (*Att.*, V, 10, 3).

В конце июня он достиг Афин. Он не был здесь со времен своей юности. И вот теперь он, как в былые дни, бродил по улицам, любовался статуями и храмами, слушал философов. «Афины очаровали меня», — пишет он Аттику (*Att.*, V, 10, 5). Может быть, прочтя эти слова, его друг с облегчением вздохнул. Наконец-то тучи рассеялись и Цицерон доволен. Увы! Радовался он раньше времени. Вскрыв через несколько дней очередное письмо, он прочел: «Я даже передать не могу, как мучит меня тоска по Риму. Мне опостылела здешняя пресная жизнь!» (*Att.*, V, 11, 1). Еще через несколько дней: «Как я тоскую по родным местам, Форуму, Риму, дому... Но я перенесу все, лишь бы это не продлилось больше года. Но, если мне продлят полномочия, для меня все кончено» (*Att.*, V, 15, 1). И Аттик понял, что все началось сначала. Вот в каком настроении Цицерон достиг провинции. Тут его со всех сторон обступили новые тяжкие заботы.

Киликия находилась на самом юге Малой Азии и была присоединена к Риму совсем недавно. Жило там великое множество племен, какой-то конгломерат народов. Страна покрыта была горами и холмами, где и укрывались жители в случае опасности. В настоящий момент они как раз ушли в горы от наместника Аппия Клавдия. К тому же провинция находилась в непосредственном соседстве с грозной Парфией. Как раз в это время войска Красса были разбиты парфянами и победители хлынули к римским границам. В довершение всего легионам, находившимся в Киликии, давно не выплачивали жалованья. Они взбунтовались и отказались повиноваться наместнику. Таким образом, Цицерон, человек совершенно невоенный, оказался брошен в самую гущу боевых действий, без войск, без всякого военного опыта, да еще окружен ненавидящими Рим людьми. Было от чего прийти в отчаяние.

Все это Цицерон знал, еще подъезжая к провинции, и думал об этом непрерывно. Но когда он вступил в Киликию, все эти мысли моментально отступили на задний план. Цицерон увидел ограбленных, униженных, несчастных людей — и острая жалость к ним заглушила все остальные чувства. Он забыл обо всем на свете, даже о собственной безопасности, и думал сейчас только об одном — как спасти и утешить этих несчастных. «В канун секстильских календ, — пишет он Аттику, — мы прибыли в разоренную и навеки погубленную провинцию... Стоны городов, вопли, ужасные злодейства не человека, а просто какого-то чудовищного зверя. Им просто постыла жизнь» (*Att.*, V, 16, 2). Цицерон, впрочем, не тратил

времени на слезы и причитания. Он тотчас же развил бурную деятельность. Он объезжал город за городом, не пропуская ни одного. В каждом он созывал всех должностных лиц и составлял точную смету общественных и частных долгов, а также налогов. Затем со скрупулезной точностью проверял каждую графу и в результате вычеркивал половину как совершенно незаконные поборы. Затем он обходил граждан, беседовал с ними, выслушивал все жалобы и обиды и старался загладить их. Он был поистине неутомим. «В его доме не было привратника. Ни один человек не видел Цицерона лежащим праздно; с первыми лучами солнца он уже расхаживал у дверей своей спальни и приветствовал посетителей». Наместник был сама приветливость, сама приятность. За 12 месяцев его управления никто не слышал, чтобы он повысил голос. Его можно было упрекнуть только в одном — он был слишком уж мягок и снисходителен (*Plut. Cic.*, 36).

Он не знал ни минуты покоя. Если члены его свиты надеялись пожить при нем так, как обычно живут приближенные наместника в провинции, то есть наслаждаться даровыми обедами, сладким бездельем, всеобщим раболепием и дорогими подарками, то они жестоко ошиблись. Цицерон оживленно рассказывает о своих приключениях Аттику: «Несчастливые города приходят в себя, так как не несут никаких расходов ни на меня, ни на легатов, ни на квесторов, вообще ни на кого. Знаешь, мы не берем даже сена, даже то, что разрешает Юлиев закон, даже дров. Кроме четырех кроватей и крыши над головой нам ничего не нужно. Впрочем, часто мы отказываемся и от этого и остаемся в палатке» (*Att.*, V, 16, 3–4). Итак, вместо неги и роскоши, о которых мечтала свита наместника, их заставляли жить как аскетов. Об обогащении же нечего было и думать, наместник пресекал такого рода попытки с несвойственной ему решительностью.

Цицерон сравнивал себя с врачом, а провинцию — с тяжелобольным. И, как хороший врач радуется, видя, как к его пациенту постепенно возвращаются силы, так радовался Цицерон, замечая, как Киликия начинает приходить в себя. «Они прямо начали оживать после нашего приезда», — со счастливой улыбкой сообщает он Аттику (*Att.*, V, 16, 4). И он все устрожал и устрожал свой режим. Это была просто настоящая мания. Наместник, который всегда жил во дворце, месяцами не выходил из палатки. Он отказывал себе во всем. Это доставляло ему какое-то невыразимое счастье. Он признается Аттику: «Ничто никогда за всю мою жизнь не доставляло мне такого наслаждения, как теперь эта вот моя порядочность (так называл Цицерон свою аскезу. — Т. Б.). И радует меня не молва, которая столь велика, а сами мои поступки... Я сам не понимал

себя и не знал до конца, на что я способен. Теперь я горд» (*Att.*, V, 20, 6).

Слава Цицерона действительно доходила до небес. Толпы людей приходили взглянуть на этого удивительного наместника. Соседи прямо говорили, что завидуют киликийцам. Люди спустились с гор и вернулись в свои брошенные дома. Они успокоились и повеселели, «ожили», как говорил Цицерон. Благодарности их не было предела. Они хотели украсить город его изображениями, выбить на мраморных стелах рассказ о его замечательных деяниях, но помешало им одно самое неожиданное обстоятельство: против этого решительно восстал сам наместник. Мы уже знаем, что герой наш был несколько тщеславен. Казалось бы, он должен был прийти в восторг, узнав, что подвиги его хотят увековечить в мраморе. Почему же он отказался? Из скромности? Вовсе нет. Оказывается, он испугался, что это введет их в новые расходы и откроются раны, которые он только что с таким трудом залечил! (*Att.*, V, 21, 7).

Теперь Цицерону предстояла самая трудная, можно сказать, титаническая задача. До него наместником был Аппий Клавдий, брат Клодия, впрочем, гнушавшийся его слишком демократических замашек. Этот «чудовищный зверь», как называет его в письмах Цицерон, и не думал уезжать из провинции, он поселился в каком-то маленьком городке и вел себя так, как будто новый наместник еще не прибыл. Даже продолжал творить суд в провинции. Цицерон был просто вне себя от возмущения. Он долго и взволнованно изливает душу Аттику и говорит, что Аппия необходимо выжать из провинции, которую он погубил. Но Аппий с места не трогался. Тогда Цицерон берет перо и лично пишет «чудовищу» письмо. Что же он пишет?

Я начинаю с упреков, говорит он. В самом деле. Он, Цицерон, буквально летел в провинцию со сладкой надеждой заключить в объятия своего Аппия. И что же? Оказывается, вместо того чтобы поспешить ему навстречу, его друг забился в дальний город, где его и в 30 дней не сыщешь. Какое горькое разочарование! Люди, которые не знают, как нежно они друг друга любят, могли бы вообразить Бог знает что. Могли бы даже подумать, что Аппий избегает с ним встречи. Как всегда, нашлись сплетники и недоброжелатели из тех, для кого первое удовольствие ссорить людей. Они стали говорить Цицерону, будто Аппий в своем уголке творит суд и вообще вмешивается в дела управления, что категорически запрещает закон. Меня это, конечно, ничуть не встревожило, кротко продолжает Цицерон. Я сразу понял, что милый Аппий просто хочет мне помочь и облегчить бремя управления (*Fam.*, III, 6).

Не знаю, понял ли «милый» Аппий смысл письма. Если верить

Цицерону, это был надутый индюк, особой догадливостью не отличавшийся. Все-таки он в конце концов убрался. Но он принял оскорбленный вид, дулся и жаловался, что Цицерон его обидел. Оратор так объясняет это Аттику: «Как если бы врач, когда больного передадут другому врачу, начал бы сердиться на своего преемника за то, что тот не следует его методам лечения... Так и Аппий, который начал свое лечение провинции с того, что ограбил ее, пустил ей кровь и передал мне полужадушенной, теперь недоволен, что благодаря мне она вновь оживает... Я ровно ничем его не обидел. Его оскорбляет только несходство моего поведения с его собственным... А некоторые приятели Аппия объясняют это забавно: я-де... веду себя порядочно не ради собственного доброго имени, а чтобы досадить Аппию» (*Att.*, VI, I, 27). Впрочем, Цицерон был слишком ловок и обаятелен в сношениях с людьми. Кончилось тем, что Аппий проникся к нему любовью и уважением и даже простер свою милость до того, что обещал посвятить ему свое сочинение о гадании по птицам.

Я думаю, что многие из свиты Цицерона, которые его недостаточно знали, были поражены подобной метаморфозой. Этот человек, всю дорогу надоедавший им своим нытьем и жалобами, которого они готовы были назвать слабым и жалким, вдруг мгновенно на их глазах превратился в решительного и энергичного наместника, в администратора, который продумывает каждую деталь, все предвидит и у которого не пропадает даром ни одна минута. Но Цицерону предстояло еще больше их удивить. Мы уже говорили, что надвигалась война. И опять Цицерон был сама энергия. В кратчайший срок он сумел помириться с восставшими солдатами и те встали под его знамена. За 24 дня он организовал великолепную армию, привлек к себе всех союзных царей и двинулся к границам Парфии. С помощью своего брата Квинта, который прошел в Галлии школу Цезаря, он очистил местность от разбойников и взял их цитадель. Восхищенные его успехами солдаты провозгласили его *императором*. Цицерон даже стал мечтать о триумфе. Впрочем, он не утратил юмора и своего великолепного умения посмеяться над собой. Он пишет Аттику письмо, пародируя официальные отчеты главнокомандующих сенату: «Утром в Сатурналии... после пятидесяти семи дней осады мне сдались пинденисцы... «Проклятие! — воскликнешь ты. — Да кто такие эти пинденисцы?»» (*Att.*, V, 20, 1).

Однако ни новые впечатления, ни слава, ни восторженная любовь окружающих — ничто, ничто не могло заставить Цицерона хотя бы на минуту забыть Рим. Он считал дни до своего отъезда. «Меня охватила

мучительная тоска по Риму... Я уже пресытился провинцией», — пишет он Целию (*Fam.*, II, 11, 2). И в следующем письме: «Милый мой Руф, всегда оставайся в Риме, в Риме; живи в этом солнце мира. Все эти путешествия — просто тьма и убожество (я уже мальчишкой это понял)... О, почему, почему не остался я верен этому убеждению! Ах, все блага провинции я бы отдал за одну нашу прогулку, за один разговор!» (*Fam.*, II, 12, 2). Тоска все росла и росла, постепенно превращаясь в настоящую болезнь, ностальгию, отнимавшую у него покой и всякую радость жизни. 30 июля, ровно через 12 месяцев после своего приезда, не ожидая более ни часу, выехал Цицерон из провинции и полетел в свой Рим.

Дома ждали его ужасные известия.

## Глава VI

# ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

*За дело победителей были боги,  
За дело побежденных — Катон.*

*Лукан. Фарсалия, I, 128*

### У Рубикона

Было бы утопией думать, что дружба между триумвирами продлится вечно. Триумвират был боевым союзом трех политиков против одного общего врага — римской Республики. Но было ясно, что, как только враг этот падет, бывшие союзники кинутся друг на друга. И время стремительно приближалось к этому моменту. Два события ускорили разрыв.

Марк Красс, этот богач, бывший тайной пружиной всех интриг Рима, по-прежнему страдал от мучительной зависти к Помпею, лучшему полководцу Рима, а теперь еще к Цезарю и «считал себя обездоленным только потому, что его ставили ниже тех двоих» (*Plut. Cras.*, 27). Красс решил, что пришел его черед стяжать боевые лавры. Он задумал воевать на Востоке. В последнее время все римские полководцы — Сулла, Лукулл, Помпей — возвращались оттуда в блеске побед. Причем победы эти одерживались как-то легко, играючи, словно то была не война, а увлекательная прогулка. Вот Красс и решил тоже попытать счастья на Востоке, в Парфии (53 год). Он был уже не молод, а на вид казался совсем стариком. Когда царь Дейотар увидел его во главе войска, то покачал головой и сказал, что император собрался на войну поздним вечером.

С самого начала Красс был обманут вражеским лазутчиком, который выдал себя за перебежчика. Тот сперва долго водил римлян по безводной пустыне, так что они совсем обессилили и упали духом, а потом привел их на бескрайнюю равнину близ Карр. Парфяне давно выбрали ее для решительной битвы. Со всех сторон римлян окружили враги, блистая боевым вооружением. Далее все напоминало кошмарный сон. Парфяне пускали в римлян тучи стрел. Римляне были не привычны к этому оружию.

Стрелы вонзались им в руки, ноги и плечи. Римляне падали на землю, «корчились от нестерпимой боли и, катаясь с вонзившимися в тело стрелами по земле, обламывали их в самих ранах, пытаясь же вытащить зубчатые острия, проникавшие сквозь жилы и вены, рвали и терзали самих себя».

В тот день Красс до конца испил чашу свою. Он видел гибель всех своих полков, слышал, как, умирая, они проклинали его. Но самое страшное было не это. Красс послал в атаку своего юного сына Публия, воспитанника Цицерона, которого любил страстно, больше всего на свете. Юноша поразил своей храбростью самих парфян, но положение было безвыходное. Враги окружили его со всех сторон. Когда Публий взывал к воинам, те «показывали ему свои руки, приколотые к щитам, и ноги, насквозь пробитые и пригвожденные к земле». Тут к нему подошли два греческих философа, его друзья. Они вполголоса сказали, что спасения нет, указали на напиравших со всех сторон парфян и стали горячо убеждать его скинуть плащ командующего и незаметно скрыться. Молодой военачальник с удивлением на них посмотрел и сказал, что «нет такой страшной смерти, испугавшись которой Публий покинул бы людей, погибающих по его вине». Потом он сердечно простился с греками и посоветовал им скорее бежать, пока еще есть возможность. Они не заставили просить себя дважды и кинулись наутек. Как только они скрылись, Публий, «не владея рукой, которую пронзила стрела, велел оруженосцу ударить его мечом и подставил ему бок».

Красс уже смутно догадывался, что погубил сына. Но он все еще с безумной надеждой смотрел вдаль. И тут подскочил к нему отряд парфянских всадников. Один из них высоко поднимал копье, на которое была насажена окровавленная человеческая голова. Красс всмотрелся и узнал Публия. Парфяне же кружили вокруг, бесновались, визжали и вопили в восторге:

— Чей это сын?! Неужели такой жалкий трус, как Красс, мог зачать такого благородного, отважного сына?!

Сначала казалось, что Красс сумел справиться с собой. Он даже сказал несколько слов, ободряя воинов, которые, парализованные ужасом, глядели на голову Публия. Но к ночи он лежал неподвижно на земле, закутавшись с головой в плащ, не отвечая на вопросы, бесчувственный ко всему вокруг. Вскоре парфяне заманили его на переговоры и там убили. Говорят, голова Красса долго была у парфян самым почетным трофеем (*Plut. Cras.*, 17–31).

*Таков был конец первого триумвира.*

Теперь Помпей и Цезарь стояли друг против друга один на один.

Одно событие окончательно разделило их. Юлия, дочь Цезаря и его единственный ребенок, несколько лет назад была выдана замуж за Помпея, чтобы привязать его к союзу. Молодая женщина страстно любила мужа. Некоторые думали, что именно эта любовь стала причиной ее ранней смерти. Она постоянно была в мучительной тревоге за его жизнь. Однажды Юлия увидела в руках слуг его одежду, забрызганную кровью. Она лишилась чувств и у нее начались преждевременные роды. Ее привели в себя, и она как будто выздоровела. Но от удара так и не оправилась. Новые роды стоили ей жизни. Ребенок пережил ее всего на несколько дней (*Plut. Pomp.*, 53).

Весь Рим оплакивал кроткую молодую женщину. Помпей был безутешен. Цезарь, у которого только что умерла мать, теперь потерял единственную дочь и внука. Но это не ослабило его энергию. «Чтобы сохранить родство и дружбу с Помпеем, он предложил ему в жены Октавию, внучку своей сестры, хотя она была уже замужем за Гаем Марцеллом, а сам просил руки дочери Помпея», хотя был женат на Кальпурнии, а дочь Помпея была помолвлена (*Suet. Jul.*, 27). Но план этот не удался. Как раз в это время Помпей познакомился с Корнелией, вдовой Публия Красса, первой красавицей Рима, и разом потерял голову. Ее честолюбивый отец был в восторге. Октавия была отвергнута. По словам Лукана, пепел от погребального костра Юлии был еще теплым, а Помпей и Корнелия уже стояли перед алтарем. Теперь Цезаря и Помпея ничто не связывало. Хрупкая жизнь Юлии стояла между ними неодолимой преградой. Теперь преграда эта рухнула.

Срок окончания наместничества Цезаря в Галлии приближался. Он требовал, чтобы ему продлили полномочия и позволили заочно баллотироваться в консулы, как и решено было некогда в Луке. Помпей прежде был на это согласен, но сейчас вдруг вспомнил о законах. Он говорил, что Цезарь должен передать провинцию преемнику и как частный человек вернуться в Рим. Но Цезарь и слышать об этом не хотел. Не для того он столько лет воевал, укреплял свое могущество, выкармливал преданные легионы, чтобы теперь начинать все сначала — снова с отрядом гладиаторов брать штурмом Форум, снова заискивать перед чернью, снова сражаться с Катонем. Этого мало. «Говорили, будто он боялся, что ему придется дать ответ за все, что он совершил в свое консульство... Марк Катон не раз клятвенно заверял, что привлечет его к суду, как только он распустил войско, и в городе говорили, что, вернись он частным человеком, и ему, как Милону, придется защищать себя в суде, окруженному вооруженной охраной» (*Suet. Jul.*, 29, 3). Рассказывают, что он прямо

говорил приближенным, что боится суда (*Ibid.*, 46). Этого, конечно, и добивался Помпей.

Начались долгие, тягучие переговоры. Цезарь тянул время и торговался в течение многих месяцев<sup>[105]</sup>. Он шел на некоторые уступки, но Помпей решительно срывал все попытки к примирению. Когда его остерегали, указывали, что дело идет к войне, и напоминали, как силен Цезарь, он с самодовольной улыбкой говорил:

— Стоит мне топнуть ногой, и из-под земли вырастут легионы!

Можно спросить: почему же сенат не обуздал этого безумца, почему потакал он планам, которые вели к гражданской войне?! В последнее время сенат делал много ошибок. Но, я думаю, в этом последнем случае его нельзя упрекнуть. Судя по письмам Цицерона, все сенаторы, кроме разве самых отчаянных голов, войны не хотели и боялись. Но что было им делать? Помпей ничего не желал слушать. А идти ему наперекор — значило толкнуть его к союзу с Цезарем. Объединение же этих двоих грозило неминуемой гибелью Риму. Оставалось слепо повиноваться Помпею.

Между тем наступил последний срок. В последний раз Цезарь попросил продлить ему полномочия и в последний раз получил отказ. Тогда он стянул свои войска и двинулся к границам Галлии. Это было в конце 50 года. Он подошел к реке Рубикон и в тяжелом раздумье остановился. Река эта была границей провинции. Пока он был здесь, на этой стороне, он был законный магистрат римского народа, он мог все вновь обдумать, взвесить, найти новый выход. Но как только он перейдет эту реку с войсками, он превратится в насильника и захватчика, с оружием в руках вторгшегося в свое собственное отечество. Пути назад уже не будет. И он остановился и, «раздумывая, на какой шаг он отваживается, сказал спутникам:

— Еще не поздно вернуться; но стоит перейти этот мостик, и все будет решать оружие» (*Suet. Iul.*, 31, 2).

Долго-долго бродил он по берегу реки в мучительных колебаниях, «принимая то одно, то другое решение». Спустилась ночь. Ненадолго Цезарь забылся сном. Проснулся он в холодном поту — ему привиделось, что он насилует свою мать. Гадатели сказали ему, что сон его предвещает удачу, такой сон «для демагога и политика — добрый знак, ибо мать означает отечество» (*Suet. Iul.*, 7, 2; *Artem. Onir.*, I, 79). Но Цезарь был расстроен и испуган. И снова в предрассветной мгле он бродил по берегу роковой речки. Наконец, обернувшись к спутникам, он сказал:

— Если я воздержусь от этого перехода, друзья мои, это будет началом

бедствий для меня; если же перейду — для всех людей.

«Наконец, подобно тем, кто бросается с кручи в зияющую пропасть, он, откинув рассуждения, зажмурил глаза перед опасностью и, громко сказав по-гречески окружающим: «Пусть будет брошен жребий», — стал стремительно переводить войско через реку» (*Plut. Caes.*, 32; *Pomp.*, 60; *App. B.C.*, II, 34) (январь 49 года).

Теперь он больше не колебался и не медлил. Он стремительно вел легионы на Рим.

Когда в Италии узнали о действиях Цезаря, началась страшная паника. Рим был затоплен потоками беженцев со всей Италии, а из столицы, напротив, обезумевшие от ужаса люди бежали кто куда. Казалось, что «вместе с границей провинции были нарушены и стерты все римские законы; казалось, что не только мужчины и женщины в ужасе бродят по Италии... но и сами города, поднявшись со своих мест, бегут, враждуя друг с другом» (*Plut. Caes.*, 33). Люди метались, словно утратив память и рассудок. Говорят, случились многие страшные знамения. Бушевала гроза, и молнии ударили в священные храмы. Шел кровавый дождь (*App. B.C.*, I, 36).

Сенат собрался в полном составе. Консул обратился к Помпею, сказал, что ему поручена защита Республики, и спросил, где его войско. Ко всеобщему изумлению, Помпей молчал. И тогда сенаторы воскликнули:

— Ты обманул нас, Гней Помпей!

А Фавоний, известный подражатель Катона, юродивый и балагур, громко спросил Помпея, почему же тот не топает ногой (*Plut. Pomp.*, 60).

Буассье замечает, что поведение Помпея кажется нам необъяснимым, но столь же необъяснимым казалось оно современникам. Война не застала его врасплох. Напротив. Сам он уже больше года назад взял курс на войну и срывал все попытки к примирению. А между тем оказалось, что он к ней не приготовился. Когда он говорил: «Стоит мне топнуть ногой, и из-под земли вырастут легионы!» — все думали, что за этим стоит что-то конкретное: тайные договоренности с городами, вербовка войск и ветеранов. А за этим не стояло ровно ничего. И такое легкомыслие поистине удивительно в человеке, который брал некогда великие царства. Оно невольно заставляет вспомнить античную поговорку: «Кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум». В самом деле. Цезарь имел всего пять тысяч пехотинцев и около трехсот всадников. Остальные его силы были еще за Альпами. Казалось бы, Помпей должен тут же выступить против него. Но вместо того в паническом ужасе он бросил Рим и бежал в Апулию. Цезарь устремился за ним. Помпей с войском занял Брундизиум. Цезарь

подступил к городу. Он был уверен, что, владея этим сильным укреплением, Помпей будет обороняться и ожидать прихода своих ветеранов из Испании. Но Помпей неожиданно со всем войском отплыл в Грецию (март 49 года). Так всего за 60 дней Цезарь занял всю Италию.

Когда стало известно, что Цезарь идет на Рим, ужас в городе достиг предела. Консулы уехали, не совершив положенных религиозных обрядов. Сенаторы бежали за Помпеем, не захватив с собой даже имущества. Ни одна женщина из приличного общества не осталась в столице (*Plut. Caes.*, 34; *Att.*, VII, 14, 3). Через несколько дней в Риме были только чернь, бродяги и подонки. Цезарь вступил в почти пустую столицу. О нем ходили самые страшные слухи. Говорили, что он безмерно жесток, что он отдаст Рим на разграбление галлам, что потопит все в крови. Но никого он не убил, кроме одного трибуна, который, опираясь на трибунскую власть и неприкосновенность, пытался помешать ему ограбить государственную казну. Да и его Цезарь не убил, а только пообещал убить, если он не уберется вон. Слишком преданного законам трибуна оттащили, Цезарь захватил казну и устремился на войну с Помпеем (март 49 года).

### Обреченные

Цицерон был еще в Киликии, когда получил письмо от Целия, который взял на себя роль политического обозревателя — описывал ему во всех подробностях положение государства, снабжая рассказ своими прогнозами и комментариями. И вот сейчас, как всегда весело и игриво, он рассказал другу последние новости, очень едко обрисовал поведение Помпея, Цезаря и своего приятеля, тогдашнего трибуна Куриона, подкупленного Цезарем. В заключение он прибавил, что гражданская война, по его мнению, неизбежна и надо обдумать, что делать. «Во время гражданских смут надо, разумеется, держаться более честной партии, но только пока спор ведется мирным путем; когда же дело доходит до битв и военного лагеря — то более сильной, и тогда правой следует считать ту, с которой безопаснее... Если бы только опасность не угрожала тебе самому, я бы сказал, что судьба приготовила для тебя веселое и увлекательное зрелище», — закончил он (*Fam.*, VIII, 14, 3–4). Когда Цицерон прочел это жизнерадостное письмо, он содрогнулся. И вместо остроумного ответа, которого ждал от него его молодой друг, у него вырвался стон. «Я люблю Куриона, желаю почестей Цезарю, готов умереть за Помпея, но дороже всего на свете для меня Республика!» (*Fam.*, II, 15, 3).

Несколько месяцев спустя он был уже в Италии (ноябрь 50 года). «Я подъехал к Риму в канун январских нон... и попал в самое пламя гражданской распри, вернее, войны». «Моя жизнь, жизнь всех честных людей, существование самой Республики висят на волоске. Ты поймешь это, узнав, что мы оставили наши дома и нашу родину грабежам и огню. И, если не придет нам на помощь какой-нибудь бог или случай, мы погибли» — так писал Цицерон другу в начале января 49 года (*Fam.*, XVI, 11, 2; XVI, 12, 11).

Глухой ночью его дверь распахнулась и в комнату ворвался Целий Руф. Он стал горячо и быстро рассказывать, что решил бежать в ставку Цезаря, и умолял Цицерона бежать с ним — с Помпеем он погибнет. Но оратор отказался. Он дал Целию письмо для Цезаря, где заклинал его заключить мир, говорил, что будет посредником между ним и сенатом и склонит отцов к любым уступкам. И Целий скрылся во тьме.

Черная ночь спустилась в душу Цицерона. Случилось то, что столько лет снилось ему в кошмарных снах. Снова гражданская война, Рим раздирает себе самому внутренности, дикая резня, грабеж мирных городов, затем тиран, проскрипции, лужи крови на Форуме и отрубленные головы на Рострах. «Я вижу... что Республика повержена той самой бурей, которую я предвидел 14 лет назад». «Уже давно я, словно стоя на сторожевой башне, видел грядущую бурю» (*Att.*, X, 4, 4; *Fam.*, IV, 3, 1). У него осталась одна последняя отчаянная надежда — броситься между этими двумя безумцами и умолить их заключить мир. Он ездил, писал, убеждал, хлопотал перед обоими вождями. «С каждый днем мне все страшнее за Рим, — писал он Аттику. — ...Нам нужен мир. Из победы вырастет много зла и прежде всего тиран» (*Att.*, VII, 4, 4). «Я продолжаю убеждать заключить мир, — рассказывает он в другом письме, — даже несправедливый мир лучше, чем самая справедливая гражданская война» (*Att.*, VII, 14, 3). В Киликии после своих неожиданных побед он тешил себя надеждами на триумф. Ему, человеку сугубо мирному, особенно соблазнительным представлялось въехать в город на золотой колеснице, запряженной белоснежными конями, словно он великий полководец. Сколько раз во время пути эта картина услаждала его тщеславие. Но сейчас, когда сенат предложил ему триумф, Цицерон только махнул рукой. Он сказал, что готов как пленник идти за триумфальной колесницей Цезаря, только бы удалось заключить мир. «От себя он обращался с советами к обоим — Цезарю посылал письмо за письмом, Помпея уговаривал и умолял при всяком удобном случае, — стараясь смягчить взаимное озлобление. Но беда была неотвратима» (*Plut. Cic.*, 37). Страшная

война стала реальностью. Надо было выбирать, к какому лагерю примкнуть. А выбор этот был поистине тяжел.

Казалось бы, какие тут могут быть колебания? Разве Цицерон в течение всей своей жизни не защищал Республику? Он любил ее больше всего на свете, он готов был всем ради нее пожертвовать, и вот сейчас, когда его Республике угрожал жестокий враг, который намеревался силой уничтожить все законы, он вдруг заколебался? Что за странность! Все это так. Но дело в том, что волею судеб Республику защищал Помпей, тот самый Помпей, который десять лет ее расшатывал, который был триумвиром и зятем Цезаря. Никто ему не верил и все боялись, что вместо борьбы за свободу будет война за царство между двумя удачливыми вождями. Вот что делало положение особенно трагичным и всякую борьбу безнадежной. Цицерон рассказывает, что в эти страшные дни приехал к нему его старинный приятель Сервий Сульпиций. То был интеллигентнейший человек, тихий, кроткий и честный, замечательный юрист, ученый со светлым умом. Сейчас Сервия как подменили. Он рыдал, как ребенок, рыдал так, что Цицерон, по его словам, опасался, что кончится вся влага у него в организме. Сквозь слезы он бормотал только одно — два тирана борются за власть и «победа каждого из них ужасна» (*Att.*, X, 14).

То же самое думал Цицерон. «Ни у одного из них нет цели, чтобы хорошо было нам — оба хотят царствовать» (*Att.*, VIII, 11, 2). Поэтому, говорит он, «у меня есть от кого бежать, но не за кем следовать» (*Att.*, VIII, 7, 2). И все-таки Цицерон решил до конца защищать Республику, а значит, встать под знамена Помпея. Этот выбор, говорил он Аттику, не сулил даже слабой надежды на счастье. Впереди только мрак и отчаяние. «Если нас победят, мы будем проскрибированы. Если победим мы, то все равно станем рабами. Что же ты думаешь делать, спросишь ты. То же, что и скотина, — если стадо распугать и оно разбежится в разные стороны, то каждая скотина находит тварей своей породы. Как бык за стадом, я последую за честными людьми... даже если они бегут в бездну» (*Att.*, VIII, 7, 7).

Странное чувство внушал ему в то время Цезарь. Не гнев, не возмущение, а какую-то странную жалость. «Безумный, жалкий человек, который никогда не видел даже тени прекрасного! Все это он делает, по его словам, ради своего достоинства. Но разве достоинство не там, где порядочность? А разве порядочно... занимать города сограждан, чтобы проложить путь к захвату родины?.. И совершать еще шестьсот других преступлений,

чтобы овладеть величайшей из богинь, Тиранией.

...Клянусь, я предпочел бы тысячу раз умереть, чем хоть раз замыслить что-либо подобное... Такое желание, по-моему, это горшее несчастье, чем быть прибитым ко кресту. Есть только одна вещь на свете еще хуже — добиться венца таких желаний» (*Att.*, VII, 11, 1–2). Строки про великую богиню Тиранию принадлежат Еврипиду (*Eur. Phoen.*, 506). Это был любимый стих Цезаря, который он твердил без конца (*Cic. De off.*, III, 82).

Однако сейчас было не время сетовать. Цицерон предложил свои услуги Помпею, и тот немедленно отправил его в Кампанию, чтобы руководить набором войск и заниматься другими срочными делами. Цицерон взялся за дело с обычной для него энергией. Он простился с семьей и тут же выехал на место. Но везде он заставлял полную неразбериху и хаос. Никто ничего не понимал, и ни у кого он не мог добиться никаких указаний, что делать. Наконец он получил приказ от консулов срочно ехать в Капую, где они вместе будут руководить набором. Цицерон тут же отправился в путь. Был февраль. Дул холодный ветер, ехать пришлось под проливным дождем по размытым дорогам. То и дело ему сообщали, что все пути захвачены цезарианцами. Но он добрался до Капуи, где ждала его ошеломляющая новость. Ни консулов, ни войск не было, в городе же царила паника (*Att.*, VII, 20; 21).

В полной растерянности уехал Цицерон из Капуи и, не получая больше никаких приказов, поселился пока в своей усадьбе в Формиях. Последние иллюзии его рухнули. Он давно разочаровался в Помпее как в человеке, как в политике, но он все еще верил в него как в полководца. Теперь и эта вера развеялась (*Att.*, VIII, 13, 1). Его страшно поразило, что Помпей покинул Рим. Этого он никогда не мог ему простить. «Он оставляет Рим. Я в недоумении. Как мог ты оставить Рим?» — бессмысленно твердил он (*Att.*, VII, 11, 3). Он говорит, что Помпей беспомощен, робок, он не может ничего. Десять лет непрерывных ошибок, а теперь вот это бессмысленное бегство. Он бросил на произвол судьбы своих союзников. Как можно после этого положиться на подобного человека? (*Att.*, VII, 21, 1). В довершение Помпей оставил все деньги, и частные, и государственные, Цезарю, чем усилил его во сто крат (*Att.*, VII, 15, 3). А Целий, который был уже с Цезарем, весело писал ему: «Видал ли ты когда-нибудь такого болвана, как твой Гней Помпей? И этот пустейший человек наделал столько шума. И кто энергичнее на войне, чем наш Цезарь?» (*Fam.*, VIII, 15, 1).

Вскоре выяснилось, что Помпей в Апулии. Цицерон получил от него письмо. Помпей настойчиво звал его к себе. Оратор отвечал, что все дороги заняты Цезарем и он отрезан от Апулии. Впоследствии он признавался, что покривил тогда душой. Нет, он не лгал — дороги действительно были заняты Цезарем — ехать действительно было опасно. Но он все равно попытался бы прорваться, если бы вдруг не почувствовал неодолимого отвращения к Помпею. Мало того что тот довел Республику до критического положения, мало того что ничего не приготовил, вызвал гражданскую войну, позорно бросил своих сторонников и оставил Рим. В ужас приводили Цицерона новые планы полководца и его клеветов. Предлагалось уехать на Восток, набрать там армию, а Италию отрезать от коммуникаций и лишить таким образом Цезаря продовольствия. «Мне, которого называли подчас спасителем, отцом Рима, привести к его стенам полчища гетов?! Мне душить своих сограждан голодом и опустошать Италию?!» — в тоске восклицал он (*Att.*, IX, 10, 11). И он говорит о Помпее: «Его душа сулланствует и проскрибирует» (6).

И тогда Цицерон принял новое решение. Он удалится от братоубийственной войны. Отныне он станет частным человеком, уедет куда-нибудь в отдаленный уголок Италии, никогда не переступит границ Рима и не увидит ни Цезаря, ни Помпея. Но, приняв это прекрасное решение, он не только не успокоился, но совсем утратил всякое душевное равновесие. Он метался, он лишился сна, он терзался и день, и ночь (*Att.*, X, 9, 2). Жил он теперь в тихой сельской местности и страшно бывал поражен, когда во время своих одиноких прогулок встречал крестьян. Они были спокойны и веселы, они толковали о погоде и о будущем урожае, и никому, казалось, и дела не было до Республики (*Att.*, VIII, 13, 2). Он был растерян так же, как Николка Турбин из «Белой гвардии», когда в Город ворвался Петлюра, он видел героическую смерть Най-Турса и вдруг встретил спокойных горожан и понял, как мало заботит их судьба белой армии.

Кроме того, Цицерона терзала тревога за Туллию. Он оставил дочь в Риме, ибо ему казалось опасным брать ее с собой. Но когда он думал о приближении варваров, у него кровь стыла в жилах. Что, если Цезарь отдаст Рим на разграбление дикарям? (*Fam.*, XIV, 18; 14; *Att.*, VIII, 13, 3). Наконец хоть эта тревога улеглась. В начале февраля Туллия приехала к отцу в Формии.

Цицерон все продолжал жить в тихом своем убежище. Но вскоре выяснилось, что римские вожди не желают оставлять его в покое. Цезарь руководил огромным театром войны, он был страшно занят, от него требовалось напряжение всех сил, и все-таки он ни на минуту не забывал о

Цицероне. Он, видимо, задался целью любыми путями переманить к себе оратора. Действовал он, как всегда, очень продуманно и тонко. Прежде всего его клеветы — Бальб, Долабелла, Антоний, Гирций, Целий, Требатий (а среди них было много приятелей Цицерона) — буквально бомбардировали его письмами, уговаривая присоединиться к Цезарю. Каждый на свой лад заклинал, умолял, убеждал, требовал. То они говорили, что их вождь уже склоняется к миру, но только Цицерон сможет его окончательно в этом утвердить. То писали, что Цезарь, напротив, очень жесток и опять-таки только Цицерон сможет удержать его от кровопролития и спасти Италию (например, *Att, VII, 21, 3; VIII, 15a*). Но вся эта лавина писем в глазах Цицерона отступила на задний план, когда он получил послание от самого Цезаря. «Он шлет мне вкрадчивые письма», — говорит оратор Аттику (*Att, VIII, 3, 11*). Одно из этих «вкрадчивых» писем до нас дошло. И это действительно какой-то шедевр, вершина ума и лести. Цезарь описывает оратору свой образ действий. Он решил прощать всех своих врагов. Если угодно, пусть едут к Помпею, ему все равно. «Для меня нет ничего ненавистнее жестокости». И единственная награда, которую он ждет, более того, жаждет, это похвала Цицерона. «Я радуюсь словно триумфу, что ты одобряешь мои поступки... Мне хотелось бы, чтобы ты был поближе к Риму, тогда я мог бы воспользоваться твоими советами и твоей поддержкой» (*Att., IX, 16*).

Это действительно умно. Цезарь соблазняет оратора не золотом, не почестями, как своих любимцев. Нет. Он хочет покорить его тем, что сам Цицерон ценил более всего на свете — *гуманностью*! И потом, какие блестящие возможности представлялись Цицерону. Руководить тираном — ведь сам Цезарь недвусмысленно просил об этом — защищать невинных, стараться обратить его мысли к добру, спасти страну от новых проскрипций — разве все это не более достойная задача, чем быть простым солдатом Помпея? И что может копье в его слабой руке? Его оружие — ум и язык. Да, это была поистине великолепная приманка. И тем более странно, что Цицерон ее сразу же с порога отверг. Ответ его удивительно благороден и прост. Цезарь спрашивает его совета? Совет этот таков — простить Помпея и помпеянцев и примириться с ними. Более того, Цицерон начисто отверг должность «серого кардинала», которую предлагал ему Цезарь. Вместо того он решил выговорить себе только одно условие — разрешение жить в деревне, никогда не переступать границ Рима и не заседать в сенате.

Цезарь не ограничился письмами. Он всегда пользовался славой обаятельнейшего человека и теперь задумал лично явиться к Цицерону,

уверенный, что старый оратор не устоит против его чар. И вот весной он прибыл в его сельский дом в Формиях. Цезарь был сама любезность, сама ласка. Но как ни странно, он достиг своим визитом прямо противоположных результатов. Дело вот в чем.

Лагерь Цезаря представлял какую-то странную, даже несколько жуткую картину. Как некогда Катилина, Цезарь сделал ставку на так называемых «пропащих» людей — неоплатных должников, преступников и прочих сброд. «Он был единственной опорой для подсудимых, для задолжавших и промотавшихся юнцов»; тем же из них, кто «настолько погряз в преступлении и распутстве, что даже он не мог им помочь... он прямо говорил, что спасти их может только гражданская война» (*Suet. Iul.*, 21, 2). Целий, перешедший на сторону Цезаря, говорил Цицерону, что его патрон имеет обыкновение добиваться дружбы негодяев какой угодно ценой (*Fam.*, VIII, 4). Сам же Цицерон впоследствии писал: «Было у Цезаря вообще такое обыкновение: если он видел, что какой-то человек совершенно погряз в долгах и нужде и если при этом он был дерзким негодяем, он делал его своим другом» (*Phil.*, II, 78). Вот почему еще в самом начале гражданской войны Цицерон писал Аттику, что считает Цезаря страшной силой. «Мы имеем дело с человеком необыкновенно дерзким и вполне подготовленным; с ним все, кто осужден или обещен, и все, кто достоин осуждения или бесчестья, кроме того... пропащие люди... и все, кто задавлен долгами, а их больше, чем я думал» (*Att.*, VII, 3, 5).

И вот сейчас все эти люди пестрой толпой ввалились в дом Цицерона. Он был в ужасе. «Боги! Какая свита!» Они показались ему адской толпой, вырвавшейся из преисподней. Давно я не видал столько мерзавцев разом, говорил он Аттику (*Att.*, IX, 18, 2). Цицерон схватился за голову. Он понял вдруг, что Италия в руках негодяев, уголовников. Вот они, новые хозяева жизни, которые дорвались до власти! Они не знают удержу, для них не существует ни законов, ни морали. Что ждет впереди страну, и не только страну, а весь мир, провинции, отданные им во власть? Резня может начаться с минуту на минуту — пусть сам Цезарь и не кровожаден, он слишком зависит от этих людей. Сейчас по всей Италии проводили набор для войны с Помпеем. Цицерон жил в сельской местности и мог это очень хорошо наблюдать. Он с отчаянием смотрел на юношей, которых отправляют на бойню. «Какое печальное, какое страшное зрелище этого чудовищного зла! Происходит набор... Это всегда тяжело, даже если проводят его люди честные, проводят ради справедливой войны, проводят с умеренностью. Подумай, как же это горько сейчас, когда всем руководят

пропащие люди, делается это для нечестивой гражданской войны и бессовестным образом» (*Att.*, IX, 19, 1; X, 8, 6).

В конце весны Цезарь вместе со своей «адской свитой» умчался в Испанию, где уже пылала война. Между тем Цицерон узнал, что Помпей бежал из Италии. За ним последовали все сенаторы и все магистраты римского народа. В стране не осталось законного правительства. Цицерон понял, что все кончено. Эта новость как громом его поразила. Все планы, все помыслы, все надежды развеялись в прах, как ворох осенних листьев. «Мне показалось, что в мире погасло солнце», — говорит он. Его настроение разом изменилось. Там где-то люди умирают за Республику, а он нежится здесь, в своем поместье. Жалкий болван! Нет, прочь, прочь из Италии, простым солдатом последует он за республиканцами. «Я не могу выдержать тоски. Ни книги, ни литература, ни науки — ничто меня не утешает. И вот дни и ночи, подобно той птице<sup>[106]</sup>, я жажду улететь» (*Att.*, IX, 10, 2–4).

Его близкие пришли в ужас, узнав об этом безумном решении. Аттик и Туллия умоляли его одуматься, взвесить все, хотя бы подождать, чем кончится война в Испании. Ответ Цицерона поистине удивителен. Чего ждать? — спрашивает он. Может быть, они надеются, что победит Помпей? К нему хлынут все прежние враги, станут лебезить перед ним, и тогда «сколь славен, сколь почетен будет мой приезд к Помпею!» Нет, «нужно именно покинуть победителя, а не побежденного». Победитель устроит резню, введет проскрипции и установит «царскую власть, невыносимую не только для римлянина, но для какого-нибудь перса». Он решил разделить участь побежденных (*Att.*, X, 8, 1–6).

Итак, Целий говорил, что примкнуть следует к *победителю* и считать, что прав тот, кто *сильнее*. Цицерон же думал, что идти следует за *побежденным* и правым считать того, кто *слабее*. «Я никогда не хотел быть участником его победы, но я жажду разделить его несчастье», — говорил он о Помпее (*Att.*, IX, 12, 4).

Цезарь был на пути в Испанию, когда узнал о решении Цицерона. Новость эта застала его врасплох. При всем своем обширном уме он, по-видимому, плохо разбирался в людях. Это показали дальнейшие события. Все его любимцы, все самые доверенные и приближенные люди тайно предавали его. Убили его друзья и любимые офицеры. Вот и сейчас он был абсолютно убежден, что покорила оратора. Легкая светски-литературная беседа, заманчивые обещания и щедрая порция лести — что еще нужно? Вот почему он был буквально ошеломлен. Целий, который находился тогда в его войске, рассказывает, что Цезарь вошел к нему страшно

взволнованный и, едва поздоровавшись, выложил поразительную новость. Он просил, чтобы Целий употребил все свое влияние и остановил Цицерона от рокового шага. Целий, по его собственному выражению, «был убит». Он решил сделать все, чтобы вырвать друга из лагеря обреченных. Тут же он написал оратору письмо, где с совершенно несвойственными ему серьезностью и волнением закликает Цицерона подумать о детях и хотя бы ради них не губить себя (*Fam.*, VIII, 16). Это письмо после того, как его прочел сам Цицерон, попало в руки его сына и племянника. Мальчики рыдали навзрыд, читая его и представляя, что ожидает их семью (*Att.*, X, 9, 2).

Немедленно весь хор клеветов Цезаря, повинувшись незримой палочке дирижера, заныл и заплакал, умоляя Цицерона одуматься. Даже грубый Антоний написал ему письмо, уговаривая остаться ради Туллии (*Att.*, X, 8 a). Сам Цезарь немедленно взялся за перо и написал следующее: «Я никогда не сомневался, что ты не сделаешь никакого опрометчивого или необдуманного шага. Но меня взволновала людская молва и я решил, что мне необходимо написать тебе и просить ради нашей дружбы — не езди к ним теперь, когда их дело проиграно, ведь ты считал, что этого не следует делать даже тогда, когда у них все еще было благополучно. Ты нанесешь тяжкую обиду нашей дружбе и причинишь себе самому неприятности, если не смиришься с судьбой (потому что ведь для нас все складывается великолепно, а для них совершенно неудачно) и не последуешь за нами — ведь они не изменились с того времени, как ты решил бежать от их замыслов. Или, может быть, ты осуждаешь какой-нибудь мой поступок? Для меня это было бы всего горше. Молю тебя именем нашей дружбы, не делай этого. Наконец, что более всего подобает честному и миролюбивому человеку, честному гражданину, как не уйти от гражданских смут? Некоторые желали бы этого, но страшатся опасности. Но ты, зная мою жизнь, зная мою дружбу, не сможешь найти ничего безопаснее, ничего почетнее, чем уйти от всяких гражданских раздоров.

Писано за 15 дней до майских календ. В пути» (*Att.*, X, 8b).

Но все эти мольбы и закликания не оказывали на Цицерона ни малейшего действия. Как безумный, он рвался туда, в лагерь обреченных, чтобы разделить их участь. На все доводы разума он отвечал: «Пора уже подумать не об этой короткой жизни, но о жизни вечной» (*Att.*, X, 8, 6). В это время он имел важную беседу с Туллией. У нее было большое семейное горе. Она ждала ребенка, между тем отношения с мужем были близки к разрыву. Ее пугал и угнетал весь тот ужас, который обрушился на государство. И вот теперь ее обожаемый отец едет на смерть. Конечно, она

была удручена и подавлена. Цицерон с жаром принялся объяснять ей свою точку зрения. Он рассказывает Аттику, что дочь поняла его и восхитилась его решением. Она держала себя совсем не так, как ее брат. Она не плакала, не жаловалась, ни словом не упоминала о собственном горе. Она поддерживала и утешала отца и говорила, что он должен поступать так, как велит ему совесть. И Цицерон воскликнул в восторге и умилении: «Да, существует любовь, существует высшее родство душ!» (*Att.*, X, 8, 9). Но такое напряжение дорого стоило Туллии. У нее начались преждевременные роды. 19 марта она родила семимесячного ребенка.

Между тем на пути Цицерона встало новое непредвиденное препятствие. Цезарь назначил командующим в Италии

Марка Антония, ему препоручил все дела и, в частности, Цицерона. Антоний этот был груб, неотесан, жесток и, конечно, совершенно не понимал, чего ради его патрон так носится с Цицероном. Однако Цезарь, очевидно, дал своему помощнику какие-то четкие указания, велел действовать осторожно и ни в коем случае не прибегать к насилию. И Антоний делал, как приказано: слал Цицерону любезные письма и уговаривал остаться ради Туллии. Но, когда в ответ Цицерон стал доказывать, что ему необходимо ненадолго покинуть страну, чтобы отдохнуть на каком-нибудь греческом острове, и спрашивал, неужели Антоний не согласен с его доводами, тот вдруг брякнул, что совершенно неважно, согласен он или не согласен, потому что ему не велено выпускать Цицерона из страны. «Как я был слеп, что не видел этого раньше!» — восклицает Цицерон (*Att.*, X, 10, 1; 12, 1). Но даже это не могло его остановить. Всем, даже Целию, он говорил, что не хочет участвовать в кровопролитии и решил пока удалиться в Мелиту, чтобы не видеть происходящего (*Att.*, X, 8, 10). Аттику он писал: «Меня стерегут со всех сторон... Нужно пробраться и незаметно взойти на какое-нибудь грузовое судно» (*Att.*, X, 12, 2). И вот, простившись с другом и горячо препоручив ему свое самое дорогое сокровище, Туллию, он отправился в Брундизиум (*Att.*, X, 8, 9).

С дороги он пишет Аттику, что, оглядывая свою жизнь, он видит, что судьба послала ему много тяжелых испытаний. Но все-таки он счастливее обоих этих великих полководцев, которые бросили родину в пучину гражданской войны. «Если... я написал в своих сочинениях правду и единственное благо — это достойный поступок, а единственное зло — поступок низкий, конечно, оба они глубоко несчастные люди. Для них обоих власть и выгода всегда были дороже, чем благо и достоинство отечества. Меня поддерживает чистая совесть... Ее я возьму себе в

спутницы» (*Att.*, X, 4, 4).

7 июня 49 года Цицерон взошел на корабль, отправляющийся в Эпир. Стоя на палубе, он вспомнил греческий миф, обработанный Эсхилом. Семь полководцев выступили в путь, чтобы захватить Фивы. Но один из них, Амфиарай, был великий пророк и видел будущее. Он знал, что они не возьмут город — всем им суждено пасть у ворот Фив. И все же он отправился вместе со всеми, отправился, чтобы умереть. И Цицерон показался себе таким вот Амфиараем. «Как мифический Амфиарай, все зная и все предвидя, я отправился навстречу гибели» (*Fam.*, XIV, 7; VI, 6, 6).

### Фарсал

Пусть Помпей и не внушал доверия, пусть о нем шла недобрая слава, все понимали — это будет последний бой за Республику и свободу. И никто не мог оставаться безучастным. Прежние колебания закончились. В лагерь Помпея в Эпире лавиной хлынули люди (*App. B.C.*, II, 40). Цвет молодежи Рима и Италии стал под его знамена (*Plut. Pomp.*, 64). Приехал Нигидий Фигул, пифагореец, погруженный в созерцание звезд. Приехал Сервий Сульпиций, так плакавший в доме Цицерона, пожилой ученый, который много лет не держал в руке копья. Приехал молодой Брут, всем сердцем любивший Цезаря, а Помпея ненавидевший лютой ненавистью, ибо во время прежней гражданской войны тот умертвил его отца. Когда же в лагерь, хромая, вошел Тидий Секстий, дряхлый, больной старик, почти не выходящий из дому, все поняли, что ни один римлянин, который еще может стоять на ногах, не желает оставить без помощи законы и свободу. У Помпея было много больше воинов, чем у Цезаря. У Помпея была прекрасная позиция. И все-таки победа Цезаря была предрешена.

У него были 11 закаленных в боях легионов, готовых ради него в огонь и в воду, и армия «пропавших» людей. За спиной у них не было ничего, они шли ва-банк — если Цезарь победит, их ждали золото и почести, если проиграет — позор, нищета, долговая яма. У Помпея же были римская аристократия и римская интеллигенция. Они ненавидели Помпея за то, что тот столько лет расшатывал Республику, и презирали его за теперешнее малодушие. Цезарь был полным хозяином в своем лагере. Помпей хозяином не был. Все эти люди явились защищать не его, а свою Республику, и он знал, что одно слово Катона значит для них больше, чем весь его авторитет. Помпей и его ближайшие клевреты вызывали у остальных отвращение. Когда веселые любимцы главнокомандующего

вечером болтали у костра и обрывки их разговоров долетали до порядочных людей, у них волосы на голове шевелились. Клевреты Помпея делили будущую добычу и имущество врагов и порой ссорились из-за них, как собаки из-за большой кости. Так, накануне решительной битвы трое из них сцепились из-за должности верховного понтифика, которую занимал Цезарь. Такова была обстановка, когда в лагерь обреченных явился Цицерон.

В первую минуту Помпей страшно обрадовался и сразу воспрянул духом. Но он возликовал рано. Цицерон был в каком-то мрачно-ироническом настроении и, казалось, находил мрачное удовольствие в том, чтобы язвить колючими насмешками главнокомандующего.

Когда один человек стал при нем доказывать, что дела идут хорошо, он сказал:

— Понятно, значит, наше отступление — это военная хитрость.

Другой возразил ему, что рано падать духом — у Помпея еще семь орлов. Цицерон возразил:

— Ты бы меня вполне ободрил, если бы мы воевали с галками.

Помпей наградил одного перебежчика римским гражданством. Цицерон заметил:

— Какой учтивый человек! Галлам он обещает чужое государство, а нам не может вернуть наше собственное.

Весь лагерь приходил в восторг от шуток Цицерона. Все хохотали, он же «расхаживал по лагерю и, сам всегда угрюмый, без тени улыбки на губах, вызывал ненужный и неуместный смех» (*Plut. Cic.*, 38; *Macrobian. Sat.*, II, 3).

На Помпея жалко было смотреть. Этот самовлюбленный человек, который всегда красовался и пыжился в лучах всеобщего восхищения, как павлин на солнце, сейчас страдал ужасно. «Он не переносил шуток Цицерона», — говорит Макробий (*Sat.*, II, 3). И просто не знал, что делать. Клевреты посоветовали бороться с Цицероном его же оружием. Помпей после долгих раздумий придумал наконец прекрасную остроу. Муж Туллии был цезарианцем. Вот он и задумал уколоть Цицерона, напомнив о бесчестии его семьи. При всех он громко и многозначительно спросил:

— Где твой зять?

— С твоим тестем, — последовал мгновенный ответ.

Больше Помпей не решался тягаться с Цицероном. Он окончательно обиделся, надулся и однажды с тяжелым вздохом произнес:

— Я бы очень хотел, чтобы Цицерон перешел к нашим врагам. Тогда бы он, по крайней мере, нас боялся (*Ibid.*).

С легкой руки Цицерона в лагере стало модно издеваться над Помпеем. Кто-то прозвал его царем царей и Агамемноном, а Фавоний весело кричал: «Друзья, неужели и в этом году не будет у нас тускульских фиг?» (*Plut. Pomp.*, 67), намекая на бегство Помпея из Италии.

Все эти шутки совершенно вывели военачальника из равновесия.

И все-таки первую крупную битву, битву при Диррахиуме, Помпей выиграл. Но почему-то он не стал преследовать врага, не захватил его лагерь, не воспользовался победой и свел ее на нет, «поврежденный в разуме божеством, и на сей раз, как и в других случаях в течение всей войны» (*App. B.C.*, II, 67). Цезарь сказал тогда:

— Они победили бы, если бы у них было кому победить.

Генеральное сражение состоялось летом 48 года в Фессалии при Фарсале. Накануне ночью Помпей видел странный сон. Снилось ему, что входит он в какой-то огромный театр и народ встречает его восторженными рукоплесканиями, как в прежние счастливые дни. Потом он увидел себя самого украшающим храм Венеры Победительницы. Проснувшись, он недоумевал, радость или горе сулит ему ночное видение. С одной стороны, ликование толпы, казалось, предвещало удачу. Но, с другой стороны, украшал-то он храм Венеры, а она считалась прародительницей его врага. Не значит ли это, что победа над ним, Помпеем, украсит триумф Цезаря? А Цезарь видел ослепительный факел — он пронесся по ночному небу над его лагерем и упал на стоянку Помпея (*Plut. Caes.*, 43; *Pomp.*, 72).

Наутро состоялась эта великая битва. Она была жестокой и кровавой. Счастье отвернулось от республиканцев. Они были на голову разбиты. Это был конец Республики. «В тот день... от нас навеки ушла свобода и скрылась за Тигром и Рейном... Она позабыла нас, она дарит свои милости германцам и скифам, она более не смотрит на Италию! О, лучше бы италийцы ее никогда не знали! Рим, почему не был ты рабом с того дня, когда Ромул... не к добру при зловещих знаменьях заложил стены, до фарсальской резни! Судьба, я негодную на Брута<sup>[107]</sup>. Зачем мы так долго жили под властью законов и ежегодно избирали консулов?! Арабы, персы, все страны Востока счастливее нас — они никогда и не знали ничего, кроме тирании. Наш жребий самый ужасный из всех народов, покорных царям. Для нас рабство — позор... И мы воображаем, что Юпитер царит над миром? Неужели молниевержец мог смотреть с неба на фарсальскую бойню?» (*Luc. Phars.*, VII, 431–448).

Этот крик вырвался из уст поэта Лукана, когда он закончил описание роковой битвы. А Цезарь насмешливо заметил, что после Фарсала Республика стала пустым звуком.

## Помпей Великий

Когда Помпей увидел, что полки его бегут в беспорядке, что-то странное случилось с ним. «Он походит скорее всего на человека, которого божество лишило рассудка» (*Plut. Caes.*, 43). Не пробуя остановить бегущих, он медленно побрел в лагерь, вошел в свою палатку и долго-долго сидел неподвижно. Наконец ему стали говорить, что враг уже в лагере. Он сказал только:

— Неужели уже дошло до лагеря?

Встал, накинул плащ и молча вышел. За его спиной слышались отчаянные вопли, это цезарианцы, ворвавшись в лагерь, резали слуг и рабов. Помпей же сел на коня и пустил его вскачь. С ним рядом ехало всего несколько человек, остальные рассеялись кто куда. Спутники Помпея рассказывали потом, что всю дорогу он был как каменный и не промолвил ни слова. «В течение тридцати четырех лет он привык покорять всех неприятелей. Только теперь, на старости лет, он в первый раз узнал, что такое поражение и бегство», за один час потеряв всю свою славу.

Лето было в самом разгаре. Стояла страшная жара. Увидав горный поток, Помпей соскочил с коня, бросился ничком на землю и стал пить прямо из реки. Наконец они достигли моря. Помпей сел в первую попавшуюся рыбацью лодку. В порту на якоре стояло торговое римское судно. Капитан не был другом Помпея, он не был даже знаком с ним. Но сейчас, взглядевшись в человека, сидевшего в утлом челноке, он с изумлением узнал знаменитого полководца и разом понял, что произошло. Не колеблясь ни минуты, не говоря ни слова, он подошел к борту и протянул руку Помпею, помогая ему взойти на корабль.

Здесь на чужом корабле, потеряв все, Помпей заметил вдруг, что отношение к нему окружающих резко переменилось. Все начали оказывать ему молчаливые знаки внимания, никто более не издевался над ним и не упрекал его. Хозяин хлопотал вокруг него. На корабле он увидел своего вечного мучителя Фавония. Помпей наклонился, пытаясь развязать башмаки, но он так был измучен, что даже это было ему тяжело. Увидав это, Фавоний подбежал к нему и снял с него обувь. С того времени он служил Помпею, готовил ему еду и ходил за ним, как за ребенком.

Капитан спросил, куда ехать.

— В Амфиполь, — отвечал Помпей.

Из Амфиполя они поплыли в Митилены, где находилась Корнелия,

жена Помпея, которую он обожал, с которой не мог расстаться ни на минуту и о которой думал непрерывно. Молодая женщина знала о недавней победе мужа, свято верила в его гений, со всех сторон слышала заверения, что уже через несколько дней война придет к счастливому концу, и теперь с нетерпением ожидала известия о полном успехе. И вдруг перед ней предстал мрачный, как ночь, вестник. Корнелия глянула ему в лицо и помертвела. Она поняла все прежде, чем он промолвил хоть слово. Наконец вестник сказал:

— Поспеши, если ты хочешь видеть Помпея — на одном корабле, к тому же чужом.

Она рухнула на землю и долго лежала без памяти. Наконец она очнулась, вспомнила все и бросилась бежать через весь город к морю. Увидав мужа в его жалком, униженном состоянии, она покачнулась и упала бы вновь, но Помпей подхватил ее на руки и внес на корабль.

Постепенно к Помпею собрались некоторые из бывших сторонников. Вместе с горсткой друзей побежденный военачальник держал совет, куда теперь ехать. После долгих споров решено было отправиться в Египет. Тамошний царь был сыном человека, многим обязанного Помпею, и можно было надеяться найти у него приют. Итак, они повернули корабль к Африке.

Царь Птолемей был еще совсем ребенком. И, как всегда в Египте, всем заправляли временщики, люди самого темного происхождения, невесть откуда взявшиеся и, казалось бы, меньше всего подходящие для управления. Их было трое — евнух Потин, школьный учитель Феодот и какой-то Ахилла. Известие от Помпея их порядком смутило. Помпей был разбит и потерял все. Помогать ему было глупо — это означало навлечь на себя гнев победителя Цезаря. Но, с другой стороны, отказать Помпею тоже было опасно. Вдруг он еще сумеет объединить сторонников и отомстит египтянам? И тут выступил учитель. У него есть превосходный план, сказал он. Надо пригласить Помпея и умертвить. Голову его можно послать Цезарю, это будет для него очень приятный подарок. Таким образом, они приобретут любовь победителя, а Помпея уже нечего будет бояться.

— Мертвые не кусаются, — закончил он с улыбкой.

Его совет пришелся всем по сердцу.

Помпей стоял на палубе и глядел в сторону берега. Берег был пустынен. Ни царя, ни вельмож, ни блестящей свиты, пришедшей встречать его. Ему сразу стало тяжело на сердце — не так принимают в Египте почетных гостей. Наконец от берега отделилась маленькая лодочка и поплыла к их кораблю. И тут уж все его спутники закричали, что надо как

можно скорее ехать прочь — тут явный обман и засада. Но Помпей покачал головой. Наметанным глазом старого полководца он заметил у берега несколько кораблей. Он увидел, как что-то блеснуло на их палубе, и понял, что там скрывались вооруженные воины. Если они сейчас попытаются уйти в море, за ними кинутся в погоню. И тогда он подвергнет опасности сына и Корнелию. У него не оставалось выбора. Он должен был отвлечь врагов и принять удар на себя. Четко и повелительно, не терпящим возражения тоном он отдал спутникам приказ — всем оставаться на местах, он сойдет на берег один. Если же с ним что-нибудь случится, немедленно вести корабль в открытое море.

А лодка, которая должна была отвезти Помпея на смерть, уже приблизилась. Ахилла привстал и протянул ему руку. Помпей шагнул уже к борту, но вдруг остановился, повернулся к горько рыдавшей Корнелии и прочел по-гречески строки из Софокла:

Когда к тирану в дом войдет свободный муж,  
Он в тот же самый миг становится рабом.

«Это были последние слова, с которыми Помпей обратился к близким» (Плутарх).

Кроме греков в лодке был некий Септимий, когда-то сражавшийся под началом Помпея. Помпей сразу его узнал, улыбнулся и сказал:

— Если я не ошибаюсь, то узнаю своего старого соратника.

Септимий что-то пробормотал в ответ. Все хранили угрюмое молчание. Было напряженно и тягостно. Помпей достал свиток, где по-гречески набросал речь к Птолемею, и стал ее просматривать. Лодка была уже у берега. Помпей оперся о руку одного из своих спутников и приподнялся. И тут Септимий пронзил его сзади мечом. Помпей упал. Тогда все остальные осмелели и стали колоть его кто куда. Помпей натянул на голову плащ и не шевелился. Он застонал всего один раз. Наверно, последнее, что он слышал на земле, был страшный крик, крик Корнелии, которая, стоя на палубе, видела все. Крик этот донесся до берега. Между тем капитан стремительно поднял якорь и повел корабль в море. Все случилось так, как и предвидел Помпей. Когда египтяне бросились в погоню, Корнелия и ее спутники были далеко.

Умер он 59 лет от роду. «Убийцы отрубили Помпею голову, а нагое тело его выбросили из лодки, оставив лежать напоказ любителям подобных зрелищ». Когда стемнело, к телу прокрался Филипп, бывший раб Помпея.

Он омыл труп морской водой, снял с себя плащ и завернул в него мертвеца. Затем он стал искать старые лодки и прогнившие доски, валявшиеся на берегу; сгреб все это в кучу, сложил на берегу костер и положил на него изувеченный, обезображенный труп того, кто проводил в триумфе великих царей (*Plut. Pomp.*, 72–80).

*Таков был конец второго триумвира.*

### **Катон**

Когда началась война, Катон был отправлен в Сицилию. Там он узнал о бегстве Помпея. Он сказал тогда, что поистине темны решения богов: Помпею, пока он совершал одни беззакония, всегда сопутствовала необыкновенная удача, сейчас же, когда он в первый раз в жизни взялся защищать свободу и законы, она ему в первый раз в жизни изменила. Цезарианцы высадились на острове. Катону указывали, что он может защищаться. Но он возразил, что не хочет терзать и мучить ни в чем не повинных греков. Призвав к себе представителей сицилийских общин, он посоветовал сдаться Цезарю, сам же поехал за Помпеем.

С той поры он перестал стричь волосы и брить бороду, почти ни разу на лице его не видели улыбку. Явившись в лагерь, он заставил Помпея принять два постановления. Первое. Ни один мирный город не должен был подвергнуться разграблению. Второе. Ни один римский гражданин не должен быть убит иначе как на поле битвы. Катон помогал главнокомандующему советом и делом, не уклонялся ни от одного поручения, но наотрез отказался принимать участие в битвах и обагрять оружие римской кровью (*Sen. Luc.*, XXIV, 7).

Теперь он почти всегда молчал, погруженный в глубокую задумчивость. Перед битвой при Диррахиуме Помпей попросил каждого военачальника произнести перед солдатами речь, чтобы воодушевить их. Но тщетно все они один за другим изошрялись в риторике. Воины слушали их с равнодушным и скучающим видом. Тогда выступил Катон и заговорил о свободе и законах. И вдруг поднялся невероятный шум. Воины вскочили вне себя от волнения, потрясая мечами и копьями, и с криками «Веди нас в бой!» устремились вперед. В тот день республиканцы одержали полную победу. Все ликовали. Лишь Катон удалился от общего веселья. Долго-долго в сгущающейся тьме бродил он по полю сражения, вглядывался в лица убитых, своих и чужих, вдруг закрыл лицо руками и заплакал.

Вскоре республиканцы были разбиты при Фарсале. Помпей бежал.

Катон собрал остатки армии и последовал за ним. Но уже у африканских берегов они узнали об участии Помпея. Узнали и то, что значительное республиканское войско находится на западе близ Нумидии. Туда и решил отправиться Катон. Время было зимнее, море бурное, и идти пришлось сушей по пустыне. То был тяжелый и мучительный переход. Даже столетия спустя римляне вспоминали о нем с содроганием. Римский поэт Лукан, современник Сенеки, описывает все ужасы раскаленной пустыни, удушающий зной, страшные песчаные бури, когда людей заносило песком и нос, глаза и уши были забиты горячей пылью, наконец, ядовитых змей, от укусов которых люди гибли в нестерпимых мучениях. Римляне были растеряны, убиты и совсем пали бы духом, если бы не Катон. Этот человек, который казался в Риме каким-то чудаком, о чьих забавных выходках можно было вспоминать с улыбкой, стал единственной опорой и защитой воинов. Он спокойно шагал под палящим солнцем, всегда впереди войска. Ни разу не сел он ни на коня, ни на мула. Когда попадался какой-нибудь колодец и все жадно кидались к воде, он молча отходил в сторону и пил последним что останется. Только однажды, говорят, он нарушил это правило — воины вообразили, что вода отравлена, Катон объяснил им, что они ошибаются, и в доказательство своих слов подошел к воде и первым стал пить. Всегда он был бодр и спокоен, ни разу с губ его не сорвалось ни единой жалобы; он всех успокаивал, утешал, подбадривал, объяснял причины неведомых пугающих природных явлений, которые они наблюдали в тех краях. И вот эти сильные здоровые люди жались к нему, как дети в темном лесу жмутся к взрослым. Так шли они 27 дней.

Республиканцы ждали их там, где некогда стоял Карфаген, могучий враг Рима. Во главе их был тесть Помпея, отец Корнелии, Сципион. Это был тот самый человек, который много лет назад отбил у Катона невесту и сломал его жизнь. Тогда в порыве черного отчаяния Катон писал против него отравленные злобой эпиграммы. И вот сейчас бывшие соперники встретились на диком берегу Африки. Все воины единодушно объявили, что хотят вручить командование Катону. Но тот решительно отказался. Он сказал, что взялся за оружие во имя законов и не собирается их попираť, — Сципион, полководец с консульской властью, и он, Катон, обязан подчиниться ему. Быть может, Катон думал еще и о другом: Сципион казался ему гораздо более опытным полководцем. И он уступил своему бывшему сопернику верховное командование. Но он ошибся — Сципион оказался ничтожным человеком и ничтожным полководцем. Говорят, Катон горько раскаивался в своем поступке.

Было решено, что Катон затворится в Утике, неприступной

финикийской крепости. Республиканцам важно было оставить за собой эту твердыню. Около года провел он в городе. В феврале 46 года произошла решительная битва при Тапсе. Сципион и Юба, царь Нумидии, были разбиты. Ночью в Утику прискакал вестник. Он сказал, что республиканцы уничтожены, Цезарь приближается к Утике. Это был конец. Катон давно знал, что жители Утики, финикийцы, которым совершенно не было дела до того, кто управляет Римом, законы или тиран, тайно задумали передаться победителю и что римские бизнесмены, живущие в Утике, с ними заодно. Было бы безумием затвориться в городе с подобными людьми — они свяжут республиканцев, откроют ворота и выдадут пленников Цезарю, чтобы купить его милость. Катон и горстка республиканцев оставались одни во враждебном городе. А Цезарь приближался.

Утром к воротам подъехал отряд всадников. То были уцелевшие после битвы республиканцы. Катон вышел им навстречу. Всадники говорили, что хотят биться, но никогда не войдут в Утику, где засели предатели. И они предложили следующее. Надо выгнать всех жителей из города, а самим затвориться в нем. Катон пришел в ужас от такой чудовищной жестокости и наотрез отказался. И всадники уехали. Они скрылись вдаль, и с ними исчезла последняя надежда.

Катон долго следил взглядом за удаляющимися всадниками. Вдруг он сорвался с места, вскочил на первого попавшегося коня и сломя голову кинулся за ними. Догнав их, он хватал их за одежду, за руки, силой поворачивал морды коней в другую сторону. Но больше всего поразило всадников его лицо. Он был в страшном волнении, а на глазах его — вещь неслыханная! — они увидели слезы. В смятении они спросили, чего он хочет. Задышавшись, он сказал: «День, один только день!..» Они поняли, что он просит их хотя бы на один день задержаться в городе; они не могли противиться его натиску и согласились.

Катон с торжеством повел их в Утику. Он ликовал, он был счастлив. Поставив всадников у ворот, он начал лихорадочную деятельность. Он решил эвакуировать из города всех республиканцев. Работа кипела. Снаряжали корабли, натягивали снасти, грузили пожитки и распределяли людей по кораблям. Сам Катон стоял на пристани и руководил сборами. Он всем распоряжался, всем помогал и устремлялся в трудные места. Если у кого-нибудь не хватало денег, он тут же давал ему из своего кошелька. Кто не хотел уезжать, тем он горячо советовал просить милости у Цезаря и обещал похлопотать. Но когда кто-нибудь из его поклонников подходил к нему и говорил, что не бросит его, что хочет разделить судьбу самого Катона, он сердился, кричал и чуть не силой заталкивал своего обожателя

на корабль.

Особенно много хлопот доставил ему Статилий, человек очень упрямый и без памяти влюбленный в Катона. Он уперся и заявил, что не покинет его. Наконец Катон махнул на него рукой и занялся другими. Но затем тихонько подозвал греческих философов, которые всегда сопровождали его, и, указывая глазами на Статилия, сказал:

— Ваше дело сломить этого гордеца и направить его на путь собственной пользы.

И философы окружили Статилия, а Катон продолжал свои хлопоты.

Среди всех этих забот он вдруг узнал, что некоторые всадники грабят горожан. Катон бурей понесся туда и, как был безоружный, налетел на первого вооруженного до зубов всадника и вырвал у него из рук добычу. Натиск был так стремителен и неожидан, что всадники опешили и побросали награбленное.

В городе в то время находился некий Люций Цезарь, родственник полководца. Он также был восторженным почитателем Катона и предложил ему свои услуги, сказав, что сделает для него все, что в его силах. Катон попросил его отправиться к Цезарю и вымолить у него прощение для оставшихся республиканцев, жителей Утики и римских бизнесменов. Люций обещал это. И вот сейчас Люций снова подошел к Катону и с большим волнением сказал, что хочет вымолить у родственника жизнь самому Катону.

— Ради тебя... мне не стыдно будет ни припасть к коленям Цезаря, ни ловить его руки.

Катон отвечал на это, что если бы он хотел спастись милостью Цезаря, то отправился бы к нему сам. Но он не желает ничего принимать от тирана, не желает, чтобы ему дарил как милость жизнь тот, кто по законам не имеет над ней никакой власти.

Наконец отплыл последний корабль. С Катonom остались только несколько греческих философов и его сын, мальчик лет пятнадцати. Он ни за что не хотел оставить отца, и Катон решил, что нехорошо принуждать его совершить малодушный поступок, которого потом он всю жизнь будет стыдиться.

Между тем на террасе накрывали уже стол к обеду. Катон по римскому обыкновению пошел принять перед обедом ванну.

Вдруг он обернулся и спросил одного из греков, удалось ли уломать Статилия. «Неужели он уехал, даже не попрощавшись с нами?»

— Как бы не так, — отвечал тот. — Сколько мы с ним ни говорили — все впустую. Он горд и непреклонен, уверяет, что останется и сделает то

же, что и ты.

— Посмотрим, — тихо усмехнулся Катон.

За обедом он непрерывно обращался мыслью к тем, кто уехал, тревожился за их судьбу, высчитывал, где они сейчас могут быть. Видимо, это занимало его больше всего. Потом, как всегда бывало в доме Катона, беседа совсем отошла от нужд обыденной жизни — заговорили о высоких отвлеченных вопросах. Такие разговоры больше всего на свете любил Катон. Вдруг в ответ на какое-то замечание он заговорил очень резко и «произнес чрезвычайно пространную и удивительно горячую речь». Слова его совершенно не вязались с разговором, но все вдруг ясно почувствовали, что он решил покончить с собой.

Время было уже позднее, и гости встали из-за стола. Катон как-то особенно сердечно простился с друзьями, горячо обнял сына и пошел к себе. Тяжело запало это присутствующим в сердце — Катон никогда перед отходом ко сну не прощался с ними так торжественно. Войдя в спальню, он достал Платона и раскрыл диалог «Федон». Там рассказывается о последних минутах Сократа, приговоренного к смерти. В тюрьму к нему пришли проститься ученики. Их поражает вид Сократа. Он ясен и спокоен. Он убежден, что смерть — начало новой жизни и душа наша уйдет к богам добрым и мудрым, в другие прекрасные страны. Отыскав диалог, Катон поднял руку и потянулся к мечу, который всегда висел у его изголовья. Но меча не было. Катон разом пришел в бешенство. Он кричал, он звал слуг одного за другим, требовал меч и бушевал до тех пор, пока слуги не признались, что меч унес его сын. Катон велел его позвать. Когда сын явился, Катон резко и насмешливо спросил: кто и когда поставил ему такой страшный диагноз, что родной сын считает его помешанным и во время войны отнимает у него оружие, как у малого ребенка? Может, он вообще свяжет отца и выдаст Цезарю? Или они хотят насильно заставить его жить? Да если он захочет, он убьет себя и без меча — задушит себя одеждой, или размозжит голову об стену, или прыгнет с утеса.

Сын зарыдал и выбежал из комнаты. Вскоре вошел маленький мальчик. Он подал Катону меч. Тот сразу успокоился. Вынул меч из ножен, внимательно его осмотрел, затем отложил оружие в сторону и взял Платона. Он два раза внимательно прочел диалог от начала до конца. Затем встал, достал меч и вонзил себе в грудь.

Удар был неудачен. Лезвие скользнуло вниз, распороло ему живот, и Катон, еще живой, обливаясь кровью, упал на пол. В ту же минуту в комнату ворвались его сын и друзья, прятавшиеся за дверью. Они подняли его, осторожно уложили в постель, а позванный ими врач обработал рану и

наложил швы. Катон был в памяти, хотя очень ослабел. Казалось, он совсем успокоился. Он смеялся над собой за неудачный удар, благодарил окружающих за заботы и просил оставить его одного, он очень хочет спать. Действительно, у него глаза закрывались от слабости. Друзья вышли на цыпочках из комнаты, захватив с собой все острые предметы. Как только они ушли, он приподнялся, сорвал повязки, ногтями разорвал рану и выбросил внутренности на землю.

Жители Утики были совершенно равнодушны к римской политике. Как верно заметил Катон, им было решительно все равно, кто управляет Римом, и они хотели только одного — угодить победителю. Но Катон их поразил. Все, кто был в городе — греки, финикийцы, римляне, — с плачем собрались у его погребального ложа и называли умершего лучшим из людей. Обливаясь слезами, положили они его на носилки и понесли к могиле. Похороны были пышные и торжественные. За гробом шел весь город. В это время в Утику вошел Цезарь.

«Цезарь знал... что Катон даже не думает о бегстве и, отсылая всех, сам с сыном и друзьями без всякой боязни остается в городе. Постигнуть замысел Катона он не мог, но, видя в этом человеке одного из главнейших своих противников, поспешно двинулся с войсками к Утике». Он горел желанием захватить Катона живым. Но, подойдя к городу, он не увидел ни часовых на стенах, ни войска. Ворота были отперты, никто и не думал о сопротивлении. Удивление Цезаря возросло. В недоумении вступил он в город, на каждом шагу ожидая ловушки. Но никого не было. Так достиг он центральной площади и тут увидел траурную процессию, плачущих людей и услышал рассказ о случившемся. Цезарь очень помрачнел, но отчего, никто не знал. Он сказал только, «что Катон лишил его возможности сделать красивый жест». Из этого люди заключили, что он хотел подарить своему врагу жизнь. Все, за кого просил Катон, были прощены. Сын его, никем не преследуемый, уехал в Рим.

Похоронили Катона на самом берегу моря, там, где накануне он смотрел на корабли, когда, «уже давно решивший покончить с собой, принимал неслыханной тяжести труды, терпел заботы и муки, чтобы, избавив от опасности всех остальных, самому уйти из жизни» (*Plut. Cat. min.*, 52–72; *App. B.C.*, II, 95–99).

## Глава VII

### ДИКТАТУРА ЦЕЗАРЯ

*Жизнь, как подстреленная птица,  
Подняться хочет — и не может...  
Нет ни полета, ни размаху —  
Висят поломанные крылья,  
И вся она, прижавшись к праху,  
Дрожит от боли и бессилья...*

Ф. И. Тютчев

#### *Печальное возвращение*

Битву при Фарсале, по выражению Цицерона, судьба сделала пограничным камнем в гражданской войне (*Fam.*, VI, 22, 2). После этой битвы множество помпеевцев сдались на милость победителя. Среди них были люди безусловно мужественные и твердые. Поэтому их теперешнее поведение следует объяснить не трусостью. Видимо, к этому времени они полностью разочаровались в вождях. Если Помпей не внушал доверия, то сыновья его, которые теперь должны были возглавить отцовские легионы, и вовсе имели славу головорезов. О старшем из них, Гнее, один из приятелей Цицерона писал ему: «Ты знаешь, как Гней туп; знаешь, что жестокость он почитает доблестью. Он всегда думал, что мы над ним смеемся. Боюсь, в отместку он, как человек простой, захочет посмеяться мечом» (*Fam.*, XV, 9, 4). Среди сдавшихся республиканцев был и Цицерон.

Причину своего решения Цицерон объясняет в письме к одному другу, провожавшему его на корабль, когда он решил бежать к Помпею. «В этом своем решении я раскаялся... из-за множества пороков, которые я там увидел. Во-первых, не было ни большой, ни боеспособной армии. Во-вторых, кроме самого главнокомандующего и еще нескольких человек (я говорю о вождях) остальные были столь алчны, речи их были столь кровожадны, что я стал бояться их победы... Там не было ничего хорошего, кроме цели... Сначала я стал убеждать заключить мир... но Помпей и

слышать об этом не хотел. Тогда я стал уговаривать его воевать. Порой он со мной соглашался и, казалось, что он будет держаться этой линии, да, может быть, и держался бы, если бы после одного сражения не доверился своим солдатам. С этого времени великий человек перестал быть главнокомандующим... Позорно разбитый, потеряв даже свой лагерь, он бежал один. И я решил, что для меня война окончена». Теперь оставалось либо убить себя, либо сдаться победителю. Но, продолжает Цицерон, я считал, что у меня нет оснований покончить с собой, хотя слишком много причин жаждать смерти<sup>[108]</sup> (*Fam.*, VIII, 3).

Однако покинуть лагерь Помпея оказалось не так-то легко. Когда Гней понял, что Цицерон хочет уехать, он в припадке ярости приставил меч к его груди. Спас оратора Катон. Он молча отвел клинок и велел Цицерону немедленно уезжать. Вскоре Цицерон узнал, что ему сохраняют жизнь и даже разрешают вернуться в Италию, но не в Рим. И он поспешил на родину. В ноябре 48 года он высадился в Брундизиуме.

Девять лет тому назад он прибыл в этот город после своего изгнания. Боже мой! Как отличался тот его приезд от этого! Тогда на берегу его ждали толпы народа, его встретили бурей ликования, его возвращение превратилось в блестящий праздник, он торжественно ехал по Италии, осыпаемый цветами и приветствиями, и с триумфом вступил в Рим. Теперь было не то. Никто не заметил его приезда. Ни одна родная душа не встретила его в гавани. Город был пустынен. По грязным улицам бродили только пьяные и наглые солдаты. Напуганные обыватели прятались по домам. Цицерона сразу же чуть не зарезали как недобитого республиканца. Иным было и настроение оратора. Тогда он ехал на родину, полный самых радужных надежд. Ему казалось, что для него начинается новая жизнь. Теперь он приехал разбитый телом и духом (*Att.*, XI, 5, 3; *Fam.*, XIV 12). Он уже ничего не ждал. Впереди была одна тьма.

Цицерон не знал, прощен он окончательно или нет, и мучительно ждал возвращения Цезаря. В Брундизиуме хозяйничал Антоний. Вел он себя как разгулявшийся купчик Островского. Всю ночь напролет он пил, кутил широко, с ухарством, бросал за одну ночь целые имения. Утром выходил поздно, заспанный, опухший, злой. Однажды он явился утром на площадь, чтобы творить суд, и «вдруг стал блевать, и кто-то из друзей подставил ему свой плащ». Так он бродил весь день, как сонная муха, а вечером вновь оживал, и ночью у них опять был пир горой. Он стремился поразить и без того запуганных жителей. Однажды он появился на золоченой колеснице, запряженной львами. За ним тянулся целый поезд веселых бабенок. Над несчастными изгнанниками, вроде Цицерона, он куражился невыносимо.

Оратору он постоянно напоминал, что тот обязан ему жизнью. Ведь он не дал своим солдатам зарезать его при высадке. Теперь Цицерон целыми неделями не переступал порога дома. Изредка решался выйти, да и то только ночью (*Plut. Ant.*, 9; *Plin. N.H.*, VIII, 55; *Att.*, X, 10, 5; XI, 7; XII, 6, 2).

Так день за днем, месяц за месяцем тянулась тоскливая жизнь в этом грязном портовом городке. Тогда, девять лет тому назад, Цицерон, замирая, ждал свидания с «нежнейшей из жен» и «самым лучшим из братьев». Сейчас ждать было нечего. Туллия, как он узнал, была тяжело больна и очень несчастна из-за своего неудачного замужества. Помощь она получала не от матери, а от верного Аттика (*Att.*, XII, 6, 4). Больше всего Цицерон боялся, что имущество его конфискуют и Туллия останется без куска хлеба. Он умолял Аттика распродать его мебель, посуду и другие ценные вещи, чтобы передать деньги дочери. И тут он узнал, что Теренция сговорилась с доверенными вольноотпущенниками, чтобы перевести имущество на свое имя и отнять у него последнее. Письма его к жене, когда-то такие пылкие и страстные, сделались короткими, холодными и сухими. Они занимают не более четверти страницы. Он в самых официальных выражениях осведомляется о ее здоровье, просит беречь себя и прибавляет несколько ничего не значащих слов. Вот одно из этих писем. «Если ты здорова, хорошо. Я здоров<sup>[109]</sup>. Если бы у меня было о чем писать тебе, я бы писал и подробнее, и чаще. Ты сама видишь, каковы обстоятельства. Как я расстроен, ты можешь узнать от Лентула и Требатия (очевидно, этим своим друзьям Цицерон писал гораздо более подробные и сердечные письма. — Т. Б.). Позаботься о своем здоровье и здоровье Туллии» (*Fam.*, XIV, 17).

Что же до «лучшего из братьев» и племянника, которого Цицерон всегда любил как сына, то оратор узнал о них поразительные вещи. Они сражались вместе с ним на стороне Помпея. Теперь же в смертельном страхе они клеветали на него перед диктатором, клялись и божились, что всегда были ему верны и только Цицерон толкнул их на это преступление. Особенно усердствовал племянник. Друзья, видевшие его, с возмущением писали оратору, что это какая-то пышущая злобой подлая гадина; что он заготовил целый большой донос, который намерен подать Цезарю. То был последний удар. Цицерон слег (*Att.*, XI, 9, 3).

Так прошла томительная печальная осень. Настал Новый год, а за ним и третье января, день рождения Цицерона. Как мрачно и уныло прошел этот день! Ни гостей, ни поздравлений. Совершенно один, больной, лежа в постели писал он Аттику, последнему оставшемуся у него другу. Он просит его об одном — заботиться о Туллии, как о собственной дочери. «Если ты больше не увидишь меня живым, считай, что я препоручил ее тебе... Это

письмо я пишу тебе в день своего рождения. О, если бы отец в тот день не поднял меня на руки!»<sup>[110]</sup> (*Att.*, XI, 9, 3).

Тем временем до Цицерона дошли известия, что друзья пытаются нейтрализовать доносы его брата и племянника. Они уверяют диктатора, что это, напротив, Квинт убедил Цицерона поехать к Помпею. Они говорили, что Цицерон сам должен подтвердить это. Цицерон немедленно написал письмо Цезарю, и письмо это, надо сказать правду, было совершенно неожиданным: «Я тревожусь о брате Квинте не меньше, чем о самом себе. Мое положение, конечно, не такую, чтобы я мог взять на себя смелость и препоручить его тебе. Но я все-таки осмелюсь просить тебя об одном — молю тебя, не думай, что это он заставил меня забыть свой долг перед тобой и нашу дружбу. Напротив. Именно он был инициатором нашего союза. Что же до моего отъезда, то он только следовал за мной, а вовсе не был моим вождем... Еще и еще горячо прошу тебя — пусть я не поврежу ему в твоих глазах» (*Att.*, XI, 12).

Друзьям он решительно написал, что не хочет сваливать вину на Квинта. Он твердил, что сделал свой выбор сам и сделал вполне сознательно. Поступить так его принудило чувство чести. Несколько позже в речи, обращенной к Цезарю, он говорит: «Я без всякого принуждения, сознательно и добровольно выехал к враждебной тебе армии» (*Lig.* 7). С таким удивительным благородством Цицерон отвечал на злобные нападки брата.

Еще одно страшное горе обрушилось на Цицерона. Целий Руф, как мы помним, с самого начала войны перешел на сторону Цезаря. Он слал Цицерону веселые письма, восхищался талантами своего нового вождя и подтрунивал над Помпеем. Он ужасно испугался, узнав, что его друг хочет отправиться к обреченным, и чуть ли не со слезами отговаривал его от этого безумного шага. И вдруг оратор получил от него очень странное письмо. Целий был в ярости и отчаянии. Он рвал и метал, называл себя дураком и проклинал свой выбор. Он горячо укорял даже Цицерона. Когда ночью он, Целий, прибежал к нему, почему Цицерон не остановил его, не велел одуматься. Одно его слово, и Целий был бы спасен. Но ты, продолжает он, показал себя прекрасным, удивительным гражданином, думал только о Республике, а обо мне забыл (как будто тогда его можно было остановить!). Но не все еще потеряно. «Я заставлю вас победить против вашего желания. Ты удивляешься, что я стал Катоном?» (*Fam.*, VIII, 17).

Что случилось с Целием? Откуда такая резкая перемена? Мне кажется очень тонким и остроумным объяснение Буассье. Целий и его друзья,

говорит он, «выросли среди бурь Республики, с ранних пор они бросились в эту деятельную и кипучую жизнь и сроднились с ней. Никто более их не пользовался и не злоупотреблял свободой слова... По странной непоследовательности, изо всех сил трудившимися над установлением абсолютного правления были именно те, которые менее всего могли обойтись без борьбы на общественной площади... без свободного воздействия слова, то есть без того, что существует только при свободном правлении»<sup>{60}</sup>. Целий, как человек чуткий, по-видимому, первый понял это, ужаснулся делу рук своих и со всей присущей ему энергией бросился исправлять причиненное им зло.

С удивительной дерзостью решил он поднять восстание против диктатора. Для этого он отыскал своего старинного приятеля Милона и вдвоем они начали действовать. Но Целий явно переоценил свои силы. Не ему было тягаться с Цезарем. Осенью 48 года оба были убиты. По-видимому, только в Брундизиуме Цицерон обо всем узнал. Вспомнил ли он то веселое письмо, которое некогда написал ему Целий, сообщавший, что начинается гражданская война и им предстоит веселое и увлекательное зрелище? Увы! Он оказался не только зрителем, но и актером, и роль ему выпала трагическая. Итак, Целий, такой веселый, такой беззаботный, чьи смешные шутки и остроумные замечания так часто разгоняли мрак, обступавший Цицерона, ушел вслед за Публием Крассом, Катуллом, Кальвом, Триарием, Торкватом, Курионом, словом, всеми молодыми друзьями Цицерона.

Письма Цицерона этого времени резко отличаются от тех, которые он писал в изгнании. Его отчаяние тогда было бурным, неистовым; то были какие-то безудержные слезы и безудержные жалобы. Сейчас же кажется, что у Цицерона нет сил ни плакать, ни жаловаться. Он убит. Еле говорит, еле двигается. В начале июня яркий свет вдруг озарил его жизнь. Внезапно отворилась дверь, и Цицерон оказался в объятиях своей Туллии. Едва оправившись после болезни, она снарядилась в дорогу к отцу. Когда десять лет назад она, совсем одна, поехала встречать его, это был авантюродерзкий поступок молоденькой девушки. Сейчас это был подвиг. По дорогам ходили бродяги и преступники, город занимали разнузданные солдаты Антония. Туллия ехала совершенно одна — мать не дала ей ни провожатых, ни денег (*Fam.*, XIV, 12; *Att.*, XI, 6, 2; *Plut. Cic.*, 41).

В первую минуту Цицерон испытал такую безумную радость, что забыл обо всем на свете. Но на другой же день он опомнился и решил, что Туллию надо немедленно отправить домой. Брундизиум казался ему слишком неподходящим местом для молодой женщины, и было бы

непростительным эгоизмом с его стороны держать при себе дочь. И он написал Аттику, что отошлет Туллию как только сможет ее уговорить. Но вышло так, что отец с дочерью были так счастливы друг подле друга, что у них просто не хватило сил расстаться. Туллия осталась с отцом в Брундизиуме.

Теперь, когда рядом с ним томила дочь, место их заточения стало казаться Цицерону еще хуже. Цицерон пишет Аттику: «Умоляю, вызволи меня отсюда. Любая казнь лучше, чем пребывание здесь» (*Att.*, XI, 18, 1). Но вызволить его не мог никто. Он жил здесь весь июнь, июль, август. Настала осень, уже вторая осень в Брундизиуме. И вот стало известно, что Цезарь высадился в Италии. Все жители городка вышли ему навстречу. Цезарь ехал верхом, окруженный блестящей свитой, он милостиво отвечал на гул восторгов, на губах его порхала приветливая улыбка.

Среди многотысячной толпы был и Цицерон. Он брел, опустив голову, и терзался, представляя все те унижения, через которые ему суждено пройти. «Однако ни словом, ни делом ему не пришлось унижить свое достоинство». Цезарь вдруг заметил в толпе Цицерона. Он моментально соскочил с коня, поспешно подошел к оратору, обнял его, взял под руку и пошел рядом с ним. Весь свой триумфальный путь он прошел об руку с Цицероном (*Plut. Cic.*, 39).

\*

«С тех пор Цезарь относился к Цицерону с неизменным уважением и дружелюбием», — говорит Плутарх (*Ibid.*). А сам Цицерон рассказывает одному другу: «Цезарь относится ко мне с удивительной добротой» (*Fam.*, IV, 13, 2). Мало того. Недоброжелатели говорили Цезарю, что Цицерон осмеливается смеяться над ним и его друзьями и Рим повторяет его дерзкие шутки. В ответ Цезарь просил передавать ему все остроты Цицерона, которые его всегда восхищали. Но оратор стал уже живой легендой и по Риму ходили серии анекдотов, приписываемых ему. Цезарь, как говорят, сразу распознавал обман и отличал настоящего Цицерона от всякой, хотя бы искусной подделки (*Fam.*, IX, 16, 1).

Здесь мне хочется остановиться и спросить: в чем же причина такого удивительного отношения Цезаря к Цицерону?

С самого начала они были поставлены друг против друга. Они принадлежали к разным партиям, были политическими противниками, и в то же время Цезарь как будто испытывал глубокое уважение, даже любовь к

своему знаменитому врагу. В 63 году Цицерон разбил все его планы. Цезарь создает тогда боевой союз против Республики — триумвират — и... тут же извещает об этом Цицерона, предлагает быть у них четвертым. Цицерон отказывается, и триумвиры решают выдать его Клодию. И что же? Не Помпей, который постоянно, бия себя в грудь, кричал, что он верный друг и защитник Цицерона, а Цезарь делает все, чтобы спасти этого безумца. Он предлагает ему место своего легата, посла. Все тщетно. Когда Цицерон возвращается из изгнания, Цезарь спешит обласкать его и осыпать милостями. Покровительствует брату Квинту и оказывает тысячи мелких услуг. Начинается гражданская война. Цезарь прилагает все силы, чтобы перетянуть оратора к себе. Обещает место «первого министра», ухаживает за ним, льстит. Наконец, добивается от Цицерона обещания не дружбы, но хотя бы нейтралитета. И вдруг оратор, коварно обманув его, бежит к Помпею. Мы ожидаем бури. Они встречаются, и что же? Цезарь нежно его обнимает! Не странно ли?

Большинство историков готовы видеть в поведении Цезаря голый расчет. Цезарю было важно, говорят они, заполучить к себе такого знаменитого человека, как Цицерон. Но объяснение это меня не убеждает. Были в Риме достойные, уважаемые люди и кроме Цицерона. Но не видно, чтобы Цезарь особенно заискивал перед ними. Буассье считает, что Цезарь простил оратора, ибо их объединяла любовь к интеллектуальным занятиям. Тоже сомнительно. В Риме жил тогда пифагореец Нигидий, ученостью почти не уступавший Варрону, которому при жизни поставили памятник. Нигидий был философом, грамматиком, астрономом, физиком, оратором, юристом и богословом. Когда началась война, он отправился защищать свободу и законы. Цезарь сохранил ему жизнь, но оставил умирать в изгнании, и никакая любовь к интеллектуальным занятиям ему не помешала. А ведь Нигидий не обманывал его и не бежал тайком к врагам. Вообще все эти аргументы годятся, быть может, чтобы объяснить один какой-нибудь поступок Цезаря, но не всё его поведение в течение жизни. Очевидно, надо искать другое объяснение.

Здесь мне приходит на память другой случай с другим человеком, которого отделяет от Цицерона много веков. Это Сервантес. Как известно, он был рабом в Алжире. Правитель страны был не просто жесток — ему доставляло удовольствие зрелище человеческих мук. За малейший проступок с рабов-христиан сдирали кожу, их сажали на кол или распинали на кресте. Был только один человек, которого он даже пальцем не тронул, — сам Сервантес. Между тем трудно представить себе более отчаянного и беспокойного узника. Он был душой всех заговоров, организовывал побег

за побегом для рабов-христиан, убегал сам, прятался, словом, совершенно отравил жизнь своим хозяевам. Его ловили множество раз, собирались казнить, и каждый раз сам правитель останавливал уже занесенную руку. Казалось, он чувствовал какое-то странное почтение к своему рабу. В конце концов он велел приковать Сервантеса к своему креслу, с гордостью показывал гостям и называл своим одноруким леопардом. И тоже исследователи ломают голову над тем, как объяснить загадочное поведение правителя. Он, говорят нам, ждал от Сервантеса богатого выкупа. Казалось бы, за столько лет он должен был наконец понять, что от этого нищего однорукого человека не дождешься ничего, кроме неприятностей, и разумнее всего казнить его на страх прочим. И вот один из авторов, писавших о Сервантесе, высказывает странную мысль. Он говорит, что трудно передать словами обаяние прелести и красоты в женщине и гения в мужчине. Но обаяние это чувствуют все. Чувствовал его правитель турок, чувствовали мавры, которые прятали у себя Сервантеса. Вот где надо искать объяснение загадочного отношения к нему алжирцев. Не чувствовал ли то же обаяние и Цезарь и не оно ли околдовывало его все больше и больше?

\*

Но вернемся к нашему герою.

Цицерон вновь увидел Рим, вновь прошел по знакомым улицам и вошел в свой дом. Прежде всего, рассказывает он, я бросился к «старым друзьям, то есть к книгам». Он брал их в руки, беседовал с ними, и тихая радость сошла в его душу (*Fam.*, IX, 1, 4). Но продолжалась эта радость недолго. Вскоре ее место заняла мрачная тоска.

### *Печальное свидание*

Цицерон любил республиканский Рим с его Форумом — любил страстно, безудержно, как живое существо. Однажды он признался другу, что любит Рим, как мать единственного сына (*Fam.*, IX, 20, 3). Все эти годы он мучительно тосковал, предвкушая свидание, но свидание это вышло печальным.

В течение 450 лет<sup>[\[111\]](#)</sup> в Риме была Республика, то есть строй, при котором, как писал великий греческий историк Полибий, власть

равномерно распределялась между народным собранием, сенатом, — всенародно избранным советом, — и высшими магистратами, должностными лицами, ежегодно переизбираемыми народом. На место республики Цезарь поставил единовластие. Но монархия эта имела ряд любопытных особенностей. Мы могли бы ожидать, что Цезарь, установив единоличное правление, сломает старую республиканскую систему и заменит ее новой, более пригодной для монархии. Но ничего подобного не произошло. Правитель нашел, что республиканская машина управления очень устойчива и жизнеспособна, поэтому он оставил ее без изменения и просто захватил над ней руководство. По-прежнему регулярно созывались народные собрания, по-прежнему заседал сенат, по-прежнему исполнительную власть осуществляли магистраты. Но старая система основана была на строгом разделении властей, причем ни одну должность нельзя было занимать больше года. Сейчас же Цезарь захватил все важнейшие посты и владел ими в течение всей жизни. Он пожизненно был назначен диктатором. Диктатор — это высшее должностное лицо, выбиравшееся прежде только в периоды смертельной опасности и сохранявшее власть не более полугода; слово его равнялось закону. Цезарь был цензором и как цензор мог удалить любого из сената и полностью контролировал его состав. Он имел полномочия народного трибуна, значит, мог наложить вето на любое действие в государстве. Каждый год он избирался консулом, то есть верховным главнокомандующим (в 45 году без коллеги). Он был верховным понтификом, то есть религиозным главой Рима. Иными словами, как сказал сам Цезарь, Республика стала пустым звуком.

Правда, по-прежнему ежегодно выбирали магистратов. Но теперь и речи не могло идти о волнующей предвыборной кампании и состязании перед лицом квиритов. Перед выборами Цезарь рассылал по трибам коротенькие записочки следующего содержания: «Диктатор Цезарь — такой-то трибе. Предлагаю вашему вниманию такого-то, дабы по вашему выбору он получил искомое звание» (*Suet. Iul., 41*). Вот и все. Он даже составил такие списки на много лет вперед<sup>[112]</sup>. А выбранные магистраты превратились просто в чиновников, исправно выполнявших приказы диктатора.

Навек умолкли страстные споры на Форуме, когда ораторы предлагали новые законы, домогались народного расположения и чуть ли не целую ночь проводили на трибуне. Спорить было больше не о чем. Форум был мертв и пустынен. По Священной дороге бродили отдельные гуляющие пары, лавочники раскладывали на лотках свой товар, банкиры сидели у

своих касс (янов) на бирже у Эмилиевой базилики, а у Солнечных часов слонялась кучка уличных зевак. Почти половина римлян была уничтожена или изгнана<sup>[113]</sup>. Вместо них Цезарь сделал гражданами греческих риторов, врачей, учителей (*Suet. Iul.*, 42, 1; *Plut. Caes.*, 55). Того вольного и мятежного народа, среди которого вырос Цицерон, больше не было. Новые люди равнодушно проходили мимо опустевших Ростр.

В Курии тоже были чужие незнакомые лица. Множество сенаторов не вернулось с войны. Вместо них Цезарь ввел в сенат своих клевретов, увеличив число сенаторов до 900. И теперь вместо гордых римских аристократов на скамьях сидели вольноотпущенники, провинциалы, финикийцы и даже галлы. Они не спорили, не произносили речей. Раболепно слушали они слова диктатора, выражали восторг и немедленно все одобряли.

Свободное слово умерло. А вместе с ним умерло и красноречие. «Великое и яркое красноречие — дитя своеволия... оно... вольнолюбиво... Не знаем мы... красноречия македонян и персов и любого другого народа, который удерживался в повиновении твердой рукой... Форум древних ораторов больше не существует... Нужно ли, чтобы каждый сенатор пространно излагал мнение по тому или иному вопросу, если благонамеренные сразу приходят к согласию? К чему многочисленные народные собрания, когда общественные дела решаются... одним мудрейшим», — писал Тацит (*Dial.*, 40–41). Впервые в Риме зажали рот мысли. Но и сейчас, замечает Цицерон, осталась одна свобода. «Говорить то, что думаешь, нельзя, зато разрешено молчать» (*Fam.*, IV, 9, 2).

Первое, что ощутил Цицерон, это страшное одиночество. Рим опустел. «Одни убиты, другие далеко, третьи изменили» (*Fam.*, V, 21, 1). В родовые дома аристократов вселялись «пропащие» люди, из особняков какие-то веселые личности вытаскивали мебель и ковры, ежедневно на аукционе с молотка продавали фамильные драгоценности. «Я потерял столько, самых дорогих мне людей — одних вырвала смерть, других разметало бегство... Я живу среди кораблекрушения, среди грабежа их имущества», — пишет он (*Fam.*, IV, 13, 2). Растерянный, убитый, обходил Цицерон развалины того мира, где некогда жил. Как он сам говорил, бродил «среди непроглядного мрака и развалин Республики» (*Fam.*, IV, 3, 2).

Жизнь его вдруг потеряла смысл. «В такое время мне и в голову бы не пришло желать что-нибудь лично для себя... Мне кажется, я совершил грех уже тем, что остался жить» (*Ibid.*). Он с какой-то растерянностью пишет, что вдруг стал совершенно свободным человеком. Раньше он, бывало, целый день готовил выступления в сенате, ночи напролет при свете

лампады писал речи для суда — а теперь это вдруг стало никому не нужным. Теперь, говорит он, можно спать хоть до полудня. И во сне он видел одно — прежний Форум и прежний сенат (*Fam.*, IX, 20, 1; *Div.*, II, 141–142). «Потеряв все, к чему приучили меня природа, характер и привычки, я стал в тягость не только другим, но и самому себе. Ведь я был рожден для постоянной деятельности, достойной мужчины. Теперь же я лишен возможности не только действовать, но и думать» (*Fam.*, IV, 13, 3).

Между тем это странное разношерстное общество встретило Цицерона с восторгом. Его окружали, им восхищались, за ним ходили. «Жизнь моя проходит так, — рассказывает он одному другу. — Утром ко мне для приветствия приходят много честных людей, все они печальны, и наши веселые победители. Со мной, впрочем, они чрезвычайно почтительны и любезны. Когда толпа приветствующих схлынет, я с головой погружаюсь в занятия; пишу или читаю. Приходят также люди, которые хотят меня послушать, словно я какой-нибудь ученый мудрец. Что ж, я действительно несколько учение их». Такой наплыв поклонников очень удивлял оратора. «Видно, сейчас честный человек белая ворона», — говорит он (*Fam.*, IX, 20; VII, 28, 2). Цицерон охотно отвечал на вопросы и рассказывал о своем искусстве. Это повторялось так часто, что он в шутку сравнивал себя с тираном Дионисием. Его свергли с престола, и он сделался школьным учителем. «Так и я после уничтожения судов, перестав быть королем Форума, словно бы открыл школу» (*Fam.*, IX, 18, I).

Новые люди, которых Цицерон называет победителями, и впрямь были очень веселы. Всех охватила какая-то легкомысленная бездумная радость, какая-то безумная жажда наслаждений. Были забыты стыд, честь, верность. Все веками копимые ценности были разбиты и отброшены как ненужный хлам. Тот считался большим героем, кто больше развратничал. Словно угар какой-то нашел на всех. Такие явления обыкновенно наступают после великой крови. Так было во Франции после революции 1789 года; так было в Англии опять-таки после революции в эпоху Реставрации при дворе легкомысленного и веселого Карла II; так было у нас во времена НЭПа. Так было и в Риме. Но у новоришей не было ни вкуса, ни светского такта. Они с завистью глядели на Цицерона — остроумный, блестящий, обаятельный, он умел придать утонченное изящество каждому обеду. Цицерон вошел в моду, он был нарасхват, хозяева умоляли его прийти. Теперь пир был не в пир, если на нем не было Цицерона.

Сперва можно было подумать, что этот вихрь светских удовольствий захватил Цицерона. Действительно, сначала он прилежно посещал пирушки и сборы, пил дорогие вина и пробовал изысканные блюда. «Я

бежал в лагерь своего врага Эпикура», — говорит он однажды (*Fam.*, IX, 20, 1). С напускной веселостью рассказывает он о странном обществе, в котором очутился — моты, кутилы, пьяницы, красивые актрисы. Но за этой веселостью слышится тоска, и она становится все сильнее. Он бежал сюда, боясь той мертвой пустоты, которая его окружала, но и здесь он находил ту же пустоту и тот же мрак. Однажды он отошел от собутыльников, достал таблички и начал описывать другу собравшееся общество. При этом он иронически и горько замечает: «Ты удивляешься, что горстка рабов так развеселилась?» (*Fam.*, IX, 26, 1). Действительно. Если бы Цицерон был неоперившимся юнцом, можно было бы опасаться, что от тоски он запьет или бросится в одуряющий ум разврат. Но ему поздно было начинать новую жизнь. «Меня, даже когда я был молод, подобные вещи не увлекали. Не заниматься же этим теперь, когда я старик», — пишет он (*Fam.*, IX, 26, 2). И он стал отдаляться от разгульных друзей.

Цицерон чувствовал временами, что сходит с ума от тоски. Его настроение прекрасно показывает одно письмо. Он узнал, что друг его потерял в гражданской войне сына. Цицерон, конечно, тотчас же написал ему письмо с соболезнованиями и утешениями. Он перебрал все то, что говорили философы о душе и смерти. «Но ни эти, ни другие утешительные мысли, которые обсуждались мудрейшими людьми и были увековечены в их книгах, по-моему, не действуют так сильно, как само положение нашего государства — его совершенная безнадежность. Сейчас самые счастливые люди — это те, которые никогда не брали на руки детей. И те родители, которые потеряли детей сейчас, менее несчастны, чем были бы, случись это, когда Республика была здоровой или хотя бы, когда она существовала.... Тот, кто ушел, не ошибся... Клянусь Геркулесом, когда я слышал, что в наше тяжкое, гибельное время умер какой-нибудь юноша или мальчик, мне всегда казалось, что бессмертные боги вырвали его из этих страданий и несправедливостей... Если ты избавишься от мысли, что с теми, кого ты потерял, случилось несчастье, тебе сразу станет много легче. Ведь остается только твое собственное горе, но оно ведь не связано с ними, оно касается одного тебя» (*Fam.*, V, 16).

И тут Цицерон вспомнил вновь о той своей державе, которая не подвластна была царям земным — о литературе. «Есть одно убежище — наука и литература... В счастье мы думали, что это только удовольствие, ныне же это спасение» (*Fam.*, VI, 12, 5). «Мог ли бы я жить, если бы не жил литературой» (*Fam.*, IX, 26, 1). В одном произведении он излагает свои взгляды, и вдруг неожиданно у него с губ срываются следующие слова: «Но даже если все, что я говорил, неубедительно, то будет ли кто-нибудь

настолько суров и жесток, чтобы не сделать мне снисхождения за то, что теперь, когда мои знания и речи стали в общественных делах бесполезны, я не предался праздности, которая мне чужда, не предался скорби, которой я противлюсь, но предпочел заняться науками?» (*Or.*, 148).

И плоды его трудов поистине великолепны. Накануне гражданской войны Цицерон узнал, что умер Гортензий.

Тогда среди моря крови и грома битв никто не заметил смерти этого отжившего свой век старика. Но Цицерону это тяжело легло на сердце. Он вспомнил, каким впервые увидел Гортензия — молодым, ослепительным, неотразимым. И вот теперь он задумал воскресить Гортензия. Он написал историю римского красноречия от первых еще робких его шагов до последних лет. И под пером Цицерона великие ораторы прошлого оживали и начинали говорить. Кончается трактат чем-то вроде творческой автобиографии Цицерона. Он вспоминает свою юность, первые свои речи и явление в его жизни Гортензия. Прекрасное это произведение превратилось под пером Цицерона в надгробное слово, величественный *реквием* римскому красноречию. И как некогда он благодарил богов за смерть Красса Оратора, так теперь благодарит их за то, что они вовремя взяли к себе Гортензия. Не увидел он новой гражданской войны, а главное, не увидел, во что превратился его Форум, Форум, где он некогда блистал во всем своем великолепии. Теперь этот Форум умер. Разум и талант уже не нужны Риму. Да, судьба Гортензия была поистине счастливой. Участь Цицерона много печальнее. И он заканчивает свое сочинение словами, переложенными на стихи Тютчевым:

Я поздно встал — и на дороге  
Застигнут ночью Рима был!

(*Brut* 6–7; 330).

Как ни странно, поэтический перевод оказался самым точным.

Написал Цицерон в это время и другое сочинение, тоже посвященное памяти ушедшего друга. Но оно потребовало от него не только таланта, но и мужества. То было похвальное слово Катону.

Когда в Риме узнали о смерти Катона, столь же необыкновенной, как и вся его жизнь, многие сразу же загорелись страстным желанием написать житие этого нового святого. Но не у всех хватало на это духу. Дело в том, говорит Цицерон, что Катон был не просто злейший враг Цезаря. Вся его жизнь была героической борьбой за Республику и законы против

революции и диктатуры. Без этой борьбы и сама жизнь Катона теряла всякий смысл. «Его невозможно прославить, не подчеркнув, что он предвидел то, что сейчас происходит, боролся против этого и, когда это все-таки случилось, ушел из жизни, чтобы не видеть» (*Att.*, XII, 4). Таким образом, автор книги о Катоне должен был и сам до некоторой степени повторить его подвиг. А на это мало кто был готов. Цицерон решил, однако, что это его священный долг перед памятью мертвого. И долг этот он выполнил. Книга его называлась «Катон». До наших дней она, к несчастью, не дошла. Рассказывают, что она написана была блестяще. Тацит, читавший ее, говорит, что автор до небес вознес своего героя (*Ann.*, IV, 34).

Пример Цицерона придал смелости другим поклонникам Катона. Брут, Мунаций, Фадий Галл и множество других написали ему славословия. Цезарь был в то время на войне, но должен был вот-вот воротиться (46 год). Писателей невольно пробирала дрожь при мысли о том, как диктатор отнесется к их творениям. Цицерон со своей обычной иронией писал Галлу: «Учитель вернется быстрее, чем мы ожидали, и пошлет катонианцев в Катоний» (*Fam.*, XII, 25). Катонием называлась преисподняя. Но Цицерон недооценил ту странную любовь, которую испытывал к нему учитель. Наконец от Цезаря пришло письмо, и письмо это было совершенно неожиданным. Диктатор писал, что прочел цицероновского «Катона». Он в восторге: книга доставила ему истинное наслаждение, читая ее, он становится красноречивее. За ним ответ. Однако на перо надо отвечать только пером. И тут же среди боевых действий Цезарь сел писать «Антикатона». В предисловии он пишет, что это ответ Цицерону — остальных катонианцев он, видимо, считал недостойными этой чести. Самому Цицерону он пропел настоящий дифирамб. Уподобил величайшему гражданину Афин Периклу, творцу афинской демократии, и вообще осыпал самыми лестными похвалами. И его жизнь, и таланты недостижимы. Он умолял читателей не сравнивать язык его книги с цицероновским — он всего лишь простой воин и не ему тягаться с изысканной красотой слога гения (*Att.*, XIII, 46, 2; *Plut. Cic.*, 29; *Caes.*, 3).

К сожалению, он не проявил подобного же благородства по отношению к самому Катону. Он буквально выливает на его голову все помои. Памфлет возмутил современников. Как не стыдно Цезарю, говорили они, издеваться над памятью своего великого врага? Кто поверит теперь, что он простил бы живого Катона, если с такой злобой говорит о мертвом? Чтобы пресечь все эти толки, Август уничтожил «Антикатона». Он считал, что книга эта пятнает память его приемного отца, а не Катона.

Вскоре стало известно, что Цезарь написал новую книгу, на сей раз о

латинском языке, и посвятил ее Цицерону. Он называет оратора первооткрывателем всех сокровищ латинского языка, славой римского народа. Что значат по сравнению с его лаврами лавры всех триумфаторов, говорит он.

Они лишь немного раздвинули границы римской державы, Цицерон же так широко раздвинул границы разума (*Brut.*, 253; *Plin. N.H.*, VII, 113). Простая вежливость требовала теперь от Цицерона ответить любезностью на любезность и посвятить Цезарю какой-нибудь из своих прекрасных диалогов, а может быть, даже вывести диктатора на его страницах, как вывел он Аттика, Брута, Катона, Варрона и некоторых других. Несомненно, Цезарь втайне на это надеялся. Если бы он был частным человеком, вероятно, Цицерон так бы и сделал — ведь он всегда был высокого мнения об уме и вкусе Цезаря. Но посвящать свое сочинение диктатору он считал отвратительным низкопоклонством. И Цезарь так и не получил от него ответного подарка.

Однако литература не захватывала Цицерона полностью. Всю жизнь он был не только писатель, но и артист. Дрожь волнения в начале речи, игра на душах слушателей, слезы, бурные овации — все это было необходимо ему как воздух. Он привык иметь дело не только с книгами, но и с живыми людьми. И тоска снова сжала его сердце. Вот тогда-то он принялся за новое, совсем уж необычное дело — он поставил себе целью вернуть всех изгнанников в Рим. Это было нечто удивительное, беспрецедентное. Среди этих людей были знатные вельможи и скромные обыватели; были его близкие друзья и совсем чужие ему люди, были почти враги. Но для Цицерона это было безразлично — за всех он хлопотал с одинаковым усердием. С утра до вечера обивал он пороги надменных временщиков Цезаря, добивался приема у самого диктатора, просил, убеждал, доказывал. «Я буду молить за тебя не только Цезаря, но и всех его друзей», — пишет он одному (*Fam.*, VI, 14, 3). Я употреблю все силы «без всяких оговорок и ссылок на занятость и трудности», — говорит он другому (*Fam.*, VI, 5, 1). «Сейчас я совершенно бессилен, — объясняет он третьему, — но все, что может тень моего бывшего почета, обломки моего бывшего авторитета, мое рвение, разум, усилия, влияние, верность — все это к услугам твоих милых братьев» (*Fam.*, VI, 13, 4).

Выносить приходилось многое. «Рано утром я пришел к Цезарю и перенес все унижения, всю тяжесть, которую нужно пережить, чтобы добиться у него приема», — с горечью рассказывает он другу (*Fam.*, VI, 14, 2). Никогда не мог забыть Цицерон один случай. Он пришел к диктатору хлопотать за одного клиента. Пришел чуть ли не затемно и занял огромную

очередь на прием. Прошла целая вечность, и наконец Цезарь вышел в приемную. Он оглядел толпу просителей и вдруг заметил Цицерона. Он поспешно взял его за руку, ввел в свой кабинет и спросил, в чем его просьба. И вдруг сказал:

— Уж конечно, меня должны сильно ненавидеть, раз Марк Цицерон сидит тут в прихожей и не может беспрепятственно ко мне войти. А ведь если есть на свете *легкий* человек, так это он. Однако я не сомневаюсь, что он должен здорово меня ненавидеть (*Att.*, XIV, 1, 2).

Что отвечал ему наш герой, неизвестно. Но он, конечно, не мог без горечи думать, что раньше мог бы защитить этих людей без всяких мытарств и унижений. Одному своему протеже он пишет: «Я, который раньше мог помочь... даже преступникам, теперь не могу обещать с уверенностью что-нибудь даже... своему лучшему другу» (*Fam.*, IV, 13, 3).

Вскоре все изгнанники стали смотреть на Цицерона как на свою единственную надежду. Его так и называли «всеобщий заступник» (*Fam.*, VI, 7, 4). С о всех концов шли ему письма с просьбами о помощи. Один изгнанник, например, пишет: «От сына моего, дорогой Цицерон, никакого толку не будет, слишком он молод... За мое дело надо взяться тебе. На тебя вся моя надежда» (*Fam.*, VI, 7, 5). Мало того что Цицерон за всех хлопотал, он еще предлагает нуждающимся не стесняться и смотреть на его кошелек как на свой собственный (*Fam.*, IV, 13; VI, 10). При этом с удивительной деликатностью он уверяет своего подзащитного, что он вовсе и не оказывает ему благодеяния и вообще никакой заслуги с его стороны тут нет — ведь он, Цицерон, всем обязан своему теперешнему протеже и теперь только выплачивает частицу своего неоплатного долга (*Fam.*, VI, 1, 7). Невольно спрашиваешь себя, откуда у Цицерона столько благодетелей и что все они делали, когда он был в изгнании.

Цицерон был не только всеобщим защитником, но и всеобщим утешителем. Читая его письма изгнанникам, просто не узнаешь оратора. В прежние времена он непрерывно надоедал друзьям бесконечными жалобами и сетованиями. Теперь же он ободряет, поддерживает, уговаривает каждого. Одному из них он даже осторожно напоминает об этом. В былые дни именно он, этот его друг, сурово корил Цицерона за слабость, уныние, нерешительность и как образец выставял собственную силу духа. Сейчас же они поменялись ролями (*Fam.*, VI, 1, 5). Когда читаешь письма Цицерона, натыкаешься на забавные места. Был у него один подопечный — мужественный, волевой человек. После поражения республиканцев он удалился в Грецию и заявил Цицерону, чтоб тот не вздумал за него хлопотать: он не собирается возвращаться на

порабощенную родину. Я не хочу жить в Риме, говорит он. Цицерон начинает убеждать его со всем возможным красноречием. Если бы у тебя, говорит он, не было других чувств, кроме зрения, ты был бы, разумеется, прав. Но ведь ты и так обо всем слышишь, все знаешь, все представляешь. Так чем же тогда твои Митилены лучше Рима? Другой его приятель тоже жил в Греции, но страстно рвался в Рим. А Цезарь и слышать не хотел о его возвращении. Изгнанник писал Цицерону самые жалостные письма. Я не хочу жить без Рима, говорит он. И его оратор успокаивает. Конечно, говорит он, сейчас мерзко везде. Но ведь из всех наших чувств самое сильное — зрение. Лучше сто раз услышать, чем один раз увидеть. А раз так, лучше жить где угодно, только не в Риме (*Fam.*, VI, I; IX, 10). Оба письма он писал почти в одно время.

Многие плакали не о себе — черную боль вызывала у них гибель Республики. Цицерон и для них находит слова утешения. Интересно отметить одно. Никогда и никому не говорит он, что не все еще потеряно, что Рим может еще возродиться. «Наша скорбь безутешна. Мы потеряли все», — пишет он (*Fam.*, IV, 3, 2). У нас осталось одно-единственное утешение; к нему я всегда прибегаю. Единственное несчастье — это грех, единственное счастье — добрый поступок. Но наша совесть чиста — мы сражались за Республику и исполняли свой долг. Все, что бы теперь с нами ни случилось, мы должны принять со смирением. «Внушай себе, что с человеком не может произойти ничего ужасного, чего стоит бояться, кроме греха и преступления. А их ты был чужд и всегда будешь чужд» (*Fam.*, VI, 4, 2; 1, 3–4; V, 21, 5).

Современные исследователи с недоумением спрашивают, в чем причина такой странной, такой напряженной деятельности Цицерона. Почему принял он столько мук ради совершенно чужих ему людей? Большинство склоняется к тому, что побудило его к тому тщеславие: ему хотелось укрепить свою добрую славу среди сограждан. Буассье добавляет к этому еще нечто вроде угрызений совести — Цицерон жил в Риме, был в милости у диктатора, вот он и вспомнил о своих менее удачливых друзьях, которые томились в ссылке.

Мне кажется, что все проще. Как гомеровский Ахиллес, который, поклявшись не участвовать в сражении, «томился по воинским кликам и битвам», так томился и Цицерон по битвам в судах. И вот сейчас он ухватился за призрак, тень своей прежней деятельности. Кроме того, его звал профессиональный долг. Разве врач, который случайно набрел где-нибудь в глуши на истекающего кровью человека, не попытается сделать ему перевязку и остановить кровь? Наверно, этот врач не раз тяжело

вздохнет при мысли, насколько удобнее было бы, если бы больной лежал в операционной, оснащенной новейшей аппаратурой, кругом горели бы ослепительные лампы и стояли ассистенты в белых халатах, держа в руках шприц и стерильные бинты. Так и Цицерон не раз сокрушался, думая, насколько было бы ему лучше защищать своих подопечных в суде, где на скамьях сидели бы присяжные, а кругом толпился римский народ. Но судов не существовало, а в теперешней жалкой профанации судебного процесса Цицерон твердо решил не участвовать.

И все-таки один-единственный раз он нарушил строгий обет молчания, который на себя наложил, и выступил в суде на Форуме. Случилось это так. Среди изгнанников был некий Лигарий, убежденный республиканец. Цицерон хлопотал о нем так же, как и о других подобных ему несчастливцах. Неожиданно против Лигария возбудили дело, обвиняя его в государственной измене, причем обвинителем был некий Туберон, помпеянец, который переметнулся к Цезарю и спешил выслужиться перед новым хозяином. Хотя по римским законам нельзя было судить человека заочно, Цезарь приказал суду быть. Никто не выразил желание стать защитником, и тогда Цицерон заявил, что защищать Лигария будет он. Это было в сентябре 46 года.

Как непохож был этот суд на те, в которых прежде выступал Цицерон! Не было председателя, не было присяжных. Единственным судьей был Цезарь. Окруженный толпой клевретов, он появился на Форуме, поднялся на Ростры и сел в кресло. Повернувшись к своим спутникам, он усмехнулся и громко сказал, указывая глазами на бледного, взволнованного Цицерона:

— Почему бы нам не послушать Цицерона после такого долгого перерыва? Тем более что дело это уже решенное: Лигарий негодяй и мой враг (*Plut. Cic.*, 39).

И Цицерон заговорил.

«— Необычное, неслыханное прежде обвинение возбудил Квинт Туберон, — так начал оратор. — ...Перед тобой, Туберон, подсудимый, который не отрицает своей вины... но вина его в одном: он был на той стороне, на которой был и ты».

И я сам, продолжал оратор, был на стороне побежденных и встал под знамена Помпея совершенно добровольно и сознательно. И все-таки все мы живы и благополучны. Почему? Потому что Цезарь не хотел следовать примеру Суллы, не хотел затопить Италию кровью. Он решил проявить к врагам *милосердие*. И тут оратор заговорил об этом прекрасном чувстве, самом прекрасном из всего, чем наделен теперь Цезарь. Какое счастье, что

он слушался голоса сердца, а не злых советчиков. «Сколько нашлось бы среди победителей людей, которые бы толкали тебя на жестокости, раз такой человек нашелся даже среди побежденных». Дурно, что Туберон напал на бывшего товарища. Но есть нечто еще худшее — он ополчился против самого милосердия. Он задумал отвлечь Цезаря от пути сострадания. Тут оратор обернулся к обвинителю.

— Ты мог бы сказать: «Берегись, Цезарь, не верь им; Лигарий был в Африке и поднял против тебя оружие». Но что говоришь ты теперь? «Берегись. Не будь милосерд». Это не слова человека. Это не слова, которые должен слышать человек! (*Lig.* 7–2; 15–16).

Туберон назвал Лигария преступником.

— Ты называешь это преступлением, Туберон? Как? Доселе это имя не применяли к делу побежденных. Одни называли это ошибкой, другие — следствием страха... Но преступлением, кроме тебя, не назвал никто. Если мы пожелаем найти настоящее имя для нашей беды, я бы сказал, что то было несчастье, посланное роком, оно обрушилось на нас и помutilо слабый человеческий разум. Что же удивляться, что Божья воля оказалась сильнее человеческого рассудка. Так пусть нам дозволено будет называться несчастными... Я говорю не о нас, я говорю о тех, убитых... Да не коснется обвинение в преступлении... мертвого Гнея Помпея, да не коснется других (*Lig.*, 17–18).

Тут он снова обратился к Цезарю.

— Никогда люди не бывают ближе к богам, чем когда спасают других. Самое завидное в твоей судьбе, что ты можешь, а самое прекрасное в твоём характере, что ты хочешь спасти как можно больше людей (*Lig.*, 38).

Когда Цицерон поднялся, Цезарь принял нарочито равнодушный вид, отвернулся и стал листать какую-то книгу. И вот Цицерон, как всегда запинаясь и дрожа от волнения, заговорил. Но постепенно голос его окреп. «Речь его текла все дальше, на редкость прекрасная, поражающая силою страсти и разнообразием ее оттенков. И Цезарь, часто меняясь в лице, выдал противоречивые чувства, которые им завладели, а под конец... вздрогнул всем телом и в совершенном расстройстве выронил из рук записи» (*Plut. Cic.*, 39).

Лигарий был оправдан.

\*

На этом самом месте, тридцать пять лет тому назад, при диктаторе

Сулле, Цицерон, тогда никому не известный юноша, единственный из римлян осмелился защищать несчастного от клеветов диктатора. Он говорил тогда о милосердии и сострадании.

— Остается, судьи, одна надежда — на вашу... доброту и милосердие. Если она осталась в вас, то мы и теперь еще можем надеяться на спасение; но если жажда крови, обуявшая в последнее время граждан, успела ожесточить, озлобить... и ваши сердца — тогда для нас все погибло... Лучше жить среди зверей, чем среди людей, столь недоступных чувству сострадания! Неужели вы остались живы, неужели вас избрали в судьи для того, чтобы вы осуждали тех, кто спасся... от убийц!.. Римский народ, некогда известный своим крайним снисхождением к врагам, страдает в настоящее время жестокостью по отношению к гражданам. Положите же конец распространению ее в государстве, судьи, вылечите от нее общество: она опасна не только потому, что истребила самым ужасным образом множество граждан, но и потому, что постоянными картинами убийств сделала глухими к голосу сострадания самых добрых людей; видя и слыша ежечасно одни только ужасы, даже самые кроткие из нас, под впечатлением постоянно повторяющихся кровавых зрелищ, совершенно окаменевают сердцем (*Rose. Amer.*, 12; 150–154).

Сейчас, при диктаторе Цезаре, Цицерон, всемирно известный оратор, единственный из римлян осмелился защитить несчастного от клеветов диктатора. И он снова говорил о милосердии и сострадании. То была его первая судебная речь, эта — последняя. Круг замкнулся. Он вернулся к тому, с чего начал и о чем говорил всю жизнь — о милости к падшим. Когда ему удалось уговорить Цезаря простить своего врага, он сказал ему, что все его величайшие триумфы ничто перед этим — ведь он протянул руку поверженному врагу (*Marceli*, 7–8). А другу написал, что был так счастлив, что на мгновение ему показалось, что воскресла Республика (*Fam.*, IV, 4).

«Речь в защиту Лигария» была событием. Ее читали, обсуждали, переписывали друг у друга. И неудивительно. Впервые за эти темные годы нашелся человек, который заговорил о милосердии и восславил мертвых.

Между тем судьба готовила Цицерону удар, самый страшный из всех, которые он получал в жизни.

### Туллия

Цицерон пишет одному приятелю, что его домашние дела в таком же

скверном положении, как дела Республики (*Fam.*, IV, 14, 3). Он тоже был подобен потерпевшему кораблекрушение, выброшенному на пустынный берег.

Прежде всего выяснилось, что он разорен. В начале войны он отдал чуть ли не все свои наличные деньги Помпею для защиты Республики и они погибли вместе с Республикой (*Fam.*, V, 20, 9; *Att.*, VII, 8, 5). Судебная практика Цицерона кончилась, а вместе с нею кончились и все средства к существованию. Теперь оратор был весь в долгах. Хуже всего было то, что ни он, ни его семейство никак не могли осознать случившегося и продолжали, как прежде, жить на широкую ногу. Сын Цицерона, теперь уже взрослый юноша, собирался, по настоянию отца, ехать в Афины учиться. Среди тамошних студентов были сыновья первых людей Рима, и Марк рассчитывал провести время весело и поразить всех блеском и великолепием. Когда же он попросил у отца денег, Цицерон, вместо того чтобы объяснить сыну положение дел, обещал, что тот будет получать содержание не меньше, чем дети римских аристократов!

Был, впрочем, один человек в семье, который разом оценил ситуацию. Теренция не потерялась и принялась срочно вывозить из дома мебель, посуду и другие ценные вещи, а деньги переводила на свое имя. Цицерон был поражен, узнав о действиях своей предприимчивой супруги. Начались ссоры. А в начале 46 года или в самом конце 47-го по Риму разлетелась диковинная весть — Цицерон и Теренция разошлись! Развод этот надолго дал пищу для городских сплетников. Да и в самом деле это было удивительное событие. Правда, у Цицерона с женой давно не было ничего общего. Правда, Теренция не раз уже предавала мужа в трудную минуту. Но как-никак они прожили больше тридцати лет и Цицерону было уже шестьдесят. Быть может, последнее предательство жены переполнило чашу терпения Цицерона? Быть может, его возмутило бездушное отношение Теренции к Туллии?

Мне лично представляется, что ко всем этим обстоятельствам прибавлялось еще одно. Хотя и прежде они плохо ладили, но все эти годы Теренция цепко держалась за мужа — он был один из самых знаменитых людей Рима и при всей своей безалаберности зарабатывал много денег. Сейчас же Цицерон был опальный изгнанник, разоренный, чуть ли не нищий. Не имело смысла долее делить судьбу с этим неудачником. Поэтому я думаю, что инициатива развода скорее всего исходила от нее, а не от него. В самом деле. Мы знаем ее властную, жесткую натуру. Весь Рим зубоскалил о том, что она держит супруга в ежовых рукавицах и совершенно не дает ему воли. Как-то не верится, чтобы он вдруг набрался

духу и отважился на столь отчаянный поступок.

Убеждает меня еще один факт. Оказывается, у Теренции был уже на примете жених, и, покинув дом Цицерона, она вскоре переехала к нему. То был молодой талантливейший цезарианец Саллюстий Крисп<sup>[114]</sup>. Он был родом из небольшого итальянского городка. В ранней юности приехал в столицу и сразу бросился с головой в бурлящее море политики. Он сделался пламенным революционером и демократом. Особенно ярко проявил он себя в 52 году, когда на Аппиевой дороге нашли труп Клодия. Саллюстий выступил тогда перед народом и, указывая на бездыханное тело, призывал к мщению. Он клеймил аристократию, и его речи были полны горечи и огня. Саллюстий носился по Риму и натравливал чернь на Милона. Злые языки, правда, говорили, что движет им не любовь к демократии, просто с Милоном у него старые счеты. Несколько лет назад Саллюстий приударял за женой Милона. Однажды муж вернулся ранее обыкновенного и застал его у своей жены. Он поступил очень гуманно — не убил своего обидчика, а только пребольно его высек. Но гордый дух юного демократа с тех пор пылал мщением.

Столь блестяще начатая политическая карьера Саллюстия в 50 году внезапно оборвалась. Цензоры исключили его из сената за распутство. Глубоко оскорбленный Саллюстий преисполнился благородного негодования против аристократии. Во время гражданской войны он стал под знамена Цезаря. Успех полководца его страшно воодушевил. Он был буквально полон идей об управлении государством, писал диктатору письма, давал наставления и советы и, судя по всему, надеялся быть тем мозговым центром, который руководит действиями правителя. Но с ним случилось несчастье и судьба подрезала ему крылья. Цезарь отдал ему в управление провинцию Африку, и тут Саллюстий погорячился и слишком уж ретиво стал ее грабить. Вышел скандал. Цезарю удалось его замять, но Саллюстий вынужден был отойти от дел. Он так и не стал советчиком правителя (*Dio.*, 42, 9, 2). Впрочем, он сохранил наворованное добро, купил роскошные сады под Римом, построил великолепный дворец и там в тиши провел остаток жизни. Он взялся за перо и в талантливых памфлетах едко и страстно обличил пороки римского общества, особенно разврат и отвратительную страсть к наживе. При этом он давал понять, что сам он — изгнанный за правду философ. На сей раз Теренция не прогадала. Ее новый муж был тоже талантлив, зато начисто лишен глупой щепетильности Цицерона, которая отравила ее лучшие годы. Подле этого человека она прожила в мире и покое и умерла в возрасте более ста лет, намного пережив обоих мужей.

Но Теренция была слишком мудрой женщиной, чтобы признать, что все случилось согласно ее желанию. Напротив. Она приняла вид оскорбленной невинности, громко сокрушалась о своей разбитой жизни и, вздыхая, жаловалась подругам, что муж выгнал ее из дому на старости лет, после того, как она отдала ему свою молодость и все силы.

Цицерон между тем был страшно угнетен. Более всего угнетали его не денежные трудности и даже не неприятности с женой, тут было нечто более ужасное — горе обрушилось на Туллию. А горе Туллии значило для Цицерона несравненно больше, чем его личное горе и горе всех близких вместе взятых. Словом, было самым страшным несчастьем на свете. Дело же было вот в чем.

К 50 году Туллия была замужем дважды. Первым ее мужем был юный Пизон, с которым она была помолвлена еще в детстве. То был милый молодой человек, которого Цицерон считал совсем ребенком. Он умер, когда Цицерон был в изгнании. Вскоре после возвращения отца Туллия вышла замуж за Крассипеда. О нем известно только то, что он был мал ростом. Когда Цицерон увидал, как он опоясался мечом, то воскликнул:

— Кто привязал моего зятя к мечу?<sup>[61]</sup>

Впрочем, Цицерон всегда отлично ладил с зятьями и они очень его любили. Но Крассипед и Туллия вскоре расстались. Все эти мужья как-то мало затрагивали сердце Туллии, и, конечно, отца она любила неизмеримо больше.

Когда Цицерон уезжал в Киликию, было ясно, что Туллия должна вот-вот вновь выйти замуж. Ей было уже около 25 лет, и она хотела иметь семью и детей. Цицерон надеялся, что его новым зятем станет Сервий, сын Сервия Сульпиция, его старинного друга. Но, разумеется, он и думать не мог навязывать свой выбор обожаемой дочери. И вот, когда он перебирал в уме возможных избранников Туллии, он получил из дома письмо, содержащее поразившую его новость.

Дочь вышла замуж за молодого Долабеллу, вышла поспешно, ни с кем не посоветовавшись. Долабелла, как узнал Цицерон, явился к нему в дом и начал ухаживать за Туллией. Он был весел, остроумен, очарователен, изысканно вежлив и предупредителен. Новый знакомый обворожил даже Теренцию, а Туллия без памяти в него влюбилась. Очевидно, боясь его потерять, она так заспешила со свадьбой.

Цицерон был ошеломлен, даже испуган этим известием. Не то чтобы он ненавидел Долабеллу, тот ему даже нравился. Но Цицерон знал, что он из кружка золотой молодежи, мот, кутила и прожигатель жизни, а потому сильно сомневался, что из него выйдет примерный супруг. В полном

смятении он даже осторожно поделился своими опасениями с Целием и попытался узнать у него побольше о своем новом зяте. Целий горячо его поздравил; Долабелла, писал он, чудесный малый и его большой друг. Он, правда, несколько легкомыслен, но Туллия такая разумная и скромная, что рядом с ней он быстро остепенится (*Fam.*, VIII, 13, 1). Цицерона это письмо, по-видимому, совсем не успокоило, на сердце у него скребли кошки. «Но что поделаешь? Такова жизнь. Да благословят боги то, что произошло», — говорил он (*Fam.*, II, 15, 2).

Увы! Когда он воротился из Киликии, оказалось, что оправдались самые мрачные его предчувствия. Долабелла кутил, волочился за женщинами и пил. Он просаживал кучу денег, причем не своих, а жениных. Туллия очень страдала. Невыразимо страдал и Цицерон. Он признавался, что у него сердце обливается кровью, когда он видит, что такое благородное, мужественное и любящее существо, как Туллия, терпит такие незаслуженные муки (например, *Fam.*, XIV, 11). В то же время Цицерон придерживался мудрого правила не вмешиваться в семейную жизнь дочери: он не давал молодым советов и не читал нотаций Долабелле. Более того. Он по-прежнему был в прекрасных отношениях с зятем, и Долабелла был к нему очень привязан. Всего более его восхищали остроумие и жизнерадостность тестя, который умел веселой шуткой скрасить самые тяжелые обстоятельства. Видно, Цицерон действительно был легким человеком. Он ежедневно давал зятю уроки красноречия. «Он мой ученик в науке красноречия и учитель в науке обедов», — шутил он (*Fam.*, IX, 16, 7; *Quintil.*, XII, 11, 6).

Туллия и Долабелла разъезжались, съезжались и вновь разъезжались. В конце 46 года Туллия наконец решила на развод. В то время она была беременна. Можно задаться вопросом, почему она выбрала столь неподходящий момент.

Однако я думаю, что момент, напротив, был подходящий. Туллия страстно хотела иметь детей. Сейчас она мечтала, что переедет к обожаемому отцу и они вместе будут растить ребенка. Цицерон действительно отвез дочь к себе и окружил всевозможной заботой. Все шло хорошо. Туллия в срок родила сына. Но через несколько дней она умерла. Это было в феврале 45 года.

Аттик немедленно примчался к другу и увез его к себе. Он рассчитывал не только на себя, но и на свою маленькую дочку. Родители ее обожали, и Цицерон очень привязался к ребенку. Но через несколько дней Цицерон покинул гостеприимную семью. Он уехал в Астуру. В том месте, где река Астура впадает в Тирренское море, был маленький островок, весь

поросший густым лесом. С утра Цицерон уходил в непролазную чащу и сидел там до вечера совершенно один (*Att.*, XII, 15; 16). Дни проходили за днями, месяц за месяцем, а Цицерон по-прежнему отказывался покидать свое убежище. Друзья волновались, многие хотели его навестить, но он никого не желал видеть. Они стали серьезно бояться за его жизнь и разум и решили во что бы то ни стало выманить его с острова. Но Цицерон слышать не хотел о Риме. Тогда Аттик пустился на хитрость. Он нашел множество совершенно неотложных дел, которые требовали немедленного приезда оратора в столицу. Надо снарядить в дорогу сына; надо выдать приданое Теренции; надо составить новое завещание и т. д. Все это Аттик перечислял серьезным, даже строгим тоном. В ответ друг его совершенно безучастно отвечал, что просил бы разобраться во всем самого Аттика и, ради Бога, не мучить его. Но Теренция, не унимался Аттик, она же ограбит Цицерона, отберет у него последнее; надо же защитить себя, наконец. Пусть берет все, что хочет, равнодушно отвечал Цицерон, не спорьте с ней и оставьте меня в покое (*Att.*, XII, 21).

Аттик сделал новую попытку. Он старался пробудить у друга интерес к жизни, стал описывать волнующие эпизоды борьбы Цезаря и сыновей Помпея в Испании, отвратительные спекуляции Марка Антония с имуществом изгнанников. Неужели и это не заинтересует Цицерона? Аттик с нетерпением ждал ответа. «Мне кажется, ты еще не осознал, что меня не волнует Антоний, что меня не может заинтересовать ничего в этом роде». «Я совсем не встревожен этим известием и уже не буду встревожен никакими» — был ответ (*Att.*, XII, 20, 1; 19, 2).

Тогда Аттик попытался сыграть на тщеславии друга — тот всегда так близко к сердцу принимал, что говорят о нем в Риме. И вот теперь Аттик сообщил ему, что в Риме его осуждают. Не подобает мужчине, говорят римляне, думать только о своем личном горе и забывать о государстве. Ему необходимо наконец вернуться к привычному образу жизни. «Ты зовешь меня к привычному образу жизни, но у меня теперь нету ни образа жизни, ни самой жизни и я не нахожу нужным считаться с тем, что скажут другие», — отвечал Цицерон (*Att.*, XII, 28, 2).

Оставалось последнее средство — Форум. Его Цицерон любил сильнее всего. И вот Аттик просит друга вернуться на Форум, где его так недостает. «Что мне Форум без судов и Курии, где мне все время попадаются люди, которых я не могу спокойно видеть... Не зови меня... в эту сутолоку, не то я снова слягу», — с отвращением ответил Цицерон (*Att.*, XII, 21, 5).

Но дом, снова начал Аттик. Его дом, который Цицерон всегда так

любил? Нет у меня дома, отрезал Цицерон. «Я потерял единственное, что удерживало меня в жизни» (*Att.*, XII, 23, I).

Другой его приятель прислал ему длинное письмо, умоляя вернуться. Он писал, что они будут жить рядом и он по мере своих слабых сил будет поддерживать Цицерона. Цицерон отвечал, что слова друга глубоко его тронули. «Я бы сказал, что они мне приятны, если бы не забыл навеки это слово... Но лекарства, которое должно помочь от такой страшной раны, такого лекарства нет» (*Fam.*, V, 15, I).

Аттик, вероятно, уже отчаялся хоть чем-нибудь заинтересовать друга, когда вдруг получил от него весьма странное письмо. Такое странное, что у Аттика, наверно, в глазах помутилось, когда он его прочел. Цицерон писал, что хочет построить храм в честь своей Туллии и пусть в этом храме ей молятся как богине. «Я хочу, чтобы это был храм. Всякого сходства с гробницей я избегаю... чтобы более всего достигнуть апофеоза»<sup>[115]</sup> (*Att.*, XII, 36, 1). В ужасе Аттик начал было отговаривать друга от этой безумной затеи, но оказалось, что это не так-то легко. Безучастный ко всему, Цицерон оживлялся, только когда говорил о храме. О чем бы ни заговаривал Аттик, Цицерон отмахивался и тут же переводил разговор на свой храм. Он с увлечением описывал, каким он будет. Небольшой, конечно, но украшенный статуями и картинами. Он в точности представлял его план, знал, к какому архитектору он обратится. А вокруг будет большая роща и тысячи паломников будут стекаться, чтобы поклониться новому божеству. Считай это моей блажью, писал он, но это единственное, чего мне еще хочется в жизни. «Это для меня самое святое, самое важное» (*Att.*, XII, 18, 1; 19, 2). «Если кто-либо когда-либо был достоин божеских почестей, так это ты, Туллия... Я хочу, чтобы самая образованная, самая лучшая из женщин с согласия богов заняла место в их сонме и чтобы все люди считали ее за богиню» (*Consol.*).

Теперь он только и говорил о том, чтобы купить сады в Риме и построить там свой храм. Он с увлечением обсуждал, какое это будет место, и настойчиво просил Аттика разузнать, где можно купить подходящий участок. Аттик ухватился за этот предлог и написал, что сады в Риме стоят бешеных денег. Ну и что, отвечал друг, продай все, что у меня есть. «Ведь теперь мне уже не нужно ни серебра, ни одежды, ни красивых мест, где можно было бы построить виллу. Мне нужно только это». «Мне представляется, что я исполняю некий обет и долг. Я думаю теперь о том бесконечно долгом времени, когда меня не будет, а не о том кратком отрезке, который мне осталось дожить. Впрочем, и он сейчас кажется мне слишком долгим» (*Att.*, XII, 23, 3; 22. 3; 18, 1).

Весть об ударе, обрушившемся на Цицерона, мгновенно облетела весь мир. Со всех концов вселенной шли к нему письма с соболезнованиями и утешениями. Цезарь, воевавший с сыновьями Помпея, написал ему из Испании. Написал Брут. Писали ученые греки. Писал Долабелла<sup>[116]</sup>. Но самым удивительным и прекрасным из всех было письмо Сервия Сульпиция, жившего тогда в Греции.

«Когда ко мне пришло известие о смерти твоей дочери Туллии, мне было очень тяжело и больно; я считаю, что это наше общее горе. Если бы я был у вас, я бы не оставлял тебя и лично выразил бы тебе свою скорбь. Хотя это жалкий и горький вид утешения — ведь те, кто утешает, друзья и близкие, сами в таком же горе и, пытаясь утешать, обливаются слезами, и, кажется, они сами нуждаются в утешении и не в состоянии выполнить свой долг перед другими — все же я решил кратко написать тебе о том, что пришло мне на ум. Конечно, я не думаю, что ты этого не знаешь, но ты сейчас в таком горе, что вряд ли это осознаешь.

Почему тебя до такой степени волнует твое семейное горе? Подумай, какова была наша судьба до этого времени: у нас отнято то, что должно быть людям не менее дорого, чем дети: отечество, честь, достоинство, почет. Что может прибавить к этой скорби еще одно несчастье? Чей дух, пройдя через такие испытания, не окаменеет настолько, что все прочее покажется ему незначительным? Или, может быть, ты скорбишь о ее жребии? Но сколько раз ты должен был прийти к мысли, что в наше время участь тех, кому позволено было без страданий сменить жизнь на смерть, самая счастливая (ведь мы с тобой часто об этом думали). И что бы могло в наше время особенно привлекать ее к жизни? Какие надежды? Какое утешение для души?.. Или, может быть, надежда родить детей и радоваться на них, когда они достигнут цветущих лет? А они бы сохраняли Республику, переданную им родителями? Добивались бы общественных почестей и наслаждались бы свободой, отдавая свое время Республике и друзьям? Но разве все это, что было у нас прежде, ныне не отнято? Но ведь это зло — потерять ребенка. Зло. Но еще большее зло терпеть и выносить все это.

Я хочу рассказать тебе о том, что принесло мне немалое утешение — не сможет ли это облегчить и твою скорбь? Возвращаясь из Азии, я плыл от Эгины к Мегарам. Я стал оглядывать лежащую передо мной местность. Позади меня была Эгина, впереди — Мегары, справа — Пирей, слева — Коринф. Некогда это были цветущие города. Сейчас же они лежали перед моим взором простертые в прах и разрушенные. И вот я стал размышлять сам с собой: «Что же мы, жалкие людишки, возмущаемся, если умрет или

будет убит кто-нибудь из нас, кому дана краткая жизнь, когда здесь, в одном этом месте, лежат столько трупов городов? Смирись же, Сервий, и помни, что ты рожден человеком!»

Поверь, эта мысль немало укрепила меня» (*Fam.*, IV, 5).

На все письма Цицерон отвечал коротенькими записочками, в которых благодарил за участие и извинялся за то, что силы не позволяют ему писать больше. Но письмо Сервия глубоко его взволновало, и он ответил более пространно.

«Да, Сервий, я хотел бы, чтобы, как ты пишешь, ты был здесь при моем страшном несчастье» — так начинает Цицерон. Он говорит далее, что друг, конечно, прав в своих доводах. Однако он испытал такую боль, когда погибла Республика. «Но у меня... оставалось это одно утешение, которое ныне отнято... Я переламявал себя и заставлял переносить горе терпеливо, ибо у меня было прибежище, было где отдохнуть. В милых беседах с нею я забывал все заботы и скорби. Теперь же эта страшная рана разбередила другие раны, которые я считал затянувшимися. Тогда я в своем доме находил утешение от скорби, причиненной горем Республики. Теперь же в моем домашнем горе я не могу прибегнуть к Республике, чтобы успокоиться, глядя на ее счастье. Итак, я ушел и из дома, и с Форума, ибо дом уже не может утешить горе, причиненное Республикой, и Республика не в силах спасти от семейного горя» (*Fam.*, IV, 6).

Действительно. Цицерон почти одновременно потерял и Республику, и дочь. С тех пор эти два горя соединились в его сознании, как соединились и эти два любимых существа, которые ушли от него.

### ***В поисках утешения. «Бунт»***

Построил ли Цицерон храм для своей Туллии? Этого мы не знаем. Очень может быть, что в каком-нибудь тихом уголке Лациума долго стояла небольшая часовенка, затерявшаяся в зелени дубов и миртов, и крестьяне в широкополых шляпах, проходя мимо, молитвенно прижимали руку к губам, не задумываясь, что это за новое божество. Но не этот храмик, даже если он был построен, увековечил имя Туллии. Отец воздвиг ей иной, нерукотворный памятник — свои сочинения. Почти все его великие произведения написаны в то время. И все они посвящены памяти дочери и Республики.

Когда Цицерон бежал от людей и укрылся на своем острове, он обложился книгами. Он читал от зари до зари, читал Платона, Аристотеля,

стоиков, академиков, перипатетиков, читал и жадно искал ответы на вопросы, терзавшие его мятущуюся, измученную душу. Буквально через несколько недель после смерти дочери он стал писать сам. Многих неприятно поразила такая поспешность. Между тем для Цицерона это был единственный способ не сойти с ума. Он говорил, что, только когда пишет, испытывает некоторое облегчение: боль не то что утихает, но становится более тупой (*Att.*, XII, 14, 3). И он писал и писал с утра до ночи, как одержимый. Он сам называет свои занятия *лекарством*, а философию — *наукой о исцелении души*, подобно тому, как медицина — наука о лечении тела (*Tusc.*, II, 6; ср. V, 121). За два неполных года — 45-й и 44-й — он написал трактаты: «Об утешении», «Гортензий», «Академики» (две книги), «О пределах добра и зла» (пять книг), «Тускуланские беседы» (пять книг), «О природе богов» (три книги), «О предвидении» (две книги), «О судьбе», «Тимей», «О старости», «О дружбе», «О славе», «Об обязанностях» (три книги). Поистине геркулесов труд! Но если мы вспомним, что, говоря о каком-нибудь вопросе, Цицерон давал полный обзор мнений философов от Платона до последних дней, что самые запутанные темы умел изложить ясно, красивым и ярким языком, что каждое положение он иллюстрировал многочисленными примерами из римской истории, чтобы философские мысли стали ближе читателям, когда, повторяю, мы все это понимаем, то изумление наше еще более возрастает. Но и это еще не все. Латинский язык был тогда совсем не разработан, в нем не существовало научных и философских терминов, над которыми Греция трудилась уже 600 лет. «Немало людей, сведущих в греческих науках, не могли поделиться знаниями с соотечественниками, так как не могли выразить по-латыни то, что узнали от греков». И Цицерон создал латинский философский язык! К концу своей деятельности он мог с гордостью сказать: «Греки уже не превосходят нас богатством терминологии» (*De nat. deor.*, I, 8). Когда осознаешь все это, невольно преклоняешься перед титаническим трудом этого удивительного человека.

В черной жизни Цицерона забрезжил слабый свет, который постепенно становился все ярче. Несколько лет тому назад он сказал, что представляет себе блаженство в раю как жизнь ученого, познающего мир. И вот теперь он сам погрузился в эту жизнь. У ученого, пишет он, «ум живет в постоянной деятельности, в постоянной пытливости, с тем наслаждением искания, которое для ума — сладчайшее из яств... Какие царства, какие богатства предпочтешь ты сладости... изысканий?». Что может сравниться с радостью познания движения звезд, устройства вселенной, смысла бытия? (*Tusc.*, V, 67–69). Ведь «жить значит мыслить»

(*Tusc.*, V, 111). Итак, не в славе, не в обществе друзей, а только в творчестве Цицерон нашел утешение.

О чем бы ни писал Цицерон — о дружбе, о славе, о добродетели, о Республике — он непрерывно возвращается теперь мыслью к одному — к смерти. Смерть — не зло, вновь и вновь повторяет Цицерон, она великое утешение. Мы страшимся смерти, а от скольких мук она нас спасает! Если бы Помпей умер сразу же после своих побед, не узнал бы он ни поражения, ни ужаса, ни позора. А если бы сам Цицерон умер раньше, его можно было бы назвать счастливецом. Надо только помнить, что с теми, кто ушел от нас, не случилось никакого горя. Случилось оно только с нами, ибо мы их потеряли. Но лишь себялюбцу свойственно тужить о себе. Мысль, что им хорошо, должна облегчить наши муки. Сам же он мечтает, что душа его, сбросив земные оковы, как птица, поднимется к небу. Она забудет там все земные страдания. И там глаза души широко откроются, и будет она постигать все тайны мироздания, и грязная оболочка праха не будет ей помехой. Есть люди, которые не верят в бессмертие души и думают, что она гибнет вместе с телом. Цицерон с ними не согласен. Но, если бы даже они были правы, смерть все равно благо. «Если душа разрушается и погибнет всецело, то что может быть лучше, чем уснуть в середине жизненных трудов и смежить глаза для сна, который вечен... Я, если так случится, что Бог предвостыит мне кончину, приму это с радостью и благодарностью, почту за освобождение из оков и из-под стражи... Мы должны почитать смерть открытым для нас прибежищем и пристанищем. О, если бы мы могли поспешить к ней сразу и на всех парусах!» (*Tusc.*, I, 117–119).

Августин Блаженный рассказывает, какое впечатление произвели на него произведения Цицерона тех лет. «В неокрепшем еще возрасте изучал я памятники красноречия, в котором желал прославиться, поставив себе цель пустую и достойную осуждения, но привлекательную с точки зрения человеческой суеты. И вот я, следуя обычному порядку учения, дошел до одной книги Цицерона, — того Цицерона, славе которого удивляются все, даже те, кто не в состоянии уразуметь его дух. Книга эта содержит приглашение заниматься философией и озаглавлена «Гортензий»<sup>[117]</sup>. Она совершенно изменила мои наклонности, она дала моим молитвам направление к тебе, Господи. Она указала новую цель моим стремлениям и желаниям. Тотчас же мне опостытели все суетные надежды; невыразимая жажда вечной мудрости охватила мое сердце; я поднялся, чтобы возвратиться к Тебе. Не пособие к изощрению красноречием видел я в этой книге: ее автор пленил меня не внешней формой, а содержанием своей речи. О, как я пылал, Боже мой, как я пылал жаждою оставить все земное и

подняться к Тебе» (*Conf.*, III, 4). А много веков спустя Мартин Лютер признавался, что доказательства бытия Божия, приводимые Цицероном, глубоко поразили его<sup>[62]</sup>.

Я не буду рассматривать здесь все сочинения Цицерона того времени. Но мне хочется остановиться на одном, самом таинственном и непонятном. Я имею в виду знаменитый трактат «О природе богов». Мало существует произведений, которые вызывали столько споров и недоумений.

В предисловии Цицерон пишет, что вопрос о богах — самый темный и неясный в философии, и мудрейшие люди не могут прийти к согласию. Большинство философов признают их существование. Да и мы сами приходим к той же мысли благодаря некому врожденному чувству. Вопрос в другом — создали ли боги мир, управляют ли им и заботятся ли о людях. «Есть и были философы, которые полагают, что боги вообще не пекутся о делах человеческих. Если их мнение верно, то какое же может быть благочестие, какое богопочитание, какое служение богам?» В самом деле. Зачем молиться и взывать к небожителям, если они нас не замечают? Другие философы считают, что боги создали мир и управляют им. Особенно много доказательств тому приводят стоики. Они утверждают, что все, что есть на земле, создано на потребу людям. Когда наслушаешься их, начинает казаться, что «сами бессмертные боги созданы для пользы людей» (*De nat. deor.*, I, 1–4).

И вот, желая всесторонне обсудить этот вопрос, Цицерон оживляет картину далекого прошлого. Он вспоминает друга, которым так восхищался в годы юности, Котгу. Судьба этого человека немного напоминала судьбу самого Цицерона. В юности он страстно увлекался красноречием и мечтал о славе оратора, затем пережил гражданскую войну и террор, был несправедливо изгнан, поехал в Грецию, прошел там курс наук, заинтересовался философией и, как и Цицерон, стал поклонником Новой Академии. Когда же он вернулся, то до самой смерти слыл лучшим оратором Рима. В нашем же диалоге он выведен до того схожим с Цицероном, что многие считали его литературным двойником автора. И вот однажды, говорит Цицерон, в дни праздника у Котгы собрались гости. Пришел сам Цицерон, пришли два приятеля хозяина, Веллей и Бальб. Оба они были людьми весьма учеными и даже философами: Веллей был убежденным последователем Эпикура, Бальб — пылкий стоик. И вот между этими людьми возник интересный спор о богах. Цицерон сидел тут же, слушал, но хранил упорное молчание. «Могут спросить, каково же мое собственное мнение по каждому из затрагиваемых вопросов; но это ненужное любопытство», — говорит он (I, 10).

Первым выступил эпикурец Веллей. Он «начал чрезвычайно уверенно, как это обыкновенно делают эпикурейцы», которые говорят о богах и вселенной со знанием дела и без тени сомнения, так что кажется, что они «только что спустились с совета богов или межзвездного пространства Эпикура»<sup>[118]</sup>. Сначала он презрительно высмеивает дикую идею о том, что Бог — творец мира. «Какие устройства, какие железные орудия, какие подъемные сооружения, какие машины использовались на этой постройке? Какие трудились рабочие? Каким образом воздух, огонь, вода, земля повиновались воле архитектора?» И почему вдруг у Бога появилась мысль создать мир? Ведь он существовал бесконечные века до того, как ему вздумалось взяться за работу. Говорят, это он разукрасил мир звездами и огнями, но почему же тогда столько тысячелетий он сидел во тьме? Нет, все эти рассуждения следует признать даже не глупостями, а бредом душевнобольных. Так безумствовали те, кого называют философами, пока не явился божественный Эпикур и не внес в науку яркий свет разума.

Прежде всего он говорит, что боги существуют. Почему он так думает? Дело в том, что представление о богах — некое врожденное понятие, словно врезанное нам в душу. С этим понятием мы рождаемся. Откуда нам известно, что оно врожденное? Очень просто. Нет ни одного народа, у которого не было бы понятия Бога. Но в чем же заключается это понятие? Мы знаем о богах только одно — это существа блаженные и вечные. А блаженное существо и само не знает никаких забот и другим их не причиняет. «Мы полагаем, что блаженство жизни в безмятежности духа и в свободе от всяких обязанностей». Но, раз так, могут ли боги управлять миром, могут ли заниматься столь тяжелым, неблагодарным трудом? Нет, конечно. Они непрерывно пребывают в радости и блаженстве и не думают о нашем мире. Они не знают ни гнева, ни жалости, ведь именно эти страсти приносят нам страдания.

Но почему же тогда мы молимся богам, почему воздвигаем им храмы? Значит, это глупость? Ничуть. Мы преклоняемся перед богами вовсе не потому, что надеемся что-нибудь у них выпросить, а потому, что это самые совершенные существа. Так же преклоняемся мы и перед великими людьми прошлого, тем же Эпикуром, хотя, конечно, он ничем не может нам помочь. Что же до внешнего вида богов, мы должны представлять их в человеческом облике, ибо это самая совершенная и прекрасная форма.

Но, если боги не создавали мир, кто же его создал? Никто. Его не создали, он возник сам собой. В природе существуют только атомы и пустота. Атомы находятся в непрерывном движении, сталкиваются,

сцепляются, и из их столкновения возникает все, что есть во вселенной. Атомы соединяются, а затем неизбежно распадаются, поэтому-то в мире нет ничего вечного. Каждое мгновение рождается бесчисленное множество миров и каждое мгновение бесчисленное множество миров гибнет.

Эпикур, создавая свое учение, принес людям не только свет, но и свободу. Ведь, придумав своего грозного Бога-вседержителя, философы «посадили нам на шею вечного господина, перед которым мы трепещем дни и ночи. Да и кто не убоится этого Бога, который все предвидит, все обдумывает, за всем наблюдает». Он карает людей не только на этом, но и на том свете, и они дрожат перед чудовищными муками, уготованными грешникам в преисподней. Но душа смертна — она умирает вместе с телом. За гробом нас ждет пустота. «Мы, освобожденные от всех этих ужасов Эпикуром, набожно и благоговейно чтим возвышенную и превосходящую нас природу» (I, 18–56).

Так кончил Веллей. В ответ поднялся Котта. Он начинает с того, что речь Веллея произвела на него странное впечатление. «Если ты спросишь меня, что есть Бог и каков он, я воспользуюсь авторитетом Симонида<sup>[119]</sup>. Когда подобный вопрос предложил ему тиран Гиерон, он потребовал себе один день на размышления. Тиран спросил его о том же на другой день, но тот попросил еще два дня. Затем Симонид еще и еще раз удваивал число дней. Когда же удивленный Гиерон наконец спросил его, почему он так поступает, поэт отвечал:

— Потому что чем больше я думаю, тем темнее представляется мне вопрос».

Спроси меня, продолжает Котта, какова природа богов, я, наверно, ничего не смогу ответить. А спроси, не такова ли она, как ты только что описал, я скажу, что ничего не кажется мне дальше от истины. И мне обидно, продолжает он, что такой умный человек приходит к «столь (не в обиду тебе будь сказано) легковесным, чтобы не сказать пошлым, положениям».

На свете, говорит Эпикур, существуют только атомы и пустота и ничего другого не существует. Оставим вопрос о том, верно ли это или нет. Но Эпикур принимает это положение за непреложную истину. Раз так, сами боги состоят из атомов. Значит, они не вечны. Их породил случай и случай разрушит. Далее. Боги имеют человеческий облик, ибо, говорят нам, нет ничего прекраснее. Весьма странное утверждение. Будучи людьми, мы, естественно, считаем свою наружность самой удачной. Но так считает всякий зверь, и будь у коров религия, они бы, вероятно, представляли божество в облике быка. Да и красивее ли мы прочих тварей? Говорят, сам

Юпитер обернулся прекрасным быком. «И, клянусь Геркулесом, хотя я и люблю самого себя, но не посмею утверждать, что я прекраснее того быка, который нес Европу».

Боги — существа самые совершенные. Но в чем же, спрашивается, их совершенство? Ведь совершенство в добродетели, но добродетель деятельна. «Ваш же бог ничего не делает». Другие философы думают, что боги создали мир. Если так, мы действительно можем благоговейно преклониться перед творцами всего этого великолепия. Но у Эпикура они не сделали ровно ничего выдающегося. Вообще, чем боги занимаются, в чем их «блаженная» жизнь? У поэтов они пируют на Олимпе, вкушают амвросию и нектар. А у Эпикура? В чем их наслаждения? «Но они лишены страданий». Пусть так. Но не маловато ли этого для блаженства? «Бог, говорят они, беспрестанно представляет себе, что он блажен, ведь больше ему не о чем подумать. Ты только вообрази себе, только представь себе бога, который за всю вечность не подумал ничего другого, кроме как: «Ах, как мне хорошо! Ах, как я блажен!»» Что же это за такая исключительная, замечательная природа, если боги ничего не делали, не делают и не собираются делать?

Этого мало. Они не знают ни милосердия, ни любви. А «что совершеннее доброты и милости»? Они никого не любят и ни о ком не заботятся. К чему же тогда религия, к чему богопочитание, если богам до нас нет никакого дела? «Если уж бог таков, что нет у него ни милосердия, ни любви к людям, скажем ему «прощай»» (I, 57—124).

Тогда слово берет стоик Бальб. Речь его и пространнее, и продуманнее, чем у эпикурейца. Он начинает описывать наш мир — как все в нем соразмерно и рассчитано — и жизнь животных, и растения, и небесные светила. Все это связано, все пребывает в гармонии, все продумано до мельчайших деталей и при этом изумительно красиво. «Мне кажется, вы даже не подозреваете, сколько чудес на небе и на земле». Разве не ясно, что у этого прекрасного здания есть создатель? «Глядя на все это, понимаешь, что есть некто, и он не только обитает в этом небесном и божественном доме, но... является как бы архитектором этого чертога, этого роскошного дворца». Как можно поверить, что наш мир создан случайным столкновением атомов? На это приблизительно столько шансов, как на то, что, бросив множество слепков букв латинского алфавита, мы получим поэму Энния. «Я сомневаюсь, окажется ли случай столь могуществен даже для одного стиха».

Потом, если атомы могут создать целый мир — да что, мир, бесчисленное множество миров! — почему бы им не создать чего-нибудь

поменьше и попроще: портик, храм, город? Это же куда легче. И все же, видя храм или портик, мы не думаем, что создали его случайным столкновением атомы, а полагаем, что у него был творец. «Прекрасно сказал Аристотель:

«Допустим, существовал бы народ, который вечно жил бы под землей в прекрасных, светлых жилищах, украшенных статуями и картинами, уставленных всем, чем богаты люди, которых зовут счастливыми. Но никогда не выходили бы они на землю. И лишь понаслышке знали бы, что существует какая-то могущественная сила богов. И вот однажды отверзаются земные недра и они могут покинуть свои жилища и выйти туда, где обитаем мы. И тогда они внезапно увидели бы землю, море и небо, осознали бы, как велики облака и как могуч ветер, увидели бы солнце, его величие и красоту, и поняли бы, какова его сила: ведь это оно создает день, и тогда свет разливается по всему небу. А когда ночь окутает землю, они увидели бы небо, усеянное и разукрашенное звездами, изменчивый лик луны, то растущий, то убывающий, восход и заход всех этих светил и их рассчитанный, неизменный ход на протяжении всей вечности. Посмотрев на все это, они, конечно, решили бы, что существуют боги и все это — прекрасное творение богов»» (II, 90–95).

Тут Бальб описывает небо, величественное и размеренное движение звезд, и землю, населенную животными и растениями. В их жизни все продумано и все взаимосвязано. В мире царит гармония, а необыкновенная красота природы доказывает, что творец мира был удивительным художником. Но для кого же создан этот храм, этот чудесный дворец? Конечно, для единственного существа, наделенного разумом. Для человека. Человек есть венец творения, и все земное создано ему на потребу. Ради него созданы и звери, которые ему служат, и плоды земные, которые его питают, и руда и другие подземные сокровища, которые он один умеет добывать из земных недр. Ибо дано ему высшее благо — разум и он может подчинить себе все на земле (II).

Такими радостными и торжественными мыслями закончил Бальб свою вдохновенную речь. И снова со своего места поднялся Котта с прежней чуть насмешливой улыбкой. Бальб предлагал взглянуть на небо и землю, Котта же предложил взглянуть на человеческое общество, почитать исторические сочинения, трагедии и комедии или попросту спуститься на Форум. Что мы там увидим? Говорят, боги заботятся о людях, а потому дали им острый разум. О да! И мы знаем, как они пользуются этим разумом. Ежедневно слышим мы о тысячах злодеяний, обманов, самых подлых плутней, и все они задуманы и выполнены с величайшим разумом.

Ибо этот самый разум — страшное оружие. «И неужели нам думать, что этот ужасный сев зла посеян бессмертными богами?.. Невольно кажется, что этот божий дар — разум и здравый смысл — дан людям для обманов, не для добрых дел». Давать такое оружие человеку — все равно что дать огонь детям или меч безумцу. Употребляют его на добро немногие, на зло — огромная масса. Мы жестоко осудим врача, давшего больному сильное лекарство, от которого тот умер. А между тем врача можно все-таки оправдать. Он может сказать: «Я этого не знал. Я это не предвидел». Но у Бога нет даже такого оправдания. Бог всеведущ. «Ты мог бы дать людям такой разум, который исключал бы пороки и заблуждения». Как же Бог мог так ошибиться?

Боги «должны были сотворить всех добрыми, если бы заботились о роде человеческого, а если нет, то по крайней мере заботиться о добрых... Почему же верховный понтифик Квинт Сцевола, образец воздержанности и благоразумия, зарезан у статуи Весты? Почему перед этим столько лучших людей в государстве перебито Цинной?.. Недостало бы дня, если бы я захотел перечислить тех хороших людей, кому выпало на долю зло; и не меньше, если бы я вспомнил тех бесчестных, которые благоденствуют. Почему Гай Марий так счастливо, будучи седьмой раз консулом, умер стариком в своем доме? Почему Цинна, самый жестокий из людей, так долго царствовал? «Но он понес наказание». Лучше было удержать его и помешать перебить столько лучших людей, чем когда-то наказывать самого... Неужели ты не видишь, что суд богов, если они видят дела человеческие, несправедлив?.. Подобно тому, как ни дом, ни государство не могут служить примером разума и дисциплины, если там нет наград за добрые поступки и наказания за дурные, так божественное управление миром вовсе не касается людей, раз оно не делает никакого различия между добрыми и злыми». Я вовсе не разрешаю преступления, продолжает он. В душе у нас есть совесть, и она не допускает нас до зла, но при чем тут боги?

««Но боги не могут следить за всем, как цари...» Что ж тут общего? Если цари упустят что-либо сознательно, это тяжкая вина. Но Богу нет оправдания даже в неведении. Вы блестяще защищаете его, когда говорите, что... даже смерть не избавит преступника от наказания — наказание это постигнет его детей, внуков, потомков. О, удивительная справедливость богов! Неужели какое-нибудь государство потерпит законодателя, предложившего закон, по которому наказывали бы сына или внука, если виновен отец или дед?»

Часто один человек или кучка негодяев могут погубить большой город.

И Бог на них не гневается. Впрочем, говорят, он вообще не может прогневаться. Но помочь и спасти прекрасный город он, конечно, мог бы. Ведь стоики говорят, что это для него так же легко, как для нас согнуть палец. Но Бог или не знает, что он может, или не интересуется делами человеческими. Некоторые говорят, что Бог не оберегает отдельных людей. Неудивительно — Он не оберегает целые государства, народы и племена. Он равнодушен вообще ко всему роду человеческому. «Допустим, он завален работой, вращает небо, оберегает землю, управляет морем — как же он допускает, что столько богов ничем не заняты и бездельничают? Почему он не поставит надзирать за делами человеческими нескольких праздных богов?»

Так окончил Котта. Бальб потрясен и растерян.

«— Тяжкие удары достались мне от тебя, Котта... Но назначь день, чтобы я мог возразить тебе. Ведь у нас с тобой бой за алтари и очаги, за храмы и святилища богов... Бросить все это, пока я дышу, я считаю святотатством.

— Право, я очень хочу, чтобы ты опроверг меня, Бальб, — отвечал Котта. — ...Я уверен, что ты, конечно, легко победишь меня.

...Мы разошлись, причем Веллею показались вернее доводы Котты, мне же правдоподобнее доводы Бальба» (III, 66–94).

Таков этот удивительный диалог. Я уже говорила, что он породил яростные споры среди ученых нашего времени. Но и современники Цицерона были в полном смятении. Брат Квинт (с которым мягкосердечный Марк, разумеется, успел помириться) примчался к Цицерону в самых расстроенных чувствах. Квинт с порога начал так:

«— Я перечитывал недавно твою третью книгу о природе богов. И хотя доводы Котты поколебали мои убеждения, они все же не уничтожили их до основания.

— Прекрасно, — сказал я, — ведь сам Котта рассуждал таким образом, скорее чтобы опровергнуть доводы стоиков, чем сокрушить религию людей.

— Об этом говорит и сам Котта, притом не раз, — заметил Квинт. — ...Но мне кажется, полемизируя со стоиками, он совершенно уничтожил богов» (Cic. Div., I, 8–9).

Действительно. Уже ранние христиане ухватились за наш диалог. Они считали, что обрели в Цицероне могущественного союзника. Арнобий и Лактанций прямо объявили, что Туллий с удивительным красноречием сокрушил ложных богов, и советовали каждому христианину вооружиться этой книгой для борьбы с язычеством (Amob., III, 6 sq; Lact. Div. Inst., I, 17,

4; II, 3, 2). По-видимому, Августин первым понял, что «Природа богов» — опасное оружие, которое можно обратить против христианства, как против любой другой религии (*C.D.*, V, 9; IV, 30). Вот почему в XVIII веке наш диалог вошел в моду. Он был одной из любимых книг Вольтера, его цитировали Руссо и Дидро.

Такой сокрушительной критики религии Рим еще не слышал. Трудно поверить, что этот диалог писал тот же Цицерон, который несколько лет тому назад создал свои «Законы». Бездна пролегла между этими двумя произведениями. В «Законах» он признается, что следовал стоикам, и шутливо просит помолчать скептиков-академиков и не вносить путаницы (*Cic. Leg.*, I, 38–39). Здесь же он прямо объявляет себя академиком и смеется над стоиками. В «Законах» он утверждает, что боги пекутся о человечестве и дали людям на потребу и плоды земные, и растений, и животных (*Leg.*, I, 2.5), то есть говорит то самое, над чем так зло издевается в нашем диалоге. В «Законах» он пишет, что все люди от природы добры, склонны любить друг друга (*Leg.*, I, 43). От богов они получили величайший дар, драгоценнейшее сокровище — разум, присущий только людям и богам. Благодаря разуму человек и достиг такого преуспевания (*Leg.*, I, 23). А в «Природе богов» читаем, что разум — это страшное и опасное орудие, ибо люди злы и используют его для того, чтобы причинить друг другу неисчислимые беды. «Лучше бы бессмертные боги вообще не давали никакого разума, чем давать такой, который обладает столь губительной силой» (*De nat. deor.*, III, 69). Автор «Законов» верит, что боги пекутся о людях, а у автора «Природы богов» эта мысль вызывает горькую иронию. Что же случилось? Неужели Цицерон изменил своим взглядам?

Далее. Чем более присматриваемся мы к диалогу, тем страннее и загадочнее он кажется. Первое. Все философские произведения Цицерона делятся на две группы: либо они имеют форму лекции, где один из героев объясняет другим сложную проблему и отвечает на их вопросы<sup>[120]</sup>, либо это спор, где каждый отстаивает свою точку зрения и в конце один выходит победителем<sup>[121]</sup>. Но наш трактат не относится ни к одной из этих групп. Это не лекция, а спор. Но в этом споре нет победителя. Все существующие взгляды отвергнуты, но нового ничего не предложено. Поэтому читатель в полном смятении закрывает книгу. Второе. «Природа богов» — это диалог. В нем участвуют трое собеседников и многим кажется, что Котта — *alter ego* автора. А между тем сам Цицерон тоже присутствует при разговоре. Зачем? Почему он здесь и, если уж он здесь, почему молчит? Какой смысл в этом приеме? Наше изумление еще возрастет, когда мы узнаем, что

совсем недавно Цицерон обсуждал с Аттиком структуру предыдущего диалога «Академики». Аттик советовал поручить защиту взглядов скептиков Котге, герою нашего диалога. Цицерон отвечает, что это невозможно. «Если бы я предоставил Котге и Варрону рассуждать друг с другом... я был бы безмолвным слушателем». Автор же молчать не должен (*Att.*, XIII, 19, 3–4). Итак, всего несколько месяцев назад Цицерон считал немислимым вывести себя в виде немого слушателя, говорил, что это противоречит всем канонам философского диалога, придуманным греками, а сейчас вдруг сломал эти самые каноны. Почему? И наконец последнее. В заключение Цицерон говорит, что ему самому показались убедительнее доводы стоика. Ему они показались убедительнее — так почему же он молчал, почему не опроверг ни единого аргумента Котты, почему за Котгой осталось последнее слово? Что все это значит?

Существует множество попыток объяснить загадочный диалог. Одни думают, что Цицерон в целом одобрял стоиков, но ему не нравились некоторые крайности этой школы, особенно строгая детерминированность<sup>{63}</sup>. Но речь в «Природе богов» идет вовсе не о детерминированности, а о несправедливости устройства мира. Другие думают, что он просто хотел в увлекательной форме изложить мысли греческих философских школ о богах, заинтересовать сограждан или, как полагают некоторые, противопоставить ученым умствованиям простую и здоровую веру римлян<sup>{64}</sup>. Но те, кто говорят так, как будто не замечают, с какой трагической силой написан диалог. Нет, это не риторическое упражнение, не шутка, но полный боли протест, который человек посылает небесам. Исследователи забывают, что писал «Природу богов» не кабинетный ученый, не преуспевающий софист и ритор, а измученный, сломленный горем человек, потерявший все, что он любил.

Существует, наконец, точка зрения, что это трактат атеистический<sup>{65}</sup>, но Цицерон, боясь общественного мнения, укрылся под личиной Котты и в конце лицемерно уверяет читателя, что сам он с Котгой не согласен. Но и это мнение кажется мне невероятным. В Риме всегда была полная свобода слова. Обвинений в безверии, столь частых в Афинах, в Риме и не слыхивали. Нельзя было совершать кощунство, то есть открыто издеваться над обрядами, разбивать статуи богов, но думать и говорить можно было все, что угодно. И римляне издревле пользовались этим дозволением. У колыбели римской науки и культуры стоял Полибий, который прямо пишет, что религия — искусная выдумка ловких политиков. А современники Цицерона читали, перечитывали и конспектировали Полибия. Первый

римский поэт Энний в ранних своих произведениях держался той же точки зрения. Ее проповедовал друг Сципиона Младшего, сатирик Люцилий. Он даже называет царя Нуму, основателя римской религии, обманщиком. Оба эти поэта были классиками римской литературы и жили в век гораздо более набожный и религиозный. А тут вдруг нам говорят, что Цицерон испугался. Притом он не выступал открыто на площади. Он писал для узкого круга просвещенных людей. Нет, в это невозможно поверить. И потом. Цицерон был автором мистического «Сна Сципиона», который так поразил Гофмана. Всего несколько месяцев тому назад он написал диалог, который обратил к Богу Августина. Вероятно ли, чтобы атеист и скептик мог создать произведение, способное обратить к религии такого человека, как Августин? Наконец, несколько позже, уже после гибели Цезаря, Цицерон пишет трактат «О дружбе», где опять высказывает уверенность в бессмертии души и посмертном блаженстве. Как примирить все это?

У меня совсем другой взгляд на «Природу богов». Я бы сравнила ее с «Бунтом» Ивана Карамазова, написанным великим христианином Достоевским. Достоевский не упражнялся в красноречии, не хотел в увлекательной форме изложить перед читателем различные философские идеи. С другой стороны, он не боялся и не прятался под маской Ивана. Нет. Он мучительно хочет найти ответы на вопросы Ивана. И — не находит. Так же и Цицерон хочет опровергнуть Котгу — и не может. Достоевский написал «Бунт» после гибели своего ребенка, трехлетнего Алеши. Между «Законами» и «Природой богов» Цицерона лежат гражданская война, поля Италии, Греции, Африки и Испании, заваленные трупами римлян, гибель Республики и смерть Туллии. Однажды с его губ сорвалось в те страшные дни признание: «Раздумывая о тех превратностях, которыми меня так безжалостно пытала судьба, я порой теряю веру в добродетель», то есть в мировую справедливость, а значит, в благость Творца (*Tusc.*, V, 3). Его душа прошла через горнило сомнений, и плод этих сомнений — диалог «О природе богов».

### **Великий диктатор**

Только осенью 45 года Цицерон наконец появился в Риме. Он очень изменился. Горе согнуло его. Одному другу он писал: «Я навек утратил веселость, которой скрашивал наше грустное время». Другому он говорит: «Моя веселость и жизнерадостность, которые тебе особенно нравились, исчезли навек» (*Fam.*, XII, 40, 3; IX, 11). В одном философском трактате тех

лет он описывает различные движения человеческой души. О горе он говорит так: «...это пытка... смерть заживо. Она терзает душу, выедаёт её... Не в нашей власти забыть. Оно нас терзает, мучит, язвит, жжет огнем, не дает дышать» (*Tusc.*, III, 27; 35). Несомненно, это рассказ о его собственном состоянии. Ни разу до самой смерти он не решился назвать свою утрату по имени. Он никогда не сказал: «У меня умерла дочь» или «Я потерял мою Туллию». Он говорил: «Меня постиг ужасный удар судьбы», «На меня обрушилось лютое горе». Видно, рана так и не затянулась и всякое прикосновение к ней жгло его огнем. Но надо было возвращаться к привычной, такой постылой теперь ему жизни. А между тем в Риме происходили важные события.

В столицу вернулся наконец диктатор. Пламя гражданской войны полыхало с яростной силой. Не успевал Цезарь потушить его в одном месте, как оно вспыхивало в другом. Из Италии оно перекинулось на Балканы, с Балкан — в Африку, из Африки — в Испанию. Казалось, этому не будет конца. Во главе повстанцев в Испании стояли теперь сыновья Помпея. Наконец даже гуманный Цезарь потерял терпение и решил потопить восстание в крови. Он объявил, что милосердие его истощилось и всякий, поднявший на него меч, будет беспощадно убит. Кончилось все кровавой резней при Мунде. Говорят, слышались только слова: «Коли и бей!» Оба Помпея бежали. Их гнали, как диких зверей. Старшего отыскивали где-то в глухих лесах, отсекли ему голову и принесли ее Цезарю. Младший бесследно исчез. Впоследствии он стал во главе корсаров и приобрел славу Робин Гуда. Наконец-то Цезарь мог вздохнуть спокойно. Война кончилась. Можно было пожинать плоды успеха. Осенью 45 года почти одновременно с Цицероном победитель вернулся в свою столицу.

Начались бесконечные торжества. Цезарь отпраздновал пять триумфов<sup>[122]</sup>. «Первый и самый блистательный триумф был галльский, за ним — александрийский, затем — понтийский, следующий — африканский и, наконец, — испанский: каждый со своей особой роскошью и убранством» (*Suet. Iul.*, 37). «Убранство галльского триумфа было из лимонного дерева, понтийского — из аканфа, александрийского — из черепахового рога, африканского — из слоновой кости, испанского — из чеканного серебра» (*Veil.*, II, 56; пер. М. Л. Гаспарова). «На Капитолий он вступил при огнях, сорок слонов с факелами шли справа и слева». Затем были устроены неслыханные по пышности гладиаторские бои и звериные травли. «В заключение была показана битва двух полков по пятьсот пехотинцев, двадцать слонов и триста всадников с каждой стороны; чтобы

просторнее было сражаться, в цирке снесли поворотные столбы<sup>[123]</sup> и на их месте выстроили два лагеря друг против друга... Для морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском поле: в бою участвовали биремы, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов» (*Suet Iul*, 37–39).

Конечно, чернь была в восторге. Но для образованных римлян в этом нарочитом великолепии было нечто оскорбительное. Все понимали, что это *триумф над Римом*. Особенно тяжелы были последние торжества. В предыдущих случаях еще можно было сказать, что празднуют победу не над Катонем и Сципионом, а над африканскими царьками, над египтянами, но теперь надменный победитель отбросил все эти жалкие увертки. *То был триумф над римлянами, над сыновьями Помпея*. Это возмутило римлян. «Негоже было Цезарю справлять триумф над несчастьями отечества», — говорит Плутарх (*Caes.*, 56). Кроме того, все знали, на какие деньги устраиваются эти неслыханные торжества. В Галлии Цезарь открыто воевал для денег. Этот гуманный человек допускал страшные жестокости, грабил мирные города и нападал на союзников. Он вынужден был идти на эти преступления, ибо, как он говорил, «есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают власть — война и деньги» (*Dio.*, 42, 49). «Он опустошал капища и храмы богов... Оттого у него и оказалось столько золота... Он торговал союзами и царствами: с одного Птолемея получил около 6 тысяч талантов... Лишь неприкрытые святотатства позволили ему вынести издержки гражданской войны, триумфов и зрелищ» (*Suet. Iul.*, 54). Теперь же к этому прибавилось имущество изгнанников.

Еще отвратительнее было поведение «адской свиты». «Цезарь, — говорит Плутарх, — сам не грабил всех подряд<sup>[124]</sup>, он только давал возможность делать это другим» (*Brut.*, 35). Особенно отличался Марк Антоний. Он награбил больше всех, захватил множество домов опальных граждан и постоянно хвастливо выставлял напоказ свои богатства. «Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры... и дома достойных людей, отданные под квартиры потаскухам и арфисткам. И все возмущались и негодовали», видя, как любимцы диктатора, «пользуясь властью, которой облек их Цезарь, утопают в роскоши и глумятся над согражданами». Все надеялись, что Антоний распоясался так в отсутствие господина и сейчас получит от него строгий выговор. Каково же было негодование римлян, когда они узнали, что Цезарь, вернувшись из Испании, «отметил Антония особенно высокой почестью»: сам он ехал по

Италии в великолепной триумфальной колеснице, а рядом с ним сидел этот бандит Марк Антоний! (*Plut. Ant.*, 9—10). Когда же кто-то очень осторожно намекнул Цезарю, что он не совсем хорошо делает, награждая подобных людей, он отвечал, что, будь его любимцы хоть разбойниками и головорезами, он делал бы то же самое (*Suet. Iul.*, 72). И это неудивительно. Слишком уж он связал себя с этими людьми. Ему постоянно приходится угождать другим, говорил о нем Цицерон (*Fam.*, IX, 18, 2; IV, 9, 3).

Выяснилось еще одно неприятное обстоятельство. Цезарь при всем своем обширном уме оказался удивительно падок на лесть. А в льстецах недостатка не было. Все эти нувориши, провинциалы и финикийцы, вытщенные диктатором из грязи, весь этот «пропащий» люд, которым полон был теперь сенат, буквально изощрялись друг перед другом в выражениях раболепства. «Угождали ему безмерно», — говорит Аппиан. Они твердили ему, что он — Цезарь, великий, сверхгениальный, несравненный, он почти бог, он может все. Цезарь получил титул ОТЦА ОТЕЧЕСТВА и ОСВОБОДИТЕЛЯ. В сенате и суде он сидел на золотом кресле в пурпурном одеянии триумфатора с лавровым венком на голове. На ногах у него были алые сапожки, какие, по преданию, носили цари Альбы Лонги. Весь Рим был уставлен его статуями. Когда во время празнеств в Цирк на священной колеснице везли статуи богов, среди них была и статуя Цезаря. Его именем был назван один из месяцев года. В Риме поставили ему статую с надписью: «ВОТ ПОЛУБОГ». Но и этого оказалось мало. Объявили, что вовсе он не полубог, а бог. Ему был воздвигнут храм, и коллегия жрецов служила там этому живому богу. Решено было поклоняться ему под именем Юпитер Юлий. «Во всех святилищах и публичных местах ему совершали священнодействия» (Аппиан). А главным жрецом стал все тот же Марк Антоний. После смерти Цезаря Цицерон ядовито спрашивал его: «Почему же ты перестал быть жрецом своего нового бога?» (*Phil.*, II, 43; *Suet. Iul.*, 76; *Dio.*, 43, 14; 44, 6; XIII, 19; *App. B.C.*, II, 106).

Вести себя этот ОСВОБОДИТЕЛЬ и ПОЛУБОГ стал теперь нестерпимо надменно. Раз он заметил, что с ним, с Цезарем, люди должны говорить осторожно и помнить, что каждое его слово — закон. Когда жрец сказал ему, что знамение дурное, он отвечал: «Все будет хорошо, коли я того пожелаю». Однажды сенат явился в полном составе, чтобы поднести ему новые почести. Цезарь гордо сидел в своем золотом кресле. Он должен был встать перед отцами, но он остался сидеть. Для римлян это было нечто неслыханное. А не встал он потому, что финикиец Бальб шепнул ему:

— Разве ты не помнишь, что ты Цезарь? Разве ты не потребуешь,

чтобы тебе оказали почитание, как высшему существу?

Римляне это очень заметили и были глубоко оскорблены. Зато, когда перед ним не встал какой-то народный трибун, он пришел в бешенство и воскликнул:

— Не вернуть ли тебе и Республику, Аквила, народный трибун?

Долго он не мог успокоиться и, объявляя очередное свое решение, неизменно прибавлял:

— Если Понтию Аквиле будет это угодно (*Suet. Iul.*, 78; *Plut. Caes.*, 60).

Он стал требовать от всех неслыханной лести. Цицерон был скромнее других. Но, защищая Лигария, сказал: «Все мы в слезах лежим у ног Цезаря», и диктатору это доставило явное удовольствие (*Lig.*, 13).

Цезарь был не только диктатор, но и цензор, то есть страж нравов. Он взялся за свои обязанности очень ретиво и стал проводить суровые законы против роскоши и моральной распущенности. Он даже запретил какому-то претору жениться на женщине, только недавно разведшейся с мужем. Он наложил запрет на пурпурные платья, дорогие украшения и кушания. В Риме и прежде проводились похожие законы. Но предлагали их магистраты, избранные народом и подотчетные ему, то есть Республика сама ограничивала себя в чем-то. Теперь же эти законы издавал диктатор и они превращались в настоящие полицейские меры. «Вокруг рынка он расставил сторожей... чтобы они отбирали и приносили ему запрещенные яства, а если что ускользало от сторожей, он иногда посылал ликторов с солдатами, чтобы забирать уже поданные блюда прямо со столов» (*Suet. Iul.*, 43).

К такому Рим еще не привык. Люди с озлоблением шептались между собой о том, что сам тиран, издавший эти законы, до страсти предан роскоши. Он обожал дорогие вещи и мог часами играть с ценнейшими жемчужинами, коллекционировал резные камни и чеканные сосуды. На обедах ему прислуживали изысканные красавцы, за которых он готов был платить бешеные деньги. Даже в походах он возил за собой мозаичные полы, строил великолепнейшие виллы, а когда одна из них чем-то ему не понравилась, велел тут же разрушить ее до основания и построить новую. Да и непохож он был на строгого римлянина времен бородатых консулов. Молодящийся старик, он отпускал волосы и зачесывал их вперед, чтобы не видна была лысина, а сверху водружал лавровый венок. Злоязычные римляне говорили, что и право всегда носить лавры он выговорил, чтобы скрыть сверкающую плешь. Он выщипывал все волосы на теле, как какой-нибудь развратный мальчишка. Когда он праздновал триумф, его солдаты

пели:

Прячьте жен: везем мы в город лысого развратника.  
Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии.

Поминали они и его позорную связь с Никомедом.

Галлов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря;  
Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию,—  
Никомед не торжествует, покоривший Цезаря

*(Suet. Iul, 45–46; 49; 51).*

При этом не к лицу ему, говорили римляне, играть в Катоны.

Цезарь достиг наконец венца желаний, той высшей власти, которой жаждал столько лет. Но, казалось, власть его не веселит. Он хандрил, тосковал, а по утрам жаловался на ночные страхи и кошмары. Он начал говорить, что пожил уже довольно и его зовет смерть. У его друзей сложилось впечатление, что ему совсем постыла жизнь. Даже его внезапную смерть считали доказательством любви к нему богов, которые избавили его от ставшего в тягость существования (*Suet. Iul, 45, 1; 86, 1; Cic. Marcell., 25*).

Однако каковы были намерения диктатора? Как собирался он переустроить Рим, вернее, мир, который теперь лежал у его ног? Об этом написано очень много и мнения высказывались разные. Моммзен полагает, что у Цезаря была цель, к которой он стремился с юности, — «политическое, военное, умственное и нравственное возрождение глубоко павшей римской нации», что он на тысячелетия предвосхитил ход истории, проложив путь, по которому до сих пор движется европейское человечество. «Но в этом... заключается... трудность, можно даже сказать невозможность... изобразить Цезаря. Как художник может изобразить все, кроме совершеннейшей красоты, так и историк, встречая совершенство один какой-нибудь раз в тысячелетие, может только замолкнуть при созерцании этого явления... Нам остается только считать счастливыми тех, кто созерцал это совершенство»<sup>[66]</sup>.

С. Л. Утченко, напротив, считает, что никакого плана у Цезаря не было, он был партийным деятелем и плыл по течению. «Цезарь с его долголетним опытом политической деятельности был сформировавшимся мастером интриг, комбинаций, борьбы. Он был вождем популярных, а под

конец своей деятельности вдруг оказался в положении главы государства. Это уже совсем другие масштабы»<sup>[67]</sup>. Иными словами, много лет Цезарь ломал и разрушал, а сейчас нужно было созидать. В книге Утченко сквозит сомнение, мог ли этот революционер вдруг так переродиться.

Наконец, Буассье считает, что Цезарь был в глубоком нравственном кризисе. «Та верховная власть, к которой он стремился в продолжении двадцати лет с неутолимимым постоянством среди таких опасностей, с помощью темных интриг, одно воспоминание о которых заставляло его, вероятно, краснеть, не удовлетворила его ожиданий и показалась недостаточной для этого сердца, столь горячо ее желавшего. Он знал, что его ненавидят люди, уважением которых он всего более дорожил, он принужден был пользоваться услугами людей, им презираемых, бесчестивших его победы своими выходками<sup>[125]</sup>; чем более он возвышался, тем в худшем виде представлялась ему человеческая природа... Из отвращения он перестал даже ценить жизнь»<sup>[68]</sup>.

Здесь не место вступать в полемику: книга моя посвящена Цицерону, а не Цезарю. Поэтому скажу всего несколько слов. Я думаю, планов Цезаря мы никогда не узнаем. Он провел ряд реформ — в частности, увеличил число преторов и понтификов, наделил ветеранов землей, улучшил календарь, распустил клубы, с помощью которых Клодий некогда вербовал свои банды. Но все это были меры для стабилизации расшатанного смутами и гражданской войной государства, а не коренные преобразования. К коренным же преобразованиям Цезарь еще не успел приступить. И это естественно. Он окончил войну осенью 45 года, а убит был в марте 44 года. Все же последующее строительство империи было делом рук Августа. Мы даже не знаем, как Цезарь намеревался решить проблему престолонаследия. Ему было 57 лет, он был слаб здоровьем и страдал эпилепсией. К тому же он собирался на войну. В случае его внезапной смерти к власти должны были прийти начальник конницы Лепид и консул Марк Антоний (что и случилось после мартовских ид). Но оба они не годились в правители и неминуемо должна была вспыхнуть новая гражданская война. Возможно, Цезарь собирался что-то предпринять, но был убит. Но во всяком случае к середине марта 44 года еще ничего не было сделано.

Далее я хочу напомнить один факт. Цезарь замыслил огромный военный поход. «Он готовился к войне с парфянами, а после покорения их имел намерение, пройдя через Гирканию вдоль Каспийского моря и Кавказа, обойти Понт и вторгнуться в Скифию, затем напасть на соседние с

Германией страны и на самое Германию и возвратиться в Италию через Галлию, сомкнув круг римских владений так, чтобы со всех сторон империя граничила с океаном» (*Plut. Caes.*, 58; *ср. Suet. Iul.*, 44, 2–3). Он уже собрался выступить, когда его убили. Ясно, что столь великие завоевания требовали многих лет. А это значит, что мирное строительство отходило на второй план. Мне представляется, что Цезарь выбрал путь, которым много веков спустя пошел Наполеон. Их недаром так часто сравнивают: у них очень много общего. Оба вышли из революции. Наполеон был революционным генералом, Цезарь — вождем демократии. Оба сделали ставку на армию, и она привела их к власти. Оба стали неограниченными властителями и постарались уничтожить свою мать революцию. Оба, начав с разрушения, должны были стать на путь созидания. Мы знаем, что Наполеон все силы бросил на завоевания. Очевидно, это же решил сделать и Цезарь.

Если видеть цель его в том, чтобы, как говорит Моммзен, в военном, умственном и нравственном отношении возродить римскую нацию, то цель эту он, конечно, не осуществил. Цезарь мечтал о покорении чуть ли не всего оставшегося мира, между тем военные завоевания окончились при Августе, так что возрожденным легионам не удалось себя испытать на деле. В умственном возрождении римская нация не нуждалась, так как эпоха Цезаря и Цицерона была временем высшего расцвета мысли. Что же до морального возрождения, то вряд ли можно назвать римлян эпохи Калигулы или Нерона более нравственными, чем их предки. Напротив. Лучшие римляне времен империи твердят об измельчении нации, о нравственном вырождении после великой лжи, деспотизма и террора, уничтожившего самых мужественных и честных. Цезарь, правда, проводил законы для укрепления нравственности, как позднее Август. Но это мало чему помогало. Никакими законами нравственность не укрепить.

Я также не совсем понимаю, в каком отношении Цезарь предугадал дальнейшее развитие Европы. Царскую власть выдумал не он. Существовала она давно. И почти весь греческий мир уже триста лет шел по пути восточной деспотии. Цезарь лишь присоединил к нему Италию. Главной же его неудачей было, по-видимому, то, что он не сумел покончить с революцией, как покончили с ней Кромвель и Наполеон. Революция пожрала его, как и всех остальных своих детей, а потом еще 14 лет пылала гражданская война.

Между тем все возрастающее высокомерие Цезаря и нестерпимая наглость его любимцев тяжело пали на сердце римлянам. Счастливы, «которые созерцали это совершенство», находились в самом угнетенном

состоянии. А тут прибавилась новая забота. Стало ясно, что Цезарь не довольствуется званием диктатора, но хочет царской власти. Современный человек может спросить, зачем Цезарю была корона, если он и так всем заправлял. Думаю, это было совсем не бессмысленно. Мы знаем, что Сулла и Август заявляли, что они восстанавливают Республику, а вовсе не придумывают новый строй, и, значит, они волей-неволей должны были притворяться и цепляться за старые республиканские титулы. Цезарь же часто и настойчиво повторял, что Республика пала, ее нет, это пустой звук. Самый пылкий и восторженный поклонник Цезаря Моммзен пишет: «Реалист до мозга костей, он не смущался образами прошлого и священными традициями; в политике он не признавал ничего, кроме живой действительности и законов разума»<sup>{69}</sup>. Но сами «законы разума», которые Цезарь так чтит, должны были подсказать ему, что, если Рим уже не республика, его следует назвать монархией, а главу государства не диктатором, а царем. Мешали этому только глупый страх римлян перед словом «царь» и те «священные традиции», которые так ненавидел Цезарь. Однако, будучи «реалистом», он представлял себе монарха, конечно, не в облике гомеровского Одиссея или легендарного Нумы Помпилия, а в виде современного ему эллинистического царя. Он насмотрелся на этих царей уже в молодости, а совсем недавно побывал в Египте при дворе Птолемеев, чья сказочная роскошь ослепляла путешественников. Вероятно, он был очарован не только Клеопатрой, но и окружающим ее великолепием. Вообще, очевидно, в царском венце есть что-то притягательное. Говорят, даже суровый пуританин Кромвель, всемогущий лорд-протектор, втайне мечтал о короне. А Кромвель, по словам Моммзена, более всего походил на Цезаря.

Но эллинистический владыка был не просто царем, он был богом на земле. Пышное одеяние и неземной блеск резко отличали его от смертных. Подданные повергались перед ним ниц, как перед сошедшим с неба Юпитером. Таким монархом, очевидно, и хотел быть Цезарь. Он уже сделал первые шаги на этом пути: сидел на золотом троне, носил багряницу, венец — правда, пока еще лавровый, а не золотой — и царскую обувь. Его открыто провозгласили богом. Оставалось добыть последнее, царскую корону. Но диктатор знал, что само слово «царь» ненавистно римлянам, поэтому необходимо было придумать способ, как заставить сограждан проглотить последнюю горькую пилюлю. И Цезарь со свойственной ему гениальностью этот способ придумал.

В середине февраля 44 года праздновали Луперкалии, очень древний праздник, восходящий еще к Ромулу. В этот день полуобнаженные жрецы-

луперки совершают священный бег по городу. Как водится, в столице собралась уйма народа. Цезарь сидел на Рострах в своем золотом кресле, разряженный в пух и прах, и благосклонно наблюдал игры. Нагие бегуны проносились мимо него. Вдруг от них отделился один — он подлетел к Цезарю и распростерся у его ног. Все узнали Марка Антония, консула этого года. Антоний приподнялся и, стоя на коленях, протянул Цезарю корону. И тут же, как по команде, послышались аплодисменты, довольно, впрочем, жидкие. Цезарь оттолкнул рукой корону. Весь Форум потряс дружный крик восторга. Антоний снова протянул ему корону, снова с той же стороны послышались недружные хлопки, снова Цезарь ее оттолкнул, и снова Форум огласили бешеные рукоплескания. Странная эта сцена продолжалась довольно долго. Наконец Цезарь не выдержал. Он сбежал с возвышения, распахнул тогу на груди и громко закричал, что каждый желающий может перерезать ему горло<sup>[126]</sup>. Когда же люди стали расходиться, то увидели, что все статуи Цезаря увенчаны царскими коронами. Два трибуна немедленно приказали их снять. Народ встретил их выступление бурей восторга, проводил домой и называл «Брутами». Ведь Брут, по преданию, изгнал царей из Рима. Узнав об этом, Цезарь был вне себя. Он сказал, что отрешает обоих от должности и запрещает выступать перед народом. При этом он кричал, что они «*бруты*» — то есть тупицы.

Сопоставив все это — поведение Антония, нестройные хлопки с одной стороны, диадемы, заранее уже надетые на статуи, и, наконец, какой-то чрезмерный, неестественный гнев диктатора — решили, что все было размыто по заранее написанному сценарию. Антоний от лица римлян должен был молить Цезаря принять венец. А он, как водится, поморщившись немного, наконец должен был снизойти к воплю народа. Вскоре предположению этому нашли новые подтверждения. Стало известно, что Антоний велел записать в фастах: «По велению народа консул Марк Антоний предложил постоянному диктатору Гаю Цезарю царскую власть. Цезарь ее отверг». Цицерон потом язвительно спрашивал Антония:

— О чем ты молил его? О том, чтобы стать рабом? Для себя самого ты мог просить о чем угодно... Но ни мы, ни римский народ тебя, конечно, не уполномочивали (*Plut. Caes.*, 61; *Ant.*, 12; *Cic. Phil.*, II, 85–87).

Но этим дело не кончилось. Цезарь объявил, что выступает против парфян. Однако существовало древнее пророчество, что парфян может победить только царь. Поэтому было объявлено, что в марте будет созван сенат, который назовет Цезаря царем, но с тем, чтобы он носил корону и багряницу только за пределами Италии (*Plut. Caes.*, 64; *Brut.*, 10). Ясно

было, что Цезарь не оставляет мыслей о престоле.

Теперь Рим кипел скрытым негодованием. Все, что делал диктатор, вызывало досаду. Даже мудрая реформа календаря возбудила злобу, потому что она была спущена сверху. Говорят, кто-то в присутствии Цицерона заметил, что завтра взойдет созвездие Лиры. А тот отвечал:

— Да. По приказу (*Plut. Caes.*, 59).

После убийства диктатора Цицерон говорил: «Разве есть хоть один человек... который не желал этого и не обрадовался, когда это произошло? Виноваты все: все честные люди, насколько могли, приняли участие в убийстве Цезаря. Одним не хватало ума, другим — мужества, третьим не представилось случая. Но желали этого все» (*Phil.*, II, 29). Его ненавидели все, но молча, пишет он в другом месте. Ведь государство было захвачено силой оружия, законы раздавлены (*De off.*, II, 23–24). И вдруг среди этого безмолвия заговорил один человек, и все взоры обратились на него. Человек этот был Цицерон.

### ***Последние лавры и последняя любовь***

Цицерон начал писать, не думая ни о славе, ни о пользе для сограждан. Творчество было единственным лекарством, которое хоть немного облегчало его боль. Но оказалось, что в лекарстве этом нуждается весь Рим. Всё, чем жили люди в течение столетий, рухнуло. Они потеряли смысл жизни, родных, Республику. И только у Цицерона они находили те слова утешения, которые им были нужны. Оратор был сам поражен тем, каким небывалым успехом пользуются его книги. Как раньше, в прежние счастливые дни, толпы народа собирались на Форум, чтобы послушать его речи, так теперь толпы людей жадно читали его книги. Мастер опять, как бывало, играл на душах слушателей. Его сочинения были нарасхват. Люди ссорились за право первому прочесть новый труд. Писцы Аттिका сидели не разгибая спины от зари до зари, а списки расходились за какой-нибудь час. Поистине Цицерон снова был на троне — раньше он был королем Форума, сейчас — королем литературы.

«Я пожинаю плоды трудов моих, узнавая, что даже люди пожившие находят в моих книгах утешение», — говорит он (*Div.*, II, 5). Но не только слова утешения приносили такую неслыханную популярность его книгам. В течение многих веков римляне привыкли обсуждать между собой все, что происходит. Они обсуждали новые законы в сенате и на Форуме, они обсуждали действия иноземных держав, они обсуждали каждый шаг своего

полководца. Магистрат чуть ли не каждый день поднимался на Ростры и рассказывал народу о всех своих действиях и намерениях. Случалось, что оратор кончал свое выступление только ночью. Случалось, что после особенно бурных событий римляне не ложились спать и всю ночь проводили на Форуме, беседуя друг с другом. И вдруг им зажали рот и в городе воцарилось молчание. А в сочинениях Цицерона, казалось бы, таких далеких от нужд обыденной жизни, они вдруг нашли и ответы на мучившие их вопросы, и оценку положения государства, и острые политические намеки. Уже перед смертью, обозревая это время, оратор писал: «Книги были моим сенатом и народным собранием, где я мог высказываться; я считал, что философия для меня — как бы замена деятельности на пользу Республики» (*Div.*, II, 7).

Цезарь говорил, что Республика после Фарсала мертва. А Цицерон в каждом своем произведении воскрешал эту Республику и показывал согражданам во всей ее красоте. И каждое его слово дышало такой любовью и такой болью, словно это сын говорил на могиле матери. Цезаря объявили богом и воздвигали ему храмы. А Цицерон говорил, что обожествлять людей столь же глупо, как молиться кошкам и прочей скотине (*De nat. deor.*, III, 39)<sup>[127]</sup>. Цезарь говорил, что каждое слово его закон. А Цицерон вспоминал двух консулов — Гая Лелия, друга Сципиона Младшего, и Цинну, соратника Мария. Лелий был консулом всего лишь раз. Цинна — четыре раза, да и то не консулом, а фактически царем. «Но неужели ты не предпочел бы одно консульство Лелия четырем консульствам Цинны? Не сомневаюсь в твоем ответе... Но иной ответит, что не только четыре консульства предпочел бы одному, но один день Цинны предпочел бы целой жизни многих славных мужей». Ведь Лелий не был владыкой, он был слугой закона. И он понес бы наказание, если бы хоть пальцем кого-нибудь тронул. Цинна же делал все, что ему вздумается, и спокойно казнил много достойных людей. Но «мне кажется, он скорее несчастен», — замечает Цицерон (*Tusc.*, V, 54–55). Намек, заключенный в этих словах, был слишком ясен современникам. И он делался еще острее оттого, что Цинна был задушевный друг и тесть Цезаря. Вот почему Цицерон последнее время так часто стал вспоминать зверства Цинны — ведь каждое его слово было укором диктатору.

Цезарь говорил, что Сулла глуп, раз он добровольно отказался от власти. А Цицерон постоянно и настойчиво повторял, что диктаторы и тираны — несчастнейшие люди. Их жизнь нельзя сравнить не то что с жизнью ученого, но даже с жизнью простого труженика. Разве не безумие идти этой страшной дорогой? Есть у него один странный пассаж. Он

описывает жизнь тирана Дионисия, притом описывает в самых неожиданных выражениях. Дионисий, говорит он, вовсе не был каким-нибудь бесчестным проходимцем. Напротив. Он был знатен, образован, очень умен, наделен блестящими литературными талантами. И чем кончилось? Один, всем ненавистный, он жил у себя во дворце как в темнице. «Как он мечтал о настоящей дружбе... Как несчастен он был без дружеских уз, без товарища в жизни, без откровенных речей, он, смолodu искушенный и ученый в благородных науках! Ведь он... был поэмотрагиком... И вот такой-то человек был полностью лишен человеческого общения, а жил среди беглых, среди преступников, среди варваров» (*Tusc.*, V, 63).

Какие странные слова! Неужели Цицерон сокрушается здесь о Дионисии? Неужели этот древний свирепый тиран так тронул душу оратора? Ведь в его словах звучит искреннее сочувствие! Не думает ли он о другом тиране, гораздо более к нему близком, человеке блестящих дарований, писателе, обреченном на общество преступников и варваров, от которого сама жизнь ему постыла? Да, Дионисий был несчастен, очень несчастен, говорит Цицерон. И, главное, он сам это понимал и мучился. А все-таки «не исцелился душой, не воротился к правой жизни, не воротил гражданам свободу и полноправие: он запутался в сетях заблуждения» (62).

И еще один рассказ о Дионисии звучит как пророчество. Оратор рассказывает, как тиран решил показать одному льстецу, какова его жизнь. Дионисий посадил его на свое место, одел в блестящую одежду, самые красивые прислужники приносили ему роскошные яства, рядом сидели самые соблазнительные красавицы. А на тонком волоске над ним висел меч. И пир уже был льстецу не в пир: все время косился он на страшный меч. Ибо тирану всегда угрожает опасность, и исходит она от самых близких. Если это было предупреждение, оно не было услышано. Через несколько месяцев меч упал на голову Цезаря.

Итак, Цицерон вновь достиг невиданной популярности. Имя его было у всех на устах. Но кто же был самым горячим его поклонником? Одна знатная дама. Звали ее Цереллия. Но прежде чем говорить о ней, необходимо рассказать о семейных делах нашего героя. А там происходили настоящие чудеса.

Когда оратор развелся с Теренцией, все римские дамы оживились. Казалось, у них теперь одна забота — поскорее женить Цицерона. Особенно усердствовала его бойкая и кокетливая приятельница Постумия, жена ученого Сервия Сульпиция. Ему подыскивали все новых и новых невест, и вдруг совершенно неожиданно он женился на совсем молоденькой

девушке, своей подопечной Публилии. Теренция тут же ядовито заметила, что ее бывший муж на старости лет влюбился в девчонку. Верный Тирон доблестно кинулся защищать патрона. Это не так, говорит он, просто его барин решил великодушно пожертвовать собой для семьи. Видя, что разорен, он, чтобы не пустить детей по миру, женился на богатой наследнице. Увы! Все дальнейшие события показывают, что права была злая жена, а не верный слуга.

Думаю, что самые искренние приятели Цицерона посмеивались, обсуждая этот странный брак. Слишком уж ясно было, к чему приведет союз пожилого ученого с молоденькой да хорошенькой девицей. Она истратит все его деньги на наряды и разобьет ему сердце своими непрерывными изменами. А враги, конечно, с наслаждением предвкушали соблазнительный скандал. Но поразительным образом все случилось совсем иначе.

С молоденькой и неопытной Публилией произошло то же, что много лет назад случилось с искушенной светской львицей Клодией — она без памяти влюбилась в Цицерона. Естественно, она требовала от мужа столь же страстной любви. Между тем она вскоре заметила, что занимает в сердце супруга только второе место, ибо в нем безраздельно царила Туллия. Публилия стала злиться, ревновать и, наконец, просто возненавидела Туллию. Она мечтала, чтобы Туллия исчезла из их жизни и муж принадлежал бы ей одной. И вдруг ее желание сбылось — Туллия скончалась. Публилия так обрадовалась, что не сумела скрыть своих чувств от мужа. Когда Цицерон увидел, что жена радуется смерти его обожаемой дочери, он почувствовал такой ужас, такое отвращение, что не мог даже глядеть на нее. Он бежал к Аттику, а затем на остров. Публилия хотела ехать вслед за ним, сказав, что не оставит любимого мужа, но Цицерон поспешил объяснить, что ему необходимо побыть одному. Уже в Астуре он получил от Публилии самое нежное и страстное письмо. Она писала, что любит его и не может без него жить. На днях она выезжает к нему и берет с собой свою мать, чтобы поддержать мужа. Когда Цицерон узнал, что на него движутся жена с тещей, он затрепетал. В панике он пишет Аттику: «Есть только один способ избежать их приезда — улететь. Я не хотел бы, но необходимо. Прошу тебя, выясни, сколько я еще могу оставаться здесь, чтобы меня тут не застигли. Действуй, только осторожно, как и собирался» (*Att.*, XII, 32, I). К счастью, друзьям удалось под каким-то предлогом задержать обеих грозных дам и Цицерон был спасен. Больше он не хотел слышать о жене и развелся.

Римские дамы снова атаковали Цицерона — одни предлагали ему

дочерей, другие сестер, третьи племянниц. Но он наотрез отказался, объявив, что отныне у него будет одна подруга — философия. И тут в его переписке появляется новое женское имя — «мой близкий друг Цереллия» (*Fam.*, XIII, 72). Это была очень образованная, начитанная дама, страстная поклонница Цицерона. Она с нетерпением ждала выхода каждой новой его книги и, «горя рвением к философии», как говорит Цицерон, тотчас же ее переписывала. Но каковы были их отношения? Мнения различны. Буассье с негодованием отвергает самую мысль о возможности романа между ними. Во-первых, говорит он, Цереллия была ровесница Цицерона или даже старше его. Во-вторых, она была другом дома и даже когда-то мирила нашего героя с Теренцией. Зато античные авторы, читавшие переписку Цицерона с Цереллией — сейчас она, к сожалению, утрачена, — с саркастической усмешкой замечают, что нет ни малейших сомнений в истинной природе этой «дружбы». По Риму ходили даже слухи, что Цицерон собирается вступить в законный брак со своим «другом», а некоторые прибавляли, что и с Публилией он развелся из-за этой новой любви (*Dio.*, 46, 18).

Как бы ни обстояло дело, я чувствую глубокую благодарность к этой женщине, которая хоть немного скрасила печальный закат Цицерона. В то время появился у него еще один утешитель. Молодой человек. Его друг и поклонник. Звали его Марк Юний Брут.

### **Новый друг**

Мало найдется в истории столь знаменитых людей, как Брут. Его имя вошло в поговорку. Причем для одних оно стало символом свободы, борьбы с деспотизмом; для других — синонимом чудовищного предательства. Для Альфиери Брут какой-то полубог. А Данте помещает его в Ад, и не просто в Ад, но в самый нижний круг его, рядом с Иудой, предавшим Христа. Историки Нового времени почти столь же пристрастны, как поэты. Одни утверждают, что он был бескорыстен, принципиален, тверд, великодушен. Другие говорят, что он алчен, переменчив, слабovolен, бесчестен. Можно сказать, что столь противоположные отзывы более чем естественны. Фанатичным поклонникам Цезаря он должен казаться чудовищем, не менее фанатичным поклонникам свободы — героем. Но все гораздо сложнее. Внимательно присматриваясь к Бруту, мы с изумлением замечаем, что все эти противоположные свойства есть в его душе. Он очень умен — и он

совершает непростительные глупости. Он честен — и он творит самые гнусные дела. Он горд и упрям — и он всегда находится под чьим-то влиянием. Он властен — и он удивительно нерешителен. Как примирить эти противоречия?

Существуют подлинные письма Брута. Казалось бы, можно ликовать. Наконец-то мы услышим голос Брута. Наконец этот неясный образ оденется плотью! Увы! Эти послания так холодны и риторичны, что больше походят не на письма живого человека, а на прописи для прилежных учеников. Некоторые ученые даже сочли письма Брута античными школьными сочинениями по риторике, в которых ученики по заданию учителя писали от имени великого человека древности<sup>{70}</sup>. Но, видимо, это не так. Сейчас признано, что это действительно письма Брута. Значит, опять все наши попытки заглянуть в душу этого человека кончаются неудачей. Словно отполированное зеркало, между нами встает холодная риторика. В этой книге я не буду даже пытаться разрешить загадку этого человека. Я просто сообщу о нем некоторые факты, непосредственно связанные с жизнью моего героя.

Брут происходил из неблагополучной семьи<sup>{71}</sup>. Отец погиб во время гражданской войны, когда сын был совсем ребенком. Мать Сервилия имела дурную славу. Она была женщиной развратной — весь Рим был полон рассказами о ее скандальных похождениях. В то же время это была чрезвычайно практичная особа, занимавшаяся всякого рода денежными спекуляциями. В молодости она была любовницей Цезаря. С тех пор она присосалась к нему как пиявка и всю жизнь тянула из него деньги. Ясно, что у такой женщины, с головой погруженной в амурные похождения и коммерческие аферы, не хватало времени заниматься сыном. Она подбросила его Катону, своему младшему брату. Так Брут попал в дом своего дяди. Катон поразил его. Судя по тому, с каким благоговейным, почти набожным чувством Цицерон произносит при нем имя Катона, дядя казался Бруту каким-то полубогом. Он сделался его героем, идеалом, мальчик мечтал стать таким, как Катон. «Никому из римлян Брут не подражал с таким рвением, как этому человеку», — говорит его биограф Плутарх (*Brut.*, 2). А автор «Жизни прославленных мужей», своего рода краткого энциклопедического словаря Античности, пишет: «Марк Брут, подражатель (*imitator*) своего дяди Катона» (*De vir. illustr.*, 82, 1). Эти два человека — мать и дядя — определили его молодость.

Прежде всего Катон заронил в душу Брута восторженную любовь к эллинским искусствам. Брут ни на минуту не расставался с дядиным

любимцем Платоном. Подобно многим молодым римлянам, он отправился учиться в Афины. У него были прекрасная память, ясная голова, и он легко все схватывал. Наставники им восхищались и сулили ему блестящее будущее. Брут стал писать. Писал он и стихи, и прозаические сочинения. И все у него получалось хорошо, хотя он не стал ни поэтом, как Катулл, ни писателем, как Цицерон. Однако более всего Брут мечтал, конечно, об ораторской славе. Но в отличие от многих своих сверстников, он не хотел учиться у Цицерона. Ему даже вовсе не нравились его речи. Его страстное напряжение, желание вызвать слезы у слушателей претили Бруту. Он говорил, что речи Цицерона недостаточно мужественны. Он решил подражать благородной простоте и лаконизму Демосфена и отвергал новомодные украшения и фигуры красноречия. Но у Демосфена, говорит Цицерон, был жар. Жара у Брута не было. Он, по словам Тацита, часто бывал вял. Цицерону его речи казались холодными. Он пишет о Бруте и подобных ему учениках Демосфена (в Риме их называли *аттиками*). «Когда предстояло выступить Демосфену, то вся Греция стекалась послушать его! А когда говорят наши аттики, то от них разбегаются не только посторонние слушатели (что уже печально), но собственные друзья-помощники» (*Tac. Dial.*, 16; 21; *Cic. Brut.*, 289). После убийства Цезаря Брут прислал Цицерону свою программную речь и просил, не стесняясь, править. Делать этого я не стал, говорит Цицерон, я знаю, как самолюбивы молодые ораторы. Впрочем, продолжает он, речь Брута и впрямь очень хороша — умна, изящна, но «если бы сочинял ее я, то вложил бы больше жара... Если ты припомнишь молнии Демосфена, то поймешь, что можно говорить с необыкновенной силой, хотя вполне по-аттически» (*Att.*, XV, Ia, 2).

Брут совсем не походил на беспутных молодых друзей Цицерона, вроде Целия и Куриона. То был вдумчивый, строгий юноша, серьезный, важный и степенный. На челе его написана была непреклонная добродетель, так что многих даже охватывал невольный трепет в его присутствии. Подчас он бывал резковат. Он любил говорить людям в глаза горькую неприкрытую правду. Вскоре его добродетели стали предметом всеобщего восхищенного внимания. Начали говорить, что это второй Катон. А между тем трудно найти более непохожих людей. Катон — чужак, колючий, стремительный, неуравновешенный, пылкий, весь словно из легкого пламени. Брут — разумный, упорядоченный, размеренный, весь на земле. Катон мог прийти на выборы полуголым с мячом в руке, мог явиться на Форум пьяным, мог один ринуться навстречу целой армии. Невозможно себе представить Брута, совершающего подобные безумства. В сердце

Катона был сноп огня, сердце Брута было холодным и уравновешенным. Это очень ярко видно в их ораторских выступлениях. Катон говорил так, что заставлял вопить камни. Он умел держать людей в напряжении по шесть часов, из уст его выходило пламя. А Брут и на трибуне был холоден и риторичен.

Герой наш познакомился с Брутом, когда управлял Киликией. Знакомство это вышло странным, весьма странным.

Читатель помнит, быть может, что Цицерон обнаружил, что его предшественник Аппий Клавдий был бесстыдный вор и вымогатель, который разорил и истерзал несчастную провинцию. Цицерон стал как мог залечивать ее кровоточащие раны. В это время он получил письмо от Аттика. Тот усердно рекомендовал ему Брута, благородного и честного молодого человека. Ему нужно было помочь в каком-то финансовом деле. Цицерон, конечно, тут же обещал помочь этому достойному юноше. «Брут, — говорит он, — дал мне целую записную книжечку поручений» (*Att.*, VI, 1, 3). Но когда оратор вник в дело, изумлению его не было конца. Был некий Скапций, делец и живодер, наводивший ужас на всю Малую Азию. Он ссудил деньги общине саламинцев на Кипре под совершенно чудовищные проценты, запрещенные законом. Несчастный город не смог выплатить денег. Но Скапций не потерялся. Он взял у Аппия отряд конницы, доблестно ворвался в город и осадил здание совета. Осада продолжалась так долго, что несколько человек умерло с голоду. Тут приехал Цицерон, снял осаду и освободил узников. И вдруг он узнал, что Скапций — всего лишь подставное лицо, за которым скрывается сам Брут. Оказывается, этот достойный юноша ссудил деньги царю Армении и общине саламинцев на Кипре. Но дело было такое грязное, что ему пришлось выступить под маской Скапция. И теперь Брут хотел получить назад свои деньги.

«Я ужаснулся», — пишет Цицерон (*Att.*, VI 21). Особенно поразило его, что такими грязными делами занимается племянник Катона. Несмотря на всю свою уступчивость, Цицерон наотрез отказался помочь Бруту. «Пусть сердится на меня кто хочет, мне все равно. Как говорится, справедливость и правда на моей стороне» (*Att.*, VI, 1, 8). Когда же Брут и Аттик продолжали настаивать, говоря, что Брут теряет деньги, он сухо отвечал: «Если Брут не одобряет моего поведения, не знаю, за что его можно любить. Его дядя, конечно, меня поймет» (*Att.*, V, 21, 13).

История эта приводила в недоумение многих ученых. Поведение Цицерона совершенно ясно и соответствует всему, что мы о нем знаем. Но Брут, Брут?.. Брут, которого все представляли бессребреником! Который у

Шекспира гордо говорит:

Я не могу добыть бесчестьем денег;  
Скорее стану я чеканить сердце,  
Лить в драхмы кровь свою, чем вымогать  
Гроши из рук мозолистых крестьян.

И вдруг этот Брут оказался гнусным ростовщиком! От Брута можно было ожидать всего, только не этого. Поклонники героя немедленно ринулись на его защиту. Буассье, описав подвиги Брута в Малой Азии, замечает: «Нельзя все же сомневаться в его бескорыстии и честности»<sup>[72]</sup>. Дело в том, объясняет он, что Брут просто поступал так, как все остальные. Все римляне вели себя точно так же в провинции. Исключение составлял один лишь Цицерон. Это объяснение всегда меня поражало. Во-первых, если Брут делал то же, что и все, чему же в таком случае «ужаснулся» Цицерон? Ведь он отнюдь не был неопытным наивным юношей. Это был адвокат, всю жизнь как раз ведший дела откупщиков. Изумить его было трудно, но Брут все-таки изумил. Далее. Цицерон ссылается на авторитет Катона. Значит, во всяком случае Катон тоже был исключением. Наконец, удивляет меня формулировка «Нельзя все же сомневаться в его бескорыстии и честности». В наше время очень многие занимаются грязным и даже преступным бизнесом (будущий историк напишет, что в конце XX века так поступали все). Может быть, это и оправдывает подобных людей. Но все-таки я бы не назвала такого рода дельца *бескорыстным*. Вообще весь этот пассаж кажется мне несоответствующим тонкому, блестящему уму французского историка. Я вижу ему одно объяснение: Буассье был ослеплен любовью к Бруту и хотел сохранить вокруг него сияние любой ценой.

Но как же в таком случае понять поступок Брута? Как согласовать удивительные добродетели в стиле древних героев с грабительскими налетами в духе Верреса? Неужели Брут был притворщиком и лицемером? Думаю, что нет. Мне представляется, что Брут обладал умом догматическим, был ригористом, следовавшим строгим, раз навсегда установленным правилам. Но вот правила эти он слышал обыкновенно из уст людей, которых боготворил. Всю свою жизнь он следовал за каким-то любимым вождем — Катонем, Цезарем, Цицероном. Даже самые горячие его поклонники, как, например, Плутарх или Лукан, приписывают все важнейшие решения в его жизни чужому влиянию. Его детство и юность

прошли под знаком двух людей: матери и дяди. И если Катон возносил его в заоблачные высоты, мать тащила обратно на землю. Сейчас, очевидно, победила мать. Тем более что она нашла нового могущественного союзника. Дело в том, что тестем Брута был тот самый Аппий Клавдий, которого Цицерон называет чудовищем. Совместными усилиями они убедили Брута бросить ребячиться и заняться наконец делом. В Киликию он приехал в свите тестя, был при нем квестором. Аппий учил его жизни; он же дал зятю отряд кавалерии, чтобы выбить деньги из саламинцев. Когда же в Риме Аппия привлекли к суду за чудовищные злоупотребления в провинции, защитником его выступил верный зять.

После этого события Брут и Цицерон охладели друг к другу. Оратор видел в Бруте бессовестного ростовщика. Брут же был обижен на то, что Цицерон отказался порадеть о его делах, и считал, что виной недоброжелательство. К тому же Брут держался с Цицероном с нестерпимой важностью, сурово укорял его, был надут и надменен. Оратор признавался Аттику, что не может найти с ним общего языка (*Att.*, VI, I, 8). И он открыто стал предпочитать этому новоявленному герою своих молодых друзей. Они тоже были грешниками, но веселыми грешниками — не корчили из себя святых и были милы и остроумны. Оратор не подозревал, что пройдет всего несколько лет и не будет для него никого дороже этого самого Брута, к которому он отнесся так холодно.

Вскоре после событий в Киликии вспыхнула гражданская война. Все были в смятении, в том числе и Брут. Лукан рисует такую сцену. Глухой ночью Брут является к Катону и спрашивает, что делать. Он молит дядю «наставить его слабый разум» и «избавить от колебаний». Для него единственный вождь в жизни Катон. Одно его слово — и он спасен. Он знает, что Катон хочет ехать к Помпею. Но неужели дядя решится обagrить свой меч в братоубийственной резне? Не лучше ли оставаться в стороне от войны? Катон отвечает, что не может сидеть сложа руки, когда «рушится твердь», «крушатся миры и созвездия». Он знает, что дело их обречено, что сам он всего лишь «воин призрачных прав и безнадёжный страж законов». Но как отец идет за гробом единственного сына до самого погребального костра, так и он до конца пойдет за гробом свободы и в последний раз обнимет труп Рима (*Phars.*, II, 234–325).

Слова эти убедили Брута, и он выехал к Помпею. Его появления здесь никто не ожидал. Дело в том, что Помпей был убийцей его отца, все знали, что Брут его всегда ненавидел. И теперь в том, что он, отбросив все личные обиды, решил стать под его знамена, увидели какое-то знамение. Сам Помпей, во всем неуверенный, издерганный, увидав Брута, вскочил и бурно

прижал его к своей груди. Вскоре произошла битва при Фарсале. Помпей совсем один бежал к морю. Катон собрал остатки войска и отправился за ним в Африку. Брут же, говорят, проявил незаурядную смекалку и мужество. Он «незаметно выскользнул какими-то воротами» из лагеря, бежал и спрятался в болоте. Оттуда он написал Цезарю письмо, умоляя сохранить ему жизнь (*Plut. Brut.*, 4; 6).

Цезарь тотчас же ответил, что дарует Бруту полное прощение и приглашает его к себе. Нужно сказать, что Цезарь, как неоднократно отмечали современники, питал к Бруту совершенно особую загадочную любовь. Тут было не восхищение умом и талантами, как в случае с Цицероном. И не дружба. Брут впоследствии признавался Цицерону, что совсем не знал Цезаря до битвы при Фарсале, так как был слишком молод, когда тот уехал из Рима (*Brut.*, 248). В Риме это заметили. Стали ходить упорные слухи, что Брут незаконный сын диктатора. «Известно, что в молодые годы он находился в связи с Сервилией... И Брут родился в самый разгар этой любви, а стало быть, Цезарь мог считать его своим сыном», — говорит Плутарх (*Brut*5). Это повторяет и Аппиан. А один близкий друг Цезаря писал, что перед смертью диктатора нашли пророчество, что великий человек будет убит близким родичем. За эту версию с восторгом ухватились авторы исторических романов. Она придавала убийству Цезаря совсем уж зловещую окраску. Зато некоторые исследователи потратили немало усилий, чтобы опровергнуть эту сплетню. Я думаю, истину нам все равно не узнать. Важнее другое. Брут был убежден, что он — потомок славного Брута, изгнавшего царей. Более того. Он, видимо, даже не подозревал о порочащих его мать слухах. Зато Цезарь действительно «мог считать его своим сыном». И это, несомненно, было делом ловкой Сервилии. Известно, что перед Фарсалом Цезарь был страшно обеспокоен судьбой Брута. Настолько обеспокоен, что созвал своих воинов и отдал строгий приказ не убивать Брута.

Сейчас диктатор встретил его с распростертыми объятиями. Он «не только освободил его от всякой вины, но и принял в число ближайших друзей». Вскоре Брут оказал ему важную услугу. «Никто не мог сказать, куда направился Помпей. Цезарь не знал, что делать, и однажды, гуляя вдвоем с Брутом, пожелал услышать его мнение. Догадки Брута, основанные на некоторых разумных доводах, показались ему наиболее вероятными, и, отвергнув все прочие суждения и советы, он поспешил в Египет». Позже, «готовясь переправиться в Африку для борьбы с Катоном... Цезарь назначил Брута правителем Предальпинской Галлии» (*Plut. Brut.*, 5–6).

Итак, Брут совершенно порвал с прежними своими товарищами и сделался цезарианцем. Не выгода и не страх его принудили. Как мы говорили, он совсем не знал Цезаря. Теперь же, увидав его в прекрасный момент победы и милости, он был совершенно очарован им и стал пламенным приверженцем диктатора. В беседах с Цицероном он настойчиво расспрашивает о Цезаре, все время возвращается к нему мыслью и вспыхивает от удовольствия от каждой похвалы своему новому кумиру. Узнав о гибели Катона, Брут, конечно, скорбел всей душой, даже стал сочинять ему панегирик. Но в то же время он сурово осуждал его за то, что тот отказался принять милость из рук Цезаря.

Вскоре Брут стал одним из первых любимцев диктатора. Ему завидовали, перед ним заискивали. Многие даже старались поселить в душе Цезаря недоверие к Бруту, но он их не слушал и ласкал своего молодого друга. Сервилия была на седьмом небе. Она получала от диктатора драгоценные подарки. Я уж не говорю о драгоценностях, например, об удивительной жемчужине, которую он ей преподнес. Но он еще продавал ей за бесценок дома сосланных республиканцев. Чувствуя, что стареет, и боясь, чтобы влиятельный любовник не ускользнул из ее рук, Сервилия свела его со своей молоденькой дочерью Юнией Терцией (*Suet. Iul.*, 50, 2). Брут ничего этого не хотел замечать.

В 45 году Брут стал домогаться претуры на следующий год. Соперником его был Кассий, его друг и родич (он был женат на сестре Брута). Они были примерно одних лет, но Кассий был воин и «опирался на свои блестящие и отчаянные подвиги», Брут же пока не совершил ничего великого, говорит Плутарх, и славен был только своими добродетелями. Решать теперь следовало не народу, а диктатору. Выслушав доклад об обоих кандидатах, Цезарь сказал:

— Доводы Кассия справедливее, но предпочтение следует отдать Бруту (*Plut. Brut.*, 7).

И Брут стал городским претором.

Когда Цезарь вернулся из Испании после победы над сыновьями Помпея, Брут поспешно бросился ему навстречу. Многих даже шокировала такая угодливая поспешность. Словом, он сделался настоящим придворным. Говорят даже, что Цезарь намекал, что оставит ему престол. И вот тут-то жизнь Брута перевернуло новое могучее влияние. Он близко сошелся с Цицероном.

Как случилось, что Цицерон вдруг сблизился с Брутом после столь холодного расставания? Причина заключается, конечно, в его страшном одиночестве. Все, кого он любил, ушли один за другим. У него оставался,

правда, сын. Отец, разумеется, любил его, ни в чем ему не отказывал, но у них было мало общего. Цицерон Младший был добродушный малый, но настоящий шалопай. К наукам он был совершенно равнодушен, учился в Афинах из-под палки, кутил и повесничал. Когда Цицерон был в черном отчаянии после смерти Туллии, ему даже в голову не пришло вызвать к себе сына, чтобы тот стал его утешителем.

После Фарсала Брут и Цицерон были в совершенно разном положении. Брут был любимцем диктатора, перед которым открывалось самое блестящее будущее. Цицерон же — опальный изгнанник, влачивший жалкую жизнь в Брундизиуме и ежедневно выслушивающий грубые угрозы пьяного Антония. И вот тут-то, в Брундизиуме, Цицерон неожиданно получил письмо от Брута. Он писал, рассказывал впоследствии оратор, что «мне нужно укрепиться духом, ибо я уже совершил дела, которые будут говорить обо мне, даже если я буду молчать, и будут жить, когда я умру; и они будут свидетельством моих забот о Республике, если все будет хорошо и она устоит, если же нет — перед лицом ее гибели» (*Brut.*, 330). В то время оратор чувствовал себя несчастным, забытым, никому не нужным. Он был тронут до слез. «Это письмо словно вернуло меня к жизни, и я снова увидел свет после долгого упадка всех моих душевных и телесных сил... Письмо Брута было первым желанным событием, которое как-то облегчило мою душевную боль» (*Brut.*, 12).

А «ласковые» письма следовали одно за другим. Когда же оратор приехал в Рим, Брут поспешил его навестить. Это был словно другой человек: от прежнего холодного напыщенного святоши не осталось и следа. То был мягкий, внимательный, чуткий друг. Он явился как ангел-утешитель и окружил оратора заботами, словно был его сыном. Цицерону начало казаться, что происшествие в Киликии было дурным сном. Брут навещал его чуть не каждый день, отвлекал от скорбных дум, навел разговор на интересный для него предмет, расспрашивал о красноречии. Этим он ясно доказал, что наделен добрым и отзывчивым сердцем. Эти свидания буквально воскрешали Цицерона. Вот описание одного из них. «Однажды, когда я на досуге прогуливался под портиком у себя дома, меня навестили по обыкновению вместе Марк Брут и Тит Помпоний (то есть Аттик. — Т. Б.), два истинные друга, настолько мне дорогие, что одно их появление разом отогнало терзавшие меня беспокойные думы о Республике...

— Мы пришли к тебе с твердым намерением, — заметил Аттик, — не говорить ни слова о политике, чтобы как-нибудь не огорчить тебя, а лучше послушаем тебя самого» (*Brut.*, 10–11).

И они заводят с ним разговор об ораторском искусстве Рима. Впечатление такое, что они ходят за тяжелобольным. А Цицерон тогда еще не потерял Туллию! Когда же она умерла, Брут стал ему еще нужнее.

Думаю, не нужно много слов, чтобы объяснить, почему одинокий осиротелый старик, каким стал теперь Цицерон, так привязался к молодому ласковому другу. Гораздо любопытнее, почему Брут сделал первый шаг к человеку, который так обидел его в Киликии. Я думаю, они могли ближе узнать друг друга в лагере Помпея. Кассий, например, сошелся тогда с Цицероном по-приятельски. Кассий этот был эпикуреец и большой весельчак. Сидя у костра, они обсуждали учение Эпикура, причем Цицерон весело над ним подтрунивал, а Кассий не менее весело, но с большим азартом его защищал. Так что между ними установилась какая-то шуточная война. Может быть, именно тогда Брута и потянуло к Цицерону. Расставшись с ним, Брут почувствовал тоску, всерьез начал о нем волноваться, отыскал его и написал письмо. Так началась эта дружба.

Брут был совершенно околдован этим волшебником. Когда он слушал Цицерона или читал его диалоги — а почти все они были обращены к нему, — перед ним открывался новый мир. Мир этот был так прекрасен и ярок, что разом померкли все его прежние кумиры. Незадолго до смерти он признался Аттику, что мысли Цицерона о свободе, достоинстве, смерти, изгнании и бедности глубоко врезались ему в душу. И если он разочаруется в Цицероне, то разочаруется и в философии (*Cic. Ad Brut., I, 17, 5*). Значит, Цицерон олицетворял в его глазах саму мудрость и добродетель! Он и сам начал писать, подражая оратору. Он издал трактат «О добродетели» и посвятил его, разумеется, Цицерону.

Когда Цезарь во всем блеске и величии вернулся в Рим после победы в Испании, Брут затосковал. Он вдруг почувствовал, что не может возвратиться к прежней жизни. Раньше он гордился своим положением любимца Цезаря. Люди ему завидовали. А Цицерон жалел его, сокрушался о нем, считал, что жизнь его сломана:

— Мне больно глядеть на тебя, Брут; в юности ты напоминал триумфатора, который движется на колеснице среди всеобщих восторгов, и вдруг на ходу разбился о злосчастную судьбу нашей Республики... Двойная печаль грызет нас: ведь ты лишен Республики, а Республика лишена тебя (*Brut., 331–332*).

Теперь и сам Брут глядел на свою жизнь другими глазами и стал считать себя несчастным человеком. В сочинении «О добродетели» он признавался Цицерону, что ему сейчас кажется, что он живет в мрачном изгнании (*Sen. Cons., ad Helv., 9*). Он понял, что ему нужно выбирать —

Цезарь или Цицерон. Сначала у него появилась безумная надежда, что все еще можно уладить. Цицерон должен написать обращенное к Цезарю большое сочинение и объяснить ему, что единовластие есть зло. Цезарь поймет, отречется от власти, и все будет хорошо. Но оратор наотрез отказался. «Верь моей клятве, не могу, — писал он Аттику, — и не позор меня пугает, хотя, казалось бы, должен пугать именно позор. Разве позорна лесть, когда для нас уже то, что мы живем, позорно?» Но, продолжает он, что я скажу? Даже Александр Македонский, поначалу такой скромный и умеренный, сделался надменным и жестоким, став властелином. «И неужели ты воображаешь, что этот квартирант Ромула обрадуется моим скромным письмам?» (*Att.*, XIII, 28). *Квартирантом Ромула* он прозвал Цезаря потому, что тот распорядился поставить свою статую в храме основателя Рима рядом с самим божеством.

Наконец мучительная борьба в душе Брута была окончена. Победил Цицерон. Антоний впоследствии прямо обвинял оратора в убийстве Цезаря. Он утверждал, что диктатор умерщвлен по наущению Цицерона, что Цицерон совратил с пути истинного и Брута, и всех офицеров Цезаря, прежде, до знакомства с ним, столь преданных диктатору. В то время, когда он это говорил, быть среди тираноубийц считалось весьма почетно. Десятки людей наперебой уверяли, что тайно участвовали в заговоре или тайно вдохновляли его. Так что для Цицерона это обвинение было даже лестным. Но он решительно его отверг. Он сказал, что и не подозревал о заговоре. И потом. Среди заговорщиков были первые любимцы, довереннейшие люди диктатора. Я бы не осмелился даже заговорить с ними об этом, пишет он. И это, конечно, правда. Но и Антоний по-своему прав. Цицерон, сам того не зная, был душой заговора, его вдохновителем. И это подтвердил сам Брут. После убийства он вышел с окровавленным кинжалом, высоко поднял его и произнес одно слово, которое должно было объяснить все:

— Цицерон! (*Phil*, II, 25–28).

И когда Кассий предложил другу участвовать в заговоре, он нашел уже готового тираноубийцу.

### ***Иды марта***

Брута вовлек в заговор Кассий, его близкий друг и родич. Он был полной противоположностью Бруту во всем. Живой, страстный, смелый до безумия, беспечно веселый и вообще отчаянный сорвиголова. Кассий был

вспыльчив и неуравновешен, вдобавок многие сомневались в его принципиальности. Вот почему его считали злым гением заговора, в то время как Брут был его добрым гением. «Все, что было в заговоре возвышенного и благородного, относили насчет Брута, а все подлое приписывали Кассию... человеку не столь... чистому духом» (*Plut. Brut., I*). Передают даже, что впоследствии Брут горько упрекал Кассия за то, что он вымогает деньги у бедных крестьян и горожан в занятых ими областях. (К этому времени Брут под влиянием Цицерона, видимо, уже иначе смотрел на такие поступки.)

Кассий не любил Цезаря, кроме того, всеми силами души ненавидел тиранию. Рассказывали, что еще мальчишкой он показал свой неукротимый нрав. Он учился в школе с Фавстом, сыном диктатора Суллы. Этот ребенок любил похвастаться перед товарищами своим великим папой и часто заключал обещанием, что сам станет таким, когда вырастет. Этому Кассий не мог вынести. Он кидался на будущего владыку и нещадно избивал его. Кто-то из взрослых пробовал вступить и разобрать, в чем дело. Но Кассий не давал несчастному Фавсту произнести ни слова. Он в бешенстве вопил:

— Ну, Фавст, только посмей повторить эти слова, которые меня разозлили, и я снова разобью тебе морду! (*Plut. Brut., I*).

Как и Брут, Кассий сражался на стороне Республики. Как и Брут, разочаровался в Помпее и сдался победителю после Фарсала. Но, в отличие от Брута, он не смирился и в душе кипел яростью против Цезаря. Цезарь его недолюбливал. К тому же он плохо умел притворяться и его мрачный взгляд выдавал, что у него в сердце. Однажды кто-то предостерегал диктатора против Антония. Цезарь возразил:

— Я не особенно боюсь долгогривых толстяков, а скорее бледных и тощих.

И он покосился на Кассия (*Plut. Caes., I*).

Этот-то Кассий задумал составить тайный заговор против тирана и умертвить его. Сначала ему казалось, что привлечь сторонников будет нетрудно. Он видел, как много недовольных, и знал, что в Риме не вовсе иссякло мужество. Но тут он столкнулся с непредвиденным препятствием. Когда он в беседе с тем или иным приятелем исподволь заговаривал о свободе и тираноубийстве, то постоянно слышал в ответ: «Пустое. Мы помним, как Сулла освобождал нас от Мария, а Марий от Суллы, Помпей от Цезаря, а Цезарь от Помпея. Где гарантия, что наш новый освободитель не пожелает сам сесть на место Цезаря?» И очень многие прибавляли со вздохом: «Вот если бы заговор возглавил Брут...»

Тогда Кассий понял, что Брут им необходим. Он будет их знаменем, его присутствие докажет чистоту их намерений. Но Брут был любимцем диктатора, сам был в восторге от Цезаря. Только что Цезарь вопреки всякой справедливости дал Бруту должность, отняв ее у него, Кассия. Даже заговорить с таким человеком о тираноубийстве было безумием. И тут Кассию явилась блестящая идея.

Первого января 44 года Брут стал претором. Теперь он каждое утро шел к трибуналу. К его изумлению, каждый раз он находил преторское возвышение буквально заваленным записками. Записки эти были короткими и загадочными:

— Ты спишь, Брут?

— Ты не Брут!

— Брут, ты подкуплен?

Когда же вечером Брут проходил мимо статуи своего знаменитого предка Древнего Брута, изгнавшего царей, то видел, что постамент ее весь исписан надписями: «О, если бы ты был жив, Брут!» И прочими в таком же духе (*Plut. Brut.*, 9; *App. B.C.*, II, 112).

Злые языки говорили потом, что все эти письма писал Кассий и несколько его друзей. Но, быть может, это клевета. Как бы то ни было, Брут был потрясен этими посланиями. Он понял, какая страшная ответственность на нем лежит и какие великие надежды с ним связаны.

В середине февраля на Луперкалиях Антоний неожиданно предложил Цезарю корону. Брут был поражен этой сценой. Он стоял на площади в тяжелом раздумье, вдруг к нему стремительно подошел Кассий. Они были в ссоре с того дня, когда Цезарь так несправедливо отдал городскую претуру Бруту. И вот сейчас Кассий обнял Брута и попросил его больше не сердиться. Он добавил, что хочет поговорить с ним об очень важных вещах. Он рассказал, что скоро будет заседание сената, где Цезарю хотят разрешить именоваться царем и носить корону на суше и на море за пределами Италии.

— Что мы будем делать в сенате, если льстецы Цезаря внесут предложение объявить его царем? — спросил он в заключение.

На это Брут ответил, что вовсе не пойдет в сенат. Кассий снова спросил его:

— Что мы сделаем, Брут, если нас туда позовут как преторов?

— Тогда, — сказал Брут, — моим долгом будет нарушить молчание и, защищая свободу, умереть за нее.

Воодушевленный этими словами, Кассий воскликнул:

— Но кто же из римлян останется равнодушным свидетелем твоей

гибели? Разве ты не знаешь своей силы, Брут? Или ты думаешь, что судейское твое возвышение засыпают письмами ткачи и лавочники, а не первые люди Рима, которые от остальных преторов требуют раздач, зрелищ, гладиаторов, от тебя же... низвержения тирании, а сами готовы ради тебя на любую жертву, любую муку, если только и Брут покажет себя таким, каким они желают его видеть?

С этими словами он вновь порывисто обнял друга и быстро удалился, оставив Брута в полной растерянности стоять посреди площади (*Plut. Brut.*, 10; *App. B.C.*, II, 113). Через несколько часов Брут вступил в заговор.

Казалось, весь Рим набит сухим хворостом и соломой, а согласие Брута было той искрой, которая заставила этот хворост вспыхнуть. Вскоре после рокового разговора с Кассием Брут отправился навестить одного больного друга, думая осторожно намекнуть ему о тайном обществе. Когда он вошел, хозяин пластом лежал на постели.

— Ах, Лигарий, — с досадой сказал Брут, — как же некстати ты захворал!

Больной тут же приподнялся на своем одре.

— Нет, Брут, если только ты решился на дело, достойное тебя, я совершенно здоров! — ответил он (*Plut. Brut.*, 11).

Каждый день теперь Брут вербовал все новых сторонников. Но однажды он заговорил о заговоре с Фавонием, страстным поклонником и учеником Катона. Он не сомневался, что этот пылкий республиканец тут же вступит в их общество. Но, к удивлению его, Фавоний отвечал, что диктатура и попрание законов ему, конечно, не нравятся, но гражданская война еще ужаснее диктатуры. Увы! Брут не обратил внимания на эти пророческие слова.

А между тем Кассий, в восторге от того что наконец-то заполучил Брута, совершил один совсем уж безумный поступок. Он предложил участвовать в заговоре Дециму Бруту Альбину<sup>[128]</sup>. Децим был довереннейшим офицером Цезаря, его любимцем, о котором тот с нежностью пишет в своих «Записках». Несколько месяцев назад, когда Цезарь с триумфом возвращался из Испании, Децим сидел рядом с ним на золоченой колеснице. И вот этому-то человеку в порыве откровенности Кассий вдруг сказал о заговоре. Сказал и сам ужаснулся. А Децим и не подумал его успокоить. Он холодно ответил, что о решении своем известит завтра. Можно себе представить, что Кассий провел эту ночь как на раскаленной сковородке. Наутро он полетел к Дециму узнать свою судьбу. Децим спросил, в заговоре ли Брут. «В заговоре», — отвечал Кассий. Тогда Децим объявил, что и он с ними. И тут открылись странные и страшные

вещи.

Оказывается, Цезарь был обречен. Его убили бы, даже если бы никакого Брута и Кассия никогда не было на свете! Его ближайшие офицеры давно уже составили против него заговор. Оказывается, в тот самый день, когда Цезарь, разбив последних врагов, веселый и счастливый возвращался из Испании, ехавшие рядом с ним офицеры тихо договаривались о дне и часе убийства! Когда потом вскрыли завещание диктатора, то прочли там, что «многие убийцы были названы им в числе опекунов своего сына, буде таковой родится». А Децим помянут был одним из первых как ближайший друг (*Suet. Iul*, 83). Какая ужасная слепота! И теперь вслед за Децимом все эти офицеры вступили в заговор Брута.

События развивались стремительно. 15 февраля был праздник Луперкалий, когда Антоний предлагал корону Цезарю. А 15 марта Цезарь должен был быть убит. Вот почему, «хотя не было ни совместной присяги, ни торжественного обмена клятвами над закланной жертвой, все хранили такое нерушимое молчание, настолько глубоко скрыли в душе тайну», что никто в Риме не подозревал об их замыслах. И все же один посторонний человек проник в их тайну. То была жена Брута.

Я уже упоминала о том, что Брут был женат на дочери Аппия Клавдия. То не был брак по любви. Для Брута очень выгодно было породниться с такой богатой, знатной семьей с огромными связями. Тут, вероятно, постаралась ловкая Сервилия. Сам же Брут давно втайне любил свою кузину, дочь Катона Порцию. Но Порция была замужем за Бибулом, тем самым горячим коллегой Цезаря, который поражал весь Рим своими замечательными эдиктами. И Брут мирился со своей богатой и влиятельной женой. Но после войны он снова увидел Порцию. Она потеряла все. Отец и муж погибли. Она осталась одна без всяких средств к жизни, без близких, с ребенком на руках. Все бывшее проснулось в душе Брута. Он предложил кузине руку и сердце и начал развод с женой. Но тут на него, как буря, налетела Сервилия. Она кричала, что не допустит союза с нищей опальной семьей, это будет конец карьеры Брута, это замарают его в глазах диктатора! Была у нее и еще одна тайная причина так яростно противиться этому браку. Она знала, что, если Порция войдет в дом ее сына, это будет конец ее влиянию на него. В доме Брута начались непрерывные скандалы. Брут по своему обыкновению долго тянул и колебался. Но наконец любовь победила. Наверно, первый раз в жизни он послушался матери (45 год).

Внешне Порция была хрупкой красавицей, но под этой хрупкой оболочкой жил неукротимый дух Катона. У нее были железная воля и огненный темперамент. Когда после гибели Цезаря они с Брутом

прощались — встретиться им было не суждено, — они вспоминали прекрасные строфы Гомера о прощании Гектора с Андромахой. Оба плакали. Вдруг Брут улыбнулся сквозь слезы и сказал:

«— А вот мне нельзя сказать Порции то же, что говорит Андромахе Гектор:

Но возвращайся домой и займися своими делами, —  
Пряжей, тканьем...  
.....Война же — забота мужчины

(II., VI, 490–492).

Лишь по природной слабости тела уступает она мужчинам в доблестных деяниях, но помыслами своими отстаивает отечество в первых рядах бойцов» (*Plut. Brut.*, 23).

Когда же Порция поняла, что Республика обречена, она решила убить себя. Но ее стерегли неусыпно. И вот, дождавшись, что ее оставили одну на несколько секунд, она стремительно выхватила из очага пылающий уголь, проглотила его, сжала зубы и умерла. Уже из этого видно, что она была достойной дочерью Катона.

Эту женщину Брут любил страстно. Ее сын Бибул, когда вырос, оставил о нем интересные воспоминания. Он говорит, что Брут был нежнейшим супругом, а ему — нежнейшим отцом. Порцию он боготворил и на коленях молил богов сделать его достойным такой жены.

Порция сразу заметила, что муж ее чем-то озабочен и взволнован, и поняла, что он «вынашивает какой-то опасный и сложный замысел». Она положила про себя все узнать. Но действовать она решила самым необыкновенным образом. Она не стала приставать к мужу с докучными расспросами и надоедать бесконечными жалобами на недоверие и ревнивыми подозрениями. Вместо того она, по выражению Плутарха, «произвела некий эксперимент». Она взяла тонкий острый скальпель, которым пользуются цирюльники, и глубоко вонзила его в бедро. Кровь хлынула потоком. Но Порция, стиснув зубы, стала углублять и расширять рану и делала это до тех пор, пока без чувств не упала на постель. Рана воспалилась, началась лихорадка. Больная лежала в жару, вокруг нее суетились служанки и врачи. Брут, обезумев от горя, не отходил от постели жены. Вдруг она приподнялась, властным движением выслала посторонних и, оборотясь к мужу, сказала:

— Я — дочь Катона, Брут, и вошла в твой дом не для того, чтобы,

словно наложница, разделять с тобой стол и постель, но чтобы участвовать во всех твоих радостях и печалях. Ты всегда был мне безупречным супругом, а я... чем доказать мне свою благодарность, если я не могу понести вместе с тобой сокровенную муку и заботу... Прежде я не полагалась на себя до конца, но теперь узнала, что я не подвластна и боли.

С этими словами она откинула покрывало и показала мужу страшную рану. Брут был поражен. Воздев руки к небу, он молился сделать его достойным такой жены и, конечно, тут же открыл ей все.

Теперь заговорщикам предстояло обдумать, как им убить Цезаря. Это было нетрудно. Цезарь никогда не прятался, не окружал себе охраной, отмахивался ото всех предостережений, говоря, что лучше раз умереть, чем дрожать всю жизнь. Кроме того, он слепо доверял своим будущим убийцам. Его можно было убить где и когда угодно. Проще всего было позвать диктатора в гости к какому-нибудь заговорщику или подстеречь в темном переулке. Но Брут не хотел об этом и слышать. Убийство диктатора казалось ему неким религиозным действием, каким-то великим очищением. Совершить его надлежало открыто, всенародно. И, хотя заговорщиков было несколько десятков, Брут заявил, что каждый должен вонзить свой кинжал в тело Цезаря, дабы омыть руки в его крови (*Plut. Caes.*, 66). Хотели умертвить его посреди Марсова поля, когда соберется весь народ и он поднимется на возвышение; или на многолюдной Священной дороге, или, наконец, у входа в театр во время какого-нибудь великого торжества. И вдруг посреди этих колебаний на Ростры поднялся глашатай и объявил, что очередное заседание сената состоится утром в мартовские иды в Курии Помпея. Заговорщики невольно затрепетали. Слова эти прозвучали для них как веление рока. Курия была просторным портиком, в середине которого высилась статуя Помпея. Всем показалось в эту минуту, что некое божество ведет туда Цезаря, чтобы воздать ему за смерть Помпея. Все колебания были отброшены. Решено было, что Цезарь будет убит у статуи Помпея.

А между тем зловещие слухи отовсюду обступили Рим. Вещали пророки и гадатели, волновалась толпа, все предчувствовали новую грозную бурю. Ночью в небе вспыхивали странные огни, над Форумом кружили зловещие птицы, по небу в вихре мчались огненные люди. Вечером в канун мартовских ид Цезарь пошел в гости к приятелю. Разговор за столом как-то зашел о смерти. «Речь зашла о том, какой род смерти самый лучший. Цезарь раньше всех закричал:

— Неожиданный!» (*Plut. Caes.*, 63).

Тогда этому не придали значения, но после припомнили.

Ранним утром мартовских ид заговорщики по одному вышли из дому.

Под тогой каждый из них спрятал кинжал. Брут, бледный, но спокойный, простился с Порцией и отправился к Курии. Возле портика его уже ждали друзья. Держались все с удивительной выдержкой — болтали с приятелями, шутили, смеялись. Брут разбирал тяжбы. Ответы он давал спокойно, правильно, четко. Между тем время шло, а Цезаря все не было. Сенаторы в тоске и нетерпении слонялись по портику. Вдруг к Бруту подошел один малознакомый сенатор, сжал ему руку и, наклонившись к самому его уху, чуть слышно прошептал:

— Всею душою желаю вам счастливо исполнить то, что вы задумали, но советую не медлить: про вас уже заговорили.

Сказав это, он быстро отошел к другому концу Курии. Брут похолодел. Это походило на дурной сон. Они так свято берегли свою тайну, и вдруг оказывается, о ней трубят весь Рим. И тут его окликнули. В портик ворвался запыхавшийся слуга и закричал, чтобы он немедленно бежал домой — Порция умирает...

С тех пор как ушел Брут, Порция не находила себе места. То она выбегала на улицу, с тревогой вглядывалась в лица прохожих и спрашивала, нет ли новостей. То подзывала к себе слугу и приказывала добежать до Курии, осторожно заглянуть внутрь и посмотреть, что делает Брут. Слуга возвращался и говорил: «Брут стоит», «Брут сидит», «Брут беседует с приятелем». Наконец, нервы ее не выдержали. Она без чувств упала у порога дома. Поднялся крик. Служанки, кумушки, соседки толпой сбежались к страдалнице. Они причитали, охали, вздыхали и решили немедленно отрядить гонца к Бруту. Брут чуть не сошел с ума. Первым движением его было кинуться туда, к своей Порции. Но мог ли он сейчас бежать, бросив товарищей, бросив дело? И невероятным усилием воли он сдержал себя и остался.

А Цезаря все не было. Стали поговаривать, что, верно, сегодня он уж не придет и пора расходиться. И тогда Децим встал и вышел из Курии. Он отправился прямо к диктатору. Цезаря он застал дома. С ним была его жена Кальпурния. Кальпурния была бледна и встревожена, Цезарь мрачен и недоволен. Оказывается, Кальпурния всю ночь металась, страшно кричала и плакала во сне. Ее душили кошмары и, проснувшись, она заклинала мужа никуда сегодня не ходить. Цезарь рассказывал об этом с усмешкой, давая понять, что сам он не верит, конечно, суеверным страхам и снам, но снисходит к слабости испуганной жены. У них решено уже было послать за Антонием и распустить сенат. Децим знал, что Цезарь, который смолodu был вольнодумцем, в последнее время сделался суеверен и сейчас испуган не меньше Кальпурнии. Он знал, что заговор может рухнуть, если сегодня

Цезарь останется дома. Надо было во что бы то ни стало заставить его прийти в сенат. Децим был лукавым царедворцем и разом понял, как надо действовать. Он напомнил, какое это будет заседание. Ведь именно сегодня будет обсуждаться вопрос о короне. Сенаторы собрались. Все готово. И неужели теперь из-за глупого сна Цезарь не придет и откажется от царства? И потом. Что будут говорить злоязычные римляне? Что сенаторов соберут вновь, когда супруга Цезаря увидит хороший сон? Над великим Цезарем станут смеяться. С этими словами он взял Цезаря за руку и повел в Курию.

У дверей уже теснился народ — толпы просителей с утра ждали диктатора и сейчас кинулись к нему. Вдруг в толпе Цезарь заметил гадалею. Некоторое время тому назад он предсказал ему смерть в мартовские иды. Увидав его теперь, диктатор кивнул ему, как старому знакомому, и с усмешкой сказал:

— Настали иды марта.

— Но, Цезарь, не прошли, — отвечал тот.

В эту минуту в толпе стало заметно движение. Какой-то человек, расталкивая окружающих, прокладывал дорогу к диктатору. То был учитель, родом грек, искренне расположенный к Цезарю. Каким-то чудом он проведал о заговоре. В страшном волнении кинулся он к Курии, боясь опоздать. Цезарь был уже на пороге. Рванувшись вперед и опрокинув последние препятствия, грек очутился перед Цезарем. Кругом было столпотворение, поэтому он, не говоря ни слова, сунул в руку Цезаря бумагу, где написал все, что знал о заговоре. К ужасу своему он увидел, что диктатор хочет передать свиток секретарю. Грек с испугом вскрикнул:

— Прочитай это, Цезарь, сам, не показывая другим — и немедленно!

Цезарь кивнул и стал развертывать свиток, но тут на него хлынули просители и толпа разделила их. Так он и не успел заглянуть в бумагу. Несколько часов спустя свиток нашли зажатым в его окоченевшей руке.

Окруженный толпой просителей, Цезарь вошел в сенат. Все встали. И тут к диктатору подошел тот самый сенатор, который сказал Бруту те загадочные слова. Брут впился в него глазами. Неужели он хочет их выдать? Сенатор что-то тихо говорил Цезарю. Бруту даже показалось, что он указывает глазами на него. Неужели это конец? Брут посмотрел на товарищей. Они безмолвно одному ему понятным жестом указывали на спрятанные под тогой кинжалы. Брут понял, что они решили умертвить себя тут же на месте, если их планы раскроют. Самый нетерпеливый из них, Кассий, уже начал вытаскивать нож, но тут Брут увидел, что сенатор отходит от Цезаря, а Цезарь с равнодушным видом уже повернулся к другим. Они были спасены. Брут бросил на Кассия радостный,

торжествующий взгляд, давая понять, что опасность миновала. А Кассий поднял глаза вверх, на холодный величественный лик Помпея и, хотя был эпикуреец, чуть слышно призвал его на помощь.

Как и было условлено, заговорщики встали и толпой окружили Цезаря. Они начали просить, чтобы он вернул одного изгнанника. Цезарь решительно отказал. И тут Каска, выхватив кинжал, первым бросился на него. Цезарь с быстротой молнии перехватил его руку. Оба одновременно закричали — Цезарь: «Каска, элодей, да что ты?!» И Каска: «Брат, помоги!» Цезарь вскочил и увидел, что со всех сторон убийцы — отовсюду на него надвигались люди с кинжалами. «Куда бы ни обращал он взор, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары мечей, направленных в лицо и в глаза». Цезарь метался по Курии, отбиваясь от ударов. Кругом сидело 900 сенаторов, набранных им самим вместо убитых и сосланных. И ни один из них не шелохнулся, никто в этот час не пришел ему на помощь, все с интересом наблюдали происходящее. Цицерон говорил потом, что в этот день понял, что у тирана нет друзей (*Amic.*, 52–54). Вдруг Цезарь увидел Брута, который тоже направил на него нож. Он глухо вскрикнул и произнес:

— И ты, дитя мое!

Более он не сопротивлялся и натянул на голову конец тоги. Обливаясь кровью, упал он к ногам мраморного Помпея. Многим в этот миг показалось, что «сам Помпей явился для отмщения своему противнику, распростертому у его ног, покрытому ранами и еще содрогавшемуся» (*Plut. Brut.*, 11–17; 23; *Caes.*, 63–66; *Suet. Iul.*, 81–83). Какое счастье, говорил потом Цицерон, что человек не видит своего будущего! Что было бы, если бы во дни своего величия Красс видел свою ужасную и позорную гибель в Парфии или если бы гордый Помпей видел свой жалкий конец в Египте? Или Цезарь, сокрушивший всех врагов и торжествующий, увидел себя истекающим кровью у ног изваяния Помпея? Он лежал один посреди своего сената, и «к телу его не подошел никто из друзей, даже ни один раб» (*Div.*, II, 22–23).

*Таков был конец третьего триумвира.*

А Брут поднял окровавленный кинжал и громко произнес:

— Цицерон!

## Глава VIII

### ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

*Прославлюсь я несчастным этим днем,  
И больше, чем Октавий и Антоний,  
Достигшие своей победы низкой.*

-----  
-----  
*Перед глазами ночь. Покоя жажду,  
Я заслужил его своим трудом.*

*Шекспир. Юлий Цезарь*

#### **Брут**

Цицерон ничего не знал о заговоре. Иды марта обрушились на него так же неожиданно, как на самого Цезаря. И это вполне естественно. Заговорщикам казалось позором втягивать в безумно опасное предприятие сломленного жизнью старика, которого сам Цезарь называл гордостью Рима. Цицерон не был в тот день в сенате и узнал обо всем уже к вечеру. И первое его чувство, когда он очнулся, была ликующая радость. Сохранилась записка, которую он тогда же, в день мартовских ид, впопыхах написал одному из тираноубийц. «Поздравляю тебя. Радуюсь за тебя. Люблю тебя. Пекусь о твоих делах. Хочу, чтобы ты любил меня и жажду знать, что ты делаешь и что происходит» (*Fam.*, VI, 15).

В нем говорила вовсе не ненависть. Сам Цезарь всегда был ему симпатичен, и ярые поборники Республики даже горько упрекали его за это. Нет, тут было другое. В жизни Цицерон более всего любил два существа — Туллию и Республику. И они погибли почти одновременно. С тех пор Цицерон считал, что все для него кончено. Измученный, одинокий, он ждал конца своего тоскливого существования. И вдруг иды марта. «Казалось, какой-то луч света заблистал перед нами», — писал он потом (*Phil.*, I, 4). Жизнь его вдруг озарилась. У него появилась безумная надежда,

что Республика воскресла. Это было все равно, как если бы некий бог вернул на землю его Туллию. И сам Цицерон словно восстал из мертвых. И столько было у него сил и мужества, что тираноубийцы, эти молодые отважные люди, кажутся рядом с ним робкими и вялыми стариками.

Итак, первым чувством Цицерона было сверкающее счастье. Но вскоре оно сменилось беспокойством, а потом тяжелым недоумением. Дело в том, что поведение Брута было необъяснимым. Цезарь управлял государством почти четыре года. За это время он изгнал всех недовольных, создал новый сенат и наполнил город пришлыми людьми. Опирался он, как мы уже говорили, на армию и так называемых «пропащих» людей. Все ключевые посты занимали цезарианцы. Армией, кроме Цезаря, командовали консул Антоний и начальник конницы Лепид. Ясно, что человек, задумавший сокрушить новый режим, должен был прежде всего образовать какое-то временное правительство, вырвать власть и армию из рук цезарианцев, а затем провести ряд продуманных реформ. И действовать надо было быстро, не теряя ни минуты, пока враг не успел опомниться.

Что же делал Брут? Некоторое время он бегал по Риму, потрясая окровавленным кинжалом и взывая к вольности и Цицерону. А потом вместе со своими сообщниками удалился на Капитолий под охраной небольшого отряда гладиаторов и засел там. В течение нескольких дней этот смелый человек не решался спуститься в освобожденный им город!

Между тем «адская свита» пришла в движение. Самым «адским» из всех был Антоний. Всего несколько слов об этом человеке. Дело в том, что существует два Антония. Один, герой Шекспира, — благородный, великодушный, прекрасный в самых своих слабостях, романтический любовник и преданный друг. Другой — реальный Антоний. У них так же мало общего, как у исторического Гамлета, который притворился сумасшедшим, коварно перерезал своих врагов, скормил их свиньям и захватил престол, и меланхоличного принца, спрашивавшего: «Быть или не быть?» Антоний провел молодость шумно и сумбурно. Он рано потерял отца. Отчимом же его был не кто иной, как Лентул, тот самый, что так неудачно заменял Каталину в заговоре. Под руководством этого опытного наставника Антоний быстро спустил состояние и остался без средств к существованию. Злые языки говорили, что он нашел себе не совсем обычный заработок. Нам описывают, что он был весьма хорош собой. Действительно. С портретов смотрит на нас довольно смазливое, очень полное, упитанное, гладкое лицо все в крутых кудряшках. Недаром Цезарь называл Антония *долгогривым толстяком*. Антоний нравился женщинам, но гораздо больше — мужчинам. Цицерон говорит, что Антоний сначала

стал «всем доступной шлюхой», но потом жизнь его резко изменилась. Он познакомился с Курионом. С этих пор Антоний сделался добродетельной матерью семейства. Впрочем, в семейной жизни Антония не все были розы, бывали и тернии. Однажды, например, вспоминает Цицерон, он зашел к Куриону и застал такую картину. Отец лежал, отворотясь к стене, стонал и охал. Сын бился в истерике. Цицерона они встретили как манну небесную. Сын вскочил, кинулся ему на шею и принялся, рыдая, изливать ему душу. Отец обо всем поведал, говорил Курион, и, будучи отсталым ретроградом, не признал их брак и вышвырнул Антония за дверь. Но верный Антоний ночью, рискуя свернуть себе шею, залез на крышу и спустился в спальню Куриона. Он, Курион, не может жить без Антония, он сбежит из дому, он удалится в мрачное изгнание. И потом он уже обещал заплатить все долги любовника... Цицерон повел себя очень мудро. Утешил и успокоил молодого человека и обещал убедить отца заплатить долги. Он и правда умиротворил разгневанного родителя, но при этом посоветовал держать подальше от дома эту новую зазнобу сына (*Phil.*, II, 44–46).

Но Курион был не просто гуляка. Историк Веллей так его описывает: он был «самым деятельным и пламенным поджигателем гражданской войны и всех бедствий, непрерывно следовавших за нею в продолжение двадцати лет... Человек знатный, красноречивый, отважный, промотавший свое и чужое имущество и стыд, гениально безнравственный, наделенный даром слова на пагубу Республики, неспособный никакими средствами, никакими стяжаниями утолить свои желания и прихоти» (II, 48; пер. М. Л. Гаспарова). Он-то и втянул Антония в бурную политическую жизнь. Став в 50 году народным трибуном, Курион, подкупленный Цезарем, действовал в его интересах. Когда же началась гражданская война, «супруги» вместе бежали в лагерь Цезаря. Курион вскоре был убит в войне, которую так нетерпеливо раздувал. Антоний же остался, ибо понял, что лагерь Цезаря — «единственное в мире прибежище от нищеты и долгов» (*Phil.*, II, 50).

Между прочим, Антоний получил от своего «супруга» странное наследство — его жену Фульвию. Сначала она была женой Клодия и, говорят, была такой же бешеной, как он. Затем перешла к Куриону и, наконец, к Антонию. По выражению Буассье, то была настоящая муза революции. Антония она держала в ежовых рукавицах, и он трепетал перед ней как мальчишка. Хотя добиться его верности суровая матрона все-таки не могла. Говорят, эта неистовая женщина раздувала природную жестокость Антония.

«Победитель пожаловал ему первенство среди своих разбойников», —

говорит Цицерон (*Phil.*, II, 5). Антоний был человек отпетый; именно такие люди нужны были Цезарю. Кроме того, он был неплохой военачальник. Правда, Цезарю приходилось терпеть по милости Антония кучу неприятностей. Только диктатор появлялся в Риме, его толпой обступали просители и обиженные. Со всех сторон слышались жалобы — того-то Антоний избил, того-то грубо обругал, у этого отнял дом и деньги, а недавно его вырвало после попойки на торжественном заседании. Ибо Антоний мало походил на своего покойного «супруга». Курион был беспутен и беспринципен, но в то же время обходителен, воспитан, изыщен. Антоний же был грубый солдафон, шутки его были пошлы, и вообще, как сказал однажды Цицерон, он совершенно не представлял, как вести себя в приличном обществе. Разумеется, изысканного Цезаря от всего этого коробило. Однажды в сенате в присутствии диктатора Антоний затеял ссору со своим соперником и обрушил на него поток площадной брани. Все увидели, что Цезарь с отвращением отвернулся, потом встал и вышел из сената (*Plut. Ant.*, 10–11). Но Антоний был нужен ему и он терпел его, как терпел Лепида, это грубое животное, столь же чуждое ему по духу<sup>[129]</sup>. Многие думают, что Антоний платил Цезарю собачьей преданностью. Именно таким изображен он у Шекспира. Увы, это не так. Ходили слухи, что после одного столкновения Антоний подослал к диктатору наемного убийцу и Цезаря спас лишь внезапный отъезд. Положим, это только слухи, хотя слухи весьма характерные — значит, в Риме не верили в собачью преданность Антония. Но вот факты. Когда заговорщики обнаружили, что среди них чуть ли не все офицеры Цезаря, кто-то предложил втянуть в заговор и Антония. Но близко знавший его Требоний сказал, что это бесполезно. Он уже предлагал это Антонию, когда они ездили встречать Цезаря, вернувшегося из Испании. Тот отказался, но обещал их не выдавать (*Plut. Ant.*, 13). Итак, Антоний знал, что жизни его благодетеля угрожает такая страшная опасность, знал и не предупредил его!

Когда в день мартовских ид Цезарь упал мертвым под ударами заговорщиков, на Антония напал панический ужас. Он пустился наутек, скинул свое консульское платье с пурпурной каймой, надел грубую простую одежду и скрылся. Лепид также бежал. Но, узнав, что Брут не делает ничего и продолжает сидеть в Капитолии, оба на другой день вернулись и стали действовать.

Что же означает странное поведение Брута? Большинство ученых считают, что заговор был совершенно непродуман и тираноубийцы просто не знали, что делать после смерти Цезаря. Буассье, напротив, доказывает, что заговор был продуман, но в том-то и дело, что Брут слишком высоко

поставил человеческую природу. Он думал, что, когда он убьет тирана, «народ получит обратно свои права и сможет свободно располагать ими». А создание временного правительства казалось ему незаконной узурпацией власти<sup>[73]</sup>. Однако с этим трудно согласиться. С древнейших времен в Риме в минуту смут власть переходила в руки диктатора. Таким образом, создание временного правительства не противоречило духу Республики. Да и при чем тут человеческая природа, когда власть и армия были в руках Антония и Лепида? Представим себе, что шайка разбойников ворвалась в дом, связала хозяев и начала рыться в сундуках. Вдруг входит человек и выстрелом из пистолета убивает главаря. Потом он с благостной улыбкой обращается к хозяевам и говорит: «Вы свободны. Отныне вы можете жить по своим законам». Поворачивается на каблуках и уходит, оставив несчастных во власти разъяренной банды. Такого именно благодетеля и напоминает мне Брут. Причем его поведение еще ужаснее потому, что глава бандитов — если пользоваться тем же сравнением — был настоящим Робинсом Гудом, рыцарем среди разбойников. Шайка же его состояла из отъявленных головорезов.

С тревогой и отчаянием смотрел Цицерон на друга. Как только он узнал обо всем, он тогда же, вечером мартовских ид, поднялся к нему на Капитолий. Он предлагал немедленно спуститься, созвать сенат, пользуясь его смятением, провести нужные декреты и организовать временное правительство. Ибо уничтожить нужно не только диктатора, но и диктатуру, говорил он. Антоний же столь свиреп и опасен, что должен быть немедленно казнен. Реакция Брута поразила оратора. Он долго молчал, потом поднял голову и стал умолять Цицерона немедленно идти к Антонию и просить его стать на сторону Республики. Напрасно изумленный оратор доказывал, что пока Антоний напуган, он обещает все что угодно, но, как только он почувствует силу, то обо всем забудет. Брут, казалось, его не слышал (*Phil.*, II, 88–89). А на другой день Антоний уже собрал вокруг себя силы. И пока Брут колебался, он уже как власть имущий созвал сенат. И — тут мы едва верим своим ушам! — заговорщики не решились сойти с Капитолия и вместо себя послали в сенат Цицерона. Создается впечатление, что героические тираноубийцы прятались за спину слабого старика. В конце концов они спустились в город, только взяв заложников!

Вскоре стало очевидно, что время упущено. Власть захватил Антоний. Положение Брута становилось все опаснее. Он уже не решался выйти на улицу днем и сидел дома, забаррикадировавшись. А затем он и вовсе бежал из Рима и прятался в своих имениях. Удивительно другое. Кроме Брута, в заговоре участвовало много решительных энергичных людей. То были

офицеры и полководцы. Они привыкли действовать, а не говорить. Они требовали от окружающих беспрекословного подчинения. И что же? На всех напали те же ужас и апатия. Они затаились и, сжавшись от ужаса, ждали неизбежного удара.

Цицерон с грустью говорил, что заговорщики проявили отвагу мужчин, но здравый смысл малых ребят (*Att.*, XV, 14, 2). «Будь я в их числе, я уничтожил бы не только царя, но и царскую власть. И, как говорится, если бы перо было в моих руках, я бы довел до конца не только первый акт, но и всю трагедию» (*Phil.*, II, 34). Он и сейчас твердил, что не все потеряно — надо воззвать к итальянской молодежи, которая ненавидит тиранию. Но Брут так ничего и не сделал. Наконец стало ясно, что ему нельзя оставаться в Италии. Он решил отправиться в Грецию. Заявлено было, что спаситель отечества жертвует собой для народа и уезжает, дабы избежать гражданской войны. В эти дни Цицерону особенно отвратительным казалось непрерывное вмешательство Сервилии в планы тираноубийц. Между тем эта дама жила в домах политических изгнанников, которые диктатор подарил ей. Со своей обычной пронырливостью она уже успела приобрести дружбу следующего тирана Антония и выхлопотала у нового приятеля почетное и доходное назначение для Брута. Цицерону досадно было, что Брут ничего не замечает, во всем советуется с мамашей и готов принять милости из рук Антония.

Брут твердил, что действовать решительно ему мешают любовь к законности и гуманность. Он боится гражданской войны и не может осудить на смерть невинного гражданина Антония. Увы! Цицерон ясно видел, что любовь к законности обернется новой диктатурой, а гуманность — морем крови невинных людей. Уже было ясно, что в Риме появился новый тиран — Марк Антоний. Итак, иды марта дали только одно — Цезарь был заменен Антонием. Такая мена казалась Цицерону ужасной. «Разве тебя хоть в каком-то отношении можно с ним сравнить? — говорил он впоследствии, обращаясь к Антонию. — У него был талант, ум, память, образование, настойчивость, он умел обдумывать свои планы. На войне он совершал дела, хоть и гибельные для государства, но великие... Сторонников он привязал наградами, врагов — надев личину милосердия» (*Phil.*, II, 116). А Антоний!..

Перед отъездом Брут прислал прощальное письмо Антонию, теперь всецельному тирану. Написано оно было от имени Брута и Кассия. «Мы прочли твоё письмо... оскорбительное, угрожающее, словом, такое, которое менее всего подобало бы получать от тебя нам. Мы не причинили тебе ни единой обиды... Нам неприлично, нам не подобает страшиться

опасности. А Антонию не пристало приказывать тем, кому он обязан своей свободой. Если бы мы хотели междоусобной войны, твое письмо не могло бы нас остановить. Ведь угрозы бессильны над свободными людьми... Вот наши намерения — мы хотим, чтобы ты жил в свободном государстве, был велик и славен. Мы призываем тебя отложить вражду, но собственную свободу ценим больше, чем твою дружбу... Мы молим богов, чтобы твои действия обернулись благом и для Республики, и для тебя самого. Если же это невозможно, пусть повредят они тебе как можно меньше, а Республика будет здорова и славна» (*Fam.*, XI, 3). Буассье называет это письмо восхитительным. На мой взгляд, восхищаться тут нечем. Это пишет человек, который вверг Рим в пучину гражданских войн, бросил его в жертву свирепому Антонию и перед этим-то Антонием кокетничает своими красивыми чувствами.

Уезжая, Брут клялся, что нет силы, которая заставила бы его обнажить меч и начать гражданскую войну. Но он не сдержал слова. Дело в том, что события развивались со стремительной быстротой. Власть Антония породила такое бурное возмущение, что люди брались за оружие. Тот самый Фавоний, который отказывался участвовать в заговоре, примкнул к Бруту. Наместники снабжали его деньгами, люди становились под его знамена, и вот уже на Востоке образовалась армия. И Брут согласился ее возглавить. А между тем Италия была беззащитна и одинока. Антоний и Лепид собирали войска и грозили столице. Помощи ждать было неоткуда. Брут не двигался на запад. И вот тогда-то Цицерон, который один остался и решил биться до конца, ухватился за последнее средство. После гибели Цезаря в Рим прибыл его внучатый племянник, Гай Октавий. Он говорил, что его бездетный дядя оставил ему большое наследство и усыновил его в завещании. Но все деньги и бумаги Цезаря захватил Антоний. Он пришел в ярость, когда дерзкий юнец потребовал от него наследства. С бранью он прогнал его с глаз. А между тем мальчик оказался очень умен. Он привлек симпатии ветеранов Цезаря. Многие стали бросать Антония и переходить к нему, приемному сыну их вождя. Теперь Октавий стал силой.

Октавий давно и настойчиво искал встречи с Цицероном и писал ему письма. Поначалу старый оратор не верил ему и избегал его. Но когда положение стало отчаянным, он решил привлечь Октавия и произвести тем самым раскол в рядах цезарианцев. Вслед за этим он заручился дружбой двух старых воинов-цезарианцев Гирция и Пансы. Эти полководцы во главе легионов должны были спасти Республику. Когда Брут узнал об этом, возмущению его не было границ. Он обрушил на голову Цицерона множество упреков, говорил, что тот унижается перед мальчишкой, что,

видно, не хочет отмены царской власти и просто ищет доброго хозяина. На это Цицерон отвечал очень спокойным и сдержанным письмом.

«Я всегда смотрел на важнейшие проблемы Республики так же, как ты, Брут. Но иной раз (правда, далеко не всегда) мой образ действий был, пожалуй, более решителен. Ты знаешь, что я всегда хотел, чтобы Республика освободилась не только от царя, но и от царской власти... В последнее время ты делал все ради мира, но достичь его одними словами невозможно. Я же всеми силами добивался свободы, а она немыслима без мира, самого же мира нам не найти без войны и оружия... Сейчас дошло до того, что, если бы некий бог не внушил благих мыслей Цезарю Октавиану<sup>[130]</sup>, мы оказались бы во власти пропадающего человека, мерзавца Антония — ты сам видишь, как отчаянно мы с ним боремся. Всего этого не было бы, если бы тогда ему не сохранили жизнь... Теперь ты должен осознать, какая идет война. Я понимаю, что ты наслаждаешься собственной гуманностью... это, конечно, прекрасно, но для великодушия есть место при других обстоятельствах и в другое время. О чем идет сейчас речь, Брут? Шайка бродяг угрожает самим храмам бессмертных богов и война решит — быть нам или не быть. Кого мы щадим? Что мы делаем? Мы заботимся о людях, которые, если победят, не оставят от нас ни следа... Люди надеются, что ты будешь далек как от слабости, так и от жестокости. Здесь очень легко найти средний путь — суровым надо быть с вожаками, мягкими — с солдатами»<sup>[131]</sup> (*Ad Brut.*, II, 7).

Не один Цицерон был изумлен странным поведением Брута. Многие, по его словам, были в тяжелом недоумении и просили узнать у самого Брута, что все это значит. А в конце весны 43 года Бруту пришла страшная весть — Порция покончила с собой, проглотив горящий уголь. Чем объяснить ее самоубийство? Республиканцы еще не были сокрушены. Решительная битва при Филиппах произойдет через год. Рим еще не был взят. Невольно напрашивается вывод — Порция разочаровалась не только в успехе республиканцев. Она разочаровалась в Бруте и не могла этого пережить.

Положение Рима становилось все страшнее. К нему приближались войска. Цицерон заклинал Брута прийти на выручку городу. «Мы стали игрушкой своеволия солдат и наглости вождей. Каждый требует столько власти в государстве, сколько у него сил. Ни разум, ни умеренность, ни закон, ни обычай, ни долг, ни мнение граждан, ни стыд перед потомством уже не имеют никакой цены... Поэтому заклинаю тебя, лети сюда к нам и спаси Республику, которую ты освободил... Надежда на свободу только в

ставках вашего лагеря... Как мне хотелось бы, чтобы тучи рассеялись. Если же этого не случится... я буду скорбеть только о Республике, которая должна быть бессмертной. А мне самому уже так немного осталось жить» (*Ad Brut.*, I, 10).

Но Брут не пришел. Пока он тратил время на осаду восточных городов, цезарианцы объединились и захватили Рим. Город был потоплен в крови. Тысячи людей погибли. Понял ли Брут свою вину? Осознал ли, что он, провозгласив мир, бросил Рим в пучину войн и, пожалев нескольких негодяев, обрек на смерть столько невинных, беспомощных людей? Нет. Брут так ничего и не понял. Как многие идеалисты, он обвинил во всем порочность человеческой природы. Узнав обо всем, что произошло, он воскликнул, что «сильнее, чем скорбь и сострадание, его сокрушает стыд» за римлян, ибо «они сами больше, чем тираны, виновны в том, что влачат рабскую долю» (*Plut. Brut.*, 28). Вот как описывает его самоубийство Плутарх: «Храня вид безмятежный, даже радостный, он простился со всеми по очереди и сказал, что... он счастливее своих победителей... он оставляет по себе славу высокой моральной доблести» (*Plut. Brut.*, 52). Увы! Так мог сказать Сократ, учивший сограждан добродетели и казненный ими, но не Брут, виновник их бед, пусть и безвинный.

Так кончил жизнь Брут. Но вернемся к Цицерону. Как случилось, что он стал посылать армии в бой? Как стал он главой Республики?

### ***Последняя защита Цицерона***

Цицерон тщетно призывал Брута к решительным действиям. Когда же тот захотел уехать, старый оратор не стал его удерживать. Он боялся, что Брут может пасть жертвой Антония. Сам Цицерон чувствовал, что надвигается страшное время. Он был уже стар. Он пережил две гражданские войны и три диктатуры. Сражаться он не мог. Он так устал и был так измучен! И вот он задумал провести последние дни в Греции, стране своей юности. Но он все колебался и никак не мог решиться уехать. В тоске бродил он по берегу моря. Дули противные ветры и не пускали его. И ему чудилось, что они, словно живые существа, удерживают его и просят: «Не уезжай!» (*Fam.*, XII, 25, 3). И вот тут на пустынном морском берегу 17 августа 44 года встретился он с Брутом, который готовился взойти на корабль. То было печальное зрелище, говорит Цицерон. Брут был совсем один, унылый и печальный. Казалось, что не только люди, но берега и волны его оплакивают. Узнав, что Цицерон тоже задумал уехать, Брут был

поражен. Он стал горячо доказывать, что оратор не должен покидать родину. Его долг немедленно вернуться и пробудить своими речами патриотизм римлян. Сделать это может один Цицерон. В письме к Аттику он даже горько жалуется на Цицерона, который малодушно решил бежать. Не он ли говорил, что сладка смерть за отчизну! И оратор решил вернуться. А Брут поехал в Грецию один.

Я думаю, однако, что Цицерон все равно не уехал бы. Не уехал, даже если бы не было ни встречи с Брутом, ни ветров. В страшные для Рима дни — когда создан Первый триумвират, когда готовилась гражданская война, — Цицерон всегда начинал с того, что объявлял, что уедет. Он говорил об этом так долго и настойчиво, что ученые Нового времени в праведном негодовании называют его жалким трусом, а в доказательство приводят его собственные слова. Но они как-то не замечают, что в решительный момент он всегда остается и идет навстречу буре. В первый раз он поплатился изгнанием и разрушением дома, во второй — полным разорением. Теперь настало время отдать жизнь. И Цицерон знал это. Объясняя Аттику, почему он возвращается, он говорит: «Человеку моих лет не следует отходить далеко от могилы» (*Att.*, XVI, 1, 7). И они простились: Брут отправился в Грецию, Цицерон — к могиле.

Был последний день месяца августа, когда Цицерон подъехал к воротам Рима. Его всегда встречали с восторгом, всегда к нему выходили толпы народа. Но сегодня это было нечто особенное. На много миль по обеим сторонам дороги стояли тесными рядами люди. Их было столько, что приветствия заняли целый день (*Plut. Cic.*, 43). То, что услышал он в этот знойный день, его поразило. Гнетущий страх навис над городом. Всё трепетало перед Антонием. В сенат он входил с бандой вооруженных головорезов. Солдаты оцепляли здание. Повсюду были его шпионы. Через несколько дней оратор написал другу, что в Риме все подавлено оружием. Нет ни законов, ни судов, ни намека на гражданские права (*Fam.*, X, 1, 1). На следующий день, 1 сентября, Антоний велел созвать сенат, чтобы воздать божеские почести убитому Цезарю.

Цицерон еще не имел плана действий, не собрал достаточно сведений, поэтому решил не ходить в сенат. Наутро он прислал Антонию письмо, где извинялся, что не может прийти, — он так устал от знойной дороги, что весь день вынужден провести в постели. Все знали, как слаб здоровьем Цицерон, и оправдание казалось весьма основательным. Но Антоний пришел в бешенство. Он выругался и велел солдатам силой притащить Цицерона. А если его не найдут, спалить его дом. Сенаторы стали униженно молить тирана не гневаться и простить больного старика. Но

Антоний был неумолим. Только когда ему предложили большую сумму денег как залог, он смягчился (*Plut. Cic.*, 43).

На другой день, 2 сентября, Цицерон явился в сенат. Антония не было, но сенат кишел его шпионами. Оратор поднялся и среди гробового молчания начал речь против Антония. «Таким образом, — говорит Буассье, — Цицерон кончил тем, чем начал. Два раза с промежутком в тридцать пять лет он выступил с протестом один, посреди всеобщего молчания, против страшной власти, не терпящей сопротивления»<sup>[74]</sup>. Действительно. Тридцать пять лет тому назад при диктаторе Сулле он один решился выступить против всеильного временщика Хризогона, чтобы спасти Росция Америкского. Сейчас он один решился выступить против всеильного временщика Антония, чтобы спасти Республику. Всю жизнь он защищал несчастных. Республика стала его последним клиентом. Он написал 14 речей против Антония. Назвал он их *Филиппиками*. Так назывались речи великого греческого оратора Демосфена, который боролся за свободу Афин против македонского царя Филиппа. Но речи Цицерона приобрели еще большую славу. С тех пор страстные обличения называют филиппиками. Эти речи мгновенно переписывали от руки, и они облетали империю. Весь мир, затаив дыхание, следил за этой неравной борьбой — тиран, вооруженный до зубов, и оратор, не имеющий ничего, кроме слова. Сам Брут, такой скупой на похвалы, был потрясен. «Не знаю, чему больше восхищаться — твоему мужеству или таланту», — писал он (*Ad Brut.*, II, 3).

Когда-то Цицерон говорил, что человеческое слово всеильно: оно может выбить нож из рук убийцы, оно может оживить камни, как песнь Орфея. И вдруг такое чудо случилось в его жизни. Рим обратился к нему. Антоний, всеильный Антоний бежал!.. Цицерон стал во главе Республики, которая напоминала корабль в страшную бурю. Но он ни на минуту не обольщался. Он прекрасно знал, что это не победа. Против них шли легионы Антония и Лепида. Армии надо было противопоставить только армию. А ее-то Цицерон и не имел. Брут был далеко. И Цицерон нашел войско. Децим с легионами находился в Галлии. Ценой огромных трудов оратору удалось поднять его и побудить на борьбу с Антонием. Кроме того, на стороне Республики были Октавиан и консулы Гирций и Панса. Ежедневно Цицерон произносил пламенные речи, преодолевая трусость сената и переменчивость народа. Рим теперь горел одним желанием — биться за свободу с ним, со своим вождем. Так Цицерон поднял настоящую народную войну против тирана. Энтузиазм был такой, какого и вообразить себе было невозможно несколько лет назад. Молодежь становилась в очередь, записываясь добровольцами. Поставщики не брали денег за

доставленные припасы, оружейники Рима работали даром, общины вносили жертвования, марруцинские горцы объявили, что будут считать бесчестными тех, кто не пойдет на защиту свободы. Цицерон говорил:

— Мы переживаем критический момент, борьба идет за свободу. Нам нужно победить, квинтиты, и я верю, что мы добьемся победы своим единодушием и преданностью делу. Иначе все, что угодно, но не рабство. Другие народы могут сносить неволю, римский народ может быть только свободным (*Phil.*, VI, 7).

Все находилось в невиданном напряжении. Вдруг пришла весть, что победил Антоний. Люди были в дикой панике. Многие хотели бежать, чтобы морем добраться до Брута. Но пришла вторая весть. Антоний побежден! Его победило войско, организованное Цицероном. Народ хлынул к его дверям, его подхватили на руки, понесли к Рострам и просили говорить. Из его уст народ хотел услышать о победе. Один из друзей, узнав, что происходит в Риме, в восторге писал: «Радуюсь... спасению и победе Рима... Твоему мужеству суждено нечто роковое... Твоя тога счастливее, чем оружие всех, даже теперь она вырвала из рук врагов и возвратила нам почти побежденную Республику. Теперь мы будем жить свободными!» (*Fam.*, XII, 13, 1).

Увы! Радость эта была последней. Октавиан понял, что союз с Антонием для него выгоднее службы Республике. Теперь Антоний был достаточно смирен и согласился поделиться с ним властью. Октавиан, Лепид и Антоний объединились в так называемый Второй триумвират и двинулись на Рим. Город был взят. И сразу же были введены проскрипции. Аппиан рассказывает: «Немедленно по всей стране и по всему городу началась неожиданная охота на людей, где только кого заставляли, и бесконечные вариации убийств; убитым отрезывали головы для предоставления на предмет получения награды; началось недостойное бегство и причудливые переодевания. Кто погружался в колодцы, кто прятался в сточные канавы среди нечистот, кто в закопченные дымовые трубы, кто сидел, сохраняя глубокое молчание, под черепицами крыш... Многие умирали, защищаясь от убийц, другие — не защищаясь... некоторые уморили себя голодом, другие вешались, бросались в море, с крыш или в огонь; одни отдавали себя в руки убийц и даже посылали за ними, когда те медлили; другие прятались, недостойным образом просили о пощаде... Немало людей гибло и... по ошибке. Ясно было, кто из убитых не был проскрибирован, так как рядом с трупом лежала голова; головы тех, кто был в списках, выставлялись у Ростр, где раздавалось вознаграждение... Многие добровольно умирали вместе с убиваемыми»

(В.С., IV, 13–15; пер. М. И. Ростовцева).

Число жертв все множилось. И не только потому, что новые владыки хотели потопить город в крови, чтобы задавить всякое сопротивление; нужны были деньги для солдат. Каждый триумвир жаждал внести в списки побольше состоятельных людей и своих личных врагов. Началась мена и торговля людьми. Антоний согласился, чтобы в списки внесли его дядю, который не раз спасал его; Лепид уступил родного брата. «Нет и не было, на мой взгляд, ничего ужаснее и бесчеловечнее этого обмена», — говорит Плутарх. «Они забыли обо всем человеческом или, вернее, доказали, что нет зверя свирепее человека» (*Plut. Ant.*, 19; *Cic.*, 46). «Но самый ожесточенный раздор между ними вызвало имя Цицерона: Антоний непреклонно требовал его казни, отвергая в противном случае какие бы то ни было переговоры, Лепид поддерживал Антония, а Цезарь (то есть Октавиан. — Т. Б.) спорил с обоими». Два дня Октавиан боролся за жизнь Цицерона, на третий сдался, не отказав себе в удовольствии в отместку включить в списки родичей обоих своих союзников (*Plut. Cic.*, 46).

Мы не знаем, что происходило с Цицероном после катастрофы. До нас дошли только сбивчивые противоречивые слухи. Оратора успели предупредить, что он приговорен к смерти. Решено было бежать к морю и плыть к Бруту. Цицерон был в таком состоянии, что не мог двигаться. Его положили на носилки, и рабы понесли его на юг, избегая широких римских дорог, чтобы сбить ищеек со следа. Наконец они благополучно достигли моря у Астуры. Им повезло. Они быстро нашли корабль, и капитан согласился доставить их в Грецию. Корабль снялся с якоря и отчалил. Ветер дул попутный. Вдруг у Цирция Цицерон попросил остановиться и к изумлению кормчего объявил, что сходит на берег. Не слушая возражений, он сошел с корабля и с трудом побрел к Риму. Он прошел сто стадий по направлению к городу. Он не мог покинуть родную землю.

Цицерон был так слаб, что ему пришлось свернуть с дороги и остановиться на отдых в одном своем имении. Войдя в дом, он упал на постель ничком, закрылся с головой и не шевелился. Рабы потом рассказывали, что над домом с зловещим криком носилась стая воронов. Одна птица влетела в окно, села у постели и стала теребить клювом покрывало, как бы желая открыть лицо Цицерона. «Тут рабы стали бранить себя за то, что нисколько не радуют о спасении господина, но безучастно ждут минуты, когда сделаются свидетелями его смерти, меж тем как даже дикие твари высказывают ему — гибнущему без вины — свою заботу». Они схватили господина, не слушая никаких возражений, положили его на носилки и кинулись с ним к морю.

Они бежали глухими тропками, продираясь через чащу. Между тем в дом Цицерона явились палачи со своими подручными. Они нашли двери запертыми. На стук никто не выходил. Они взломали двери и ворвались внутрь. Рабы старались выиграть время — дорога была каждая минута. На вопросы убийц они делали удивленные глаза и твердили, что ничего не знают. Наконец палачи бросили их и устремились на поиски. Они рыскали по окрестностям, останавливали всех и расспрашивали о Цицероне. Никто из местных жителей его не выдал, все старались навести убийц на ложный след. Но тут повстречали они одного из клиентов Клодия и тот указал им, по какой дороге идти.

Носилки были уже близко от берега, когда рабы слышали за собой топот. Они поняли, что их настигают. Тогда они опустили носилки на землю и окружили их, решив биться за хозяина до последней капли крови. Но Цицерон удержал их и приказал отойти. «Подперев по своему обыкновению подбородок левой рукой, он пристальным взглядом смотрел на палачей, грязный, давно не стриженный, с иссушенным мучительной заботой лицом». Даже солдаты отвернулись, когда палач подбежал к носилкам. Цицерон сам вытянул шею навстречу мечу. Палач отрубил ему голову и руку, которой он писал «Филиппики».

Антоний был на Форуме и председательствовал собранием, когда вбежал центурион. Еще издали он показывал голову и руку Цицерона, потрясая ими в воздухе. Антоний пришел в восторг. Он увенчал палача и подарил ему 250 тысяч аттических драхм. Он говорил, что уничтожен величайший и самый непримиримый их враг. Голову оратора он принес домой и ставил ее перед собой, когда обедал. Потом, пресытившись этим зрелищем, он велел выставить ее на Форуме перед трибуной, с которой Цицерон обычно обращался к народу. «И посмотреть на это стекалось больше народу, чем прежде послушать его» (*App. B.C., IV, 20; Plut. Cic., 48*) [\[75\]](#).

\*

Еще тринадцать лет бушевала гражданская война на суше и на море, в Европе и Азии. Погибли и Антоний, и Лепид. И когда, как говорит Тацит, не осталось, наконец, ни одного человека, который помнил бы Республику, сопротивление кончилось, воцарился Октавиан Август и был установлен мир. И измученные народы благословили его имя, забыв и простив всю ту кровь, которую он пролил. Август был удачливым правителем. Но и его

терзали какие-то темные муки. Ночами ему снились ужасные сны. В одну из черных минут он велел отыскать сына Цицерона и осыпал его милостями. Он, властитель мира, стал в определенный день выходить в рубище и с протянутой рукой просить у подданных милостыни. Такова была добровольная епитимья, которую он на себя наложил. Однажды Август зашел в комнату внука. Мальчик что-то читал с таким увлечением, что не слышал, как подошел дед. Он заметил его только тогда, когда тот стоял уже над ним. Мальчик с испугом схватил книгу, которую читал, и попытался спрятать ее. Но Август уже завладел свитком. Он взглянул на заглавие — то были сочинения Цицерона. Август раскрыл книгу и долго читал, казалось, забыв обо всем на свете. Затем он закрыл книгу, передал мальчику и сказал:

— Это был ученый человек и любил свою родину (*Plut. Cic.*, 49).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Но ничего ты не добился, Антоний, — пишет Веллей Патеркул. — ... Он живет и будет жить в памяти веков, пока стоит наш мир... который он, пожалуй, единственный из римлян видел духовными очами, обнял своим гением и озарил красноречием... И потомство будет восхищаться его речами, которые он написал против тебя, и будет проклинать тебя за то, что ты сделал против него. И скорее из мира исчезнет род людской, чем его имя» (*Veil.*, II, 66).

И верно. Цицерон часто думал, что будут говорить о нем через шестьсот лет. Но вот прошло две тысячи лет и интерес к нему не ослабевает. О каждом его диалоге, о каждой речи, буквально о каждой строчке написаны томы и томы. Но Цицерон слишком сложная и глубокая натура, слишком уж у него мятущаяся душа, чтобы человечество когда-нибудь смогло вынести о нем единое и окончательное суждение. Мнения о нем менялись от века к веку.

Люди Возрождения более всего ценили просвещение, ум и таланты, и Цицерон сделался их богом. Позже Европу охватили мечты о свободе, о республике, и люди с восторгом находили у Цицерона свои мысли и чаяния. Но все изменилось в XIX веке. Он прошел под знаком Наполеона. Этот великий авантюрист, этот диктатор, попиравший законы Божеские и человеческие как власть имущий, произвел на Европу неизгладимое впечатление. Особенно на Германию. Немецкие мыслители видели в нем некоего надмирного гения, «мирового духа на белом коне», взнуздавшего и укротившего саму судьбу. С жадностью бросились они искать что-нибудь подобное в истории. Двойника его увидели в Цезаре. И вот немецкие историки до небес вознесли этого титана и облили презрением Цицерона, жалкого адвокатишку, пытавшегося тягаться с этим исполином. Немецкая наука была тогда первой в Европе, и взгляд этот стал господствующим.

В XX веке было столько диктаторов, столько «мировых духов на белых конях», что они — я сейчас буду говорить только за себя — стали уже несколько приедаться. Поэтому я с гораздо большей симпатией смотрю не на очередного «сверхчеловека», а на ученого, брошенного судьбой в это море крови и безумия. Часто приходится слышать, что Цицерон был недалек, просто глуп. Он не видел, что Республика отжила свое, и упрямо боролся за обреченное дело. Но такой же упрек можно сделать героям «Белой гвардии». Они тоже были глупы, потому что не видели, что старая

Россия отжила свое, и упрямо боролась за обреченное дело. Сейчас Россия в тяжелом положении. Если — не дай Господь! — она не устоит, боюсь, что историки через две тысячи лет будут горько упрекать тех, кто пытался спасти свою родину, и назовут их глупцами, ибо они не знали имманентных законов истории.

Цицерон действительно всю жизнь отстаивал Республику. И погиб вместе с ней. Но сотни поколений читали его книги, и перед ними оживала Республика. Они плакали над ее гибелью, они воображали себя римскими героями, одевались в римскую одежду и мечтали воскресить римскую Республику. Так что если в области политики Цицерон и потерпел поражение, зато он одержал великую победу в сфере духа.

## ХРОНОЛОГИЯ<sup>[132]</sup>

- 140 — родился Красс Оратор.
- 133 — трибунат и гибель Тиберия Гракха.
- 129— гибель Сципиона Эмилиана, пытавшегося бороться со сторонниками реформ. Время действия диалога «О государстве\*».
- 123— первый трибунат Гая Гракха.
- 122— второй трибунат Гая Гракха.
- 121 — гибель Гая Гракха.
- 114— родился оратор Гортензий.
- 109— родился Помпоний Атик.
- 106, 3 января — родился Цицерон. Родился Помпей.
- 104—военная реформа Гая Мария.
- 102 — родился Цезарь.
- 101 — консулы Гай Марий и Лютаций Катул разбили кимвров при Варцеллах.
- 100— Гай Марий, в пятый раз выбранный консулом, по требованию сената вынужден выступить против бесчинств Апулея Сатурнина. Гибель Сатурнина.
- 95— родился Катон Младший (Утический).
- 93 — родился Клодий.
- 92 — Красс Оратор — цензор. Он закрывает школу красноречия. Столкновение его с Домицием Агенобарбом.
- 91 — трибун Ливий Друз предлагает свои реформы. Столкновение Красса Оратора с Брутом Ябедником в процессе Гнея Планка. Цицерон в Риме. Время действия диалога «Об ораторе». Осень — смерть Красса Оратора. Отмена законов Друза. Его убийство. Начало Союзнической войны.
- 90— закон Вария Гибриды. Речи Антония и Скавра. Изгнание Котты.
- 88 — Сулла берет Рим. Бегство Мария. Гибель Сульпиция.
- 87— захват Рима марианцами. Террор. Гибель Антония, Катула и его брата Юлия.
- 86 — смерть Мария.
- 82 — террор марианцев продолжается. Убит Сцевола Понтифик. Рим захватывает Сулла. Проскрипции. Родились Целий Руф и Лициний Кальв.
- 81 — «В защиту Квинкция» — первая известная речь Цицерона.
- 81–80 — дело Росция Америнского. Цицерон уезжает в Грецию.

78— смерть Суллы. Цицерон возвращается в Рим. Брак Цицерона с Теренцией (?). Родился Брут.

76 — дело Росция-актера.

75 — Цицерон — квестор в Лилибее.

74— Веррес — претор. Клуэнций обвиняет Оппианика в покушении на его жизнь. «Юниев суд». Осуждение и изгнание Оппианика.

73 — начало наместничества Верреса в Сицилии.

71 — Веррес возвращается из Сицилии. Сицилийцы просят помощи у Цицерона. Дивинация против Цецилия.

70— восстановление полной власти трибунов, фактически отмененное Суллой.

10 января — Цицерон получает преторский мандат на ведение дела Верреса.

13 марта — Цицерон уезжает в Сицилию.

4 мая — Цицерон в Риме у претора. Дело Верреса отложено.

Лето — Гортензий выбран консулом, Цицерон — эдилом.

5 августа — речь Цицерона против Верреса.

69— по Аврелиеву закону суд передается всем трем сословиям. Эдилитет Цицерона.

68 — первое дошедшее письмо Цицерона.

66— Цицерон — претор. Дело Авла Клуэнция Габита.

65, июль — рождение сына Марка.

64 — предвыборная кампания Цицерона. Туллия выходит замуж за Пизона. Июль — Цицерон выбран консулом.

63— консульство Цицерона. Речи «Против аграрного закона Сервилия Рулла»; «В защиту Рабирия», «В защиту Мурены» (обвинители Катон и Сервий Сульпиций). Заговор Катилины. Речи Цицерона (катилинарии). Родился Гай Октавий, будущий Август.

62— гибель Катилины в битве при Пистории. Законопроект Метелла и Цезаря. Выступление трибуна Катона. Цицерон покупает дом на Палатине. Дружба с Клодиями. Цицерон защищает катилинария Суллу. Декабрь — кошунство Клодия.

61, май — суд над Клодием. Триумфальное возвращение Помпея.

60 — Первый триумвират.

59— консульство Цезаря и Бибула. «Год организованного насилия». Смерть Метелла Целера, мужа Клодии.

Весна — Цицерон уезжает из столицы.

Осень — возвращение Цицерона.

10 декабря — Клодий становится народным трибуном.

58— отъезд Цезаря в Галлию. Действия Клодия против Цицерона.

11 марта — Цицерон покидает Рим. Начало его изгнания.

Осень — Цицерон в Диррахиуме.

Около этого времени Целий снимает квартиру в доме Клодия. Начало его романа с Клодией. Стихи Катулла против Целия.

57, 5 августа — Цицерон высаживается в Брундизиуме.

4 сентября — Цицерон возвращается в Рим. Катулл уезжает в Малую Азию. Разрыв Целия с Клодией.

56 — Катон выступает против избрания в консулы Помпея и Красса. Битвы Клодия с Милоном. Речь «В защиту Сестия».

Февраль — Клодий привлекает Милона к суду.

Весна — процесс Целия Руфа.

55 — Помпей и Красс — консулы. Первый поход Цезаря в Британию. Гневные стихи Катулла против триумвиров. Помпей открывает первый каменный театр в Риме. Диалог «Об ораторе».

54— смерть Юлии, дочери Цезаря, жены Помпея. Второй поход Цезаря в Британию. Квинт Цицерон — легат при нем. Катон — претор. Начало работы над «Государством».

53— разгром римлян при Каррах. Гибель Красса и его сына Публия. Брут — квестор в Киликии при тесте Аппии. Начало его финансовых афер. Тирон получает свободу.

52— Помпей — консул без коллеги. Работа над «Законами».

18 января — убийство Клодия на Аппиевой дороге. Суд над Милоном и его изгнание.

51 — Цицерон назначен наместником в Киликию. Закончен диалог «О государстве». Апрель — Цицерон покидает Рим, в июле прибывает в провинцию.

50 — Туллия выходит замуж за Долабеллу.

Лето — Цицерон покидает Киликию. Больной Тирон остается в Патрах. Умер Гортензий.

49 — Цезарь переходит Рубикон (январь). Цезарь в Риме. Помпей бежит из Италии (март).

7 июля — Цицерон уезжает вслед за ним.

48— сражение при Диррахиуме. Фарсал. Цицерон, Брут и Кассий сдаются Цезарю. Милон и Целий поднимают восстание против Цезаря и гибнут. Помпей убит в Египте. Катон с остатками республиканских войск уезжает в Африку. Осень — Цицерон в Брундизиуме, Цезарь в Египте.

47, лето — Туллия приезжает в Брундизиум. Осень — Цезарь возвращается в Италию. Цицерон получает разрешение жить в Риме.

46 — Цезарь в Африке. *Февраль* — республиканцы разбиты при Тапсе. Катон кончает с собой в Утике. Цезарь уезжает в Испанию. Реформа календаря. Развод с Теренцией<sup>[133]</sup>. Речи «В защиту Марцелла», «В защиту Лигария», «Брут, или О знаменитых ораторах», «Оратор», «Катон». Туллия разводится с Долабеллой. Женитьба Цицерона на Публилии (?).

45 — в битве при Мунде в Испании Цезарь побеждает сыновей Помпея. *Февраль* — смерть Туллии. Цицерон уезжает в Астуру. Написаны книги «Об утешении», «Гортензий», «Академики», «О пределах добра и зла», «Тускуланские беседы», «О природе богов». *Осень* — возвращение в Рим Цицерона и Цезаря. Брут разводится с Клавдией и женится на Порции. Цицерон разводится с Публилией (?).

44 — Цезарь консул в пятый раз и диктатор навечно.

15 *февраля* — Антоний предлагает Цезарю корону. Брут вступает в заговор Кассия. К ним присоединяются заговорщики из офицеров Цезаря.

15 *марта* — убийство Цезаря.

17 *августа* — встреча в Веллии Цицерона с Брутом.

31 *августа* — Цицерон возвращается в Рим. 2 *сентября* — первая «Филиппика». Книги Цицерона «О предвидении», «О судьбе», «О старости», «О дружбе», «Об обязанностях».

43 — Антоний разбит под Мутиной. Смерть консулов Гирция и Пансы. Объединение Октавиана, Антония и Лепида (Второй триумвират). Проскрипции.

7 *декабря* — убийство Цицерона.

## КРАТКИЙ СЛОВАРЬ РИМСКИХ ТЕРМИНОВ

**Академия** — сады под Афинами, где Платон открыл философскую школу. Первоначально там учили последователи Платона. Потом руководство захватили скептики. Поэтому в переносном смысле Древняя Академия — это учение Платона; Новая Академия — учение скептиков.

**Гинекей** — у греков женская половина дома.

**Иды** — см. прим. на с. 131.

**Император** — победоносный вождь; полководец.

**Календы** — см. прим. на с. 131.

**Квестор** — магистрат, ведающий финансами.

**Квириды** — название полноправных римских граждан.

**Консул** — высший магистрат Республики. Их двое. Они являются верховными главнокомандующими, собирают сенат и могут на одни сутки арестовать римского гражданина. Более, чем на сутки, арестовать римлянина вообще невозможно.

**Консуляр** — бывший консул.

**Курия** — здание, где заседал сенат.

**Ликтор** — служитель высших магистратов, несший фасции.

**Магистраты** — так назывались должностные лица в Риме. Они были коллегиальны, выбирались народом и в классическое время были ему подотчетны. Срок полномочий всех магистратов, кроме цензора, один год. Высшие магистраты — преторы, консулы, цензоры, — а также народные трибуны могли собирать народное собрание и предлагать народу законы.

**Муниципий** — город в Италии с правом самоуправления. После Союзнической войны все муниципии получили право римского гражданства.

**Ноны** — см. прим. на с. 131.

**Отцы** — официальное название римских сенаторов.

**Преварикатор** — сторонник обвиняемого, который взялся за обвинение, чтобы завалить дело.

**Претор** — судебный магистрат.

**Принцепс сената** — первый в списке сенаторов, который первым подает мнение.

**Ростры** — возвышение на Форуме, с которого говорили ораторы.

**Трибун народный** (букв.: **плебейский**) — магистрат, защитник римского народа вообще и каждого гражданина в частности. Каждый

римлянин мог обратиться к нему, терпя притеснения от высших магистратов. Имел право останавливать любое действие других магистратов (право вето). Лицо священное и неприкосновенное. В отличие от всех других должностных лиц трибуны входили в должность не 1 января, а 10 декабря.

**Фасции** — пучки прутьев и секиры, знаки достоинства высших магистратов.

**Форум** — площадь между Капитолийским и Палатинским холмами. Средоточие общественной жизни Рима. Здесь собирались народные собрания, проходил суд, шла торговля и находились банки (яны). Форум находился в низине, поэтому туда спускались по лестнице.

**Эдил** — магистрат. В его обязанности входило следить за порядком в городе, устраивать праздники (на свои или казенные деньги) и заботиться о снабжении города продовольствием.

## СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Я привожу в собственном переводе цитаты из следующих произведений Цицерона: «О государстве», «О законах», «О предвидении», «О пределах добра и зла», «О природе богов», «О своем доме», «Об обязанностях», «Об ответах гаруспиков», «Письма брату Квинту», «Письма к Аттику», «Письма к близким», «Письма к Бруту», «Речь в защиту Лигария», «Речь в защиту Планция», «Речь в защиту поэта Архия», «Речь в защиту Сестия», «Речь в защиту Целия», «Речь в сенате после возвращения», «Филиппики».

Остальные произведения оратора даются в переводах:

«Брут» — И. П. Стрельниковой (в ряде случаев с нашими изменениями); «Об ораторе» — Ф. А. Петровского; «Оратор», «Речь в защиту Милона», «Тускуланские беседы» — М. Л. Гаспарова; «Речи об аграрном законе против Рулла», «Речь в защиту Клуэнция», «Речь в защиту Мурены», «Речь в защиту Г. Рабирия Старшего», «Речь в защиту актера Росция», «Речь в защиту Росция Америкейского», «Речи против Катилины», «Речи против Верреса» и «Дивинация против Цецилия» — Ф. Ф. Зелинского.

Из других античных авторов в своем переводе я даю отрывки из «Аттических ночей» Авла Геллия, «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского, «Финикиянок» Еврипида, «Фарсалии» Лукана, «Наставления оратору» Квинтилиана, «О природе вещей» Лукреция, «Сатурналий» Макробия, «О знаменитых мужах», «Вакхид» Плавта, «Заговора Катилины» и «Югуртинской войны» Саллюстия, «Достопримечательностей в делах и речах» Валерия Максима, «Римской истории» Веллея Патеркула и «Энеиды» Вергилия.

Остальные античные авторы приводятся в переводах:

Аврелий Августин. Исповедь — Ф. Ф. Зелинского.

Аппиан. Гражданские войны — под ред. С. А. Жебелева, О. О. Крюгера.

Асконий Педиан. Предисловие к речи в защиту Милона — В. О. Горенштейна.

Гомер. Илиада, Одиссея — В. В. Вересаева.

*Катулл*. Стихотворения — Адр. Пиотровского.  
*Лактанций*. Божественные установления — Ф. Ф. Зелинского.  
*Платон*. Апология Сократа — М. С. Соловьева; Ион — Я. М. Боровского; Государство — А. Н. Егунова.  
*Плиний Младший*. Письма — А. И. Доватура.  
*Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Антоний, Брут, Катон Младший, Катон Старший, Цицерон — С. П. Маркиша; Красс — В. В. Петуховой; Лукулл — С. С. Аверинцева; Марий — С. А. Ошерова; Помпей — Г. А. Стратановского; Цезарь — Г. А. Стратановского, К. П. Лампсакова.  
*Светоний*. Божественный Юлий, Нерон, Тиберий — М. Л. Гаспарова.  
*Сенека*. Нравственные письма к Люцилию — С. А. Ошерова.  
*Тацит*. Анналы, Диалог об ораторах — А. С. Бобовича.  
*Тит Ливий*. Эпитомы — М. Л. Гаспарова.  
*Элиан*. Пестрые рассказы — С. В. Поляковой.

## ***ИЗДАНИЯ ИСТОЧНИКОВ***

## ИЗДАНИЯ ИСТОЧНИКОВ

ORF<sup>2</sup>

Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae.  
Coll. *Malcovati*. Sec. ed. Torino, 1955.

## АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ

<i>Ael. Hist. an.</i>	<i>Aeliani</i> Historia animalium	<i>Элиан</i> . История животных
<i>Var.</i>	Varia historica	Пестрые рассказы
<i>App. B.C.</i>	<i>Appiani</i> De bello civili	<i>Аппиан</i> . Гражданские войны
<i>Arnob.</i>	<i>Arnobii</i> Adversus gentes	<i>Арнобий</i> . Против язычников
<i>Artem. Onir.</i>	<i>Artemidori</i> onirocriticon	<i>Артемидор</i> . Сонник
<i>Asc. Ped. Mil.</i>	<i>Asconii Pediani</i> Praefatio ad orationem pro Milone	<i>Асконий Педиан</i> . Предисловие к речи в защиту Милона
<i>Atteius Capito a. Gell.</i>	<i>C. Atteii Capitonis</i> De officio senatoris (apud A. Gellium)	<i>Аттей Капитон</i> . Об обязанностях сенатора (по Геллию)
<i>Aug. C.D.</i>	<i>Aurelii Augustini</i> De civitate dei	<i>Аврелий Августин</i> . О граде божьем
<i>Conf.</i>	Confessiones	Исповедь
<i>Catul.</i>	<i>C. Valerii Catulli</i> Carmina	<i>Катулл</i> . Стихотворения
<i>Cic. Ad Brut.</i>	<i>M. Tullii Ciceronis</i> Epistulae ad Brutum	<i>Цицерон</i> . Письма к Бруту
<i>Agr.</i>	De lege agraria contra Rullum	Речи об аграрном законе против Рулла
<i>Amic.</i>	De amicitia	О дружбе
<i>Arch.</i>	Pro Archia poeta	Речь в защиту поэта Архия
<i>Att.</i>	Epistulae ad Atticum	Письма к Аттику
<i>Brut.</i>	Brutus	Брут
<i>Cat.</i>	In Catilinam orationes	Речи против Катилины
<i>Cael.</i>	Pro Caelio	Речь в защиту Целия
<i>Cluent.</i>	Pro Cluentio	Речь в защиту Клуэнция
<i>Consol.</i>	De consolatione	Об утешении
<i>De fin.</i>	De finibus malorum et bonorum	О пределах добра и зла
<i>De nat. deor.</i>	De natura deorum	О природе богов
<i>De re publ.</i>	De re publica	О государстве
<i>De off.</i>	De officiis	Об обязанностях
<i>De or.</i>	De oratore	Об ораторе
<i>Div.</i>	De divinatione	О предвидении
<i>Fam.</i>	Epistulae ad familiares	Письма к близким
<i>Font.</i>	Pro Fonteio	Речь в защиту Фонтея
<i>Har.</i>	De haruspicum responsis	Об ответах гаруспиков



<i>Leg.</i>	De legibus	О законах
<i>Lig.</i>	Pro Ligario	Речь в защиту Лигария
<i>Marcell.</i>	Pro Marcello	Речь в защиту Марцелла
<i>Mil.</i>	Pro Milone	Речь в защиту Милона
<i>Mur.</i>	Pro Murena	Речь в защиту Мурены
<i>Or.</i>	Orator	Оратор
<i>Phil.</i>	Philippicae	Филиппики
<i>Planc.</i>	Pro Plancio	Речь в защиту Планция
<i>Post. red.</i>	Post reditum in senatu	Речь в сенате после возвращения
<i>Pro dom.</i>	Pro domo sua	О своем доме
<i>Q. fr.</i>	Epistulae ad Quintum fratrem	Письма брату Квинту
<i>Quinct.</i>	Pro Quinctio	Речь в защиту Квинкция
<i>Rab. mai.</i>	Pro C. Rabirio Maiore	Речь в защиту Г. Рабирия Старшего
<i>Rosc. Amer.</i>	Pro S. Roscio Amerino	Речь в защиту Росция Америкейского
<i>Rosc. Histr.</i>	Pro Q. Roscio Histrione	Речь в защиту актера Росция
<i>Sest.</i>	Pro Sestio	Речь в защиту Сестия
<i>Sull.</i>	Pro Sulla	Речь в защиту Суллы
<i>Tusc.</i>	Tusculanae disputationes	Тускуланские беседы
<i>Vatin.</i>	In Vatinius	Речь против Ватиния
<i>Verr.</i>	In Verrem	Речи против Верреса
<i>Verr. Div.</i>	In Caecilium Divinatio	Дивинация против Цецилия
<i>Q. Cic. Comm. pet.</i>	Q. Tullii Ciceronis Commentariolum petitionis	Квинт Цицерон. Краткое наставление по соисканию
<i>De vir. illustr. Dio.</i>	De viris illustribus Dionis Cassii Cocceiani	О знаменитых мужах Дион Кассий Кокцеян.
<i>Diod.</i>	Historia Romana Diodori Siculi	Римская история Диодор Сицилийский.
<i>Eur. Phoen. Flor.</i>	Bibliotheca historica Euripidis Phoenissae L. Annaei Flori	Историческая библиотека Еврипид. Финикиянки Флор. Краткая история деяний римлян
<i>Gell.</i>	Epitome de gestis romanorum Auli Gellii Noctes Atticae	Авл Геллий. Аттические ночи
<i>Hom. Il.</i>	Homeri Ilias	Гомер. Илиада
<i>Od.</i>	Odyssea	Одиссея
<i>Hor. Epod.</i>	Horatii Epodon liber	Гораций. Эподы
<i>Lact. Div. inst.</i>	Lactantii Institutiones divinae	Лактанций. Божественные установления



<i>Liv. Ep.</i>	<i>Titī Livii Epitomae librorum deperditorum</i>	<i>Тит Ливий. Эпитомы</i>
<i>Luc. Phars.</i>	<i>M. Annaei Lucani Pharsalia</i>	<i>Лукан. Фарсалия</i>
<i>Lucr.</i>	<i>Lucretii Cari De rerum natura</i>	<i>Лукреций. О природе вещей</i>
<i>Macrob. Sat.</i>	<i>Ambrosii Theodosii Macrobiani Saturnalia</i>	<i>Макробий. Сатурналии</i>
<i>Nep. Prolog.</i>	<i>Cornelii Nepotis Prologus</i>	<i>Непот. Вступление</i>
<i>Plato. Apol.</i>	<i>Platonis Apologia Socratis</i>	<i>Платон. Апология Сократа</i>
<i>De re publ.</i>	<i>De re publica</i>	<i>Государство</i>
<i>Io.</i>	<i>Ion</i>	<i>Ион</i>
<i>Plaut. Bacch.</i>	<i>T. Maccii Plauti Bacchides</i>	<i>Плавт. Вакхиды</i>
<i>Plin. Ep.</i>	<i>C. Plinii Caecilii (Junioris) Epistulae</i>	<i>Плиний Младший. Письма</i>
<i>Plin. N.H.</i>	<i>C. Plinii Secundi (Majoris) Naturalis historiae</i>	<i>Плиний Старший. Естественная история</i>
<i>Plut.</i>	<i>Plutarchi Vitae parallelae:</i>	<i>Плутарх. Сравнительные жизнеописания:</i>
<i>Ant.</i>	<i>Antonius</i>	<i>Антоний</i>
<i>Brut.</i>	<i>Brutus</i>	<i>Брут</i>
<i>Caes.</i>	<i>Caesar</i>	<i>Цезарь</i>
<i>Cat. Mai.</i>	<i>Cato Maior</i>	<i>Катон Старший</i>
<i>Cat. Min.</i>	<i>Cato Minor</i>	<i>Катон Младший</i>
<i>Cic.</i>	<i>Cicero</i>	<i>Цицерон</i>
<i>Crass.</i>	<i>Crassus</i>	<i>Красс</i>
<i>Lucul.</i>	<i>Lucullus</i>	<i>Лукулл</i>
<i>Mar.</i>	<i>Marius</i>	<i>Марий</i>
<i>Pomp.</i>	<i>Pompeius</i>	<i>Помпей</i>
<i>Praec. ger. reip.</i>	<i>Praecepta gerendae rei publicae</i>	<i>Наставления по управлению государством</i>
<i>Polyb.</i>	<i>Polybii Historiae libri XL</i>	<i>Палибий. Всеобщая история</i>
<i>Quintil.</i>	<i>M. Fabii Quintiliani Institutiones oratoriae</i>	<i>Квинтилиан. Наставление оратору</i>
<i>Sall. Cat.</i>	<i>C. Sallustii Crispi Catilinae conjuratio</i>	<i>Саллюстий. Заговор Катилины</i>
<i>Ep.</i>	<i>Epistulae ad Caesarem</i>	<i>Письма Цезарю</i>
<i>Jug.</i>	<i>Bellum Jugurthinum</i>	<i>Югуртинская война</i>
<i>Sen. Cons. ad Helv.</i>	<i>L. Annaei Senecae Consolatio ad Helviam</i>	<i>Сенека. Утешение к Гельвии</i>
<i>De brev. v.</i>	<i>De brevitate vitae</i>	<i>О быстротечности жизни</i>
<i>Luc.</i>	<i>Ad Lucillum epistulae morales</i>	<i>Нравственные письма к Люцилию</i>



<i>Sen. Patr. Sua.</i>	<i>Senecae Patris</i> <i>Suasoriae</i>	<i>Сенека Старший</i> <i>(Отец). Совещательные</i> <i>речи</i>
<i>Strab.</i>	<i>Strabonis Geographica</i>	<i>Страбон. География</i>
<i>Suet. Jul.</i>	<i>C. Suetonii Tranquilli</i> <i>Divus Julius</i>	<i>Светоний.</i> <i>Божественный Юлий</i>
<i>Ner.</i>	<i>Nero</i>	<i>Нерон</i>
<i>Tib.</i>	<i>Tiberius</i>	<i>Тиберий</i>
<i>Tac. Ann.</i>	<i>P. Cornelii Taciti</i> <i>Annales</i>	<i>Тацит.</i> <i>Анналы</i>
<i>Dial.</i>	<i>Dialogus de oratoribus</i>	<i>Диалог об ораторах</i>
<i>Val. Max.</i>	<i>Valerii Maximi</i> <i>Factorum et dictorum</i> <i>memorabilium libri IX</i>	<i>Валерий Максим.</i> <i>Девять достопримечательностей в делах и</i> <i>речах</i>
<i>Vell.</i>	<i>Velleii Paterculi</i> <i>Historiae Romanae</i> <i>libri II</i>	<i>Веллей Патеркул.</i> <i>Римская история</i>
<i>Verg. Aen.</i>	<i>P. Vergilii Maronis</i> <i>Aeneis</i>	<i>Вергилий.</i> <i>Энеида</i>

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

### *Важнейшие издания Цицерона на русском языке*

Цицерон, Марк Туллий. Полное собрание речей / Изд., ред. и прим. Ф. Ф. Зелинского. В 2 т.: Т. 1. СПб., 1901.

Цицерон, Марк Туллий. Речи. В 2 т. / Изд. подг. В. О. Горенштейн, М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1962.

Цицерон, Марк Туллий. Избранные сочинения. М., 1975 (переиздано с дополнениями в 2000 году).

Цицерон, Марк Туллий. Диалоги «О государстве», «О законах» / Изд. подг. И. Н. Веселовский, В. О. Горенштейн, С. Л. Утченко. М., 1966.

Цицерон, Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве / Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1972.

Цицерон, Марк Туллий. О старости. О дружбе. Об обязанностях / Изд. подг. В. О. Горенштейн, М. Е. Грабарь-Пассек, С. Л. Утченко. М., 1974.

Цицерон, Марк Туллий. О природе богов // Вестник древней истории. 1982. № 2–4; 1983, № 1 I Пер. и комм. Т. А. Лапиной, под ред. В. И. Кузищина.

Цицерон, Марк Туллий. Учение академиков / Пер. Н. А. Федорова, комм. и вступит. ст. М. М. Сокольской. М., 2004.

Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. В 3 т. / Пер. и комм. В. О. Горенштейна. М.; Л., 1949–1951.

### *Основная литература о Цицероне на русском языке*

Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк о римском обществе времен Цезаря / Пер. с фр. Н. Н. Спиридонова. М., 1915 (репринт: СПб., 1993).

Грабарь-Пассек М. Е. Цицерон // История римской литературы. Т. 1. М., 1959.

Грималь П. Цицерон / Пер. с фр. Г. С. Кнабе, Р. Б. Сашиной. М., 1991 (серия «ЖЗЛ»).

Зелинский Ф. Ф. Цицерон в истории европейской культуры // Зелинский Ф. Ф. Возрождении. Пг., 1922.

Моммзен Т. История Рима / Пер. с нем. под ред. Н. А. Машкина. Т. 3.

М., 1940.

*Утченко С. Л.* Кризис и падение Римской республики. М., 1965.

*Утченко С. Л.* Цицерон и его время. М., 1973.

Цицерон. Сборник статей / Под ред. Ф. А. Петровского. М., 1958.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Август — см. Октавий Августин Блаженный (IV–V вв. н. э.), отец церкви — 8, 11, 438, 446, 448

Авиллий, приятель Оппианика Старшего — 187, 188

Аврелий Котта, Гай, ученик Красса Оратора и Антония, друг Цицерона, участник диалогов «Об ораторе» и «О природе богов» — 31–33, 49, 50, 63, 111, 115, 439, 441, 443, 445, 447, 448, 502

Аврий, Марк, сын Динеи, брат Магии — 185, 186, 188, 201

Аврий Мелин, Авл, муж Клуэнции, потом Сассии — 186, 188, 200, 201

Азеллий, приятель Оппианика Старшего — 197

Азувий, богатый ларинат — 187, 188

Аквилий, Маний, соратник Мария — 155

Александр Македонский — 301, 302, 473

Аллий, друг поэта Катутла — 271, 275

Альбий Оппианик (Младший), Стаций, сын Оппианика Старшего — 183, 184, 191, 196, 197, 202

Альбий Оппианик (Старший), Стаций, отчим Клуэнция — 182, 185–195, 197–202, 204, 205, 261

Альфиери, итальянский поэт — 463

Анней Лукан, Марк, римский поэт времен Нерона, племянник Сенеки, автор поэмы о Гражданской войне «Фарсалия» — 286, 379, 381, 397, 402, 468

Анней Сенека, Люций, философ-стоик, воспитатель Нерона — 241, 285, 402

Анний Милон, Тит, народный трибун 57 г., враг Клодия, подзащитный Цицерона — 333–335, 361, 366–373, 382, 411, 429

Антиох, греческий философ — 67

Антоний, Марк, оратор, учитель Цицерона, консул 99 г., участник диалога «Об ораторе» — 25, 26, 30, 33, 34, 53, 54, 62, 63, 141, 155, 205, 344

Антоний, Марк, лриумвир — 16, 74, 389, 392, 394, 408, 409, 412, 432, 451, 452, 455, 457, 458, 471, 473–477, 481, 484–498, 500

Антоний Гибрида, Гай, коллега Цицерона по консулату — 214, 215

Апеллес, греческий художник — 151, 315

Аполлоний Молон, учитель красноречия — 67, 68

Аппиан, греческий историк II в. н. э. — 41, 44, 46, 304–306, 308, 317, 319, 334, 452, 469, 496

Апроний, сицилийский откупщик — 156  
Апулей Сатурнин, Люций, народный трибун 103 и 100 гг. — 30, 211, 221, 222, 235, 237  
Арат, автор поэмы «Феномены» — 36  
Аристотель, греческий философ — 10, 11, 32, 65, 86, 344, 436, 443  
Аристофан, греческий комедиограф — 91, 93  
Арнобий, церковный писатель III в. н. э. — 446  
Аррий, Гай, сосед Цицерона — 311  
Архагат из Галунтия, сицилиец — 153  
Архилох, греческий поэт — 289  
Архимед, греческий математик и физик III в.- 35, 36, 121, 122, 195  
Асконий Педиан, античный комментатор Цицерона — 366  
Аггий, обвинитель Клуэнция — 183, 190, 191  
Аттик — см. Помпоний Аттик Ахилла, временщик при Александрийском дворе — 399, 400  
Ацилий Глабрион, Маний, претор 70 г., председатель суда над Верресом — 170, 171, 174

Байрон, Дж. Г. — 61, 206, 342  
Бальб — см. Корнелий Бальб Бальб — см. Люцилий Бальб Бальбуций, друг Оппианика Младшего — 196  
Бестия — см. Кальпурний Бестия Бибул — см. Кальпурний Бибул  
Блок А. А. - 206, 238, 262, 263, 265  
Брут — см. Юний Брут Бульб (Лук), судья в деле Оппианика Старшего — 193–195, 204, 205

Валерий Катулл, Гай, римский поэт — 19, 20, 25, 35, 83, 199, 265–276, 316, 336–338, 362, 412, 465, 509  
Валерий Максим, римский писатель 1 в. н. э. — 112  
Валерий Триарий, Гай, республиканец, погибший в битве при Фарсале — 359, 412  
Валерий Флакк, Люций, претор 63 г. — 244  
Валерия Павла, сестра Триария, жена Децима Брута — 359  
Варий Гибрида, Квинт, народный трибун 90 г. — 49, 50, 63, 502  
Варрон — см. Теренций Варрон Ватиний, Публий, цезарианец, народный трибун 59 г. — 224, 225, 310, 311, 336, 338, 339 Веллей, эпикуреец, участник диалога Цицерона «О природе богов» — 439, 441, 445 Веллей Патеркул, римский историк I в. н. э. — 285, 294, 486, 500 Вераний, друг поэта Катулла — 83, 267

Вергилий Марон, Публий — 352  
Веррес, Гай, сицилийский наместник, обвиненный Цицероном-117, 123–179, 205, 206, 212, 234, 261, 290, 354, 468, 504, 505  
Вибий, сицилийский откупщик — 138  
Вибий, Секст, житель Ларина — 186, 188  
Вибий Панса, Гай, цезарианец, консул 43 г. — 491, 495  
Вольтер — 10, 446  
Вольтурций, катилинарий — 245, 246

Габиний, катилинарий — 245, 247, 248  
Габиний, Авл, консул 58 г. — 180  
Гавий, римлянин, казненный Верресом — 163–165, 173, 176  
Ганнибал, карфагенский полководец 11 в. — 258  
Геллий, Авл, римский писатель и ученый II в. н. э. — 77, 78, 112, 176, 205  
Гельвия, мать Цицерона — 18  
Гераклий, сицилийский богач — 143–145, 152  
Геродот, греческий историк V в. — 118  
Геюс из Мессаны, богатый сицилиец — 150  
Гиерон, сицилийский тиран — 150, 441  
Гирций, Анл, цезарианец, консул 43 г. — 389, 491, 495  
Глабрион — см. Ацилий Глабрион  
Гоголь Н. В. — 204, 205  
Гомер-91, 104, 121, 176, 276, 310, 312, 341, 478  
Гораций Флакк, Квинт — 225  
Гортензий Гортал, Квинт, оратор, соперник Цицерона — 74, 111, 112, 114–117, 125, 129, 136, 137, 141, 148, 155, 156, 165, 168, 169, 171–173, 178, 205, 265, 270, 290, 291, 419, 420, 436, 438, 504  
Гортензия, дочь оратора Гортензия — 74  
Гофман Э. Т. А. - 14, 349, 350, 448, 509  
Гракх — см. Семпроний Гракх  
Гутта (Соус), судья в деле Оппианика Старшего — 193–195, 204, 205

Данте — 15, 286, 349, 351, 463  
Дейотар, царь Галатии, друг Цицерона — 379  
Дексон Тиндаридский, сицилиец — 161, 173  
Деметрий Сир, греческий ритор — 67  
Демокрит, греческий философ — 265  
Демосфен, греческий оратор, выступивший за свободу Греции против

Филиппа и Александра Македонских — 66, 91, 465, 495  
 Децим Брут — см. Юний Брут Альбин, Децим  
 Дидро Д. — 446  
 Диккенс Ч. — 342  
 Динея, мать Магии, теща Оппианика Старшего — 185–187  
 Диодор из Лилибея, сицилиец — 152  
 Диодот, философ-стоик, наставник Цицерона — 35, 36, 84  
 Дион Кассий, автор римской истории на греческом языке II–III в. н. э.  
 — 505  
 Дионисий Младший, сын Дионисия Старшего, тиран Сиракуз — 418  
 Дионисий Старший, полководец, сиракузский тиран — 461  
 Дионисия, артистка мимического театра в Риме — 112, 290  
 Долабелла — см. Корнелий Долабелла  
 Домиций Агенобарб, Гней, коллега Красса Оратора по цензуре — 28,  
 29  
 Домиций Агенобарб, Люций, зять Катона Утического — 335, 336  
 Достоевский Ф. М. — 15, 64, 180, 280, 310, 336, 356, 448, 503, 509  
  
 Евбулид, сицилиец — 173  
 Еврипид, греческий трагик — 91, 387  
  
 Зенон Китийский, греческий философ, основатель Стои — 86, 297  
  
 Ибсен Г. - 260–262  
 Иероним, Св., церковный писатель IV–V вв. н. э. — 7, 11  
  
 Калигула, римский император — 101, 456  
 Кальв — см. Лициний Кальв Кальпурний Бестия, Люций, народный  
 трибун 63 г., обвинен Целием — 21  
 Кальпурний Бестия Младший, Люций (Семпроний Атратин), сын  
 трибуна Бестии, обвинитель Целия — 21  
 Кальпурний Бибул, Марк, коллега Цезаря по консулату 59 г., зять  
 Катона Младшего — 307, 308, 313, 315, 478  
 Кальпурний Бибул Младший, сын Бибула и Порции — 479  
 Кальпурний Пизон, товарищ по путешествию Цицерона в Грецию —  
 66  
 Кальпурний Пизон Фруги, Гай, первый муж Туллии — 430, 510  
 Кальпурния, последняя жена Цезаря — 381, 481  
 Камерий, друг поэта Катулла — 268

Карбон — см. Папирий Карбон Карнеад, греческий философ III–II вв., глава Новой Академии скептиков — 32, 66

Карпинаций, сицилийский откупщик — 137, 139, 140

Каска — см. Сервилий Каска Кассий Лонгин, Гай, друг и родственник Брута, глава заговора против Цезаря — 286, 416, 470–472, 474–477, 482, 490

Катилина — см. Сергей Катилина

Катон — см. Порций Катон

Катул — см. Лутаций Катул

Катулл — см. Валерий Катулл

Квадрантария (Трехгрошовая) — см. Клодия

Квинктий, защитник Оппианика Старшего — 182, 190, 191, 195

Квинктий, подзащитный Цицерона, родственник Росция актера — 503, 504

Квинтилиан — см. Фабий Квинтилиан

Кибираты, братья-художники, подручные Верреса — 151–154, 205

Клавдий Алпий, децемвир — 274

Клавдий Аппий, тесть Брута, брат Клодия, консул 54 г., наместник Киликии до Цицерона — 373, 375, 377, 378, 466, 468, 478

Клавдий Аппий Слепой, римский государственный деятель и полководец IV в. — 363, 364

Клавдий Марцелл, Гай, муж Октавии — 381

Клавдий Пульхр, Публий, консул 249 г. — 274

Клеомен, грек, помощник Верреса — 143, 157–161

Клеопатра VII, царица Египта — 457

Клодий Пульхр, Публий, вождь популяров, народный трибун 58 г. — 277–283, 317–320, 323, 325–328, 333–335, 338, 339, 355, 361, 365–373, 377, 413, 429, 455, 486, 498, 509

Клодия (Лесбия Катулла, Волоокая Цицерона, Квадрантария — Трехгрошовая), старшая сестра Клодия, жена Метелла Целера — 265, 270–279, 283, 317, 322, 359, 361–366, 462, 509

Клуэнций Габит, Авл, ларинат, подзащитный Цицерона — 116, 182–185, 188–191, 194–203, 206

Клуэнция, сестра Авла Клуэнция, жена Мелина — 200, 201

Клуэнция, тетка Авла Клуэнция, жена Оппианика Старшего — 185

Корнелий Артемидор, греческий врач, подручный Верреса — 142

Корнелий Бальб, Люций, приближенный Цезаря, финикиец из Гадеса — 336, 389, 452

Корнелий Долабелла, Публий, зять Цицерона — 389, 396, 431, 434

Корнелий Лентул, катилинарий, отчим Антония — 241–250, 254, 255,

259, 282, 409, 485, 508

Корнелий Непот, римский историк, друг Катулла и Цицерона-12, 73, 265, 504

Корнелий Сулла, Публий, катилинарий, родственник диктатора Суллы, подзащитный Цицерона — 506

Корнелий Сулла, Фавст, сын диктатора — 474, 475

Корнелий Сулла Счастливый, Люций, диктатор — 51, 52, 54–56, 60–62, 65, 69, 95, 96, 101, 107, 123, 142, 147, 170, 177, 186, 188, 211, 212, 227–229, 235, 247, 251, 258, 283, 294, 301–303, 305, 379, 425, 427, 450, 456, 461, 475, 495, 503, 504

Корнелий Сципион Африканский Младший Эмилиан, приемный внук Сципиона Старшего, римский полководец и политик, разрушитель Карфагена. Участник диалогов «О государстве» и «О старости» — 86, 106, 217, 258, 346–353, 448, 460, 505

Корнелий Сципион Африканский Старший, Публий, великий римский полководец, победитель Ганнибала — 12, 106, 258, 347–349, 352

Корнелий Тацит, Публий, римский историк I–II вв. н. э. — 23, 24, 417, 421, 465, 498

Корнелий Тлеподем, Люций, греческий художник из Кибире, один из братьев-кибиратов — 142, см. также Кибираты

Корнелий Цетег, Гай, катилинарий-241, 245–250

Корнелий Цинна, Люций, марианец — 53, 247, 444, 460

Корнелия, дочь Метеллы Сципиона, жена Публия Красса, потом Помпея — 381, 398–400, 402

Котга — см. Аврелий Котга

Красс — см. Лициний Красс

Крассипед — см. Фурий Крассипед

Ксенофонт, греческий писатель — V–IV вв. 91

Курий, Квинт, катилинарий — 233–235, 506

Курий, Маний, банкир из Патр — 81

Курий Дентат, Маний, римский герой III в. — 17

Курион — см. Скрибоний Курион

Лабий, Тит, цезарианец — 222, 253, 505

Лактанций, церковный писатель III–IV в. н. э. — 7, 354, 446

Лека — см. Порций Лека Лелий Мудрый, Гай, консул 140 г., лучший друг Сципиона Эмилиана, участник диалогов «О государстве», «О старости» и «О дружбе» — 460

Лений Флакк, Марк, человек, принимавший Цицерона во время

изгнания — 323

Лентул — см. Корнелий Лентул

Лепид — см. Эмилий Лепид

Лесбия — см. Клодия

Ливий, Тит, римский историк I в. до н. э. — I в. н. э. — 11

Ливий Друз, Марк, народный трибун 91 г. — 43–50, 63, 105, 262, 287, 503

Лигарий Квинт, республиканец, подзащитник Цицерона — 425, 426, 452, 476, 477

Лициний, приятель Целия — 364, 365

Лициний Кальв, Гай, поэт и оратор, друг Катулла — 113, 269, 338, 339, 412

Лициний Красс, Марк, консул 70 и 55 гг., триумвир — 214, 215, 252, 282, 283, 305–307, 309, 317, 326, 327, 329, 330, 335, 336, 338, 379–381, 483

Лициний Красс, Публий, сын Красса триумвира, ученик Цицерона — 326, 327, 329, 330, 359, 380, 381

Лициний Красс Оратор, Люций, консул 95 г., учитель Цицерона, участник диалога «Об ораторе» — 21, 22, 24–34, 38–40, 43, 45, 46, 48, 53, 62–65, 113, 141, 205, 215, 344, 345, 359, 411–412, 420, 502, 503

Лициний Лукулл, Люций, полководец, победитель Митридата — 22, 94, 265, 289, 379

Лициний Мурена, Люций, консул 62 г., подзащитный Цицерона — 295, 298, 300

Лоллии, отец и сын, два римлянина из Сицилии — 166

Лук — см. Бульб

Лукан — см. Анней Лукан

Лукреций Кар, Тит, поэт — 94, 265, 353

Лукреция, римлянка обесчещенная сыном царя Тарквиния — 357

Лукулл — см. Лициний Лукулл

Лутаций Катул, Квинт, консул 102 г., участник диалога «Об ораторе» — 25, 33, 34, 39, 53, 63, 65, 94, 316, 344

Лютер, Мартин — 10, 438

Люцилий, сатирик II в., друг Сципиона Эмилиана — 448

Люцилий Бальб, Квинт, стоик, участник диалога «О природе богов» — 439, 442, 443, 445

Магия, жена Оппианика Старшего — 185

Макробий, Амбросий Феодосий, римский писатель-антиквар V в. н. э. — 102, 396

Макций Плавт, Тит, римский комедиограф III–II вв. — 92, 93, 97, 142, 189

Мамурра, цезарианец — 306, 336, 337

Маний Курий — см. Курий Дентат

Манлий Гай, катилинарий — 230, 232, 239–241, 506, 507

Манлий Торкват, Люций, претор 49 г. — 412

Марий Гай, полководец, семикратный консул, враг Суллы — 37, 38, 51–55, 63, 155, 207, 221, 258, 262, 302, 303, 320, 328, 444, 460, 475, 503, 504

Марцелл — см. Клавдий Марцелл

Марций Филипп, Люций, консул 91 г., противник Ливия Друза — 25, 45–50, 112, 113, 503

Марция, вторая жена Катона, потом Гортензия — 289–291

Масинисса, царь Ливии, друг и соратник Сципиона Старшего — 347

Мелин — см. Аврий Мелин

Меммий, Гай, народный трибун 111 г. — 28, 221

Метелл — см. Цецилий Метелл

Милон — см. Анний Милон Минуций, защитник Сопатра — 148

Минуций Терм, Квинт, народный трибун 62 г., друг Катона и Цицерона — 299, 509

Мирон, греческий скульптор V в. — 150

Митридат VI Евпатор, царь Понта, враг Рима — 22, 52

Мунаций, друг Катона Утического и автор книги о нем — 421

Мурена — см. Лициний Мурена

Муций Сцевола Авгур, Квинт, консул 117 г., наставник Цицерона, участник диалогов «О государстве», «О дружбе», «Об ораторе» — 19, 29, 30, 33, 37, 38, 62, 63, 89, 117, 345, 502, 503

Муций Сцевола Понтифик, Квинт, консул 95 г., наставник Цицерона, зарезанный марианцами — 37, 54, 63, 170, 444

Наполеон Бонапарт — 13, 177, 455, 456, 500–501

Непот — см. Корнелий Непот

Нерон, римский император — 456

Нигидий Фигул, Гай, римский ученый, пифагореец — 395, 414

Никомед, царь Вифинии — 453

Нума Помпилий, римский царь — 448, 457

Октавий Гай, будущий Цезарь Август, создатель Римской империи — 6, 131, 421, 455, 456, 484, 491, 495, 496–499, 510

Октавия, сестра Октавиана Августа, внучатая племянница Цезаря — 381

Оппианик — см. Альбий Оппианик  
Островский А. Н. — 71, 408  
Оцелла Сервий — 360

Пакувий Марк, римский трагик II в.-92, 103  
Памфил из Лилибея, сицилиец — 151, 152  
Панса — см. Вибий Панса  
Папирий Карбон, Гай, консул 120 г., соратник Гая Гракха, перешедший на сторону сената — 21, 22, 113  
Перикл, греческий политический деятель V в., творец афинской демократии — 66, 421  
Петрарка Ф. — 8— 11, 349, 502  
Пизон — см. Кальпурний Пизон  
Плавт — см. Макций Плавт  
Планций, Гней, македонский квестор, принимавший Цицерона во время изгнания — 323, 324  
Платон, греческий философ — 11, 64, 66, 86, 89–91, 104, 290, 292, 294, 339, 340, 343, 344, 352, 391, 405, 408, 436, 437, 465  
Плиний Младший, Гай, римский писатель и оратор I в. н. э. — 64, 65, 68, 241  
Плиний Старший, римский ученый-энциклопедист I в. н. э. — 365  
Плутарх из Херонеи, греческий писатель I–II вв. н. э. — 18, 22, 34, 38, 62, 67, 71, 74, 77, 105, 113, 119, 188, 221, 255, 259, 276, 285, 289, 294, 304, 306, 310, 322, 336, 400, 413, 450, 451, 465, 468, 469, 471, 479, 493, 497, 502, 503, 505, 509  
Полибий из Мегалополя, греческий историк III–II вв., воспитатель Сципиона Эмилиана — 22, 347, 415, 448  
Поликлет, греческий скульптор V в. — 150  
Помпей, Гней, старший сын Помпея Великого — 407, 408, 432, 434, 449, 450, 471  
Помпей, Секст, второй сын Помпея Великого — 407, 432, 434, 449, 450, 471  
Помпей Великий, Гней, консул 70, 55, 52 гг., римский полководец, триумvir — 13, 73, 79, 94, 132, 169, 174, 212, 229, 265, 283, 284, 298, 300–303, 305–307, 309, 313–315, 318, 328, 334–339, 342, 368, 369, 373, 379, 381–392, 395–402, 407, 408, 410, 411, 413, 425, 426, 428, 432, 434, 449, 450, 469, 472, 475, 480, 482, 483, 508  
Помпоний Аттик, Тит, лучший друг Цицерона — 12, 13, 17, 19, 66, 69, 72, 74–76, 114, 208, 259, 264, 277–280, 282, 294, 308–312, 315, 316, 318, 320,

321, 323–325, 330, 332, 333, 338–344, 356, 374–378, 386, 387, 389, 391–394, 409, 410, 412, 422, 432–434, 447, 459, 462, 463, 466, 468, 472, 473, 493, 494, 509, 510

Помптин, Гай, претор 63 г. — 244

Понтий Аквила, Люций, народный трибун 45 г. — 452

Порций Катон Младший Утический, Марк, республиканец — 231, 255–257, 284–302, 306308, 310, 312, 319, 320, 333, 335, 336, 369, 371, 372, 379, 382, 395, 401–406, 408, 411, 420–422, 450, 453, 464–470, 478, 479, 508, 509

Порций Катон Старший, Марк, римский политический деятель и судебный оратор III–II вв. — 78, 176, 188, 287

Порций Лека, Марк, катиллярий — 232, 236, 237, 241, 506, 507

Порция, дочь Катона Утического, жена Бибула, затем Брута — 478–481, 492

Посидоний, греческий философ-стоик и историк, друг Цицерона — 503

Постумия, жена Сульпиция Руфа — 462

Потин, евнух, временщик при александрийском дворе — 399

Праксител, греческий скульптор IV в. — 150

Птолемей, царь Египта — 399, 400, 451, 457

Публилия, вторая жена Цицерона — 462, 463

Пульхр — см. Клавдий Пульхр

Пушкин А. С. — 11, 12, 15, 17, 24, 61, 83, 85, 107, 113, 265, 266, 284, 326, 331, 503, 504

Рабирий, Гай, подзащитный Цицерона — 56, 222, 505

Рем, брат Ромула — 273

Ромул, основатель и первый царь Рима — 259, 294, 397, 457, 473, 509–510

Росций, Квинт, римский актер, подзащитный Цицерона — 94, 95, 97–102, 104, 105, 112, 327, 503

Росций, Секст (Младший), сын Росция Америнца, подзащитный Цицерона — 56–59, 61, 62, 124, 176, 495, 503

Росций, Секст (Старший), богатый америнец — 55, 56, 94

Рулл — см. Сервий Рулл

Руссо Ж. Ж. - 446

Руф — см. Сульпиций Руф

Руф — см. Целий Руф

Саллюстий Крисп, Гай, римский публицист, современник Цицерона — 74, 206, 223, 225, 227, 231, 234, 261, 262, 285, 310, 429, 430, 505-508

Сампсикерам, прозвище, данное Цицероном Помпею, — см. Помпей Великий

Сассия, мать Клуэнция — 183, 188, 189, 198–204

Сатурнин — см. Апулей Сатурнин

Светоний, историк I в. н. э. — 505

Себос, сосед Цицерона — 311

Семпроний Гракх, Гай, народный трибун 123 и 122 гг., реформатор — 21, 40–42, 44, 47, 51, 52, 106, 107, 113, 176, 211, 217, 219, 235, 237, 254, 261, 262

Семпроний Гракх, Тиберий, старший брат Гая Гракха, народный трибун 133 г., автор аграрного закона — 21, 40–42, 113, 211, 217–219, 261, 262

Семпрония, участница заговора Катилины — 265

Сенека — см. Анней Сенека

Септимий, убийца Помпея Великого — 400

Сервантес М. — 85, 284, 414

Сервилий Каска, Гай, один из убийц Цезаря — 482–483

Сервилий Каска, Публий, брат Гая Каски, один из убийц Цезаря — 483

Сервилий Рулл, Публий, народный трибун 63 г., автор аграрного законопроекта — 213–221, 228, 229, 252

Сервилий Цепион (Младший), Квинт, сын Цепиона Старшего и Ливии, сестры Друза, единоутробный брат Катона Утического — 306

Сервилий Цепион (Старший), Квинт, противник Ливия Друза — 44–45, 49

Сервилия, дочь Цепиона (Старшего), единоутробная сестра Катона Утического и мать Бруга — 291, 464, 468–470, 478, 489

Сервилия, другая единоутробная сестра Катона Утического, жена Лукулла — 291

Сергий Катилина, Люций, глава заговора — 115, 179–181, 223–242, 245–249, 252–254, 257, 259–264, 282, 284, 316, 317, 390, 485, 505-509

Сестий, Публий, народный трибун 57 г., друг, подзащитный Цицерона — 328, 352, 504

Силан — см. Юний Силан Симонид, греческий поэт V в. — 441

Скавр — см. Эмилий Скавр

Скамандр, вольноотпущенник Фабриция из Алетрия — 189–192, 197

Скапций, бизнесмен, агент Брута — 466

Скрибоний Курион (Младший), Гай, сын Куриона Старшего, народный

трибун 50 г. — 314, 359, 385, 412, 465, 486, 487  
Скрибоний Курион (Старший), Гай, консул 76 г. — 115, 168, 359, 486  
Сократ, греческий философ — 55, 64, 104, 289, 405  
Солон, афинский законодатель VI в. — 13, 86, 91  
Сопатр, богатый сицилиец из Галикий — 145, 146, 148  
Соус — см. Гугга  
Софокл, греческий трагик — 66, 78, 91, 265, 355, 400  
Спартак, гладиатор, предводитель восстания рабов I в. — 155, 166, 260  
Стайен, Гай (Элий Пет, Гай), судья в процессе Оппианика Старшего — 190–195, 204, 205  
Стабий, катилинарий — 245, 246, 248  
Стабий, поклонник Катона Утического — 404, 405  
Стений Термитанский, сицилиец — 173  
Страбон, греческий писатель 1 в. н. э., автор «Географии» — 243  
Сулла — см. Корнелий Сулла  
Сульпиций Руф, Публий, друг Котты и Цицерона, ученик ораторов Антония и Красса, народный трибун 88 г. Участник диалога «Об ораторе» — 31–33, 52, 62, 63, 258, 344  
Сульпиций Руф, Сервий, юрист, друг Цицерона, консул 51 г. — 67, 265, 386, 395, 434, 435, 462  
Сульпиций Руф (Младший), Сервий, сын юриста Сервия Руфа — 430  
Сцевола — см. Муций Сцевола  
Сципион — см. Корнелий Сципион  
Сципион — см. Цецилий Метелл Пий Сципион  
  
Тарквиний Гордый, последний царь Рима — 357  
Тацит — см. Корнелий Тацит  
Теренций Афр, Публий, римский комедиограф II в. — 92, 97  
Теренций Варрон, Марк, римский ученый, друг Цицерона — 265, 306, 422, 447  
Теренция, жена Цицерона — 70–74, 79, 277, 278, 280, 321, 322, 324, 331, 332, 409, 412, 428 430, 432, 462, 463  
Терм — см. Минуций Терм  
Тертуллиан, христианский богослов II — III в. н. э. — 7  
Тиберий, римский император 6, 285  
Тидий Секстий, старый римлянин — 395  
Тимархид, грек, ближайший помощник Верреса — 142–148, 152, 154, 159, 161  
Тирон — см. Туллий Тирон

Толстой Л. Н. - 13, 31, 177, 259, 335, 342  
Торкват — см. Манлий Торкват  
Требатий Теста, Гай, ученый юрист, друг Цицерона, приближенный Цезаря — 389, 409  
Требоний, Гай, офицер Цезаря, участник заговора Брута — 487  
Триарий — см. Валерий Триарий  
Туберон — см. Элий Туберон  
Туллий Тирон, Марк, раб, а потом вольноотпущенник Цицерона — 76–84, 264, 343, 462, 510  
Туллий Цицерон, Квинт, младший брат оратора — 18, 38, 39, 45, 46, 62, 64, 66, 68, 73, 74, 79, 80, 83, 207, 208, 211, 214, 321, 323, 328, 329, 331, 332, 338–342, 354–356, 378, 409, 410, 445, 502, 510  
Туллий Цицерон, Квинт, племянник оратора, сын Квинта — 79, 392, 409, 410  
Туллий Цицерон, Люций, кузен Цицерона — 62, 66  
Туллий Цицерон, Марк, отец оратора — 18, 30, 502, 503  
Туллий Цицерон, Марк, сын оратора-60, 75, 82, 83, 321, 322, 331, 332, 392, 428, 432, 471, 499  
Туллия, дочь Цицерона — 72–74, 321, 322, 324, 329, 331, 332, 340, 343, 389, 392–394, 396, 409, 410, 412, 428, 430–434, 436, 449, 460, 462, 471, 472, 484, 485  
Тютчев Ф. И. — 15, 407, 420

Умбрен, Публий, вольноотпущенник Лентула — 242

Фабий Квинтилиан, Марк, теоретик красноречия 1 в. н. э. — 6, 74, 179, 365  
Фабий Санга, патрон аллоброгов — 243, 244  
Фабриций из Алетрии, приятель Оппианика — 189–191  
Фабулл, друг поэта Катулла — 267, 268  
Фавоний, Марк, друг и подражатель Катона Утического — 289, 371, 372, 383, 396, 398, 477, 490  
Фадий Галл, Тит, автор книги о Катоне, друг Цицерона — 421  
Фанний Херея, компаньон Росция и истец в его процессе — 99–101  
Феодот, учитель, временщик при александрийском дворе — 399  
Фидий, греческий скульптор V в. — 90, 112  
Филипп — см. Марций Филипп Филипп, раб Помпея Великого — 400, 401  
Филипп, царь Македонии, покоривший Грецию, отец Александра

Македонского — 495

Филолог, вольноотпущенник Квинта Цицерона — 510

Флакк — см. Валерий Флакк

Фонтей, Марк, подзащитный Цицерона — 179

Фульвия, жена Клодия, затем Куриона, затем Антония Триумвира — 486, 487

Фульвия, любовница Курия — 233–235, 506

Фурий Крассипед, Публий, второй муж Туллии — 430

Хелидона, гетера, помощница Верреса — 132

Хризогон, фаворит Суллы — 55–58, 124, 177, 495

Цезарь — см. Юлий Цезарь

Цезасий, защитник Фабриция из Алетрии — 189, 190

Целий Руф, Марк, ученик, друг и подзащитный Цицерона — 20, 22, 181, 359–366, 384, 385, 388–390, 392, 411, 431, 465, 509

Цепарий, катилинарий — 249

Цепион — см. Сервилий Цепион

Цереллия, образованная римская дама, друг Цицерона — 461–463

Цетег — см. Корнелий Цетег

Цецилий, Квинт, квестор Верреса, желавший выступить обвинителем вместо Цицерона — 125–130

Цецилий Метелл, Квинт, брат Люция, консул 69 г. — 168–170

Цецилий Метелл, Люций, наместник Сицилии после Верреса — 133–135, 140, 145, 168

Цецилий Метелл, Марк, претор 69 г., брат Люция и Квинта — 168, 170

Цецилий Метелл Македонский, Квинт, политический деятель II в. — 106

Цецилий Метелл Непот, Квинт, брат Метелла Целера, народный трибун 62 г., помпеянец — 283, 298–301

Цецилий Метелл Пий Сципион, Квинт, консул 52 г., отец Корнелии, последней жены Помпея — 288, 289, 402, 403, 450

Цецилий Метелл Целер, Гай, муж Клодии, брат Метелла Непота — 275, 276, 278, 279, 283, 505, 509

Цецилий Стаций, римский комедиограф II в. — 92, 96

Цецилия Метелла, жена Суллы — 54

Цецилия Метелла, покровительница Росция Америнского, тетка Метеллов Целера и Непота, мать Клодиев — 56, 57

Цинна — см. Корнелий Цинна

Цицерон — см. Туллий Цицерон

Шаляпин Ф. И. — 13, 100

Шекспир, Уильям — 15, 16, 97, 204, 260, 349, 467, 484, 485, 487

Эгнатий, кельтибер, любовник Клодии — 272, 363

Эзоп, актер — 94–98, 102–104, 112, 327

Элий Туберон, обвинитель Лигария — 425, 426

Эмилий Лепид, Марк, цезарианец, член Второго триумvirата — 455, 485, 487, 488, 491, 495–498

Эмилий Павел, Люций, победитель Македонии, отец Сципиона Эмилиана — 258, 348

Эмилий Скавр, Марк, принцепс сената — 39, 50, 170

Энний, Квинт, отец римской поэзии (111–11 вв.) — 37, 92, 269, 270, 442, 448

Эпикрат из Бадиса, сицилиец — 144, 145, 152

Эпикур, греческий философ — 66, 69, 265, 418, 439–442, 472

Эпихарм, греческий поэт VI–V вв. — 91

Эрот, актер — 95

Эруций, обвинитель Росция Америнского — 56, 57

Эсхил, греческий трагик — 15, 65, 91, 355, 394

Эсхин, греческий оратор (IV–III вв.) — 91

Эсхрион, помощник Верреса — 143

Юба, царь Нумидии, союзник республиканцев — 402

Юлий Цезарь, Гай, брат Катула, участник диалога «Об ораторе» — 33, 34, 53, 62, 63, 344

Юлий Цезарь, Гай, диктатор — 13, 80, 131, 214, 215, 222, 229, 250–256, 265, 279, 280, 282–286, 293, 298–311, 313, 314, 316–319, 335–339, 342, 378, 379, 381–397, 399, 401, 403, 406, 408, 410–416, 420–427, 429, 432, 434, 448–461, 464, 465, 468–471, 473–491, 494, 504, 505, 508, 510

Юлий Цезарь, Люций, родственник диктатора — 404

Юлия, дочь Цезаря, жена Помпея — 306, 337, 381

Юний, председатель суда в деле Оппианика, так называемом «Юниевом суде» — 182, 184, 190, 195

Юний Брут, Люций, первый римский консул, освободитель Рима, изгнавший царей (VI–V вв.) — 27, 397, 458, 470, 475

Юний Брут, Марк, римский юрист II в. — 26, 27

Юний Брут, Марк, убийца Цезаря — 260, 262, 286, 369, 395, 416, 421,

422, 434, 463–483, 485, 488–497, 510

Юний Брут Альбин, Децим, офицер Цезаря — 360, 477, 481, 495

Юний Брут Ябедник, Марк, сын юриста Брута, обвинитель — 26, 27

Юний Силан, Децим, консул 62 г., отчим Брута, убийцы Цезаря — 249-  
254

Юния Терция, сестра Брута, убийцы Цезаря — 470

ISBN 5-235-02933-X



9 785235 029330 >

М О Л О Д А Я   Г В А Р Д И Я



---

**notes**

## Примечания

См. список основных источников и сокращений в конце книги.

Все даты, кроме специально оговоренных, приводятся до н. э.

Аристократ Лутаций Катул не имел ничего общего с поэтом Катуллом, упомянутым немного раньше.

У римлян считалось неприличным, чтобы два взрослых человека, хотя бы отец и сын, мылись вместе в бане.

По-латыни звучит аллитеративно и напоминает каламбур: «*Lacerat lacertum Lorgi mordax Memmius*».

**6**

Созвездие.

*Катул* — по-латыни «щенок», *Скавр* — «косолапый». Оба принадлежали к знатнейшим римским фамилиям.

Официальное название сенаторов.

По-латыни игра слов: *coelum et coe num.*

Сторонник и «соправитель» Мария.

Игра слов: по-латыни прощать — *ignoscere*, понимать — *cognoscere*.

Председатель суда.

Цицерон обращается к брату.

Платон приобрел большой парк, посвященный герою Академу, и там открыл школу. Отсюда слово *Академия*. Это не здание, а скорее сад с тенистыми аллеями.

Немного более километра.

Эпикур учил в садах. Отсюда и сама школа его получила название *Сады*.

В свое время мы подробно остановимся на этих письмах.

Эти слова в подлиннике написаны по-гречески.

Это ласкательная форма от имени Туллия.

Титом звали Аттика.

Это слово в подлиннике написано по-гречески. Цицерон считает, что «верность» — *fides*, — и слово «исполнять, делать» — *fieri*, — имеют один корень.

Получивший свободу раб входил в род своего бывшего господина. Поэтому он получал его первое и второе имя (*ргаепотен* и *потен*), а его прежнее личное имя прибавлялось в качестве третьего.

Так назывался в Риме управляющий имением.

Разумеется, нашего героя.

Пусть читателя не удивляет экспансивно-страстная нежность римских писем. Мы должны помнить, что писали их южане, гораздо более горячий народ, чем мы. Катулл пылко любил своих друзей. Узнав, что один из них вернулся с чужбины, он восклицает:

*Мой Вераний, мой друг!..*

*Ты под кровлю родную возвратился...*

*Возвратился! О радостные вести!*

*Я увижу тебя, рассказ услышу...*

*.....И шею*

*Обниму, и глаза твои, и губы поцелую.*

Катулл относился к друзьям, как Пушкин. Но Пушкин не стал бы говорить, что покроет поцелуями Вяземского или Жуковского.

Цицерон, например, передает, что один рассеянный оратор начисто забыл все, что должен был сказать, и в смущении молчал. У него в руках не было даже набросков, как у наших современников, поэтому он не мог произнести ни слова (*Brut.*, 217).

Так назвал их Аристофан.

Это отношение перешло в Европу. Известно, что до недавнего времени актеров презирали. Даже Мольера, величайшего драматурга Франции, запретили хоронить на освященной земле, так как он сам играл в своих пьесах.

Этот Росций тезка, но не родственник Росцию Америнскому, одному из первых клиентов Цицерона.

У алтаря находили приют все несчастные, все преступники — у алтаря человек был неприкосновенен.

Игры — публичные зрелища, устраиваемые для народа обыкновенно магистратом. Были сценические игры, цирковые игры, гладиаторские игры.

Это первое известное дело Цицерона. Вел его он на несколько месяцев раньше защиты Росция Америнского.

Дошла только речь в защиту Росция, о которой мы говорили ранее.

Во всех случаях, когда Цицерон говорит «судья» или «судьи», он подразумевает только присяжных. Этот термин я везде в его речах оставляю. Но сама часто называю их более привычным для нас словом *присяжные*.

Это сказано было по-гречески и звучало аллитеративно — *amusos*, *anaphroditos*, *aprozdionisos*. Последний эпитет, — чуждый Дионису, — означает презрение не к вину, а к сцене, покровителем которой издревле считался бог Дионис.

В исключительной степени (*фр.*).

Профессиональной зависти (*фр.*).

Цицерон, как помнит читатель, был квестором в Лилибее.

Этот рассказ иногда приводят как иллюстрацию великого самомнения Цицерона — он, видите ли, воображал, что весь Рим следит за ним с восторгом! При этом все забывают, что анекдот этот мы знаем не от врагов оратора, не от завистников и насмешников, а от него самого. Показывает он, на мой взгляд, другое: замечательное умение Цицерона посмеяться над собой.

Веррес был грузен и жирен. Он не ездил верхом — очевидно, не мог взгромоздиться на коня; он не смог забраться по крутому холму — вероятно, из-за одышки (см. ниже). Именно поэтому и в Риме, и в Сицилии еще до Цицерона «Боров», «Свинья» были его обычными прозвищами.

Я должна напомнить, что дело происходило до введения юлианского календаря. Обычный, так называемый простой год состоял в Древнем Риме из 355 дней. Все месяцы, кроме февраля, марта, мая, июля и октября, имели по 29 дней. Февраль насчитывал 28 дней, все остальные месяцы — по 31 дню. Когда год начинал сильно отставать от календарного и все времена года мешались, вставляли лишний месяц. Но в этих вставках не было ни системы, ни последовательности.

Далее, два месяца носили тогда другое название — июль именовался квинтилис, а август — секстилис. Им впоследствии дали имена в честь двух первых императоров — Юлия Цезаря и Августа.

Чисел в римском месяце было только три — первое число называлось *календы* (отсюда календарь), 5-е или 7-е (для месяцев из 31 дня) называлось *ноны*, а 13-е или 15-е (для месяцев из 31 дня) — *иды*. Отсчет велся путем вычитания, причем считался и обозначаемый день, и день, от которого велся отсчет. Таким образом, 2 января обозначалось как «четвертый день до январских нот, а 2 марта — «шестой день до мартовских нон».

Все это необходимо помнить, чтобы уяснить себе хронологию этого дела.

Те лица, которые получили гражданство благодаря Сулле, получали его *ргаепотен* и *потен*, то есть личное и родовое имя. Иными словами, все они становились Корнелиями.

Место, где греки упражнялись и обучались спорту.

В тот год еще действовал закон Суллы, по которому судей назначали из сенаторов. А Веррес был сенатором. Значит, если он не будет осужден, вполне возможно, вскорости будет заседать в римском суде.

Навощенные таблички, на которых судьи делали записи по ходу дела, а потом писали приговор.

Один из братьев и был тем художником, который входил в когорту Верреса.

Так называли главу пиратов.

Порт на юге Италии, на побережье Адриатического моря, откуда отправлялись корабли в Грецию.

К этому человеку наш герой испытывал особую симпатию и вот почему. Мать его была родной сестрой Сцеволы Понтифика, учителя Цицерона, зарезанного марианцами. Женат же Маний Глабрион был на дочери Скавра, принцепса сената, которого читатель, быть может, помнит.

Так считает изучавший это дело Ф. Ф. Зелинский.

Злодеем, например, был Катилина; нечестивцем — один из наместников, ограбивший местную святыню.

Слова Плутарха, сказанные им о Катоне Старшем (*Plut. Cat. Mai.*, 28).

Так звали, если помнит читатель, обвинителя Клуэнция.

Тот единственный присяжный, который голосовал за оправдание Скамандра. С ним мы вскоре познакомимся поближе.

По-латыни *Бульб* и *Гутта*. Их имена и обыгрывает далее Цицерон.

Видимо, 40 тысяч сестерциев — обычная такса при подкупе судьи. Луку, если помнит читатель, предложено было ровно столько.

Марруцинцы были для римлян символом глухого захоlustья. Марруцинцем назвал Катулл в насмешку одного неотесанного человека. Адр. Пиотровский перевел это слово как *пошехонец*, чтобы донести его смысл до современного читателя. Мы бы могли перевести его как *чукча*.

Их власть фактически была уничтожена Суллой.

Красс Триумвир, о котором идет речь, не состоял в родстве с Крассом Оратором, наставником Цицерона, хотя был из той же фамилии.

Почему-то голосовать должны были не все 35 триб, а только 17, назначенных жребием. Таким образом, для назначения децемвиров достаточно было голосов девяти триб, то есть всего около четверти голосовательных единиц Рима.

Об этом подробнее см. в моей книге: Бобровникова Т. А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена. М., 2001.

Трибун вступал в должность 10 декабря, а консул — 1 января.

Современный Фьезоле в горах над Флоренцией.

Гай Гракх был осужден на смерть, но успел покончить с собой.

Это вторая речь против Катилины, произнесенная перед народом.

Римляне разделяли ночь на четыре стражи (*вигилии*), по три часа каждая. То есть было около трех часов ночи.

Римляне писали письма на табличках, покрытых воском. Обыкновенно две таблички соединялись друг с другом, как книжка. Писали на внутренней стороне, затем книжку закрывали, обе створки скрепляли шнурком, к которому владелец привешивал свою личную печать.

Латинская «С».

Это весьма любопытный факт. Оказывается, в то время как Катилина не сомневался, что диктатором будет он, его помощник Лентул метил туда же. В случае удачного переворота между заговорщиками немедленно должна была начаться резня.

Это третья речь против Катилины, произнесенная перед народом.

Не совсем верно. Цезарь был только четырьмя годами моложе Цицерона. Ему было 39 лет.

Это четвертая речь против Катилины, произнесенная перед сенатом.

В Риме, как вообще на юге, крыши были плоские. На них часто разбивали садик и сидели в жаркое время дня.

Я говорила, что Катилина, на мой взгляд, был адепт абсолютного зла. Но это вовсе не значит, что он был действительно значительной личностью. Далеко не все сатанисты — выдающиеся люди. Любопытно, что те «абсолютные злодеи», о которых пишет Буркхардт, ныне забыты именно из-за своей незначительности.

Имеется в виду революция февраля 1848 года во Франции и венгерская революция 1848–1849 годов.

Катулла переводил Пушкин. Его любовным стихам подражал Байрон. Им восхищался Блок. Его строки о безнадежной любви твердит герой Бунина («Руся»). Желая прославить Ахматову, Лозинский сравнил ее с Катуллом. Но она отвергла эту, по ее мнению, чрезмерную хвалу.

Греческий поэт, славившийся своими убийственно злыми эпиграммами.

Давно отмечено, что народный трибун Метелл, бежавший к Помпею, дал ему точно такой же благовидный предлог для захвата Рима, какой получил позже Цезарь.

Помпей считал, что он очень похож внешне на Александра, и всячески подчеркивал это сходство.

В Греции так называлась женская половина дома. В римском доме такого помещения не было. Здесь иносказательно гинекей означает женскую половину семьи.

Говорят, его долги равнялись 25 миллионам. Для сравнения скажу, что знаменитый дом Цицерона, ради которого он в свою очередь влез в долги, стоил 3,5 миллиона сестерциев.

Лучший художник Античности.

Римского аристократа Лутация Катула.

Это было еще до отъезда Цицерона в Антиум.

Сын, которому в то время было около семи лет.

В письме к брату он уточняет, что больше всего тоскует по дочери, потом по сыну и жене.

Росций к тому времени уже умер.

Финикийцем был любимец Цезаря Бальб. Его племянник даже приносил по национальному обычаю человеческие жертвы.

Здесь: Британию.

Могу заверить читателей, не знающих латыни, что в подлиннике сказано гораздо резче.

Напоминаю, что Помпей был зятем Цезаря.

Мамурра был родом из Формий.

Цезарь и Мамурра, например, оба были любовниками жены Помпея, с которой тот развелся перед женитьбой на Юлии.

Речь идет о том, что судьи, купленные или запуганные триумвирами, решают дела им в угоду.

Цитата из Илиады.

Это писалось не в Тускулуме, а возле Неаполя.

Действие происходит зимой 129 года.

Эта теория принадлежит другу и учителю Сципиона Эмилиана греческому историку Полибию. Подробнее см. в моей книге: *Бобровникова Т. А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена*. М., 2001. С. 253–262.

Речь эта произнесена в 56 году, а издана, вероятно, несколько позже. «Государство» же писалось с 54 по 51 год.

Имя одной из греческих богинь мщения, *эриний*.

В греческом оригинале трагедии они названы *эриниями*.

*Филоктет* — греческий герой времен Троянской войны. Укушенный змеей, испытывал непрерывные боли. Афамант в припадке безумия убил родного сына. Оба они выведены в греческих трагедиях, в частности, в трагедии Софокла «Филоктет».

Целий был намного моложе Клодии. Родился он, согласно Плинию, в мае 82 года (*Plin. N.H., VII, 165*). В момент суда ему было 25 лет. Клодия была старшей сестрой Публия Ютодия, который родился в 93 году. Таким образом, ей могло быть около сорока лет. Поэтому Целий должен был казаться слушателям не соблазнителем, а скорее жертвой этой старой кокетки.

Точнее, он был выбран «консулом без коллеги» — совершенно неслыханная прежде магистратура.

Переговоры начались еще в 51 году и длились весь 50 год.

Образ из писъма Платона.

Имеется в виду Брут Древний, который, согласно преданию, изгнал царей и освободил Рим.

Эта загадочная на первый взгляд фраза, по-видимому, означает, что Цицерон вслед за Платоном считал самоубийство величайшим грехом. Напротив, стоики, к которым принадлежал Катон, полагали, что человек может убить себя, оказавшись в безвыходном положении.

Это официальная формула, вроде нашего «будь здоров», «как дела» и пр.

По древнему римскому обычаю, отец поднимал новорожденного с земли, и этим признавал своим сыном.

С 509 по 48 год.

Считается, что половину магистратов выбирали по указке Цезаря, половину — сам народ. Но случай с Брутом и Кассием, о котором речь пойдет ниже, показывает, что все спорные вопросы решал диктатор.

Вместо 320 тысяч Цезарь насчитал в Риме всего 150 тысяч человек.

Саллюстий жил в 86–35 годах. Он был на 20 лет моложе Цицерона и, видимо, значительно моложе Теренции.

Апофеоз — обожествление, превращение в бога.

Цицерон никогда не обвинял Долабеллу в смерти дочери. Он считал, что они просто совершенно не подходили друг другу, а потому сохранил с бывшим зятем дружеские отношения.

Диалог до нас не дошел.

Согласно Эпикуру, в этих пространствах обитают боги.

Древнегреческий поэт, живший в V веке.

Так построены диалоги «О законах», «Тускуланские беседы», «О старости», «О дружбе» и трактат «Об обязанностях», написанный в форме письма к сыну.

Таковы «Государство», «О пределах добра и зла», «О предвидении», «Академики».

Четыре были отпразднованы несколько раньше, в течение месяца после африканской победы, пятый сейчас.

Игры гладиаторов вошли в моду поздно, в основном при Сулле и особенно при Цезаре. Цирк же был построен для конских скачек, отсюда — поворотные столбы.

Речь идет не о Галлии, а о цивилизованных странах Востока и об Италии.

Имеется в виду в первую очередь Марк Антоний.

Впоследствии Цезарь оправдывал эту странную вспышку своей болезнью — он был эпилептик.

Эти слова имели явно политический смысл. Ведь сам Цицерон совсем недавно решил обожествить Туллию.

Человек этот не был родственником нашему Бруту. Во избежание недоразумений я буду называть его в дальнейшем просто Децимом.

Сохранился очень любопытный документ. Надгробная надпись одной женщины, в которой муж рассказал всю ее историю. Муж ее был совершенно далек от политики. Во время террора Второго триумvirата он бежал. Жена пришла просить за него Лепида и упала ему в ноги. Лепид же дошел до того, что избил эту несчастную беззащитную женщину, так что она была вся в синяках.

Гай Октавий все-таки добился признания усыновления и теперь назывался Цезарь Октавиан.

Последние упреки вызваны были тем, что Брут был очень ласков с братом Антония, который злоумышлял против Республики.

Все даты до н. э.

**133**

Возможно, конец 47 года.

---

---

**comments**

## Комментарии

*Зелинский Ф. Ф. Цицерон в истории европейской культуры // Цицерон, М. Туллий. Полное собрание речей / Изд., ред. и прим. Ф. Ф. Зелинского. В 2 т.: Т. 1. СПб., 1901. С. XXIX–XXX.*

Там же. С. XXXVIII–XXXIX.

*Петрарка Ф.* Книга писем о делах повседневных // Канцоньере. Моя тайна или книга о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма / Пер. В. Бибихина. М., 1997. XXI, 10.

Там же. XXIV, 4.

*Nolhac, P: de.* Petrarch and the Ancient World. Boston, 1907. P. 18.

Там же. Р. 69, 74; *Jerrold M. F.* Francesco Petrarca. Poet and Humanist. L., 1909. Р. 34–35.

*Петрарка Ф. Книга писем о делах повседневных... XXIV, 3.*

Там же. XXI, 10.

Там же. XXIV, 2.

*Буркхардт Я.* Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. С. 167.

Там же. С. 221–222.

Там же. С. 469.

*Зелинский Ф. Ф. Цицерон в истории европейской культуры. С. XLIV.*

Там же. С. XLV–XLVI, XLIX.

Этот период в жизни Цицерона известен довольно плохо. Писем тех лет до нас не дошло. Из речей сохранилось только две, и обе относятся к 81–80 годам. Плутарх посвящает юности Цицерона три параграфа, то есть около двух страниц. Остается следовать за нитью воспоминаний самого оратора. Однако воспоминания, даже для человека с такой феноменальной памятью, как Цицерон, обладают одной коварной особенностью. Мы можем припомнить отдельные эпизоды из прошлого, причем припомнить во всех подробностях, но мы подчас не можем расположить их в хронологическом порядке. Иной раз мы сближаем события, между которыми пролегло несколько лет, а иной раз даже переставляем их. Между тем Цицерон никогда и не ставил перед собой задачу восстановить свою жизнь год за годом, он просто вспоминал отдельные яркие моменты.

Первый интересующий нас вопрос — когда Цицерон переселился в Рим? Случилось это в его ранней юности. Сам он пишет: «Мой отец привел меня к Сцеволе, едва я надел мужскую тогу, и велел... находиться при нем неотлучно» (*Amic.*, I). Естественно связать эти два события — отец привез мальчика в Рим и передал на попечение Сцеволе. Мальчик надевал тогу взрослого около 16 лет; обыкновенно это бывало в апреле на праздник Либералий. Однако я полагаю, что это произошло в 91-м, а не в 90 году.

Первое. Весь 90 год мы видим Цицерона в Риме. Он подробнейшим образом описывает дело Планка. В процессе Виселлия Акулеона передает даже реплики Красса на перекрестном допросе. Точно так же в процессе Пизона как очевидец рассказывает о шутке Красса при допросе свидетеля Сила (*De or.*, II, 269; 285). Все эти дела слушались в 91 году. В сентябрьские иды он идет за Крассом в сенат. Неделью спустя вместе с братом вечером посещает Курию. В декабре проводится закон Вария, и Цицерон, по его словам, днюет и ночует на Форуме. В начале 90 года Котга изгнан. Оказывается, Цицерон уже успел с ним подружиться и его полюбить.

Второе. Если бы отец привез Цицерона в Рим в апреле 90 года, он не успел бы учиться у Сцеволы — видимо, уже весной этого года нашего героя забрали в армию.

Наконец, Цицерон, очевидно, недаром приурочил действие своего диалога «Об ораторе» к 91 году — он запечатлел кружок Красса таким, каким его запомнил.

Значит, либо Цицерон надел мужскую тогу весной 91 года, либо отец привез его в Рим и поручил Сцеволе годом раньше, чем он совершил этот обряд, но в памяти Цицерона оба эти события смешались.

Филипп предъявил документ, где союзники клялись такими словами: «Для меня будет врагом тот, кто будет врагом Друза... я буду беречь свою жизнь, жизнь своих детей и жизнь своих родителей лишь в той мере, в какой это согласно с пользой Друза». Я не сомневаюсь, что ни в каком заговоре Друз не участвовал. Быть может, и весь документ фальшивка. Но он верно передает чувство италиков.

Согласно Плутарху, Марий умер, узнав, что Сулла завершил войну и плывет в Италию. Однако Сулла высадился в Италии только в 83 году, Марий же умер зимой 86 года. Однако пренебречь полностью сообщениями Плутарха нельзя, так как он ссылается на Посидония и некоторых других очевидцев, которые навещали Мария в последние дни. Быть может, до Мария дошли известия об успехах Суллы. Остальное было плодом его больного воображения. Слухи о предсмертном бреде тирана могли распространиться среди греков и римлян.

Первое известное нам дело Цицерона — это дело Квинкция, которое слушалось на несколько месяцев раньше дела Росция. Носило оно характер гражданский и частный. Однако в этой речи содержится намек на то, что оратор уже не раз выступал в суде (*Quinct*, 4). Но все это были, очевидно, мелкие, никому не известные процессы. Сам Цицерон называет дело Росция первым своим уголовным процессом (*Brut.*, 318).

*Пушкин А. С. Опровержение на критики // Полн. собр. соч. В 10 т.: Т. VII. М., 1964. С. 170.*

*Достоевский Ф. М.* Зимние заметки о летних впечатлениях. Полн. собр. соч. В 30 т.: Т. 5. М., 1973. С. 51.

*Буассье Г.* Цицерон и его друзья. Очерк о римском обществе времен Цезаря I Пер. с фр. Н. Н. Спиридонова. М., 1915. С. 112.

*Пиотровский Адр.* Античный театр II Гвоздев А. А., *Пиотровский Адр.* История европейского театра. М.; Л., 1931. С. 255. Разумеется, речь идет об отдельных украшениях — например, об инкрустированных золотом и серебром ложах, а не о том, что сцена была сделана из золота.

Очень часто видят связь между Росцием Америнским и Росцием актером. Думают, что второй был клиентом первого. Таким образом, две первые речи Цицерона посвящены, в сущности, защите одной большой семьи. Я думаю, что это не так. Во-первых, Секст Росций был родом из Америи, Росций актер — из Ланувия. Эти города очень удалены друг от друга. Во-вторых, никто из античных авторов и комментаторов не связывает этих двух людей. В-третьих, и это самое важное, Росций актер был страшно популярен. Он был любимцем диктатора Суллы. Вот почему его имя сразу располагало судей в пользу обвиняемого. И в деле Квинкция Цицерон не забывает упомянуть, что его подзащитный — близкий родственник самого Росция. Однако в деле Америнца он почему-то ни словом не упоминает актера. Поэтому я считаю совпадение имен обоих Росциев случайностью.

Зелинский Ф. Ф. Приложение II. Римский уголовный процесс. // Цицерон, М. Туллий. Полное собрание речей. Т. 1. С. 755.

*Пушкин А. С. Капитанская дочка // Поли. собр. соч. Т. 6. М., 1964. С. 454.*

*Вересаев В. В.* Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. Т. 1. М.; Л., 1932. 5-е изд. С. 271.

Еще в процессе Квинкция 81 года противником Цицерона был Гортензий. Но то был столь незначительный судебный поединок, что Цицерон о нем даже не упоминает.

Речи против Верреса — ценнейший, хотя и совершенно необычный памятник. Это главный источник, на основании которого восстанавливается провинциальное римское управление. Но источник это своеобразный. С одной стороны, это художественное произведение да еще судебная речь. Автор создает совершенно чудовищный образ героя и, елико возможно, старается сгустить краски. Но, с другой стороны, мы знаем, что он готовился выступать перед присяжными и должен был доказать каждое свое утверждение, причем доказать перед лицом такого противника, как Гортензий. Он привез не только живых свидетелей, но множество документов. Мы знаем также, что Гортензий не смог отвечать своему противнику, «задавленный обвинениями». Поэтому среди историков принято доверять этим речам. Более того, Буассье, например, представляет себе каждого римского наместника, кроме самого Цицерона, маленьким Верресом. Это, конечно, преувеличение, но умалять ценность сообщаемых Цицероном сведений невозможно.

Известный римский историк Корнелий Непот был близко знаком с Цицероном и написал о нем книгу. Собирая для нее материалы, он отметил очень интересный факт. Он говорит, что слушал речи Цицерона, а потом читал их уже изданными (*Jr.* 38). По его наблюдениям, они почти совпадали (*Gell*, 15, 21).

В подлиннике популя́р. В римской литературе встречается два политических термина: *оптиматы* и *популяры*. Об этих терминах написано множество исследований. Совершенно ясно, что слово «популя́р» является калькой с греческого слова «демократ», а «оптимат» — с греческого слова «аристократ». В XIX веке в них видели две политические партии. В середине XX века С. Л. Утченко пришел к выводу, что они не только не партии, вроде наших эсеров и большевиков, но даже не похожи на английских вигов и тори. Это некие идейные течения. В 70-е годы XX века казалось, что Утченко сказал тут последнее слово. Однако проблема эта по сию пору вызывает самые горячие и ожесточенные споры. Я полагаю, что причина тут в следующем.

Поскольку популяры не были политической партией, у них не было ни программы, ни внутренней структуры, ни членства. Поэтому очень трудно порой определить, кто является популяром, кто нет. При этом все наши сведения берутся только у Цицерона. Мы вынуждены полностью следовать за его определениями, хотя, быть может, другие римляне имели на этот счет другие мнения. Например, в знаменитом месте речи «В защиту Сестия» он называет и Мария, и Суллу оптиматами. Между тем Цезарь, сам объявивший себя популяром, демонстративно поднимал Мария на шит и, вероятно, считал своим предшественником. Далее Цицерон даже дает понять, что считает популяром только того, кто прибегает к насильственным действиям. Между тем в начале своего консульства он открыто перед сенатом и народом объявил себя самого популяром истинным, в отличие от популяров ложных, ибо не может быть ничего более «популярского», чем мир, свобода и досуг. Это показывает неясность термина «популя́р» в самом Риме. Кроме того, сам Цицерон употребляет это слово в двух смыслах — как название римского явления и как аналог греческого термина «демократ». Греческие демократии он называет «популярскими государствами».

Некоторую аналогию этого понятия я вижу в современном слове «демократ». Оно совершенно неопределенно. Неясно, чего хотят демократы; этим словом можно объединить представителей различных течений. Многие наши современники рассматривают сам термин «демократ» чуть ли не как ругательство. Между тем, когда начинаешь беседовать с таким человеком, выясняется, что он ничего не имеет против

демократии как таковой, не враг, например, афинской демократии, просто не любит политиков, которые сейчас прикрываются этим словом. Точно так же, когда в «Государстве» Эмилиан произносит слово «популяр», это вызывает резкую реакцию у его собеседников. И он вынужден объяснять, что сама по себе демократия не является злом, и сослаться на пример греческих полисов. В 50-е годы слово «популяр» действительно превратилось почти в ругательство. Соответственно и слово «оптиматы» стало заменять выражение «все честные люди». Вот почему в данном случае я позволила себе передать слово «популяр» как «демократ».

*Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1973. С. 141.*

Кроме ager Campanus и Stellas.

Ход этого дела известен нам плохо. Реконструкция его принадлежит Нибуру. Опираясь на одно место из Диона Кассия, он полагает, что было два процесса Рабирия. Первый был прерван авгуром Метеллом Целером. Тогда Лабиен прибег к трибунскому народному суду, причем требовал он для Рабирия уже не казни, а наложения штрафа. В этом-то суде и защищал его Цицерон. Однако эта гипотеза противоречит самому Диону Кассию, который утверждает, что процесс был один. Кроме того, реконструкции как будто не соответствует цитируемое место о кресте и неслыханной казни. Поэтому я не считаю вопрос до конца решенным.

Выиграл ли дело Цицерон? Я думаю, что выиграл. Во-первых, и Дион Кассий и Светоний говорят, что Рабирий был спасен. Во-вторых, Цицерон очень гордился этим процессом, включил его в сборник консульских речей. Вряд ли он поступал бы так, если бы его защита провалилась.

*Буркхардт Я.* Культура Италии в эпоху Возрождения. С. 386–388.

Я считаю вслед за Моммзеном годом рождения Цезаря 102-й вместо 100-го, так как доводы Моммзена кажутся мне неоспоримыми.

Это видно из Плутарха (*Cic.*, 21, 23). Интересно, что клевет Цезаря Саллюстий, подробным образом описывая прения в сенате, не говорит об этой речи Цицерона. Видимо, упоминание о ней было слишком неприятно для его патрона.

Это сообщение помещено в начало речи Цицерона. Но, если верить Саллюстию, в то время весь сенат был на стороне Цезаря. Поэтому слова о людях, которые со слезами окружили кресло Цицерона, я отношу не к началу речи, а к ее результату.

Заговор Катилины — одна из самых темных страниц античной истории. Это объясняется нашими источниками. Если бы Катилину судили правильным судом и Цицерон был бы его обвинителем, мы знали бы все, как знаем все о деле Верреса. Мы знали бы всех свидетелей, все документы, все обвинения, все улики, прямые и косвенные. Но такого суда не было. На первый взгляд кажется, что заполнить этот пробел может книга Саллюстия. Саллюстий был историк, современник событий, книга его посвящена специально заговору Катилины. Но нас ждет разочарование.

В истории Саллюстия мы найдем множество гневных тирад против римской знати, множество филиппик о загнивании нравов молодежи, но фактов удивительно мало и, главное, почти нет дат. Когда был составлен заговор, на какой день назначено было первое выступление, когда Цицерон получил диктаторские полномочия, когда Катилина покинул Рим — обо всем этом остается только гадать. И хуже этого. Факты переставлены, события перемешаны, так что ход событий становится совершенно неясен.

Напомню основную канву событий. Из речей Цицерона мы знаем, что у него были какие-то тайные агенты, которые доносили ему обо всех действиях Катилины. Аппиан говорит, что то была Фульвия, знавшая обо всем через своего любовника Курия, члена заговора. Когда она впервые пришла к Цицерону? Ясно, что не позже лета 63 года, так как, узнав о заговоре, Цицерон уговорил сенат отложить консульские выборы. А они обыкновенно происходили в середине лета.

Саллюстий тоже говорит о Фульвии. По его словам, она узнала обо всем еще в 64 году. Она стала рассказывать о заговоре всем знакомым, и тогда испуганный нобилитет решил сделать консулом Цицерона. Итак, оказывается, о всех планах Катилины уже почти два года знал весь Рим! О них судачили на всех перекрестках! Как же после этого можно относиться к этим планам сколько-нибудь серьезно? И как случилось, что только демонический Катилина ни о чем не догадывался? А между тем тот же Саллюстий без конца твердит, что он был опасен, страшен, необычайно умен. *Это* сообщение Саллюстия совершенно невероятно и явно противоречит фактам.

Первое. Из первой речи Цицерона, произнесенной в ноябре в самый разгар событий, мы знаем, что никто не верил в заговор еще в начале ноября. Цицерон с трудом добился чрезвычайных полномочий только в

конце октября. В речи за Суллу, произнесенной несколько месяцев спустя после подавления заговора, Цицерон напоминает всем присутствующим, что еще во время выборов 63 года — то есть осенью — они еще ни о чем не подозревали (51). Обвинитель Суллы во время полемики с Цицероном также говорит ему: «Ты выследил этот заговор, ты его раскрыл» (3).

Второе. Саллюстий уверяет, что выбран Цицерон был нобилитетом. Между тем сразу же после своего избрания Цицерон говорит как о всем известном факте о том, что он был выбран народом, *вопреки знати*, почему даже должен был объявить себя популяром.

Теперь посмотрим, как разворачивался сам заговор.

Из речей Цицерона, произнесенных в то время, мы знаем, что восстание назначено было на конец октября: 25-го — выступление Манлия, 28-го — поджог Рима, 1 ноября — взятие Пренесте (*Cic. Cat., I, 7*). Но 21-го Цицерон получил диктаторские полномочия и сорвал все планы заговорщиков. Тогда они собрались у Леки и разработали второй план. Наутро Цицерон должен был быть убит. Но покушение не удалось. А на следующий же день Цицерон созвал сенат и заявил, что знает все планы заговорщиков. Вечером Катилина бежал. Когда это было? В речи «За Суллу», где он защищал одного из рядовых катилинариев, Цицерон говорит, что заседание у Леки было в ночь с 6 на 7 ноября (*Cic. Sull, 52*). В своей первой речи он говорит, что заговорщики собирались позавчера, а убить его хотели вчера. Таким образом, первая речь произнесена 8 ноября. Теперь вернемся к Саллюстию.

Катилина, говорит он, энергично готовил восстание. Он трудился не покладая рук, «беспрестанно хлопотал дни и ночи напролет, но из всех его проектов ровно ничего не выходило», тогда он собрал заговорщиков у Порция Леки (27). Они решают убить Цицерона. Но консул вовремя узнал о покушении, собрал сенат и отцы вручили ему диктаторские полномочия. В Риме началась паника. Но жестокий Катилина только смеялся над всеобщим страхом. В разгар событий он явился в сенат, чтобы усыпить подозрения. Цицерон, увидав его, пришел в ярость и произнес свою первую речь. После этого Катилина оставил Рим (27–31).

Сразу же возникает ряд тяжелых недоумений.

Первое. Почему «из всех проектов Катилины ровно ничего не выходило», хотя он трудился день и ночь и, как уверяет нас сам Саллюстий, был умен и хитер? Казалось бы, здесь-то историк и должен был рассказать, что замыслил Катилина, куда пошел и какое встретил препятствие.

Второе. О чем была речь Цицерона и почему после нее Катилина вдруг уехал?

Третье. Когда хронологически это все происходило?

На этот последний вопрос можно попытаться найти ответ. Саллюстий пишет, что сразу после тайного собрания заговорщиков у Леки Цицерон получил диктаторские полномочия. А мы знаем, что полномочия эти даны были ему 21 октября. Значит, заседание было в ночь на 19 октября. Это открытие окончательно сбивает нас с толку. Ведь Катилина наметил поджог Рима на 28 октября, а взятие Пренесте — на 1 ноября. Каким же образом его планы могли потерпеть неудачу 19-го? Кроме того, сам Цицерон в своей речи говорит, что пытались его убить вчера, а диктаторские полномочия были вручены уже 20 дней назад (*Cic. Cat., I, 4; 8—10*).

Беда даже не в том, что он передвигает события на недели и месяцы. Дело в том, что последовательность фактов перепутана, а потому нарушается всякая связь между событиями и все они выглядят совершенно нелепыми. Я уж не говорю о мелких ошибках. Саллюстий полагает, что 8-го числа сенат собрался на Форуме в Курии, а это было на Палатине в храме Юпитера Статора. Катилина у него выбегает из сената с криком: «Я потушу это пламя развалинами!» А на самом деле он сказал эту фразу несколько месяцев назад совсем по другому поводу. Все это наводит на мысль, что Саллюстий не читал первую речь против Катилины. Из нее он бы узнал, когда было заседание у Леки и когда получил полномочия Цицерон. Кроме того, консул и начинает с того, что сенат собрался на Палатине. Между тем историк просто обязан был самым внимательным образом прочесть эту речь — ведь она произнесена главным действующим лицом, да еще в самый разгар событий!

Изложение событий после бегства Катилины так же бессвязно. Аллоброги показали в сенате, что восстание должно было начаться в праздник Сатурналий. Вместо этого Саллюстий утверждает, что заговорщики решили поджечь Рим тогда, когда Катилина доберется до лагеря Манлия. Это довольно странно. Казалось бы, нужно ждать не того, чтобы Катилина доехал до Фезул, но того, чтобы они с Манлием подошли к Риму. Ну хорошо. Припишем это исключительной глупости заговорщиков. Но когда же случилось это событие? Катилина выехал из Рима в ночь на 9 ноября. В главе 36 сообщается, что, пробыв несколько дней в Арретии, он приехал к Манлию. Тогда сенат объявил их обоих врагами отечества. Но в главе 43 мы вдруг узнаем, что, когда аллоброги выезжали из Рима, то есть 3 декабря, Катилина еще не прибыл к Манлию!

Даже излагая историю аллоброгов, он не избежал неясности. Именно — он забыл написать главное. Что конкретно должна была сделать община аллоброгов согласно договору с Лентулом. А между тем это было известно

в точности из писем заговорщиков.

Наконец, описывая заседание сената 5 декабря, когда решалась судьба заговорщиков, он приводит речи Цезаря и Катона, но забыл о четвертой катилинарии Цицерона. Создается впечатление, что Саллюстия очень мало интересуют конкретные факты и он даже не пытается устранить противоречия и свести в своем рассказе концы с концами.

Причина этого заключается в том, что на самом деле перед нами не научное исследование, а очень ловко написанная политическая брошюра. Автор ставит перед собой следующие цели. Во-первых, доказать, что во всех бедах Рима виновна аристократия и Катилина был плоть от плоти, кровь от крови этой аристократии. Отсюда его гневные филиппики против знати. Отсюда поражающие воображение читателя утверждения, что знатные юноши-заговорщики должны были, по плану Катилины, зарезать своих родителей. Во-вторых, он всеми силами стремился доказать, что Цезарь не имеет к заговору никакого отношения, а заодно очернить Помпея. В-третьих, он стремится насколько возможно умалить роль Цицерона. В чем главные заслуги Цицерона? Прежде всего он раскрыл тайный заговор. А Саллюстий говорит, что и раскрывать было нечего — о заговоре знал весь Рим. Затем Цицерон сорвал все планы Катилины с 28 октября по 1 ноября. Поэтому Саллюстий вообще не говорит об этих событиях, отделиваясь неопределенной фразой «из всех проектов Катилины ровно ничего не выходило». В-третьих, Цицерон таким образом продумал и построил свою речь, что Катилина вынужден был бежать из Рима. Саллюстий прежде всего разрывает связь между этой речью и заседанием у Леки, перенося его на 17 дней раньше, о самой же речи пишет вскользь. Да и сказана она была, по его словам, в припадке гнева. Далее Цицерон раскрыл дело с аллоброгами. Это представлено у Саллюстия как деяние судьбы. Наконец, он участвовал в прениях во время суда над катилинариями. Об этом Саллюстий вообще не упоминает.

Речи Цицерона — очень важный источник. Оратор произносил их в самый разгар событий и уже поэтому не мог сильно исказить факты. Но у этих речей есть одна коварная особенность. В первой речи Цицерон говорит ровно столько, сколько должен был знать Катилина на 8 ноября. Во второй речи он говорит ровно столько, сколько должны были знать его сообщники на 9 ноября. В третьей речи он раскрывает все карты. Но говорит он только о заговоре аллоброгов, поэтому весь этот эпизод совершенно ясен. Четвертая речь является ответом Цезарю, и там вообще ничего не говорится о ходе заговора. Кроме того, следует помнить, что в речах, обращенных к народу, Цицерон рисует положение в самых

радужных красках и намеренно преуменьшает опасность, чтобы приободрить квиритов. И только в речах к сенату говорит с полной откровенностью. Поэтому меня немного удивляет утверждение Утченко, что первая речь Цицерона полна не фактами, но обвинениями и риторикой. Вряд ли риторика могла заставить Катилину бросить заговор на Лентула и бежать. Речь Цицерона, на мой взгляд, содержит не факты и даже не обвинения, а намеки, понятные заинтересованному лицу. Если я говорю человеку: «Мне известно, что ты делал вчера вечером между девятью и десятью часами», это будет не факт и даже не обвинение. Но если этот человек вчера между девятью и десятью совершил убийство, то мои слова приведут его в ужас.

Я совершенно не касаюсь так называемого первого заговора. О нем почти ничего не известно. Сам Цицерон признавал, что имеются только слухи (*Sull.*, 12). Кроме того, мой герой не принимал в этих событиях участия.

*Ибсен Г. Катилина. Предисловие автора ко второму изданию // Собр. соч. Т. 1. М., 1956. С. 59–60.*

*Герцен А. И.* Былое и думы. Т. 2. М., 1962. С. 92–93.

Блок А. Катилина. Страница из истории мировой революции // Собр. соч. В 6 т.: Т. 5. М., 1971. С. 426.

*Буассье Г. Цицерон и его друзья. С. 88.*

Точная хронология романов Катулла и Цицерона невозможна. Закончился роман Катулла, видимо, в 57 году, когда он уехал в Малую Азию, начался же он при жизни мужа Клодии, то есть до 59 года. Они могли познакомиться и в 60, и в 61 и в 62 годах. Имя Клодии встречается в письмах Цицерона с 62 года. Скорее всего они близко познакомились в 62 или 63 году. В мае 61 года Цицерон дает показания против Клодия. В январе 60 года жалуется на тернии семейной жизни, летом того же года называет Волоокую склочной. Таким образом, разрыв произошел в 61-м — начале 60 года.

Некоторое время спустя брат Клодии, ставший врагом Цицерона, прямо бросил ему в лицо упрек в том, что тот был в Байях. Само по себе пребывание на этом лечебном курорте не являлось, разумеется, криминалом. Видимо, речь шла о том, что он был там в компании с его сестрой. Цицерон горячо оправдывается перед Аттиком и твердит, что это ложь. Но он очень хорошо знает обстановку в Байях и в речи в защиту Целия описывает эти романтические катания в лодке.

*Моммзен Т.* История Рима. Т. 3. М., 1941. С. 11, 136, 378.

Во всяком случае через полчаса его все видели в таком виде.

Хотя у Плутарха Терм. Но это не соответствует, во-первых, пассивной роли Терма, которого Катон втащил на Форум. Во-вторых, ловкость и быстрота реакции выдают Катона. В-третьих, после этого все набросились на Катона, а не на Терма.

*Ростовцев М. И.* Рождение Римской империи. Пг., 1918. С. 60–61.

*Hom., II. II, 3, 3–4.*

*Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. Л., 1974. С. 354.*

*Ростовцев М. И. Рождение Римской империи. С. 63.*

*Буассье Г. Цицерон и его друзья. С. 210–211.*

*Ростовцев М. И. Рождение Римской империи. С. 63.*

Там же. С. 64.

*Буркхардт Я.* Культура Италии в эпоху Возрождения. С. 468–469.

*Гофман Э. Т. А. Автомат // Собр. соч. Т. 2. СПб., 1896. С. 302.*

Подробнее об образе рая в исламе см.: Резван Е. А. Ал-Джанна // Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 59–60; Пиотровский М. Б. Хур // Там же. С. 283.

Младшая Эдда. Л., 1970. С. 37–38. Пер. О. А. Смирницкой.

Цицерон призывает здесь не думать о выгодах настоящего момента, любить всеми силами души родину, помогать честным людям, считать наилучшим для себя то, что справедливо, и мужественно сносить удары судьбы. «И будем помнить, — продолжает оратор, — что у храбрейших и великих мужей смертно тело, душа же их и слава доблести вечны... Эта вера освящена примером святейшего Геркулеса, чье тело было сожжено, жизнь же и слава — бессмертны» (*Sest.*, 143). Те же мысли находим в «Государстве». Даже примеры те же: когда Геркулес и Ро-мул из людей стали богами, говорит Цицерон, не тела их были восхищены на небо, а души (*De re publ.*, III, 40).

*Буассье Г. Цицерон и его друзья. С. 194.*

Если только эти слова не относятся к Пизону.

*Зелинский Ф. Ф.* Цицерон в истории европейской культуры С. XLIV.

См., напр.: *Hunt H. A. K. The Humanism of Cicero. Melbourne, 1954. P. 136–138.*

*Pease*. The conclusion of Cicero's *De natura deorum*//ТАРА. 1913. No. 14. P. 34–37. Ср.: Буассье Г. Римская религия от времени Августа до Антонинов. М., 1914. С. 53–58; Он же. Падение язычества. М., 1892. С. 182–188.

*Levine P.* The original design and the publication of the *De natura deorum* // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. LXII, 1957. P. 23–25.

*Моммзен Т.* История Рима. Т. 3. С. 385. См. также С. 379–386.

*Утченко С. Л. Цицерон и его время. С. 290.*

*Буассье Г.* Цицерон и его друзья. С. 373. Ср. у Ш. Фурье: «Цезарь, достигнув престола мира, был поражен тем, что в таком высоком положении нашел только пустоту и тоску» (*Фурье III. Избранные сочинения.* Т. 1. М., 1947. С. 196).

*Моммзен Т. История Рима. Т. 3. С. 383.*

*Доватур А. И.* Античные сборники писем Цицерона//Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. 1. М., 1949. С. 410–411.

Существуют две предполагаемые даты рождения Брута: 85 (*Cic. Brut.*, 324) и 78 годы (*Veil.*, II, 72, 1). Я решительно склоняюсь ко второй, и вот почему.

Первое. В Риме ходили упорные слухи, что настоящий отец Брута — Цезарь. Но, чтобы этот слух мог возникнуть, должна была быть хотя бы физическая возможность такого отцовства. Между тем в 85 году Цезарю едва исполнилось 17 лет. Если же мы примем вторую дату, ему было уже 24 года.

Второе. У Цицерона Брут говорит, что почти не знает Цезаря, так как был совсем юным, когда тот покинул Рим (*Cic. Brut.*, 248). Но Цезарь уехал в 59 году, и если мы примем первую дату, Бруту было уже 26 лет. Странно, что он совсем не помнил Цезаря! Если же он родился в 78 году, ему было 19 лет. Если наши предположения верны, Брут убил Цезаря в возрасте 33–34 лет.

*Буассье Г. Цицерон и его друзья. С. 309.*

Там же. С. 334.

Там же. С. 74.

Имеется и другой рассказ о гибели Цицерона. Его будто бы выдал Филолог, вольноотпущенник его брата Квинта, которому сам оратор дал образование. Вдова Квинта казнила предателя. Но эта версия кажется мне неправдоподобной. Дело в том, что Тирон ни словом не упоминает о Филологе. Между тем он получил сведения из первых рук, так как хорошо знал и рабов Цицерона, и семью Квинта. Не было у него и оснований выгораживать предателя — напротив, он должен был ненавидеть человека, погубившего его обожаемого патрона.